



ЛЕОНИД
РАХМАНОВ

*

ЧЁТ-
НЕЧЕТ



ЛЕОНИД
РАХМАНОВ

ЧЁТ →
НЕЧЕТ



ЛЕОНИД
РАХМАНОВ

ЧЁТ ← →
НЕЧЕТ





ЛЕОНИД
РАХМАНОВ

ЧЁТ — 
НЕЧЕТ

Повести
Рассказы
Пьесы
Воспоминания
Листки
календаря



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1988

ББК 84.Р7
Р 27

Художник М. Е. Новиков

Р $\frac{4702010200-394}{083(02)-88}$ 118-88

ISBN 5-265-00268-5

© Издательство «Советский писатель», 1988 г.

ПОВЕСТИ
И
РАССКАЗЫ



ПОЛНЕБА

Повесть

Я хотел вспомнить все большое, но память моя рассыпалась — одни прекрасные мелочи пересчитывал я, как грехи.

I

«Я СЕГОДНЯ»

Спокойствуя белизной, чуть розовея утром, теплея июнем, они привольно развалились на дворе, как купальщики на пляже.

В этой непринужденности есть что-то звериное, простодушное, полевое.

Это — отдых. Летний привал здоровых, сильных, не избалованных жизнью крепкотелых молодцов. Им тесны одежды приличия и порядка. Молодцы велики и благодушны. Сейчас они лентяйничают и вольно дышат, а завтра примутся остервенело работать. Сегодня еще крупнозернистые бока их мирно розовеют сном, росным рассветом, завтра будут они сухи, жарки, пыльны, неустанно быстры. Статичность их временна. Быть может, полдень уже встретят они кружительным разбегом. Может быть... Надпись на стене обещает это.

...Но в сторону надпись! Я не хочу реальной ржавой вывеской рушить этот утренний антропоморфизм. Сейчас я хочу лежать на подоконнике и петь. Петь гимн, славословие мощи, труду, огромным шершавым бокам, ворушающим жизнь. Политэкономический гимн!

Сандалии слетают с ног (забыл вчера починить ремешки). Я крепче утверждаюсь на подоконнике. Он, этот рыжий от времени, исклеванный воробьями подоконник, невозмутим и жёсток. Он делит меня на две автономных части. Между нами равновесие.

Одна — вне дома, вся в солнце. Живут глаза, чуют руки — восторг, преклонение, юность, гимн.

Другая — в комнате: тощие ноги в дешевых кальсо-

нах, мозолистый палец согнулся как нищий, пятки льют яблочный девичий румянец — все дико, некультурно.

Моя солнечная половина начинает:

«О вы, белотелые могущественные близнецы! Вы, тяжеловесные символы довольства, сытости, покоя нашей республики. Вы сами в себе каменно-прочный, веселый залог рабоче-крестьянской смычки!.. Я высокопарен и юношески безграмотен, но выслушайте меня!.. Один общий импульс содрогает меня и вас. Дюны лет не засыпят вас, пока жив я, человек. Это я...»

...Черт! Дрыгаю своей комнатной половиной, позади меня шорох, впереди еще вижу: «НАТУРАЛЬНЫЕ МЕЛЬНИЧНЫЕ ЖЕРНОВА. ПЕТР ПЕТРОВИЧ БЫКОВ С СЫНОВЬЯМИ. ПРОДАЖА ЕЖЕДНЕВНО»... Обращиваюсь.

Передо мной — мальчишка. Он без штанишек. Он углублен в занятие: спичкой подпаливает мои пятки. Он радостно сопит.

— Чего орешь? — говорит он приветливо. — А ты здорово напугался! Давай поговорим. Вчера я мячик на крышу забросил — достанешь? Ты в бога веришь? Я — нет. У меня папа Николай Иванович. Ты куришь? Вчера в саду музыка играла. Застегни рубашку — неприлично. У меня мама из дому совсем ушла. Папа говорит: туда и дорога. Ты какое варенье любишь? Я очень умный, а ты?.. Это теперь мои спички, не твои... Наклонись, я тебя за нос дерну. Он что, почему сажени?.. Куда ты меня?! Я не хочу... Ай-яй!.. Не смей!.. Я скажу... А-а-а!..

Уф! Я выбросил его за дверь, как букет...

Я весь в комнате. Утро и гимны во мне, глубоко. Но я весел. Надежды расцветают быстро, как плесень — в одну ночь. Я верю, что сегодня же начну свой отчет о летней практике.

Я одеваюсь.

Ужасно люблю я мелкие блестящие вещицы! Запонки, заколки, брелоки, слоники, пустячки, которым нет назначения и имени. Я называю их талисманами, вечно верчу в руках, беру в рот, забавляюсь ими, как дикарь.

Фетишизм этот — от впечатлений детства. Отец мой — чертежник. Отсюда — все. Его готовальни — набор мизерных и непонятных инструментов — сверкали

сталью. Мои глаза — неистовством. От них! Бурная любовь со временем перешла в привязанность. Склонность осталась.

Я одеваюсь.

Я не доверяю зеркалам. Почему-то кажется, что из-за спины смотрит кто-то посторонний и, наверное, потешается надо мной. Я смущаюсь, и сразу отражение мое дико тускнеет, глаза фальшивят, а мне самому хочется сморкаться и кашлять, как в театре, как в церкви.

Зато я с удовольствием фотографируюсь. На портретах я живее, чем в зеркале, независим от самого себя в момент наблюдения. Как ни смущайся, фотофизиономия невозмутима.

Конечно, я не нарцисс. Я не хочу уподобляться Шпильману: мой институтский приятель, молодой человек в мелких кудряшках, с бараньим лицом; всем показывает свою фотографию и сообщает: «А ведь на самом деле я еще красивее!»

Самовлюбленность — чушь. Я знаю, что далеко не прекрасен. Этакий подсолнечник. Желтое личико. Цыплячья грудь, шейка. Цыплячий подбородок. Можно так сказать? Как будто похоже: он у меня очень мяконецкий, вперед не выдается, наоборот — назад, и пухом порос.

Я одеваюсь.

Меня интригуют мои уши (я вижу их в зеркале; в глаза в это время, конечно, остерегаюсь смотреть). Уши живут отдельно от меня. Страшно подвижны. Могут сновать вверх, вниз, вперед, назад. Очень чувствительны. Обладают изменчивой окраской. Этакие хамелеоны, мои уши. Иногда мне кажется, будто они светятся в темноте. Флюидальное истечение энергии (или материи?)... Но что несомненно — они сексуальны (при виде девушек сразу краснеют). Когда я сам — ничуть.

(Встречаясь с людьми, я прежде всего обзираю их уши. У моего хозяина, отца мальчишки, они перламутровые, нежнейшей расцветки, диковинной формы. Сходство с ракушкой, отливающей спектром, довершает серьга, матросская серьга пупырышком, свисающая с левого уха: будто жемчужинка выкатилась.)

В восемь часов я выхожу из дому. Проклятая калитка! Всякий раз производит такой гром, точно в нее

бросают жерновами. В соседнем доме таращится из окна любопытное тыквоподобное существо. Медленно ухожу. Чувствую, как блуза на спине морщится и тянет: это тыква провожает меня ласковым взглядом. Мне хочется обернуться и вельможно приветствовать ее: «О, прекрасный эллипсоид!..»

Работа меня не очень утомляет. В командировочном удостоверении я значусь «техником-конструктором по проектированию и сооружению легких железобетонных систем каркасного типа». В списках технического персонала к фамилии Сомов прибавлено: «Практикант. Зачислить старшим рабочим десятка». На деле же мне приходится наблюдать за рытьем котлованов (ям для фундамента). Это пока все. Впрочем, через неделю работа будет интереснее.

Мы строим аэроконюшни.

Городишко уездный, крохотный, пахнет сиренью и свиными бойнями, но почему-то намечен как узловый пункт воздушно-почтовой магистрали. Правда, он стоит на судоходной реке и на скрещении двух железных дорог, он в своем роде центр по закупке сырья, довольно плотно населен, растет вширь.

Итак, строим караван-сарай для ночевки самолетов. Кто-то будет летать! Да, признаться, я завидую им. Мы — что! Мы создатели дождевых зонтиков. Зонтиками накроются чудесные РИМ-5. Сплошь кожаные, глянцевые, похожие на морских львов пилоты станут склоняться к штурвалам, ластиковые краги великодушных пилотов, почуяв непогоду, замутятся с досады, уездной тоски.

Но — очередной котлован вырыт. Возвращаюсь домой. Моя техническая фуражка производит в тихой улочке космическую бурю. Живут заборы, свистят мальчишки, старухи, угнездившиеся на лавочках у ворот, зорко смотрят, судят, милуют.

По-видимому, я лирик, хотя не пишу стихов (как, совсем не пишу? Гм!), — чувствую это, подходя к дому. Голубая вывеска на доме, странная надпись на ней заслоняет мне ворота, улицу, мир. Через нее я опять вижу детство.

Мое детство прошло под девизом: долой половинки! Мне были антипатичны дробные половинки съедобных и несъедобных вещей. Так же половинные замыслы и образы.

Случались курьезы. Помню, у тетки, земской акушерки с тремя взрослыми подбородками, поскакала из-под очков слезинка, и тетка сказала глухо в платок: «Полжизни прожито!» — «Почему полжизни? — возразил я, шестилетний прохвост. — Может, ты уже завтра умрешь...»

Еще раньше я слышал стихи: «А стезею лазурной и звездной уж полнеба луна обогнула». Я был мал и назойлив. Я спрашивал, не умолкая: «Как полнеба? Вроде как полфунта? Обогнула — значит обернула? Чем обернула? Во что обернула? Стэзя — это бумажка? А разве небо твердое?»

Теперь я велик и скромн! Усмехаюсь и гляжу на вывеску:

Н. И. Гоц. Фотография «Полнеба».
Недорого.

Профессия моего хозяина — отражать мир. Причем недорого.

Прохожу во двор (бестия калитка!). Не хочется в комнату. Там ждет неоконченный отчет. Присаживаюсь в тень забора, на жернов. Он розов. Покачивается. Под него прячутся гневно-красные хвостики червей. Таинственный шорох. Раскачиваю сильнее. Кричу, как Аладдин:

— Сезам, откройся!

Шаги, на крылечке Гоц. На нем алая рубаха в белых крапинках, кремовые штаны. Вышел этаким мухомором на двор — и ко мне:

— Читали «Известия»? Наверняка шахтинскому Матову объявят шах и мат! — каламбурит он и смеется деснами. — Крыленко их всех взял в работу. Всех! А они-то топят друг друга!

Я поудобнее устраиваюсь на жернове (приятный такой холодок снизу), нога на ногу, терпеливо жду, когда он кончит смеяться. Он такой квашеный, лысый, авантурные баки, пламенные усы и бледно-розовые перламутровые уши.

Вчера мне сказала его свояченица (жена убежала, свояченица осталась): «Уж как и не беречь-то мне его! Ведь он у меня как ландыш!..» Ничего себе ландыш!

Перед сном слушаю стрижей, дышу. Где-то далеко мальчишеские голоса. Поют:

Все выше, и выше, и выше
Стремим мы полет...

Ребятчи голоса на вечерней заре, высокий, до самого неба, мотив хорошо холодит сердце. (Выдумываю? Кажется, нет.)

Снимаю сапог. Вдруг мысль, таким стрижом: «Стремим мы полет...» Ведь это и мы стремим... Мы, создатели дождевых зонтиков! Да что ты? Не может быть!

Простыня новая, жесткая, шуршит газетой. Кажется, я устал сегодня... Кстати, завтра рабочком нагрузит меня общественной работой. Ничего, если интересной.

Жернова на дворе развалились, как боги, как быки...

Буду видеть во сне жернова, великолепных пилотов, завтрашнее утро, Гоца. Мухомор! «Как ландыш!..» Что ж, он славный. Его профессия — отражать мир. Моя — строить мир. «Стремить» — еще одно новое сокращение.

II

«АПЕЛЬСИНЧИКИ»

Июль навис дождями. Работы на открытом воздухе временно прекратились, но для технического персонала есть проектировочные занятия в чертежной. Настроение домашнее, осеннее, длинное. Вкусно хрустит ватман. Целлулоидные линейки гибки, как нимфы. В углах — кузнечики-ундервуды. В соседней комнате маньяк-шмель:

— Не надо разводить демагогию! За чем вы разводите демагогию!..

Это представитель комтреста по заготовке материалов кричит по телефону во все хозорганы города. Он кричит целый день, отбивая ногой такт: «Не надо разводить демагогию! За чем вы разводите демагогию!..»

Работаем в помещении бывшего архива Городской управы. Углы затхлые, плесенные. Но окна и наши души распахнуты навстречу ветрам, будоражащим бумажный покой, и мы слышим сквозь ливень, как под навесиком напротив упорные лбы баскетбольных щитов глушат удары. Играют ребята, им дождь нипочем.

Я люблю чертить. Работа у меня спорится. Линия сама за собой тянет руку, а не наоборот. Линия моя живет, и я живу вместе с ней. Лекала сами ищут кривизну дуг и находят. Кривизна эта кружит меня и поет мне, и не дуги это, а радиоволны в небе кальки. Искрами по лазури я рассыпаю пунктиры. Я — ракета. И не искры это, а звездный ливень, и не звезды, а пули, зашнувшие на лету.

Снижаюсь на прозу. Нужно не забыть, что сегодня до вечера мне еще предстоит урок с красноармейцами. Вот уже две недели моей педагогической деятельности. Общественная нагрузка оказалась назначением на преподавательскую работу в полковой школе, вернее — в летней ее разновидности (кружком, что ли, назвать?). За городом в лагерях стоит воинская часть. Наш рабочком имеет к ней шефскую причастность. Я, как студент-культурник и, конечно, член профсоюза, был моментально направлен для преподавания русского языка в школе.

Ребята живые, славные, но я не научился еще пока замечать между ними индивидуальную разницу. У всех широкоскулые абрикосовые лица, крепкие, чуть подетски тронутые в стороны уши, белесые брови.

Удивительно стандартизует взрослых людей-однолеток военная форма.

Предмет мой — русский язык — они уважают. Я с ними в дружбе, помогал клеить стенгазету, писать заголовки. Получилось нечто лемовское — так смачно на-красили.

Ну вот. Так что просвещенская эта моя нагрузка меня удовлетворяет. Даже нравится. Даже радует. Только уж очень пахнет сапогами в палатках... Черт их знает какие сапоги гнусные! И скрипят, воют, орут, точно резиновые «уйди-уйди-и» на вербной неделе...

Все это хорошо, но первое мое посещение полка было мне горько. Таким мне сделала его встреча с комиссаром и политруком, начальником школы. Началась она очень мило и перешла в официальную недоверчивую аудиенцию, как только комиссар спросил меня: «Вы комсомолец? Ах, беспартийный! — съел он радушность. — Тэк-с... А насчет политграмотности как? — Он смешливо глянул на политрука и опять уже сухо продолжал: — А где вы учитесь? В Путейском?! Позвольте, а почему рабочком направил вас для преподавания русского языка? Согласовано ли с АПО?»

Я чувствовал себя мальчишкой и едва не плакал с досады. Причины досады были мне не совсем ясны, и теперь отношу я причины скорей к моей мнительности. Но я неприятно запомнил тугое лицо комиссара таким, как хотел его тогда видеть: багровым, тупым, в прыщах, сочных, как помидоры... Почему, я не знаю. Это желание лживо осквернить наружность по меньшей мере глупо.

По-детски ища сочувствия, я поделился обидой с Гоцем и запальчиво назвал комиссарово со мной обращение комчванством. Гоц уклончиво поморгал, качнул серьгой, погодя сказал в полушутку, как всегда:

— Не обращайтесь внимания. Убедите себя: «Я сегодня в галошах — мне море по колено!..»

Гоц неестествен в беседе, по любому поводу скажет кашу из двух-трех поговорок вроде: «Разом в два колдца не плюнешь...» — и доволен, и хохочет деснами.

Сзади медленный голос прораба:

— Виктор Владимирович!

Меня. Аккуратненько вытираю рейсфедер, забрасываю в рот земляничку, иду. У прораба смеется пенсне.

— Стройконтора поручает вам руководство сборкой семафоров и установкой заградительных щитов у главного корпуса. Зайдите ко мне завтра ознакомиться с чертежами.

Здорово! Не ожидал. Это уже поответственнее котлованов... Это уже...

За спиной гудит шмель:

— А-а? Что-о? Я говорю: не надо разводять демагогию!.. Зачём вы развóдите демагóгию?..

По дороге к дому карманы макинтоша радостно пыхтят от лакомств, защечины их флюсоподобны.

В окне Николай Иваныч с засученными рукавами машет мне ложкой; младенчески улыбаясь в усы, кричит:

— Заходите!

Убирая платком дождь из ушей, вхожу.

Спиной ко мне сидит молодой человек с газетой, растянув ее по коленям наотмашь. Я уже видал где-то круглый этот затылок, мальчишески беспечный завиток на шее, мягкую эту спину в палевой рубахе с молниями вдоль.

— Познакомьтесь,— говорит Николай Иваныч, торжественно водружая ложку на стол.— Познакомьтесь — брат мой Людья!..

Молодой человек оборачивается, быстро встает, смяв газету, пожимает мне руку, улыбаясь, говорит:

— Уж он познакомит... Брат мой Коля... Я — Людвиг Гоц. Мы уже встречались, кажется

Ах, вот это кто... А я думал — просто однофамилец Николая Иваныча. Людвиг Гоц. Он — агитпроп укома ВЛКСМ. Мне пришлось встретиться с ним в нашем рабочкоме. Он инструктировал меня перед началом моего преподавательства в школе, предупреждал, что родной язык нужно увязать с обществоведением. Образовать некий комплекс. Для этого мне надо столкнуться с политруком школы.

Он говорил быстро, чуть шепеляво, двигал бровями и улыбался. Он мне понравился: этакий кругленький, краснощекий, веснушчатый, веселый юноша. Я люблю прозвища. Я выслушал агитпропа, вслух согласился, поблагодарил и назвал его так:

«Апельсинчики!»

III

«ГОЛЫХ ПРОСЯТ НЕ ВХОДИТЬ»

«...Опять трясет агония, в вагоне я, в погоню я...» Лежу и жую дактилические рифмы. Обалдеть можно... Я третий день бюллетеню. Простудился в июле! Завтра трехнедельная вечность со дня моего приезда. Тогда качались мы в уездном корыте весенней стирки. Сиреновой пеной захлестнуло сады, сердца, заборы. Теперь — лето: запоздалая нежность в душном цветении лип, пыльные ладони ветра на лице, скепсис, лень в голове.

Я бюллетеню.

Кто-то сказал когда-то: чем больше человек имеет в себе, тем меньше требуется ему извне,— значит, тем меньше могут ему дать другие люди. Вот почему интеллигентность приводит к необщительности.

Должно быть, я мало интеллигентен. Меня всегда тянет к людям (хотя... да нет, без всяких хотя)... Сейчас изучаю своего хозяина. Он ко мне приходит, садится к постели, склоняется ко мне, как мой гений, как муза, и мы болтаем без конца.

Гоц интересен мне. В нем странно сочетался уездный интеллигент с бывшим героем. В прошлом он военный летчик: «Облетал полнеба...» Германская война скинула его на землю инвалидом. Пустячное пулевое ранение ладони, навеки сведенные судорогой пальцы исключили из военных списков пилота, из человека, из него самого — героя. Теперь: провинция, собственная фотография, жена, астма сделали его тяжелым, лысым человеком, с одышкой, с привычкой к покою, к газете после обеда, к удобным ручкам у двери, к занятому собеседнику.

Как все интеллигенты, случайно, насильно, зло припиленные к уездной обывательщине, он — чужак. Фотография для него лишь ремесло, сравнительно легкий заработок; как говорит Гоц: «Средство для рошения волос...»

Имея за собой пятидесятилетнюю беспартийность, в себе — неизлечимую болезнь, над собой — целые пуды неудачной семейной жизни, он — общественник. Он член профсоюза железнодорожников, заведует библиотечкой при железнодорожном клубе и пионербазой при нем же (собственно, последнее заведование чисто хозяйственное: «Чиню барабаны и стираю галстуки»). Затем он руководит планерным кружком, организованным им самим при ячейке Осоавиахима, и делает в этой ячейке что-то еще и что-то еще. На днях пионербаза выехала в лагерь — одной обязанностью у Гоца меньше.

По правде сказать, во всех этих добровольных нагрузках мне видится нечто дилетантское, маячат лоскутки прежней интеллигентской благотворительности от нечего делать. Впрочем...

Близко, в логу Семиглазовом, что Атлантикой режет город на Старый и Новый Свет, гнилая речка. Там бабы вечно полощут белье, колотят вальками. Я попробовал захлопнуть «Курс сопротивления материалов» — звук такой же в точности: мокрый!

Смотрю в соседний двор: слепая старуха (она скрывает от посторонних свою слепоту) бродит по нечистому притоптанному лужку, ищет цыплят. Ходит осторожно, малюсенькими шажками, чтобы не задавить цыплят, икает от волнения и кличет тоненько: «Цып-цып-цып!» А цыплят нет на дворе. Они далеко за изгородью. Она тихонько кличет впустую: «Цып-цып...»

Мне делается скучно. И вдруг начинаю смеяться,

тоже тоненько. Возникает, раскрывается аллегория: старая реакционная Россия, все еще не могущая вконец издохнуть, слепая, по-старушечьи лживая, трусливо крадется по темным нечистым дворикам, бессильно трясется в контрреволюционной икоте, пискливо, уныленько зовет своих верных птенцов: «Цып-цып-цып!..» А они далеко, за границей, в Парижах, клюют с чужих тарелок объедки, не могут прийти к ней. Она кличет впустую: «Цып-цып-цып!..»

Какая у меня нелепая голова сегодня...

Гоц прошел к себе. Знаю: тронет щепотью лысину — очень ли потная, — станет к зеркалу, отдуваясь, расчесет баки, поморщится, еще раз оглядит себя в зеркале (все в порядке — похож на Гончарова и на «царя-освободителя»), булькнет, сощурился: «Ничего, сойдет, еще полетаем», сядет к столу — доить бахрому у ска-терти, читать «Вестник знания», пить молоко из блюдца, как кошка, шутить со свояченицей.

В трусиках и в футболке иду к Гоцу. В коридоре — свояченица (легка на помине). Она с какой-то ароматной плоской, длинной, черной, вроде венецианской гондолы. Здороваюсь. (Никак не запомню ее имени.) Что? Что?.. Она — бессловесное, немудрое существо (Гоц сказал о ней однажды, со своей забавной способностью путать, синтезировать заново поговорки: «Она смирный человек — мухи не укусит...»), — она говорит мне, причем быстро-быстро и даже за руку мою свободным пальчиком из-под плоски подержалась:

— Простите... Вы к нам, кажется... Простите, но Николай Иваныч будут недовольны, если вы к обеду в... таком... придете. Они не любят. Братец ихний выходил иногда к обеду в трусиках, так Николай Иваныч и бумажку на дверь прикололи: «Гоц обедает. Голых просят не входить!..» Простите меня, пожалуйста, но Николаю Иванычу вредно волноваться. Ведь он у меня как ландыш!..

IV

СОЗЕРЦАТЕЛЬ КОРАЛЛОВ

Разговор двух братцев всегда нарочито полемичен и переперчен не по существу. Короткий

и звонкий, он возникает после обеда так неожиданно, как можно только чихать.

Л ю д в и г. Ну как, Николай Иванович, твои пионеры? Уехали — тебе и горя мало! Признайся, ты ими занят постольку, поскольку детеныш твой — с красным галстуком.

Н и к. И в. Ну-с?

Л ю д в и г. Вот и «ну-с» — по-немецки орех! Так и все твоё общественное служение насквозь лично, как полотенце. У тебя нос баклажаном, ты любишь нюхать книжки. Поэтому ты даровой библиотекарь. Ты — герой в отставке, ты — царский летчик, в голове у тебя свербит небо, поэтому ты осоавиахимовец. И все. В остальном ты — как в щелке. Ты ковыряешься. Ты таракан, Коля. У тебя запечные склонности. Произвел рекогносцировку и — в щелку.

Н и к. И в. Ну-с, дальше. Я слушаю тебя, Люля.

Л ю д в и г. Все!

Н и к. И в. У тебя близорукая душа, Люля, и вовсе нет сердца. Я советую тебе записаться в христомол.

Л ю д в и г. Фуй, какой ты злобствующий мещанин, Коля. Сатириконец! Вольтер в наперстке!

Н и к. И в. Люля, не надо делать хвост фонтаном. Ты сам мещанин, только временно иллюминированный. По молодости.

Л ю д в и г. Ты реакционная дырка, Коленька!

Н и к. И в. Милый Люля, ты агитпропка, затычка, Люля!..

Сегодня шли втроем в библиотеку, потели, зевали. Тени наши на падающих заборах вытягивали от любопытства шеи. Хотелось пить. Ломовые лошади по мостовой пылили мохнатыми, как метлы, ногами.

Николай Иваныч говорил:

— Знаете, кто вы, друзья? Чур, не обижаться.

Он показал рукой на окно аптеки. Висел аншлаг: «В продажу поступили молокососы. По ценам Резинтреста».

В библиотеке журчал газетный покой. Мы пили книги. Ручейковая рябь полок струила классиков. Столы плескались современной беллетристикой. Круглая этажерка, вращая справочники, была подобна турбине.

Каталоги мотыльково сквозили белизной. Их листают угарно, как ромашки в июне: «Любит — не любит, любит — не любит, любит...» — «Я — Тепленький! Дайте мне физику». — «Вы Тепленький? Нате вам физику...»

Библиотекарь подобен спруту — он многорук. Николай Иваныч выдавал, записывал, искал, находил, пошулерски передергивал карточки. Мы с Людвигом пьянели от книг, от жары, от людей, мы лениво сидели, разбросав руки и ноги, были окутаны газетами, что водорослями, цеплялись за них, как крабы.

Уходя, видели: Николай Иваныч оживленно беседовал с моим военным начальством — командиром полка. Я познакомил их здесь в читальне, и Николай Иваныч жестикулировал, как шаман. Вышли — в глаза просочился вечер. Вечер был пылен.

Людвиг и я. Что общего? Я — беспартийный мечтатель, веселый практик, без пары лет инженер-путеец, юноша тонкий и смугло-желтый, как палочка гуммигута. Он — агитпроп, партиец, «апельсинчики», смеющийся горошком. И все же мы подружились в последние дни. Он ремонтирует свою комнату — я с удовольствием пригласил его пока к себе. Я рад пожить рядом с ним, мне хочется узнать его ближе.

Я — весь в мелочах и вижу, запоминаю в других легче всего веснушки. Я наблюдаю за Людвигом в сокровеннейшие его минуты: когда он пишет письма, болтает ложкой в стакане, стрижет ногти. Во всем, по всему он страшно близок мне, я физически чувствую его на расстоянии, будто мы разнополы. Это именно плотское его естество. А что-то другое еще чуждо мне, странно мне, незнакомо, непонятно, неприятно... Неужели это его партийность? Возможно. Я не люблю сектантскую привычку партийцев делать секреты из пустяков, скрывать от нас обыкновенные вещи, о которых пишут в газетах. Самое большое зло в наших вузах — чрезвычайная обособленность партколлективов. Беспартийные, если к тому же они не члены профсоюза, ходят иностранцами. Они свободны даже от всяких общественных нагрузок. Они своекошты, как кошки на крыше. Отсюда — причины всевозможных упадничеств. Нам трудно сохранять равновесие: центр тяжести выше точки опоры. Мы только умники... а не ваньки-встаньки.

Я попробовал сейчас возобновить, продолжить наш вчерашний разговор. Взглянул на Людвиг: он наклонил голову, у него кислое лицо от жары, он идет брезгливо, как по гусеницам.

— ...Вы слышали? Сейчас мальчишки дразнили огромную бабу: «Ольга Пална — долга палка!..» Мужик спросил в подворотню: «Здесь, что-ли-ча, доктор?.. Как его, лешего, звать-то?..» Наступив на афишку, вы прочли ее: «Все как один на массовое гулянье!»

...— Слушайте, Людвиг. Я — созерцатель, верно... Но созерцатель активный, бойкий. Наблюдение мое не статично. Обхожу объекты со всех сторон, как обходят норовистую лошадь... И если судьба приклеит к месту, я хоть пяткой поболтаю во время недвижимого обозревания. Это избыток жизни и мироощущения. Как иначе сказать? Я живчик! Зато я одинаково увлекаюсь, наблюдая все: человеческие спины, неверный барометр, чужую нежность, борьбу классов и клочок бумажки на ветру. Метод познания — лирическая взволнованность. Да, да, не удивляйтесь. Правда, это очень непрочный метод, но иные, разные там диалектики и позитивизмы, меня пугают. Я сторонюсь их, как сторонился бы падающих колоколен: либо оглушат, либо задавят...

Людвиг опередил меня на шаг. Ветер дул ему в спину. Складочки бежали по рубашке, как рябь по воде. Он опередил меня на три шага.

— Вы — помесь Маха с мочалой, Виктор. Какая, к черту, активность! Нужна вам только нирвана на морковном соусе да веселоумные разговорчики. Увидите сами — спокойненько проживете, как и не жили. Колокольни падают редко. И помрете вы от подагры...

Последнее пророчество развеселило нас обоих.

— Впрочем, подагра не смертоносна!.. Ну да, все равно, помрете...

Я спросил его сегодня — мы завечерели в растрепанном уездном саду над рекой; нудные попури оркестра мерли в воде, как мухи; вежливый пароходик уходил от нас, пятясь кормой, словно стесняясь; пивной дядя рыгал над нами в беседке, как пифия; я сказал:

— Людвиг, вы можете быть со мной откровенны?

Так, просто, без всяких насмешечек? Да? Тогда скажите обо мне что хотите.

Людвиг трудился над проросшей корнями кочкой, нависшей в обрыв. Когда удалось оторвать ее вовсе и лохматый комок запрыгал вниз по скату, как рыжий пудель, он обернулся и сказал мне серьезно:

— Да. Но я заранее извиняюсь за литературность слога: мы оба — книжники. Виктор, у вас мелкобуржуазное воспитание, но вы уже почти деклассированы временем и обстоятельствами, и вам нужно попробовать теперь совсем оторваться от родного дерна. Тогда вы покатитесь, но не вниз, а вверх, уверяю вас. Вы должны отрешиться от слишком индивидуалистических уютных наклонностей, привычек, от вашего проклятого созерцательства — тогда вы придете к нам. Вы способный парень. Вы будете полезны, не сомневаюсь, хотя я знаю вас очень недавно. Видите ли, мое положение было когда-то сходно с вашим, я попробовал оторваться, мне удалось, и я докатился, я не блуждаю теперь, пристал прочно, пристал к кораллам, я тоже коралл, мы строим...

— ...Стремим...

— Что?..

— Советское сокращение: «Стремим — строим мир».

— Ну что ж. Надуманно, но — недурно... А сейчас я вам расскажу притчу об иных современных строителях... В тысяча девятьсот двадцать восьмом году уездный бухгалтер, нудный, приличный, и уездный врач, наркоман и ханжа, вспоминают:

...1903 год. Москва. Большой театр. Встречаются они, приятели: слушатель курсов Езерского (он подает еще иные, не бухгалтерские надежды: по-русски даровитый человек — немного певец, немного художник, у общага отпоролись пуговицы, взгляд на мир изумленный) и студент-медик, еще тоже юный, еще не нюхавший жизни и наркотиков. Медик — эсер, только что выпущен из тюрьмы. В нем радость свободы. Обнимает друга. Оба в люстровом свете. Оба в зеркале во весь рост. Видят в зеркале: оба в восторге от себя, от «Кармен», от жизни.

...Теперь вспоминают: уездный больничный бухгалтер с дурно пахнущим ртом, с огромной бородавкой у глаза, похожей на редиску, и врач — наркоман и ханжа. Потом вздыхают и говорят, мечтательно и о с т о

рожно понижая голос: «Да, хорошее было время!..» Смотрят в зеркало, вдруг конфузятся и умолкают...

Я помолчал, заглянул в аллею, посвистал, послушал. Оркестр играл неумело, вразброд: ксилофоны звенели о масленице, церковные терции кларнетов были печальны. Тип, сидевший поодаль от нас, отбивал такт на жестяной плевательнице.

Я сказал нарочно задорно в оркестр:

— Вы свинья, апельсинчики! Для чего вы рассказали мне эту притчу? Ведь я не похож, не буду похож на них — мне нечего вспоминать...

Он кинул в обрыв бумажную стрелку.

— Это не притча. Друзья судились недавно за растрату в здешней больнице. Доктор — мой дядя. Я был общественным обвинителем... А вы наперед различайте белые кораллы от красных...

V

НОС ИЗ-ПОД КОЗЫРЬКА

Говорили о счастье скучно. Ели ранние китайские яблоки, сухие и терпкие. Хотели молчать. Опять слушали вечер, стрижей. Стрижи насквозь просвистали небо, июльскую эту синь, тишину, теплынь, счастье.

Это — июль. Мы — это я и Людвиг Гоц. Мы молчим. Перед нами восток, еще вечерний, еще по-вечернему пустующий огромной синевой. В нем будущее утро, привычное как день. Перед нами — надежды на счастье, на будущее, наверное близкое утро и полдень. (Надежды расцветают быстро, как плесень — в одну ночь. Мы верим — они расцветут.) Перед нами июльский двор, заваленный золотыми вечерними жерновками.

И я вспоминаю другое утро, другой вечер, иные камни в закате и северный, не здешний апрель. Я вспоминаю, хочу рассказать Гоцу (теперь я знаю: у нас есть общее, несмотря на разные разницы). Я хочу рассказать и я говорю (немножко не просто, немножко напевно и наивно, и чуть хорошо, ибо меня взволновал в свое время этот нездешний апрель).

— Утром я улыбался утру, взрезал журнал перронным билетом и ел вокзальные пирожки, невкусные

и сухие, как бородавки. Утром я улыбался утру и думал о вечере. Утром я встретил пыльного друга. Чихая от солнца, мы вышли на площадь. Мы встали в тени от царственной туши, мы стряхнули с обшлагов пушинки и проверили свои часы по вокзальным: часы моего друга были на триста минут впереди. Байкальская хвойная тишь спокойствовала за пятью этими часами, и прозрачность Святого моря, давно переставшего быть святым; переспорила небо. И здесь на площади я прочел своему другу мрачные стихи, весело сочиненные на вокзале, в буфетном содоме. Я прочел их из-под козырька, философски:

Дежурит дверь. Ложится ложь.
Скучает пыль. Кричит полуда.
И дышит грим. Ну, как поймешь
И кто поймет —
Сокрыто что: дрянное чудо
Иль драгоценнейший помет?

И погода добавил (в духе раннего Блока, как мне казалось):

На крышах плавилась полуда,
Желтел на улицах помет,
Но верил я, что будет чудо
И что душа его поймет.

Я не пояснял, что то и другое сочинил на заранее заданные себе трудные рифмы: пусть думает, что чистое вдохновение...

...И утром мы проехали через город, дымивший в апрель и в ветер. Мы чихали от солнца и улыбались кондукторше. Мы смеялись утру и шутили о вечере.

А вечером мы ходили по набережной, дышали ветровой свежестью ледохода, сосали конфетки и говорили о пустяках и о жизни. Полузатонувшая барка билась у моста. Ее забросило на бык хмелеющим ледоходом. Она билась, как сердце, и скоро перестала биться.

Мы сосали конфетки. Тысячелетние сфинксы виляли над нами тощими бедрами, и незнакомый младенец в исполнинской фуражке приблизился и спросил нас:

— А что, нос у меня под козыльком?..

Младенец был очень серьезен, закатные пятна пламени у него под ногами, как флаги, он важно топтал их, вечерние эти плиты, и мой друг сказал ему:

— Да, все в порядке.

Мы угостили младенца конфетой. Мы еще раз взглянули на его каблучки, сбитые невским гранитом, и пошли в Румянцевский сквер — лентяйничать, нюхать тополевые почки.

Мой друг был спортинструктор и фантазер, недавний Байкал синел у него в глазах безмерной романтикой, друг брызгал в меня сладкой слюной и говорил о чем-то хорошем...

Это — вечер апреля двадцатого дня. Он был в меру свеж, в меру тепел и насквозь весенен.

Через неделю плыл по Неве талый ладожский лед. Он был хрупкий, легкий, как песенка, и нежно звенел голубыми стеклянными иглами, торжествуя простором, близостью моря.

Это — вечер. Это — опять невский, насквозь апрельский лирический вечер. Он во многом, но не во всем схож с тем, который хотелось забыть и запомнить. Я провел его, одиночества на Неве. Ему предшествовали день и утро, привычное как день.

Утром я случайно узнал:

Мой друг, сибирский романтик и фантазер, душа-человек, в настоящем — студент Института физической культуры, оклеветал двух друзей. Других, не меня, но которых я знал, как самого себя.

В это утро я потерял и отринул друга, и ветер был не во всем схож с тем, последним, который хотелось забыть и запомнить. Я думал не о жизни и не о счастье. Я думал просто о завтра.

Завтра, на следующий день, я пришел в коллектив ВЛКСМ чужого мне института, я сел в кресло, неудобное до боли, заявил о том, что мой друг — клеветник, и поручился за тех двоих. Мне поверили. Я должен был это сделать и сделал.

Это все. Это — апрель. Городской поспешный апрель, иные камни в закате и ладожские талые льды. (Тогда славно пролентяйничать вечер, ходить под нездешними сфинксами, дышать ветровой свежестью ледохода и нюхать весенние бойкие почки.)

А теперь — уездный июль. А теперь стрижи насквозь просвистали небо, теплынь, тишину, счастье....

...За окном — березовая нежность, и Людвиг Гоц с подоконника дружески улыбается мне.

Подоконник исклеван воробьями и рыж.

VI

БАТА ИЗ УХА

Николай Иванович Гоц сказал мне сегодня (с пальцев его свисали старые фотопленки, мы вдвоем скучали в его павильоне; картонные пропилен сизели вечерне, меж колонн силуэты раскинули руки, силуэты клонились христами, распятые тени их были лучисты), Гоц сказал мне, плавая ангелом по ателье:

— Я полечу! Вот увидите, я полечу через неделю.

— Куда и на чем? — спросил я вяло.

Гоц приложился щекой и ладонью к стеклу. Стекло павильона сквозило двором, лиловой прохладой, через плечо он сказал негромко:

— Виктор, я очень, очень рад. Больше чем очень... Полечу я на привязном аэростате. Полк будет производить зенитную съемку местности. У них нет фотографа. Комполка, с которым вы познакомили меня в прошлое воскресенье, предложил это мне. Понимаете? Конечно, я неверно сказал — «полечу»; я просто поднимусь на старой дрянной трясогузке, но все-таки, все-таки это огромное счастье... Ведь я облетел полнеба, Витенька, теперь меня тешит дутый пузырь на ниточке... Я осуждаю себя, определенно осуждаю...

Гоц стоял вполоборота ко мне, такой земной, грузный, и поднятой рукой с извечно сведенными пальцами словно бы присуждал себе приговор.

— Но...

Он неожиданно выпрямился. Расставив ноги, раздув усы, вдруг стал он похожим на соленого шпипера из Стивенсона, который вот сейчас крикнет, радуясь лихому штормяге: «Тысяча ведьм в бочке эля!»

И он выдохнул нежно, как серафим:

— Но, Витенька, я не могу не восторгаться... Ведь я...

Я перестал слушать его. Он, наконец, просто смешон. Я смотрел вокруг себя, на ателье, которое было волшебным, как все фотоателье ночью, и думал свое.

Прежде я мыслил приблизительно так: пока буду учиться. Это самое главное. Питаюсь я неплохо, зарабатываю на себя чертежами, у меня превосходные способности, ясность ума, хороший желудок, зоркость, как

у ирокеза, впечатлительность аффектирована: каждый день, час, минуту — новое, словно только что родился и уже брожу по Луврам. Буду пока учиться! Благополучно кончу — стану работать, строить, стремиться... Черт возьми, чем мы хуже! «Исполнишь дневный долг — и можно вкусно жить и радоваться вкусно...» Впрочем, я не карьерист. И моралей я никаких не потопчу — я не чувствен. Буду ходить в чувяках.

Я мыслил так и о том, как и о чем мыслит девяносто процентов беспартийной учащейся молодежи. Отношение мое к соввласти, к строительству социализма самое-самое: что полезно всем, полезно и мне. По направлению ума, воли к труду я — утилитарист: семь раз отмерь свою жизнь, пригони ее к обществу и совершай пользы — большие, малые, какие сможешь. Разумеется, между восьмидесятниками прошлого века с их «маленькой пользой» и мной нет сходства: те — нытики, а моя впечатлительность, слава богу, закручивает меня берестой из-за любых пустяков. (Что ни говори Людвиг о пассивном созерцательстве.)

Я думал приблизительно так. И я полагал в свои двадцать два года, что это — мое навеки нерушимое мировоззрение и я обеспечил им себе прехорошенькую жизнь.

И вдруг вот сейчас, видя браконьерские баки Гоца и в руках его пленки, стекающие меж пальцев, как сельди, — опять и снова внимая его глухим (в стенку, в ладонь) мечтаниям о полете, я почувствовал, что скоро сам полечу и уже полетел, не то в астральные сферы, не то с кровати. Я теряю черт знает что из-под себя и себя самого. Проклятое лето! Потерять себя легко, как вату из уха...

В памяти свежесодранной заусеницей — недавняя беседа с Людвигом. Как всегда, она состоялась вечером и началась шуткой.

Людвиг делал гимнастику. Он был гол совершенно. Одинокие трусики распластались по стулу, как крылья. Плясал пол, валились носами на пол портреты со стенок. Я наблюдал и грыз веточку. Людвиг мило спросил, перегибаясь вперед:

— Как, по-вашему, я сложен?

— Пополам... — ответил я, выплевывая кору. — Пополам, Люля.

...Гимнастика кончилась. Волосы упали ему на лоб, как у скрипача. Рыжая прядь волос сломалась, как молния. Трусики полетели через комнату гигантской бабочкой.

— Вы культсволочь, Виктор! Ваши каламбуры не-кстати — это мне репейник под хвост. Что я, лошадь, — вас слушать!..

Через минуту мы помирились и уже трепались, как флаги.

Подобно всем совершеннолетним интеллигентам, сходясь на пару слов, мы говорили о вещах, которыми каждый в отдельности не занят ничуть. Решив, что, вероятно, современные греки свои древние пропилии пропилили-проели, назвав Христа полубожественным проходимцем, мы сочинили эпиграмму на любого из нас: «Я широкая натура или узкая? Не натура. Просто дура! Просто русская!..»

После говорил Людвиг.

— Наши разницы. Конкретно. На грубом примере. Увидя, припомня неизвестного человека, упавшего в уличную лужу, вы непременно скажете: «Он рухнул, как Перун...» Я скажу: «Нализался, бедняга...» Ваша оценка события — всегда эстетическая, созерцательная. Моя... Я затрудняюсь ее назвать... И вы и я можем одинаково заключить о социальном положении упавшего (если это необходимо) по его костюму, лицу, рукам. Но вы скажете: «У него холщовое лицо — он рабочий.» Я: «У него усталое лицо — он рабочий». Оба вывода субъективны. Но ваш вывод случаен, он не нужен вам. Эстетская оценка — самоцель. Она бездейственна. Она образна от безделья. Общественная (и отчасти этическая) — повод к действию. И в ней — всегда прямой намек на причины явления.

Слушайте, Виктор... Ведь недаром в вашем вчерашнем рассказе о многих вечерах главное: не потеря друга сама по себе, не разочарованность, не ваш честный донос — этот живой гражданский долг, — а вся лирическая совокупность настроенческих деталей: северный апрель, вечерние плиты, хороший человек рядом. И причина взволнованности — свежий взрыв памяти о тогдашнем провале благополучного настроения, провале, возникшем от потери одной подробности — друга под боком. То есть нарушенное равновесие индивидуалиста...

Ведь так, ведь правда?

Людвиг стал возбужденно одеваться.

— Немножко нудно,— зевнул я,— и не совсем материалистично...

Людвиг входил в широленные белые штаны, как в сугроб.

— И узкие же, черт, брюки,— сказал он, по-мощась.

— Н-да, это вам брюки, а не пара пустяков...

VII

КРАХ ПОЛНЕБА

Прошлой зимой на экскурсии в криминологическом кабинете я видел почку пьяницы. Я видел ее один только миг: групповод увлек нас в другой конец зала, чтобы показать необыкновенно прекрасные способы лишать себя жизни. Он вдохновенно водил руками, чтобы очаровать нас легчайшей прелестью харакири. Он трясся в восторге, как дервиш, раздвигая на себе шелковые путы, и вращал огромным кинжалом над собственной чесучовой рубашкой. Я смотрел на его мирную чеховскую бородку музейного работника, на его клокочущий эрудицией рот — рог избытия всяческих смертей и убийств — и сквозь ходячую эту, облеченную в чесучу методику преступлений видел, помнил одинокий на блюде, вздутый слизкий комочек, смертельно налитый алкоголем. Я запомнил его таким — безысходно смертельным...

...Сейчас в июльской живой вышине одиноко висел он над нами, вишнево-грязный, неопрятный слизняк.

И как же все это было непохоже на веселый заплыв самолетов!..

Пожарный авто скребся по земле, блистая кухонной медью и звеня, как гусар. Канат визгливо раскручивался с барабана, на котором наверху в обычное время штопанный брезентовый рукав (на пожаре он прыскает из множества щелок, как перепревшая сосиска, а после неделю сушится на каланче, оттянувшись откуда-то с колокола, как пневматик от водолазного шлема, и, как ту ленту, что тянет из носа фокусник, мотают его внизу мальчишки).

Аэростат поднялся к вечеру, в закатный вечер зюйд-ост, когда тени на земле тают, и тени эти — память

о солнце, когда ищешь теплого друга, чтобы проскучать с ним до ночи, когда запад пахнет раздавленной вишней.

Поднялся он к вечеру, потому что зенитная фото-съемка днем невозможна — тени и контуры между собой тогда одинаково резки, как на Луне.

Краем неба в восток ссыпались ивовым цветом, сережками мелкие облачка, югом шла туча, иссиня-белесое облако с градом. Облако походило на пуделя в профиль. Рычал первый гром — облако начало лаять.

Аэростат устрасился грозы. Он уже начал спускаться, являясь из облачной пены, как Афродита из пены морской.

Мы не дождались его спуска на землю. Людвиг торопился в уком, нужно было разбирать поступившее по комсомолинии заявление на кулака, у которого где-то зачем-то гниет пятьсот пудов хлеба. Не знаю, почему я увязался за Людвигом и как прошел я на закрытое заседание в бюро коллектива. Я думаю, что Людвиг нарочно повел меня туда.

Недавно я делал доклад для сезонных рабочих на нашей стройке на тему: «Весенняя кампания хлебозаготовок в 1928 году».

Докладчиком я стал по поручению профсоюза и сам едва ли верил в то, о чем говорил. Но говорил, как всегда, увлекаясь, и азартно доказывал необходимость принудительных мер.

Можно представить мое изумление здесь на ячейке, когда я узнал, что заявление на запасливого кулака поступило от сына его, молодого парня, работающего у нас на стройке (он хочет быть комсомольцем, но пока еще беспартийный и материально зависит от отца, хотя против его воли пошел работать в город). Но не о нем совещались, совсем не о нем. Людвиг говорил обо мне. Он указывал собранию на истинную причину поступка этого парня: мой доклад.

Я смотрел привычно, доверчиво на его большие теплые руки, на млечный серпик, чуть видный из-под часов на загаре, и недоверчиво — на группу футболок и форменок, сидящих напротив. Какой я, в сущности, психопат: для того чтобы я поверил в идею, которую сам проповедовал, мне нужно непременно убедиться, что с моих слов в нее поверил и ей подчинился другой человек. Так было и с моим мнимым «живым гражданским долгом» по делу о клевете. Ведь исполнение этого долга существовало лишь в моей нелепой фантазии, когда я,

не зная зачем, рассказал Людвигу о «лирических вечерах». И когда я увидел, что Людвиг сочувственно верит мне и сам, не задумываясь, поступил бы не иначе, я понял, что могу теперь сделать то же...

А здесь сейчас Людвиг сказал, разгоняя ладонями перед лицом зеленый табачный дым и улыбаясь нам через него и сквозь пальцы, как в беседку, обвитую хмелем:

— ...Товарищ Сомов еще не наш... Его психология годится собаке под хвост... Нам с вами, ребята, нужно начать, а ленинградским товарищам закончить его перерождение. Из интеллигентского «ни рыбы ни мяса» славно склепать бы хлесткого комсомольца. Ей-богу, ребята, стоит попытаться. Не выйдет, так бросим, и он сам бросит, коль не под силу, а только он способный парнишка, да и как-никак будущий специалист, вы же у него под начальством поработаете. Надо его прибрать к рукам...

— Я протестую! — сердито сказал некто. — Я протестую!..

Обернулись. Сперва слышали только сопение, точно некто шуршал макинтошем. Потом из угла, где диаграмма примерной статистики жертв мировой войны по полугодиям изображала большие и малые бочки, из прокуренного этого угла вылез, как из бочки, жирноволосый субъект с крошечными кукольными ушками и резонно сказал в дым:

— Интеллигентов дохлых ублажать, а своим ребятам ходу нет! Я протестую!

Стало тихо. Подуло от окон, и бумаги побежали по столу. Людвиг фыркнул.

— А, это ты, Микеша!.. Здравствуй. Что же ты сегодня не накрахмален? Ну-ка, просклоняй слово «дитя». Ну, ну, не стыдись. Небось «мать» умеешь склонять!.. Сними-ка майку, сделай милость, сними... Ух, как она у тебя пропотела — впору кумыс квасить. Подними руку. Да выше, выше... Смотрите, ребята, на Микешину подмышку — ни одного волоска, как у поросенка под хреном... Лучшая в мире для выведения волос паста «Элен». Экстра! Прошу убедиться.

Микеша ушел к себе в бочку под аплодисменты и хохот, неся на руке майку, как тореодор красный плащик.

— Ну как, ребята, можно Микешу посылать читать доклады о культурной революции?.. Политучебу и про-

сто грамотность еще раскусить не удосужился. На производстве лодырь. По воскресеньям гуляет по саду в манишке: «Лидочка, суньте мне палец под мышку... Не бойтесь, не откушу. Новейшее достижение культуры — паста «Элен». Гладко, хоть шаром покати. Красота, как из пушки!.. Любите меня, Лидочка. Все артисты употребляют...» А на собрание приходит в трехгодичной майке, продубевшей как мех кузнечный... Мол, я — комса, мне и грязь нипочем!

Ночь провели мы на вокзале, встретили шведских пионеров.

Я люблю ночные официозные встречи в провинции. Это бывает так: точно рассчитано место, где станет вагон, распорядители с поднятыми воротниками серьезно откашливаются, отгоняют зевак и торговок, демонстранты возбуждены, говорят почему-то вполголоса, зябко поет за спиною заборчик, взгрустнулось тарелкам в буфете, и вот подходит поезд, по-ночному тихий, замороженный поезд. По-ночному запотели окна, в глазах стасованы картами окна, глазами рассыпан пасьянс, нет-нет и наконец счастливой картой, тесной червонной пятеркой в одном окне все приезжающие. Нервная дрожь фанфар, льются знамена, в рядах смятение. Бунтуют подбородки, каждый хочет быть выше соседа. Вагон проплывает мимо, дальше, дальше на десять сажен. За ним, спутав ноги, по ночному перрону, кричащему галькой, за ним! И вот уже гости в самой середине, и вот уже бойкий мальчик на наших плечах гибкой желатиновой рыбкой, и незнакомые хрусткие слова прячем мы по карманам, стараясь запомнить, и в корень растревоженный яшень сыплет на нас росу...

Людвиг сказал мне сегодня — мы направились с вокзала домой, мы вошли в рассвет, как в воду: зябко смеясь, подсакивая, толкаясь плечами, — он сказал резко:

— Портим ребят. С детства привыкают к незаслуженным помпам. Очень плохо! Детские делегации, приезжающие к нам с определенной самовоспитательной целью — узнать наш быт, школу, посмотреть, научиться, — нельзя так барабанно встречать.

— Ах, вы не о том, Люля!.. Поговорим о другом! Слушайте, Люля!..

Я схватил Людвига за руку и, оступаясь с мостков, сжимая его пальцы, забормотал:

— ...Слушайте, Люля. Видите там, под забором, козу? Она сию минуту проснулась и, встав на коленочки, строго глядя на нас, сдирает афишу. Козы мнительны. Она уверена, что мы подойдем и ударим ее, как скотину. Тогда она побежит прочь или начнет бодаться. Козы мнительны... Смотрите, у нее улыбка Джиоконды. Смотрите, она уже встает на ноги, продолжая завтракать.

...Слушайте, Люля. Вы не правы были в тогдашнем вашем примере об упавшем с холщовым лицом. Тяжесть разницы между нами — не в моем эстетическом восприятии, а в вашем ж а л о с т н о м. Помните, вы сказали: «Бедняга! Он упал, бедняга...» Помните? Так вот где разгадка!

...Смотрите на козу, Люля. Смотрите — она еще совсем молода. Но она уже не знает жалости. Но она не предполагает жалости в нас. На это есть у нее основание; хозяин обкорнал ей правое ухо, чтобы заметить беглянку всегда. Основание достаточное, как кворум. Не правда ли? Коза рассуждает так: «Жалость — оскорбительнейшее богоданное чувство. Желаящий жалости к себе презирает себя. Берущий жалость ненавидит дающего. Люди, конечно, отринули жалость. Они не станут кормить нас ватрушками. Будем жевать афиши, остерегаясь людей...» Козы мнительны, Люля. Я мнителен также. Я не верю в жалость.

...Слушайте, Люля. Вы славно говорили обо мне сегодня в укоме. Я рад, очень рад. Но ведь это вы просто так, пожалели меня: такой молодой и такой неприспособленный... Да? Ведь так, пожалели?.. И совсем не нужен я вам, я не ваш, а только ровесник вам, понимаете, ровесник, которого нужно обезвредить, обманув его жалостью.

...Слушайте, Люля. Что же это такое? Это романтическая ошибка, Люля. Я же совсем не жалкий... Только вчера я получил пакет из Москвы, солидный казенный пакет размером тринадцать на двадцать, со штампованным адресом сверху, печатным адресом отправителя. Меня извещают, что мой проект ночной сигнализации на аэродромах премирован на конкурсе... П р е м и р о в а н! Делайте выводы сами... Значит, я буду работать с вами в контакте (какой машинный язык: «в контакте,

смазать, пустить вхолостую, перегрузка, поистерся, перегорел...») Значит, меня не придется жалеть, если я не влипну в заговор; значит, и от меня не потребуют жалости. Я — творец, властитель мертвых вещей!.. Это вы будете членом губКК, облКК, ЦКК, верхсудов, трибуналов, это вам иметь дело с лишненькими и жалостью...

...Нам не быть вместе. Нам не быть карбонариями, идущими рядом. Мы с вами — как жених и невеста, хромающие на разные ноги: вы на жалость, я — на впечатлительность без жалости. Представляете себе прогулку такой четы вокруг аналоя... то бишь коллектива?..

...Я скажу больше. Иное. Некстати. Поднимите голову, Люля. Смотрите вверх. Что видите там вы? Что? Небо?.. Чудак вы! Это всего лишь полнеба! Чудак вы. Вы пытаетесь светить. Вы накрываетесь глупым голубым абажуром и говорите: «Я — свет, я — факел, я — истина!» Ничего подобного. Вы — лампа, Люля. Дрянная коптящая лампа. Факелы не нуждаются (и смешны) в абажурах. Докажите, что истина — вы, а не лампа. Отдайте мне ваши полнеба. Мое и ваше составят все, «целое». Понимаете, мне нужно целое!.. Понимаете, без него я буду подобен вашему брату, облетавшему только полнеба и коптящему теперь землю...

Он вырвал руку, отрезал себя от меня.

— Понимаю. Подите спать, Виктор. Понимаю. Вы нанюхались ночи и утра. Подите спать.

...И действительно — было утро. Небольшое утреннего цвета шлялось где-то за забором. Утро резало забор вдоль и поперек по щелям. Светлые щели на мрачных щитах выглядели конспиративно. Если в них заглянуть, можно увидеть там заговорщиков. Они сидят на капустных грядках и пьют утренний кофе. Он журчит, как эпос. Тут же цыплята. «И ты, Брут!..»

В эту ночь Николай Иванович Гоц умер от жесточайшего приступа астмы. Его привезли с аэростата уже в припадке.

VIII

КРАХ ДЫНИ

Я стою на виадуке, дрожащем и улетающем в небо, насквозь прокопченном мостике над путями, секущими город. С него хорошо плевать вниз на

рельсы и наблюдать окрестность, воображая ее себе швейцарским кантоном.

Завтра уездный мирок этот станет мне бывностью.

Я решил сегодня вспомнить все, что было, ушло и пришло этим летом через меня и ко мне.

Я хотел вспомнить все большое, но память моя рассыпалась — одни прекрасные мелочи пересчитывал я, как грехи.

Большим должна была стать практика, отчет о ней я везу в институт. Но она не удовлетворила меня. Правда, работал я охотно и весело, но...

(...Ведь обычай молодости — наслаждаться процессом всякого труда, как писанием своей фамилии равно — на облаках или на заборах. Чувствуешь, что ты нужен, тебе поручают, тобою довольны, и знаки своей работы, усердия, сметки ты оставляешь как птица, не заботясь, не видя — шиш точка приложения твоей силы или венец творенья. Что делаешь ты — все важно, трудно, ответственно, интересно. Сделал, кончил — забудешь эту вчерашнюю шутку...)

...Практика не удовлетворила меня. Ряд каждодневных удовольствий пришлось зажать скучнейшим отчетом, чтобы сотворить целый один парадокс — из него нужно было заключать, что я научился «всему» за лето, когда сам я тому заключению не верил ничуть. Все части были разрознены в процессе работы, проделал я их суматошно (как являлось удобным прорабу и удачной погоде), и связать их в отчете пришлось по учебнику. Целое по-прежнему дразнит меня. Оно далеко и близко. Оно как качели...

(...Хотя, может быть, я и не прав? Опыт — это пиджак, он сшивается из кусочков. Так сказал бы Мендель Маранц...)

Кроме дней, которые я проводил на стройке, затмевая солнце бедуинским загаром, в памяти моей еще вечера. В первый месяц они были затрачены на безделье, дружбу, беседы, мечтания, отдых. Тогда я сидел на дне сладкой дыни, спелой, как туча, ел, пил, а горькие семечки сплевывал под себя. Когда накопилось их много (слишком много), я заглянул через край. Кое-что я увидел. Я вылез из дыни и пошел, а семечки — проклятые вопросы моих бесед и мечтаний — рассовал себе по карманам. Я разгрыз их теперь почти все. Последний месяц вечеров моего уездного лета стал мне прогулкой, отнюдь не беспечной. Газетным языком мож-

но определить ее так: по настоянию Людвига я «вошел в комсомольскую среду и начал принимать живое и близкое участие в работе уездного комсомола...» Ха!.. Нет, об этом я лучше вспомню зимой. Для этого нужны какие-то особые — простые, негромкие и проникновенные слова. Их у меня сейчас нет. Даже мои сиюминутные определения этих слов пошлы («негромкие! проникновенные!» Тьфу!) Я могу сейчас лишь собрать кой-какие итоги...

Я видел:

По площади мальчишечка в синей рубашке тащил толстенный обрывок каната. Канат упирался, полз, как удав. Мальчишечка, вздымая вселенскую пыль, волочил его, зажмурив глаза, ободрял себя уханьем:

— Ух, раз еще берем! Мы, ух, еще возьмем!..

Он скрылся в канаве. Травы текли за ним в погоню. Колючие бурьяны заграждали пути. Страшные лягушки прыгали перед ним, как гранаты. Но мальчишка победоносно вышел у переезда на тропку и влез на насыпь, таща за собой мочальный трофей.

— ...Ух, раз еще берем!..

Где-нибудь в стороне на ржавом пригорке сидит стайка голопупых ребят. Они ждут собрата, возвращающегося с ответственной авантюры. И он не замедлит прийти к ним с богатой добычей. Он знает, что его послала единая воля, она обеспечила его силы, и это — вся артель, а не он только, Гриша, тянет прекрасный, тяжелый и страшно нужный им всем огрызок веревки. И вся артель поет вместе с ним упрямую песню:

— Ух, раз еще берем! Да мы — раз еще возьмем!

Мы — коллектив!

Я кстати увидал мальчишку... Эта сценка — немудрая интерпретация моих собственных мыслей. Со времени того нелепого предутреннего разговора прошел ровно месяц. После него мы с Людвигом не говорили откровенно. Но я знал: он недоволен мной, тогдашним, ночным. Мое состояние определилось для него одним традиционным словечком: «упадничество».

В нем все: впечатлительность, умничанье, «образо-мания».

Под жизнь вместо длинных, простых и заведомо прочных шпал я вздумал подставлять короткие, хрупкие, интеллигентские, даже не палочки — пальчики, изнеженные привычной эстетикой, пульсирующие ветхозаветной кровью, якобы лейкоциты в которой — добро,

шарики красные — зло. (Экая медицинская безграмотность!) Этика и эстетика были для меня единственным мериллом тяжестей жизни.

В двадцать два года легко смешать эталоны. В своем полуночном бреде я смешал их. Тогда я сам не мог бы раскрыть все символы этого бреда.

Сейчас, смотря с виадука на пролеты дальнего моста через реку, на пять железных этих дуг, которые есть не что иное, как материализованные кривые графика пути великана, в пять огромных прыжков перешедшего на тот берег, — сейчас я раскрыл символы. Объяснение не длинно, ибо всамделишное всегда короче фантазий, как рекламируемые подтяжки короче рекламы.

Я рядовой интеллигент, вузовец, послереволюционный юноша с неустановившимся мировоззрением, с чрезмерно развитыми зоркостью и фантазией, с довольно тонкой душевной организацией, быстрым, легко ассоциирующим умом. Я — вне классов, попросту — мелкобуржуазен. Я чуть сентиментален (но без жалостливости), немного лирик, много — эгоист, насквозь ироничен и, вероятно, буду... хорошим практиком. Люблю свою дело. Это все. Это серьезно и обычно.

Дальше романтические надстройки.

Жизнь для себя я прежде символически называл своим небом, в котором я стану летать и летаю уже. Потом я понял (вернее — меня заставили понять еще в школе), что есть другая жизнь — для общества, которую приходилось назвать по моей фантастической терминологии тоже небом. Волей-неволей я должен принимать в ней участие. Существование пары небес трудно представить. Возник очередной силлогизм: «для себя» я владею только полнебом. Вторая половина органически чужда мне, она светит и не греет, она улетает от меня, как воздушный шарик, ибо служение обществу — дело «не для себя». Отсюда — патологическое чувство потери части себя в процессе любых, всяческих (творческих или исполнительских) работ.

Типично индивидуалистическая философия, искривленная досужей фантазией подростка (заиметь ее, философию, может всякий интеллигент, начитавшись Штирнера и ему подобных), — по существу она вульгарна.

Из юношеского упрямства (противоречий кругом было много, и я сам, повторяю, по натуре — веселый практик) я исповедовал эту гимназического привкуса

веру по сие время. К тому же в начале этого лета я встретил, узнал конкретного, живого, физического носителя любимого моего образа. Он стал интересен мне...

Он умер... носитель... Умер нелепо. Ушел от меня с ним и образ, ребяческий, ненужный, головной...

Конечно, смешно рассчитывать, что я совершенно изменился за лето. Не так это просто. Но все же хорошо теперь уже то, что я ощущаю (опять не то слово!) коллектив и себя частью этого коллектива. (Я выражаюсь книжно, но чувствовать хочу так: «Мы — раз еще берем! Да мы — раз еще возьмем!» Так лучше!)

Насколько прочно это ощущение, покажет будущее. Во всяком случае, я не упадочник, и никакие раздвоения теперь меня не томят.

Переродиться, конечно, трудно, но в двадцать два года все-таки легче, чем позже. И стоит и должно попробовать: мне оказано доверие, и я как-никак «способный парнишка».

(Ведь казенный-то пакет со штампованным заголовком есть и на самом деле, он не выдуман, и размер его действительно 13 × 20.)

То, что в наших беседах сказано мною Людвигу о нем — чушь. Он почти такой же, как я. Разница лишь в том, что он меньше отравлен дрянными учеными книжками (индивидуалистической масти, конечно; вообще-то он учился в комвузе) и раньше меня укатился от дедушки с бабушкой коралловым колобком.

Я все-таки удивляюсь подобным мне человечкам. Мы — молодые. Мы — радостные практики. Веселые творцы мертвых вещей. Но как только дело доходит до самоанализа — мы б е с п у т н ы е п у т а н и к и! Проверку нашей идеологии не можем мы сами делать. На совесть придется наклеить бумажку:

«Себе вход воспрещен. Для посторонних — свободен!» (Обратное гоцовскому: «Гоц обедает. Голым не входить!»)

У меня все же есть одно преимущество: я могу иногда иронически взглянуть на себя и при надобности брезгливо отвернуться, как от уродца в спирту. Но этого мало. Нужно решиться разлить спирт. И расправить конечности. Зимой я попробую вовсе опрокинуть банку.

Когда-нибудь, когда я «стану большим», проживу целую жизнь и облетаю все небо, я напишу книгу жиз-

ней таких, как я, удачников и счастливцев. Им угрожал в свое время рок—стать лишенькими и похоронить себя на дне сладкой дыни под горькими семечками «проклятых» (банальных!..) вопросов. Но успели они срочно выпрыгнуть из обывательской дыни и вот пошли по земле, грызя семечки, пошли по земле, как по небу,— счастливой и беспокойной походкой.

Я стою на виадуке, летящем в небо, как скрипка, на прокопченном этом мостике над путями, секущими гор-род.

В жару над рельсами, уходящими в солнце, дрожит и тает беловатое сияньице. Оно вытапливается из рельсов, как некая глюкоза — такой молочной свежести сок выступает на параллельных тончайших краях стебелька одуванчика, разрезанного вдоль.

Налево от насыпи: рабочий поселок, веющий жимолостью палисад, тревожная, окровавленная свиними бойнями речка, за ней аэродром — зеленой спокойной ладонью, на краю его семафоры кивают синими пальцами, дальше — русые шевелюры стогов.

Направо: площадь, навозные дюны, козы, часовенка старушечьим кукишем и город.

Это завтра уйдет от меня. Я уже хочу в Ленинград. Я почему-то жду себе от близкой теперь зимы чего-то большего.

Я вспоминаю: Ленинград с Исаакия похож на огромную книгу, с выпуклыми буквами из крыш, рельефов домов. Он похож на две рваные страницы этой книги, разлистнутые от Невы. Хочется не смотреть их, а трогать, закрывши глаза, касаться легкими пальцами, смеясь как во сне...

Теперь я вижу пока:

Двери часовенки распахнулись со звоном, смиренные старомодные засушенки выпали из них на площадь и сразу рассыпались, подбитые ветром, как молью.

Представьте себе:

Берете вы в руки семейный уездный альбом, сучая бездельем в гостях, и размышляете кислогато: «Раскрыть его или не стоит», и хотите уже, погладив золоченый обрез, опять положить альбом на косой столик. Но звонко отскакивает вдруг тяжелая, обложенная медью покрывка, и на колени вам и на пол пыльной террасы сыплются выцветшие желтые карточ-

ки. Вы неловко ловите их, задыхаясь, вы перегибаетесь влево и вправо, у вас сбилась прическа, вы озадачены, гости глазеют на вас злорадно, а любезный хозяин привычно тушит за вас беспорядок. Он проворно отнимает от ветра бумажную ветошь, он плавает вокруг вас и под стулом, шлепая ладонями по полу, брызгая пылью, махая спасенными карточками и, обращая к вам красную от натуги улыбку, ласково так журчит:

— Это ничего!.. Это моя бабушка. Ничего не значит. Золовка моей бабушки. Пустое! Сидите, сидите, я подберу... Мой двоюродный дядя. У его собаки на переднем зубе была золотая коронка. Погиб под Плевной. Помилуйте, какое беспокойство! Его невеста, первая красавица в городе. Что? Да, жива. Печет просфорки для церкви...

1928

ПОЛУНОЧНИКИ

Повесть

ГЛАВА НУЛЕВАЯ

«Ночь была солнечная. В половине второго пришел пароход...»

Так я начал когда-то повесть о маленьком северном острове, о событиях, происшедших на нем ранним летом 1930 года.

Я принимался за эту повесть дважды, в 1930 и в 1934 годах. Один вариант показался мне наиболее приемлемым, и все же я не стал публиковать его отдельной книгой.

Что меня не удовлетворяло? И что мешало понастоящему завершить работу?

В год действия повести я был не намного старше моих двух героев, одного с общественным, другого с антиобщественным темпераментом, — почти все остальные годились мне в отцы и даже в деды. Мне было двадцать с небольшим лет, я с удовольствием вырабатывал в себе ясное и последовательное материалистическое мировоззрение, пристальный, трезвый взгляд на людей, на политику. Одно с жадностью принимал, другое яростно отвергал, в третьем нехотя сомневался — жизнь представлялась мне более или менее установившейся. По крайней мере, в своих тенденциях. С отрицательными тенденциями хотелось бороться, положительные поддерживать, — темп был сравнительно умеренный. «Модерато», как говорят музыканты.

И вдруг началось такое «аллегро»! Все кругом стало неудержимо меняться — люди, обстановка, события. Перемены нарастали со скоростью, которую теперь называли бы реактивной. Пятилетка в четыре года... пятилетка в два с половиной года... строительство Уралмаша, Магнитки, Сталинградского тракторного... Сплошная коллективизация деревни... Ликвидация кулачества как класса... ликвидация частной торговли...

громкие, на весь мир, процессы вредителей... Все это выражалось в четких, жестких словах и уверенных действиях, словно было продумано в веках и давно ждало своего воплощения. На деле многое возникало тут же, мгновенно, в трудовой лихорадке, в партийных спорах, как политическая импровизация, но умение Сталина сделать каждое свое слово весомым, ежедневное повторение каждого его слова в газетах, плакатах, лозунгах завораживало и побуждало к решительным действиям.

Шел Третий Решающий, как привычно уже называли третий год пятилетки. Год, который окончательно свалил нэп под откос и топтал его с таким азартом, что замирал дух у несравнимо более закаленных людей, чем начинающий литератор с созерцательными наклонностями. На наших глазах совершалась новая социальная революция. В отличие от первой, Октябрьской, это во многом была революция декретированная, спланированная, революция сверху (во всяком случае, в замысле и на первых порах), но для нас это было неважно. Несмотря на последовавшее вскоре официальное признание допущенных в деревне перегибов, всю вину перекладывавшее с верхов на низы, на местное своевольничанье, молодежь не могли не увлечь масштабы и темпы. Было ясно, что нам повезло: мы участвовали в редчайшем в истории беге с препятствиями. А кто из нас добежит, кто споткнется, кто падет замертво — об этом не думалось. Большинство чувствовало себя в отличной форме, сильными и подтянутыми. Замечательная штука — первоощущение!

Рядом с гигантскими, эпохальными событиями мелким шажком поспешал (верней — отставал!) быт. С каждым месяцем, чуть ли не с каждым днем житье-бытье становилось труднее. В государственных и кооперативных магазинах (частных к весне уже не было) беззвучно исчезали продукты и промтовары. Скоро их как метлой вымело, — остался муляж в витринах и пустые коробки на полках. А на смену реальным ценностям снова явились карточки, правда, в отличие от продкарточек двадцатых годов, без стихов и девизов — «Кто не работает, тот не ест», или текстов революционных песен. В 1930 году карточки назывались грубо: «Заборные книжки», и на обороте их были не стихи и не афоризмы, а суровое предупреждение: «Всякие злоупотребления с заборной книжкой преследуются по зако-

ну и предусмотрены ст. 105, 109 и 169 Уголовного кодекса».

Впрочем, нас, молодежь, продовольственные затруднения не слишком тревожили. Разумеется, молодой аппетит свое требовал, тем более что мы с малых лет на себе испытали, что голод не тетка, но романтика эпохи пренебрегала такими мелочами, как условия каждодневного существования, и мы были с ней абсолютно согласны. Да и только ли мы? Почтенные и зрелые люди не произносили громких слов, не читали романтических стихов, не пели бодрящих песен в теплушках,— они просто запирали квартиру, забирали своих изнеженных городской жизнью жен и детей и отправлялись в различные малоуютные места служить и работать.

Вся страна была на колесах. Сегодняшним людям трудно представить себе размеры и характер этого всеобщего переселения,— оно могло бы напоминать хаотическое движение частиц, именуемое в физике броуновским, если бы не имело своей плановности, своих вполне определившихся притягательных центров, в виде гигантских строительных площадок.

Весной 1930 года мы с поэтом Александром Гитовичем получили творческую командировку. (Кажется, это называлось тогда как-то иначе, не столь торжественно.) Мы сами выбрали место: Мурман, побережье Баренцева моря,— я с детства мечтал побывать на Крайнем Севере, и Гитович охотно ко мне присоединился. Путешествие обещало быть гибким и разнообразным, мы не собирались ограничивать себя определенными пунктами и какими-либо твердыми сроками: поездим и поживем где и сколько захочется.

Так и сделали. Неделю провели в Мурманске, ново-строящемся окружном центре с немощными песчаными улицами, деревянными домами и доставшимися в наследство от интервентов бараками из гофрированного железа, успевшего с тех пор насквозь проржаветь. В Мурманске я бывал потом не раз, в каменном, асфальтированном; был и в первые месяцы войны, после которой ему пришлось вновь отстраиваться. В 1930 году этот молодой порт быстро набирал силы и международную славу, вывозя лес, клипфиск (нарезанную пластинами обескровленную треску), рыбные консервы, копченую семгу (именно копченую, какой я ни прежде, ни после нигде не пробовал), пятнистую, как шкура ягуара, кожу зубатки (из нее выделявали за границей

дамские туфли и сумочки), хибинские апатиты — сырье для мощного удобрения и для добычи фосфора — и многое, многое другое: стране нужна была валюта (что имело самое непосредственное отношение к этой повести).

Навестили мы и близлежащие городки Колу и Александровск. Один привлекал стариной, захолустностью, контрастирующей с кипучим Мурманском, другой восхитил образцовой биологической станцией, с прошлого века исследовавшей и хранившей в маленьких комнатах богатейшую флору и фауну Баренцева моря, а также типичной северной тишиной своей укромной бухты, где лишь по утрам, когда возвращались рыбаки, безмолвие нарушалось истошным криком чаек.

Наконец, — это было уже в середине июня, — мы отправились на побережье, в Териберку, главное рыбацкое становище Восточного Мурмана. Там мы могли ознакомиться с работой и жизнью большого рыболовецкого колхоза «Красная Армия», участвовать, при желании, в лове трески и сельди, а если немного податься в глубь полуострова, то и форели и семги на перепадах быстрых горных речек.

Вся эта намеченная в Мурманске программа была выполнена, но не сразу, и хочу я рассказать о другом. Случилось так, что по дороге в Териберку мы сперва остановились на острове, казалось бы ничем не приметном, отделенном от материка всего полутора километрами сравнительно мелкого пролива. На этом островке мы застряли... Лишь дней через десять я поехал в Териберку, оставив Гитовича одного — писать стихи о Севере. Стихотворение, посвященное мне, он так и озаглавил — «Одинокое существование на острове». Там были такие, умилявшие нас обоих строчки:

Можно жить в одной косоворотке,
Снять ботинки, вытянуться, лежь.
Жарится треска на сковородке,
Топится, потрескивая, печь...

Через неделю я вернулся на остров, опять уехал, опять вернулся... Остров притягивал меня, как магнит: я видел, что там разворачиваются любопытные события, чувствовал, что они могут стать основой для повести. Другое дело, что написать ее будет, наверно, не просто: так оно и оказалось, о чем я уже говорил в начале главы. И все же мысль о такой повести меня не оставляла.

Но и сейчас (страшно сказать — больше, чем через полвека!), прежде чем попытаться заново ее написать, я долго раздумывал — как это лучше сделать. С одной стороны, не стесняться сегодняшнего «взрослого» взгляда, свободно анализировать давнишние факты и поведение людей, попавших в довольно сложный переплет, с другой стороны — не лишать повесть первых непосредственных впечатлений. Кстати, эти впечатления иной раз неотделимы от слога, от стиля, — пусть я пишу теперь проще и прозаичнее.

Останется в чем-то и наивный социологизм тридцатых годов — тоже естественный признак времени, — хотя я и пытался преодолеть его с высоты прожитого с тех пор полувека: росло и взросло государство, но вырослел ведь и я!

Наверно, эти реликтовые остатки — вроде того небольшого озера на острове, которое в незапамятные времена соединялось с морем, о чем свидетельствуют живущие в нем морские рыбы и характерный для северных морей планктон. Озеро это нынче словно бы и ни к чему, и вода в нем не очень соленая, но оно существует и упрямо напоминает собой о реальности прошлого, что, мне думается, всегда не лишнее. Нынешний читатель привык считать факты всего десятилетней давности уже древней историей. Он часто и не подозревает, что в этой истории немало похожего на сегодняшний день.

Потому я и решил закончить эту давным-давно начатую, казалось бы уж наверняка теперь и с т о р и ч е с к у ю повесть... Разве не похожи ведомственные споры, о которых мы то и дело читаем в газетах, на ту курьезную, на первый взгляд даже нелепую битву, что разыгралась тогда на острове? Другие люди, другие интересы, все другое? Все? Не уверен. Думаю, что как раз, наверное, найдется что-то общее.

Наконец, для меня сейчас никак не меньше значат те нравственные вопросы и задачи, которые стоят перед моим главным, шестнадцатилетним героем. Скорее даже они теперь перевешивают, особенно после моей последней, откровенно автобиографической книги... Пусть он был чуть помладше меня, все равно он — м о е поколение. Потому я начну свою повесть главами о нем, об Ильюше.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Весной 1930 года Илье исполнилось шестнадцать лет. Он жил в Ленинграде вместе со старшим братом. Отец разъезжал по дальним глухим местам, в Ленинград наведывался редко, мать долго болела и в 1925 году умерла.

Трудно сказать, сознавал ли тогда Илья, что Андрей старался как мог, как умел, заменить ему родителей. Он отвел Илью в первый класс, когда сам учился в седьмом, Илья был третьеклассником, когда Андрей стал студентом, нынче Илья кончит школу, Андрей в будущем году — институт.

Быт наладили они без посторонней помощи и в письмах к отцу называли свое хозяйство василеостровской коммуной. До коммуны, возможно, было далеко, но правило — от каждого по способностям — они твердо соблюдали. Установили график обязанностей, с учетом вкусов и склонностей, как в потреблении, так и в производстве. У Андрея лучше получались супы, у Ильюши котлеты, Андрей виртуозно натирал пол, Илья предпочитал чистить ботинки, продукты покупали по очереди, возвращаясь один из школы, другой из института, дрова пилили вдвоем, затем Илья их колол, а Андрей таскал тяжелые вязанки на четвертый этаж.

Главное же — они почти не ссорились, хотя часто расходились во мнениях: войдя в возраст, Илья в любом случае стремился утвердить свою личность. Андрей спорил на равных, что Илья ценил больше всего. Обоих интриговало будущее: будущее близкое, завтрашнее, что ожидает их лично и что будет через пятьдесят лет в стране, на всем земном шаре. Вторая любимая тема — что интересного произошло за день — дома, в школе, в институте. Правда, последнее время ничего особенно интересного не случалось.

Однажды, майским солнечным утром, Илья заспался, Андрей едва его разбудил. Впрочем, он не ворчал, не стыдил Ильюшу, даже не торопил, сказал только:

— Ты как считаешь, Пушкин мог бы стать Пушкиным, а Менделеев Менделеевым, если бы они так поздно вставали?

— За Менделеева не ручаюсь,— быстро ответил Ильюша, мечась по комнате и судорожно хватая учебники и тетради отовсюду, где они вчера были брошены,— а Пушкин бы смог. Пушкин все мог. Проснется

и окунется в бочку с ледяной водой. Затем скакал на коне, не разбирая дороги. И бодрый и освеженный садился за работу.— Собрав книги, Илья остановился посередине комнаты и торжественно посмотрел на Андрея.— Но нигде, слышишь, нигде не сказано, в котором часу он вставал!

— А по-моему, сказано,— благодушно отозвался Андрей.

— Нет, не сказано. Наоборот, говорится, что он любил поваляться и даже сочинял в постели стихи.

— Ну, коня у нас с тобой нет, в бассейн ты со мной не ходишь, стихов не пишешь... Ладно, скажи! — Он положил в карман Ильюшиной куртки (которая, как всегда, аккуратно висела на спинке его, не Ильюшиного стула) заранее приготовленный завтрак, состоявший из двух ломтей серого хлеба, намазанного маслом из неприкосновенного запаса. К весне стало хуже с продовольствием, и Андрей установил рацион, вернее два рациона — один для себя, другой для Ильюши. Он исходил из того, что Ильюша растет, и делил все высококалорийные продукты на неравные доли. Илья кипятился, возмущаясь таким неравенством, но Андрей настоял на своем. Кстати, он уверял, что в 1-й образцовой столовой на Невском читал на специальном стенде, среди прочих научных заповедей: «Одно яйцо равно по калорийности ведру воды».

— Ты съешь яйцо,— сказал тогда Андрей,— а я выпью ведро воды. Будем квиты.

Илья любил, чтобы за ним оставалось последнее слово, но тут почему-то не нашелся, и только вчера, после разговора о Пушкине, придумал достойный ответ.

— А если я размахнусь на яичницу из десяти яиц? — крикнул он, на бегу нахлобучивая куртку.— Тебе придется вызудить тогда целый бак.— И выскочил на лестницу. Мог ли он предполагать, что эта трепотня, эта чепуха окажется действительно последними, самыми последними в их совместной жизни словами, которые он сказал Андрею?..

Вернувшись из школы, Илья не застал брата дома. Не было его и весь долгий вечер. Андрей часто допоздна занимался в Публичной библиотеке или у своего однокурсника Рассопова, для чего ему приходилось ездить за город, в Удельную, где помещалось студенческое общежитие. В таких случаях он оставлял записку: «Ложись спать, меня не жди. Каша (или чайник) в одеяле».

Сегодня записки не было, но Илья лег спать, не дождавшись Андрея. Уже сквозь сон слышал, как тот вошел в комнату и, бесшумно раздевшись, тоже улегся. И вдруг в какой-то момент (потом выяснилось, что под утро, часа в четыре) Илью точно подкинуло на кровати: он ясно ощутил, что Андрея в комнате нет. Было уже светло, скоро белые ночи,— Илья повернул голову и увидел смятую пустую постель.

Он лежал минут двадцать, прислушиваясь: тишина была абсолютная. Наконец, встал, сунул ноги в тапочки, открыл дверь в коридор коммунальной квартиры, заставленный вдоль стен всякой рухлядью, и осторожно пошел в полутьме, стараясь не запнуться за многочисленные галоши, не зацепиться за углы корзин и педали велосипедов.

В кухне Андрея не было (он иногда ходил туда контрабандой покурить,— едва ли не единственный грешок образцового физкультурника), но в уборной горел свет. Илья с облегчением усмехнулся и, подойдя к облупленной, скособоченной двери, тихонько спросил:

— У тебя что, живот?

Никто не ответил. Илья потянул за скобку — дверь была заперта изнутри на крючок.

— Андрей! — снова негромко сказал Илья.— Почему ты не отвечаешь? Брось дурака валять!

Молчание. В кухне было уже совсем светло. Из щели над дверью сочился желтый тщедушный свет десятисветовой лампочки — обычная квартирная экономия.

Илья не помнит, сам ли вышел Любин отец из своей комнаты или он к нему постучал, и почему именно к нему. Вдвоем они дернули и сорвали с крючка дверь. Уборная была пуста.

— Господи! — с сердцем сказал Любин отец.— И кто это опять дверью хлопнул? Крючок-то и нахлестнулся...

Он побрел в свою комнату, почесываясь, поддегивая пестрядинные деревенские кальсоны. Илья, улыбаясь, глядел ему вслед и испытывал почти нежность к этому чужому и несимпатичному ему человеку. С чего Илья вообразил, что с Андреем могло что-то стрястись? Солнце теперь рано всходит, брат мог пойти заниматься в сад или отправился пешком в Удельную. Не предупредив заранее? Так они вечером не видались. А кто может ручаться, что, несмотря на экзаменационную пору, Ан-

дрыша не крутит любовь? Уж об этом-то он никогда не доложит младшему брату.

Пестрядинные кальсоны мелькнули последний раз в дверях Любиной комнаты и исчезли. Илья вспомнил недавнюю банную встречу. Все люди мылись, как и полагается, голые, а Любин отец — в подштанниках, намокших, облепивших худые ноги. «Чудак! — подумал тогда Илья. — Какая-то особая деревенская стыдливость!» Вместе с ним Илья вышел одеваться. Их шкафчики оказались рядом, и тут, на миг, пока Любин отец, украдкой оглянувшись, торопливо скинул с себя мокрые подштанники и натянул чистые, сухие, в такую же розовую полоску, Илья увидел то, что тот хотел скрыть от посторонних глаз. «Эх, бедняга!» — невольно пожалел его Илья.

Как всегда, перед сном рассказывая Андрею о случившемся за день, Илья нашел в себе мужество пошутить:

— Представляешь, этот лавочник прятал грыжу... Неслыханной величины! Кила на два кило! Противно, но факт...

Андрей промолчал, а через минуту сказал:

— Пожалуй, не ходит ему больше в ленинградскую баню.

— Почему? — удивился Илья. Ему было неловко за свою грубую шутку.

— Выселяют, — кратко сказал Андрей.

— Как так? Куда?

Андрей пожал плечами.

— А верно, их пекарню закрыли, — вспомнил Илья. — Недаром Люба ходит зареванная. Раскулачили, значит, нашу пирожницу!

Люба была молодая деревенская девка с заплетенными в косу желтыми волосами, в ситцевом платье, добрая и улыбчивая. Они с отцом торговали на углу Малого проспекта. Фунт хлеба стоил у них на копейку дороже кооперативного, сахар — на две копейки и прочее — соответственно. Сначала Илья недоумевал: зачем покупать в частной лавочке, когда всего за квартал от них кооператив «Василеостровец», где и чище, и без обмана, продавцы в белых передниках, в кожаных нарукавниках. Но потом сам нередко забегал к Любе. Главная приманка была — пироги. Свежие, горячие пироги с капустой, с яблоками, с повидлом, которые Люба с отцом пекли тут же рядом, в пристройке, равно

как и круглый черный и пеклеванный серый с изюмом. Правда, случалось, что изюмина оказывалась мухой, но летом от этого не застрахованы и государственные булочные.

Приехав в 1927 году из деревни, Люба и ее отец ютились сперва в пекарне, а когда это запретил саннадзор, поселились в квартире, где жили Илья с Андреем, — в то время было сравнительно легко достать комнату. Любин отец, всегда хмурый, озабоченный, ходил быстро и никому не смотрел в лицо, руками махал почему-то не в лад шагам, вразброс (должно быть, от той же деловой озабоченности), а на ногах его красовались деревенские сапоги с окаменевшими складками. Дома он сапоги снимал и шлепал босиком по пыльному, со времен революции не натертому паркету. Квартира раньше принадлежала захудалой баронессе, потом баронесса вышла замуж за дворника и переехала с ним в деревню, а на ее место заступила Люба с отцом.

— Интересно, зачем вообще им понадобилось в Ленинград? — сказал Илья. — В деревне они, конечно, тоже торговали.

— В деревне у них сгорела лавка, — ответил Андрей. Илья присвистнул.

— Понятно. Сожгли бедняки, которых он обирал.

— Возможно, — сказал Андрей.

— Куда же они теперь? Избу тоже сожгли? Лавка была при доме?

— Не знаю, — сказал Андрей.

Илья испытующе поглядел на него.

— Тебе их жалко, признайся?

Андрей молча стелил постель.

Илья смотрел, как старательно он это делает. Брат спал на скрипучем, разошедшемся операционном столе, принадлежавшем в годы войны какому-нибудь походному лазарету и заплывшем в их двор во время знаменитого наводнения 1924 года.

— Ты социально размяк, Андрюша, — мягко сказал Илья, чувствуя свою правоту и превосходство. — Нынче нужно быть социально твердым. Читал сегодняшнюю газету? Опять арестовали крупных вредителей.

Андрей терпеливо взбивал свою плоскую, не толще Любиного пирога, подушку. Пуховую подушку и кровать, оставшиеся от матери, он отдал Илье. Илья был тогда еще маленьким. Впрочем, Андрей ему и сейчас бы отдал, он был всегда добр к «младшенькому».

Андрей лег, закинув за голову крепкие руки с длинными бицепсами пловца, которым Илья нестерпимо завидовал, но ходить с братом в бассейн ленился: вставать в шесть утра, трястись через весь город в трамвае — слуга покорный! Вот будет теплее, Илья станет ходить на остров Голодай, там можно по крайней мере позагорать.

Летом после практики Андрей предполагал съездить к отцу на Север, а Илье предстояли конкурсные экзамены в вуз. Туговато ему одному придется. Ничего, все надо испытать. Зато вернется Андрей — а Илья уже студент. Без всякой братской подмоги.

Самодовольно представив, как это будет, Илья потопился натянуть на себя простыню и заснуть, с ощущением если не ссоры, то все же какого-то отчуждения. Впервые они даже спокойной ночи друг дружке не пожелали (к чему приучила их мать и от чего Илья внутренне ежился, считая старомодным и сентиментальным, однако не нарушал традиции).

Все это произошло неделю, дней десять назад, — больше они не говорили на эту тему. Люба с отцом бесшумно существовали в квартирных недрах, никто их не выселял. Люба сиднем сидела дома, отец рыскал в поисках работы. Вид у него был довольно растерянный, прежняя живость и целеустремленность перешли в бесцельную суетливость, — даже примус на кухне он накачивал в какой-то лихорадочной спешке, словно от этого зависела его жизнь. Их лавку за эти недели успели оборудовать под государственный цветочный магазин. Как раз вчера, проходя мимо, Илья игриво подумал, не принести ли Любе цветов, обвязав букет ленточкой и сунув внутрь записку: «От бывшего покупателя бывших вкусных пирогов...» Лезет же в голову невероятное хамство!

Но где же все-таки Андрей? И какой у него ближайший зачет? Вернувшись в комнату, Илья порывлся среди пластов геологических, минералогических и химических книг, лежавших на столе и стоявших на самодельной полке. Бессмысленное занятие, он же не в курсе учебных дел брата. Всегда расспрашивал только, чем заняты сейчас славные легкие кавалеристы, бригадой которых командовал в институте Андрей Стахеев. Кое о чем брат ему охотно рассказывал, но в эту неделю — как воды в рот набрал. Досадно. Чего стоит, например, история с третьекурсником, бывшим налетчиком и громилой,

выдавшим себя за человека, которого он сам же убил. Три года учился в институте, поступив туда по его документам, когда принимали еще не по конкурсу, и все было шито-крыто, пока Андрей и его ребята не разоблачили бандюгу.

«Ничего себе социальная размягченность!» — с гордостью подумал Илья о брате. А что Любу жалеет, так, честно говоря, Илье ее тоже жалко. Если выселение состоится, не придется ей больше в летние душные вечера лежать животом на подоконнике, глядеть неизвестно куда и думать неизвестно о чем. Наверняка она видела мысленно что-нибудь деревенское, а не то, что перед глазами.

Илья поднял взгляд на привычный, родной с детства вид. Их комната в четвертом этаже выходила окном на Тучкову набережную, не гранитную, не парадную, как Дворцовая или Университетская, — просто берег, к которому, несмотря на ранний час, уже приткнулись носами неуклюжие широкобедрые лодки с глиняной посудой. Приезжие гончары возились на лодках и на берегу, готовясь к дневной торговле. Глазурь жирно блестела на коричневых круглых боках горшков, кувшинов и плошек. Солнце, всходившее из-за Биронова дворца на том берегу Невы, делало предстоящее торжище праздничным, ярмарочным. Только люди на фоне сверкающей реки выглядели силуэтами, да сам дворец, и всегда-то мрачный, сейчас, в глубокой тени, был просто страшен, недаром принадлежал жестокому временщику.

Илья усмехнулся: типичная дореволюционная легенда. Эти три каменных корпуса с такой странной, фантастической архитектурой, с переходами в виде галерей на арках, с широкими наружными лестницами, ведущими во второй этаж прямо с набережной, служили когда-то для закупки и складов пеньки. Пенька, только и всего! Другое дело, что надо попробовать попасть внутрь. Кто знает, какие мысли это навеет: кругом каменный холод, безмолвие, — должны же эти загадочные стены подсказать что-нибудь необычное.

Он перевел взгляд на Тучков мост — и вздрогнул. По левому тротуару, удаляясь от дома и приближаясь к разводной части моста, бежала высокая, тонкая юношеская фигура. Илья узнал ее сразу — по крепким плечам, по голубой майке и по каким-то неуловимым,

неопределимым, но таким знакомым и близким приметам.

Первым желанием было — открыть окно и крикнуть: «Андрей!», но он удержался: далеко, не услышит. Илья лишь уперся руками в подоконник и не мигая глядел вслед Андрею. Где он был до сих пор? Гулял по набережной? Сидел с дворником у ворот? Куда он бежит? Почему бежит, не идет? Впрочем, это для спортсмена естественно: добежит до стадиона, станет там упражняться на снарядах, прыгать через рейку.

Что такое?! Что такое?! На середине моста Андрей быстро перелез через перила и — исчез. Исчез из поля зрения Ильи — его закрыл мост. Илья припомнил: там ведет лесенка вниз, к основанию деревянного быка, где обычно привязана милицейская лодка. Неужели Андрей решил схулиганить, самовольно прокатиться на лодке? А если она на замке?

Илья выждал еще с минуту. Лодка не появлялась ни справа, ни слева от моста. Зато ему показалось, что на реке появилась голова, плечи, поблескивающие под низким утренним солнцем... Черт, нет бинокля! Но и без того ясно, что это плывет Андрей. Купаться в Неве, в мае месяце, без привычки (до сих пор он плавал зимой и весной только в бассейне): воспаление легких ему обеспечено!

В следующий момент Илья уже натягивал брюки. Он не знал, что он сделает, но ведь надо же как-то пресечь нелепую выходку. И это его всегда выдержанный, уравновешенный старший брат! Иногда спокойствие его даже возмущало Ильюшу. Что ему сегодня взбрело в башку? Неужели это Илья его подзудил? Затеял глупый разговор о бочке с холодной, как лед, водой. Мол, ты небось плаваешь в подогретом бассейне... Но что же иначе?

Илья ринулся из дому. Когда добежал, задыхаясь, до середины моста, не встретив ни одного прохожего, он увидел внизу лишь зыбь и водовороты. Дальше, миновав тень от моста, река сверкала под резким солнцем, и среди этого колючего блеска он никого и ничего не увидел. Должно быть, брат успел доплыть до Петровского острова и делает пробежку, греясь после купанья.

Илья побежал на Петровский остров. Ни на стадионе, ни на берегу Андрея не было.

Андрея нашли через неделю в зарослях камыша, у Лахты, километрах в восьми от города. Нашли охотни-

ки, пробиравшиеся среди камышей на лодке. Изуродованное тело было привезено в Ленинград, вскрыто, исследовано и похоронено на Смоленском кладбище.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Сколько потом Илья ни пытался, он не мог восстановить в памяти очередность событий. Милиция, следователь, квартирные ахи и пересуды, — было много такого, от чего ему хотелось без оглядки бежать, хотелось закрыть глаза, ничего не видеть, не слышать. Но приходилось во всем принимать участие, выслушивать и казенный опрос, и искреннее сочувствие.

Если бы не Рассопов, он вообще бы ничего не узнал. Да, конечно, Андрей утонул, но что это было — нарочно, случайно? В кармане его синих бумажных шаровар, какие носили тогда физкультурники, в заднем кармане, нашитом поверх левой краюшки, обнаружили письмо. Письмо от девушки, сокурсницы Андрея, которая ему нравилась (утверждали студенты), но романа с которой у него не было (утверждали студентки).

Месяца полтора назад Андрею с его бригадой поручили уточнить социальное происхождение девушки, которая писала в анкетах, что ее отец счетовод, а подругам обмолвилась, что в свободное время он поет в церкви; кроме того, она получала из дому чересчур сытные и дорогие для дочери счетовода посылки. Дело рядовое, несложное, — быстро удалось выяснить, что Лидия Зыкова — поповская дочь. Ее решили исключить из института как социально чуждую и притом обманщицу.

Андрей на собрании выступил против исключения. Ему попеняли: лучше бы он помалкивал в тряпочку; если личные симпатии руководят чувствами комсомольца, ему ли заправлять легкой кавалерией передового вуза. Сказано это было больше для острастки, — Андрею доверяли. Более того, вопрос о Зыковой решили отложить (в дальнейшем, после смерти Андрея, ее так и не исключили: она легко отказалась от родителей, хотя продолжала получать посылки и деньги, ездила домой на каникулы, — на все это смотрели сквозь пальцы). И все же она написала Андрею письмо, где проклинала за то, что он поручил своим «строкачам» разузнать о ней все, что она скрывала. «Да, находила нужным скрывать, — вызывающе писала она, — потому что хотела учиться, и считаю себя не хуже, а лучше та-

ки х, как ты...» (Последняя строчка жирно подчеркнута).

Письмо было краткое, по существу — записка, набросанная карандашом на клочке бумаги. Это и помогло сохраниться тексту: карандашные строчки не расплылись в воде, как расплылись бы чернила. Илье не дали прочесть письмо, но Рассопов читал, — он подружился со следователем, молодым парнем, недавно окончившим юрфак, и потом без конца твердил:

— Нет, но как эта Зыкова могла написать: «Стыжусь, что я тебе доверяла!» Написать это Андрею, честнейшему человеку! Да он и не употребил во зло ее доверие: она сама говорит, что не рассказывала ему, кто ее отец...

Илья слушал и не слышал его, потому что не мог отвязаться от мысли: не лучше ли, если бы Андрей жил в общежитии, вместе со всеми, и койка его стояла бы рядом с койкой Рассопова? Всего страшного, может быть, не случилось бы... Почему Андрей не поделился с братом? Не хотел смущать «неокрепший разум»? Не принимал всерьез, считал мальчиком? Не хотел его безапелляционных суждений? Или просто таил в себе и никого бы не посвятил в свою драму, в том числе и Рассопова?

Но была ли драма? Броситься в воду с целью утопиться, умея замечательно плавать, — это какой-то абсурд! Считать случайностью? Случайность понятна, если человек нормально купается, как и все, а тут же иначе...

Чтобы в институтских анналах не было лишнего ЧП, порешили считать смерть Андрея несчастным случаем. И все же на похороны его никого из общественных организаций не выделили — ни от комсомола, ни от профкома. Пришли несколько товарищей, которых Илья не знал, кажется, из бригады легких кавалеристов, а может, и нет. Среди них две девушки. Зыкову Илья никогда не видел, но краем уха слышал, что она не пришла. Речей никаких не произносили.

К концу, когда могилу стали засыпать землей, все незаметно разошлись; кажется, кто-то, прощаясь, пожал Илье руку, — впрочем, и в этом он не уверен. Остались только Рассопов и две старые тетушки, сестры покойной матери — Розалия и Галина Андреевны, которые уже несколько дней уговаривали Илью поселиться с ними, их сосед соглашается на обмен. На кладбище

они ласково и настойчиво повторили свое предложение: «Мальчик, ты же не можешь жить один!», на что Илья обещал подумать. Он так и сказал: «Я подумаю». Их это очень обидело. Они предлагали от чистого сердца — не так-то легко взять на себя заботы о шестнадцатилетнем подростке. Стахеев бродяжит где-то... Жаль, Ксеничка с ним вовремя не развелась — успела бы выйти замуж за хорошего человека. А на них теперь может лечь вся ответственность за воспитание... Вон что случилось с Андреем, а он был куда рассудительнее...

Шепчась и оглядываясь, тетя Галя и тетя Розочка шли под руку, лавируя между могил, в одинаково мешковатых пальто, в стоптанных туфлях. Илья не хотел их обидеть, потом он зайдет к ним и все объяснит.

Илья и Рассопов остались одни, если не считать энергично орудующих лопатами двух мужиков, налитых водкой по самые зенки.

— Рассопов,— сказал Ильюша (он звал Рассопова по фамилии, как звал его брат, и даже не знал его имени, хотя они несколько дней провели вместе, справляя необходимые формальности).— Рассопов,— спросил он как бы небрежно, на самом деле робея и с волнением ожидая ответа,— а вы не хотели бы из общежития переехать к нам?.. Ко мне,— поправился он.

Рассопов, словно не слыша, помогал мужикам разравнивать рыже-серый холм, уже почти на полметра возвышавшийся над могилой.

— Я понимаю,— продолжал Илья, не отрывая глаз от успевшей подсохнуть на ветру насыпи, осыпающейся мелкими комочками; под ударами лопат она принимала все более строгую, стандартную форму, как бы уравнивая Андрея в правах с прочими мертвецами на кладбище.— Я понимаю, вам надо подумать, но...— Он жалобно посмотрел на Рассопова, и тот боковым зрением поймал этот умоляющий взгляд.

Илья предложил это без малейшей надежды. Андрей говорил ему, что в студенческом общежитии Рассопов был всеобщим любимцем, читал вслух стихи Маяковского, и какого-то Саши Черного (почему Саши, а не Александра?), рассказывал всякие уральские байки. Остаться в Ленинграде он не хотел: кончит вуз и поедет работать домой, на Урал,— к чему ему комната, да еще с принудительной нагрузкой в виде опеки над малолетним? Но Илья так ясно представил себе, как он

вернется домой один, совсем один, теперь уж не на неделю — навечно...

...Вернется, взбежит по лестнице, войдет в кухню, ту самую, где даже в белую ночь темно: копать на стенах, на потолке, оставшийся от злого квартирному дня примусный чад. Как ненавидели это они с Андреем! По собственному почину, на собственные гроши не раз белили стены и потолок, но через месяц все принимало прежний вид, еще хуже, с потеками, с сукровицей какой-то...

Когда холмик был утрамбован и краснорожие молодцы удалились, Рассопов сказал:

— Стахеев, ты мне поможешь перевезти пожитки из Удельной? — Он озабоченно вытянул из нагрудного кармана часы, висевшие на узеньком ремешке, продетом в петлю мятого лацкана, как носили тогда все мужчины. — До вечера мы с тобой управимся...

Так Рассопов унаследовал от Андрея фронтальной операционный стол (от кровати он наотрез отказался), по сравнению с которым общежитская койка была царским ложем. Стол скрипел не только от каждого движения и от всякого громко сказанного слова, но, как уверял Рассопов, от любой пришедшей на ум мысли.

— Дубовая орясина просто завидует всем, кто хоть капельку ее поумнее! — говорил Рассопов, укладываясь в первый вечер на топчан. — Не сердись, старик, — он похлопал его по ножке, — ты кой-чего испытал на своем веку, я тебя уважаю.

Утром, когда Илья проснулся, Рассопов хозяйничал в кухне. Вскипятил на примусе чайник, заварил наилучшего суррогатного кофе и успел подружиться с Любой, которая от нечего делать каждое утро мыла свои желтые волосы. Он назвал ее ранней пташкой, — Любе это понравилось.

Когда Илья умылся и сел за стол, Рассопов уже с аппетитом уплетал завтрак, чтобы не показать виду, что он позаботился обо всем специально для Ильюши. Приготовил, мол, для себя, а заодно поест и Илья. Не бог весть какая хитрость, но хорошо, что тактичен, не навязывается с заботами.

Об Андрее они долго не говорили, недели две. Разговор пришел сам собой, когда с экзаменами и со школой было покончено. Илья признался Рассопову, что до сих пор не написал отцу о смерти его любимого сына. Да, любимого, Илья чувствовал это даже по переписке,

но не обижался и не ревновал: отец был далеко, почти чужой человек. Вероятно, он потому и любил Андрюшу сильнее, что тот рос у него на глазах. Илья все откладывал начатое письмо, хотя и ругал себя в мыслях. Оправдание (слабое) было одно: долг перед братом — сдать с успехом экзамены, все остальное можно сделать потом. Все равно же не вызвали отца на похороны, как ни сердились тетушки. Видел бы он, во что превратился его красавец Андрюша!

— Рассопов, вы порицаете меня? — спросил Илья, повернув голову в его сторону. Они оба уже лежали, каждый на своем ложе, приготовясь ко сну, но не гася свет. Широкое крестьянское лицо Рассопова с пушистыми белыми ресницами было внимательным и серьезным.

— Порицаю? — сказал он задумчиво. — Пожалуй, нет. Но что ты ему напишешь?

— Все как есть. Правду.

— А ты ее знаешь?

— А вы?

— Я тоже не знаю.

— А письмо Зыковой?

Белые ресницы заморгали, белесые брови сдвинулись.

— Что ж, — промолвил Рассопов. — Письмо оскорбительное, запальчивое, несправедливое. Стахеев это понял. И пренебрег.

— Пренебрег? — задохнулся Илья.

— Пренебрег, — подтвердил Рассопов. — Думаешь, почему он поплыл? Независимо ни от какого письма. Просто поставил себе очередную задачу. Повышенной трудности. Ты же знаешь его методичный характер. Профессиональный, хладнокровный пловец.

— А дальше?

— Дальше? — Рассопов неохотно продолжил: — Дальше... Переоценил свои силы. Судорога. Мало ли что...

Рассопов явно жалел, что сболтнул в свое время о письме Зыковой. И уверен ли он сейчас в правоте своих рассуждений? Скорей говорил для успокоения духа...

Илья почувствовал, что еще немного — и он разочаруется в Рассопове. Он уже начал испытывать раздражение, видя на Андрюшином месте этого чужого, румяного, белобрысого парня. Зачем он его зазвал? Испугался одиночества? Наскучался? Затосковал? Считал самым близким другом Андрюши, а стало быть, и своим?

Добрый, заботливым, великодушным, отзывчивым, жизнерадостным? Да, такой он и есть. И еще тысяча и одно замечательное качество. Но — не лучше ли было разломать топчан, снести в сарай, выкинуть, сжечь, никогда больше не видеть? Как не хочет он видеть Катю, которая ему на днях сказала: «Говорят, твой брат дурно поступил с девушкой из его института. Говорят, она ему написала такое письмо... т а к о е письмо!» Илья прогнал Катю прочь: не повторяй сплетен! Но мыслей своих он прогнать не мог. И теперь колебался — поделиться ли ими с Рассоповым?

Илья взглянул на студента. Тот лежал тихий, такой тихий, что стол под ним ни разу не скрипнул. То ли от белой ночи, то ли еще от чего, он показался сейчас Илье не румяным, а бледным.

Илья встал с кровати, подошел к шкафу, засунул обе руки под белье, в самый дальний угол, нашарил и достал то, о чем не говорил никому: жесткий, ссохшийся белый ком. Илья сжал его в кулаке и шагнул к Рассопову. Тот поднял голову.

— Что такое у тебя?

— Что? Платок, — беспощадно сказал Илья, разжимая ладонь. — Разве не видите?

В то страшное утро, после суматошной своей беготни по Петровскому острову, после поездки с милиционером вниз по реке (долго пришлось его убеждать, что Илья видел брата в воде, что ему не почудилось), вернувшись домой после всех этих безрезультатных поисков, Илья нашел под подушкой Андрея тяжелый ком мокрого и соленого от слез платка. Эта находка потрясла Илью чуть ли не больше, чем все остальное. Исчезновение брата сразу приобрело трагический оттенок: у Андрюши несчастье! Какое — Илья понятия не имел, знал одно: Андрюша плакал. Илья никогда не видал его плачущим. Не увидел и на этот раз.

Первое чувство было не страх, не печаль: ощущение одиночества. Одиночества, хотя еще целую неделю, пока не нашли тело Андрюши, он не знал с достоверностью о его гибели. Не знал — и знал в то же время. Мокрый платок сказал ему больше, чем любое письмо, чем даже потом само тело, изуродованное, уже не Андрюшино, к тому же оказавшееся так далеко, на какой-то Лахте, где ни Илья, ни Андрей никогда не бывали.

Вторым чувством была, как ни странно, обида. Как мог Андрей не подумать, что его младший брат, его

воспитанник, его «чадушко», как шутливо он иногда называл Илью, останется один. Эта эгоистичная мысль была мимолетна, но она была, закралась, он отлично помнит секунды, когда эгоистичным ему показался именно поступок брата: уйти, бросить Ильюшу, оставить его на произвол судьбы, наплевать на него, забыть о нем, словно его и не существует, — пусть барахтается и живет один, как хочет, — разве не черствый, бездушный эгоизм?

Очень скоро Илья опомнился, и его снова пронзило одиночество, но уже Андриюшино. Мокрый от слез платок... Как же, значит, он был в ту ночь несчастлив, если ему было не до брата! Это с Андриюшиным-то чувством долга! Что же произошло? Что заставило Андрея уйти, убежать от младшего брата, из их комнаты, из их жизни? Какие причины вызвали этот взрыв боли? В том, что была боль, не приходится сомневаться...

Сжимая в кулаке жесткий, залубеневший ком, Илья силился объяснить Рассопову, что совсем неважно, права или не права Зыкова, хорошая она или плохая, наверное средняя, обыкновенная, растерявшаяся, испугавшаяся, обозлившаяся, — пусть она даже искренне сочла Андрея лицемером: все о ней узнал, доложил, а после этого заступился на собрании... Но что они любили друг друга, вот уж этому Илья не верит, во всяком случае — что она любила. Неужели бы не пришла на похороны? И еще: Илья великолепно знает, что самоубийство (на момент допустим, что это было самоубийство) — вызывающе дерзкий антиобщественный поступок. Это бесспорно. Но ведь в апреле, когда застрелился Маяковский, его с почетом хоронили, были траурные митинги, масса статей в газетах. Конечно, масштабы несовместимы: Андрей — рядовой студент, он не успел заслужить внимание общественности, но хоть каплю внимания можно было ему уделить? Хоть самую-самую малость.

Но и это теперь не важно. Единственное, что Илья хотел бы узнать, решить — сломил Андрея душевный кризис или он пробовал его преодолеть? И тогда никакое это не самоубийство, а было примерно так:

Андрей лежал и мучился, и больше не мог: надо было перебить в себе муку. Чем? Нравственной разрядки не нашлось, а физическая... Он попробовал самый элементарный способ: пробежаться по набережной (вот почему не сразу появился на мосту, полчаса где-то

пропадал). Этого оказалось мало. Тогда он попытался сделать другое, тоже привычное, в этом смысле Рассопов прав: кинулся в воду. Нет, не очертя голову, не с высоты моста, а спустился по лесенке к самой воде. Он не хотел топиться, Илья категорически это отвергает.

— Категорически, слышите, Рассопов? — сверкал глазами Илья.— Тут я с вами совершенно согласен. Потому что...— Илья на секунду запнулся — говорить или нет? — Потому что Андрея, как и меня, больше всего интересовало будущее. Будущее на один день вперед и будущее через десятки и сотни лет, так называемое грядущее... С вами он на эти темы не говорил? — Илья впился настороженным взглядом в Рассопова. По одному этому взгляду тот мог легко угадать: Илье сейчас ревниво хотелось, чтобы Андрей ни с кем, кроме него, об этом не говорил, в том числе и с Рассоповым.

— Нет,— медленно произнес Рассопов.— Со мной он об этом не говорил.

— Понятно,— удовлетворенно сказал Илья.— Со мной тоже не часто. Но вы же Андрея знаете...— Он беспокойно дернулся.— Знали... Не мог этот человек сознательно лишить себя будущего!.. Вы согласны со мной, Рассопов?

Рассопов кивнул.

— Я расхожусь с вами только в одном.— Илья близко к нему пригнулся.— Письмом Зыковой он не пренебрег. Напротив: страшно был уязвлен, мучился и хотел силой преодолеть тоску. Силой, слышите? Отсюда этот заплыв... этот безумный заплыв. Результат известен.— Илья повторил потускневшим голосом: — Результат известен. А так это было или не так, никто никогда не узнает.

Рассопов слушал, не прерывая ни словом. Когда Илья выговорился, Рассопов вздохнул, неторопливо поднялся, взял у Ильюши платок (странно, что Ильюша послушно отдал), бережно развернул и, подойдя к окну, чиркнул спичкой. Через минуту на подоконнике остались легкие, как паутина, зыблющиеся от движения воздуха бесцветные лохмотья.

Илья смотрел, не пытаясь помешать. Рассопов дунул, облачко рассыпалось в пепел.

— Не растравляй себя, Ильюша,— мягко сказал он; впервые назвав его по имени.— И не храни больше таких печальных вещей. Хорошо?

— Хорошо,— Илья сглотнул слезы.

— Завтра ты пойдешь в университет,— так же мягко продолжал Рассопов,— и подашь заявление. Не передумал?

— Нет.

— У тебя все документы в порядке?

— Надо справку из жакта.

— Возьми. Завтра у нашего управдома приемные часы утром. Теперь так. Скоро мне ехать на практику. Дай слово, что будешь точно выдерживать расписание дня: гулять и готовиться к экзаменам. Обедай в университетской столовой, она близко. Кончится конкурс — поедешь к отцу, на Мурман.

Илья в первый раз удивился.

— К отцу?

— Да, до начала занятий.

— И до этого ему не писать? Вы же знаете, что он ждет Андрюшу...

Рассопов немного подумал.

— Пожалуй, не пиши. Меньше будет удар, если ты сам приедешь. Но не тяни с отъездом.

И вдруг добавил, все так же спокойно и доверительно:

— Что касается Зыковой, то я видел ее в день похорон на кладбище. Она стояла с цветами за деревом, ждала, когда мы уйдем.

Илья не знал, как принять эту новость,— она в чем-то меняла его представление о девушке. Мелькнуло давнее воспоминание: на том же кладбище, на том самом месте, между большой березой и бузиной, хоронили мать. В последний жуткий момент, когда гроб уже опускали вниз на веревках, когда все затаили дыхание и было слышно только шуршание гроба о земляные стенки, вдруг появилась среди толпы запыхавшаяся загорелая девушка с охапкой ромашек,— был разгар лета, июль, молодая сослуживица матери, узнавшая о ее смерти, приехала на дачном поезде в город и прямо с вокзала прибежала сюда. На минуту она стала центром внимания, и удивительно вот что: ее появление не только не показалось неуместным, но словно приободрило всех, вплоть до самых родных и близких (в чем признались потом и отец, и Андрюша... да, да, и Андрюша!). Впечатление было такое, словно жизнь ненароком прорвалась на территорию смерти, а разве жизнь может быть неуместной?..

— Мне жаль,— сдержанно ответил Илья Рассопову,— что я не заметил Зыковой.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Наверно, потому, что Илья дружил с братом, который был значительно его старше, у него не завелось дружбы со сверстниками — просто установились добрые отношения с двумя-тремя одноклассниками. Страшная неделя в мае, когда Илья ни о чем не мог думать, кроме как об Андрее, еще больше отделила его от ребят. Что касается девочек, то единственно интересовавшая его Катя Трушина повела себя глупо, бестактно и была решительно отторгнута. Ему даже почудилось, что Катя чем-то похожа на эту пресловутую Зыкову, которой он никогда не видел.

Илья знал, что выпускники его школы мечтают о втузах,— мало кто хотел поступить в университет, да еще на истфак или ямфак (факультет языкознания и материальной культуры), где, по их мнению, учились одни чудаки и жуткие провинциалы.

В одиночестве шел Илья по Тучковой набережной, всегда затененной, сумрачной, отгороженной от реки заборами и поленницами лесных складов; по Волховскому и Биржевому переулкам, вдоль шпалеры старинных домов XVIII века рождения, состоявших под охраной Общества «Старый Петербург — Новый Ленинград», где с прошлой зимы Илья имел честь состоять членом; по Биржевой линии, мимо серой громады почти современного (1913 год), облицованного гранитной крошкой здания Толмачевки — Военно-Политической академии имени Толмачева, откуда поминутно выскакивали, обдергиваясь, молодежавшие курсанты с алыми кубиками на петлицах; мимо роскошных купеческих особняков с чугунными решетками и деревянными ставнями на окнах нижних этажей; мимо таинственных складов с вечно запертыми воротами,— бог знает что в них хранилось, может та же пенька, что на Тучковом буяне; мимо Оптического института, тихо соседствующего рядом с шумным входом в студенческую столовку; пересек мощенную булыжником площадь напротив Библиотеки Академии наук, еще не совсем достроенной, с необрушенными лесами, но уже действующей,— приятно будет когда-нибудь войти в ее читальный зал, чинно предъ-

явив сторожевой старушке постоянный пропуск, а дома небрежно сказать: «Вчера опять полдня пропыхтел в БАНе»; и, наконец, вступил в пределы Университета, в его обширный, протянувшийся до Большой Невы двор.

Илья не отказал себе в удовольствии подняться на второй этаж (для дела это было совершенно не нужно) и прошествовать по знаменитому коридору, длина которого составляла, как он дважды проверил, 520 шагов, то есть свыше трети километра; терпеливо прочесть все номера и названия аудиторий и лабораторий и разнообразно отразиться в стеклах десятков книжных шкафов, расставленных в простенках.

Занятия и лекции кончились несколько дней назад, но студенты еще не успели разъехаться на каникулы — толпились у окон и на площадках лестниц, заканчивая какие-то свои академические и общественные дела. Одни стриженные, другие небритые; на иных надеты (то кокетливо набок, то лихо назад, то сосредоточенно-низко на лоб) бледно-сине-зеленые фуражки, какие носили только универсанты, в отличие от студентов технических вузов, шеголявших в фуражках густой, бархатисто-сочной расцветки, напоминавшей шмелей. Впрочем, большинство «техников» нынче ходили в кепках, чтобы после Шахтинского процесса их никто не дразнил инженер-вредителями и не считал высокомерными технократами.

Илья шел и шел по бесконечному коридору, жадно внимая обрывкам фраз, доносившимся до него со всех сторон. Темы разговоров были весьма далеки от ученых материй и окружающей обстановки. Скажем, студенты теснились у двери в физиологическую лабораторию, но рассуждали, в отличие от тургеневского Базарова, не о том, как лягушек резать, и не о диалектике природы, а больше насчет литеров для бесплатного проезда по железной дороге на каникулы и на практику, и где легче и скорее перед отъездом заколотить червонец. Впрочем, тематика закономерная: Базаров на их месте толковал бы о том же.

И вдруг до Ильи долетели слова: «Профессор Тарле сказал...» Что сказал Тарле, Илья уже не слышал, неудобно было останавливаться и вслушиваться, но с него достаточно было произнесенного имени...

Илья знал и раньше, что лекции Тарле собирали не только студентов-историков и филологов, но и матема-

тиков, физиков, биологов, географов, — приходили на них и из других вузов — технологи, политехники, горняки. Однажды Андрей взял с собой Илью. Это произошло прошлой осенью, в сентябре, когда Тарле читал вводную лекцию: «Европа с начала мировой войны до Версальского мира».

Большая аудитория Физического института, помещавшегося в университетском дворе, по правую руку, если идти опять же от Биржевой линии, была заполнена сверху донизу. Вслед за бурной овацией, в которой принял участие и Илья (хотя за минуту до того не подзревал, что профессоров и преподавателей можно так шумно приветствовать), в зале мгновенно установилась тишина: в самых задних верхних рядах, где сидели Илья с Андреем, было прекрасно слышно каждое слово. Правда, Илья не может похвастаться, что запомнил из них хоть одно, для этого он был чересчур возбужден, но его поразили свобода, легкость, изящество, щедрость и простота этой речи.

Тарле говорил быстро, пожалуй даже очень быстро, но отнюдь не потому, что сообщал что-то заученное, казенное, надоевшее ему самому и хотел скорей отвязаться. Казалось, наоборот, что лекция эта — абсолютно импровизированная, что ему лишь сейчас пришли в голову эти мысли, и потому он торопится ими поделиться.

Илья понимал, что, конечно, это не так, что все давно выношено и выверено, но иллюзия импровизации оставалась.

Удивительное дело! Пятнадцать лет, почти шестнадцать Илья прожил на свете, и только в этот серенький сентябрьский денек открыл разницу между настоящей и школярской наукой, между живым ученым и резонатором чужих мыслей. То есть он предполагал, что они разные, но не думал, что это различие так чудовищно велико.

И тут он впервые осмелился задать себе дерзкий вопрос: «А что, если?..» Он сразу же оборвал себя: «Чепуха, зачем этот риск!» Но начало было положено. До сих пор он стыдливо скрывал от всех, даже от Андрея, свои посещения Общества «Старый Петербург — Новый Ленинград», куда случайно забрел (оно было тоже неподалеку, на 3-й линии, в одном из зданий Академии художеств) и где его не прогнали, а неожиданно обласкали, очевидно как раз за юность: большинство

посещавших это общество были пожилыми людьми, по крайней мере на взгляд Ильюши.

Илья стеснялся своего интереса к истории, считая его пустым любопытством, вроде того, с каким посетитель зоосада глазеет на бегемота или крокодила. Вокруг происходят неслыханные события, строится социализм, и вдруг в 1930 году, на тринадцатом году революции, молодой человек мечтает о том, как бы ему научиться отдергивать пыльную занавеску прошлого! К чему? С какой стати? Что он там хочет увидеть? Не правы ли все его сверстники, в том числе и большинство девочек, стремясь быть инженерами любой специальности, на худой конец врачами, только не гуманитарями?

Напрасно пытался он себя убедить, что он не намерен копать в старье ради старья. Он взлелеял, отточил и записал в блокнот афоризм: «Новое общество должно все знать о старом, чтобы отличаться от этого старого только в лучшую сторону». Слова «только в лучшую» он подчеркнул извилистой двойной чертой, но это мало помогло. Не помогли и чужие известные изречения, вроде: «История — это политика, опрокинутая в прошлое». Опять прошлое, а где настоящее и будущее? Или: «История — память человечества». Очень хорошо, но не лучше ли думать о сегодняшнем дне человечества и о том, как скорее приблизить завтрашний? Они с Андрюшей не раз об этом толковали, чаще всего перед сном, уже лежа в постели, когда нестерпимо хотелось удлинить день и выяснить наконец главное, что ожидает их в жизни, их и все остальное человечество... Правда, когда Илью чересчур заносило, например когда он предвещал, что в результате социальных перемен все люди на земле станут гениями, брат не без ехидства называл его Ильей-пророком, но Ильюша не сомневался, что где-то внутри Андрей горячо сочувствовал его утопиям, иначе они вообще не говорили бы на такие темы.

Возвращаясь к истфаку, стоит принять в расчет и совсем примитивный, но очень реальный ход рассуждений: раз исторический факультет существует, раз на него тратятся государственные средства — значит, он нужен, значит, Илья вправе на него поступить. Смехота, ей-богу! Речь же не о том, вправе или не вправе, — речь о том, кто сейчас нужнее — историк старого мира или строитель нового!

Итак, что же произошло с Ильей на лекции Тарле

и после? Логика в этом гипнозе нет ни малейшей: просто взял и захотел стать похожим на Тарле; разумеется, не сейчас, не завтра — но вот когда-нибудь так же хранить в черепной коробке и щедро раздаривать всем желающим, главным образом молодежи, все тайны, о которых они понятия не имеют... Разве это не соблазнительно? Боже упаси подумать, что Илью привлекла внешняя популярность Тарле, то есть что его встречают и провожают, как знаменитого тенора, как любимца публики. Более того, он обязан овладеть куда большими тайнами, ибо в его распоряжении будет подлинно марксистский метод, а не какой-то там буржуазный идеализм или эклектика, которые, судя по слухам, все же не чужды Тарле...

Так или иначе, Илья пришел сегодня в Университет, чтобы подать заявление о приеме на исторический факультет, а уж история, как говорится, рассудит...

Илья спустился вниз и, решительно толкнув тяжелую дверь, вошел в преддверие храма науки — темное помещение без окон, типа прихожей, из которой вело несколько дверей — к ректору, к проректору и в собственно канцелярию. В канцелярии находилось с десятком служащих и десятка три явных студентов (один даже с бородой), которые в большинстве оформляли проездные каникулярные документы.

Пожилая женщина обернулась к Илье от стола, за которым она что-то писала, и спросила, что ему угодно. Так и сказала: «Угодно», — ясно, что старорежимная дама... Илья молча протянул ей свое заявление и документы. Она взглянула на заявление, на его подателя и сказала:

— Слишком рано, товарищ: заявления о приеме начнут принимать через месяц. Разве вы не читали правила?

Илья разочарованно протянул руку за документами. Действительно рано, это Рассопов напутал... Старая дама задержала взгляд на приколотой к заявлению копии метрической выписки, гласившей о том, что Илья — сын Алексея Ивановича Стахеева и законной жены его Ксении Андреевны Стахеевой, в девичестве Сунцовой, родился 12 декабря 1913 года...

— Должна вас огорчить, молодой человек, — вдруг сказала она. — Нынче от вас заявление не примут.

У Ильи упало сердце.

— Почему?

Старая дама пояснила, что семнадцать ему исполнится лишь в декабре, а шестнадцатилетних в вуз не принимают. Таково нынче решение Наркомпроса.

— Зачем слишком рано, дружок, окончил школу? — шутливо упрекнула она, тряхнув седой челкой.

Выскочив из канцелярии, Илья сардонически рассмеялся. Подумать только, еще двадцать минут назад он благочестиво шествовал по знаменитому коридору, собирався долго бродить по университетскому двору, заглядывать во все его уголки и закоулки и, наконец, подняться на верхотурье большой аудитории физическо-го института, где прошлой осенью слушал Гарле...

К черту маниловские фантазии! В одну секунду он очутился на набережной и, обогнав трамвай, помчался вдоль неприступно строгих фасадов Академии наук, Кунсткамеры, Зоологического и Этнографического музеев (будь он проклят, если раньше, чем через год, приблизится к этому высокоученому кварталу!); резко, под углом, свернул на Дворцовый мост; пронесся мимо желтого, как зависть (да, да, как зависть!), Адмиралтейства; мимо такого же яростно желтого Главного штаба; и ринулся по проспекту 25-го Октября — бывшему Невскому — к Думской башне с часами. Вот он, маяк, который направит его на верный курс: городская станция по предварительной продаже билетов железнодорожного сообщения...

Что скрывать, Илья чувствовал себя невероятно униженным. Как могли они с Андреем забыть, что Илья самый младший в классе! Если он останется летом в городе, легко представить, насколько всем будет не до него. И Сережа Дроздов, и Алешка, и Микеладзе, этот сверхвезучий красавец, которому даже невозможно завидовать, такой он гений во всем, — станут сначала готовиться, потом сдавать, потом искать себя в вывешенных списках... А он, как типичный недоросль, будет гонять на улице собак! Так уж лучше скорее к песцам на север, пока судьба не выкинула еще какой-нибудь фортель! И как хорошо, что у него с собой есть тридцатка...

Вот и памятник Лассалю, который всегда Илье нравился: с гордо поднятой головой, дерзко сдвинутой на своем постаменте на энную долю круга. Но сейчас не до него. Илья взбежал по наружной лестнице, которая, как в Бироновом дворце, вела на второй этаж прямо с улицы, затем по внутренней лестнице проскочил какое-то помещение с буфетным и газетным прилавками, как

на вокзале, — и перед ним открылся громадный зал: кассы, кассы, кассы — и сотни людей. Такого скопища, такой толпы жаждущих ехать в разные концы страны Илья не ожидал увидеть. Студенты, рабочие, итээры, типы неясного возраста и неопределенных профессий, похожие на переодетых нэпманов: в скромных, поношенных пиджачках, в толстовках, с холеными и одновременно настороженными лицами. Многочисленные очереди, вьющиеся к окошечкам касс, сливались в один клубок, в копошащийся муравейник, где найти кассу нужного направления далеко не просто.

Касса северного направления найдена, место в очереди занято, и тут Илья впервые усомнился, продадут ли ему билет. Насколько он мог уяснить из первых минут пребывания в очереди, все эти люди едут по командировкам, или же по разверстке, по наряду, по набору, по вызову, а что у него? Сплошь стоят взрослые дядьки — матросы, механики, плотники, каменщики, шахтеры и пара-другая интеллигентов походного вида, с обветренными лицами, привыкших к ночевкам у костра, под открытым небом, как видно, геологов. Все это народ хлопотливый, веселый, успевавший и познакомиться, и обсудить злобу дня, и прочесть вслух «Из залы суда» во вчерашней «Вечерке», и сбегать на лестницу покурить, и купить в буфете невзрачный коржик, который в Любиной лавке и в углу бы не валялся. Кто-то возвращался на Север из отпуска, проведенного в Ленинграде, и его с любопытством расспрашивали — как там в Хибинах (или в Медвежьегорске) со снабжением и с жильем. Сразу видно, что едут люди самостоятельные, которых трудно испугать отсутствием жилья или диетпитания. Лишь предполагаемые нэпачи осторожно молчали и поводили тоскующими глазами.

Так, гоня от себя беспокойство, Илья старался разглядывать соседей и ставить социальные отметки. Но чем ближе он подвигался к кассе, тем больше тревожился. Один за другим люди подавали свои бумаги кассирше; посерьезнев перед окошечком, отслюнивали червонцы, слышался четкий и мягкий стук компостера, и будущий пассажир получал билет. Все, все без исключения предъявляли ту или иную бумагу, а что предъявит Илья? Он опять, как сегодня в Университете, окажется совершенно бесправен.

Подошла очередь одного из гостинодворцев. Неужели Илье суждено быть с ним на одинаковых птичьих

правах и одинаково получить отказ? Но вот будет номер, если нэпман предъявит фальшивое удостоверение и благополучно получит билет, а Илью с позором прогонят! Второй вариант: Илья глупо ошибся, это вовсе потомственный слесарь или такелажник с нарушением пищевого обмена в виде пузика... Как ни боялся Илья потерять свое место в очереди между двумя молчаливыми людьми, безразлично смотревшими поверх него и сквозь него, он все же сбегал на минутку к кассе, чтобы узнать, как будет обстоять дело.

Черт возьми, такого поворота Илья не ждал! Нет, он, по-видимому, не ошибся, это действительно был какой-то б ы в ш и й — частник, спекулянт, валютчик, вредитель — неизвестно; удивило другое: заключенный имярек (фамилии Илья не запомнил) возвращался в Кемь, откуда он приезжал в Ленинград по командировке УСЛОНа (Управление Соловецких лагерей особого назначения) на предмет получения техоборудования для производства кожфурнитуры. Илья прочел это из-за плеча гражданина, удовлетворив таким некрасивым способом сжигавшее его любопытство. Н-да, он и не предполагал, что существуют столь фантастические возможности: заключенный свободно разъезжает в служебные командировки... Он же в любой момент мог сбежать! Чудеса!

Но главное чудо произошло дальше. Когда Илья, уже совсем потерявший надежду, вплотную приблизился к кассе, — до него оставался всего один человек, обращавший на него ноль внимания, — тот вдруг обернулся и негромко спросил:

— Вам в Мурманск или ближе?

— В Мурманск, — ответил опешивший Илья.

— Деньги на билет близко? Давайте скорее...

Через пять минут, сжимая в кулаке уже не тридцатку, а драгоценный билет, Илья об руку с благодетелем пробирался сквозь толпу к выходу. В голове у него толклись самые противоречивые мысли: разумеется, он радовался удаче и был благодарен доброму незнакомцу, но его немножко тревожило: не встрять бы в какую-нибудь авантюру. Издыхающий нэп способен на всякие пакости.

Когда они расставались у памятника Лассалю, незнакомец сказал:

— Значит, в вагоне встретимся.

Илья решил.

— Я понимаю,— храбро сказал он,— что вы догадались, что у меня нет командировки, но как вам удалось?..

— Взять лишний билет? — договорил незнакомец.— Очень просто. В нашем экспедиционном удостоверении упомянут еще лаборант, а в последнюю минуту учреждение решило на нем сэкономить. Ясно?

— Ясно! — обрадовался Илья.— А вам не попадет от начальника?

Благодетель улыбнулся:

— Интересно, почему вы решили, что начальник не я? Не смущайтесь, в общем вы угадали. Итак, до встречи.— Он торопливо пошел по направлению к Гостиному двору.

Илья глядел вслед: на гостинодворца он не похож, типичный спец среднего, а то и малого калибра. До главного инженера далеко. Вместе поедут — выяснится, что это за экспедиция. Что-нибудь насчет рыбы, морского зверя...

Со спокойной душой Илья зашагал по Невскому в сторону дома, к родному Васильевскому острову. Поравнявшись с магазином «Динамо», он увидел, как у панели остановилась конная подвода с наваленными на нее связками лаптей. Потеха: в спортивный магазин привезли лапти для пешех туристов! А собственно, что смешного? Связь следствий и причин понятна: кулаки и несознательные середняки режут скот, в стране не хватает кожаной обуви,— не прекращать же из-за этого туризм. Кстати, ходить, говорят, в лаптях легко и удобно. Надо только умеючи навернуть онучи и подложить под ступню немного сенца. Купить, что ли, парочку лаптей, пригодятся для Севера? Пожалуй, отец может принять за намек на то, что недостаточно помогал сыновьям, что они обнищали... Кто знает, что у него за характер!

В задумчивости бредя по каменным плитам широкой пустынной панели (Невский в середине служебного дня в те годы бывал малолюден), Илья прямиком уперся в... Кого сейчас больше всего не хотел бы он встретить? (И не только сейчас, а вообще в жизни!) Говорят, на ловца и зверь бежит... Илья зверски, как ему показалось, взглянул на Катьку, с которой неотвратимо столкнулся на самой длинной и самой широкой в городе улице. Катя глядела на него смущенно и робко... Или это опять же ему показалось? То есть он хотел видеть ее

смущенной и робкой, то есть хотел помириться?.. Какая ерунда!

Но он ничего не успел проанализировать. Катя схватила его за руку и потащила, а он и не думал вырываться. Он послушно пошел с ней в Пассаж, затем в Гостиный, затем в Апраксин,— всюду, где она покупала, вернее, искала, спрашивала, выбирала и отвергала какие-то чепуховые мелочи, которые Илья, понадобись они ему, взял бы с маху, без выбора: дюжину пуговиц, полметра узкой, полметра широкой резинки... а, черт, какая разница! — размахнулся бы и на метр!..

Идиотство заключалось в том, что Илья мог в любую минуту отцепиться, смыться, покинуть Катю, пока она рылась в барахле, близоруко склоняясь над прилавком, точно приюхиваясь, а он не смывался, покорно сопровождал и терпеливо ждал. Почему? Зачем? Если не бояться правды, то, очевидно, надо ответить так: соскучился, решил простить ей минутную (скорее даже секундную) бестактность по поводу письма Зыковой к Андрею, понять и простить как нечто специфически женское, вроде этой бессмысленной беготни по магазинам. Фактам надо смотреть в лицо. Катяка есть Катяка, и перевоспитывать ее он не намерен.

Они добегались до того, что из Катиных туфель через каждые несколько шагов стали вылезать отклеившиеся стельки. Когда уже возвращались домой и переходили через мост, Катя сгоряча выхватила стельку из левой туфли и швырнула ее в Неву. Их обоих это почему-то необычайно заинтересовало: свесив головы, они внимательно наблюдали, как летит эта стелька вниз, как упала в воду и как поплыла по спокойной, на редкость гладкой Неве. (Когда Илья потом вспоминал, ему было странно, что в эти секунды он не подумал об Андрее, хотя раньше казалось, что вода и мост связаны с ним навсегда, неразрывно и очень больно.)

Вторую стельку постигла иная судьба. Проходя по Съездовской линии и приближаясь к Среднему проспекту, Илья с Катей выдернули ее из туфли и опустили (именно так: вдвоем выдернули и вдвоем опустили) в почтовый ящик, висевший на двери зубного врача М. Б. Гинзбурга. Совершая это мелкое хулиганство, оба были в восторге и с наслаждением представляли, как сегодня вечером или завтра утром М. Б. Гинзбург станет доставать из ящика письма и газеты и обнаружит стельку.

— Конечно, было бы неизмеримо лучше насыпать ему полный ящик гнилых зубов! — мечтательно сказал Ильюша.

— Откуда ты их, интересно, возьмешь? — возразила практичная Катя. Затем искоса смерила Илью взглядом и сказала: — Знаешь, я чувствую, что на целых два миллиметра стала ниже ростом.

— Ты имеешь в виду толщину стелек? — глубоко-мысленно спросил Илья.

Катя не ответила и чуть заметно прислонилась к нему плечом, должно быть, для того, чтобы легче было идти в ногу, шаг в шаг.

Что же было кроме дурачества? Ничего. Какие слова были сказаны, кроме тех, что относились к самым будничным или нелепым вещам? Никаких. Все два часа были заполнены упоительной чепухой, включая покупку пуговиц и резинок, которые в результате так и не были куплены. Пожалуй, последнее-то и подкупило Илью: стало ясно, что прогулка для Кати значила больше, чем цель, ради которой она вышла из дома. Мистики, разумеется, не было, — выходя, Катя не ожидала встретить Илью, но дальше все пошло своим ходом.

Илья впервые увидел, притом широко раскрытыми глазами, в чем Катя была одета и как это ей к лицу, хотя из всей земной роскоши на ней было синее сатиновое платье в белый горошек и порядком разбитые коричневые туфли без чулок. Но это как раз то, что нужно, — надень она что-то другое, изысканное (Ильюшиной фантазии не хватало, чтобы конкретно определить — что именно, хотя он, бывало, и пялился на шикарных нэпманских дочек), и очарование испарится. В чем тут дело? Лучше не вдумываться...

Так или иначе, они превосходно провели эти два часа и, наверно, ходили бы еще дольше, если бы Катя внезапно не вспомнила (при этом искренний ужас искажил ее диковатое, смуглое лицо с густыми, почти сросшимися на переносице темными бровями и пляшущей от смеха и быстрых движений светлой челкой), что ей немедленно надо домой, не то ее годовалый братишка останется без присмотра, ибо родители... словом, долго объяснять.

— До свиданья, Стахеев! — крикнула Катя и мгновенно исчезла в воротах, точно провалилась в канализационный люк. Илья не успел ей сказать ни о том, что уезжает, ни о том, что сейчас подумал, — впрочем, об

этом он все равно бы не сказал. Он успел только мельком ощутить: в оставшуюся до отъезда неделю он ни за что не сделает попытки увидеть Катю. И это будет к лучшему, иначе волшебство сегодняшней прогулки исчезнет, как исчезла сейчас сама Катя.

Так и вышло: больше они не виделись.

Через неделю Илья уезжал. Был жаркий выходной день — шестой день скользящей шестидневки: воскресенье недавно отменили. Рассопов, провожавший Илью, оделся, как на физкультурный парад: спортивная сетка с крупной ячеей, белые, сияющие под солнцем брюки и парусиновые туфли, начищенные зубным порошком.

Когда Илья вошел в вагон и стал у открытого окна, ему захотелось сказать Рассопову на прощанье что-то такое, из чего бы тот понял, что он для Ильи теперь не чужой, что Илья не забудет, как тот не бросил его в трудное время, и вообще...

— Рассопыч! — трудно сказал Илья. (Черт знает, почему легче говорить никчемные, исковерканные слова, чем настоящие!) — Рассопыч, — сказал Илья. (Тот смотрел на него понимающе и сочувственно). — Вы мне пишите... Ты мне пиши с практики...

— И ты, — сказал Рассопов. — И ты! Ладно?

Вчера они выпили на брудершафт полбутылки сладкого вина, которое называлось «шато-икем», — Илья самолично купил его в угловом магазине «Василеостровец».

— Кто был никем, тот пьет икем, — несколько раз за вечер повторил Рассопов чью-то рифмованную шутку. Шутка показалась подвыпившему Илье замечательно остроумной и полной глубокого социального смысла. Каждый раз после нее Илья долго и громко смеялся.

Помнит он в общих чертах и серьезную их беседу, вернее свой монолог и внимательное молчание Рассопова. Илья с жаром рассказывал, как они с Андреем, уже перед сном, сбросив дневные заботы, проектировали будущее. Будущее масштабное, эпохальное и, так сказать, микробудущее; что ожидает их лично и что будет через год, через пять, через десять лет, через полвека — в стране, в Европе, на всем земном шаре. Кажется, предусмотрели все варианты! И вот брат погиб, не предугадав своей личной судьбы или распорядившись ею совсем иначе, чем в этих проектах... А Илья? Кстати,

если бы существовал факультет будущего, он естественно попытался бы поступить на него, но ведь такого не существует.

— И напрасно! Верно, Рассопов? — Илья убежденно тарасился на собеседника. — Строить социализм, коммунизм и не учить людей, как надо жить в условиях нового общественного строя... Да они ж растеряются! Пора, давно пора думать о конкретных деталях этого строя, ясно себе представлять их, чтобы люди за сегодняшними делами не забывали о перспективе...

Илья немного подумал и сделал значительное лицо.

— Правда, все факультеты и все профессии в совокупности... (хе-хе, трудноватое слово!) должны служить для того, чтобы люди учились приближать будущее. Ведь так? Разве не так? — Илья победительно посмотрел на Рассопова. Собственно, тот и не спорил с таким очевидным трюизмом. Но, во-первых, Илье тогда не казалось это трюизмом, а во-вторых... Во-вторых, Рассопов явно был ошарашен как неожиданным красноречием Ильи, так и шато-икемом, которого он на правах старшего и опекуна хлебнул на славу, подливая себе из педагогических соображений значительно чаще, чем младшему и опекаемому. Ну, а потом... потом они не заметили, как заснули. Все же это была их первая пьянка, хотя и на идейной основе.

На следующее утро они чувствовали себя немного неловко (не считая головной боли). Рассопов винил себя в попустительстве, Илья в том, что нарушил уклад, заведенный Андрюшей. Трудно себе представить, чтобы при жизни брата в их комнате фигурировала бы бутылка! С другой стороны, не исключено, что вне дома Андрей и выпивал, например с тем же Рассоповым. У Ильи вертелось на языке спросить об этом Рассопова, но он не решился. Не стоило углублять неловкость. Лучше забыть, как будто ничего не было.

И они сделали вид, что забыли.

— Так я тебе сообщу адрес практики, — в третий раз повторял Рассопов, преданными коровьими глазами смотря снизу вверх на Илью, до пояса высунувшегося из вагонного окошка.

Он оживился.

— Слушай, а вдруг бы меня послали в Хибины? Немыслимо, ну а вдруг?

— Что ты говоришь? — радостно изумился Илья. — Что ж ты раньше молчал о такой идее? А ты не сочиня-

ешь? Ты смотри!.. — он погрозил ему сверху вниз пальцем. — Ты меня не води за нос!

Слово «ты» лезло вперед и наворачивалось на язык много чаще, чем это было необходимо.

— А это уж как судьба! Кто был никем... — Рассопов моргнул белыми толстыми ресницами.

— Тот пьет икем! — засмеявшись, договорил Илья.

Поезд тронулся, и в эту секунду Илья увидел Катю. С испуганным и несчастным лицом она неслась по платформе. Было ясно, что не догонит Ильюшиного вагона. Это хорошо. Это просто замечательно, что она опоздала. Пускай помучается! Но откуда она узнала, что он уезжает? Неужели он и о ней вчера что-нибудь сболтнул Рассопову? Какой ужас этот алкоголь! Люди глупеют от него больше, чем от любви.

Все. Поезд пошел быстрее, и Катя отстала. Жалко!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Пока Илья не сел в поезд, он реально не ощущал, что через несколько дней, много через неделю (правда, еще неизвестно, как он из Мурманска доберется до острова), ему предстоит мучительно трудное дело. Но лишь поезд тронулся, загрохотал через Обводный канал по решетчатому Американскому мосту, Илья вдруг почувствовал, какую тяжесть взвалил на него Рассопов. Ведь это его идея — ехать Илье к отцу. О ком Рассопов заботился — об отце? Нет, просто он хочет, чтобы Илья понял, что не один живет на свете, что это налагает обязанности, в данном случае сыновние. Словом, Рассопов его воспитывает!

Илья с опозданием разозлился. Какого черта! Лучше бы помог написать письмо, в котором они как можно мягче сообщили бы отцу о несчастье, нашли утешающие слова. А затем Илья поступил бы на работу. Либо в Ленинграде, либо поехал бы на передовую стройку, — мало ли их теперь в стране. А то едет на заповедный остров, где, кроме отца, и людей-то нет, одни песцы воют. Что он там будет делать? Правда, никто не обязывает торчать до осени. Проведет с отцом две недели, смягчит первый удар (неведомым пока способом) и покатит обратно — поступать на завод. Илья не суеверен, но, может, судьба правильно распорядилась, отогнав его от истории?

К удивлению Ильи, в вагоне не оказалось того

великодушного гражданина, который взял ему билет. Илья прошел по соседним вагонам — нет, благодетеля не было. Сначала он слегка огорчился, но потом решил: ни к чему это дорожное знакомство, слишком о многом надо в пути подумать.

Итак — отец. Стыдно сказать, но Илья мало что о нем знал. Охотник, зверовод, добровольный скиталец по русским окраинам — как сложился такой характер? Странно, что они с Андрюшей об отце почти не говорили. Получали изредка письма, денежные переводы, — в письмах он ничего о себе не рассказывал, только расспрашивал — как они живут, учатся, хорошо ли питаются, хватает ли денег. Как Илья себя помнит, отец жил то в Сибири, то в Туркестане, то на Дальнем Востоке, — в позапрошлом году переехал на Мурман. Заповедник, заказник — что-то в этом роде. Образование отца? Кажется, лесная школа.

— Кажется!.. Ничего-то Илья толком не знал. Положим, лес он как раз знал и любил. Когда была жива мать, они выезжали летом не в дачную местность, не в Сестрорецк, не в Павловск, а селились где подешевле. Так он запомнил два лета, проведенные на разъезде Горы, к востоку от Ленинграда. Дальше начинались Назийские торфяные болота, унылая низменность, — окрестности же Гор были красивы, но мрачноваты: хвойные леса, крутые обрывы.

Стахеевы жили у путевого обходчика. Мимо шли местные рабочие поезда и несколько дальних — почтовых и пассажирских, и среди них тот, в котором сейчас Илья ехал. Разве мог он тогда предполагать, что промелькнет, не задержавшись ни на минуту, мимо этого разъезда, мимо их желтого железнодорожного домика, мимо столба с отметкой: 41 верста.

Еще час назад, садясь в поезд, он и не думал, что у него может здесь екнуть сердце: собирался думать об отце, а вспомнилась мать. Почему-то не дома, не в городской комнате, где она умерла, а именно здесь, где в первое лето ему было всего одиннадцать лет, во второе двенадцать, он сильнее всего сейчас ощутил ее присутствие. Не отсутствие, хотя ее давным-давно нет, а присутствие, словно в те два последних дачных лета, когда она тяжело болела и все лежала у окна, молча смотря на проходившие поезда, она оставляла здесь навсегда что-то свое, частицу себя, — неважно, называть это душой или как-то иначе.

О чем она думала? Должно быть, о том, что скоро умрет и ничем никогда больше не сможет помочь своим мальчикам, не утешит, не порадуетя вместе с ними. Когда-то, очень давно, когда мать была еще здорова, она рассказывала о том, как умирала ее прабабушка, как домашние с плачем ее окружили и спрашивали: «Бабушка, бабушка, как жить-то без тебя будем?», а бабушка улыбалась и отвечала: «А вы всё по одной половичке идите, в сторону не сворачивайте — и хорошоохонько проживете...»

Хорошоохонько — какое уютное, успокаивающее слово! Нет, перед смертью мать об этом не вспоминала. И не улыбалась кротко и умиротворенно. И не выказывала желанья приласкать Илью и Андрея. И от них не ждала ласки. Лежала, хмуро отвернувшись к окну, и думала, наверно, о том, что вот поезда идут в те края, где находится ее муж, которого она почти не видит, а теперь уж и не увидит, и все это ей теперь безразлично.

Умерла она в городе. Отец успел к похоронам.

Не из-за матери ли Илья испытывал к нему холодок? Или просто отвык за многие годы? Конечно, Илья был тогда мал, глуп, не вникал, принимал все как должное, но где-то втайне, подспудно, наверно чувствовал, что отец — отрезанный ломоть и это причиняет матери боль. Не его дело разбираться в их отношениях, но Илья уверен, что мать в предсмертные минуты (как и Андрей месяц назад, когда плакал ночью) думала о себе, о своем несчастье, а вовсе не о близких и дорогих ей людях. Хоть один-то раз в жизни такие минуты законны?

Весь первый час — от Ленинграда до Мги — Илья простоял у окна. Стоял бы и дальше, но поезд остановился: Мга. Любопытно, какая она теперь? Немало они в свое время ходили сюда за продуктами, за «Красной вечеркой». Изменилось тут что-нибудь с 1925 года? Правда, Мга и тогда не была заштатной: неподалеку строился Волховстрой, и ближайшие к нему железнодорожные станции — Званка, Войбокало, Жихарево, Назия, Мга — были сравнительно оживленными. Рабочие (в основном из местных крестьян, одного Илья даже знал, играл в деревне с его парнишкой), ехали отсюда на Волховстрой, получали там квалификацию бетонщиков, сварщиков, такелажников, монтеров; другие тянули к Ленинграду высоковольтную линию электропередачи, по которой с 9-й годовщины Октября уже течет ток. Вон шагают теперь эти двуногие деревянные и четверо-

ногие железные опоры с поблескивающими под солнцем черными цепочками изоляторов, с подвешенными к ним проводами из скрученных медных жил. Илья помнит, как ставили эти опоры, как все ему было интересно, как рвался он смотреть на верхозазов и сам хотел слазать с ними наверх, и как, рассказывали тогда, одна из опор повалилась и чуть не придавила самого Графтио, создателя Волховской гидростанции, мечтавшего о ней, говорят, с далеких дореволюционных времен.

И вот и Мга нынешняя. Народу на станции — тьма. Плотники, каменщики, землекопы, одиночки и с семьями, с мешками, котомками, сундуками, пилами, топорами, рубанками, — они брали поезд на абордаж. Творилась дикая сутолока, люди кидались к одному, к другому вагону, проводники их отталкивали, на чем свет ругали, те тоже не оставались в долгу; пока не раздался третий звонок и паровозный гудок, десять минут стоял оглушительный мат. Все ясно: люди рвались ехать на социалистические стройки, за каких-нибудь несколько месяцев успевшие прославиться на весь мир, а здесь, на глазах Ильи, подсекался невиданный доселе энтузиазм.

— Безобразие! — вскричал Илья, ни к кому конкретно не обращаясь, даже не оборачиваясь внутрь вагона, прикованный зрелищем вопиющей неразберихи. — Как можно их не пускать? Почему не дадут дополнительный поезд? Это вредительство! Саботаж!

Он кипел от гнева и выливал его в первых попавшихся сильных словах, хотя поезд уже миновал станцию и за окном простирались мирные, утоляющие душу картины: луга, перелески, тихие рощицы под вечерними косыми лучами. Он так соскучился по безмятежной природе... Но разве можно терпеть, чтобы портили настроение разные мерзавцы!

И тут позади него некий бас внушительно произнес:

— Молодой человек, нельзя ли поэкономнее с вредительством?

Илья порывисто обернулся. В вагонном сумраке, после залитого мягким закатным солнцем идиллического пейзажа, он не сразу увидел, кто с ним заговорил. Постепенно он разглядел крупное туловище, пышные волосы, орлиный нос и, наконец, сверкающие властной энергией глаза. Его оппонент стоял между полок, непринужденно на них облокотясь, как и подобает могущественному великану. Странное дело: раньше Илья не заметил его среди пассажиров, — очевидно, вошел в ва-

гон в последнюю минуту, когда Илья обосновался уже у окна. Впрочем, он был не столь уж велик, это волосы и массивный лоб создавали такое впечатление. «Лоб мыслителя», — успел наскоро подумать Илья, прежде чем ответить на замечание.

— А вы считаете, — собрав всю свою выдержку и достоинство, сказал Илья, — что головоотяпство и равнодушие не то же вредительство?

— Ого! — сказал пассажир с уважением, не то насмешливо, не то всерьез, против света опять же не было видно.

— Недаром, — воодушевленно продолжал Илья, — образ вредителя взят из животного царства: грызуны, саранча и тому подобное. Но те хоть вредят по необходимости, для поддержания своей жизни. И то с ними борются. Что касается человеческой, социальной сферы...

— Зоология, животное царство, — бесцеремонно прервал его собеседник, — помню, помню... учил в пятом классе гимназии. Что касается социальной сферы, такие слова были в ходу уже у студентов. С кем имею честь? — он благожелательно протянул руку.

В одну секунду надумав и раздумав обидеться, Илья протянул навстречу свою:

— Стахеев... Илья... — Ладонка его утонула в широкой и теплой ладони, и он услышал в ответ снисходительное рокотанье:

— Лев Григорьевич.

И после паузы — еще более снисходительное:

— Познакомьтесь с моим сослуживцем и заместителем. Егор Егорыч.

Невысокий мужчина расклонился от чемодана, где он что-то перекладывал, и охотно протянул Илье руку.

— Мы немножко знакомы, — дружелюбно сказал он.

Илья с удивлением узнал в нем своего благодетеля. Да, это он, лишь одет по-дорожному — в сапогах, в толстовке.

— А я-то вообразил, что вы не поехали! — радостно восклицал Илья, взбудораженный встречей. — Или что у вас на другой поезд билеты... Между прочим, я не забыл вас поблагодарить? Тогда это произошло так скоропалительно...

— За что поблагодарить? — подозрительно осведо-

мился Лев Григорьевич.— Где это вы успели познакомиться?

Егор Егорыч невинно объяснил:

— Пустяки... Маленькое недоразумение в очереди. Бывает, знаете ли...

— Бывает,— согласился Лев Григорьевич.— Очередь — явление социальное! — Он благодушно подмигнул Илье.— Не хотите ли закусить, юноша? Мы с Егором Егорычем замотались, не успели дома пообедать. Пошли в вагон-ресторан подкрепиться. Купили в запас десяток пончиков. Угощайтесь...

Илья не отказывался. Пончики были с повидлом, и ему пришлось выслушать (и при этом не поперхнуться), что в закрытом распределителе для политкаторжан висит якобы объявление: «Цареубийцам повидло вне очереди». Анекдот был явно с душком, но рассказан без тени ехидства, под аккомпанемент собственного басистого смеха, столь простодушного, что невольно захотелось простить Льва Григорьевича. И Илья простил.

Вскоре он именовался уже Ильюшей, и новые знакомые узнали, куда он едет, к кому и зачем, разумеется, без подробностей. (О смерти брата Ильи сказал в самых общих словах: умер, и все.) Услышав о том, что Илья едет на остров Колдун, полутчики засмеялись. Бывают же такие совпадения: оказывается, они ехали туда же. Илья сразу спросил — не по делам ли пушзаповедника. Лев Григорьевич сморщил орлиный нос и кисло ответил, что нет. Быть может, у них какая-нибудь секретная миссия? Илья не стал выпытывать, но Егор Егорыч прозаически пояснил, что они едут для организации на острове небольшого завода по выработке йода из водорослей, что они — представители Медснабторга. Н-да, миссия у них не бог весть какой государственной важности: просто аптекари!

Как видно, на лице у Ильи отразилось нечто вроде разочарования, впрочем и раньше йодникам приходилось встречаться с пренебрежением к их занятиям,— так или иначе, Лев Григорьевич напыжился и пророкотал:

— Молодой человек, вам известна годовая потребность нашей страны в йоде?

— Нет,— сказал Илья, слегка покосившись на Егора Егорыча: вдруг это государственная тайна, а Лев Григорьевич ее выболтает? Егор Егорыч, к которому Илья почувствовал почему-то не только симпатию, но

и доверие, успокаивающе кивнул, и Илья стал внимательно слушать.

— Сто пятнадцать — сто двадцать тонн! — отчеканил Лев Григорьевич. — А вам известно, сколько у нас добывается?

— Нет, — уже смелее отвечал Илья.

— Одна-две тонны! И то только в этом году. Весь остальной йод мы получаем из-за границы. Следовательно... — Лев Григорьевич пронизывающе посмотрел на Илью.

— Следовательно... — не слишком осмысленно повторил тот.

— Неужели не понимаете? — нетерпеливо сказал йодник. — Мы тратим на йод драгоценную валюту, которая нужна нам, как... как воздух! — Взмахом рук он изобразил воздух, пригнав его ладонями к отверстому рту. — А могли бы не тратить. Еще в тысяча девятьсот двадцать первом году состоялось решение Совета труда и обороны, подписанное самим... Кем бы вы думали? — в голосе его зазвучал вечевой колокол. — Самим Лениным! Вникаете, юноша? Владимиром Ильичем Лениным!

Илья невольно заметил, что близидящие пассажиры (в поезде ехали почти исключительно мужчины) начали с интересом прислушиваться.

— Производство йода из водорослей Севера, — гремел Лев Григорьевич, — было признано делом чрезвычайной государственной важности. Протокол № 222, параграф 46-й от 15 июня 1921 года. Егор Егорыч, я не напутал в цифрах? (Переспросил он явно из кокетства, — разве он мог забыть такие ответственные цифры!)

Егор Егорыч подтверждающе наклонил голову. По спине Ильи, несмотря на теплынь в вагоне, пробежал особого рода озноб: Илья вдруг почувствовал, что прикоснулся к истории. Всего один факт — но какой! Из летописи революционных годов! Тем не менее он осмелился пролепетать:

— Почему же с тех пор ничего не успели? Одна тонна из ста двадцати...

Лев Григорьевич сдвинул густые брови.

— Саботаж! — отрезал он коротко. — Нашлись ученые субчики... я мог бы назвать имена... которые сумели убедить правительство в нерентабельности отечественного производства йода. Они «доказали», — новым

взмахом руки он изобразил кавычки, — что государству якобы выгоднее покупать йод в Чили, где он изготавливается из селитры. Дело яснее ясного. — Лев Григорьевич грозно повысил голос: — Их подкупил международный синдикат! Вот где надо искать вредительство, юноша, а вы ополчились на ни в чем не повинную железную дорогу...

Илья виновато потупился, затем скосил глаза на Егора Егорыча. Тот молчал, и лицо его было бесстрастно. Эге, подумал Илья, эта разница в выражении лиц что-то значит!..

Неизвестно, проник старший йодник в Ильюшины мысли или же просто выдохся, но он вдруг умолк и принялся читать «Ленинградскую правду». Егор Егорыч тоже решил воспользоваться преимуществом белой ночи и достал из чемодана нещадно истрепанную книжку — «Собачий переулочек» Льва Гумилевского.

— Читали? — спросил Егор Егорыч, заметив любопытствующий взгляд Ильи. — Хотя вам еще рановато...

Илья чуть не зашипел от злости. Он обиделся не столько даже за себя, сколько за симпатичного Егора Егорыча: надо же такое сморозить! «Рановато!» Во-первых, невероятное барахло, во-вторых, старье. Илья прочел этот роман еще три года назад, когда тот шумел на студенческих диспутах, — взял потихоньку у брата библиотечный экземпляр и прочел. Отстает бедняга Егор Егорыч от литературных новинок! Интересно, какая у йодников специальность: фармацевты или инженеры?

Через день выяснилось, что Лев Григорьевич — врач, Егор Егорыч — инженер-химик. Любопытная деталь: Лев Григорьевич учился в Берлине, о чем он не раз упоминал в беседе, очевидно ожидая вопроса — почему не в России, пока Илья не спросил. Тогда Лев Григорьевич с удовольствием объяснил:

— Вы, Ильюша, счастливцев. Живете, не ведая, что такое черта оседлости, процентная норма и прочие прелести.

— Почему? — запальчиво перебил Илья. — Я люблю историю, я читал...

Лев Григорьевич покачал головой.

— Для вас это история, голубчик, вы ее любите... а для меня... — Секунду подумав, он с горечью пошутил: — А для меня это история с географией! Пришлось ехать за тридевять земель, где не делали разницы.

— Помнится,— скромно молвил Егор Егорыч,— вы, Лев Григорьевич, рассказывали про ваших университетских товарищей, про их шовинистские выпады...

— Бывало, бывало,— охотно согласился Лев Григорьевич.— Но меня они почему-то не трогали. Парень я был веселый, бурши тоже любили гульнуть... Другое дело, доживи я там до войны. Но мне дьявольски повезло: закончил курс в июле девятьсот четырнадцатого, буквально накануне мировой заварухи, и сразу отбыл домой. Уже через месяц мобилизовали на русско-германский фронт, в царскую армию... все в порядке. Не исключено, что мог встретиться там с кем-нибудь из германских коллег, помахали бы два врача друг другу клистирными трубками через линию фронта... Я ведь был терапевт, не хирург.

Егор Егорыч решил проявить настойчивость.

— Но в свою корпорацию эти весельчаки вас не допускали?

— Еще чего! А кто остался от этого в выигрыше? — Лев Григорьевич сочно пошлепал себя по щекам.— По крайней мере имею здоровое, идеально чистое лицо, а бурши все в шрамах. Причем гордятся ими! Нет, вы слышали о чем-либо подобном? — он обернул к Илье свое идеальное лицо.

— Я знаю, дуэли,— нетерпеливо сказал Илья. Он ненавидел это обыкновение взрослых полагать, что жизнь — исключительно их личный опыт. Если бы на деле так обстояло, люди сегодня понятия не имели бы ни о древней Греции, ни о Египте, даже о французской революции бы не слышали, не проживи чудом их прапрадедушка полтора года лет. Спросить Льва Григорьевича о спорах в Конвенте — Илья дает голову под гильотину, что не ответит, даром что он коллега Марата. Что в гимназии проходил — забыл, а потом наверняка не читал ни одной исторической книги. Вообще, это старшее поколение специалистов потрясающе безграмотно в политическом отношении.

— Недавно было в газете,— сказал Егор Егорыч,— как в одном германском городе, забыл в каком, прошло многолюдное шествие с лозунгами: «Вон евреев из банков и торговых предприятий!» Не помню дословно, но что-то в этом роде.

— Ну и что? — возразил Лев Григорьевич.— Глупые лавочники продемонстрировали свою глупость. Это их частное дело, государство в это не вмешивает-

ся. А дураки... так, господа, где их нет? Верно, Ильюша?

Вместо ответа Илья обернулся к Егору Егорычу, сидевшему рядом с ним с кружкой чая в руке и с конфетной подушечкой за щекой.

— Егор Егорыч, а вы тоже за границей учились? Кстати, не знаете, с какого возраста там принимают в университет?

Егор Егорыч неспешно поставил кружку на столик.

— По окончании средней школы, наверно? — Он вопросительно глянул на Льва Григорьевича. Тот рассеянно кивнул. — Лично я поступил в вуз поздновато. Три года воевал на гражданке, перед этим год еще зря проболтался по окончании реального училища. Как вы сказали? — Он засмеялся. — За границей? Нет, я учился в Сибири. В Томском технологическом. И то не закончил.

— Почему?

Егор Егорыч замялся:

— Помешали разные обстоятельства...

— Его вычистили, — вмешался Лев Григорьевич. — Как сына крупного сибирского мельника. Крупного в смысле крупы: имел крупорушку на два постава! — Он вкусно захохотал над своим тяжелым, как жернов, каламбуром.

Немного поколебавшись, Илья спросил Егора Егорыча:

— Вы воевали на стороне Колчака?

Лев Григорьевич захохотал еще пуще.

— Колчаковцы его чуть без ноги не оставили!

Илья, конечно, заметил, что Егор Егорыч слегка прихрамывает. Но ведь и колчаковца могли ранить. Андрей рассказывал об одном деникинском офицере, который долгое время выдавал себя за буденовца, отличившегося в войне с Деникиным и белополяками, и на этом основании требовал повышенной стипендии. Нахальство его и погубило. Потом, говорят, он стал торговать на рынке тюльпанами. Интересно, откуда он их доставал? Понятно, что не из Голландии, а из какой-нибудь ленинградской оранжереи, или привозили знакомые грузины.

Неужели Егор Егорыч обиделся? Нет, улыбается и наливает себе и Илье чаю. Не хотелось бы о нем плохо думать. Посмотрим. История учит: нет ничего тайного, что не стало бы явным!

Илья застенчиво принял из рук Егора Егорыча кружку, на которой четко синела пропись: «Маленькое дело лучше большого безделья». Мудро! Сразу видно, что кружка выработки восьмидесятых годов... Подобные афоризмы были в ходу в эпоху Александра III, — очевидно, досталась в наследство от отца-мельника.

...Поезд замедлил ход. Илья выглянул в окно: станция «Полярный круг». Поезд остановился. Пассажиры прыгали из вагонов и, гремя чайниками, мчались к «Полярному кругу» за кипятком.

С этой станции, значит, уже к концу вторых суток, начался собственно Кольский полуостров. Все кругом делалось не похожим на то средне-русское и мило-привычное, что до сих пор знал и любил Илья. Постепенно мельчали и вовсе исчезали деревья, пышные луга превращались в унылый кочкарник, вместо зеркальных прудов, спокойных и плавных рек, задумчивых речек появлялись бешено скачущие по камням горные потоки, все в мыле от этой скачки. Одна из здешних рек, самая порожистая, на которой скоро, сообщил Егор Егорыч, построят электростанцию, — не терять же даром такую энергию, — называлась тихим русским именем — Нива.

Где-то близко совсем начинается тундра, та самая тундра, которая простирается на восток и на север до самого края России, где бродят олени, воют полярные волки и где жили царские ссыльные. Ссыльные!.. Илья вспомнил, ведь ссыльным был и отец, он же слышал об этом от мамы! Ссыльный, политкаторжанин — вот где привык он к кочевьям. Но почему отошел он от революции? Быть может, отец был эсер? Или меньшевик? Анархист? Раньше Илье это не приходило в голову. А если и большевик, то, может, его исключили из партии? Не может быть! За что?

Илья лихорадочно подсчитал: он родился в 1913 году, Андрей — в 1908-м. Илья еще глупо шутил: «Представляю, как тебе было тяжело родиться в годы реакции!» Место рождения Андрея — Минусинск, Илья обратил на это внимание, когда вместе с Рассоповым оформлял его документы для похорон. И Рассопов это заметил.

— Почти земляки, — сказал он. — Я уралец, он сибиряк.

Илья родился в Петербурге, значит отец уже был на

свободе. Вовсе не обязательно, мать могла к тому времени одна переехать в Петербург. Кто она была? Какая у нее профессия? В сущности, никакой или какая придется: писмоводитель, счетовод, библиотекарь — то, что теперь называется «совслужащий». Делала то, что способна делать любая интеллигентная женщина. Если она была с отцом в ссылке — она и там делала что придется и служила где попало.

Где попало... Может, так они и поженились, случайно встретив друг друга? На триста — четыреста верст одни — сошлись неизбежно, потянулись один к другому, нажили двух сыновей, а дальше?.. Дальше жизнь раскидала в разные стороны. «Зачем же я к нему еду? — думал Илья.— Если даже для матери он стал чужим... А вдруг Стахеев ему вообще не отец?! Кто, когда ему мог намекнуть об этом?..»

Какая чепуха лезет в голову от безделья! Илья поморгал, поморщился, закрыл глаза, снова открыл: показалось ему или увидел на самом деле? По серой пустыне тундры брела, спотыкаясь, человеческая фигура: мешок за спиной, в руках палка. Человек брел, не обращая внимания на поезд. Поезд шел сам по себе, он сам по себе, для него не существовало ни больших городов, ни человеческого общества, ничего на свете, кроме унылых пространств, в которых он затерялся. Как затерялся в свое время отец, на сотни, на тысячи верст один...

Фигурка скрылась, растаяла, — так и неясно, человек это был или карликовая березка, которую гнул и уродовал северный ветер. Хватит воображать! Он опять «вполз» в мысли, докучавшие ему в начале пути и вытесненные было новизной путешествия и знакомством с йодниками... Илья обернулся к спутникам, полный готовности болтать с ними о любых пустяках. Но им было не до него. Они деловито просматривали какие-то сметы, ведомости, готовясь к прибытию в окружной центр. Если вдуматься, совпадение поразительное: ехать с ними в одно и то же место, на какой-то малюсенький островок! В первый момент Илья недостаточно оценил эту шутку судьбы.

Йодники станут обследовать остров «на предмет наличия ламинарий», как сказал вчера на своем деловом волапюке Лев Григорьевич. Ламинарии, объяснил он, это один из сотен, из тысяч видов водорослей, содержащий йод. Водоросли эти бурого цвета, внешней

красоты в них мало. Сначала их надо сжечь, из золы выпарить йодные пары, из паров выкристаллизовать йод, а что значит йод в дни мира и в дни войны, объяснить нечего: эликсир жизни!

Азартно это объясняя, Лев Григорьевич был похож на золотоискателя, алчущего скорее начать промывать золотоносный песок. Сгоряча он даже пообещал (Илья не уверен, что вспомнит и выполнит, разве что Егор Егорыч напомнит) — взять Ильюшу с собой. Зачем ему ждать парохода? Пароходные рейсы редки, один раз в неделю, а йодники купят моторный бот, который предусмотрен в смете. Бот понадобится и для постоянной связи с Мурманском, и для обслуживания самого острова, и для дальнейших обследований Восточного и Западного Мурманского побережья. Завтра йодники явятся в Окрисполком, с его помощью завербуют рабочую силу, получат заказанные еще раньше печи, погрузят на бот — и через день все это будет на острове.

А пока Ильюша один. Пока впереди часы ожидания. Ночь — если можно назвать это ночью — уже миновала, сейчас почти утро. Стучат колеса, за окном мелькают горы, озера, горные реки, — Илье не до них. Ему почему-то тоскливо. Хоть бы какое-нибудь приключение! Но нет, они едут без приключений.

На третий день предстоял Мурманск. Пассажиры уже давно не спали, — летнее утро на Крайнем Севере вещь относительная, поскольку солнце вообще не заходит, — они приводили себя и багаж в готовность, чистились, умывались и вдруг бросились к окнам. Что? Что? Что случилось? Шангуй — станция маленькая, вроде разъезда или полустанка; слева станция, справа гора с чахлым кустарником; но на гору никто не глядел, все с жадным любопытством уставились на деревянный вокзальчик, кажется даже не крашенный, на пустую платформу с одиноким дежурным, возбужденно показывали на какой-то дощатый сарай. Разумеется, вместе со всеми повскакали с места и йодники и Илья, но только когда поезд тронулся, до них дошел мрачный слух, подтвержденный затем проводниками.

История оказалась жуткая. Недели полторы назад бежавшие из Соловков четыре бандита вырезали все население Шангуя — одиннадцать взрослых и пятерых детей, — трупы раздели, сложили в сарае штабелем, переоделись в захваченную одежду и бежали по направлению к границе, — здесь она сравнительно недале-

ко. Поймали их или нет — неизвестно, но замысел их был очевиден: пересечь Западный Мурман и перебраться в Финляндию, а то и дальше.

Об этой страшной резне пассажиры толковали до самого Мурманска, так что старинную Колу с ее приземистой церковкой и типично уездными домишками, разбросанными почти на уровне залива (похожего в этом месте на тинистый пруд), проехали, словно не заметив. Илья не принимал участия в толках: перед глазами его продолжал стоять пустой, в прямом смысле слова вымерший Шангуй и дежурный в красной фуражке, молча провожающий взглядом уходящий поезд. Каково вернуться ему в станционное помещение и быть опять одному! Конечно, если хорошенько подумать, то станцию уже населили необходимым персоналом, наверное есть и телеграфист и стрелочники, но воображению представляется почему-то только этот дежурный, один как перст, как Илья после смерти брата, пока не нашли тело... А тут и не надо было искать: шестнадцать раздетых трупов лежали в сарае. Зачем было таскать их туда, аккуратно складывать, с риском быть застигнутыми? А это уж озорство, если можно употребить такое безобидное слово, или вернее — кощунственный дерзкий вызов.

Илья не знал, что это мрачное происшествие будет иметь некое косвенное продолжение на острове, являющемся целью его путешествия.

Но это было далеко впереди, а пока поезд прочно и окончательно остановился: Мурманск. Таким ли Илья представлял себе этот крайне северный город? Как ни странно, он мало им интересовался, считая всего лишь транзитным пунктом по пути к острову. Не думал Илья и о том, где он будет здесь жить, если не сразу удастся уехать.

Через песчаную площадь они направились в гостиницу, и само собой вышло, что Илья поселился вместе с йодниками. Позавтракав и заставив поесть Илью, йодники отправились по своим делам, а его уложили в постель, как он ни противился, хотя последнюю поездную ночь почти не спал. Перед уходом Егор Егорыч заботливо задернул тяжелые портьеры, — не зря же они предназначались оберегать сон постояльцев в полярные круглосуточные дни, — и Илья провалился в сон.

Проснулся он, когда вернулись йодники. Лев Григорьевич пришел раздосадованный, сердитый, его гром-

кий бас сразу наполнил комнату. Оказалось, что бот хотя и зафрахтовали, но надо его еще загрузить, и выйдет из порта он лишь через пару суток. Впрочем, завтра к вечеру пойдет рейсовый пароход «Сосновец», — на нем они и отправятся, а пока займутся всякими добавочными расчетами.

— Вам тоже найдется дело, — утешил Илью старший йодник. — Арифметику не забыли?

Не успел Илья выразить свое возмущение, как Лев Григорьевич с треском раздвинул портьеры и вывалил из портфеля на стол ворох бумаг.

— Складывайте цифры в правой колонке... те, что подчеркнуты красным... внизу страницы пишите сумму. Ясно? За это мы завтра покажем вам порт.

— Завтра?

— Если до завтра кончим работу.

Говорилось это непререкаемым тоном, тогда как Егор Егорыч привычно молчал и подбадривающе взглядывал на Илью. Илья уже знал, что в крайнем случае он его выручит.

Всласть насчитавшись, так что цифры, казалось, жужжат и роятся в мозгу, как мухи, все трое, с сознанием честно выполненного долга, вышли из гостиницы. По деревянному, песчаному, пыльному Мурманску они пошли к единственному в городе каменному дому, где в нижнем этаже помещался универмаг, в верхнем — столовая. На первое взяли крапивные щи — разумеется, без сметаны и без традиционной половинки крутого яйца, как недавно еще в Ленинграде и в вагон-ресторане, — и вымоченную соленую треску в так называемом жареном виде — на второе.

— Так, так! — ядовито сказал Лев Григорьевич. — Находимся в рыбном центре, можно сказать, в столице рыбодобычи и рыбопромышленности. В порту свежую рыбу грузят пароходами, на вокзале отправляют двойными составами, на побережье не знают, куда девать, а в столовой... — он отправил в рот кусок вымоченной, выученной донельзя трески.

— Лев Григорьевич, — неохотно сказал Илья. — Вам не кажется, что в ваших словах присутствует обывательский душок?

Егор Егорыч замер, не донеся вилку до рта; Лев Григорьевич, наоборот, долго и спокойно жевал. Проглотив, он заговорил, но не гневно, как мог ожидать Илья, а скорее печально:

— Молодой человек, мне вас жаль. Вы громоздите ошибку на ошибку. Во-первых, зачем вам брать на себя функции защитника элементарной безрукости? У моря держат людей без рыбы, кормят соленой прошлогодней треской! Что это, по-вашему, не безрукость? Теперь о другом. Слышали песенку? — Он перегнулся через стол и слегка умерил свой бас:

Пятилетку, нашу детку, создадим, создадим —
Осетринки, лососинки поедим, поедим!

Так вот, — в полный голос продолжал он, хладнокровно глядя в возмущенно расширившиеся Ильюшины глаза, — если бы я сегодня требовал осетрины, вы бы имели право назвать меня обывателем, злопахвателем и даже контрреволюционером. А что требую я? Всего лишь трески, но зато трески полноценной. И за это меня клеймить? Нет-с, извините, не пройдет номер!

Лев Григорьевич быстро доел неполноценную треску и встал из-за стола. Стол был с фанерной столешницей, без скатерти, без клеенки, с оставшейся от предыдущих едоков грудой рыбных костей. Расплатились еще перед обедом, получив в кассе на руки длинную ленту чеков, — официанток в столовой не было, — и теперь молча вышли на улицу, молча пришли домой, молча легли спать, хотя выспавшемуся днем Илье отчаянно не хотелось ложиться. Ничего не поделаешь, не спорить же снова со старшим йодником. Треска за обедом была действительно препакостная.

И все же томило сомнение: советский ли человек Лев Григорьевич? У кого спросишь — не у Егора же Егорыча... Кстати, что делается на душе у этого человека? Если он не колчаковец, не контра и его исключили из вуза только (только!) как сына мельника, сочтя социально чуждым, то разве не мог он с тех пор затаить злобу к тем, кто не дал ему доучиться? Значит, порой мы сами увеличиваем число своих врагов? Да, это серьезный вопрос, надо его на досуге продумать.

Но думать он стал сейчас о другом.

Илья давно понял одну свою особенность; еще яснее она ему стала за время поездки на Север: все его мысли отталкивались от чего-то конкретного. Видел разъезд Горы — думал о детстве, о матери. Видел Мгу — думал сначала тоже о детстве, но мысли эти вдруг бурно перебила догадка о вредительстве на транспорте; неважно, верна она или нет, важно, что его возмутило увиденное

на перроне. Слушая йодников — думал: что они собой представляют? Увидел в тундре человеческую фигуру (или мелькнуло что-то похожее на человека) — подумал об отце; о ссыльных; почему отец выпал из революции?

Иногда связи были простые, иногда более сложные, но всегда можно было доискаться до первопричины, по реальным приметам и признакам вспомнить — о чем он тогда-то и там-то думал. Илья сознавал, что еще не столь долго он жил на свете и не так много успел увидеть, чтобы забыть что-то существенное из виденного и слышанного, а стало быть, забыть мысли, которые у него в связи с этим возникли.

Но был один пропуск, зияющий провал, пустота: он не мог вспомнить, что думал, что делал, с кем виделся (кроме Рассопова) в ту страшную неделю, когда Андрей исчез; исчез, и все, больше о нем ничего целую неделю не было известно. Так вот эта неделя словно бы сгинула, словно бы ее совсем никогда не было. Ни одной мысли, ни одного воспоминания. Тупик, глухой тупик, где не могло родиться ни одного связного соображения. Или он просто забыл, память вытолкнула из себя все, о чем он тогда думал, что видел, все противоречивые сомнения, которые его тогда одолевали. Но были ли они конкретны, поскольку, кроме найденного под подушкой платка, не было ни одного конкретного впечатления?

Нет, пожалуй, он никогда не вспомнит, чем заполнена была эта неделя. Разве что произойдет что-либо такое, что неожиданно осветит эту темноту и он вдруг увидит и вспомнит что-то — бывшее или небывшее, — ибо, говорят, существует явление ложной памяти, особенно под влиянием какого-либо похожего, впечатляющего события...

Примерно на этом этапе своих размышлений Илья заснул. И правильно сделал: завтра будет бессонная ночь — переезд на остров, где его ждет встреча с отцом!

ГЛАВА ПЯТАЯ

...Ночь была солнечная, в половине второго пришел пароход.

Петров жил на острове уже больше недели, и приход рейсового парохода из Мурманска был для него событи-

ем. Он видел, как в бухте высадилось трое мужчин интеллигентного вида: один лет за сорок, огромный, пышноволосяй, в пальто из синего бобрика и в такой же кепке; другой помельче и помоложе, с умеренной шевелюрой, тоже в бобриковом пальто, только черном; и с ними юноша, почти мальчик, стриженный и озябший, в легкой домашней куртке; он то сдергивал с головы летнюю, выгоревшую добела кепчонку, то опять нахлобучивал, беспокойно поглядывая по сторонам; похоже на то, что он либо хотел, либо страшился кого-то увидеть.

Лодка местного почтаря, что доставила их на остров, за полчаса до того увезла на пароход пожилую гражданку, без шляпы, без шапки, изрядно лысеющую, в старинных очках в железной оправе; морщины на ее загорелом лбу и щеках казались не старческими, а врожденными, и вообще этот инспектор Госторга был вполне еще бодрой старухой. На берегу ее провожал практикант пушзаповедника Курлов — молодой человек в ватнике, со скуластым бледным лицом, старуха давала ему последние наставления, а тот, полувнимая, подозрительно косился на пароход, словно ждал откуда беды.

В этих местах с середины мая до середины июля не заходит солнце. Красным, но не тревожным, напротив, спокойным и ровным светом, полуночное солнце светит на бледно-зеленую тундру, на темно-лиловые скалы, на отблескивающий серебром океан. Оно все заходит и никак не зайдет, и это ничуть не похоже на закат в наших средних широтах. Не зарево пожара, не алые флаги, не поднятый в небо сигнал опасности, — скорее, фотографический фонарь, освещающий недопроявленный снимок с непроработанными деталями: едва успел отвернуться человек от солнца — и он уже си-луэт.

Павел Петров стоял тут же на отмели, на песчаном берегу маленькой бухты, губы по-местному. На этом островке (15 километров длиной, 5 шириной) все было маленьким перед лицом Океана с одной стороны, Материка за нешироким проливом с другой. Длинные пологие волны, обходя остров с запада, медленно направлялись к Большой земле и там с неожиданной силой разбивались о прибрежные скалы, вздымая ввысь злую пену. Здесь — тихо, мирно, там — непрерывная битва.

У смерти утесов
Прибой человечества.
Для великороссов
Нет больше отечества.

Великолепные строчки, размышлял Павел, но почему, спрашивается, нет отечества для коренного населения? Как это понять? Может, у Хлебникова это связано с идеями международной революции, поскольку писалось в самые революционные годы? Нет — и не надо? Или сказано просто так, в поэтическом запале?

Стихи и думы не мешали ему предвкушать, как, вернувшись домой, в Ленинград, он станет небрежно ронять в своих очерках приятно увесистые слова с большой буквы: Океан, Материк, Пролив, Большая земля, — хотя Павел жил здесь вторую неделю, он не уставал удивляться тому, что он здесь, а не на Васильевском острове...

Он пропустил момент, когда лодка с инспектором Госторга отчалила, и лишь краем глаза отметил, как она подвалила к борту стоявшего на якоре парохода и старуха поднялась по трапу. Зато он отлично видел, что происходило на берегу. Практикант пушзаповедника Курлов не провожал Фролову на пароход. Он стоял недвижимо и с безразличным видом до тех самых пор, пока лодка не вернулась с тремя пассажирами. Тут с Курловым что-то случилось: он весь ощетинился, даже ватник, казалось, встал дыбом, а в немигающем взгляде Павлу почудилось нечто волчье или, по крайней мере, песцовое... В чем дело? Откуда такая злость к незнакомым людям? Заинтригованный, Павел принялся наблюдать за приезжими, пытаясь угадать — кто они и зачем оказались на острове.

Очутившись на суше, старший из них, чтобы немного размяться, попрыгал, склонившись набок, словно вытряхивая воду из уха, поглядел туда и сюда и, видимо повеселев, раза три выжал одной рукой вверх свой пудовой саквояж. Затем гулким басом, как в бочку (на заре голоса звучат особенно громко), спросил почтальона, доставившего их с парохода на отмель:

— А где помещается сельсовет? А где живет директор пушзаповедника? — При этом он ласково надавил на плечо их юного спутника, с любопытством и одновременно с тревогой озиравшегося вокруг.

— Алексей Иванович живет в фактории, — был ответ. — Сельсовет рядом.

Худенький юноша заметно напрягся при названном имени.

— Где эта ваша фактория? — недовольно спросил приезжий.

— Вон та, красная.

Юноша быстро обернулся в ту сторону. В поселке насчитывалось два-три десятка домов, в беспорядке разбросанных по песчаному берегу, один из них был обшит тесом и весело выкрашен.

— Проводить вас? — вызвался почтальон.

— Сами дойдем. Благодарен.

С привычной нескромностью старший приезжий стал у разошедшей бочки помочиться, затем небрежно спросил через плечо:

— Собаки тут у вас не кусаются?

— Собак у нас нету, — отвечал почтальон, доставая из лодки круглые жестяные коробки с кинолентами.

— Нет собак? Почему?

— Запрещено держать. Территория пушзаповедника.

Приезжий высоко занес ногу и с силой ударил крепким скороходовским каблуком по краю бочки.

— Свои королевские порядки! — промолвил он угрожающе. — Слыхали. Посмотрим!

Юноша, не спускавший глаз с красного домика, удивленно оглянулся, а мужчина, что помоложе, едва приметно пожал плечами. Сорокалетний сердито на него покосился:

— Недовольны своим патроном, Егор Егорыч? — Но тотчас смягчился и пошутил: — Ох уж эти мне подчиненные! Вечно третируют начальство! Когда московский градоначальник Трепов изрек в девяностом пятом году: «Патронов не жалеть!», помощники присяжных поверенных балагурили: «Нам ништо, это патронов наших не велено жалеть...»

— Подлецы! — вдруг выкрикнул юноша; без того продрогший, он еще пуще задрожал от негодования. — Нашли над чем шутить!

Старший приезжий самодовольно усмехнулся успеху шутки, юноша быстро успокоился, все трое взвалили на себя багаж и отправились в поселок, по шиколотку увязая в песке. На берегу, у рыбных лабазов, были подняты и растянуты на шестах сельдяные неводы. Сети сквозили светлой рябизной. Под ними шли осторожно, как бы с опаской: еще упадут, опутают, как льва в басне.

Стриженный юноша произвольно глянул на гриву сорокалетнего.

— Лев Григорьевич, а что вам, собственно, беспокоиться о здешних порядках? Вы же сюда ненадолго...

— Я? Навсегда, милый,— отвечал Лев Григорьевич.— С сего числа это будет мой остров.

— Серьезно? Как у Монте-Кристо?

— Именно. Ты же знаешь: здесь у меня спрятан клад.

— И никого к своему острову не подпустите?

— Ни души. На пушечный выстрел.

Разговор шел на полусмешке, но Егор Егорыч на всякий случай успокоительно пробормотал:

— Это ничего!.. Лев Григорьевич любит говорить образно...

Лев Григорьевич надменно взглянул на него и ничего не сказал.

Было тихо, чуть шелестел песок под ногами. Приезжие не замечали или не обращали внимания, что практикант Курлов и журналист Петров идут следом и могут слышать их разговоры, тем более что Лев Григорьевич говорил громко, во всеуслышание. Обе группы, одна за другой, поднялись по отлогому берегу, пересекли поселок; дойдя до красного дома фактории, приезжие о чем-то тихонько посоветовались (при этом мужчины по очереди вынимали часы, убеждаяще показывая на стрелки своему юному спутнику), затем направились в поселковый Совет. Курлов, поколебавшись, вошел в факторию, а Павел удалился к себе, спать: как-никак ночь, три часа ночи.

Но спать не пришлось, виной были те же приезжие. Явившись к многодетному председателю поселкового Совета, который укачивал меньшого (жену он увез в Мурманск рожать еще одного младенца), приезжие расспросили, где им устроиться недели бы на две, желательно с полным пансионом. Дальнейшее происходило в доме норвежки Пелькиной, куда направил их председатель. С хозяйкой, которая была уже на ногах, а то и совсем не ложилась, они быстро поладили, старший приезжий попробовал сразу же обновить права квартиранта и пансионера — на минутку прилег на кровать — и возмущенно вскричал:

— Эт-то что?!!

Хозяйка не удивилась, да ей и нечем было выразить удивление: на красном, обветренном лице ее отсутство-

вали брови. Она стояла большая, румяная, а Лев Григорьевич ей выговаривал:

— Мой рост сто восемьдесят, а вы меня положили! — Он трогал скрипучее дерево расколовшейся детской кровати и гневно тарасил на Пелькину черные южные глаза, в противоположность ее голубым, нордическим. Он обратился за сочувствием и поддержкой к помощнику: — Егор Егорыч, почему вы не вмешиваетесь? Вам приятно, что ваш начальник унижен?

Тогда зашевелился жилец, лежащий в углу на шкурах, вылез, сел рядом на стул, прикрываясь пальто, и патетично заговорил, как бы со сна, хотя вовсе не спал: он же только что вернулся с залива.

— Не ссорьтесь, товарищи! Взгляните кругом. Кто станет страшиться прекрасных слов для изъявления восторга? Словам возвращается здесь первородная наивность. В этой удивительной природе мощь и прелесть...— он подмигнул норвежке, она тотчас согласно вышла из комнаты, криво ступая и ухмыляясь,— так сочетаются, что, как ни играй словами, прелестной мощи и мощной прелести все равно не получится, а останутся мощь и прелесть...— Он застенчиво улыбнулся, почувствовав, что не к месту и времени развел лирику.

— Вы кончили? — хмуро спросил Лев Григорьевич и сел на кровати, спустив одну ногу на пол.— Меня зовут Лев Григорьевич.— Он сморщился от страшного деревянного писка.— А вы что здесь делаете? Извините за любопытство, на чем вы сидите?

— Пишу очерки,— мирно сказал жилец.— Павел Петров. О рыбацких колхозах. Пожалуйста. А сию...— Он раздвинул полы пальто и посмотрел между голых колен на сиденье.— В данный момент на стуле.

Лев Григорьевич добренько рассмеялся.

— А на каком? Вы же должны быть наблюдательны по профессии. Посмотрите на собственный стул, на мою кровать, на всю комнату. Замечаете?

Петров послушно глядел вокруг себя. Крохотный стул был детский, кровать была детская, на низенькой этажерке лежали детские книжки, детские картинки висели по стенкам, горка игрушек громоздилась в углу, у окна стояла двухместная новая парта.

— Ну что ж,— сказал Петров очень серьезно.— У этой комнаты любопытная история. Кстати, сыну хозяйки восемнадцатый год, девочки тоже выросли. Потом расскажу, если вы тут обоснуетесь...— Он по-

смотрел на часы.— Каюсь, я не дождался, когда «Сосновец» уйдет. Вас случайно не укачало на пароходе?

— Молчите про качку! — Лев Григорьевич порывисто отшатнулся к стене.— От одних ваших слов ко мне опять подступает... Ой, что это там качается?

Петров мельком глянул: в окне маячило чье-то лицо.

— Это один здешний парень.

Лицо исчезло, и Лев Григорьевич сразу о нем забыл. Быстро встал, атлетическим взмахом взвалил на парту дорожный сак (клетчатый, заграничный, но изрядно потрепанный) и нетерпеливо начал в нем рыться.

— Может, хотите позавтракать? — спросил Петров.— Я скажу хозяйке, она мигом сварганит тресочки...— Он выжидательно посмотрел на приезжих.— Здесь так называют треску,— объяснил он, боясь, что ему на это ответят: мол, знаем, бывали тут, знаем и про тресочку и про многое такое, что тебе и не снилось. В те годы молодежь еще иногда стеснялась взрослых и незнакомых людей, и Петров сам чувствовал, что держится он развязнее и говорит речистее, чем следовало бы.

— Некогда, некогда,— проворчал Лев Григорьевич, доставая бинокль, еще и еще что-то. Видно было, что он жаждет немедленных действий.— Егор Егорыч, готовьтесь, не теряйте зря время!

Егор Егорыч послушно поднялся, но, прежде чем заняться сборами, оглянулся на притихшего в уголке у двери стриженного юношу.

— Ильюша, вы с нами?

— Право, не знаю,— нерешительно сказал тот, и в глазах его промелькнула тревога.— Пожалуй... Пожалуй,— повторил он уже увереннее, как бы убедив себя в правильности решения.

Выйдя от Пелькиной, приезжие направились по узкой тропинке, которая вела к маяку и дальше, в глубь острова. «Здешний парень» караулил неподалеку от дома. Угадав их намерения, он поспешил вслед, догнал у маяка (то был маленький, деревянный, скорей не маяк — всего маячок) и, забежав вперед, преградил дорогу. Лицо у него было бледное, злое, синий простеганный ватник (плюс еще скулы) придавал ему сходство с китайцем.

— Дальше нельзя! — яростно заявил Курлов.— Запретная зона!

— Что такое,— пренебрежительно сказал старший приезжий.— Кто что опять запретил?

Егор Егорыч отозвал его в сторону и шепотом посоветовал объяснить, кто они и зачем прибыли, словом, отрекомендоваться. Старший высокомерно отверг совет и категорически запретил Егору Егорычу входить в переговоры с молокососами. Егор Егорыч не решился возразить и печально отошел в сторонку. Ильюша хотел что-то спросить, он уже открыл рот, но Егор Егорыч предостерегающе кашлянул. А Лев Григорьевич опять добродушно захохотал и, словно забыв про молодого пушника, размашисто повернул обратно в поселок. За ним покорно поплелся Егор Егорыч. Сбоку, не по тропинке, а по острорреброму шиферу, торчащему наподобие взъерошенной рыбьей чешуи, шел недоумевавший Ильюша.

Практикант выждал, пока они уберутся (вероятно, к Пелькиной, куда им больше деваться), и только тогда отправился к дому. У самой фактории он встретил почтальона, который передал ему письмо для директора. Алексею Ивановичу нездоровилось, он даже не вставал проводить на пароход своего старого друга — Фролову, и, когда Курлов зашел в его комнату, Стахеев крепко спал, с головой укрывшись от света. Курлов положил письмо на стул возле его кровати.

Спать не хотелось, наскоро позавтракав в кухне, Курлов снова вышел на воздух. Солнце стояло уже довольно высоко, бухта была ярко освещена, в бухте отваливал от причала моторный бот, и на палубе бота молодой пушник разглядел всех приезжих, — четвертым примазался к ним журналист. Все ясно: эти субчики наняли у местной рыбацкой артели судно! Теперь они смогут высадиться где вздумается, в любом месте острова! Курлов остолбенел от такой наглости, но через минуту он уже вбежал в факторию, схватил со стенки ружье, бинокль и, выскочив из сеней, так хлопнул дверью, что наверняка разбудил директора.

Курлов помчался к мысу наперерез боту, но бот не остановился у маяка: обогнув мыс, бот следовал дальше, держа курс вдоль берега. Курлов отправился за ним по прибрежной тропе, кляня в душе председателя артели, поддавшегося на удочку каких-то авантюристов, — чего доброго, и шпионов!

Сразу за маяком начались скалистые берега из сланца, — в то время как противоположный, материковый берег сложен в основном из гранита. Травянистые

участки острова поросли мелким кустарником, ягодниками, там-то и жили песцы. Молодой пушник, защищая их от вторжения пришельцев (тем более нежелательного, что к июню песцы уже обзавелись детьми), бесстрашно взбирался на скалы, скатывался с невообразимых круч, из-под ног его сыпался выветрившийся, раскрошившийся рухляк, стукались друг о дружку камни, трескали брюки в шагу...

Приезжие между тем спокойно сидели на палубе, развернув перед собой карту острова Колдун, похожего очертаниями на гигантскую улитку, отмечали карандашом какие-то пункты, аккуратно ставили маленькие знаки вопросов и жирные восклицательные знаки; видать, привычная их работа.

В бухте, откуда они начали путешествие, шла своя обычная утренняя работа: возвращались с ночного лова парусные и моторные ёлы, с них выгружали рыбу, женщины шкерили ее на пристани и на рыбопосольном судне. Кружились чайки, хрипло крича и хватая на лету рыбы внутренности; на берегу сушились снасти — сушило их солнце, светившее и гревшее уже не с севера, а с востока: началось настоящее утро. Бот плыл вдоль берега, совсем близко к берегу, вот-вот остановится, а Курлов его подстерегал, появляясь то на одном утесе, то на другом; и наконец, подстерег. Бот бросил якорь в маленькой бухточке; здесь начиналась вторая отмель, считая первой отмель перед поселком. Приезжие помогли мотористу спустить пашку, куцую плоскодонную лодчонку, напоминающую по виду кусок, отпиленный от нормальной лодки; осторожно уселись в пашку и уже через минуту очутились на берегу, мокрым после отлива, порядком замусоренном разнообразными морскими дарами, главным образом водорослями.

Водоросли, намытые прибоем, тянулись вдоль отмели бурыми мокрыми грядами. Приезжие склонились над ними с такой нескрываемой жадностью, словно нашли сокровище или в сухой, безводной пустыне приникли к благодатному ручью. Они религиозно ощупывали их, разрывали на кусочки, растирали в ладонях, нюхали, клали эти кусочки в коробку, негромко, но взволнованно переговариваясь. «Это же ламинарии!» — восклицал один. «А я вам что говорил? — откликнулся другой. — Конечно, типичные ламинарии...» — «Лев Григорьевич! — восклицал первый. — Значит, теперь все в порядке?» — «А вы что думали? — самоуверенно заявлял

другой.— Я же вам головой ручался!» И он с изящным величием откидывал назад свою львиную гриву.

Курлов не слышал, о чем они толкуют. Он появился на ближнем утесе и в бешенстве возопил:

— Эй, руки вверх!

Они и ухом не повели.

Курлов выхватил из-за спины ружье и выпалил, сначала в воздух, затем прицелился в приезжих. Это произвело впечатление. Старший испуганно поднял обе руки. Младший вопросительно поглядел на своего начальника и торопливо последовал его примеру. Он так и стоял с коробкой в одной поднятой руке и ланцетом в другой. Стриженный мальчик, возмущенный такой покорностью, демонстративно отвернулся и засунул руки в карманы. Моторист равнодушно курил на палубе. Петров посмеивался, наблюдая с безопасного расстояния любопытное зрелище. Курлов, держа ружье наизготовку, победоносно спустился с утеса. Он вплотную подошел к приезжим, чтобы сурово, с пристрастием допросить их и выгнать с отмели, а если удастся, и с острова. Когда он приблизился к ним нос к носу, старший приезжий оправился от испуга, опустил руки, напыжился и разгневанно произнес:

— Вы сумасшедший! Мы йодная комиссия Медснабторга! Вам влетит от Совнаркома!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Дмитрий Курлов, понурясь, сидел на завалинке, не зная, что предпринять: он чувствовал себя совершенно раздавленным.

Последовательность событий была такова. Когда приезжие объявили о своих полномочиях и предъявили удостоверения, молодому пушнику оставалось лишь процедить сквозь зубы:

— Директор немедленно отправится в Мурманск и выяснит это нелепое недоразумение. Остров Колдун арендован нами, Госторгом, арендован на долговременный срок, по существу, навечно. Прошлой зимой сюда специально завезены особо ценные пушные звери с Командорских островов. (Небольшая пауза. Сдвинуты брови. Курлов недоволен своим многословием — еще примут за признак слабости!) Я не обязан вдаваться в детали, но я хочу полной ясности. (Еще пауза. Бешеная работа мозга. Курлов ищет зацепки.) Кроме того...

кроме того... (Есть! Нашел!) Кроме того, судя по вашим бумагам, Окрисполком разрешил вам обследовать только прибрежную полосу, так называемую литораль... Значит, ходить по территории острова вы во всяком случае не имеете права... Ясно?

Старший йодник его не слушал, принявшись за прерванную работу; младший из вежливости немного послушал и тоже занялся водорослями. Видно, что они успокоились и черт их теперь проймет! Лишь стриженный шибздик почему-то заволновался, когда Курлов упомянул о директоре, но мальчишка меньше всего его интересовал. Самолюбие Курлова непомерно страдало от того, что приходилось ретироваться после таких подробных объяснений: выходит, он зря распинаялся!

Курлов был метрах в ста от берега, когда, оглянувшись, он увидел стригунчика, прыгающего за ним по камням. Курлов остановился.

— Вы куда? — строго спросил он. — Зачем?

— К директору пушзаповедника, — дерзко ответил тот и одним прыжком поравнялся с помощником директора.

— Совершенно лишнее, — сказал помощник еще строже. Он презрительно усмехнулся. — Он что, знакомый ваш?

— Он мой отец, — ответил юноша.

Услышав такую новость, Курлов не восхитился, не удивился и, вместо того чтобы поздороваться и приветливо заговорить с сыном директора, повернулся к нему спиной и зашагал дальше. Юноша двинулся за ним. Курлов прибавил шагу. Тот не отставал. Скоро оба они оказались у подножья утеса, по-местному — пахты, и молча, сосредоточенно полезли наверх.

Шестидесятиметровой вышины утес, слоисто-серый, крутой, местами с осыпями, всюду трудный для восхождения, и две фигурки, усердно преодолевающие высоту, — вот что увидел старший йодник, ненароком взглянув в ту сторону. Он покачал головой.

— Вот подвалило мальчишек! Один другого задорнее!

Младший йодник тоже покачал головой, как бы желая сказать: «Вы-то, Лев Григорьевич, хороши. Сами вы всех задорнее!» Журналист сделал непроницаемое лицо и промолчал: он пока еще слишком мало знал своих спутников, да его мнения никто и не спрашивал.

Вскоре все трое перешли на бот и отправились

к следующей отмели. Йодники от души радовались успеху своих обследований: литораль изобиловала ламинариями, выброшенными на берег обычным каждодневным прибоем. Сколько же их должно быть в период штормов! А то, что пушник сердился и угрожал оружием; что пора было завтракать — со вчерашнего дня не ели; что они недешево заплатили за прокат бота, тогда как не сегодня завтра должен прибыть собственный, купленный в Мурманске; неудобная квартира; на пароходе не выспались, — все это было забыто. Все это чепуха, — самое главное, что море здесь щедро, что остров удобен для эксплуатации, — то, о чем они мечтали.

— Райское место! Эдем! — не уставал восторгаться вслух Лев Григорьевич. А разве он не предвидел это еще в Ленинграде? Предвидя, сумел кого следует убедить, получить кредиты и вовремя сюда прибыть... Разве это не результат его выдающейся интуиции? Весенние штормы несомненно намыли на северном, западном и восточном берегах острова, впрямую подставленных океану, неисчислимую массу водорослей: южный берег наиболее защищен от бурь, и то их тут множество... Ну да они сами сейчас все увидят. (Кстати, в ближайшие три часа выяснилось, что Лев Григорьевич ошибался: на севере и на западе крутизна, глубина, мало отмелей, чересчур свирепый прибой, — водорослей как раз больше всего выбрасывало здесь, на юге, со стороны пролива.)

— Гм, а кушать все-таки хочется. — Он обернулся к Петрову, с интересом прислушивающемуся к его возгласам. — Пожалуй, надо было внять вашему совету, товарищ газетчик, перед походом позавтракать. Впрочем... Егор Егорыч, вы не взяли с собой консервов? Помнится, вы хотели захватить из Мурманска несколько банок.

— Вот они, — Егор Егорыч невозмутимо вынул из сумки две банки. — Я получил вчера по заборной книжке. — И вдруг изменился в лице: — Лев Григорьевич, я забыл получить хлеб!

— Пустяки, — благодушно сказал Лев Григорьевич, с удовольствием взвешивая на руке четырехсотграммовую банку с говядиной. — Мы их и так, без хлебушка! — Он выразительно щелкнул зубами.

— Понимаете, за восемь лет успел отвыкнуть от карточек, — продолжал волноваться и оправдываться Егор Егорыч. — За восемь? Да, приблизительно с двадцать третьего года...

— Ничего, привыкнете,— широко улыбаясь, говорил шеф и взрезал крышку тем самым походным ножом, которым только что крошил водоросли.— А вечером эта славная толстая баба сварит для нас тресочки...— Он широким гостеприимным жестом пригласил Петрова участвовать в трапезе.— Она что, действительно из Норвегии? — Он отвернулся от Петрова, едва тот успел открыть рот для ответа.— Вы же знаете, северяне, как правило, кушают тресочку без хлеба...

Повеселел и провинившийся Егор Егорыч. Поразительно бодрит человека успех. Один запах йода, исходивший от ламинарий, какая это, в сущности, прелесть! И подумать: есть люди, которым он кажется гадким. Фу, говорят они, на берегу что-то гниет... Невежды и обскуранты!

Когда молодые люди перешагнули порог фактории, во всем доме царила необычайная тишина. Очевидно, директор все еще спал. В кухне все оставалось по-прежнему: плита не затоплена, треска на сковородке не съедена, лишь фотографии, с ночи вынутые из ванночки, успели просохнуть и безобразно скорезились. Курлов распахнул дверь в комнату Алексея Ивановича, но там никого не было.

Оттеснив Курлова, сын шагнул в комнату:

— Здесь?

Его спутник растерянно огляделся.

— Дядя сейчас вернется. Он нездоров...

— Нездоров? Что значит дядя?

— Я племянник Алексея Иваныча,— хмуро ответил Курлов, ставя на место стул, выдвинутый на середину комнаты.— Когда я принес письмо, он еще спал.

— Письмо? — вскричал сын. Ему было не до выяснения родства, он увидел на столике конверт. Конверт был разорван, пуст, но достаточно было взглянуть на обратный адрес, как все стало ясно. Неугомонные тетушки написали отцу о том, что случилось, и письмо это опередило Илью. Опередило на каких-нибудь два часа, которые он провел с йодниками. Он трус: нельзя было оттягивать встречу! Он должен был или разбудить отца, или ждать тут же, в комнате, в доме, на крыльце, когда отец проснется...

Соседи в поселке видели, как с час назад Стахеев вышел из фактории. Как всегда, в старом, бывшем

когда-то коричневом кожаном пальто, в низко надвинутом кожаном шлеме, с альпийской палкой в руке — подарком племянника. Искать его бесполезно, остров достаточно велик. «Алексей Иванович мог пойти в любой конец», — сказал Илье Курлов. Гораздо удивительней то, что больной вообще вышел из дому. Кажется, при всей своей одержимости Курлов понял: что-то случилось, и уход Алексея Ивановича чем-то связан с полученным письмом.

Скрепя сердце Курлов оставил Илью одного в Алексея Ивановича комнате и, стараясь не думать пока о возможных осложнениях в островной жизни, занялся хозяйством. Подметая кухню и моя оставшуюся от ужина посуду, он не заметил, как Илья вышел. На этот раз помощник директора был не очень встревожен тем, что Илья мог отправиться в заповедную зону искать отца и, чего доброго, распугает песцов. Он понимал, что сейчас бесконечно опаснее представители Медснабторга, посягающие на остров, и нужно думать о предстоящей борьбе, борьбе, которую, возможно, придется вести ему одному. Надо же было уехать сегодня в Архангельск Фроловой! Она старуха партийная, показала бы непрощеным претендентам, где бог, где порог.

Так размышлял племянник директора, оставшись один и покончив с хозяйственными делами. Кто же такой был он сам? Как он попал на остров?

Звали его — Дмитрий Михайлович Курлов. До этого лета он жил в Москве вместе с матерью. Он не очень любил свою мать, она помешала ему доучиться. Курлов служил, зарабатывал. В 1929 году он попробовал выйти из подчинения: стал сдавать экзамены в вуз. Перед главным экзаменом мать слишком рано закрыла вьюшки (летом вздумала топить печку в комнате, чтобы, не выходя в коммунальную кухню, испечь оладьи). Сын угорел. На экзамен пошел с головной болью, такой мерзкой болью, что по дороге упал, потерял сознание. Прохожие обступили, толкались и наступали на ноги, не только друг другу, но и лежащему без памяти Курлову. Никто не заподозрил, что парень пьян, — все сразу поняли, что молодой человек заболел. А говорили прохожие так:

- Татарин... монгол...
- Похоже... Ишь скулы!
- А может, бурят?..
- Не исключено...

— Или чукча?

Тогда лежащий подал признаки жизни.

— Вуз,— прошептал Курлов,— вуз...

Кругом загалдели:

— Студент...

— Сун-ят-сеновец...

— Красный китаец...

— Подбодрите его...

— Скажите, скажите ему, что...

И над ухом его пронзительно крикнули:

— Особая Дальневосточная побеждает!

Это была идея. Курлов тут же, на этой панели, решил наплевать на вуз и на мать и с горя немедленно отправиться в Дальневосточную армию добровольцем. Но события на КВЖД вскоре закончились, и он стал опять продолжать свою службу в Госторге. В феврале 1930 года мать умерла. Сын неожиданно для себя заскучал. Он вдруг почувствовал, что с Москвой его больше ничто не связывает — может уехать куда глаза глядят.

Но он был практичен, несмотря на обуревавшие его порой нелепые страсти, которым при матери не было выхода (размолвки их доходили до того, что в разгар ссоры сын и мать начинали кидаться металлическими шариками, наскоро свинченными со спинок их никелированных кроватей; убить один другого они не хотели, но напугать страстно желали: мать всегда была истеричка — Курлов потомственный неврастеник). Он не поехал куда глаза глядят, без разбора, не бросил на ветер свою московскую комнату, — он вовремя вспомнил, что где-то на Севере его родной дядя заведует госторговским заповедником, вспомнил, что еще раньше, при жизни матери, ее брат предлагал взять Митю к себе, выучить на звероведа. Сейчас Митя послал письмо, получил ответ. Госторг со своей стороны пошел навстречу обоим — и ценному специалисту дяде, и мелкому своему служащему, племяннику, и согласился зачислить Курлова в штат заповедника практикантом.

Так, вместо того чтобы снова готовиться в вуз, Курлов начал готовиться к путешествию. Этот подвернувшийся случай решительно убедил Курлова, что призвание его как раз в том, чтобы сделаться звероводом; жить где-нибудь в тайге, в тундре (он слабо пока представлял себе, что такое Мурманское побережье), много работать на воздухе, забыть о больших городах. Он и прежде мечтал о лесном или географическом вузе, его

не манила фея эпохи — индустрия. Он получит возможность уйти к природе и, то подчиняясь ей, то побеждая ее, любя, приручая, наказывая, лаская, жить с ней одной дружной семьей. В этой жизни есть все — от романтики до сухой голой пользы для себя и для общества. Он станет специалистом по хищной, живой, пушистой природе.

Курлов быстро свернул свои городские дела, накопил книг по теории и практике звероводства, из имущества кое-что продал, в первую очередь — материнские платья (как ни смешно, она до старости любила одеться к лицу, всегда что-то шила и перешивала), закрепил за собой в жакете комнату и по совету случайного знакомого договорился с Госцирком, что пока Курлов в отъезде, в ней станут жить (за умеренную, но приличную плату) гастролирующие в Москве артисты.

Первого мая, в разгар демонстрации, Курлов простился без сожаления с праздничной нарядной столицей. Никто не провожал его на вокзал — он был нелюдим, ни друзей, ни любимых девушек не знал Митя Курлов. И через три дня он увидел Север. Еще через два дня ступил на песцовый остров. Он сделался энтузиастом этого острова. Он полюбил называть себя в мыслях именно так: «Практикант Курлов, Дмитрий Михайлович, — энтузиаст. Работает под руководством директора пушзаповедника Стахеева Алексея Ивановича — энтузиаста».

Вдвоем они стали выхаживать молодых песцов и воевать с их врагами: кожными паразитами, глистами и браконьерами. Еще раньше, два года назад, всем охотникам округа были разосланы строгие извещения:

«Главная Пушно-сырьевая контора Госторга доводит до Вашего сведения, что на острове Колдун ею организован питомник пушного зверя. В связи с этим, всякая охота на острове Колдун постановлением Окрисполкома воспрещена. Развитие питомника, помимо общегосударственных интересов, в значительной степени отразится на экономике округа. Госторг полагает, что население, в особенности охотничье, само должно принять все меры к охране питомника. Независимо от этого, питомник располагает постоянной сильной и хорошо вооруженной охраной. Всякий гражданин, нарушивший постановление и высадившийся для охоты на острове Колдун, будет немедленно задержан и вместе с судном

и оружием передан в руки властей. Советский суд будет строго карать за охоту на острове.

Главная Пушно-сырьевая контора Госторга выражает надежду, что Вы не только не станете охотиться на острове Колдун, но и сами примете все зависящие от Вас меры для охраны хозяйства».

Извещение это было зачитано как приказ в бережных становищах, и порядок поддерживался, на острове Колдун было спокойно. Текст извещения Курлов знал наизусть. Его не удовлетворял мирный тон этого документа, особенно возмущало слово «надежда».

«Главная... (Главная!)... Пушно-сырьевая контора Госторга... (Госторга! Не какой-нибудь частной лавочки!) ... выражает надежду! — не раз бормотал он про себя.— Хотя бы уверенность! Нет, заела нас деликатность... Вместо того чтобы расстреливать субчиков на месте, умоляем их быть благоразумнее!»

Правда, он вслух не решался высказать свою критику: извещение сочинил сам Алексей Иванович.

Браконьеры на острове не появлялись, линяющие летние песцы их не интересовали, иных нарушителей тоже было не видать, но в мечтаниях Курлов их ненавидел с первого дня своей островной службы. Его ненависти к возможным врагам сегодня исполнилось полтора месяца. А директора своего и родного дядю полюбил Курлов также с первого дня. Подарил ему привезенную с собой альпийскую палку, оставшуюся от отца, в свою очередь вывезшего ее еще до германской войны из Швейцарии, и сфотографировал с ней в примечательных местах: у порога фактории, готовым ступить в очередной обход заповедника; на скале — на так называемой Восточной пахте (180 метров над уровнем моря); в низинке, где так и не стоял снег и вряд ли теперь растает; в вольтере песцовой кормушки-ловушки, имеющей вид дощатого домика, и т. д. и т. п.

Директор тоже его полюбил, приучал есть картошку с тресковым жиром и ласково приговаривал:

— Ешь, золотушный сынок мой!

Курлову было двадцать три, Стахееву пятьдесят семь, но Стахеев был крепок, сравнительно здоров, если не считать астмы, очевидно фамильной, наследственной. Болезнь эта мучила и Митину мать, а косвенно и самого Митю: их комната душливо пропахла астматолом от

специальных лечебных папирос, которые мать беспрестанно курила. Запах не выветрился и через месяц после того, как она навеки перестала курить; наверно, так и останется, если циркачи не распахнут окна настежь до осени.

Первые дни Стахеев расспрашивал о покойной сестре, которую давно не видел, — даже когда приезжал в Москву, к ним не навещался, — и Митя ему заливал, что, мол, не проходило дня, чтобы мама не вспоминала Алексея Ивановича. Когда предмет был до дна исчерпан, отношения дяди и племянника укрепились в основном на служебной почве: дела заповедника были для Курлова действительно заповедной святыней, директор не мог этого не заметить.

Заметил директор и другое: к песцам практикант привыкал с трудом, симпатии к ним не испытывал. Правда, у летнего песца такой драный вид, что совершенно невозможно понять, какой дурак отвалит за него чистым золотом, если даже предположить, что к зиме этот задрипанный зверек расцветет, опустится, приобретет элегантность. Пока Курлов испытывал к ним только брезгливость; особенно неприятен их коклюшный кашель.

Но если Алексей Иванович и подметил у практиканта отсутствие нежных чувств к подопечным животным, то недовольства не выразил, ограничился своеобразным розыгрышем, для которого Курлов сам предоставил повод.

В первую же неделю пребывания на острове Курлов наслушался рассказов местных колонистов о том, как песцы в прежнее время нахально забирались в дома и землянки и таскали что подвернется — палки, ножи, сапоги, не говоря уже о продуктах. С необычайной силой и ловкостью они сбрасывали тяжелые, в несколько пудов, камни с бочек и вытаскивали оттуда солонину и рыбу.

— Это верно? — недоверчиво спросил Курлов. — Это не миф?

— Меня здесь тогда не было, — ответил Алексей Иванович, — но похоже, похоже... Помню, в сибирской ссылке, когда в теплое время товарищи спали на воздухе или даже в палатке, песцы крали прямо с головы шапки, белье из корзины. Полярные путешественники примерно то же рассказывают. Сам Нансен писал, что песцы у них крали все, вплоть до термометра. Больше всего горевал

Нансен о большом куске бечевки. Да, представь себе, свистнули!

— Ну, хорошо. Это все происходило где-то, в доисторические времена. Ну а сейчас? здесь? — нетерпеливо допытывался Курлов, втайне не веривший в сметливое озорство зверей, граничившее с человеческими каверзами. По его мнению, эти нищие вонючки на такое не способны. Разумеется, он оставлял это мнение при себе, но Стахеев словно разгадал его мысли.

— Здесь? — сказал Алексей Иванович, неторопливо, как это и полагается настоящему курильщику, набивая абиссинским порошком трубку. — Конечно, здешние песцы сытые, не чета полярным... А впрочем, ты произведи опыт. Заночуй где-нибудь на верхнем плато... или пещерку себе подбери. Возьми с собой вкусенького. Скажем, падаль песцы обожают. Или ворванью вокруг себя попрыскай. Потеплее оденься, там ночью прохладно.

Курлов, решивший развивать в себе если не любовь к песцам, то хотя бы внимание, научное любопытство, охотно согласился на опыт. Целый день он готовился, доставал ворвань, наливал эту неслыханную пакость в бутылку, соответствующим образом экипировался, насовал в мешок всякой снеди вперемешку с различными несъедобными предметами, — нарочно выбрал похуже, на случай если украдут: старую сапожную щетку, рваную рукавицу, еще что-то бросовое. И перед сном отправился в «ночное». Место он подыскал еще накануне, это была пещерка в откосе верхней террасы (на верхнее плато не рискнул забираться, там дьявольски ветрено). Поблизости есть и песцовые норы, и песцовые тропы, кроме того, он обильно полил у входа в пещерку ворванью, отчего его чуть не стошнило. Не может быть, чтобы песцы не заинтересовались.

Он очень долго не мог заснуть, то ворочался с боку на бок, то замирал и прислушивался: всякого шуршанья и прочих подозрительных звуков было кругом предостаточно. Слышался ему и дальний песцовый лай, хотя нельзя поручиться, что уже не во сне; в какой-то момент он заснул, и так крепко, что проснулся лишь поздним утром, когда солнце стояло уже высоко и светило прямо в пещеру, на его уютное ложе. (Чтобы было помягче спать, Курлов навалил на каменистое дно пещеры сухого прошлогоднего ягодника.)

Проснувшись, он ощутил, что его голова лежит на

твердом,— мешка под ней не было. Черт побери, он не ожидал такого успеха!

Испытывая острое любопытство, Курлов бодро вскочил и принялся искать около пещеры украденный мешок. Все-таки мешок довольно тяжелый, не могли они его далеко утащить. Прогрызли, распотрошили, взяли все, что понравилось, и где-нибудь поблизости бросили остальное.

Искал часа полтора, облазил все ямы и осыпи, взмок от пота, порвал штаны, сооруженные из чертовой кожи (мать говорила, что им сносу не будет, во всяком случае, хватит на советское время). Главное, что прогнало его домой: зверски захотелось есть,— взятый с собой хлеб тоже вчера сунул в мешок. Странно, что он не нашел ни единой вещички из тех, что были в мешке,— значит, песцы волокли его целиком; так как одному песцу это не под силу, то надо полагать, что они тащили его вдвоем-втроем. Курлов никогда бы раньше не поверил в возможность таких согласованных действий, но вот же факт налицо, скептицизм посрамлен с избытком!

Голодный, усталый Курлов приплелся в факторию. Алексей Иванович сидел за столом и писал нескончаемый отчет.

— Как дела? — спросил он, снимая очки и внимательно глядя на Курлова.— Жив?

— Что значит жив? — хмуро ответил Курлов, с кряхтением стаскивая с себя сапоги и ватник.— Не могли же они меня загрызть?

— Отчего? — добродушно возразил Стахеев.— Если очень крепко спать, вполне могут нос отгрызть. В прежнее время, говорят, случалось. Есть хочешь?

Курлов молча подбрасывал в печь сухой плавник и раздувал огонь. Видя, что он не склонен к беседе, Стахеев снова принялся за отчет.

Поев трески и выпив чаю, Митя подобрел и заговорил первым.

— Поразительно предприимчивые звери! — сказал он почти с восхищением.— Куда они могли его упрятать? Разве что глубоко в нору... туда я, конечно, не мог залезть, а кругом все обыскал!

— Ты про что? — спросил Алексей Иванович.

— Про мешок. Песцы украли мешок!

— Украли мешок? — спокойно переспросил Стахеев.— А ты разве не дома его оставил?

Курлов глядел на него во все глаза. Дома? Что за чепуха?

Стахеев продолжал:

— Можно, правда, допустить, что я не заметил, как песцы принесли и повесили его на стенку...

Курлов кинулся в «спальню». Так и есть: над его койкой, на гвозде висел этот проклятый мешок... Все ясно: утром, когда он без задних ног дрыхал, Алексей Иванович побывал в пещере, достал из-под его головы мешок и не поленился притащить домой. Вот старый черт!

Обижаться на розыгрыш было бы глупо. Курлов сделал вид, что от всей души смеется вместе с Алексеем Ивановичем, и в самом деле смеялся, но с тех пор стал бдительно прислушиваться и присматриваться, когда тот ему что-то рассказывал или просил сделать. Не песцы, а старик оказался с каверзой!

Впрочем, Стахеев был трогательно заботлив, порой даже нежен. Однажды (Митя запомнил: это тоже был «пароходный день», и Стахеев так же, как и сегодня, получил письмо, первое за все время, что прожил Митя на острове), Стахеев сказал:

— Митя, ты знаешь, что я бузотер. Но мне скоро шестьдесят. И хоть я бузотер и драчун, но я тебе не товарищ. Я друг и наставник, а тебе нужен сверстник. Хотя бы на время. Сезонный товарищ! Так вот, скоро приедет погостить твой двоюродный брат. Он студент... я позвал его провести здесь часть каникул. Младшего брата он оставит на этот месяц у теток...

— Из какого он вуза? — в мрачном предчувствии спросил Курлов.

Стахеев назвал. Так и есть: вуз, одноименный с тем, в который пытался попасть прошлым летом Курлов, только тот в Москве, а этот — в Питере.

Разговор оборвался. Обиженный равнодушием Мити, Стахеев ушел вперед. Он кашлял, плевал и почесывал спину альпийской палкой. Курлов и в самом деле ничуть не обрадовался возможности провести лето со сверстником. Во-первых, он ревновал Алексея Ивановича к его сыну; во-вторых, стало досадно, что Андрей кончает тот самый вуз; в-третьих, он испугался, что летний сверстник, сезонный товарищ помешает ему быть энтузиастом, то есть забыть обо всем ином и отрешиться от мира.

Так думал Курлов месяц назад, в день разговора

с дядей. Так думал почти каждодневно, страшась приезда Андрея. И лишь в последнее время забыл об опасности, занятый множеством дел и забот: весенней подкормкой зверей, отловом белых песцов и регистрацией голубых, подробной записью наблюдений за животными (сначала под диктовку Алексея Ивановича, потом самостоятельно). А главное, стражи на острове не хватало, надо было зорко следить — не обидели бы их какие-нибудь случайные заезжие рыбаки: во время весенних штормов песцы постоянно посещали берег, подбирая всякую живность и падаль.

И вот беды грянули одна за другой. Правда, вместо Андрея почему-то приехал его младший брат, но хрен редьки не слаще: Ильюшка ведет себя дерзко и к довершению зла прибыл вместе с йодниками и с ними в дружбе. Страшно подумать, в дружбе с врагами отца, пусть даже не родного! Помнится, мать болтала, что младший у Ксеньи не от Стахеева, что тогда они уже разошлись. Курлов мог бы, конечно, вклеить мальчишке такой сюрприз (коли тот сам не знает), но черт с ним: Курлов проявит благородство — промолчит, пусть сами разбираются... Да и не дай бог, Стахеев рассвирепеет — зачем насплетничал! Важнее другое. Курлов и раньше слышал, что на остров зарится не то Наркомздрав, не то Медснабторг, якобы разузнав о выбрасываемых морем лечебных водорослях, но значения этим слухам не придавал. Всего лишь полгода назад сюда завезли с Дальнего Востока голубых песцов — не станут же разрушать созданный с таким трудом заповедник. Если уж говорить всерьез, мыслить хозяйственно, то известно, что цена шкурки белого песца возросла с середины прошлого века более чем в сто раз, а если к тому же учесть, что голубой встречается реже, чем белый, тоже почти в сто раз, то всякому ясно, что пушзаповедник — уникальное государственное дело, редкостный источник валюты!

И тем не менее йодники прибыли. Что можно против них срочно предпринять?

Продолжая сидеть на завалинке, Курлов стал строить предположения, что будет дальше и как быть ему самому. Прогнозы были один другого мрачнее. В конце мелькнула дикая мысль, нечто совсем кошунственное: не перекинуться ли ему на сторону йодников, если они окажутся сильнее? Не все ли равно, каким ему стать специалистом, лишь бы на лоне природы, — пока же он, откровенно говоря, почти никакой... «Но за эту мысль

в морду!» — яростно решил Курлов и мысленно оглушил себя такой затрещиной, что на минуту даже закрыл глаза, явственно ощутив, как из носа его потекла воображаемая кровь... Словом, это был заслуженный ответ.

Для успокоения нервов Курлов взялся за починку палатки и, ползая по земле, по растянутой парусине, испытал некоторое моральное удовлетворение. Наверное, нечто похожее испытывает идейный монах от честно выполненной епитимьи, наложенной на него настоятелем (или им самим на себя): чем труднее и унижительнее епитимья, тем душе легче.

Так прошло три часа. Солнце почти достигло зенита. Совпартшкольцы Гаврилова и Лейкин, отбывающие летнюю практику, взявшись за руки, пробежали обежать, — они на хлебáх у предсельсовета за десятку в месяц. И тут Курлов сообразил: уж председатель-то должен знать, зачем приехали йодники и имеют ли они право претендовать на заповедный остров.

Курлов отбросил в сторону рваный брезент и отправился на разведку. Он застал председателя за домашним делом. Небритый и злой, тот сидел в сенях, на полу, и переливал рыбий жир из полуштофов в четвертную бутылку. Тут же, в сенях, дрались ребятишки.

— Помоги, — кратко сказал председатель.

Курлов бросился разнимать.

— Мне, говорю, помоги, — сказал председатель.

Курлов едва заставил себя сесть рядом с ним на пол и взять в руки скользкую, облитую тресковым жиром бутылку.

— Я к тебе с таким вопросом, товарищ Вертячих...

— Криво держишь, — сказал товарищ Вертячих. — Держи аккуратнее.

Дальше произошел конфуз, если не хуже. Курлов спросил, получил ответ, исчерпывающий, но столь неблагоприятный, что в ужасе дернулся, и большая, вмещающая четверть ведра бутылка, почти доверху полная золотистым жиром, выпала из его ослабевших рук. Он до смертного часа не забудет этой жуткой картины...

На полу гигантская лужа.

Стеклянный звук потонул в мокром.

Молчание. Тишина. Притихли ребята в углу, понимая, глядя на катастрофу. Из кухни, слышав неладное, приоткрыли дверь совпартшкольцы.

— Ты... разлил! — медленно поднимается с корточек председатель, небритый и сизый в гневе.— Ты... разлил!..

«Еще враг! — в отчаянии думает Курлов.— Еще врага нажил! Не жди теперь от него помощи... Враги навсегда...»

Курлов постыдно и бессловесно бежит. Он нашкодил. Хуже тех, кто дрались в углу, малолетние.

Но позорнее всего то, что в дверях стоял, видел все это, слышал и смеялся над ним — Ильюшка. Илья пришел к председателю как раз в момент катастрофы. И он не остался, он поспешил вслед за безумным родственником, который, выбегая из двери, толкнул его что есть силы в грудь.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Илье было не до смеха, это Курлову сгоряча показалось, и чувствовал он себя виноватым. Конечно, не перед Курловым.

Что бы ни думал Илья о попутчиках, он сознавал, что только благодаря им без всяких дорожных забот и препятствий добрался до острова. Вот здесь-то и подстерегал его казус... Конечно, он виноват вдвойне. В Ленинграде не удосужился забежать к тетушкам, предупредить, что едет к отцу, а здесь тянул да тянул, прилепившись к йодникам, пока отец не проснулся и не прочел злополучное письмо, совершавшее свой путь одновременно с Ильей. Без толку отмахать тыщу верст! Даже нельзя сослаться на невезение — враг не случай, а трусость и легкомыслие...

— Хватит самобичевания! — сказал Илья, уходя из фактории. И пока его кузен, предаваясь своим мрачным мыслям, сидел в одиночестве на завалинке, Илья, пытаясь отвлечься, бродил по берегу среди множества людей, занятых делом. Дело было примерно то самое, о котором шла речь в мурманской столовке: рыбаки и рыбачки разделявали пойманную за ночь рыбу. Они ее потрошили (здесь это называется — шкерить), укладывали в бочки, пересыпая крупной солью; бочки катили на помост, с которого их перекачат на судно; судно повезет рыбу в Мурманск; поезда и корабли развезут далеко по стране и за ее пределы.

Обычно брезгливый, Илья искренне любовался экзотическим трудовым зрелищем. Противно, когда Марья

Дмитриевна на кухне возится с рыбьими внутренностями, близоруко тычась в них носом, и совсем по-другому здесь: раз — ножом вдоль брюха, два — кишки в море! Стремительно и изящно! Мысль об изяществе внушила одна из работниц: на ногах ее красовались шелковые чулки, словно она пришла в театр или в гости, хотя она, как и ее товарки, была измарана рыбой, даже лицо в брызгах крови и чешуи. Пожалуй, эта работница была красива и сознавала это. Заметив, что какой-то приезжий мальчик внимательно на нее смотрит, она обтерла ребром ладони лицо и отбросила со лба волосы, не переставая орудовать ножом.

Так прошло более двух часов и пришел уже настоящий день. Илья успел вдоволь нанюхаться рыбы, оглохнуть от гвалта чаек, и даже море утеряло для него часть своей новизны и очарования. Илья смотрел на эту рябую, зеленую, неустанно катившуюся на него стекловидную массу, и его томило ощущение нарастающей беды: где отец? что с отцом?

Он еще с полчаса посидел на камнях, еще вздохнул, еще посмотрел на ту сторону пролива, на материк с его скалистыми берегами, с тремя горами напротив острова. Он уже знает, видел почти впритык эти горы, когда плыл сюда на пароходе: этот могучий гранит, фиолетовый издали, темно-серый вблизи, со множеством белых вкраплений, похожих на соль. Гранит, засоленный впрок на вечные годы!

Белая чайка летела утром на фоне утеса, а Илье показалось, что это бежит белая собака. На острове, внушительно сказал почтальон, собак нет. Ясно. А где же знаменитые песцы? И кто они — родственники волкам, собакам или скорее лисицам, как смутно помнится не то из учебника, не то из Жюль Верна? На этой глубокой мысли Илья клюнул носом. Неужели он хочет спать? Разморило на воздухе? Процесс акклиматизации?.. Илья поднялся с камня и побрел в становище. С удовольствием бы заснул он на берегу, если бы не боялся опять упустить отца, а то бы чудно — заснуть под шум прибоя: если закрыть кепкой уши — тихий, вечный, приятный гром.

Чтобы подбодрить себя, Илья прибавил шагу.

Приближаясь к поселку, он, изловчившись, поискал одним глазом факторию, другим — дом норвежки Пелькиной. Крашенный дом фактории был виден отовсюду, можно пройти к нему без помехи с любого конца по-

селка, прямо, наискось и восьмерками: заборов здесь нет, экономят доски и жерди, все привозное, из Архангельска, как сказал давеча журналист. Да и улиц нет, ездить не на чем и не за чем, лошади не нужны. Сено с покосов носят на шестах и за спиной в сетках: в телегах не проехать по здешним кручам и осыпям.

Еще издали Илья увидал Курлова, по-прежнему сидящего на пороге все в той же синей ватной кацавейке. Вдруг он вскочил, словно его что-то кольнуло или укусило, побросал наземь то, что было в руках, и метнулся прочь. Илья был уже рядом с факторией, но Курлов его не заметил — опрометью вбежал в поселковый Совет. Илья подоспел туда к концу нелепой сцены с разбитой бутылкой.

«Однако мой здешний братец совсем безумный, — подумал Илья, когда тот, выбегая из сеней, толкнул его что есть силы. — Непонятно, как отец его терпит».

Илья отправился было вслед за ним, но в последнюю минуту решил не связываться, так и стоял на полянке между домами, как заблудившийся пешеход. Было уже за полдень, солнце пригревало, с моря веяло острой свежестью, воздух был морской, влажный, — немудрено, что скоро Илье опять, и на сей раз уже взаправду, захотелось спать. Он решил, что не стоит бороться, и повернул к дому Пелькиной, где йодники сняли себе квартиру, побрел сквозь сон, почти машинально. Постучав в окошко, он, еле ворочая языком, сказал: «Еще раз здравствуйте», — и хозяйка впустила его в комнату, хотя жильцы еще не вернулись. Илья рухнул в чем был на кровать, задрал ноги на скрипучую спинку, и заснул легким, волшебным сном, забыв о прошлом, о настоящем, о будущем, — бог знает что сулило ему это будущее, скорее всего — ничего хорошего.

Проснулся он часов через пять, его разбудили. Над самым ухом кто-то заговорил толстым голосом, произнося эти страшные и пленительные медвежьи слова из сказки:

— А кто ел из моей большой чашки?

Басу вторил тоненький голосок:

— А кто ел из моей маленькой чашечки?

И опять бас:

— А кто спит в моей большой кровати?

Это была удачная шутка. Ильюша, еще наполовину во сне, ощутил всю прелесть осенившего его детства, вздохнул, улыбнулся и открыл глаза.

Над ним склонялись пышноволосые йодники с веселыми, обветренными за долгий морской день лицами, из-за их спин выглядывал улыбающийся молодой журналист, в дверях стояла ухмыляющаяся безбровая хозяйка. Не поднимая головы с подушки, как бы желая растянуть беззаботные часы и минуты, Илья спросил:

— Как дела? — но тотчас же засмеялся и спросил совсем о другом: — Кто это умеет делать такой тоненький голосок? Неужели вы, Егор Егорыч?

Младший йодник с удовольствием подтвердил, что да, это он. Илья, как видно, еще не совсем проснулся, ибо совершил маленькую неловкость, сам не заметил, как вслух подумал:

— Ишь разрезвился Егор Егорыч, откуда что взялось!

Когда все рассмеялись, Илья сконфузился и вскочил. Его успокоили.

— Юноша, вы помилованы, — сказал Лев Григорьевич, — медведи вас не скушают. Хотя, должен признаться, я невероятно хочу кушать. Мы станем кушать все вместе. Марш в кухню! Агар Агарыч, помните свои обязанности?

Все послушно отправились в кухню. Егор Егорыч впереди всех.

— Почему Агар Агарыч? — спросил Илья, чинно уступая в дверях дорогу старшим.

— Химию учили? — строго спросил уже из кухни Лев Григорьевич.

Предчувствуя подвох, Илья счел за лучшее промолчать, и правильно сделал. Лев Григорьевич снисходительно объяснил, что агар-агар — содержащееся в водорослях студенистое вещество, а Егор Егорыч — специалист по агар-агару.

— Ясно, — сказал Илья, начавший было с неудовольствием ощущать себя снова школьником.

Кухня была замечательной чистоты и убранства, — кухня, столовая и гостиная вместе. На полках сияла начищенная медная посуда, в простенках висели раскрашенные изображения потопленных в мировую войну кораблей — «Лузитании», «Мавритании» и «Германии», два швейцарских горных пейзажа с овцами и одна картина из священной истории: Иисус Христос стучится в дверь обвитого плющом дома и с состраданием на лице заглядывает в стоящую у порога амфору;

вдали кипарисы и озеро, темно-синее небо и лиловые тени.

Младший йодник подбросил в железную шведскую печку торфу, вышел с Пелькиной в сени, там пошептался с ней и скоро вернулся, неся котелок с водой. Старший йодник и журналист сидели на лавке, загадочно улыбаясь, будто заранее сговорились разыграть какой-то спектакль. Хозяйка удалилась и больше не показывалась, вполне доверяя солидным жильцам. Младший йодник принес из сеней что-то мелко-мелко нарубленное, буро-желто-зеленое в деревянной чашке, вывалил в котелок, поставил котелок на плиту и накрыл его эмалированной крышкой. Он подбросил в огонь еще торфу и ополоснул руки.

— Пусть поварится с часик, — сказал он, заботливо поправив на котелке крышку.

— Пусть поварится, — согласился старший йодник.

Какого черта! Если это обыкновенный ужин (кстати, Илья не против, он тоже проголодался), к чему такая таинственность? Что там за зелье?

Между тем журналист, этот самоновейший знакомый, чувствовал себя, как рыба в воде (а намного ли он старше Ильи? — лет на пять, на шесть, примерно возраст Андрея, Рассопова, Курлова). Он оживленно расспрашивал — что, кроме заработка по сбору и сушке водорослей, смогут йодники предоставить местным жителям. Лев Григорьевич поспешно достал и раскинул перед журналистом смету капитальных вложений, для которой Илья в мурманской гостинице производил выборочные расчеты. Илья отчетливо помнил, какие постройки намечались на острове: йодный завод с полным оборудованием... большие стационарные печи... жилые дома для рабочих... электростанция... узкоколейка... шоссе... элеваторы... Только как это все тут поместится? Взглянув сейчас на Льва Григорьевича, Илья с удивлением заметил, что крупное, с орлиным носом лицо его от волнения покраснелось, он чуть не дрожал, в ожидании пока журналист прочтет и по достоинству оценит этот деловой перечень.

— Ого! — сказал наконец журналист. — Любопытно! Вы мне позволите это занести в блокнот?

— Конечно, конечно! — заторопился Лев Григорьевич, забывши про то, что еще недавно собирался третировать журналиста за неопытность и младость. — Но это далеко не все, дорогой товарищ! Переверните

страницу. Читайте. Будут приобретены гусеничные тракторы-вездеходы и моторные катера в качестве местного транспорта, земного и водного. Главное же... нет, вы обратите внимание!.. смета должна быть реализована не когда-то там, а в продолжение нынешнего и будущего года! Чувствуете?

— Поздравляю! — искренне восхитился журналист.— Пожалуй, мне стоит приехать сюда будущим летом, в разгар работ?

— Разумеется, приезжайте! Будем очень рады! — гостеприимно пригласил старший йодник.— А теперь ответьте, голубчик,— в голос его вкралась нежность,— ответьте мне, как называется подобное мероприятие?

— Оживлением края,— серьезно ответил журналист, продолжая изучать смету.— Индустриализация острова.

Лев Григорьевич торжествовал.

— Вы понимаете, какое это великое дело для местного населения? Колонистов ждут неслыханные перемены! Никто из них и не подозревает, что в тот самый момент, когда мы с Егором Егорычем сошли на берег, вместе с нами пришла сюда настоящая жизнь. Мало сказать — пришла: ворвалась! Разве можно считать жизнью предыдущее прозябание? Отныне этот почти что необитаемый остров начнет превращаться в бойкий промышленный центр, и виновники этого — мы с Егором Егорычем!

Осчастливленный двойным и столь пышным упоминанием своего имени, Егор Егорыч не возгордился, не просиял, — он снова уже хлопотал у плиты, под которую во время этой беседы хозяйка успела не раз подложить торфа, бесшумно входя и выходя из кухни. Кто знает, слышала ли она — чем и как собирались облагодетельствовать местное население, в том числе и ее, приезжие специалисты...

Наконец, Егор Егорыч снял с котелка крышку и помешал в нем ложечкой: непонятная масса кипела и брызгала. Егор Егорыч залил ее из жестяного кувшинчика столь же непонятной жидкостью и опять размешал, после чего всыпал в котелок немного соли и сахару.

Следя за этими действиями, Илья окончательно решил, что варится самая обыкновенная каша вроде перловки, и ему сразу стало неинтересно, хотя он не ел с ночи. Но вот хозяйева любезно пригласили гостей к сто-

лу, все уселись, Егор Егорыч наполнил тарелки таинственной кашей, источавшей таинственный пар, и все, кроме Ильи, стали сосредоточенно ее поглощать. Илья вопросительно посмотрел на Егора Егорыча.

— Смелее, смелее! — засмеялся Егор Егорыч. — Вкусно!

— Да что это у вас, в конце концов? — Илья нерешительно зачерпнул ложкой.

— Берите, берите, после узнаете!

Каша была сладковатая, с вязущим, чуть металлическим вкусом, немного скользкая на языке, в общем не очень чтобы очень, но и не отвратная. Пожалуй, Рассопов, склонный к экспериментированию в области кашеварения и каждое утро угощавший Илью каким-нибудь новым сортом, отнесся бы к опыту йодников с живым интересом. А что это был опыт, и опыт серьезный, стало понятно из лекции старшего йодника, которой тот наградил их вместо десерта.

Оказалось, что морские водоросли употребляются в пищу и как питательное вещество, и как острая приправа к другим блюдам, и как лекарственное средство от ревматизма, склероза, рахита, порчи зубов. Морские водоросли содержат в себе йод и витамины, которые всасываются в кровь и оздоравливают организм, излечивают его и предохраняют. В Японии, например, совершенно неизвестен зоб, мало золотушных детей и редки нервные заболевания у взрослых, легче излечивается сифилис.

— А все отчего? — воскликнул Лев Григорьевич. — Оттого, что живущие на побережье японские рыбаки, простые, небогатые люди, испокон века кушают водоросли. И оттого, что они их регулярно кушают, они не болеют...

«Почему он говорит «кушают», а не едят? — подумал Илья. — Как ни странно, он не очень интеллигентный человек, этот Лев Григорьевич... Жаль».

— Так вот, поймите в виду, товарищи, — обратился Лев Григорьевич к Илье и к Петрову, — особенно когда достигнете хотя бы моего возраста, что морская капуста, как ее запросто называют, вареная, тушеная, в виде запеканки, варенья, конфет, словом, в любом виде... в короткое время излечивает хронические запоры. Вы сами поразитесь и не поверите, как вдруг ваш кишечник начнет регулярно, легко и свободно выделять фекальные массы...

Илья фыркнул. Журналист сделал ему предостерегающий знак.

— Ну, что ж,— отозвался он,— это огромное достижение для нас с вами, Ильюша, как будущих пожилых...

Не заметив иронии, Лев Григорьевич с воодушевлением продолжал:

— Я вам сейчас объясню механизм действия. Морская капуста богата студенистыми веществами, которые разбухают в кишечнике, всасывают много воды и, действуя своей массой на кишечные мышцы, усиливают перистальтику. В результате пищевая масса легче продвигается по кишкам, переработанные ее остатки обретают мягкую консистенцию и легко и периодически правильно выделяются организмом. По словам больных, это дает им приятное удовлетворение и ни с чем не сравнимое чувство постоянной чистоты кишечника. Добавлю, что китайцы для возбуждения деятельности кишок и усиления аппетита употребляют водоросли в пищу в виде супа и киселя. В Ирландии и Исландии их варят в молоке, как кашу,— Лев Григорьевич энергично ткнул пальцем в котелок,— или как клецки, или...

Он первый с удовольствием засмеялся и под аплодисменты Ильюши и журналиста оборвал свою лекцию-панегирик. Некоторое время сидели молча, стараясь уберечь физиономию от пухлого красного локтя, азартно двигавшегося вдоль края стола: норвежка Пелькина мыла и убирала посуду. Смотря на ее пышный наливной локоть, Лев Григорьевич вдруг спохватился:

— Хозяюшка, вы обещали нам молока.

Пелькина кратко пояснила, что она дала молока для каши и сегодня у нее больше нет. Лев Григорьевич опечалился, но скоро утешился тем, что вечером, попозднее, он пойдет знакомиться с другими колонистами острова и будет пить у них молоко, а пока...

Лев Григорьевич пристально посмотрел на Егора Егорыча.

— Егор Егорыч, а что, если снять вам волосы?

— Зачем? — удивился Егор Егорыч.

— У вас мелкие черты лица, и пышная шевелюра их еще больше мельчит,— объяснил Лев Григорьевич.— По счастливой случайности, я купил в Мурманске машинку для своего сынишки. В Ленинграде их сейчас не найдешь. Давайте испробуем.

— Вы тоже хотите остричься? — с робкой надеждой спросил младший йодник.

— Зачем? — в свою очередь удивился старший. — Я говорю, давайте я остригу вас. Хотите — под первый номер, хотите — под нулевой.

Егор Егорыч краснел, бледнел и едва упробил отложить стрижку: вдруг на голую голову накинется комарье! — а то уж было его патрон с готовностью полез в чемодан за машинкой. Журналист еле удерживался от смеха, а Илье было досадно: почему Егор Егорыч такой кисель? Вот уж верно — Агар Агарыч! «Товарищи! Так же нельзя! — мысленно увещевал он. — Человеческое достоинство требует...» И вдруг увидел норвежку Пелькину. Норвежка Пелькина смеялась. Она смеялась беззвучно, но так усердно, что над глазами, вместо отсутствующих бровей, надувались желтые бугры. Она смотрела в окно. В окне снова маячило злое лицо Мити Курлова. У Ильюши знакомо захолонуло сердце, и он стремглав выскочил на улицу. Курлов уже удалялся, Илья крикнул ему, сам чувствуя растерянность в голосе:

— Что? Вернулся отец? Отец вернулся?

Курлов не отвечал.

Нет, дальше так продолжаться не может!.. Илья побежал вслед за Курловым, но тот успел скрыться в фактории и с силой захлопнул за собой дверь.

Добежав до фактории, Илья толкнулся в дверь: так и есть, заперта! Илья обегал вокруг, заглядывая в каждое окно. Отца нет, Илья это сразу понял; Курлов недвижно сидит за кухонным столом, уставясь взглядом в стену, в неизвестность, в бесконечность. Черт его знает, чего он еще на себя напустил... А может, ему известно — о чем письмо? Прочел вместе с отцом? Или тайком от него? Или отец рассказал, поделился горем? Тогда Курлов наверняка знает, куда тот отправился.

Илья постучал в окно. Курлов повернул голову. Лицо у него было мрачное, но особой ненависти или сумасшествия не заметно. Илья показал рукой: откройте! Курлов понял и, к удивлению Ильи, беспрекословно открыл окно.

— Прежде всего, как называть вас: Дима или Митя? — спросил Илья как можно непринужденнее и дружелюбнее, словно тот и не грозил ему пять минут назад кулаком.

Курлов молча смотрел на Илью, как глухой.

— Хорошо, — спокойно сказал Илья, — стану к вам обращаться в безличной форме. Помните, вы сын папиной сестры, которая живет в Москве?

— Мама умерла,— вдруг сказал Курлов.

— Ах, так? — Илья попытался выразить на своем лице сожаление и сочувствие, но устыдился: он даже не видел никогда этой тетки. Тщетно старался он вспомнить, как ее зовут, старше или младше она отца,— вместо этого вспомнил: Андрей со слов мамы рассказывал, как некий московский кузен из «бывших» (отец его был компаньоном известной торговой фирмы, продававшей швейцарские часы и готовальни) обратился с письмом к Алексею Ивановичу: не согласится ли тот подтвердить властям, что когда-то, до революции, будучи еще шестилетним, Дмитрий Курлов содействовал революционному движению, помогал дяде прятать нелегальную литературу. Дело в том, что их начали опять притеснять, и с квартирой и вообще, хотя отец давно разорен и умер, а мать продала почти все личные вещи, в том числе и того слона из папье-маше, в брюхо которого находчивый мальчик засунул компрометирующие дядю бумаги, когда пришли с обыском (дядя тогда ночевал у них, и родители чуть не померли от страха)...

«И шестилетний карапуз не растерялся?» — удивился Илья.

«По крайней мере, он так писал», — засмеялся Андрей.

«Когда он прислал письмо?»

«Кажется, году в двадцать третьем».

«И что это были за бумаги?»

«Об этом мама не говорила. Наверно, газеты или листовки».

«Ну и как? Подтвердил папа революционные заслуги племянника?»

«Чего не знаю, того не знаю...»

Пожалуй, что подтвердил, решил сейчас Илья, поскольку в дальнейшем отец принял близкое участие в судьбе Курлова.

— Я иду искать Алексея Ивановича,— решительно сказал Илья.— Он получил дурное известие и ничего не знает о моем приезде. Вы не могли бы мне показать ту дорогу или тропинку, по которой ходите обычно в глубь острова?

Курлов молчал.

— Или набросать на бумажке примерный план острова? Схематическую карту?

Курлов молчал.

— В таком случае, до свиданья!

Резко, как по команде «Кругом!», Илья повернулся и зашагал прочь от фактории.

Курлов долго смотрел ему вслед. Потом закрыл окно и задернул шторы.

Илья так и не оглянулся. Он услышал:

— Ильюша!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

— Иль-ю-ша! — так бодро и повелительно прогремело в островной тишине его имя. Это Лев Григорьевич приглашал Илью в ранее задуманный поход — попить молочка у колонистов, поглядеть, как тут люди живут. Илья с минуту поколебался — и послушно поплелся за Львом Григорьевичем. Правда, мог же он отчасти надеяться, что местные жители охотнее, чем этот тип Курлов, покажут ему дорогу в отцовские места.

Часа полтора, не меньше, Илья сопровождал старшему йоднику. Напористые беседы, которые тот вел в каждом доме, повторяя их с малыми вариантами, действительно начинались с ласково-простодушной просьбы — не угостит ли хозяйюшка стаканчиком молока.

— Для первого знакомства! — провозглашал улыбающийся гость, высоко поднимая стакан с белой пенистой жидкостью.

Да, поразительно он сумел выбрать час! Мужья на рыбалке, обед изготовлен, коровы подоены — чем не момент для приятного разговора? И вот ленинградский гость, научный работник с заграничным образованием, весь погружался в местные интересы. Илье даже показалось, — а может, оно так и было, — что Лев Григорьевич по-архангельски окает.

— Как живется-то тут? Не скучаете? Понимаю, понимаю отлично: скучать летом некогда, рыбка не дает. А зимой? Ясно, ясно... хозяйство и зимой трудов требует: овцы, коровка... Кстати, — он озабоченно наклонился вперед. — Как тут с покосами? Ничего? Ну, слава богу! — Он удовлетворенно распрямлялся. — Хоть травка растет, дай бог ей здоровья!

Твердя это на разные лады, он в одном доме до того вошел в роль, что, помянув божье имя, осенил себя крестным знамением... Истоиво эдак, со вкусом. Илья опять чуть не фыркнул: мыслимо ли так пересаливать! А сошло. Видно, приняли за чудака, и в общем-то не ошиблись.

— Так вот насчет травки, — с удовольствием продолжал Лев Григорьевич. — Растит-то она, конечно дело, растет, только в море ее не в пример больше. Я про что? А про то... (Взор его начинал блестеть.) По-ученому — водоросли, по-нашему, по-рыбацки — турá... Думаете, мы зачем из Ленинграда приехали? Чтобы дать людям заработать... (Так и говорил — людям, с ударением на последнем слог.) Эку гору море выбрасывает, а все ни за грош на берегу погнивает. А вы ее, турú, соберете, в золу пережгете (так и сказал — пережгете) — и добудем мы из нее что? Добудем из нее йод! Йод! Слыхали? Пользительное медицинское средство. Дело это не легкое, но того стоит, ибо... (он назидательно поднимал палец) ибо взаимовыгодно. Вам — барыш, государству — валюта. По-нашему, по-простому — золотишко!..

Далее Лев Григорьевич выпрашивал, часто ли бывают штормá, и когда чаще — зимой, весной, осенью. Не потому, что не знал, — все понимали, что знает, — а почему не проверить из первых рук. Спрашивал — где больше выбрасывает турú — на востоке, на юге, на севере острова. (Запад заведомо исключен, там высокие скалы, па́хты.) Состоит ли кто из членов семьи на службе в пушзаповеднике... Ну там в охране али еще кем? А ежли и состоит — нашему промыслу не помеха, можно и в двух местах послужить. Верно народ говорит: что милей ста рублей? — двести!..

— Словом, роднуха, — душевно заключал старший йодник, — как первый шторм — твое счастье: денежки сами поплывут в руки. Платить будем сдельно. Прямо скажу: работенка фартовая. Эх, был бы я помоложе, да силы не городские!.. (Понял, что перехватил.) Ладно, не во мне соль. Для вас главное что? Рыбацкое время вы не потратите: сразу-то после шторма мужики в море не выйдут — волна. А тут — и на бережку, и с добычей! Выпить, что ли, хозяйшка за наши артельные успехи? Шучу, шучу... мне водки нельзя, самогонки тем паче... Кружечку молока — это по мне. Молодой человек, примыкайте к нашему тосту: «За крепкий советский йод!» Потом станете приятелям рассказывать: сам там был, йод-пиво пил... Ваше здоровье, хозяйшка!

Так, чередуя треп и серьезное, Лев Григорьевич развил сверхоперативную деятельность. К концу каждого визита успевал заручиться полным согласием колонистки за себя и за мужа. Прирожденный организатор!

А если порой и пережимал (чего стоит архибуржуазная сентенция насчет того, что милей — сто рублей или двести!), то, во-первых, считал Илья, сильны дореволюционные пережитки, во-вторых, темперамент захлестывает: увлекся игрой в фольклор... Недаром вдохновенно выпалил такую оптимистическую примету: «Говорят, коровье молоко пенится — к дождю... а тут, глико — должно, к шторму! Верно?»

Кто мог бы подумать, что под финал Лев Григорьевич разразится речью, где демагогия переросла черт знает во что! Ему, видите ли, показалось мало уверить семью колониста в предстоящем оживлении края: Лев Григорьевич внезапно побагровел, расстегнул пиджак и, забыв о всякой там стилизации, громоподобно изрек:

— Так вот, дорогие товарищи, помните, кто вам принес счастье. Не пушники, не Госторг, самовольно захвативший остров. Они же вам жить не дают, довели всевозможные стеснения и запрещения до абсурда! В остров нельзя ходить, торф нельзя копать, песцы ваших овец пугают... Да это что — я слышал, в Сибири одной корове песцы начисто вымя отгрызли! (Если первые обвинительные пункты были просто некоторыми преувеличениями, то последний — неслыханная фантастика!) Ужас что делается! Ничего, друзья, не горюйте. Мы освободим вас от этого ига. Мы покажем зарвавшегося Госторгу где бог, где порог! Спокойной ночи, товарищи!

Раскалив себя таким образом до 1000°, Лев Григорьевич стремительно попрощался и вышел. Он даже забыл, что не один, что его слушал Илья... как-никак сын директора пушзаповедника!.. А Илья... Илья так и остался сидеть на лавке, боясь поднять взгляд. Но оглядевшись, он, к облегчению, убедился, что слышали эту подрывную речь две старухи и старый-престарый дедушка Павел, — больше никого в доме не было. Не говорить же Илье контрречь! Он решил обратиться к здравому смыслу единственного в доме мужчины.

— Дедушка Павел, надеюсь, что вы... — на долю секунды он замолчал, чтобы собраться с мыслями, но шустрый старичок уже успел воткнуться.

— Не дедушка Павел, а дядюшка Павел, так меня люди зовут. Ты сам-то, парень, откуда?

Что отвечать? Не признаваться же, что он сын Алексея Ивановича...

— Из Ленинграда! — буркнул Илья и выскочил из

дому. А выскочив, увидел Льва Григорьевича, подждавшего его на завалинке. Лицо старшего йодника выражало полное благодушие, он был явно доволен собой и своей агитацией. Как с ним начать воспитательную беседу? Но одернуть необходимо, спускать нельзя. Конечно, он взъерепенится!

— Лев Григорьевич! — сказал Илья с дрожью в голосе. — Какое вы имеете право натравливать местных жителей на пушзаповедник? Подумайте, что вы делаете! Разве это достойно советского специалиста?

Лев Григорьевич стал медленно подниматься, не отрывая от Ильи взгляда; и вот они заняли друг против друга позицию: мощный, пышноволосяй мужчина и тоненький стриженный мальчик. Ильюша угадывал, что скажет, с чего начнет оскорбленный им йодный спец. Первым словом будет «Мальчишка!». «Мальчишка, учить меня!..»

— А-я-яй! — с сожалением, даже с грустью заговорил йодник. — Песцовая кровь проснулась... А зря! — Он еще раз смерил Ильюшу взглядом. — Поправляться вам надо. Пейте молоко, ешьте морскую капусту. Это особенно важно для растущего организма. Вот так. — Лев Григорьевич положил теплую большую ладонь на плечо Ильи, как не раз уже делал, и спокойно шагнул, полагая, что разговор исчерпан, что они согласно двинутся к дому.

Ильюша не то чтобы скинул со своего плеча тяжелую, мясистую руку, — он просто остался на месте, не сделав ожидаемого йодником шага, и рука того соскользнула. Лев Григорьевич оглянулся с заметно омраченным лицом. «В чем дело? — как бы вопрошал его сумрачный взор. — Не оценили мое великодушие? Предпочитаете ссору? Да вы понимаете, что я вас одним пальцем!..» И опять Илья не успел додумать, что скажет ему его грозный противник, потому что Лев Григорьевич в этот миг улыбнулся.

— Хочу скорей познакомиться с вашим папой, — благодушно сказал он. — Я слышал о нем много хорошего.

— От кого? Где? — сам того не желая, спросил Илья.

— Интеллигентные люди всегда найдут общий язык, — неопределенно ответил йодник. И зашагал по направлению к дому Пелькиной, нимало не беспокоясь, следует ли за ним Илья.

Когда они вернулись домой, в кухне у норвежки сидел гость. Он сидел за тем самым начисто вымытым и добела выскобленным столом, за которым сегодня происходило их пиршество, и строго допрашивал хозяйку. Иначе как допросом эту беседу не назовешь: стоя перед столом, Пелькина только безмолвно кивала, покорно все подтверждая.

Илья сразу узнал пароходного попутчика. В кожаном пальто, в кожаной кепке и кожаных перчатках с раструбами выше локтя, он вчера то и дело выскакивал из каюты на палубу и свешивал голову за борт: его нещадно травило, хотя качка была умеренной. «Тоже мне первопроходец!» — безжалостно думал Илья, вместе с тем и тревожась, не свалилась бы у того с головы в море кожаная кепка...

В чем, собственно, дело? Почему гражданин внушил Илье антипатию? Лица он не разглядел — одни вытаращенные глаза и зеленая бледность; раздражал кожаный реглан и в особенности — бессмысленные перчатки с крагами. Что он — шофер броневика? Авиатор? Или комиссар времен гражданской войны? Чепуха! Комиссары ходили в кожаных куртках, а не в длиннополых пальто, и вряд ли напяливали фасонистые перчатки.

Но как он очутился на острове? Илья готов поручиться, что не видел его на палубе, когда «Сосновец» становился на якорь. Отлеживался в каюте? Прятался где-нибудь за трубой, за штурвальной рубкой, устыдившись своей морской слабости? Так или иначе, гражданин теперь здесь и с пристрастием опрашивает Пелькину, сверяясь с лежащей перед ним на столе бумагой.

— Дойная корова одна?

Хозяйка наклоняет голову.

— Годовалая телка одна?

Хозяйка молча подтверждает.

— Овец шесть?

Опять знак согласия.

— Имеется парусная ёла?

Тот же знак. Гражданин делает в списке отметки. Лицо у него худое, с провалившимися щеками, вместо рта безгубая щель, глаз не видать — не отрывает их от бумаги.

— Ильюша, где вы застряли? (Голос Льва Григорьевича из комнаты. Значит, не забыл, хорошо видел, что Илья шел вслед за ним.)

В тот момент, когда заинтригованный Илья нехотя

покидал кухню, раздавался неистовый кашель. Хмурое, бледное лицо неизвестного гражданина побагровело, всего его скрючило, завинтило винтом. Но главное, что таинственный список, задетый судорожно дернувшейся рукой, слетел, бесшумно колышась, на пол, прямо под ноги Илье. Илья быстро нагнулся, чтобы поднять и вежливо подать его больному товарищу, но тот все кашлял и кашлял, не обращая внимания на сочувственно протянутую бумагу. Ожидая, пока тот придет в себя, Илья помимо желанья глянул на список — и молодые его глаза ухватили против фамилии Пелькиной: «Коров дойных — 2; годовалых телок — 2; овец — 12», — то есть живности ровно вдвое больше, чем упоминалось при опросе. Что за чертовщина? Может, это не та Пелькина? Может, все островные жители — Пелькины?

Не успел Илья продумать возможные варианты, как заезжий гражданин, продолжая с надсадой кашлять, сердито вырвал из его рук список и кинул перед собой на стол. В ту же секунду дверь отворилась и появился Петров в сопровождении краснощекого парня местного вида, в засаленной брезентовой куртке, в высоких рыбацких сапогах. Илья успел поймать многозначительный взгляд, который бросила Пелькина на вошедшего парня. Тот никак на ее взгляд не ответил и с безразличным видом уселся на табурет возле двери. Журналист, не задерживаясь, прошел в комнату приезжих. Илья счел за лучшее последовать за ним, здесь явно не нуждались в его присутствии.

Уходя, он вспомнил, что в списке значилось еще: «Парусная ёла — 1»... Да, одна, так и говорили. Но дальше написано: «с мотором»... А вот о моторе не было речи. Может, Илья забыл? Или это надо понимать так, что все парусные ёлы — с мотором, неважно, упомянут мотор или нет? Илья подозревал, что разница все-таки есть, и разница не случайная. Кого же намерен вводить в заблуждение этот кожаный тип — себя, государство, местных жителей? Кому это нужно? Спросить, что ли, Петрова или йодников? Посмеются? Скажут, тебе-то что? И чего лезешь не в свое дело, ни черта не смысля?

Перешагнув порог комнаты, Илья и тут ощутил себя лишним: йодники, как всегда, копались в своих бумагах, а журналист, сидя в углу на шкурах, деловито строчил в блокноте.

Словом, Илья вошел и сразу же вышел, — возможно, что его и не заметили. Быстро пройдя через кухню,

толкнув дверь на крыльцо, сбежав по ступенькам на землю, Илья все ускорял и ускорял бег, хотя по песку это было тяжеловато. Куда он бежал?

Он задал себе этот вопрос, когда очутился за пределами поселка. Оставив далеко позади и красный домик фактории, и охряно-желтый дом Пелькиной, вдруг ощутил, что решение искать отца внутри острова, принятое им давно, начало осуществляться...

Илья обратил внимание на окружающую природу, на местность, на почву, когда оказался не только вдали от поселка, но и вдали от моря. Под ногами уже давно не песок, а жесткий, ребристый шифер; Илья поднимался в гору, точнее, на плоскогорье, на возвышавшееся над морем и над поселком плато.

Подъем шел террасами. Великан в три прыжка очутился бы наверху, на плоской верхушке острова, — Илье было потруднее. Он долго карабкался по сыпучим откосам, чтобы оказаться сперва на первой террасе, затем на второй и, наконец, завершить путь на верхней, что предстояло еще не скоро. Лезть было не легко, подъем крутой — примерно в 45° , определил он на глаз: такой угол, как знал Илья, обычно принят для искусственных насыпей — дамб и железнодорожных линий, а здесь инженерный расчет природа выполняла сама: галька и выветрившийся шифер постоянно осыпались и тем создавали этот естественный и вместе с тем идеальный уклон.

Террасы поросли травой, мелким, невзрачным кустарничком, разнообразными ягодниками. Илья с умилением узнал чернику и голубику, столь хорошо знакомые ему по окрестностям Мги и разезда Горы. Подумать только, куда забрались! Илья поймал себя на том, что всего за несколько дней пребывания на Севере (считая и город Мурманск) успел соскучиться по траве, по зеленым листьям, словом, по доброй среднерусской природе. Смешно сказать, но, взобравшись на первую же террасу, он не выдержал и бросился наземь.

— О, мать сыра земля... вернее, суха земля! — воскликнул Илья с неподдельным пафосом. — Сколь сладостно к тебе припасть! — Трезво вскочив с муравы, он полез на следующую террасу.

Зрелище все волшебнее и волшебнее представало его глазам, чем выше он забирался. Журналист прав: как ни иронизируй, трудно не восхищаться открывшимся перед тобой океанским простором, неважно, называется

ли он сравнительно скромно — Баренцевым морем, или, несравненно заманчивее, Северным Ледовитым океаном. Мальчишеское тщеславие в эти минуты дремлет, а вместо него пронизывает все твое существо поистине священный трепет... Впрочем, Илья сознавал, что он не на полюсе, и даже не на Новой Земле или Шпицбергене, и что от материка, правда тоже диковатого, его отделяет всего-то два-три километра пролива, или по-местному — сáлмы, как объяснял Пётров.

Все на свете относительно, в том числе и экзотика, — вздохнул Илья и принялся преодолевать последнюю, третью по счету, осыпь. Он почему-то надеялся (втайне от самого себя), что с вершины острова непременно увидит отца, где бы тот ни ютился или ни прятался...

Но может статься, отец уже вернулся в факторию... Который час? Судя по прохладе и по низкому солнцу, скоро ночь. У Ильи нет часов — часы были у Андрея, он так и утонул с часами на руке. Кстати, почему ни Илье, ни Рассопову не пришло в голову спросить, остались ли часы на нем или в милиции их сняли? И вдруг Илью осенило: вот еще одно доказательство, что смерть эта не самоубийство. В самом деле, неужели заботливый Андрей не оставил бы часы дома, для брата, если задумал утонуть? Но с другой стороны... Илья ужаснулся противоположной мысли: аккуратный Андрей не оставил бы часы на руке, если он осознанно и обдуманно бросился в Неву, чтобы с ней побороться и победить стихию... От этих двух догадок Илью бросило в жар и в холод. Но, может, это оттого, что наверху, на открытом месте, его успел прохватить вечно дующий с моря ветер.

— Холодно, холодно! — стал подбадривать себя вслух Илья. — Холодно, дорогуша, холодно! — И он принялся греться, как греются на углах извозчики, ожесточенно хлопая себя ладонями по спине и груди. Он на личном опыте испытал, что такое панибратское обращение с собой идеально бодрит и греет.

И верно, на минуту ему стало теплее, но лишь на минуту. Он успел окинуть взглядом весь кругозор, начиная с востока. С трех сторон — океан, серебристо-серый, почти недвижный, почти застывший, если не считать лёгких морщинок, какими представлялись издали и сверху однообразно длинные волны: с палубы парохода они выглядели куда внушительнее. Не видно ни одного судна — морская пустыня. На юге же, за узкой лентой пролива — скалистая земля, материк в подножье кото-

рого даже в эту безветренную, штилевую погоду бьет прибой: белая пена отчетливо видится и, кажется, прибой даже слышен.

Что касается самого острова, то к северу и к западу плоскогорье повышалось, к югу ниспадало террасами, которые он только что преодолевал и преодолел; внизу лежала песчаная отмель с рыбацким поселком, откуда он вышел часа полтора назад. На востоке, тоже у самого моря, поблескивает не то озерко, не то укромяная, закрытая бухта, где, наверное, завидно тепло по сравнению с этой голой площадкой, на которую Илья забрался и откуда его намерен сдуть незаметный внизу и столь ощутимый наверху ветер. Можно себе представить, что делается здесь зимой, в штормовую, ледяную погоду, если еще и сейчас кое-где в расщелинах белеет снег.

— Холодно, холодно! — принялся опять колошматить себя Илья, невнятно, гундосо, словно сквозь хмель, бормоча: — Теплее, теплее! Черта теплее — собачий холод! А где песцы? Ни людей, ни зверей! Где отец? Ничего, никого не видно. Надо скорей бежать, пока не окоченел...

И тут его охватило в н у т р е н н е е окоченение. Он без сил, без малейшего сопротивления, без всякой попытки устоять на ногах или же немедленно возвращаться вниз, в долину, сел наземь. Его пронзило уже знакомое, в тысячу раз острее, чем холод и ветер, ощущение одиночества! Он сидел, ничего не чувствуя, кроме одинокой усталости... физической? душевной? — не все ли равно! Вряд ли чувство это охватило его внезапно, конечно, оно таилось внутри давно, так сказать, подсизживало его, накапливаясь в мозговых закоулках, но тут произошла вспышка... вспышка, если можно так назвать мгновенное оледенение души...

Он не знает, как долго он просидел — то ли час, то ли пять минут. Постепенно к нему вернулась способность чувствовать, потом мыслить. И тогда он с тоскливой жадностью задался сразу тысячью вопросов. Ему шестнадцать лет. Почти семнадцать. Возможны ли в этом, как принято считать, оптимистическом возрасте такие моменты? Такие резкие переходы от легкомыслия к отчаянию, от безмыслия — к философским гримасам, от благорастворенной доброты — к волчьей злости? Если все шевелившееся в нем, потаенное, почти бесформенное, попробовать оформить в слова, в подобия

мыслей, то получилось бы примерно следующее (порядок неважен):

— Где я? Зачем я? Кто окружающие меня люди? Чего они все хотят? Кто мой отец? Где он? И почему? Любит ли он меня? А если нет? А я его? Что это вообще за мирок? Ничтожен ли он по сравнению с остальным миром? Имеет ли право на какое-либо самостоятельное значение? Типичен ли он по сравнению со всеми другими частями и уголками большого мира? Что представляют собой мои спутники? За что возненавидел меня Митька Курлов? Что он за парень? Что за конфликт у кожного человека с безбровой Пелькиной? Что за место Шангуй, где убили неизвестно почему столько людей? Что это вообще за масштабы, историчны ли они в масштабе того, что происходит в стране? Какая между ними связь? И еще: мне шестнадцать лет — ничтожен ли я с моими вопросами и недоумениями в сравнении со всеми остальными людьми, или я имею право на эти вопросы и на ответы?..

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Последний раз глянув на четыре стороны света и нутром ощутив, что пейзажей с него на сегодня хватит — и размышлений тоже, — Илья двинулся вниз. Двинулся — не то слово: он скатился по осыпи на предыдущую террасу. Сорокапятиградусный уклон — чудесная вещь для спуска! Затем полусъехал, полусбежал еще на одну ступень, — здесь-то, на предпоследней террасе, его и ждала награда.

Пока он озабоченно заглядывал себе за спину — не порвал ли штаны (в какой-то момент не удержался на ногах и проехал-таки тощим задом по острому шиферу), невдалеке послышалось размеренное сопенье, зашуршали осыпающиеся по откосу камешки, и, к своему изумлению, Илья увидел медленно поднимающегося в гору журналиста. Он был уже совсем близко, еще два-три грузных шага — и высота взята. Тяжелый, полнеющий, несмотря на молодость, с бледным, пухлым лицом и в больших роговых очках, только начавших тогда входить в моду, Петров выглядел таким показательным горожанином, что Илья невольно заулыбался.

Что скрывать, Илья обрадовался неожиданной встрече. Долго ли он был один, причем в непрерывной

смене и новизне впечатлений, но уже опять успел ощутить пустоту. Да, теперь он отлично знал, что с того майского дня испытывал резкую пустоту всякий раз, когда оставался наедине с собой больше часа.

— Вы что ж это, юноша, никому ничего не сказали, не предупредили? — ворчливо заговорил журналист, отдуваясь и вытирая не слишком-то белоснежным платком потное лицо. — У нас так не делают. Здесь у нас всё обо всех должны знать. Как в настоящей деревне. В деревне бывали? Хотя бы слышали о деревенских порядках? — Он уселся на местную тощую травку, весьма отдаленно напоминавшую деревенскую, хотя на дворе июнь, самая сенокосная пора.

— Почему же, бывал! — бодро отвечал Илья и сам чувствовал, как глаза его радостно блеснули. Боже, до чего приятно узнать, что люди о тебе тревожатся, посылают гонцов, — он уверен, что это позаботился Егор Егорыч... Тем более, здешние осыпи действительно коварны: Петров сам говорил, что в первый же день подвернул ногу и теперь на нее даже на ровном месте больно ступать. Сущий героизм с его стороны — сюда взобраться!

— Черт! — Петров с облегчением повалился на спину. — Думаете, меня что подвигло? Мне сказали, что вы мой земляк. То есть не просто ленинградец, а василеостровец. Это особое племя. Вы на какой линии живете?

— Я не на линии, я на Тучковой набережной, — охотно и заинтересованно отвечал Илья. — А кто вам сказал? Неужели Курлов?

Журналист усмехнулся:

— Любопытный тип. Кажется, ваш родственник?

— Этим и любопытен? — попробовал Илья съехидничать.

— И этим, в частности. — Петров сел поудобнее, удалив из-под себя угловатые камешки. — Ильяша, вы не знаете семью Станглеров? Такие типично василеостровские обрусевшие немцы...

Илья вдруг почувствовал, что кожу на его спине, как и полчаса назад, опять стянуло ознобом. Он почти догадался, о чем сейчас пойдет речь, хотя никогда не слышал такой фамилии.

— Нет, — сказал он. — Не знаю. — И глупо осведомился: — А они на какой линии живут?

Последовал обстоятельный ответ:

— На седьмой. Рядом с кинотеатром «Форум». —

И сразу вопрос, которого Илья ждал и боялся: — Вы брат Андрея Стахеева?

Илья молчал, судорожно пытаясь понять, что происходит.

— Да, — сказал он. — А в чем дело?

Журналист снял свою красивую мохнатую кепку. Его молодую, начинавшую лысеть голову обвевал ветер.

— С вашим братом случилось несчастье, — полувопросительно, полуутвердительно сказал он, присматриваясь к Илье.

— Да, — уже ничему не удивляясь, подтвердил Илья. — Вы его знали?

— Его — нет. О нем — знал немного.

— А при чем тут какие-то Спенглеры или как их?..

Илья редко дерзил, но сейчас так трудно было ворочать языком, произносить самые обыкновенные слова... Было странно и страшно, что какой-то чужой человек, за тысячу верст от Ленинграда, может что-то сказать об Андрее, чего Илья до сих пор не знал и не слышал, и никогда не услышал бы, если бы не эта встреча.

— Станглеры, — объяснил журналист, — наши общие знакомые.

— Значит, вы встречались с Андреем, — угрюмо сказал Илья.

— Нет, — повторил Петров. — Но однажды я пришел сразу после того, как он ушел. О нем еще говорили.

Илья насторожился.

— Что? Что говорили?

— Ильюша, — мягко сказал журналист. — Можно, вас сначала спрошу? Вы не виделись еще с Алексеем Ивановичем?

В Илье заговорила обида на справедливый упрек.

— А вы знаете, где его искать? Курлов мне не хотел показать дорогу...

— Алексей Иванович, — сказал Петров, — на попутном боте уехал в Мурманск.

Илья на несколько секунд задохнулся. Затем вскочил с земли.

— Могу я сию же минуту туда поехать?

Петров вздохнул:

— На чем? Как? И где вы его найдете? Все-таки это город, а не поселок. Да и Алексей Иванович мог за это время сесть в поезд. — Он взглянул на ручные часы. — Поезд ушел... да, уже сорок минут назад.

— Господи, какой я подлец! Какой трус! — Илья опять сел на землю, тупо смотря на носки ботинок. — Бездарность!

Петров положил ему на плечо мягкую теплую ладошку:

— Не угрызайтесь. Кстати, я убежден, что Алексей Иванович сперва попытается дозвониться в Ленинград.

— У нас дома нет телефона.

— Значит, будет звонить в Госторг, попросит разузнать обо всем. Или послал вам телеграмму и ждет ответа.

— А я здесь! Идиот и подлец!

— Хорошо, — Петрову начало это надоедать. — У вас есть кто-нибудь знакомый в квартире? Жильцы толковые?

Илья объяснил, что в его комнате живет товарищ Андрея, если еще не уехал на практику...

— Вот он и ответит, — успокаивал его журналист. — Увидите, завтра отец ваш вернется на остров. Пока расскажите мне, как это все произошло?

Илья как можно короче поведал о ленинградских событиях. Что касается того, что происходит здесь, за что он полностью принимает на себя вину... Тут он не выдержал и спросил:

— Вы же тут больше недели? И вы знали о смерти Андрея. И тоже отцу ничего не сказали...

— Да, не сказал, — отвечал Петров. — Я лишь позавчера узнал от Алексея Ивановича о его сыновьях в Ленинграде. Накануне вашего приезда... До этого мне и в голову не пришло связывать фамилию Стахеев с вашим братом и Станглерами. Я и тут было засомневался: вдруг это другой Стахеев...

Он снял очки, тщательно протер одну и другую сторону толстых выпуклых стекол. Как видно, он сильно был близорук, и, как у всех близоруких, глаза его без очков выглядели такими наивными и беспомощными, что Илье стало даже неловко. Затем журналист надел очки и снова преобразился в солидного мужчину.

— Так вот о том вечере, когда мы с вашим братом чуть-чуть не встретились. Я пришел к Нине Станглер. Это одна из многочисленных Станглеров, проживающих на Васильевском острове. Прошлой зимой Нина вышла замуж за некоего Рахитина...

— Рахитина? Это, кажется, персонаж из «Братьев Карамазовых»?

— Нет, Рахитин, от слова «рахит»,— без улыбки поправил его журналист.— Что, естественно, вызывало шутки, поскольку он здоров, как бык. Правда, первое время к ним никто не ходил — ни ее, ни его знакомые: должно быть, боялись помешать. А к весне стали захаживать. В том числе и ваш брат.— Петров приостановился.— Неужели вам брат ничего не рассказывал?

Илья честно подтвердил: ничего,— хотя ему было неприятно обнаруживать перед журналистом такую далекость от брата. Но, в конце концов, брат на шесть лет старше, Илья недавно еще в его глазах был ребенком.

— Что представляют собой Нина и этот Рахитин?

— Повторяю, Рахитина я раньше не знал,— отвечал Петров,— а с Ниной встречался в университете.

— Ясно. Что дальше?

— Дальше этот единственный вечер, когда я услышал об Андрее Стахееве... о живом. О мертвом потом, спустя месяц, тоже говорили.

— Но что, что?

— Как ни странно, и в первый раз и потом — почти одинаково. Что он невероятно впечатлительный человек. Кто-то даже сказал: нерв эпохи. Но это где-то внутри. Снаружи спокойствие, почти флегма. И вдруг прорывается...

— Значит, в тот вечер прорвалось? Но как это было? Петров немного помедлил.

— Было так, что он ударил Рахитина.

Илья уже не раз давал себе слово не удивляться,— столько всего открывалось нового в характере и в поступках брата, но тут он опять не выдержал:

— Как?! За что? Тот его оскорбил?

— Не его. Маяковского. В дни похорон.

Илья напряженно припоминал, как вел себя Андрей в те дни? Ведь это происходило всего за месяц до смерти самого Андрея. Ровно за месяц... Но Илья не помнит, что Андрей тогда говорил, что делал. Они тогда мало виделись: в школе был траурный вечер, Илья выступал с докладом, если так можно назвать его детский лепет... Стыдно вспомнить! Почему ему поручили? Потому, что весь его выпускной класс был «техническим», один Илья имел склонность если не к литературе, то к общественным наукам. Но как же он мог не знать об умонастройке, о чувствах брата? Ему даже в голову не пришло посоветоваться с ним о докладе... Самый близкий человек! Не знать и не хотеть знать, что у него на душе!

Илья долго молчал, прежде чем спросить, как именно оскорбил Рахитин поэта или память о поэте.

Петров поморщился.

— Не хочу повторять. Противно.— И, помолчав: — Возможно, и я бы его ударил...

— Да? — Илья с уважением поглядел на Петрова.

— Тем более что когда Маяковский приезжал в Ленинград, чуть ли не за неделю до смерти, он в Доме печати пожал руку всем, кто был в комнате. В том числе и мне... Я никогда не видел его так близко. Но слышал, что он не всегда был добр к пишущей братии... — Он поднял руку и продекламировал глуховатым баском:

Литературная шатня,
Успокойте ваши нервы.
Отойдите, вы мешаєте
Мобилизациям и маневрам!

Илья невольно взглянул на руку Петрова, которую тот все еще держал поднятой.

— Потом шутили,— смущенно сказал тот, опустив наконец ее и внимательно разглядывая свои веснушчатые короткие пальцы,— что после рукопожатия я несколько дней не мыл правую руку... — И он зачем-то добавил: — Я, кстати, левша!

— Вы любите Маяковского? — спросил Илья.

— Очень! Но руки я мыл в тот же день и не один раз... — Петров улыбнулся.— Примером для меня был сам Маяковский. Говорят, он был сверхчистоплотен... А вместе с тем написал: «Поэт вылизывал чахоткины плевки шершавым языком плаката»... Но мы отвлеклись...

— А я здесь только и делаю, что отвлекаюсь! — признался Илья.— Но что еще говорили о моем брате? Самое главное — как объясняли его смерть?

Пришла пора удивиться Петрову.

— Позвольте, а разве...

— Да, я не верю в самоубийство,— упрямо сказал Илья.— Но это особый разговор. Значит, ваша компания не сомневалась. Ну, что ж... — Он было поднялся на ноги и снова сел.— Уж раз вы о нем судачили,— в голосе его послышались непримиримые нотки,— то, конечно, слышали о письме некой Зыковой?

— Письмо Зыковой? — задумчиво сказал Петров.— Но она клялась Нине, что письма этого она не посылала.

— Что?! — Ильюша опять подпрыгнул. — Она тоже из вашей компании?

— Не совсем. С ней знакома была только Нина. И немного Рахитин.

— Ах, уже и Рахитин! — зло сказал Илья. — Такая цепочка! Может, он и научил Зыкову? Или написал за нее? Уголовное дело! Как же вы не ухватились за такую сенсацию? Могли бы сострять фельетон для «Красной вечерней»! — Помедлив, добавил: — Извините.

Петров не обиделся. Он пытался заново разобраться: почему заблуждается симпатичный ему, хотя и колючий юноша; отчего вся история с братом представляется ему в каком-то ином свете, чем всем другим? Между прочим, Зыкова уверяла Нину, что письмо-то она сгоряча написала, но не отослала, а потом оно будто бы потерялось. Кто же его послал? Может, действительно Рахитин? Мстил за пощечину? Но мальчик прав: тут уже начинается криминал. Скорей всего, Зыкова соврала...

— Слушайте, Ильюша, — неестественно громко, явно желая изменить тему, заговорил Петров. — Я вам не рассказал о скандале, который произошел без вас в доме Пелькиной. Знаете, кто его учинил?

— Наверное, мой безумный кузен, — равнодушно сказал Илья. — Ему и верно стало сейчас все равно: слишком уж тесен мир, все всё знают и обо всем слышали. Этот неожиданный разговор об Андрее с посторонним, с чужим, вместо встречи с отцом, встречи, от которой он словно бы уклонялся!..

— Представьте, вы угадали, — снова искусственно бодро подтвердил журналист. — Вы ведь ходили сегодня в поселок. Курлов уверяет, что йодник там проводил антисоветскую агитацию... — Петров рассмеялся, но взгляд его был пытливым.

Илья вяло ответил, что преувеличение тут бесспорно, хотя и ему показалось нелепым и безрассудным восстанавливать местное население против пушзаповедника, о чем он и сказал йоднику. Разумеется, он не успел вполне раскусить Льва Григорьевича, не знает, может ли этот спец оправдать политическое доверие, а что ему доверено многое, это факт... И вдруг спросил:

— По-вашему, мой отец поймет все, как надо? И вообще, что он за человек? Я ведь его почти не знаю. Какое у вас впечатление? Он рассказывал о себе что-нибудь?

Петров промямлил что-то вроде того, что не надо торопиться, мол, был случай, когда он написал об одном человеке, председателе колхоза, что он за молодец, какой идеальный человек и руководитель, а через месяц того исключили из партии...

— Вы хотите сказать, что это может случиться и с моим отцом? — сухо спросил Илья. — Кстати, я даже не знаю, член партии он или нет.

— Если хотите, — решил свести все на шутку Петров, — я разузнаю! В конце концов, это моя журналистская обязанность! — И он засмеялся, блестя зубами на фоне заходящего (или восходящего, кто его теперь разберет) солнца. — Что касается скандала, — Петров посерьезнел, — то ваш кузен специально привел свидетеля, и Лев Григорьевич с удовольствием все при нем повторил. Что будь у него власть... а она у него, мол, будет... он шугнет заповедник так, что и со зверей и с людей полетят пух и перья!

Илья хмуро:

— Значит, и с моего отца.

— И вообще, мол, довольно миндальничать, — продолжал Петров. — Индустрия все эти поэтичные заповедники с земли сметет!

— А свидетель кто — вы? — хмуро осведомился Илья.

— Я не в счет, я вместе с ними живу... Прибывший с вами на пароходе фининспектор, вот кто!

Илья оживился:

— Как, этот морской волк?

— Почему морской волк?

— В море его непрерывно тошнило... Кстати, может вы объясните мне... — Илья в нескольких словах рассказал о разнице в записи и в устных ответах Пелькиной: почему две, а не одна корова, почему ёла моторная, а не парусная. Откуда эта несуразица и где правда?

Петров, смеясь, успокоил Илью. Фининспектор и Пелькина отлично понимают друг друга: конечно же она занижает данные, а он завышает, желая ее сбить, ущучить. Такая игра идет между ними в каждый его приезд. Договорятся они где-то посередине... Что касается мотора на ёле — он подвесной: то он есть, то его нет. Муж Пелькиной таскает этот мотор взад и вперед. А ведь ёла не речная лодчонка, это судно серьезное, значит, мотор не легонький. Прислали его родственники из Норвегии.

— Значит, Пелькина настоящая норвежка? — заинтересовался Илья.

— Ну, об этом я вам подробно потом расскажу. Любопытнейшая особа! По правде сказать, я о ней кое-что уже написал... — Петров скромно потупился. — Так, пока для себя...

Тем закончился их разговор. Первая серьезная беседа Ильи на острове.

Когда они спустились с горы, ветер, такой настырный вверху, внизу улегся. Который был час Илья действительно не представлял и почему-то ленился спросить у Петрова; скорее всего, уже наступила глубокая ночь, а то и близилось утро. Во всяком случае, в нормальных широтах большинство людей спало. Было тихо-тихо, сотнями верст южнее выпадали обильные росы. А здесь шла своя привычная жизнь. Возвращались с рыбалки моторные боты и парусные, казавшиеся такими хрупкими, ёлы, завещанные рыбакам еще древними викингами. Кто знает, может, они не столь уж хрупки, раз ими пользовалось множество поколений людей.

В очередь с парусными, к деревянному пирсу причалил моторный бот; несмотря на свою морскую неосведомленность, Илья это понял, да, собственно, и понять это было нетрудно: бот крупнее, шел не под парусом и, лихо развернувшись, так же лихо пришвартовался. Впрочем, нельзя сказать, что Илья и его спутник заинтересовались новоприбывшим судном, — каждый из них размышлял о своем. Но когда они поравнялись с пирсом, они увидели бредущего по отмели, по песку человека. Пожилой, грузный, в засаленном, заметно отблескивающем даже под полуночным солнцем коричневом кожане, в низко надвинутом на лоб кожаном шлеме, с альпийской палкой в руке, шел, припадая на одну ногу и медленно приближаясь к поселку, тот, кого Илья ждал и искал.

Сын не успел ни крикнуть, ни кинуться у отцу, а Петров не успел ни остановить Илью, ни, наоборот, подтолкнуть, как вдруг словно бы из ничего, из песка, из воздуха, возникла еще одна фигура: то был вездесущий и неугомонный Курлов. Он кинулся наперерез Алексею Ивановичу, добежал, схватил его за руку, — тот молча отстранился, в тишине было слышно, как скрипнули по задубевшей коже директорского рукава курловские ногти, и Курлову ничего больше не оставалось, как только бегать вокруг Стахеева и выкрикивать накипевшее:

— Ваш сын изменник! Ваш сын провокатор! Такого-то вы хотели навязать мне в товарищи! Полюбуйтесь, он продает вас йодникам! Он мешал мне сегодня работать! Он помешает и вам! Честное слово! Прикажите ему уехать с нашего острова! Алексей Иванович, прогоните его! Может кончиться плохо! Вы сами не ожидаете! Алексей Иванович, или я, или он! Алексей Иванович, мы опять будем с вами вдвоем! Разве плохо нам было? Честное слово! Уберите вашего сына с нашей дороги! Зачем он здесь? Он же для вас совсем чужой!

При этих его словах директор остановился. Лицо было почти безучастно, но он заметно вздрогнул.

Курлов еще топтался подле него, еще кричал требовательно:

— Прогоните его! Уберите его с нашего острова!

Но, кажется, он и сам уже начал догадываться, что с Алексеем Ивановичем творится что-то неладное, и вдруг замолчал. Илья подошел к отцу, взял его под руку (спокойно коснувшись лоснящегося кожаного рукава, о который минуту назад скрипнули курловские обкусанные ногти) и уверенно повел в поселок. Вот они отошли на пять, десять, двадцать шагов, вот повернули к фактории. И вот скрылись из виду.

Курлов обернулся к журналисту и страстно прошептал:

— Товарищ Петров, что это значит?

Петров, ничего не ответив, двинулся также в поселок. Курлов растерянно поплелся за ним, почти механически вошел вместе с ним в дом, где поселились его враги (их в это время не было), сел на узенький подоконник, — спиной к солнцу, лицом к диковинному убранству крайнесеверной детской комнаты, на которое он ни сейчас, ни прежде не обращал внимания, и стал ждать. Чего? Чтобы Илья вернулся и потребовал ответа? А то еще затеял бы драку?! Пускай попробует — Курлов готов! Хотя сейчас им, видно, не до него... Курлов ничего не знал о несчастье, о том, что отец потерял одного сына, старшего, плевал на то, что его станет утешать другой, младший, пусть не родной, какая разница.

Курлов сидел спиной к этому чертову, так называемому божьему миру, сплошь населенному безразличными и враждебными ему существами. Плевал он и на очкарика, с кряхтеньем ворочающегося с боку на бок на шкурном ложе, — болела натруженная нога, о чем тоже не знал Курлов, а если бы знал — порадовался бы: «Так

ему и надо! Зачем приехал, газетный писака!..» Под окном, тоже неизвестно зачем, росла и зеленела трава, изрядно запачканная. Хозяйка дома, норвежка Пелькина, недавно чистила под окном рыбу, набрызгала кровью и чешуей и ушла спать. Теперь она спала за дощатой стенкой, краснолицая безбровая женщина, владелица покоя и счастья в этом жилище. Курлов не знал о ней ничего — и не хотел знать. А следовало бы! Мог бы спросить у очкарика; тот небось сразу заинтересовался своей хозяйкой.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Норвежка Пелькина была внучатой племянницей первого колониста на острове. Выходец из Норвегии, он поселился здесь еще в середине прошлого века и в конце жизни сделался не простым рыбаком, а состоятельным и важным промышленником. Летом он промышлял рыбу, зимой — тюленей, парусные суда его ходили в Архангельск, оленье стадо насчитывало до пятисот голов. На взгляд соседей, русских поморов, поселившихся тут немного позже, он был просвещенный, образованный человек: читал книги, выписывал русскую и норвежскую газеты, следил за политикой. Соседи его уважали и в какой-то мере зависели от него. Он скупал и отвозил добытую ими рыбу, наладил бесперебойную ловлю и доставку наживки, главное же — являл пример спокойной, несуетливой хозяйственности.

Дом первого колониста отличали от прочих жилой мезонин, балкон, кровля из черепицы, и все же в доме чего-то недоставало; дядя был бездетен. Наверное, потому он и выписал сюда из Норвегии семью вдового брата, значительно менее состоятельного, но имевшего двух дочерей — мать будущей норвежки Пелькиной и ее тетку.

За несколько лет до первой германской войны побывала Пелькина на родине деда и дяди, в Норвегии, где продолжали жить многие ее родственники. Один из них был еще богаче и знаменитее островного дяди, и как раз в его доме увидела русская норвежка то, что ее поразило больше всех других заграничных тонкостей. Ей было нечем выразить изумление — на девичьем румянном лице ее вместо бровей бугрились две воспаленные складки, — и никто не заметил, как сильно ее поразило увиденное.

Но сама она понимала отлично, что теперь будет мечтой ее самолюбия, и, вернувшись домой, немедленно вышла замуж.

Завидным, удачным брак этот не назовешь: девушка была некрасивая, хорошо о том знала и предпочла выйти замуж за первого же подвернувшегося жениха, чем сидеть в девках. Точно так же когда-то поступила ее мать — у обеих мужьями стали не местные, а пришлые люди, нанявшиеся на летнюю путину к колонистам в работники, да так и оставшиеся в их семьях, уже в качестве зятьев, то есть тех же работников, но без жалованья. Правда, теперь их не только кормили, но и одевали, работать же приходилось не меньше, если не больше прежнего; особенно это относилось ко второму приемку, к мужу той, которую звали в поселке норвежкой Пелькиной, звали с тех самых пор, как она побывала в гостях в Норвегии.

Так не ч т о, поразившее ее в гостях, было создано: детская комната. Не удалось лишь подвесить гимнастику (трапецию или канат), не позволили низкие потолки, зато парта была превосходная, матово-черная, новейшего гигиенического фасона,— купили ее заблаговременно в Архангельске, когда дети в ней еще не нуждались. А нуждались ли они в ней когда-нибудь после? С весны до осени жили в их комнате самые разные приезжие — приказчики, коммерсанты, а после революции и гражданской войны — научные работники, хозяйственники, журналисты, сперва дивившиеся убранству, среди которого их поселили, потом роптавшие, как вчера Лев Григорьевич, на его неудобства. Но сколько ни ворчали приезжие, комната от этого не менялась, ей шел девятнадцатый год, дореволюционную и довоенную давность представляли все ее вещи. Даже детские книжки в ярких, лаково блестящих обложках, лежавшие на этажерке, были все 1910 года издания,— она купила их еще до свадьбы, мечтая о доме, который должен стать полной чашей.

С тех пор прошло двадцать лет. Дом норвежки Пелькиной был ни мал, ни велик: три комнаты, кухня, сени, чердак. Семья тоже ни большая, ни маленькая: сама Пелькина, две ее дочери, сын и послушный муж. Жена заставляла мужа нещадно работать и в меру умения зарабатывать. Она хотела сравняться богатством и знатностью с дядей, не с местным дядей, у которого не было детской комнаты, а с норвежским. Она

толком не знала, кто такие были вельможи, дворяне, помещики, но в душе считала себя если и не вельможной, но все же избранной. Дальний план ее заключался в том, чтобы постепенно стать как бы хозяйкой острова, настоящей владелицей всех его рыболовецких снастей и судов, а тем самым — вершительницей судеб всех его жителей, иначе говоря — рыбаков. Иных путей к достижению своей честолюбивой мечты, кроме рыбацких, она не знала. Да поначалу и не хотела знать...

С виду все было, как у всех. Муж, наравне с другими местными рыбаками или поморами (обычно те приезжали летом с Терского берега), через день выходил с двумя-тремя помощниками в море; верст за десять от побережья, по ходу судна, выбрасывали в воду ярус — снасть в виде длинной, пятиверстной бечевы, к которой на расстояние сажени одна от другой прикреплены форшни, тонкие бечевки, аршина по полтора-два длиной, с крючками на концах с насаженной на них наживкой — мойвой или песчанкой. Затем шняка, привязанная к тому же якорю, что и ярус, болталась на мертвой зыби часа четыре, после чего рыбаки начинали выбирать из воды снасть, снимать с крючков пойманную треску, пикшу, зубатку и палтуса, глушить и бросать в отгороженную для пойманной рыбы центральную часть лодки. Через сутки судно с уловом — богатым или скудным, смотря по погоде и по удаче, — возвращалось домой. Следующие сутки посвящались солению и укладке рыбы в амбары, просушке снастей, заготовлению наживки и короткому отдыху. Через сутки все повторялось в том же порядке; так продолжалось до сентября, когда из Архангельска приезжали купцы и увозили рыбу на осеннюю ярмарку.

Осень и зима заполнялись другими заботами и делами, среди которых еще недавно, — сравнительно недавно, когда был жив дядя, — немало значило оленеводство. Но постепенно олени стада вытоптали на острове все ягельники (олений мох), истребили морошку и вороницу, — из-за бескормицы пришлось с оленями распрощаться. Не стало и тюленьего промысла: слишком много охотников приезжало со стороны. Скоро норвежка Пелькина поняла, что семья может кормиться лишь рыболовством, — значит, добывать рыбы надо будет гораздо больше, чем прежде, для чего надо иметь не одно, а несколько промысловых судов.

Наступил день, когда Пелькина, поручив мужу детей

и домашнее хозяйство, отправилась осенью на одном из последних пароходов в Архангельск и на тамошних верфях заказала постройку нового рыболовного судна, уже не шняки, а ёлы, по норвежскому образцу, — у других колонистов таких судов еще не было, Пелькина их опередила, и это также стало предметом ее гордости.

Норвежку Пелькину всегда манили две ясные и яркие цели: стать богатой и стать именитой. До революции, а точнее — до конца двадцатых годов, то есть до конца нэпа, эти две цели в общем-то совпадали (хотя первая цель — богатство — была скорее подсобной для честолюбия Пелькиной). Правда, налоговый инспектор упорно не забывал их дом, с ним вечно шла необъявленная война (фининспектор обладал, не менее целеустремленным характером!), но до нынешней весны война была, так сказать, бескровной, к тому же прерывалась иногда перемириями. С этой весны Пелькиной стало ясно, что большого богатства ей не нажить, что это опасно и вряд ли возможно: начались явные ограничения частного предпринимательства; Пелькина поняла это и из газет, которые начала читать для пущей осведомленности. Спокойнее и разумнее теперь средний достаток или чуть выше среднего: одна ёла парусная и два яруса — один поновее, другой постарее. Можно чуть-чуть хитрить, можно скрытно давать в аренду пришлым поморам одну и другую ёлу, — сколько их в точности, инспектор никак не мог вызнать, как ни старался: в этом и состояла их постоянная тайная война... Не знал он, хотя и подозревал, что еще одна ёла, причем моторная, продана лишь для виду, а на деле промышляет для Пелькиной в дальнем становище на восточном мурманском берегу. Хорошо, что как прежде муж сам ходил в море, так и теперь ходит: пусть на собрании кто-нибудь упрекнет! Разница в том, что прежде ходил в море с двумя работниками, а нынче с двумя компаньонами, как бы на паях, с общим ярусом (сообща наживая и ревматизм).

Пелькина не стала хозяйкой острова — она не успела. Но Пелькина была и осталась гордой и независимой, она как можно меньше приспособлялась к новым условиям, и рыбачить на паях — это вовсе не то, что рыбачить в артели: можно диктовать компаньонам то, что она считала нужным. Спокойная и разумная, она управляла и мужем и компаньонами мужа, а когда они выходили в море, а она оставалась дома, она, как энер-

гия на расстоянии, управляла, казалось, их судном, — как ни смешно, но они замечали, что часто успех приходил в том случае, если кто-нибудь из них вслух о ней вспоминал, словно она управляла сейчас, сидя дома, и самой их рыбацкой удачей.

А когда они возвращались, норвежка Пелькина неспешно шла на берег, таща за собой по летним камням неуклюжие деревянные санки; и обратно шла так же неспешно, так же без видимого усилия волоча по камням нагруженные рыбой салазки, молчаливая, и усердная, и безбровая, как наемная стряпуха. Никто не подумал бы, что она управляла и домом, и мужем, и компаньонами мужа.

Пелькина редко сердилась, еще реже выходила из себя, выказывала свое раздражение, но сегодня ночью гнев кинулся в руку — Пелькина постучала в стенку: за этой тонкой дощатой переборкой допоздна, без стеснения громко, разговаривали квартиранты. Тема беседы была все та же, что днем (о чем еще мог разглагольствовать старший йодник!), многое из услышанного задевало Пелькину за живое, а под конец и взбесило, — уж очень расхвастался приезжий начальник! Но что было лишь похвальбой, пустой фантазией, а что и вправду грозило нарушить привычный уклад островных колонистов и прежде всего ее, норвежки Пелькиной, превосходные планы, понять пока трудно. Ясно одно: ничего хорошего от этих новоприезжих ждать нельзя...

Когда разгневанная хозяйка, не стерпев, постучала в стенку, квартиранты умолкли и вскоре оттуда донесся многоголосый храп.

Но Пелькина долго еще не могла уснуть — ее томили материнские заботы. Сын М^артин, которому исполнилось нынче семнадцать лет, учился в селе Александровском, в рыбацкой профтехнической школе. Школа готовила квалифицированных рыбаков, знающих не только правила лова, но и управление ботами и моторное дело. И все это было неинтересно Мартину... Неинтересно уже потому, что он не хотел быть рыбаком! Отец, дед, прадед Мартина были испокон веков рыбаками, сам Мартин родился и вырос на море, — но его донимала свирепая морская болезнь. Трудно поверить, что рослый, здоровый парень, видевший с самого детства, изо дня в день, море, море и море, сразу же, как начиналась качка, ложился на палубу и страдал. Порой он не мог добрать-

ся до борта, его тошнило прямо на палубу, его рвало как прорву... Так говорили товарищи.

— Вот прорва! — говорили они сперва со смехом, потом с издевкой, потом с жалостью, наконец, равнодушно: — Эк, прорва!

Они привыкли видеть людей, которых бьет море (как, например, фининспектора), но ведь то приезжие, новички, сухопуты, а Мартин же свой, коренной рыбак! На днях, сами того не желая, они жестоко над ним подшутили. Мартин вывалял в рвоте тужурку, товарищи посочувствовали и предложили выстирать ее в море. Спустили на веревке за борт, принялись полоскать, и полоскали настолько усердно, что веревка развязалась и тужурка пошла ко дну.

Мартин круто поссорился со своими не в меру услужливыми дружками. Виноват был кто-то из них, — небрежно, не по-морскому, завязал узел, — но виноватого, как водится, не нашлось. Товарищи захотели исправить дело, сложиться на новую тужурку, но тут один парень резонно заметил:

— Это его мамане урок. Может, поймет, что не выйдет из него рыбак. Да и побогаче нас Пелькина, сошьет сыну хоть десять тужурок! Верно, Мартюша?

Мартин вообразил, что именно этот парень и потопил тужурку, нарочно подстроил, и не мог решить, злиться на него или поблагодарить за поданную им мысль — воспользоваться постыдным случаем и попробовать все-таки убедить мать. «А впрочем, — зло говорил он себе, — ей хоть кол на голове теши — не проймешь!»

Мартин еще не знал, что этой весной мать значительно укрупнила его судьбу. Читая газеты, она не могла не заметить, что за последнее время все вокруг затрещало, и что как ни мал и ни отделен их островок Колдун от больших становищ — Териберки, Гаврилова, Западной Лицы, но трещина подбирается и сюда, что, может, близок день, когда рухнет сколоченный ею с таким трудом порядок, рассыплется в прах ее стародавние, еще девические мечты. Может, как раз сегодня Пелькина окончательно поняла, что расчеты ее на богатство и власть неверны, напрасны (подтверждал это и разговор жильцов), и выбрала для удовлетворения своего тщеславия иной путь — сделать ставку на сына, на его будущую профессию. Сыну семнадцать, он силен, здоров, если не считать этого вздорного недомогания, которое теперь тем более необходимо преодолеть, — он

сможет пробиться гораздо дальше, чем они с мужем, простые, неученые люди. Недаром она сама выбрала ему в святцах имя — оно и русское и норвежское и означает — «крепкий в битве». Мартин должен стать моряком, но не простым рыбаком и не матросом на тральщике, а штурманом, капитаном. Оказал же его дед лоцманские услуги научному судну еще до войны, еще до того, как провели к Мурману железную дорогу. На этом судне находился профессор с красивой окладистой бородой, изучавший глубины моря, но и он уважал и ценил опыт и знания островного старожила, которого он пригласил в каюту и долго с ним разговаривал, а затем попросил сопровождать их судно хотя бы до Новой Земли.

Пелькина знает, что быть классным штурманом, водить океанские большие суда, это трудно, для этого надо много учиться. Ну, что же, они с мужем готовы еще больше работать, лишь бы Мартин окончил морское учебное заведение (она разузнает, где есть такое, разумеется, не военное, а гражданское). Кто сказал, что норвежка Пелькина наживает и хитрит для себя? Она делает это для сына, для того, чтоб он стал настоящим образованным моряком. При всей ее выдержке и наружном спокойствии, у нее начинает радостно колотиться сердце, когда она мысленно представляет, как он придет в отпуск домой, и весь поселок, вся островная колония будет о нем говорить: «Смотрите, смотрите, идет сын норвежки Пелькиной! Он служит на большом океанском корабле первым штурманом...»

Жалко, конечно, что по бумагам он не Пелькин, а Галкин,— фамилия отца, который пришел сюда с Терского берега Белого моря на летние заработки, да так и остался,— но никто Галкиными их на острове не зовет, все говорят: сын норвежки Пелькиной, муж норвежки Пелькиной... Правда, и Пелькин и Пелькина — тоже не норвежская фамилия: это переделанное на русский лад имя финна, вернее карела, который женился на матери норвежки Пелькиной... Да, как ей ни грустно, норвежскую кровь наследовали из поколения в поколение одни девочки,— это они вырастали в северных, светлокожих, румяных великанш, а затем выходили замуж за случайных, пришлых людей, и опять же рожали девочек. Вот и у норвежки Пелькиной растут две дочери, они учатся в Мурманске, в школе второй ступени (на острове только начальная школа), и, наверно, выйдут замуж за русских. Зато первенец Пелькиной — сын!

Когда сын навестит родственников в Норвегии, там увидят, как он перегнал своих норвежских двоюродных и троюродных братьев: они рыбаки, самое большое — коммерсанты, а он штурман или капитан такого большого парохода, каким была «Мавритания» или «Лузитания», изображения которых висят на стене.

«Смотрите,— скажут норвежцы,— кем стал сын нашей русской племянницы!»

В словах этих прозвучат удивление, гордость, зависть, и еще неизвестно, лучше ли то, что здесь ее называют норвежкой или что там назовут русскою. Может, настанет время, когда там и здесь будут все называть ее — мать знаменитого капитана Галкина!..

Но тут мечты Пелькиной опять прервались: она вспомнила, как недавно будущий знаменитый капитан вдруг явился домой растерзанный, без тужурки, задыхающийся от стыда и злости; при мысли об этом гнев Пелькиной разгорелся, кинулся в руку и, услышав в комнате квартирантов шум, она постучала в стенку.

...Она еще и еще раз подумала обо всем в эту бессонную по милости жильцов ночь. Лишь через два часа после того, как Пелькина постучала в стенку, ей удалось заснуть, поборов противоречивые мысли... Было уже совсем утро. Через три часа вернется с рыбалки муж. Норвежка Пелькина встанет и пойдет на берег, таща за собой по камням неуклюжие санки. Медленным шагом пойдет и придет к кромке воды и станет на берегу, у лодок, спокойная и разумная, молчаливая и безбровая власть. Власть над домом, над сыном, над мужем, над компаньонами мужа, брови которых — мужа и компаньонов — густые и страшные, как усы. Сын же безбров, как она сама, краснолиц и безбров,— сын уродился в мать...

— Господи, только бы его не тошнило!

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Как и норвежка Пелькина, Курлов долго не мог заснуть: все прислушивался к тому, что происходило (или могло происходить) в комнате Алексея Ивановича. Но там было тихо, должно быть, отец и сын спали. Да, Курлов не знал о семейной беде; а хоть

бы и знал — для него во всем мире не существовало сейчас ничего, кроме острова Колдун, на захват которого покушаются эти наглецы. Если и вправду они представляют серьезную государственную организацию, тем хуже: нелегко будет с ними справиться. Не вовремя заболел Стахеев, ох, не вовремя! Вообще он стар, слаб, мягок, здесь нужен железный хозяин. Жаль, что уехала Фролова, очень жаль!..

Судорожно вертясь на койке, сжимая кулаки и кусая губы, Курлов в любой момент готов был вскочить, ворваться к директору, растолкать, разбудить, крикнуть ему прямо в уши: «Очнись, разве ты не чувствуешь опасность! Не сегодня завтра может погибнуть главное дело твоей жизни! Ты должен как лев защищать песцов!»

Досада и злость сменялись воодушевленным сознанием важности и ответственности своего положения. Стахеев, того и гляди, слег надолго, и Курлов останется полномочным правителем пушзаповедника. 200 песцов и 5 человек стражи. Руководство внешней и внутренней политикой острова. Одновременная борьба на три фронта: с природой, с йодниками и колонистами, которые, дай им волю, начнут браконьерствовать. Первоочередная задача — укрепить позиции Госторга на острове. Что для этого надо сделать? Москва далеко, хлопотать туда не поедешь, в Мурманск и то нельзя отлучиться, да и там, скорее всего, они уже заручились поддержкой. Припугнуть пришельцев? А чем? Нет, это все детские игрушки. Единственное, что можно бы сейчас предпринять здесь, на месте, — это завоевать сочувствие и поддержку колонистов, пока йодники не успели их развратить и купить...

Курлов заснул в семь утра и, сам того не желая, проспал до полудня. Пробудился он от жестокого урчания в желудке: со вчерашнего дня ничего не ел.

Курлов вошел в кухню как раз в ту минуту, когда из комнаты Алексея Ивановича выходил его отпрыск. Увидав в окно, что погода испортилась, моросит дождь (в Алексея Ивановичевой комнате окно было плотно завешено), мальчишка развязно, словно он тут век живет, снял с гвоздя свою куртку.

— За доктором,— лаконично сказал он, заметив, что Курлов скосил на него хмурый взгляд.

— В поселке нет доктора.

— Есть,— возразил Илья.

— Кому лучше знать!

— Один из приезжих врач.— Илья направился к двери.

Курлов явственно ощутил, как разливается внутри желчь, как желтеет (или зеленеет) лицо. Он заступил дорогу:

— Я его сюда не пущу!

— Хочешь, чтобы отцу... чтобы Алексею Иванычу стало еще хуже?

Курлов долго смотрел вслед серой курточке — очень опять соблазнительно было сообщить: «Дурачок, а папаша-то тебе не родной!» Скрепя сердце он принялся за приготовление завтрака. Он счел себя обязанным сварить трески столько, чтобы хватило поесть троим; этот пашенок, наверно, тоже не ел со вчерашнего дня, — опять же пусть знает его благородство. Не успела рыба свариться, как Курлов слышал на улице голоса — это возвращался домой директорский сын, ведя с собой йодника. Дождь уже перестал, йодник шел с непокрытой головой, грива его развевалась. Курлов одним прыжком подскочил к двери и накинул крючок.

Через считанные секунды голоса послышались у крыльца; Курлов едва успел скинуть крючок и отпрыгнуть, как дверь отворилась и йодник с мальчишкой ввалились в кухню.

— Здравствуйте, Митрий Михайлыч!

Что-о?! С ним поздоровался тот, кто вчера ораторствовал перед местными жителями: «Мы освободим вас от зазнавшегося Госторга! Мы покажем ему, где бог, где порог!» Как ни в чем не бывало, подстрекатель переступил сейчас порог дома, принадлежащего Госторгу, и дерзко здоровается с заместителем директора!

Задыхаясь от гнева, Курлов выскочил в сени. К дьяволу завтрак! Слушать, как йодник врачует Стахеева, спрашивает о самочувствии и тот покорно ему отвечает, вместо того чтобы прогнать взашей! Но как покинуть в такую минуту свой дом, свою крепость, уйти, убежать, предоставив врагу хозяйничать? Нет, Курлов будет поблизости; он наготове; он бдит!

Курлов отправился в сарай, и там, окруженный ржавыми заступами и старыми метлами, стоявшими вдоль стенок и по углам, он провел этот горький час.

Нужник, чулан, сарай всегда были верным приютом обиженных отроков, сочувствующими свидетелями их горя и слез. Но на этот раз склад хозяйственного инвентаря неожиданно сыграл роль вдохновителя. Курлову

вдруг пришла в голову такая заманчивая мысль, что он сразу воспрянул духом. Даже заулыбался! Даже запел! Всю песню Курлов, конечно, не помнил, но две начальные строки сумел воспроизвести:

Вырыта заступом яма глубокая,
Жизнь невеселая, жизнь одинокая...

Что и говорить, строчки не слишком бодрые, но идея... идея, подсказанная этими самыми заступами, была недурна! Он вспомнил, что Алексей Иванович когда-то сказал: ежели вырыть на подходящем участке углубление в почве, то в дальнейшем оно послужит как бы прихожей к будущему жилищу песцовой пары. Найдя знакомую ямку, песец заинтересуется, примется ее расширять, рыть во все стороны от нее подземные ходы и переходы и сотворит по образу и подобию старой норы новую. Психология песка такова, что, соорудив жилище, он, подстрекаемый любопытством и энергией новосела, уже не может не переехать в него со всем семейством. А старое передаст выросшему приплоду, избавив молодежь от лишних хлопот, и тем поощрит ранние браки. Выгодно это для песцового заповедника? Еще как!

Курлов решил не только осуществить этот единичный опыт, но и расширить: он прикажет накопать ям по всему острову — пусть все молодые песцы будут нынче же обеспечены жильем. Такой вариант будет одновременно и научным, и производственным, и политическим актом. Он предоставит возможность местному населению заработать на рытье ям и тем привлечет колонистов на сторону пушзаповедника. Курлов закажет выкопать сто... нет, двести ям... Двести, не меньше! Средства у заповедника есть, а сэкономит Курлов на чем-нибудь другом. Да он жалованье себе готов не платить, ничего, кроме трески, не есть, пить чай без сахара, лишь бы претворить в жизнь этот план. По крайней мере, колонисты поймут, что не йодники их благодетели, а пушники. Разве не так? Море в летние месяцы тихое, водорослей выбрасывает до смешного мало. Все обещания йодников давать крупные заработки по сбору и сушке туры (так, кажется, называется эта вонючая морская капуста!) могут осуществиться только к весне и осени, когда бушуют штормы. Весеннего йодного сезона уже нет и в помине, а до осеннего надо еще дожиться. Что касается пушников, то Курлов теперь же, сегодня же примется

выполнять свой проект. Колонисты увидят, что лучше: голословные ли посулы йодников, или же курловские реальные заработки. Так или иначе, он перехитрит йодников. Борьба их оружием!

Словом, Курлов повеселел. Еще раз любовно и благодарно взглянув на скромно жавшиеся к стене железные лопаты, он едва удержался, чтобы не пойти к больному Стахееву — объявить ему и мальчишке, что за дулю он поднесет господам йодникам! Если враг в силах быть объективен, он должен признать, что Курлов его не хуже. А йодник, выходит, не хуже Курлова?.. Почему бы и нет. Наверно, он дельный спец, у такого не грех поучиться, что Курлов, кстати, и делает. Иначе не пришла бы ему в голову мысль — привлечь колонистов на свою сторону. И на вопрос — по душе ли ему такой враг? — Митя честно ответит: «Да, по душе». Еще в Москве, читая за обедом газеты, он, помнится, недоумевал: «За что ругают деляг? Чем плох бизнесмен? Помоему, это отлично выработанный человеческий тип. Предприимчивый, энергичный, знающий свое дело и справедливо поплеывающий на все остальное. Соцстроительство только выиграет оттого, что узкий специалист не станет разбрасываться, а будет твердо и неуклонно выполнять свое дело. С размахом, с фантазией, но — только свое. И беда тем, кто ему помешает, — делец моментально даст отпор. Вот это и надо реализовать на острове, ибо пушники и йодники помешали друг другу, — следовательно, к т о к о г о ! !

Курлов решил сегодня же объявить не занятым на рыбалке жителям о предстоящей завтра славной работе. Завтра десяток рабочих выйдет копать ямы. Мрачный по натуре, Курлов редко бывал радостно взволнован — возбужденность его обычно носила характер раздражения. А сегодня он чуть не прыгал от радости: пришло, пришло его время!

Не медля ни часу, Курлов отправился в становище. Прежде всего, он сообщит о новой работе тем пяти колонистам, которые служат в Госторге стражниками, и поручит им найти еще пятерых, желающих быстро и хорошо заработать. По дороге Курлов придумал соблазнительные расценки, из расчета пять или шесть рублей за трудодень.

Рабочий человек не удивляется, когда ему предлагают работу, хотя бы и с непонятной целью. Не выразили удивления и колонисты, — Курлов счел лишним объ-

яснять смысл затей, да они и не спрашивали. Один, которого звали Володей (сам он произносил это имя с неслыханным даже для здешних мест оканьем), задумчиво молвил:

— Больно здесь каменисто, прибавить надо бы...

— Я выберу участки помягче,— пообещал Курлов.— А попадетсЯ шифер — прибавлю. Ладно?

На это Володя промолчал. Вместо него ответила жена, одна из молодых, что шкерили на пристани рыбу:

— Ладно-сь, ладно-сь, придет.

Другой, помоложе, сказал, когда Курлов уже пошел к двери:

— Тут дядюшка Павел баял (дядюшкой Павлом звали древнейшего старика в становище), что по некоторым таким природным признакам ждет штормика небольшого. Кабы не помешал...

— А ты и уши развесил! — оборвал парня Курлов.— Какие в июне шторма!

— Это-то верно! — согласился парень.

— Завтра в шесть утра сбор у фактории,— нетерпеливо заключил Курлов.— Оттуда на опытный участок. Сам отведу каждого на его место.

Вернувшись домой, Курлов сразу же прошел к Алексею Ивановичу, словно чутьем угадав, что тот в одиночестве. Стахеев лежал неподвижно, глаза открыты, взгляд устремлен в потолок, будто не видит, не слышит, что кто-то вошел. Тем лучше. Курлов еще минуту назад колебался, сказать директору о затее или не говорить,— теперь ясно, что нет... Потом объяснит, что хотел посоветоваться, но решил не тревожить.

Подойдя к столу, Курлов снял со стены приколотую кнопками карту острова. Стахеев повел на него большим глазом. Бережно, как листовое стекло, держа карту перед собой, Курлов на цыпочках вышел из комнаты.

Остаток дня он просидел за картой, внимательно изучая расположение существующих ныне нор, определяя места будущих нор сообразно с профилем и особенностями местности. Это было не просто дело как дело — это экзамен для его знаний, смекалки, наконец, для его самолюбия. Он понимал, что, когда Стахеев выздоровеет, придется отчитываться перед ним в каждом шаге. Норы надо заложить рационально во всех отношениях. Ошибки недопустимы.

Никого в этот вечер Курлов не видел, сидел запершись в своей комнате, смутно слышал, как сын опять

приводил к отцу старшего йодника, но Курлову в этот раз было не до них. Завтра утром он начнет выполнять свой проект. Десять человек во главе с звероводом Курловым выйдут в шесть утра на работу; с лопатами на плечах они шумно пройдут мимо дома Пелькиной.

Сказано — сделано. В шесть утра, не таясь, назло завистливым йодникам, Курлов провел мимо их окон десяток своих рабочих; они затаили по его просьбе песню:

По долинам и по взгорьям
Шла дивизия вперед,
Чтобы с боем взять Приморье —
Белой армии оплот...

С отточенными железными лопатами на плечах прошли они бравым шагом через становище. Дмитрий Михайлович нес связку флажков на палках (ночь не спал — успел заготовить) и свернутую в трубочку карту; на груди его болтался бинокль.

Выйдя за пределы поселка, обогнув озеро и маяк, прекратили пение: здесь начиналась песцовая заповедная зона, где запрещено шуметь.

На ближнем участке, сразу за кладбищем, предстояло вырыть пять первых, опытных ям. До этой минуты Курлов сам имел слабое представление об их размерах и форме, несмотря на то, что вчера упорно об этом думал. Но на месте он вдохновенно схватил лопату и, уверенно очертив на земле прямоугольник — 40 на 70 сантиметров, — приказал углубить его в землю на полметра. Такие габариты, решил он, вполне соответствуют величине зверька: песок весь поместится в яме (хвост при этом он подвернет) и станет спокойно рыть дальше — ходы и выходы.

Когда первая учебная яма была готова, пять человек разошлись по намеченным Курловым точкам и принялись копать. Земля мягкая, работа должна пойти быстро, и Курлов чувствовал себя на коне.

— А ежели, — спросил колонист, женатый на бойкой женщине по прозвищу «Мойва», — торф попадет, можно домой забрать?

— Ни в каком разе, — отрезал Курлов. — Вырытую землю необходимо оставлять возле ям, она еще пригодится песцу.

С остальными пятью рабочими Курлов двинулся на следующий участок. Всех заранее предупредил, что надо

как можно дальше обходить существующие норы. Их трудно заметить непривычному глазу, но стражники норы эти наизусть знали, да и приплод начал уже потягивать,— на носу июль.

Было теплое, чуть туманное утро; если оглянуться назад, на маяк,— синело спокойное издали море, впереди справа голели горы, слева зеленели горы, впереди прямо — серела и желтела равнина: земля драная, все больше шифер, сушь и лишайник, кое-где пробивалась трава, торчали из земли чахлые кустики, неестественно воткнутые, будто на днях состоялся праздник древонасаждения и не очень удачно прошел, не привились кусты, и мужчины с лопатами идут исправлять дело.

Там и сям вдалеке мелькали фигурки песцов, похожих и на собак и на лисиц: песцы бежали к водою на речку, бежали к кормушкам на берег моря и просто рыскали в поисках съедобы, вроде выброшенных морем рыб и моллюсков или дохлой птицы. Песцы иногда кричали и лаяли — крик и лай их походил на коклюшный кашель.

Голубой свой зимний отлив давно сменили песцы на рыже-бурый, бока и спины их вылиняли, подшерсток торчал наружу, шерсть на хребте и под брюхом висела грязными лохмами, хвосты измочалились — не было у летних песцов никакой красоты, нечего им было беречь,— не то что зимой, когда шеголяли пышным нарядом,— но людей не подпускали они к себе и сейчас. Как ранее сказано, молодой зверовод никогда не чувствовал к ним симпатии, но умел скрывать это от Стахеева. С презрением видел он боковым зрением (хотя и старался не видеть), как песцы бегали взад и вперед по равнине, шарили, нюхали и, беспрестанно присаживаясь, пакостили ежеминутно. Позднее, к полудню, когда потеплеет, они укроются в свои норы. Но есть среди них и любители загорать: эти, напротив, лягут на солнцепеке, и из черных и острых их мордочек выпадут длинные красные языки.

Разметив места для нор на втором участке и расставив на них рабочих, Курлов двинулся дальше, взяв с собой одного парня. С этим помощником он разметит еще два участка, затем подождет, пока закончат работу на первых двух. Кстати, ям на всей территории острова решил Курлов вырыть не двести, как сгоряча размахнулся, и даже не сто, а полста,— больше при всем желании некуда разместить, и так приходилось в сред-

нем по две ямы на квадратный километр, — больше песам и не понадобится.

Возникли непредвиденные затруднения. Карта оказалась не очень точной, особенности местности не всегда сходились с показанными на карте, приходилось ставить флажки не там, где полагалось по вчерашнему плану, изобретать и импровизировать на месте. Да и участки пошли каменистые, выбирать становилось труднее.

Часа через три Курлов устал, вспотел, сел отдохнуть. Усталость была приятная, трудовая. Он даже разрешил себе полюбоваться пейзажем, что с ним редко случалось: обычно природа как нечто прекрасное его мало интересовала, он смотрел на нее вполне утилитарно. Пока жил в Москве — вообще не замечал ни деревьев, ни неба, а здесь нельзя не считаться с погодой, хорошей или ненастной, — поневоле поглядываешь на небо, пытаешься угадать, что оно предвещает. А сейчас он сидел и просто глазел на все, что его окружало. Рассеянный взгляд, лениво бродя вдоль горизонта, остановился на темном, свинцового тона облачке, наплывающем с запада, точнее — с северо-запада. Парень, куривший с ним рядом, деликатно откашлялся:

— Кажись, не зря дядюшка Павел обещал штормик...

— Не каркай! — оборвал его Курлов. — Откуда тебе шторм в июне!

— А вон, — парень ткнул пальцем в небо, — из этого местечка.

Взгляд Курлова вновь обратился к облаку. Ему показалось, что всего за минуту оно успело набухнуть и вырасти.

— Чепуха! — буркнул Курлов и встал. — За дело!

Через полчаса все флажки были расставлены, будущие норы намечены, и Курлов с парнем зашагали туда, где работали землекопы. Тучи на небе сгущались, становились темней и грозней, но насупившийся как туча работодатель молчал и глядел себе под ноги. Молчал и парень, не желая, видно, с ним спорить.

Впрочем, путь был недалек: их отделяло от землекопов несколько сот шагов, не больше. Но — за эти считанные минуты погоду словно перевернули, бросили вверх ногами, вывернули наизнанку. Завыл и взбесился ветер, хлестнуло косым дождем, незакатного солнышка как и на свете не было — вместо него небо заволокло серой, аспидно-серой пеленой с черными подпалинами.

Когда Курлов, с трудом преодолевая рушившуюся на него лавину дождя и оскальзываясь на мокрых камнях, на мгновение намокшей почве, дошагал до участка, где оставил рабочих, те успели уже бросить работу и дружно валили ему навстречу.

— Товарищи, вы куда? — задыхаясь от ветра с дождем, затыкавших ему нос и рот, крикнул Курлов. — Дождь сейчас кончится!

Ему не ответили. А сопровождавший его до этой секунды парень вдруг повернул кругом марш и понесся впереди всех к поселку, крича во все молодое горло:

— Го-о-о! Дядюшка Павел-то не подве-о-ол!

Курлов в растерянности стоял, туго зажав в кулаке три запасных флажка, и смотрел, как мимо него пробежала с лопатами в руках вся его рабочая артель. Было ясно, что их уже не удержать, не заворотить — это тоже была лавина, мчавшаяся вниз, в поселок, со скоростью пущенного под откос камня. При всем желании Курлов ничего не мог сделать.

Но Курлов еще не знал и не предполагал (при всей своей мнительности), что притягивало их к дому с такой неотвратимой силой, что, кроме дождя и ветра, толкало их в спину. Он узнал это через два дня.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

А его враги все знали уже наперед и от души радовались. Во-первых, успел до шторма прибыть на остров тот самый бот, что они так счастливо, за наличный расчет, приобрели в Мурманске: бот привез заказанное там ранее спецоборудование — печи для пережога водорослей, и они нынче же пустят их в дело; во-вторых, этот неожиданный, редкостный для июня шторм намоет на литораль столько туры, что ее хватит сушить и жечь до осени. Все островное население будет обеспечено заработком!

Ликующий Лев Григорьевич бегал из угла в угол:

— Ах ты, наш дорогой штормуля! Вы слышите, как он тыщами пудов движет? Пусть, пусть работает! Егор Егорыч, скажите честно, разве это не подарок судьбы? Нет, чем дальше, тем больше я убеждаюсь, что мы родились в сорочке! Чу, вы слышите, слышите?

И шторм отзывался на его похвалы и восторги увесистыми шлепками в стекла окон и завываниями

в трубе. С моря неслись еще более дикие трубные звуки, словно там дрались киты с мамонтами, как мог бы не слишком научно, зато эффектно, выразиться Лев Григорьевич.

Конечно, его воображение знатно преувеличивало силу шторма: она не превышала шести баллов, как сообщил вчера молодой мореход, сын Пелькиной. В проливе же вообще было сравнительно тихо, недаром сюда пришли отстояться, переждать непогоду, два иностранных лесовоза, совершающие путь с востока на запад, из Архангельска к дому. Они были так нагружены поверх палубы, что в открытом море могли опрокинуться, как порой и случалось по вине жадных судовладельцев.

— Егор Егорыч, а чем мы займемся? — озабоченно спросил старший йодник. — Вдруг шторм на неделю...

— Я посижу, почитаю, — отвечал младший, — а вы вспомните свою старую специальность и полечите директора пушзаповедника.

— Да я с удовольствием... — Лев Григорьевич снял с вешалки свой красивый, цвета морской воды, шведский плащ. — Надо, надо навестить старика.

— У него тяжелое состояние? — участливо спросил Егор Егорыч.

— Ну... приступ грудной жабы в его возрасте... — Старший йодник с довольным кряхтением натянул макинтош. — К тому же астматик. Да и что-то его гнетет... Я не психолог, но вижу, что даже приезд сынишки его не обрадовал: после встречи целые сутки спал! Скорее всего, у него был небольшой мозговой спазм... мне сейчас трудно без соответствующих анализов определить. Словом, благословите меня в поход!

Еще раз с сомнением глянув в окно, заливаемое ливневыми потоками, Лев Григорьевич открыл дверь в кухню, где хлопотала у плиты хозяйка.

— Мое почтение, фрау. Кажется, утром сегодня еще не видались? Хотя с вашим солнышком не поймешь...

— Сегодня, положим, солнце закрыто тучами, — подал голос Егор Егорыч, но опоздал — дверь за начальником уже захлопнулась. Едва он успел улыбнуться своему ребячьему протестантству, как дверь вновь открылась и в комнате появился Петров; с него сразу же натекла на пол большая лужа.

— Ну, погодка! — радостно проговорил он. — Вот именно такой мне и не хватало для полноты впечатлений!

— Что же вы, сударь, не взяли у меня плащ? — упрекнул его младший йодник.

— Ничего, просохну, — журналист бодро сбросил с себя куртку. — Все это прочь — и в постель! А хозяйку попрошу развесить у плиты.

Он быстро разделся до трусов и, накинув на себя одеяло, отнес грудю мокрой одежды на кухню. Через минуту он уже блаженно полеживал в своем углу на шкурах.

— Чудесная штука буря! — делился он впечатлениями. — И ведь этот девятый вал никто не придумывал, он в самом деле девятый... Вы не пробовали считать? Нет?... Я вам не мешаю?

— Ничуть, — Егор Егорыч захлопнул книжку. — Нет, не считал. А вот мой вопрос уж наверно некстати. Что вы думаете о Льве Григорьевиче? Извините, что я так прямо...

— Что я думаю? — Павел сел, обхватив колени руками. — А почему вы думаете, что я о нем думаю? — Он засмеялся. — Но вы правы — он мне интересен. Мне нравится его увлеченность... Если бы я о нем стал писать, я бы даже назвал его п о э т о м йодного дела! — Павел внимательно поглядел на молчащего Егора Егорыча. — А вас, наверно, немножко тревожит его горячность? Хочется чуть притушить избыточный энтузиазм... чтобы он не пошел во вред делу? Не так ли?

— Тут уж вы немножко преувеличиваете, — осторожно заметил младший йодник. — Вредитель из Льва Григорьевича никогда не получится... У него и в мыслях такого не может быть.

Доселе довольный своей проницательностью, Петров сконфузился:

— Что вы, что вы, какое вредительство! Я совсем не то имею в виду...

— Замнем! — улыбнулся Егор Егорыч. — Это вас я спровоцировал... Кстати, здесь есть где-нибудь читальня? Три дня без газет... Что там нового о процессе промпартии?

— Читальня есть. Я вам с удовольствием ее покажу, когда высохну... Что касается промпартии...

— Я найду. — Егор Егорыч надел плащ, не столь красивый, как у Льва Григорьевича, но могущий еще послужить этому скромному человеку. — Пока Лев Григорьевич лечит директора, просмотрю последние номера газет.

— А я займусь своим очерком,— Павел деловито достал свой блокнот.— Заметили давеча у хозяйки довольно оригинального гостя? Весь в коже, точь-в-точь комиссар двадцатых годов.

— Как же, как же! — оживился Егор Егорыч.— Помнится, видел его еще на пароходе... А кто это?

— Фининспектор. Кстати, тоже романтик своего дела... На днях мы с ним побывали в Териберке. Там сейчас живут лопари, о которых я хочу написать. Их олени когда наскучаются в тундре без соли — идут к морю лизать камни. Приходится и хозяевам переключивать с ними ближе к берегу. Так вот мой спутник их всех поголовно записал в кулаки!

— На каком основании? — любопытно спросил йодник.

— На том, что лопарские девки страсть как любят украшать себя разноцветными лентами. Старухи сидят в дымных вежах, что-нибудь зашивают костяными иглами, а девки гуляют, форсят, несмотря на бедность. Есть, правда, два-три лопаря побогаче, в основном они то и владеют олешками... хотя по виду их не отличить от прочих. Но наш романтик недолго думал: решил — все кулаки! Я обязательно изобразю его в очерке...

— Желаю успеха,— доброжелательно попрощался младший йодник, покидая комнату.

Старший йодник уже заканчивал визит к больному. Стремясь умерить свой бас до шепота, но достаточно веско, он, уходя, запретил Илье говорить с отцом о чем-либо неприятном. Сказал, что у Стахеева серьезный сердечный приступ, подозрительная головная боль, любое волнение для него — прямая угроза. Тут он вдруг заговорщически подмигнул Илье и еще тише, с оглядкой на комнату, где лежал больной, добавил:

— Под неприятностями я имею в виду и наш с Егором Егорычем приезд на остров. Об этом ничего не рассказывайте. Пусть сперва отдохнет, поправится.

— А если спросит?

— Я ему запретил говорить,— строго ответил старший йодник.— Впрочем, насколько я понял его характер, он и в обычное-то время не очень разговорчив. Верно? Лекарство я кладу здесь,— он положил порошки на кухонный стол.— Давайте ему с водой три раза

в день. Если понадобится — позовете. А пока до свиданья, юноша.

И конечно, стоило Льву Григорьевичу ступить за порог, как Илья услышал, что Стахеев его зовет. Негромко, спокойно, пожалуй что даже ласково, Алексей Иванович сказал, когда Илья подошел к кровати:

— Как ты понимаешь, я слышал, что тебе ш е п т а л доктор. Не бойся, не подведу. Ответь пока на такой вопрос. После всего, что тебе пришлось испытать, почему ты не согласился пожить у тети Розы и тети Гали? Они обиделись.

— Зачем причинять им лишние заботы и хлопоты, — ответил Илья, тоже как можно спокойнее, смотря отцу прямо в глаза. — Кроме того, мне гораздо проще существовать с Рассоповым.

Пожалуй, фамилию эту не стоило называть. Пришлось объяснить, что это ближайший друг Андрея. Как Ильюша и ожидал, последовало долгое молчание, которое было трудно вынести. Лицо отца ничего не выражало, оно словно окаменело, — но что в это время происходило в его мозгу, в больном сердце?..

Илья вообще не мог знать, что происходило с отцом с того дня, с той минуты, как он получил и прочел письмо. Алексей Иванович сразу же ринулся на попутной моторной ёле в Мурманск, а если успеет на поезд и разрешит Госторг, то отправится в Ленинград. По пути он все читал и читал листок с уже затверженными наизусть строчками:

«Дорогой Алексей Иванович, не нам тебя утешать. Знаем, как ты любил Андрюшу, какой это для тебя удар. Наверно, жестоко это писать тебе, но мы уверены, что живи ты с семьей, беды не случилось бы. Уж когда Ксенички-то не стало, ты должен был поселиться с ребятами. Как можно зеленую, неопытную молодежь оставлять без старших! Да и не тот у тебя возраст, чтобы продолжать кочевать. Пересиль себя, Алексей, и скорей переезжай в Ленинград, пусть Ильюша тебе и не родной. (Не бойся, мы ему никогда об этом не скажем.) Ты прекрасно знаешь, что в этой ужасной истории с Ксеничкой виноват сам: ты Ксеничку бросил, а не она тебя, отсюда и все. Но что теперь говорить... Сейчас нас тревожит, что Ильюша впустил в свою комнату какого-то неизвестного человека, бог знает, чему он Ильюшеньку научит. Мы предложили Ильюшеньке обменяться ком-

натой с нашим квартирным соседом и жить с нами, но он, дурачок, отказался. Как он живет, чем питается — неизвестно, тем более что нынче стало хуже с продуктами. Очень просим тебя повлиять на него, а лучше всего — приезжай. Сразу же нам сообщи — что и как ты решишь.

Розалия и Галина.

29 мая 1930 г.

Р. С. Мы не решились спросить Ильюшу, писал он тебе, что Андрюшу и хоронили-то в закрытом гробу? — ведь тело его почти неделю пролежало в воде. Прости, что об этом пишем, но нам кажется — ты же должен знать, почему не вызвали тебя телеграммой на похороны. Правда, мы были иного мнения, но Ильюша с этим Рассоповым решили не вызывать.

Р. и Г.»

Вот такое письмо он получил в тот день от своячениц... Собственно, на что он еще надеется, когда из письма знает главное: Андрея нет! Но что значит «тело пролежало неделю в воде?» Да и как мог Андрей утонуть? Первоклассный пловец, участник соревнований... Может, на соревнованиях-то все и случилось? Откуда тогда эта неделя? Ведь соревнования обычно идут в бассейне, еще не лето. И где письмо от Ильи? Розалия и Галина, очевидно, не сомневаются, что Илья его написал. Может, он все-таки от кого-то узнал, что Стахеев ему почти чужой человек? Но Илья честный мальчик — он не мог не написать о гибели брата... любимого брата, как было видно всегда из писем.

Алексей Иванович вновь и вновь перебирал свою и Ксюшину жизнь. С чего начались все сложности? Разумеется, ее сестры правы. В девятьсот тринадцатом году, в Сибири, он сошелся с женщиной старше себя, тоже ссыльной: некрасивая, мужского склада, но добрый, верный товарищ. Стахеев знал, что именно в это лето жена с пятилетним Андрюшей хотела к нему приехать... Как быть? Решил честно в письме объяснить жене, как вышло, что, по-прежнему ее любя, сошелся с другой. Написал, что та оказалась единственным человеком, который поддержал его в трудную минуту: Фролова решительно не поверила, что он, исполняя обязанности почтальона, якобы присвоил деньги, присланные другому ссыльному. Потом недоразумение выяснилось, сплетня потухла, но он не мог простить

проявленного к нему недоверия. Вот тогда он и порвал с товарищами, отстранился от всех, кроме... Словом, в дни его злой обиды они с Фроловой стали близки. Вряд ли, писал он жене, близость эта надолго, но пока не хотел бы он огорчать хорошую женщину... и может быть, в это лето Ксюше лучше не приезжать, а провести лето в более теплых краях... Правда, он очень скучает по Андриюше... Когда он писал это, он испытывал стыд и неловкость, — испытывает стыд и сейчас, вспоминая эту глупейшую фразу: «Провести лето в более теплых краях...» Немудрено, что Ксюша тоже сгоряча наглупила: сошлась с хорошо относившимся к ней женатым сослуживцем. Результат — Илья. И навсегда исковерканные отношения супругов Стахеевых, хотя обе их любовные связи (если можно назвать их любовными) оказались временными. А вот дружба Стахеева и Фроловой продолжается поныне; ведь даже работа его в заповеднике объясняется тем, что Фролова занимает ответственную должность в Госторге. Немало до этого он колесил по дальним глухим местам, служил егерем, лесником, даже батрачил у одного сибирского богатея, что утаил было от Фроловой. Когда она об этом узнала, она вызвала его в Госторг и долго ругала, прежде чем направить на работу по своему ведомству. Надо признать, что ему всегда вредил и вредит замкнутый, скрытный характер и вечная мнительность: вдруг кто-то вспомнит тот злополучный год, самолюбивый разрыв с товарищами... вспомнит и назовет в лучшем случае дураком...

...В Мурманском горисполкоме Алексей Иванович позвонил в Ленинград, в Госторг, но там, естественно, ничего не знали о смерти Андрея... да иначе наверняка бы знала Фролова, с которой он только что виделся... Алексей Иванович испросил разрешения выехать на несколько дней в Ленинград, сказав, что на острове его заменит практикант Курлов: песцы линяют, никаких ответственных дел в ближайшие дни не предвидится. А затем поспешил на вокзал — через сорок минут отходит поезд. Но не успел он взять в кассе билет, как с платформы его окликнул знакомый голос — то был заведующий местной гостиницей, некто Першин. Поздоровавшись, Першин спросил:

— Это не твой сынок ожидал у нас парохода?

Ошеломленный Стахеев молчал.

Заведующий продолжал:

— Фамилия Стахеев, молодой мальчик. Три дня жил в одном номере с какими-то ленинградцами. Вчера с ними отбыл на пароходе.

— Юноша или мальчик? — осипшим от волнения голосом спросил Алексей Иванович. Он на секунду вообразил, что это приехал Андрей!..

— Мальчик, мальчик... вот такой стриженный, — погладил себя по лысой голове Першин. — Эй, погоди, чего ты?.. — Он поддержал пошатнувшегося Алексея Ивановича. — Да ты сядь, сядь! — он усадил Стахеева на стационарную скамью. Тот молча повиновался; видно было, что ему нехорошо — задышался и побледнел.

Першин встревожился, захлопотал, хотел под руку отвести к себе в гостиницу... Пусть полежит... отдохнет... вызовем врача... Но Алексей Иванович наотрез отказался: ему надо сейчас же на остров. И тут ему повезло: у пирса грузился незнакомый Стахееву катер со странным названием «Водоросль»; палуба была уставлена непонятого назначения железными печками, вроде «буржук», как звали их в двадцатые годы. Всю дорогу он спал, привалившись спиной к одной из этих времянок, словно его укачало, чего раньше с ним никогда не случилось.

И вот он дома, уложен в постель, — неизвестно, надолго ли. Во всяком случае, первые двое суток он все больше спал (или впадал в забытье). Сейчас рядом с ним сидит почти незнакомый мальчик. Стахеев не видал Илью больше года, да и раньше, когда приезжал в Ленинград, виделся, говорил преимущественно с Андрюшей, хотя и старался быть объективным в его глазах: Андрей же в с е з н а л! И вот ради памяти об Андрее он должен заботиться об Илье. Непременно надо спросить о его делах, о намерениях, где он хочет учиться... он же приехал затем, чтобы повидать отца, может, даже помочь отцу легче перенести потерю Андрюши, как-то его утешить... Все это Алексей Иванович понимал, но никак не мог заставить себя говорить о чем-либо, кроме... кроме... И он задал тот самый вопрос, которого больше всего боялся Ильюша:

— А теперь говори — как все это случилось.

Илья молчал.

— Он же был хороший пловец...

Илья встрепенулся: вот он, спасательный круг! Значит, отец не подозревает того, что подозревали, более

того, в чем были уверены многие... почти все. Значит, по телефону ему никто ничего такого не говорил... и тетки наверняка этого не написали...

— Да,— как можно рассудительнее сказал Илья,— ты прав: он замечательно плавал. И вот дикий случай! Но мне говорили — в Неве такое бывает... от холодной воды...

Отец испытующе (показалось Илье) поглядел на него и снова закрыл глаза.

— Ты поспи, поспи! — торопливо сказал Илья.— Тебе это сейчас очень нужно.

— Я попросил Ленинградский Госторг навести справки, не выяснились ли в институте какие-нибудь подробности... сам я туда не мог дозвониться,— не открывая глаз, медленно проговорил отец.— Ты, наверно, не догадался спросить... и это понятно: ты еще слишком молод.

— Ты забываешь,— с обидой возразил Илья,— что Рассонов — студент этого самого вуза, уж он был бы в курсе. Кстати, он обещал мне писать...

— Писать? — Отец приоткрыл глаза.— О чем писать?

— Ну, о том, что делается в квартире,— немножко оторопел Илья.— И вообще... Он же на днях поедет на практику — сразу с Урала напишет.

— С Урала напишет,— безучастно повторил отец.— Ну, что ж, подождем.— И закрыл глаза.

Заснул ли он, Ильюша не знал, но остался сидеть рядом с койкой на стуле, разглядывая этого пожилого, в сущности малознакомого ему человека, который теперь оказался для него единственно близким...

...Широкий лоб, густые, еще совсем не поседевшие волосы, крупный нос с заметной горбиной,— пожалуй, в профиль похож на Андрея... наверно, таким бы тот стал через два-три десятка лет... Илья вздрогнул, заметив на отцовском лице то, что он с удивлением и страхом увидел в морге у брата, на его уже почти чужом, изуродованном лице. Живой Андрей ежедневно брился,— у мертвого отросла щетина, придав ему еще больше сходство с отцом... «А у меня с отцом, кажется, ни единой черточки общей,— подумал Илья.— Впрочем, мыто с Андрюшей тоже ничуть не похожи были друг на дружку...»

Илья никогда не забудет это невероятное совпадение (как и весь последовавший далее разговор): как раз в ту

минуту, когда он размышлял о сходстве, несходстве — с братом, с отцом, — отец повернулся к нему и спросил:

— Скажи откровенно: когда я спал, ты не прочел письмо от Розалии и Галины Андреевны? Вижу, оно торчит из кармана моей кожанки.

— Конечно, я не читал! — оскорбился было Илья.

— Возьми и прочти. Так обسیم нам будет проще. Ты уже достаточно взрослый, чтобы узнать правду. Да и Митька может проговориться...

Илья послушно встал, подошел к кожаному пальто (он сам же вчера повесил его на крючок у двери), достал из кармана пальто письмо (его уголок и верно торчал наружу), бережно развернул (письмо было без конверта, который так и лежал на столе с тех пор, как он нашел его в день приезда) и, стоя спиной к отцу, прочитал раз, другой, третий... И лишь тогда обернулся к Стахееву. Тот настороженно и вопрошающе глядел на него. Оба долго молчали. В голове Ильи все мешалось, кипело, но он молчал... Наконец Стахеев сказал:

— Не подумай плохо о матери. Ее сестры правы: во всем виноват я. Тебе это многое объяснит... если ты над чем-то задумывался. Устранит фальшь. Ну, а если захочешь — уедешь домой, — он повел головой в сторону захлестываемого дождем окна, — когда погода утихомирится. Деньжатами я тебя снабжу. Вообще стану помогать, пока не утвердишься прочно. Уже одно то, что Андрей любил тебя... любил, знаю, крепко... меня обязывает...

Он продолжал говорить, объяснять, предлагать, что так противоречило, казалось, его натуре, — он словно боялся замолчать, чтобы Илья не спросил его о том, о чем он не хотел говорить...

И все же пауза наступила, и только Стахеев успел замолчать, как Илья задал ему такой естественный после приоткрывшейся ему тайны, такой прямой и простой вопрос:

— Кто же мой настоящий отец? Он жив?

— Он давно умер, — неохотно ответил Стахеев. Помолчав, добавил: — Я не обманываю тебя: он умер в самые первые революционные годы.

— Он был тоже революционер, как и ты?

Стахеев усмехнулся:

— Он был литератор.

— Ты, конечно, не скажешь его фамилии?

— Отчего же? Скажу: Рахитин. Правда, это его

псевдоним, но он так и жил под этой придуманной фамилией...— Увидав, как Илья скомкал в руке письмо и резко рванулся вперед, к его койке, спросил: — Что тебя удивляет? Горький тоже известен как Горький, а не Пешков...

Но Илья не слушал его. Он лихорадочно вспоминал: «Рахитин... Рахитин... В связи с чем называл эту фамилию журналист? Рахитин! Да ведь это его ударил Андрей, оскорбившись за Маяковского! А может, не только поэтому? Рахитин! А что, если... что, если он мой брат?!»

— У Рахитина были другие дети? — волнуясь, заговорил Илья.— До меня или после?

— Был сын,— опять неохотно отвечал Стахеев.— Примерно Андрюшиного возраста.— Он усмехнулся, и эта усмешка была непонятна и неприятна Ильюше.

«Ревность? — подумал он.— Неужели таковы все взрослые и их взрослые сложности? Может, потому он и предложил мне уехать? Значит, я для него не просто чужой — ему даже неприятно меня видеть? Как же я буду принимать от него денежную... мзду? Именно мзду, иначе такую помощь не назовешь... А как мне теперь его называть: ты? вы? Алексей Иванович?»

Илья взглянул на Стахеева и был поражен выражением мучительной боли, исказившей его загорелое, а сейчас побледневшее, изжелта-серое, потное лицо. Илья по-настоящему испугался:

— Тебе нехорошо?.. Доктор запретил тебе говорить, волноваться, а ты...— Илья подскочил к стоящему у изголовья столику, торопливо развернул порошок, налил в стакан воды. Стахеев покорно выпил лекарство. Отдавая стакан, протянул руку к брошенному Ильей на стол измятому письму, еще больше смял и с трудом засунул глубоко под подушку.

— Зря...— сказал он, борясь с одышкой.— Зря заставил тебя прочесть... Решил, что ты должен знать... чтобы не особенно за меня беспокоился... Ладно, давай считать, что про нас с тобой тут ничего не написано... Молодец, что ко мне приехал! А с кем ты ехал? Вот с этим доктором? Ладно, после... Знаешь, сейчас мне лучше опять заснуть... Иди, гуляй!

И он бессильно зажмурился.

«Иди, гуляй!» Превосходный совет, но как его выполнить? Конечно, теперь Илья все вспомнил, и непонятно, как мог забыть! Забыть о том незнакомце,

который явился к нему на пятый или шестой день после исчезновения Андрея... Да, сейчас он предельно ясно помнит, что, заслышав звонок, открыл дверь и увидел: молодой человек, лет двадцати двух — двадцати трех (Андрюшиного возраста!), стоит на площадке у входа в квартиру. С полминуты они так стояли, пока Илья наконец не спросил:

— Вам сюда? Это квартира семьдесят шесть...

— Я знаю,— спокойно ответил молодой человек.— Скажите, Андрей Алексеевич дома?

Илья даже не сразу понял,— никто при нем не называл Андрея по отчеству,— может быть, потому вопрос не потряс Илью своей сутью. Лишь помолчал и оценив эту суть, Илья ответил:

— Нет.— И еще помолчал.— Его нет.

— Передайте, пожалуйста, Андрею Алексеевичу,— все так же спокойно продолжал незнакомец,— что к нему заходил...— и он назвал фамилию, которая в тот же миг вылетела у Ильюши из головы. Но странно не только это: странно, что Илья не вспомнил фамилию (и весь эпизод), когда журналист называл ее не один раз, а Илья сопоставил ее с фамилией семинариста из недавно прочтенных «Карамазовых», да еще съехидничал насчет криминальной сенсации, которую Петров мог обыграть в «Вечерке»,— нет, он вспомнил все только сейчас, когда фамилию эту назвал Алексей Иванович.

«Рахитин! — внутренне ахнул Илья.— Рахитин! Как мог я забыть?» Тем более что тогда, в Ленинграде, этим не кончилось. Молодой человек пристально взгляделся в Илью и учтиво спросил:

— Вероятно, я имею честь говорить с его братом?

— Да, я брат Андрея Стахеева,— ответил Илья, не обратив внимания на словно бы издевательский оборот «имею честь» (впрочем, сказаны были эти слова без нажима и без малейшей ухмылки, а как бы по привычной старомодности).

— Очень приятно,— сказал Рахитин, вежливо приподняв кепи. И, чуть помедлив: — Быть может, вы возьмете на себя труд передать вашему брату, что в прошлую нашу встречу он меня неверно понял. Я сказал, что недавно один литературный критик упрекнул поэта Владимира Маяковского в том, что он полюбил классово чуждую нам женщину, что, по мнению этого критика, равносильно влечению к обезьяне...— Заметив, что Илья произвольно дернулся, он добавил: — Я не ус-

пел сказать о своем отрицательном отношении к этому взгляду, как вдруг ваш брат попытался меня ударить...

— Попытался? — вырвалось у Ильи.

— Ну, он даже ударил, — неохотно признался Рахитин, — но я в этот момент подался вбок и удар пришелся в плечо, но это не важно. Во всяком случае, мне неприятно происшедшее между нами недоразумение и я готов осудить циничное мнение данного критика. Собственно, я уже осудил. Так и передайте вашему брату. — Он помедлил. — И передайте, — голос его заметно напрягся, — что письмо Зыковой переслал ему я... (еще напряженнее), о чем весьма сожалею.

При этих, как видно, самых главных для него словах, Рахитин опять приподнял кепи и, перейдя площадку, стал неспешно спускаться по лестнице. На следующей площадке он обернулся и в третий раз приподнял кепи. (Именно к е п и, — кепкой, и уж подавно — кепчонкой, его головной убор из коричневого вельвета было бы грешно назвать.)

Знал или не знал Рахитин о том, что Андрей уже почти неделю назад исчез? Зачем он пришел? Для чего это ему было нужно? Оправдаться в глазах друзей, если они уже знают об исчезновении Андрея? Просто из любопытства — увидеть своего сводного брата? С в о д н ы й! Такое слово встречалось Илье в старой литературе... Мог ли он подумать, что случай сведет его с этим словом в жизни? И знал ли Андрей, что Рахитин — тоже его сводный брат? Илья и Рахитин — от одного отца, Илья и Андрей — от одной матери. Андрей был старше Ильи на шесть лет — мать могла рассказать ему в с е о разрыве с отцом... Значит, когда он ударил Рахитина, он хорошо знал, что бьет не чужого, не постороннего ему человека?

...Но почему встреча с Рахитиным волнует Илью сейчас чуть ли не больше, чем столь неожиданное признание Стахеева? Может, потому, что не было у него к Стахееву и раньше чувства сыновней близости? Правда, он объяснял это себе редкими встречами и тем, что тот и в письмах интересовался жизнью, учеьем, успехами старшего сына явно больше, чем самим существованием младшего, и Илья не испытывал от этого ни досады, ни ревности...

Да и таинственное появление Рахитина тоже волнует его не само по себе, а тем, что оно каким-то боком касалось жизни (а если тот действительно переслал письмо

Зыковой, то и смерти!) любимого брата... Если же все это лишь фантазия, нелепый наговор на себя, то лучше сейчас ни о чем не думать, а внять совету — «Иди, гуляй!».

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Да, идти гулять, несмотря на дождь, на все еще не утихший ветер, отсутствие мало-мальски подходящей одежды. Может, надеть кожан? Кожан... отчима, успевшего опять заснуть? Ну уж нет! Илья набросил на плечи свою городскую курточку и покинул факторию. Он знает, куда пойдет: не к журналисту, не к йодникам — те непременно станут расспрашивать, как чувствует себя больной, о том, о сем... Он пойдет к председателю поселкового Совета, спросит, как быть, если директор всерьез расхворается и придется его отправлять в мурманскую больницу. Лев Григорьевич внимателен, даже добр к Алексею Ивановичу, но все-таки он только бывший врач, он давно не практиковался — а вдруг что-нибудь проморгал. Илья никогда не простит себе, что не позаботился о Стахееве, так тяжело перенесшем гибель Андрея.

Постучавшись в дверь председательского дома и не услышав в ответ ничего, кроме детского гвалта, Илья смело вошел и увидел, как пять молодцов, в возрасте примерно от десяти лет до одного года, заняты несусветной потасовкой и перебранкой: не то они ссорятся, не то веселятся. Заметив Илью, все пятеро моментально смолкли и с интересом на него уставились. Сидевший на полу в кругу ребят председатель, как и в прошлый раз, небритый и озабоченный, поднялся навстречу посетителю:

— Вам что, товарищ?

Илья поздоровался, отрекомендовался, назвавшись сыном директора (а как он мог иначе?), и коротко изложил свое дело. Он сразу смекнул, что перед ним хотя и замотанный, но неплохой дядька, когда прочел на его лице неподдельное сочувствие. И верно, председатель немедля пообещал, что как только погода уймется, он постарается переправить Стахеева в город, если это больному понадобится, или же экстренно вызовет оттуда врачебную помощь. Должен скоро вернуться из Архангельска пароход «Сосновец» — на нем больному будет спокойнее и удобнее, чем на боте. Ну, а когда председатель начал хвалить Алексея Ивановича, гово-

рять, какой он замечательный специалист,— детям это показалось неинтересно, или у них кончилось терпение, но они подняли шум пуще прежнего: принялись кричать, тизить ногами и кулаками в пол, в стены,— казалось, вот-вот разнесут дом по бревнышку. Председатель в отчаянии прыгнул к ним и охрипшим голосом прокричал:

— Видишь, какая у меня семейная нагрузка? А еще надо обед готовить для завклубом и библиотечарши!

— Как так? — изумился Илья.

Хозяин только махнул рукой, и Илья вышел от него в полном недоумении: почему председатель, как видно вдовый, должен для посторонних готовить обед? Чушь какая-то! Надо это сейчас же выяснить. Под мелкосеющим дождичком и заметно все же ослабевшим ветром Илья отправился искать местный клуб, точнее — избу-читальню, вывеску которой заметил еще в день приезда. Он быстро нашел эту читальню: новые оконные рамы, чисто промытые стекла, свежая, еще не высохшая замазка — все говорило о недавнем ремонте. Он толкнулся в дверь — дверь заперта. Илья заглянул в окно. Он увидел книжные шкафы, деревянные лавки, на столе кумачовую скатерть, разложенные на ней газеты, журнал «Безбожник», пачку брошюр — и сидевшую за столом юную парочку, так усердно целующуюся, что лица их совершенно сливались. Илью подмывало крикнуть, противным таким начальственным голосом: «Отставить! Встать! Смирно!» Впрочем, его не только не замечали, но, вероятно, и не услышали бы (как не заметили и не услышали Егора Егорыча, приходившего с час назад почитать газеты, а тот сверх меры поделикатничал — не стал тревожить влюбленных клубных работников). Илья решил все-таки действовать: он с маху отворил окно и как можно громче постучал пальцем по стеклу.

Любовная парочка и не подумала испугаться: они лишь разъединили уста и не спеша обернулись к стукавшему.

«Лица довольно смышленные, не идиотские, несмотря на неуместное занятие в рабочее время», — подумал Илья (честно говоря, не без зависти).

— Здравствуйте, товарищи, — приветливо молвил он, но не без ехидства добавил: — Извините, что помешал...

— Ничего, ничего, — отвечал парень. — Мы потом наверстаем.

Девушка с опозданием застыдилась и низко склонила голову.

«Зря я иронизировал, — пожалел Илья. — Ну, ладно, исправим дело». Он снял кепку и положил ее на подоконник.

— Вы, товарищи, кажется, живете у председателя сельсовета?

— Нет, у него мы только харчимся, — ответил парень.

— Только харчитесь? — переспросил Илья. Он подскочил, подтянулся и влез через окно в комнату. — Кто же готовит для вас харчи?

— Председатель сам и готовит, — отозвалась девушка. — Жена у него сейчас рождает в Мурманске.

— Ничего, научился стряпать! — со смехом заметил парень. — Вчера на обед был палтус жареный...

— Тушеный, не жареный, — поправила девушка.

Илью перекосило от злости. На сей раз он знал, что это злость справедливая, и все же попробовал сдержаться.

— Вас как зовут? — обратился он к девушке.

— Меня? — удивилась она. — Гаврилова.

— Товарищ Гаврилова, и вам ничуть не совестно, что обремененный семьей и службой мужчина принужден для вас стряпать?

От неожиданности девушка растерялась. Парень вступился:

— Никто его не заставлял. Он же не специально для нас. Заодно — для себя и для нас.

— Мы ему платим, — добавила девушка.

Илья уселся за стол, против девушки.

— А вы, товарищ Гаврилова, в это трудное для него время не могли бы ему помочь своей женской рукой?

Парень окрысился:

— При чем тут женская рука? Что ей, бабой его заделаться?

— Вот именно! — ободрившись, пропела Гаврилова, нежно поглядывая на своего заступника. — Не замуж же мне за него идти! Да и, слава богу, к нему жена через неделю вернется...

— Слушай, какое тебе дело? Откуда ты взялся? — сердито говорил парень.

— Ладно, — подобрел Илья. — Давай знакомиться. — Он протянул руку. — Стахеев.

— Лейкин, — неохотно пожал его руку парень.

— Вы, значит, сын директора пушзаповедника? — оживилась девушка.

— Вот что, товарищи,— сказал Илья.— Не будем устраивать вечер вопросов и ответов. У меня к вам конкретное предложение. Я вижу, вы любовь крутите. (Гаврилова и Лейкин смешливо переглянулись.) Что, если вам по-настоящему попрактиковаться в семейной жизни? (Илья подчеркнул «семейной», Гаврилова и Лейкин хихикнули. Илья нахмурился.) Целоваться всякий умеет, а вы сумеете с семьей справиться. Возьмите под свой присмотр на эту неделю председательских ребяташек, разгрузите человека на время.

— Иди ты,— сказал Лейкин, смотря в упор на Илью,— сам знаешь куда! Какое нам дело до чужих ребяташек? Наплодят, а мы работай на них!

Илья еще никогда так не злился — он чувствовал, что сердце бьется у него прямо в мозгу.

— Гражданин Лейкин,— властно проговорил он,— мы с председателем должны будем опечатать читальню, пока из Мурманска не прислали новых сотрудников. Нельзя доверять клуб человеку, который разводит такие идеи.

У Лейкина сразу вспотело его сравнительно интеллигентное лицо. Гаврилова умоляюще смотрела на неумолимого судью. Илья видел их, казалось ему, насквозь. Сейчас все должно разрешиться. Либо парень окончательно взбунтуется и притих лишь перед собственным взрывом, либо поймет, что от него требуется, и дрогнет.

Илья поднялся с лавки.

— Итак, до завтра.

Гаврилова, Лейкин тоже поднялись.

— Не надо нас опечатывать! — неуклюжим басом заговорил Лейкин.— С ребяташками мы не умеем... а обед для себя можем сготовить, верно?.. Купим рыбы... — Он обернулся к подруге. Та согласно кивнула и нерешительно улыбнулась.

Илья подобрел.

— Словом, любишь кататься,— молвил он поучительно (и не очень кстати), но уже значительно мягче,— люби и саночки возить.

Девушка засмеялась:

— А я как раз Саночка!

— Что? — удивился Илья.

— Меня Саночкой зовут. А вас?

— Илья... — Он зачем-то добавил: — Алексеевич.

— А я Александровна! Ваш папа — Алексей Иванович, а мой — Александр Иванович.

— Он в Мурманске?

— Он умер. Я ленинградка раньше была.

— Давно вы из Ленинграда?

— С двадцать пятого года. Мурманск был тогда еще маленький. А теперь моя мама работает на тралбазе. Порт и город так выросли!

Поддерживая интересный уже и для него разговор, Илья думал: «Смотри, как все повернулось!»

— Вообще у меня сложная биография, — сказала Саночка. — Мой папа умер еще до революции. У меня с ним были нелады.

— Как нелады? Вам же было тогда года три, четыре...

— Ну и что. Все равно нелады. И у мамы моей были нелады с папой.

— Это другое дело, это часто бывает.

— Нет, особенные нелады, — настаивала странная девушка.

— Ничего не понимаю, — сказал Илья. — Лейкин, можете внести ясность?

Голос Лейкина прозвучал насмешливо:

— Да уж не ломайся, раз начала. Захотела похвастаться, ну и хвастайся. Покажи, что прядешь.

Саночка обиделась.

— Что значит хвастаться? Конечно, теперь уж не покажу...

Илья терпеливо ждал, когда молодые люди помириятся. Но вот Саночка подошла к шкафчику, выдвинула ящик, вынула из ящика небольшую тетрадку, покраснела и положила тетрадку на стол перед Ильей. На заглавном листе было написано синим по белому: «Павел Петров. Семейное предание. Быль».

— Что это такое?

— Это товарищ Петров написал о моей семье, — пояснила Саночка. — Он был в Мурманске у моей мамы, расспросил обо всем и написал для газеты.

— Вот как? — Илья заинтересовался. — В библиотеке эта газета имеется?

— Нет, нет... — Саночка снова сконфузилась.

— Валяй, признавайся, — посоветовал Лейкин.

И Саночка решила:

— Я не позволила печатать... Я отняла у товарища Петрова эту тетрадку... — Она попыталась было ото-

брать тетрадку и у Ильи, но поздно: заинтригованный Илья отвел ее руку и начал читать. Резвое настроение его стало постепенно снижаться и скоро совсем упало.

Павел Петров

СЕМЕЙНОЕ ПРЕДАНИЕ

(Быль)

Александр Иванович женился рано. К тридцати годам он уже был сам-шестой в своем доме, отец и хозяин большого семейства. Жена уважала его, дети боялись, соседи считали на редкость прямым человеком, строгим, но справедливым, взыскательным одинаково как к другим, так и к себе. Трезвый и аккуратный, а главное, не смутьян, он был на хорошем счету у заводского начальства. В прокатном цехе, где он работал вальцовщиком, не раз собирались представить его к награде за прилежание и беспорочное поведение. Зарабатывал он, как и все, немного, но с тем отличием от других, что жалование шло ему все целиком: администрация не подвергала его несправедливым штрафам.

Александр Иванович выглядел старше своих лет — длинноусый, неразговорчивый, с тяжелой походкой — такая наружность подходила бы больше для мастера. Что ж, может быть, Александр Иванович про себя и рассчитывал возвыситься в будущем, но пока он довольствовался своим положением и трудно было узнать его тайные мысли: На людях он вообще не выказывал горя и радости, даже жена никогда не видала его веселым и словоохотливым, и все же жена знала минуты, когда он улыбался, это было во сне: спящий, он улыбался удовлетворенной улыбкой. Жена уважала его в эти минуты не меньше, чем днем, а любила, пожалуй, больше. Она понимала как-то по-своему эту улыбку.

С гудком он спокойно вставал, умывался, закусывал и уходил на работу твердым неторопливым шагом. С усердием отработав полагающиеся для того часы, он возвращался прямо домой, не соблазняясь пивными, опять же в отличие от многих своих товарищей. Из года в год, в каждый рабочий день он соблюдал свои собственные строгие правила. И только один-единственный раз он вернулся домой не тотчас же после работы: он ушел из дому зимним утром, а вернулся — ранней весной, почти через два месяца. Это случилось на три-

дцать первом году его жизни. Правую руку его затянуло с тряпкой в вальцы и оторвало напрочь.

И больше он не ходил на работу. Александр Иванович стал инвалидом, теперь ему нужно было только одно: пособие по увечью.

Можно бы ожидать, что дирекция, хорошо относившаяся к Александру Ивановичу, зачислит его на пособие, но дирекция отказала. Александр Иванович подал в суд. Напрасно свидетели со стороны истца показывали, что тряпка была очень рваная, сплошные ключья, потому ее и затянуло в машину, затянуло вместе с рукой, запутавшейся в лохмотьях, а непорванных тряпок не было в цехе, мастер не удосужился выдать, хотя его неоднократно просили. В свою очередь мастер, свидетель со стороны ответчика, показал на суде, что пострадавший вальцовщик на работе был крайне неосторожен, а в тот роковой день, возможно, и пьян, что, мол, тоже с ним нередко случалось. Мастер брал на себя лишь вину недосмотра — он не должен был допускать к работе нетрезвого человека.

Суд решил в пользу дирекции.

Пришло лето. Александр Иванович был по целым дням дома. Он шагал из угла в угол прежней тяжелой походкой, такой же суровый и молчаливый. Теперь он и ночью не улыбался, ночью сна не было. Александр Иванович лежал на кровати с открытыми глазами, строгий, как днем, и о чем-то упорно думал. Он засыпал лишь к утру и спал до полудня. При дневном свете, в постели, отощавший, однорукий, он был, в сущности, жалок уже теперь, но жена не переставала его уважать. Она понимала, что ночью он думал и скоро придумает что-то такое, что их спасет.

Действительно, Александр Иванович скоро придумал. Несколько дней подряд он ходил куда-то и возвращался поздно, и однажды утром, как прежде, встал по гудку, оделся и вышел из дома.

Но он шел не на завод, там ему нечего было делать. Он пришел на вокзал и сел в царскосельский поезд. В Царском он вышел с твердым намерением ждать и дожидаться. Он ждал день и ночь. На следующее утро вокзал оцепили жандармы и прогнали Александра Ивановича прочь, как и других посторонних. В половине двенадцатого часа дня к перрону подали царский поезд. Через пять минут на шоссе показалась царская коляска, за ней следовали коляски со свитой. Александр Ивано-

вич видел это издалека. Ему бы не удалось пробиться к царю, вступившему уже на ступени вокзала, но в эту минуту какой-то кургузенький мещанин с бумагой в руке принялся прокладывать себе дорогу к царю, мещанина схватили, внимание жандармов было устремлено на него, и Александр Иванович этим воспользовался: он пробежал, проскочил через пешую и конную цепь охраны, добежал до крыльца и подал царю жалобу. Царь протянул было за ней руку, но тотчас отдернул, и бумага упала на пол. Кто-то из свиты поднял ее. Подоспевшие жандармы схватили Александра Ивановича, как и того просителя, и целые сутки он просидел вместе с ним в царскосельской полицейской части. Мещанин не уставал корить его за то, что он подал жалобу не по правилам, не упав царю в ноги. Вторую ночь Александр Иванович сидел уже в Петербурге, в Калининской части, а через день его выпустили.

Через два месяца Александр Иванович узнал, что жалоба его пошла к прокурору. Наконец, прокурор вызвал его к себе и объявил, что ему присуждается двенадцать рублей помесечно, то есть в два раза меньше той суммы, какую просил Александр Иванович.

Может быть, ему следовало согласиться, принять с благодарностью, в этом случае дальше все обстояло бы благополучно, но Александр Иванович не терпел середики наполовинку — он хотел полного восстановления справедливости. Длинноусый и однорукий, он стал перед столом прокурора навтыяжку, устремил к прокурору одинокую свою руку и сказал строгим и справедливым голосом, каким должен был говорить сам прокурор.

— Давайте,— сказал Александр Иванович,— давайте, я вам отрежу руку и буду платить вам пусть даже по четвертному в месяц. Согласитесь вы, господин, на это?

Александра Ивановича снова арестовали, потом выпустили и дело его прекратили навсегда.

Прошел год, семья нищенствовала. Хорошо, что она была большая: каждый приносил по кусочку, а если один или двое приносили меньше или вовсе не приносили, то как раз остальные в тот день доставали больше.

К концу третьего года случилась великая перемена с самим Александром Ивановичем. Александр Иванович устроился сторожем при часовне неподалеку от своего завода. Он тут получал постоянное жалованье и частые подачки, но это было не главное. Главный его

заработок происходил от тайной торговли водкой. Александр Иванович спаивал рабочих, идущих на завод и с завода. Строгий, суровый вальцовщик выучился изображать на лице готовность и расторопность. Он лихо дергал усом, подмигивал и, таинственно избоченясь, вытаскивал левой рукой (единственной своей рукой — вот на что она пригодилась), вытаскивал полуштоф из укромного места.

Укромное место это было за иконою Николая Чудотворца.

Александр Иванович сам научился пить, но он пропивал пока не всю выручку, часть приносил домой, — Александр Иванович снова стал кормильцем. Но как не похоже это было на прежнее и как изменилась жена! Куда девалось ее уважение к мужу! Ей даже не верилось, что оно было, и что вся эта строгая жизнь по гудку, здоровые руки мужа, ночная его улыбка, дневная суровость, честность — все это недавно было...

А скоро семья опять нищенствовала. Александра Ивановича за пьянство выгнали из часовенки. Теперь уже вместо него другой сторож, седой, как сам Николай Чудотворец, вытаскивал бутылку из-за иконы, так же спаивая прохожий народ.

Александр Иванович обратился в заядлого пропойцу. В трезвые его минуты жена просила, молила, бранила и снова слезно упрашивала пойти вместе с ней к директору, попросить прощения, — может, сжалится, даст денег. В ответ Александр Иванович гордо молчал, и трудно было понять — прежняя независимость это или гордость пропойцы.

Наконец, жена решила одна пойти. Она прибежала в директорский дом и упала в ноги директору:

— Иван Августович, плюнь на безрукого дьявола, дай на ребят!

И директор оценил горячность ее отречения от негодного мужа. Ему понравилась самая сцена отречения, и с нового года он стал платить по десять рублей ежемесячно.

Р. С. Когда я прочел этот очерк дочери Александра Ивановича, она, к моему удивлению, высказала странную просьбу. «Не печатайте это, — сказала она. — Какой смысл? Разумеется, больно и за отца и за мать, но в то же время на обоих досадуешь... Когда я прочитаю

это в газете, мне захочется разорвать газету!» Я не сразу нашел что ответить, я сказал только: «Вы нынче счастливы и эгоистично забывчивы, Саночка. Вам не хочется, стыдно вспоминать, как вы сами трехлетней девочкой просили Христа ради копейку. Вам уже это кажется древним семейным преданием». Она не стала со мной спорить, тем более что я сразу пообещал не печатать этот рассказ и даже не переписывать для себя, а просто отдать ей: пусть сама поразмыслит и решит...

П. П.

Илья долго держал тетрадку в руках, словно боясь вернуть владелице. Он испытывал некоторое смятение. Обычно его интересовали и волновали преимущественно крупные исторические вехи, события в государственном и всемирном масштабе, а не частная жизнь людей. То есть, как настоящий историк, он представлял себе эту частную жизнь при царе, при капитализме, но как бы в отвлеченных и самых общих чертах: богатые, бедные, эксплуататоры, эксплуатируемые. Разумеется, он жалел бедняков, осуждал богатых, но разве это сколько-нибудь похоже на то, о чем он сейчас прочитал?

Мало того, что его поразила судьба вальцовщика и его семьи, — волнует его и то, что один из членов этой несчастной семьи находится сейчас рядом с ним... Илья понимал, что Саночке тяжело вспоминать о прошлом, пусть теперь и далеко, но так унижившем, растоптавшем, изуродовавшем ее отца, но главное — ей мучительно стыдно за такой конец его жизни... Правда, она уже рассказала обо всем журналисту и дала ему мурманский адрес матери (непонятно, как он вошел в их доверие), но она не хочет, чтобы он рассказал в с е м. А вот это неправильно: надо, непременно надо, чтобы все испытали то чувство, что испытывал сейчас Илья...

— И что же вы решили? — с трудом совладав с собой, спросил Илья девушку. — Вы согласны, что тут ничего не придумано, что все это правда? Ну, если не считать каких-то деталей...

— Да, мама мне так и рассказывала, — подтвердила девушка. — А кое-что я и сама помню...

— Так в чем же дело? Ведь для печати можно изменить имена, — возбужденно предложил Илья. — Никто и не узнает, что это ваш папа.

Молчание. В комнате заметно стемнело, небо заволкло сильнее, газеты на столе посерели, кумач поблек. Саночкино чуть простоватое, но миловидное лицо с загорелым выпуклым лбом выражало упорство: нет, нет и нет!

— Жаль! — вздохнул Илья. — Это все должны прочитать. Не скрою, я даже не ожидал от Петрова... А так... зря пропадет такой страшный рассказ!

— Почему пропадет? — возразил Лейкин. — В сундуке еще сохранней будет. Недаром названо — семейная быль. Значит, не всем напоказ.

В Илье бурно заговорил историк и пропагандист, он хотел крикнуть: «Как же вы, клубный работник и передовой комсомолец, не хотите помочь заклеить такое вопиющее прошлое?!» Но он сдержался. Ибо на доньшке души шевельнулось: «А если бы у моего неведомого отца оказалась не слишком-то безупречная биография и об этом вдруг кто-нибудь написал бы в газете?.. Почему-то отчим не захотел же сказать о нем хотя бы два слова. Ничего, кроме того, что тот не был революционером. Правда, не противопоставил ему и себя, хотя сам-то как раз боролся за счастье таких вальцовщиков...»

И второй раз за этот день всплыл в памяти Илья визит неизвестного молодого человека, носившего фамилию Рахитин — либо просто однофамильца, либо сына подлинного Ильюшиного отца, которого сам Илья никогда не увидит, если Стахеев ответил честно и тот действительно умер.

— А почему последние дни не видать вашего папы? — спросила Саночка (может, просто хотела переменить тему).

— Алексей Иванович нездоров, — неохотно ответил Илья.

— Наверно, простудился, когда ездил в Мурманск?

— Скорее устал, — все так же вяло пояснил Илья. («И все-то она замечает, все хочет знать!..»)

— Хотите, мы для него... и для вас... — не унималась Саночка, — приготовим обед из рыбы? Больше-то здесь ведь не из чего... Можно посмотреть вашу кухню?

— Еще что выдумаешь? — помрачнел Лейкин. — И что ты суешься куда не спрашивают?

— Вот именно! Тебя не спросили! — огрызнулась Саночка. — А можно к вам сейчас зайти? — обернулась

она опять к Илье. — Извините, как вас зовут, вы сказали?

— Илья... — несколько растерялся от ее нажима Ильюша.

— Алексеевич! — язвительно дополнил Лейкин, вспомнив, как отрекомендовался тот в начале знакомства.

Илья засмеялся.

— Спасибо, Саночка Александровна, — сказал он ласково. — Сейчас, к сожалению, придется воздержаться — Алексей Иванович недавно заснул. А в другое время мы будем рады гостю. Готовить не надо — нам с Курловым тоже следует привыкать к робинзонаде.

— Кто ж из вас Пятница? — осведомился Лейкин.

— Предположим, я, — поддержал культурную шутку Ильюша.

— А мы с ней, стало быть, дикари, — продолжал иронизировать Лейкин.

— Вот и отлично! — весело заключила Саночка. — Я с удовольствием поиграю в дикарку-библиотекаря... по совместительству — повара!

И на этом они расстались.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Песцовые кормушки — это были маленькие деревянные домики с чердаками. На чердак вели сходни, приставленные к слуховому окошку. По сходням песцы взбирались на чердак и ели раскиданный там корм — вяленую конину, вымоченную соленую рыбу, сухие тресковые головы. Помещение под чердаком служило ловушкой: одна доска в потолке была подвижной, секретной и, определенным образом настороженная, опускалась вниз, как только песок на нее наступал. Так ловили песцов для медицинского осмотра, так же станут ловить для промышленных целей, по просту говоря, чтобы содрать шкуру.

Одна из кормушек стояла недалеко от обрыва. Как раз под ней и тянулись по отмели на два километра в ту и другую сторону зеленовато-бурые валы: в этих местах, с южной и юго-западной стороны острова, море больше всего выбрасывало водорослей. Шторм работал почти двое суток без передышки и наконец истощил свои силы. Результат его работы — валы: их высота доходила до полутора метров, они состояли из ламинарий, из драго-

ценных йодных водорослей. Всеобщее волнение, произведенное штормом, достигло глубины моря, водоросли были сорваны с привычных, родных мест на дне, сдвинуты вместе с песком и камнями по направлению к берегу, дьявольски скручены, еще и еще пересыпаны гальками и песком и, сжатые в плотную массу, выдвинуты на отмель.

Когда шторм утих, сменивший его сильный прилив вынес с собой куски разорванных и растерзанных в клочья водорослей и покрыл этим мелким мусором тяжелые, покоившиеся на берегу валы. Валы уплотнились настолько, что трудно было пробить острым колом их поверхность.

В полдень пришли на берег йодники; один в своем шведском нарядном плаще, другой в отечественном, попроще. Они бодрым шагом прошлись вдоль валов, весело разговаривая, а затем удалились, продолжая шутить и смеяться. Почему они веселы — было ясно: кто ж не обрадуется, воочию убедившись, что начинает сбываться то, ради чего он приехал?

Едва йодники скрылись из виду, из-за кормушки вылез Дмитрий Курлов, одетый, как всегда, в синий простеганный ватник, только насквозь промокший. Так же, как йодники, он прошел взад и вперед вдоль валов, но шаг его не был бодрым — скорее шатким. Слыша, о чем смеясь говорили йодники, он окончательно понял, что у него все рухнуло. Вот чем грозил предвещанный дядюшкой Павлом шторм: этой бурой лавиной, не сверху низвергнутой, а снизу, морским дном извергнутой, лавиной водорослей, которая погребает последние надежды Мити.

Уже погребла. Все тонкие, политичные Митины планы. Ничего себе могильная насыпь — версты в две длиной! Где, когда существовали такие гигантские могилы? Разве что на древнем Востоке.

Зато йодники вознеслись на седьмое небо. Их вознес тот же шторм. Не сегодня завтра выйдет на отмель чуть ли не все население острова и весело примется за прибыльный труд. Будут разбрасывать и растаскивать водоросли по незатопляемой во время прилива верхней части отмели, чтобы они просохли, — тогда их будут пережигать в золу. Все станут воздавать хвалу йодникам и ругать пушников. Будут издеваться над Курловым. Чего доброго, разгадают его секрет, а именно: что заказ — вырыть пятьдесят ям — был маневром, заиски-

ваньем, а не честным работодателем... Главное же, он зря истратил казенные деньги: авансировал колонистов всеми наличными средствами заповедника. Швах, полный швах!

Курлов брел вдоль бурых валов, из-за которых почти не видать море, лишь слышно, как оно продолжало ворочаться, еще не уходившееся; брел, не замечая дождя, не чувствуя, что мокр, голоден, безумно устал, брел, дразня и мучая себя неотвязными мыслями все о том же. Брел в одну сторону, затем в другую... И вдруг стал на месте, лицом к мокрой насыпи, остановился и сразу же перестал думать. Он прижался плечом к ненавистному, многотонной тяжести валу, словно пробовал сдвинуть его обратно в море. Когда это не удалось, Митя не стал упорствовать, отстранился и бессильно упал наземь, к подножию насыпи.

Тут кто-то взял его сзади за мокрые плечи.

Лицо парня в зюйдвестке, сына норвежки Пелькиной, было таким же безбровым и ничего не выражавшим, как и у его матери, и, как ей вчера, гнев кинулся ему в руки. Парень сильно потряс Курлова за плечи, заставил подняться с земли, повернул лицом к себе и сказал:

— Чего вы разнюнились! Старше меня, а ревете, как зюзя. В чем дело?

Курлов стоял навтыжку перед Пелькиным (вернее, Галкиным, о чем Курлов не ведал) и понемногу приходил в себя.

— Слушай, эй, как тебя! — сказал краснолицый парень. — Ты, я вижу, этих приезжих не очень жалуешь. Моя мамаша — тоже. Чем они вам помешали, мне наплевать. Но поскольку мамаша велела... — поправился, — просила тебе помочь — давай ближе к делу! — Он с неторопливой уверенностью двинулся вдоль валов.

Курлов пока ничего не понимал, но сердце уже щекотнула надежда, и он приготовился к повиновению.

Они поднялись на обрыв, подошли к песцовой кормушке, за которой полчаса назад Курлов прятался. Как и фактория, кормушки были окрашены в красный цвет, чтобы легче было найти в тумане зимой и осенью.

— Ключ с собой?

Курлов опять не понял.

— Давай ключ от кормушки, — приказал Галкин.

Курлов достал и отдал. Они вошли внутрь под чердачного помещения, всегда запертого на замок.

Пахло сыростью, затхлостью и тухлятиной (вместе с песком сверху сваливались куски порченого мяса). Галкин осмотрелся кругом (свет проникал лишь из двери и крохотного оконца под самым потолком), постучал каблуком в пол и прошелся вдоль стен, считая шаги. Помещение оказалось квадратным, семь шагов на семь.

— Никто не ходит сюда, кроме тебя?

— Никто,— отвечал Курлов.— То есть пока болен директор... Вообще, мы ловушкой давно не пользовались, песцы бегают лишь на чердак, за кормом.

— Предполагаете вскоре пользоваться?

— Нет, наверно...

— Наверно или наверняка?

— Наверняка. Отлова до зимы не будет, песцы линяют.

Захлопнув дверь, Галкин направился туда, где вал из водорослей кончался и где на берегу стояли привезенные позавчера из Мурманска печи для пережога водорослей — до шторма их только-только успели выгрузить и поставить. Курлов послушно следовал за Галкиным, по-прежнему не догадываясь о его намерениях.

Печей было десять. Они походили на обыкновенные «буржуйки», знакомые Мите по голодным и холодным двадцатым годам, тоже из листового железа, только с решетчатым дном, а под ним еще и глубоким противнем.

— Мы их спрячем,— сказал парень,— в твоих кормушках. Принесем и поставим, сколько поместится. А потом улучим момент, вывезем на карбасе в море и утопим. С тем можно не торопиться. Как я понимаю, их не подумают здесь искать, скорее решат, что увезли ворюги из чужого становища, с побережья... мол, здешние не посмеют взять.

Видя, что Курлов его внимательно слушает и явно во всем послушается, Галкин оттаял и стал словоохотливее.

— А сейчас давай, пока дождь и никого нет...— Он нагнулся и заглянул в печь.— Ишь, новенькая! — сказал он.— Жалко, конечно, топить добро, но...— Он пнул ногой печь. Железо жалобно простонало.

Дерзкий план поразил Курлова до обалдения. Он, пятясь, присел на печь, смотря во все глаза на Галкина, как загипнотизированный. Тот был доволен эффектом, но строго заметил:

— Опять раскис?

Курлов легко вскочил на ноги, чувствуя прилив бодрости и уже не щекочущих, а возносящих надежд.

Вдвоем подняли первую печь. Печь оказалась увесистой — тяжесть ей придавали, как видно, обочины и довольно толстые ножки из стержневого железа. В ногу шагая, они понесли печь осторожно, чтобы не поскользнуться и не запнуться за камни.

Курлов давно промок, продрог, — несмотря на это, он сейчас сразу вспотел, его согрела печка! Самое трудное было — взойти на обрыв, где стояла кормушка.

Соратники донесли печь до цели, внесли в кормушку.

Пошли за второй. Не переставал дождь, мелкий дождь, который здесь называют — бус. Близко совсем жило море, невидимое из-за буро-зеленой насыпи. Успеют ли спрятать все?

Перенесли еще три печи, тесно поставили их на загаженный пол. Четыре печи стали рядом, тускло отсвечивая в полутьме мокрым железом. Дверь кормушки отсырела, туго закрывалась — оставили ее открытой настежь, пока никого не видно на отмели.

Четыре печи. Осталось шесть.

А на пятой он выдохся. Он — это, конечно, Митя. Неся пятую печь, на середине пути вдруг почувствовал, что дальше не может ступить ни шагу, колотилось сердце, дыхание прерывалось... Непроизвольно разжал он ослабевшие руки. Печь одним концом упала на землю. Галкин сразу споткнулся и, выругавшись, бросил свой конец печи. Он здорово разозлился. Ему тоже было тяжело, он тоже устал, но не выдохся, он был привычнее к физическому труду, да и вообще — был сильнее, — слабость этого горожанина его взбесила. Он перешагнул через печку и встал вплотную к Мите, снова лицом к лицу. Безбровым и красным лицом — к страдальчески желтому лицу сдрейфившего союзника. Курлов опять, как и час назад, стоял перед ним навытяжку, словно ждал кары.

Прошла минута. А может, пять минут. Ни тот, ни другой не знали, чем кончится безмолвная сцена. Этот грубый островной парень мог харкнуть сейчас в стоящую перед ним презренную слабосильную личность, — так полагал Митя. Митя собрал все самообладание, чтобы не задать драла, чтобы как-нибудь не навлечь на себя еще пушшего позора, хотя и так уже опозорился... «Господи, господа, — мысленно, но бессмысленно и не-

лепо взмолился он. — Дай мне сил... дай мне сил! Пусть этот парень увидит, что я не слабак! Окажи милость!»

И бог оказал. Митя чудом обрел в себе силы, взялся за днище печи, поднял свой край и держал его на весу, пока Галкин не подошел к другому концу. Они понесли пятую печь в кормушку, потом шестую... и не отступились до тех пор, пока все десять печей не были укрыты и заперты. Парни работали молча и так же молча разошлись. Последнее, что Галкин сделал — отдал ключ хозяину. Курлов взял ключ, положил в карман мокрого ватника и побрел в факторию. Зачем?

Курлов сам не знал, что он там будет делать. Скорей всего — ничего. Ляжет и погрузится в непробудный сон. Он не хочет знать — болен или поправился Алексей Иванович, чем занят его юный отпрыск (все равно, родной он или не родной), что делают треклятые йодники. Он хочет спать без снов, хотя, казалось бы, так естественно увидеть во сне то, чем занимался сейчас на берегу, этим смелым, трудным, чуть ли не главным его делом за все последние дни, пусть придумал это дело не он сам, а этот грубый, жестокий парень, которого и видел-то раньше всего несколько раз, и то издали.

Да, сейчас Курлов в полном изнеможении и ничего и никого не хочет видеть, даже Стахеева — пусть спит, пусть хворает! Курлов тихо войдет в свою комнату — и... В тот момент, когда Курлов переступил порог кухни, Стахеев его окликнул:

— Митя, это ты? Заходи ко мне...

Курлов заставил себя войти к нему, поздороваться, спросить о здоровье. На все это Стахеев ничего не ответил и задал самый естественный после трехдневной разлуки вопрос:

— А куда ты пропал?

Курлов сбивчиво объяснил, что он обошел в эти дни все песчовые норы, боясь, что их залило ливнем... Смотрел, цела ли молодежь... (Больше он ничего не мог придумать толкового!)

— Что ей делается, — проворчал Стахеев. — Зверье поумнее нас жилье себе строит. Все предусматривает.

«Неужели старик пронюхал, — тревожно подумал Курлов, — чего я навалял с этой копкой нор? Штормягой их все размыло... Если пока и не знает — сам увидит, когда очухается... Или ему уже донесли?»

Он внутренне содрогнулся: «А если узнает, чего мы с этим парнем напихали в кормушку! Пусть даже для

пользы нашего дела... Он же привык блюсти законы... даром что бывший революционер...»

И тут Курлова осенило: «Да знает ли он — кто орудует пятый день на острове? Что за тип его врач?! Зачем же он, спрашивается, ездил в Мурманск? Может, там ему обо всем сообщили? Так что ж он бездействует? Болен, болен... Нашел время, нечего сказать! Стоит ли помогать такому начальнику, посвящать ему свою жизнь?! Что, если послать и его и его песцов подальше и смыться с острова, пока цел?... Но куда? Где жить и работать? У него и комнаты-то теперь в Москве нет: он же не может циркачей вытурить — они ему вперед заплатили... Словом, вопрос этот надо обдумать — но быстро, быстро! Тянуть нельзя, того и гляди отдадут под суд. Шутка ли то, что они натворили с Галкиным! Да если еще тот завтра же свезет и утопит эти проклятые печки! Нет, бежать, бежать, бежать с острова!!»

Курлов мучительно вспоминал — чей бот он сегодня видел у пристани? Не пойдет ли бот в Мурманск? Ну, а дальше что? Наняться в Мурманском порту в грузчики? Славный из него грузчик — пустую печурку и ту не мог удержать в руках! Все тело болит, словно целый день его лупцевали. И все же надо пойти на пристань, узнать — чей бот, куда направляется.

Не сказав больше ни слова Стахееву, Курлов снова покинул факторию. Добравшись до пристани, он увидел незнакомый бот без названия и без номера, стоявший на приколе, как и вчера: видно, все еще переживал непогоду. Незнакомый моторист, здоровый вихрастый блондин, ковырялся в машине.

— Здорово, парень! — окликнул его Курлов.

— Здорово, если не шутишь, — отозвался верзила, вытирая руки промасленной тряпкой.

— Откуда будешь? Териберский? — спросил Курлов, приглядываясь к парню и к боту.

— Вроде того. А ты?

— Местный, — неохотно ответил Курлов. — Вообще-то я из Москвы.

— Ого! В таком случае — я вообще-то из Ленинграда.

Курлов оживился:

— Решил подработать на Севере?

— За меня решили.

— Мобилизовали?

— Не столь почетно, но вроде.

— Заключенный? — догадался Курлов. — А где же конвой?

— Зачем? Я же не убегу. Сроку осталось всего год.

— Ясно. А в Ленинград тебя пустят?

— Может, и заслужу.

— Так, так. — Курлов минуту подумал и вдруг ткнул указательным пальцем в сторону Кольского залива и дальше: — А т у д а махнуть не подумываешь?

— Это куда, значит? — Парень насторожился.

— Так у тебя же в руках моторка — кати куда хочешь...

Тот подозрительно поглядел на Курлова.

— А ты кто — легавый?

Курлов обиделся:

— Сам ты легавый!.. Если хочешь знать, мне больше твоего туда надо...

— Чего натворил?

— Сперва ты скажи — чего натворил. За что турнули из Ленинграда?

— Как у нас говорят: «За испуг воробья с советской крыши».

— А конкретней?

— А конкретней спроси в УСЛОНе.

— Ладно. С тобой все ясно, — окончательно помянул Курлов. И повернулся, чтобы уйти.

— Погоди, — остановил его ухмылявшийся моторист. — Может, через недельку сговоримся...

— Не верю я тебе. Еще утопишь.

— Значит, туда и дорога.

— То-то и оно. Прощай!

Курлов пошел прочь от берега.

— Постой, говорю! — опять остановил его моторист.

— Ну? — нехотя обернулся Курлов.

— Хочешь, пришлю тебе одного бедолагу. Тот попрет куда хочешь...

— Крупный вредитель, что ли? По Шахтинскому процессу сел? — решил Курлов показать осведомленность.

Парень захохотал:

— Попал в точку! Шахтинский техник у нас главным рыбопосольным судном командует... каюта коврами убрана! Очень надо ему куда-то бежать... Слушай, а ты что, проворовался? Ты где, на складе работаешь?

Последние слова ему пришлось прокричать: оскорбленный Курлов шагал уже далеко от пристани.

...Нет, никогда Курлову не узнать, как стосковался этот вихрастый блондин по жене и по двум близнецам-дочкам, как клянет себя, что ввязался пять лет назад в эту дикую месть за расстрел парней, зверски насилывавших в Чубаровом переулке молодую женщину. Вот к чему иногда приводит ложное чувство товарищества... С кем? Со взбесившимися скотами! Одурел и он — решил вместе с тремя приятелями на поджог завода Сан-Галли на Лиговке. Как же посмел он сейчас сказать, что наказан лишь «за испуг воробья с советской крыши». И кому сказать — какому-то паршивому чипчилигенту!

Что касается «чипчилигентика», то он решил наплевать на всех и завалиться спать. И чего он вздумал паниковать? В крайнем случае свалит все на Стахеева: мол, приказал делать то-то и то-то, а Курлову было невдомек, что тот не в себе. Сам йодник — как врач — удостоверит его болезненное состояние... Так сказать, свидетель защиты, если понадобится!

Курлов хихикнул и поспешил к дому. Даже краем глаза не глянул на старуху, сидевшую, как всегда, на самой ближней к морю завалинке: мать одного из убитых на полустанке железнодорожников. Сидит в дождь и в ведро, все ждет, когда за ней придут... Говорят, она так еще и не знает о тех страшных событиях: письма писать они не приучены, а здесь ее пока щадят, ничего не рассказывают. Казалось бы, Курлову могло стать не по себе, сопоставь он свое намерение смыться туда, куда ушли кровопийцы-бандиты, с несчастьем этой старухи, но ему это и в голову не пришло: проскочил мимо нее, как мимо пустого места.

А она могла только слышать, как прошуршал он близенько по песку: глаза ее были незрячие, всем только казалось, что она смотрит на море и на прохожих.

Дома он, не снимая мокрой одежды, рухнул наконец на свою койку и сразу заснул.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Пока шторм работал, коренное население острова занималось обычными хозяйственными делами: чинили снасти, обихаживали коров, стригли

овец, коптили себе на потребу оставшуюся от промысла рыбу.

Люди же пришлые, люди заезжие — те были исполнены своих интересов, во многом противоположных по цели и характеру. Чем, скажем, заняты йодники, Курлов, молодой Галкин, Илья, пара клубных работников — об этом мы уже знаем. А что подельвает сейчас журналист? Все еще сушит свою одежду, развесив ее над плитой норвежки Пелькиной? Творит, набрасывая в тетрадке какой-нибудь новый рассказ или очерк? Беседует с вернувшимися с берега соседями по квартире — йодниками? Ни то, ни другое, ни третье. Павел Петров надел на себя все, что успело просохнуть, и снова, как ни тяжело это было для склонного полнеть человека, да еще в сырую погоду, отправился к покорившему его навсегда морю... И вот к концу этой почти бесцельной прогулки он успел увидеть, правда издали, как молодой Галкин и Курлов затаскивали в кормушку последнюю печку. И после этого, не заметив Петрова, разошлись по домам.

Петров некоторое время раздумывал — не догнать ли их, не спросить ли, для чего они произвели эту операцию (хотя он отчасти уже догадался). Или лучше не спрашивать, а вернуться в дом Пелькиной и сразу сообщить йодникам — что произошло с их печками? Да, конечно, он теперь убежден, что это диверсия, а не просто хулиганская шутка, и решил рассказать о ней не кому другому, как... Ильюше. Дело в том, что у него возник тайный план, выполнение которого он считал благом для всех, и будет хорошо, если к выполнению этого плана он привлечет именно сына директора пушзаповедника.

Где же найти Илью? В фактории его не оказалось; Петров заглянул в свою квартиру — обнаружил все тех же йодников. Кстати, соблазн был велик: так мрачно спросить этих ничего не подозревавших специалистов — куда исчез с берега их новообретенный инвентарь? Но опять же он воздержался. «Да, — с досадой подумал он, — слабоватый из меня газетчик! Не манит меня хищно понаблюдать за ходом событий, да еще ускорить их, подтолкнуть и увидеть сенсационный финал! На какого дьявола мне нужен непременно мирный исход? И еще захочет ли мирного исхода мой друг Ильюша? Он кажется, недолюбливает своего кузена... Но где сейчас этот юный островитянин?»

По чистому наитию Петров направился в сторону избы-читальни. Мог ли он предполагать, что только что перед его приходом здесь читали и обсуждали его сочинение? Саночка Александровна уже успела спрятать «Быль» снова в стол, Илья еще не успел уйти.

— Здравствуйте, товарищи! — объявил журналист о своем появлении перед все тем же настезь распахнутым окном. По близорукости он не заметил, что его появление всех удивило, а кое-кого и смутило. (Разумеется, не Илью и не Лейкина.)

— Ильюша, — сказал Петров, — извините, если я помешал, но не хотите ли со мной прогуляться? На час, не больше...

Он жаждал скорей рассказать юноше о происшествии с печками. Правда, немножко побаивался, что тот может сразу же воспылать желанием публично, во всеуслышание, разоблачить «вредителей». Впрочем, зачем эти кавычки? Дело действительно вредное, как бы нелепо оно ни выглядело. Словом, Петров как можно беспечнее рассказал о том, что он видел, и предложил Илье вместе осуществить то, что задумал. А так как Илья непонятно молчал во все время рассказа (до сих пор Петров знал его как весьма реактивного товарища), Петров счел долгом ему пояснить, что ввиду пылкости натуры старшего йодника и болезни директора пушзаповедника он решил погасить любую возможность большого скандала, — вот почему он и делает такое предложение Ильюше: вытащить печки из кормушек обратно на берег, как будто ничего с ними не происходило...

Илья молчал еще с минуту, потом спокойно сказал:

— Идет. С одним условием. Предложить Курлову помогать нам, если не хочет разоблачения.

— А что! — горячо подхватил журналист. — Это неплохая идея! Если только он сразу не вскинется, не разбудит, не напугает вашего папу...

Илья улыбнулся. Присматриваясь к нему, Петров видел, что мальчик заметно повзрослел за те два дня, что они не встречались. Ясно, ясно: это болезнь отца на него подействовала... Петров ничего не знал о том, что произошло в последние сутки между старшим и младшим Стахеевыми. И когда встретились — тоже ничего не узнал: Илья не хотел делиться ни с кем своими переживаниями, с него пока хватит.

Так или иначе, но Петров не стал спорить, отвергать попытку привлечь к работе самого «преступника», и они

отправились в факторию. Они нашли там успешного уже уснуть Курлова. Он лежал на спине, раскрыв рот, и храпел.

— Чтобы не закричал, может, применить кляп,— тихонько пошутил журналист.— И только потом будить?

Вместо ответа Илья нагнулся к уху кузена и негромко, но отчетливо спросил:

— Гражданин Курлов, а куда подевались печки? — И повторил: — Где печки йодников?

Курлов с трудом открыл узкие бурятские глазки и долго глядел на Илью, затем перевел мутный взгляд на Петрова. Было неясно — слышал ли он те слова, которыми его разбудили, и понял ли, почему он вдруг кому-то понадобился. Но тут Илья решил, что пора перестать играть в недомолвки.

— Вот что, мой милый,— сказал он.— Если не хочешь суда и следствия, а в результате тюрьмы, идем исправлять содеянное. Уразумел?

Курлов сел и спустил ноги с койки.

— Чего вам от меня надо? — успев охрипнуть даже от недолгого сна, спросил Курлов.

— Надевай сапоги — и пошли!

Петров надизиться не мог — как решительно говорил Илья с Курловым и как смирно тот себя вел, не взрывался, а послушно надел сапоги и встал с кровати. Он несомненно понял, о чем идет речь.

Когда все трое вышли на воздух, уже заметно прояснело, дождя не было и в помине. Направились они напрямиком к берегу. Курлов шагал молча, глядя лишь под ноги, чтобы не запнуться за камни, за кочки,— видно было, что усталость его не прошла, но Илья решил не проявлять ни малейшего снисхождения.

— Ключ взял? — спросил он.

Курлов кивнул, но все же проверил карман телогрейки.

Дойдя до стоящей почти на краю обрыва одной из кормушек, они оглянулись — нет ли йодников в поле зрения. Нет.

— Отопри кормушку,— приказал Илья.

Курлов молча отпер. Илья и Петров увидели, что нижний этаж кормушки набит в два ряда «буржуйками».

— По-хозяйски заходи внутрь,— предложил Илья Курлову.

Курлов помедлил:

— Что я... один стану таскать? — проворчал он. —
Одному мне и не поднять...

— Это верно, — сказал Илья. — Следовало бы привлечь к работе и твоего сообщника. Ладно, мы с товарищем журналистом тебе поможем. Под горку легче будет, чем в гору, верно? — с усмешкой он покосился на журналиста.

Курлов зашел в кормушку и мрачно взялся за ножки стоявшей сверху «буржуйки». Илья и Петров тоже вошли в кормушку и взялись — один за ножки, другой за обочину.

— Взяли! — скомандовал Илья.

Дверь кормушки была узка, с печкой они едва сквозь нее протиснулись, но дальше дело пошло полегче. Втроем они осторожно снесли печку вниз, на песчаную отмель, поближе к валу из водорослей.

— Где они тут стояли? — спросил Илья, озираясь вокруг — нет ли следов от ножек стоявших три часа назад печек.

— Не все равно? — с сердцем спросил Курлов.

— То-то и есть, что не все, — ответил Илья. — Делать, так делать с минимумом погрешностей. Это же в твоих интересах.

Через час все печки были перенесены на старое место, стояли на свежем воздухе, тускло отблескивая железом, готовые как к работе, так и к новым приключениям...

— Инертные, мертвые вещи, — глубокомысленно заметил Петров. — Что хотят люди, то и делают с ними... Чем мы теперь займемся?

Илья огляделся. Кругом было светло, чудесно, погода разведрилась, пахло водорослями («Принадлежащими йодникам», — мог гневно подумать Курлов, но, кажется, он был так пришиблен, что ни о чем не мог думать).

— У вас, я не сомневаюсь, найдется дело, — сказал Илья журналисту. — А мы с Митей должны заняться своими песцами. — Спокойно, ничуть не обращая внимания на то, что Курлов вздрогнул от этого словосочетания — «своими песцами», столь неожиданного для него в устах Ильи, Илья к нему обернулся: — Поскольку Алексей Иванович заболел, мне придется тебе помогать. Ты научишь меня хотя бы самым первым шагам? Соответственно литературу дашь почитать. Кроме того,

надо как-то уведомить ту старуху, которую ты на днях провожал.

Курлов не верил своим ушам: «И о Фроловой знает!»

— Должна же она узнать о болезни Алексея Ивановича, — спокойно продолжал Илья. — И вообще о положении на острове.

— О каком таком положении? — снова хрипло спросил Курлов.

— О взаимоотношениях с Медснабторгом, — пояснил Илья. — Разумеется, я имею в виду не твои фокусы, а неизбежные серьезные отношения. А сейчас у меня к тебе ближайшая просьба: покорми, пожалуйста, Алексея Ивановича, когда он проснется. У тебя хорошо получается отварная треска. Потом мы с тобой поучимся для разнообразия варить кашу из водорослей.

Опять же не обращая внимания на буквально вставшие дыбом рыжеватые волосы Курлова, Илья взял под руку журналиста, и они пошли вдоль валов, оставив обалдевшего Курлова стоять как столб.

— Вы великолепны, Ильюша! — не мог удержаться Петров, когда они отошли метров на двадцать.

— Признаюсь вам, — неожиданно сказал Ильюша, — я очень устал и от печек и от моего кузена... чтоб его поглотила морская бездна!

— Но вы решили ему помогать?

— А что делать? Надо! Особенно пока болен Алексей Иванович.

Журналист немного помолчал, затем сказал с искренним сожалением:

— Да, обидно, что как раз в трудные, даже опасные для заповедника дни ваш отец заболел. Вы знаете, он интересный человек и, кажется, со сложной судьбой... Я только-только успел немного копнуть... ведь Алексей Иванович молчалив...

— А зачем, собственно, непременно надо копать? — несколько неприязненно сказал Илья.

— Как? — удивился Петров. — Но это моя профессия. Мне, например, сверхлюбопытно, как бы он встретился с йодниками... будь он, конечно, здоров.

— Мне тоже любопытно, — отрывисто сказал Илья.

Дождь давно перестал, но сырость осталась как на земле, так и на небе. Они брели по мокрой траве; равнина, небо да сзади море — вот что их окружало. Поселок обрывался за теми холмами и за соленым реликтовым

озером, отделившимся когда-то от моря, как часть от целого. Часть, сохранившая жизнь и свойства целого, и все же отдельная от него: с зелеными травянистыми берегами, с утками и куликами, летающими над ним, вместо бакланов и чаек.

— Странное озеро,— сказал Илья, задумчиво глядя на эту спокойную по сравнению с вечно волнующимся океаном воду.— Отец... Алексей Иванович,— поправился он,— писал нам... писал брату... что тут и рыбы живут морские, не пресноводные. Такое маленькое, а не зависит от местных речек.

— Ведет себя примерно как вы! — пошутил Петров.

— То есть? — насторожился Илья.

— Да нет... это я скорей про себя,— смутился Петров.— Вообще про всех приезжих на острове. Считаю себя хотя бы временно независимыми... А вот командировка у меня кончится — я и помчусь отчитываться в своих наблюдениях и впечатлениях! И скажут мне в редакции: да ты совсем не то сделал, за чем тебя посылали...

— А что вы должны были делать? — поинтересовался Илья.

— Писать о рыбацких колхозах на побережье. А я вот засел на острове. Околдовал меня этот Колдун!

— И его обитатели,— добавил Илья со значением.

— Не понял? — точно так же, как три минуты назад Илья, насторожился Петров.

— Нашли же вы время написать «Семейное предание»... Я прочитал вашу быль с большим интересом... Я бы сказал, прочел взахлеб,— не поскупился Ильюша на доброе слово.

— Серьезно? — встрепенулся Петров.

— Вам о судьбах людей и надо писать, а не о рыболовстве,— подначил его Илья.

— Вот я и задумал,— сказал Петров,— написать об одной рыбачке, благо живу бок о бок с ней.

— Норвежка Пелькина? — быстро спросил Илья.— Мать курловского соратника?

— Она самая.

— Дадите прочесть?

— Непременно, Ильюша,— заулыбался Петров.— Когда увидимся в Ленинграде.— И добавил: — Если не увлекусь чем-нибудь другим... Тоже бывает!

Илья захлопал в ладоши.

— Вы мне? — удивился Петров.— За что?

— И вам и себе, — объявил Илья. — Я тоже, бывает, меняю свои увлечения...

— Надеюсь, вы имеете в виду не любовные? — засмеялся Петров.

— Пока еще не влюблялся, — неуверенно молвил Илья.

— Всеу свое время, Ильюша, — успокоил его Петров. — А теперь пора к дому.

Дойдя до маяка, они круто повернули к поселку, к видному еще издали красному дому фактории. Там и ждала их иская неожиданность.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

У крыльца стоял, с нетерпением постукивая палкой о камни, значит, явно кого-то поджидая (кого? да, наверно, как раз их — Ильюшу и журналиста), — сам директор пушзаповедника. На нем был коричневый кожан, на голове кожаный шлем, в руках альпийская палка; для Ильи, который оставил отчима спящим и намеревавшимся спать долго, пока не выздоровеет, его появление в таком походном наряде показалось едва ли не чудом. Должно быть, характер болезни Стахеева был похож на его собственный характер: вмиг заболел, вмиг выздоровел — и вот вышел их встретить...

Но могло обстоять совсем иначе: Стахеев слышал, как они уходили с Курловым из фактории, что именно говорили Курлову, и, встревоженный, решил встать с постели. Только откуда для этого взялись силы? И не повредит ли ему такой безрассудный поступок? А может... может, он сейчас в бреду? У Ильи невольно захолонуло сердце!

— Алексей Иванович, вам же доктор велел лежать! — вскричал удивленный журналист.

— Это он вам когда сообщил? — хмуро осведомился Стахеев. — После того, как увлек проектами сделать наш островок пупом индустрии? Пусть не смешит людей: вдруг получится не пуп, а пупок. — Он помолчал. — Ну, ведите, показывайте их «доменные печи». Об одну я уже грел спину, пока добирался сюда из Мурманска.

Столь опешивший было при появлении отчима, Илья заметно приободрился и деловито спросил:

— Значит, ты в курсе? И давно ты узнал, что Медснабторг претендует на твой заповедник?

— Официально меня Облисполком не извещал,— отвечал Стахеев,— но еще в прошлом году намекнули, что существуют охотники немножко нас потеснить.

— Немножко? — не удержался Петров.

— Так ведь на большее им рассчитывать трудно.

— Ты уверен? — недоверчиво спросил Илья.

Таков был первый в их жизни на острове (и вообще в их жизни) конкретный деловой разговор. Несмотря на недавнюю сумятицу в мыслях от внезапной исповеди Стахеева (почти чужого ему тогда человека), Илья почувствовал, что тот стал ему ближе, и потому хотел проще, естественней с ним держаться. Уж если этот убитый горем больной старик преодолел физическую и душевную боль, встал, оделся и, как видно, намеревается приступить к работе, Илья должен ему помочь. Вдвоем они легко скрутят все фанаберии Митьки Курлова и заставят его честно трудиться. Но это как раз пустяки, этого безусловно мало — Алексею Ивановичу надо помогать во всем...

— А за что на тебя сердится Митя? — словно услышал его мысли Стахеев.— Ты его чем-то обидел? Впрочем, можешь не отвечать, я успел оценить его вздорный характер. Зато песцам он предан душой и телом...— Обернулся к Петрову: — Бьюсь об заклад, что пока я валялся, он под угрозой смерти запрещал вам ходить в заповедные места.

— К сожалению, погода не благоприятствовала, а то бы и несмотря на запрет...— признался Петров.— Но все же мы с вашим сыном успели кое-куда взобраться.— Он показал на возвышавшуюся тремя террасами вершину острова.

— Ну, песцы больше любят равнину, берег, где им есть чем пожить,— рассудительно пояснил Стахеев.— Но от людей держатся все же подальше. Знают, что будут целее.

— А на материк они не сигают? Проллив-то узкий.

— Больше с материка на остров. Для порчи породы. Я имею в виду материковых белых песцов: они норуют поухаживать за нашими голубыми песчихами.

Петров с живым интересом:

— И тем самым лишить государство ценной валюты: я слышал, что шкура голубого песка куда дороже шкуры белого...

— Совершенно верно,— улыбнулся Стахеев.— Вы,

я вижу, знаток! А теперь поглядим, чем оделил океан песцов... и нас с вами.

Илья и Павел успели не раз опасно переглянуться, прежде чем перед ними предстала перевидавшая и испытывавшая сегодня столько событий кормушка, самая ближняя к морю.

— Кто это так натоптал? — словно бы удивился Стахеев, когда они подошли к кормушке.— Глядите, тут видны и ваши штиблеты,— прищурился он на Павла.

— Не знал, что вы такой следопыт,— сконфуженно отозвался Павел.

— Приходится,— подтвердил директор.— На Дальнем Севере приходится быть и следопытом.— Обернулся к Илье: — Так за что ты ему грозил тюрьмой?

«Значит, он все, все слышал! — изумился Илья.— Кто бы мог подумать! Интересно, чего он пока не знает... В любом случае он догадливее всех нас — это надо запомнить!»

— Что ты молчишь? — в свою очередь удивился Стахеев.

— А что говорить,— неохотно сказал Илья.— Я вижу, что ты обо всем уже знаешь... или догадываешься.

— Тихо! — почти прошептал Стахеев, показывая рукой на отмель.

Молодые люди как по команде устремили туда свой взгляд: по буро-зеленому валу из водорослей бежали, приюхиваясь, два песца. Вид у них был обшарпанный, шерсть висела местами клочьями, но держались они независимо, не обращали внимания на людей.

— Супружеская пара,— опять прошептал Стахеев.— Уже не боятся оставлять детенышей... приплод подросток...— Он снова обернулся к Илье: — А что тебя больше интересует — йодный или песцовый промысел? Держу пари, что йодный: нынче все увлекаются наукой и техникой.

— Меня больше интересуют люди,— неожиданно для себя ответил Илья.

Пауза.

— А что, ответ точный,— одобрил Павел Петров.— И в каком-то смысле исчерпывающий.

— Что значит исчерпывающий? — недоуменно сказал Алексей Иванович.— Без людей вообще ни одно дело не обходится... А на кого ты учиться думаешь? Или еще не думал?

Илья молчал. Он был недоволен: уж слишком многозначительно, даже философично, прозвучал его ответ.

Павел решил прийти ему на помощь:

— Это я виноват... Кого ни встречу — сразу пытаюсь вскрыть ланцетом его психологию. Вот и Илью заразил своей привычкой...

— Любопытно узнать, как вы меня оттрепанировали, — усмехнулся Стахеев, выразительно проведя пальцем по своему лбу.

— В этом смысле я больше всего не щажу себя! — засмеялся Павел. — А вы для меня еще полны загадок...

— Весьма польщен. А как судьбу острова порешили?

— Вы надо мной будете смеяться... но он мне напоминает большой артиллерийский форт... Форт без пушек, и тем не менее защищающий подступы к заливу, к городу!

— Не напророчьте ему такое боевое будущее. Тогда здесь песцам не жить... да и нам тоже.

— Почему? Песцы только целее будут, по вашему выражению. Зато йодникам в этом случае здесь действительно не место... если они собираются индустриализировать остров!

— А вы познакомите меня со вторым представителем этой фирмы? Моего врачавателя я уже чуточку знаю.

— Давайте сразу к ним и нагрянем, — предложил журналист. — Тем более что я живу в одной с ними комнате...

— Пожалуй, — немного подумав, сказал Стахеев.

— Только, — нерешительно начал Павел, — только не будем им ничего говорить о печках и...

Стахеев с любопытством поглядел на него.

— Понятно, — усмехнулся он. — Ваши секреты оставим при вас.

И они повернули к поселку.

— Кто войдет первым? — спросил Илья, когда они очутились у дома Пелькиной. — Павел, вы же здесь квартируете...

— Хорошо, — сказал журналист. — В таком случае приглашаю по старшинству. Прошу! — обратился он к Стахееву.

И вот все трое оказались в кухне, где, как всегда, священнодействовала у плиты Пелькина.

— Здравствуйте, хозяйюшка!

Пелькина молча кивнула. Петров приоткрыл дверь в комнату:

— Можно? Дело в том, что я не один...

— Пожалуйста,— послышался голос Егора Егорыча.

Илья вошел третьим, как самый младший, и увидел лишь кончик той сцены, которая представилась взору вошедших раньше: Лев Григорьевич сидел на полу и укладывал в клетчатый заграничный сак свои вещи; услышав и увидев гостей, он вскочил и конфузливо подтянул брюки, которые без подтяжек заметно сползли на бедра.

— Вы уезжаете? — удивился Петров.— Перед самым сбором туры?

Видно было, что он с удовольствием произнес это новое, непривычное для него слово.

— Да я, собственно, еще не сейчас...— поспешно заговорил старший йодник.— И вообще вместо меня остается Егор Егорыч, но...— Узнав Стахеева, он словно обрадовался, что может отвлечься от неприятной темы: — Товарищ больной, вы ко мне? Но вам надо лежать по крайней мере три дня... Вы же серьезно больны!

— Я совершенно здоров,— сухо ответил Стахеев.— Благодарю за внимание и лекарство. (После небольшой паузы.) Товарищ врач, я сразу о деле. Вам, конечно, известно, что длина острова — пятнадцать километров, а наибольшая ширина — пять. На какую часть его вы претендуете? На треть? На четверть? Я имею в виду побережье, южную его сторону, обращенную к материку... все остальные страны света вряд ли могут вам пригодиться — там нет отмелей.

Лев Григорьевич с подчеркнутым вниманием выслушал, подождал — не скажет ли директор пушзаповедника еще что-нибудь, затем повернулся к Егору Егорычу, стоявшему немного в сторонке, и ни с того ни с сего, на полном серьезе выпалил:

— Ваше слово, товарищ маузер!

Павел и Илья чуть не фыркнули: так нелепо прозвучали в устах Льва Григорьевича слова Маяковского,— молодые люди были уверены, что до нынешних траурных сообщений в газетах пожилой врач даже и не слышал о Маяковском. Но все, что произошло дальше, удивило их еще больше.

— Прошу садиться, товарищи.— Лев Григорьевич королевским жестом показал на детскую кроватку и детские стульчики.

Любезное приглашение было принято. Правда, Павел и Илья предпочли уместиться на подоконнике, неловко притиснув друг дружку, а Стахеев, покосившись на застеленную светлым одеяльцем кроватку, уселся на табурет, который успел выдвинуть из-под стола Егор Егорыч. (Кстати, тот нисколько не растерялся и ничуть не удивился дальнейшему разговору и всей этой сцене.)

— Я очень рад вас видеть,— продолжал старший йодник.— И появление ваше считаю как нельзя более своевременным. Двое из вас,— уверен,— люди абсолютно объективные... Верно, товарищ журналист? А вы, товарищ больной, лицо хотя и заинтересованное, но человек безусловно прямой и честный. Я чувствую это уже по вашей характеристике острова и по обращенному ко мне вопросу. Подчеркиваю — к о м н е. Потому вношу лишь одну поправку: обращайтесь к Егору Егорычу — с сегодняшнего дня я считаю себя неправомочным.— И повторил, обернувшись к Егору Егорычу: — Ваше слово, товарищ маузер!

На сей раз это прозвучало, как вызов: мол, что ты найдешь возможным сказать? Как объяснишь создавшееся положение? Чем станешь в меня пулять? Из какого грозного оружия?

Егор Егорыч кротко, как всегда, улыбнулся:

— Лев Григорьевич иногда склонен преувеличивать... Тут мы до вас немного поспорили. Как вы знаете, в ближайшие дни нам предстоит заняться сбором, просушкой и пережогом йодных водорослей. Разумеется, если погода позволит. Льву Григорьевичу захотелось перед началом работ воодушевить артель парой-другой теплых слов. Он поделился со мной этой мыслью, а я над ней слегка пошутил...

— Не смягчайте, не смягчайте, Егор Егорыч,— прервал его Лев Григорьевич.— Не имейте такой привычки... Вы назвали эти мои теплые слова зажигательной речью! Пламенной агитацией против пушников! Якобы даже сильнее того, что я говорил колонистам, когда мы с Ильюшей пили у них молоко...

Илья отлично помнил, как его возмутили тогдашние нападки йодника на пушников и как он неудачно пытался его урезонить.

— Небось вы тогда промолчали,— продолжал старший йодник,— зато теперь!..

— Дорогой Лев Григорьевич,— тихо молвил Егор Егорыч,— я просто для пользы дела хотел слегка умерить пыл вашей речи.

— «Для пользы дела!» — с горечью повторил Лев Григорьевич.— Нет, товарищи, это был настоящий бунт, и что самое нелепое — мой взбунтовавшийся помощник воображает, что он меня победил!

— А на самом деле? — вырвалось у журналиста.

Старший йодник чуть помолчал и печально ответил:

— Как это ни рискованно, но я решил испытать моего самонадеянного помощника. Пусть попробует завтра же поруководить работой. Я лично не стану вмешиваться — я умою руки... (Он сделал выразительный жест.) А придет «Сосновец» — я вообще оставляю Егора Егорыча одного. Да, одного! Посмотрим, что из этого выйдет.

— Посмотрим! Посмотрим! — азартно воскликнул младший йодник.

Восклицание было столь неожиданным, что гости поднялись со своих мест. Они почувствовали себя лишними и предпочли удалиться.

— Да, теперь ясно, что Егор Егорыч умнее,— с облегчением сказал журналист уже на вольном воздухе.— Недаром он меня когда-то спросил — что́ я думаю о его начальнике. А я, похвалив Льва Григорьевича за могучий энтузиазм, взял да и брякнул: «А вас тревожит, как бы это не повредило делу?»

— И что он ответил?

— Да, кажется, заступился... Но тут же признался, что сам спровоцировал меня на такой вопрос... (Возбужденно). Откуда сейчас-то у Егора Егорыча выиграл характер? Проснулось самолюбие? Или всерьез восстал против перегибов? Этак можно считать, что вы с ним поладите!

— Посмотрим, посмотрим,— ответил Стахеев словами Егора Егорыча, но спокойно, без малейшей доли задора.— Но зря уповаете, что мой лекарь покинет остров. Вот увидите, завтра же не утерпит и станет всюю распоряжаться.

— Неужели Егор Егорыч спасует? — огорченно спросил Илья.

— Вот это не знаю... А вам, ребятки, спасибо за сочувствие, за компанию. Пойду навестить своих подо-

печных... если йодники еще не прогнали их с острова... — Он ласково положил руку на плечо Ильюше: — Ты поживи здесь, пока сравнительно тепло, тихо. Мурман редко бывает такой приветливый.

Илья встрепенулся:

— Да я с удовольствием! — и с удовольствием рассмеялся. — Если Митя меня не прогонит! — Он сразу же посерьезнел и робко, просительно поглядел на Стахеева: — А можно остаться мне до весны? Заодно подготовлюсь к экзаменам...

— Даже так? Попытаюсь тебе помочь, — словно бы благодарно улыбнулся Стахеев.

И пошел по тропинке в глубь острова, привычно постукивая палкой по жесткой, как терка, почве. О чем он думал? О покойном своем любимце Андрюше? Или все-таки уже об Илье? О том, сможет ли он привыкнуть к нему, как к сыну? И надо ли привыкать? И привыкнет ли к нему Ильюша? Полюбят ли они друг друга? Кто это может знать?

Илья и Павел долго смотрели ему вслед. О чем они думали?

Павел, пожалуй, казнил себя тем, что в первые дни знакомства с йодниками слишком увлекся их грандиозными планами, забыв про песцов, про Стахеева, а ведь до приезда йодников считал его единственным и законнейшим владельцем острова сокровищ!

А Илья думал: так вот, значит, каким сильным и мягким бывает его отец. Да, отец, он не хочет его называть иначе... Настоящим сыном хочет быть и Илья. Получится ли это? Надо преодолеть все трудности и сложности, растопить тот холодок, который возник между ними после неожиданного признания Стахеева... А может, эта ледяная купель была им обоим на пользу?

Так думали Павел Петров и Илья Стахеев, глядя вслед Алексею Ивановичу, медленно уходившему в недра острова. Вот он оглянулся и приветственно помахал им своим кожаным шлемом. Помахали ему и они своими ленинградскими кепками, на несколько часов с ним простились и — повернули к дому.

...И тут, неизвестно откуда, словно опять из ничего, из воздуха, перед ними явилась такая знакомая, так надоевшая за последние дни фигура: конечно, это был Дмитрий Курлов. Он встал поперек тропы и страстно заговорил:

— Вы считаете, что история с печками и кормушка-

ми меня уничтожила? Наоборот, она меня закалила. Чего вы моргаете, товарищ газетчик? Лучше выньте-ка свой блокнотик и запишите, что я сейчас расскажу. Вы ведь все сочиняете про политику, про классовую борьбу... Послушайте одного инженера, с которым я ехал в поезде. Он так говорил соседям: «Что вы толкуете тут — Европа, Советский Союз, борьба классов... Мне про Европу надо знать лишь одно: Лондон — это образец естественной очистки пресной воды в сказочных количествах. Рига — пример снабжения грунтовой водой без всякой очистки. Роттердам — город с идеальным исследованием воды и стерильной чистотой на территории станции. Цюрих — пример озерного водоснабжения. Гельсингфорс — огромный химический завод для искусственной обработки и исправления по природе негодной воды. Гамбург — пример открытых фильтров и стремления заменить речную воду грунтовой... (Задышавшись от нетерпения.) — Вот и все, что мне нужно знать о Европе. Мне совсем ни к чему знать и помнить о том, что Гельсингфорс — центр какой-то лапуасской организации, а Гамбург — место недавних революционных боев пролетариата». — «А Москва?» — кто-то задал инженеру вопрос. «Что ж Москва... Москва — пример двойной фильтрации и пока лучший водопровод в СССР, и только». Так говорил инженер-водопроводчик. Небось скажете — порол чушь, нес ересь? А я считаю — это человек д е л а. Он плюет на все остальное с высоты своей водонапорной башни... И правильно делает!

Это была самая длинная и щегольская речь Курлова за всю его двадцатитрехлетнюю жизнь: Он наслаждался ею, он вызывающе глядел на слушателей, выставив им навстречу свое скуластое упрямое лицо.

Павел молчал, а Илья не выдержал:

— Митя, да у тебя превосходная память! И сильный выразительный голос. Что, если тебе выступать на эстраде? Хотя бы вот с этим номером — с водокачкой... пусть даже что-нибудь переврал. Кстати, ты приготовил обед для Алексея Ивановича? Он вернется часа через три.

Когда оскорбленный Курлов ушел, Павел тихо, с упрёком сказал Илье:

— Уж ты с ним слишком жестоко... Да и не по существу. Его политмалограмотность надó исправлять терпеливо.

Илья горячо:

— Я знаю! Но мне стало жалко Алексея Ивановича: как же он одинок, если терпит возле себя такого брехуна и истерика...— Илья вздохнул.— Будь здесь вместо меня Андрей, он сумел бы его терпеливо выправить...— Застенчиво посмотрел на Павла.— Хотите знать, о чем мы с Андрюшей перед сном разговаривали? Ведь вы тоже старше меня на шесть лет... Вы никогда не думали — какими мы станем еще через шесть лет? А через двадцать? Тогда разница между нами почти сотрется... А через полвека... если мы доживем до такого преклонного возраста. Будем ли мы сравнительно толковыми стариками, с которыми молодые станут считаться, и будем ли мы полезными обществу? И каким будет тогда само общество? И что мы скажем инженеру-водопроводчику, коли он тоже доживет... или воскреснет? — Илья поморгал.— Павел, вам не смешно, не дико то, что я сейчас говорю?

— Ничуть, Ильюша,— серьезно ответил Павел.— Я, правда, об этом пока не думал, но...— Он огляделся вокруг — взглянул на равнину, на горы, на море, на небо, на незакатное красное солнышко.— Но недаром же мы с вами оба полуночники!

Он вынул из нагрудного кармана часы:

— И все же недурно бы... презренной прозой говоря... часика полтора вздремнуть... Уж очень мы разгулялись за эти круглые сутки.— Он тяжело переступил с ноги на ногу.— Как вы, Ильюша?

— Пожалуй,— откровенно зевнул Ильюша.— Если нас не разбудит Курлов... (Беспокойно). А как же отец? Я хочу его встретить...

— А мы проснемся к его приходу. Будет как раз чудесное раннее утро...

— Ну, что ж,— Илья торжественно обвел весь горизонт — от края до края — своей изрядно-таки обветшавшей за эту неделю кепчонкой.— До завтра, товарищ Колдун! До раннего чудесного утра!

И два полуночника согласно зашагали к фактории. Там успеют и отдохнуть, и немного прибраться в кабинете Стахеева — подметут пол, вскипятят чайник. Пусть вернувшийся из похода хозяин найдет там привычный домашний уют.

КАРНАВАЛ

Очерк

Подходим на ёле к Териберке. Половина второго ночи. Прощаюсь, выскакиваю на брюгу. В становище еще не все спят. Многие только что пришли с промысла, разбирают, развешивают на просушку снасти. Спрашиваю дорогу к общежитию: председатель местного кооператива уехал по служебным делам в Мурманск и я на несколько дней займу его койку. В этой же комнате живет начальник милиции.

Начальник милиции еще не спал. Окно комнаты было обращено на северо-запад, и прямо в окно светило обветренное красное солнце. Начальник читал в постели сочинения А. И. Свирского, — по-видимому, томился бессонницей. Новому человеку обрадовался. Мы завели беседу.

Начальник был прежде профессиональным кондитером, работал в Твери. В 1927 году оказался безработным и вздумал махнуть в Мурманск, где открывалась тогда, как ему сообщила одна знакомая, большая кондитерская фабрика. Кондитерской в Мурманске не было еще и в проекте, и тверяк, очутившись за Полярным кругом без гроша в кармане, поступил простым милиционером в мурманский административный отдел. Погодя его назначили участковым в Териберку. А нынче, в порядке выдвижения, послали на милицейские курсы по повышению квалификации в Ленинград и оттуда опять в Териберку, уже начальником районной милиции. Бывший кондитер теперь — гроза хулиганов, всех возможных и настоящих преступников Восточного Мурмана.

...Заснуть оказалось нелегко и после беседы. Клопы! Ничуть не стесняясь полуночного солнца, они звучно шлепались на меня с дощатого потолка. Я стряхивал их на пол, беспомощно озираясь на соседа. Он улыбнулся и философски промолвил:

— Клопы у нас крупные, что лапти.— Затем, как бы

извиняясь, промолвил: — А что делать? Химсредств нет. Хоть из нагана по ним стреляй!

Я нерешительно предложил:

— Может, посидим на бережку?

Начальник милиции охотно согласился. Встал, оделся, снял с гвоздика свою потрепанную океанскими ветрами фуражку с черной тульей и красным околышем, что так мирно гармонировала с расшитым черными и красными узорами тверским полотенцем, висевшим на том же гвоздике, и мы отправились.

Долго сидели мы на заглодевшем ночном песке и любовались северной ночью. Природа вокруг нас и в самом деле была волшебной. Таким представляется нам, земным жителям, пейзаж на луне: темные рельефы, массивы, напоминающие по форме застывшие волны, страшные мертвые впадины, резкие тени, ни деревца, ни былинки кругом, — и безлюдье.

Впрочем, нет, не похоже. Во-первых, присутствует, живет море, отнюдь не лунное, не условное, не застывшее. Во-вторых — чайки над морем.

Действительно, чайки, казалось, усердней обычного крутились над самой водой. Но — мало ли почему вьются чайки, это их привычное дело! Впрочем, мы не успели поразмышлять и порассуждать по этому поводу, как вдруг увидели, что на соседней отмели появились люди, а через несколько минут оттуда спешно отчалил карбас. На мой вопросительный взгляд начальник ответил, что, наверно, к берегам подошла мойва, что люди на отмели — это наживочная команда, а карбас пошел в становище сообщить всем рыбакам о появлении мойвы.

Как бы в подтверждение его слов начали торопливо съезжаться к отмели карбасы, рыбаки мгновенно забрасывали невода в воду, один из них оставался на карбасе и шестом прижимал ко дну мотню невода, а остальные высаживались на берег и — тянули. Да, я мог наблюдать, как северные рыбаки тянут тони, и, каюсь, это произвело на меня большее впечатление, чем лов трески, в котором я недавно участвовал: тони были горячее.

Когда вывернулась из-за мыска, спеша как на пожар, моторная ёла колхоза «Красная Армия», к корме которой прицепились в большом карбасе все колхозники, когда, оторвавшись от борта ёлы, карбас кинул в море невод и посадил колхозников на наш берег, когда с криком, с неистойвой, счастливой, счастливившей всех и вся руганью колхозники схватились за снасти и пота-

шили на берег огромнейший невод,— тогда мы с начальником милиции не смогли уже только наблюдать: мы так же пылко схватились за мокрые рыбацкие снасти.

Задыхаясь, крича несуряцицу, я тащил вместе со всеми, обжигая ладони скользкой веревкой, и был неизъяснимо рад, когда мы загребли нашим неводом в один прием уйму рыбы. Всех больше!

То была сельдь.

Да, начальник милиции немного ошибся в своих догадках: к берегам подошла не мойва, не наживка для яруса, а сельдь. Молодая, серебряная, с отливающими зеленым золотом спинками, нежная, жирная сельдь.

Все обстоятельства сулили богатый улов. Десятки тонн сельди в одну ночь, за каких-нибудь два-три часа.

На отмель сбежалось все население Териберки от мала до велика — помогали, мешали, орали, тащили рыбу в корзинах, в ведрах, в кастрюлях, в фуражках, в подолах; каждый по мере своей смекалки тащил малую толику рыбы к себе домой: все равно же это была брошенная рыба, она засыпала на отмели, вывалившись из невода мимо карбаса, ее не успевали подбирать рыбаки, торопясь вновь и вновь забрасывать невод.

Нагруженные выше предела карбасы тяжело уходили в глубь Лодейной губы на консервный завод. Трюм ёлы «Красной Армии» был тоже полон,— ёла торжественно отправлялась на завод.

Но страда продолжалась.

Сельди в море не убывало. Серебряными стежками шила сельдь поверхность моря, выпрыгивая из воды вкось,— в этом была особая привлекательность и для людей и для чаек: люди угадывали по скачущей сельди — в этом месте стоит большой косяк рыбы, густая масса, крутая уха, которую не повернуть не то что ложкой, но и веслом; а чайки, давно успевшие набить до отказа зобы, хватали летающих этих селедок и продолжали глотать и глотать их с неутомимой жадностью.

Многочисленность, всеобщее оживление, страстные выкрики, сновавшие взад и вперед лодки, задорный смех — вся эта веселая суматоха в ночи, освещенная словно бы искусственным, незакатным солнцем, казалась нарочно устроенным в ночь на 8 июля мурманским карнавалом.

Обсыпанные с головы до ног карнавальными блестками рыбьей чешуи, мы уже два часа метались

вдоль берега, перескакивали через чужие снасти, жадно тянули свои, путаясь временами от нетерпения и азарта.

Это был настоящий сельдяной карнавал, больше не с чем его сравнить!

Но вот пришло первое разочарование, и жаркое наше усердие охладилось: карбасы вернулись с консервного завода не разгруженные — завод не может принять сельдь...

Общее возмущение:

— Как не может? Почему не может?

— Директор отказал.

У всех опустились руки. Куда девать сельдь? Через десять часов она стухнет. Именно потому, что она нежная, жирная...

Мы с начальником милиции были разобижены и ушли раньше других домой спать. Мы так устали, что и клопы нам не могли помешать.

Утром я поспешил на консервный завод. На директора я сердился, но втайне желал, чтобы он сумел оправдаться. И он оправдался: завод был сполна загружен треской — никто не ожидал нашествия сельди, — возможности же у триберского завода малы.

— Что теперь рыбаки станут делать с сельдью? Выбрасывать в море чайкам?

Директор захохотал, прикрывая рот консервной банкой:

— А хотя бы и так... Шучу! Сельдь увезли в Гаврилово. Три часа пути. Засолят, не бойтесь.

— Засолят? Серьезно? А я считал — теперь нашей сельди крышка!

И прикрывшись тоже консервной банкой, я сделал вид, что захохотал над своей обмолвкой: уж очень велик был контраст между ночным карнавалом и дневной явью. От директора мне звонить в Гаврилово и проверить было неудобно, я позвонил из сельсовета и лишь тогда успокоился: сельдь спасена. Может, испробую этот улов когда-нибудь в Ленинграде!

ПЕРЕЛЕТНЫЙ ПОГОСТ

Очерк

По виду — ни моложе, ни старше своего возраста, что встречается, как ни странно, не так уж часто.

Двадцать три года. Высок, чуть сутул. Длинные ноги и узкая талия. Темноволос. Широко расставленные глаза, очень внимательный, порой даже пронизывающий взгляд. Тонкое птичье лицо словно оттенено — словно бы рясой! — черной сатиновой косовороткой.

Страстная эта внешность средневекового проповедника явно противоречит его профессии: Леонид Иванович Коршунов — мурманский грузчик. Может, из-за этого несоответствия он и ушел так легко от шума и пестролюдия порта — в глушь Кольской тундры?

Отгоняю вздорную мысль и чересчур произвольные сравнения.

Леонид Коршунов, мой тезка, ровесник и, очевидно, во многом единомышленник, — прошлой зимой еще грузчик, теперь председатель лопарского погоста, — сидит перед костром у входа в свою вежу, жарит на сковородке треску. Подле, в дымной тени, примостились четыре лопаря, играют в домино.

Этнографический пейзаж и жанр...

Позади и с боков — голые каменистые горы. Впереди — горный берег реки, километром ниже впадающей в океан, семью километрами выше — гремящей териберским падуном, где весной рыбаки ловят семгу. Мы — в закрытой от ветра зеленой ложине. Пять насквозь прокопченных, цыганского вида палаток — это летние вежи. Три шалаша, обложенные дерном по сучьям, — это тоже вежи, но зимние, иначе — куваксы. Высокие, узкие, крепко и грубо сбитые сани — нарты. Их полозья изодраны: месяц назад на них ехали через тундру и, что самое трудное, переваливали через гранитные, почти уж бесснежные летние горы.

Все это вместе — вежи, куваксы, нарты — часть кочующего погоста. Погост — лопарская деревня.

Лохматые черные псы (опять же цыганского вида) бесшумно ходят на карауле. Вот сию минуту один из них подошел ко мне и равнодушно куснул слегка за икру. Мне не больно, я вопросительно смотрю на Коршунова: всегда ли так безобидно кусаются их собаки?

А пес уже направился к игрокам и, неловко ласкаясь, свалил на землю все костяшки домино. Какой шум тогда поднялся! Игроки переполошились, как дети. Вскочили, поскидывали зачем-то шапки наземь, все враз заорали и принялись тузить собак.

Мы с председельсовета хохотали над происшествием, забыв про свою треску: тонкие ее ломтики дымились на раскаленной сковороде, закручиваясь, как береста.

Но хватит смеяться, пора завтракать:

— Двенадцать часов.

— Ночи? — Я так привык к здешней «ночи»...

— Нет, дня. Сейчас ровно полдень.

Мы пригласили к «столу» обиженных игроков. Пьем чай, едим треску. Коршунов мне рассказывает подробности своего приезда к лопарям для советской, колхозной и культурной работы.

Его прислал Союз местного транспорта. Вдвоем с товарищем они прибыли в Ловозерский район в Вороний погост. С большим, с превеликим трудом удалось сбить колхоз: кулацкая агитация у лопарей достигает огромной центростремительной силы. Вся жизнь погоста сосредоточена вокруг крупных оленевладельцев: от рождения до смерти бедняк лопарь находится в материальной и моральной зависимости от кулака и привык считать эту зависимость вечным, непреходящим законом, а кулака — исконным благодетелем и советчиком во всех своих делах. Даже в семейных.

Можно судить, каково пришлось нашим агитаторам! И все-таки классовое расслоение им в конце концов удалось провести — подействовали на бедняцкое самолюбие, доселе дремавшее.

И вот в марте 1930 года девятнадцать семейств из двадцати шести задорно, в пику своим «благодетелям», вступили в колхоз.

— Мол, мы уж не дети. Плевать мы хотим на них. Не боимся!

Впрочем, произнося вслух (или про себя) — не

боимся! — на самом деле перепугались... Но было уже поздно: решено и подписано.

Кулаки в свою очередь ужасно разволновались (хотя административных мер к ним не было принято), пустили в ход самые разные средства, от угроз и запугивания до угощений и ласки. Но новоиспеченные колхозники неожиданно оказались устойчивыми. Вернее усидчивыми, ибо сами они про себя говорят: «Мы сели в колхоз... А вот когда мы сели в колхоз...»

Колхоз у них пока небогатый. Можно сказать — бедный колхоз. А народ они в общем веселый, много шутят. Один из игроков в домино (домино и шашки привез им в подарок Коршунов) потешно рассказывал нам о германской войне. Я слушал и удивлялся: сейчас перед нами он представляет в комическом свете своих военачальников, разыгрывает в лицах забавные сценки, а ведь тогда, по его же словам, над ним все, до последнего денщика, потешались, считали за дикаря...

Иду к вежам. Навстречу попадают девушки, одетые в шелковые платья... Странно видеть, как из закопченных палаток выскакивают румяные, шуршащие цветными шелками девушки, смотрят на меня и смеются. Возвращаюсь к Коршунову и спрашиваю очень серьезно:

— Не думаете жениться здесь на лопарке?

— Нет, — отвечает он так же серьезно и смотрит вслед девушкам. — Нет. Я женат. Жена моя в Мурманске. Она работница, комсомолка. Мы с ней только успели пожениться перед моим отъездом в Вороний погост. Очень сердилась — зачем я поехал. Недавно получил от нее письмо: написала — скучает, хочет приехать ко мне. А куда это, спрашивается, ко мне? Мы, как цыгане, летаем.

Ага, думаю, и тебя соблазнило сравнение с цыганами. Эх ведь привыкли мы, среднероссы, к этой народности по литературе, по сказкам. Цыгане! Мало ли есть других кочевников. А с цыганами — никакого сходства. Лопари — скотоводы, промышленники, владельцы прѣвосходных оленей.

Сижу я с Коршуновым до вечера, все время пьем чай. И все время неистово пьют нашу кровь комары. Ох, эти кольские комары, только дым их и отгоняет, и то не очень...

По правде сказать, личность Коршунова меня интересует сейчас больше, нежели его лопарский колхоз, тем более что здесь, в Териберке, присутствует лишь третья часть погоста. Чтобы ближе с ним ознакомиться, надо ехать в Ловозерский район, родину и зимнее местопребывание моих териберских знакомцев, и жить там не один месяц. И оленей их я теперь не увижу: бродят они по тундре и лишь иногда, по ночам, приходят к устью реки Териберки — попить морского рассола, разбавленного пресной речной водой. Попробуй, подкарауль их за двое суток!

Крупные оленеводческие колхозы, я знаю, находятся на острове Иоканьга, в сотнях верст от Териберки, нынче мне туда не попасть.

Итак, у лопарей я сегодня в роли гостя, не больше. Заходил я в их вежи, где сидят, рукодельничают пожилые лопарки. Спрашивал — разве не веселей, не удобней жить в избах? (На Белом море, на Терском берегу, я слышал, лопари живут в избах.) Нет, отвечают, в вежах жить веселее. В избе и огонь разложить негде, и слишком просторно. А здесь в тесноте, да не в обиде.

Да, теснота. На пяти квадратных метрах жилплощади спит семья человек в двенадцать! Спать тут — это вредный цех. А дым? Я попросил женщину показать мне ее «иглицу-пояс» — своеобразный несессер для шитья, искусно смастеренный из кожи и бисера, — и хотел шутя вдеть нитку в иголку. Увы, я не смог вдеть нитку в иголку — заплакал горячими слезами: проклятый дым!

Лопарки мне показались серьезнее и, пожалуй, развитее мужчин. Очень сочувственно относились они к тому, что Коршунов по собственному почину принялся этим летом обучать ребятишек. Обычно бывает так, что в продолжение пяти зимних оседлых месяцев ребятишки учатся в своем Ловозере, в настоящей школе, а в остальное время успевают позабыть все зимние науки. Коршунов решил стать репетитором: повторяет с ними «зады», объясняет и кое-что вперед.

Не хочется мне называть моего тезку и сверстника культуртрегером. Слишком прежде это слово. Маячат за ним какие-то лоскутки филантропии от нечего делать. А нового слова, слова с новым смыслом — нет. Коршунов не считает свою деятельность хождением в народ. Он за несколько кочевых месяцев так сжился

с перелетным погостом, что, пожалуй, можно принять его скорее за лопаря, обретшего культуру и не потерявшего национальную непосредственность природы, чем за городского, коренного русского рабочего, пришедшего в тундру цивилизовать кочевников. Вот тебе и внешность средневекового проповедника.

И все-таки, все-таки думается, что кроме всего он еще и романтик! Чуть-чуть, да романтик... Потому и под стать ему дикая кольская природа.

Кстати, он обмолвился, что хотел бы сам написать о Вороньем погосте очерк и прислать в Ленинград. Оттого, может быть, я и счел за лучшее воздержаться писать о нем и его колхозе подробнее. Подождем, сам напишет.

Кольские комары его дольше кусали.

1930

ПРАВО НА СЕВЕР

Очерк

ЗАПАХ РУССКОЙ СОСНЫ

Снова Мурманск. Снова — около
Колы...

Мурманская гостиница, одержимая сквозняками, номер с окном на залив, на порт, на вокзал, портьеры, тяжелые и плотные, как театральный занавес, — снова все это было к нашим услугам.

Ровно сутки мы приводили себя в порядок, себя и наши черновые записи, а в самом начале следующих суток, в первом часу ночи, нам позвонили из морского контроля и предложили — не хотим ли мы через полчаса выехать в Александровск: «Через полчаса! Бот биологической станции уходит через полчаса! Ровно через полчаса! Если хотите успеть...» Через десять минут мы бежали уже по ночному Мурманску в порт.

Ночной Мурманск не отличается от дневного: то же солнце, тот же песок. Ох, этот песок! Видеть и осязать его, задыхаться от него и чихать, отлично зная однако, что ты не на юге, а в самом северном городе. На улицах песок, на территории порта песок, тут песок, там песок... Будка морского контроля стоит на песке, дом управления портом построен на песке.

Но пройдя будку морского контроля, пройдя от нее сто шагов в глубь порта, оказываешься совершенно в иной стихии: здесь господствует дерево. Идешь по дереву, дышишь деревом, пугаешься дерева, ибо над головой висят и качаются на цепях и на тросах подъемных кранов связки бревен — вязанки весом в тонны и тонны.

Панически шарахаешься от этих вязанок в первый час пребывания в порту, через час слегка привыкаешь и прыжки в сторону становятся менее судорожными — делаешь лишь уклончивые полшага, вместе с тем зорко присматриваясь к качающемуся над головой деревянно-

му грузу, а к концу дня так осваиваешься и смелеешь, что гуляешь под этими тоннами без малейшей тревоги за голову, словно она у тебя тоже деревянная.

Все эти стадии обывкания мы прошли еще в самом начале нашей мурманской жизни, месяц назад, и сейчас вели себя привольно и резво. За пару минут мы пронеслись вдоль всей линии причала, мимо черных бортов девяти лесовозов — голландских, норвежских, германских, английских и датских, — торопившихся погрузить лес и уйти, уступив свое место в причальном ковше десятку других иностранцев, стоявших пока в очереди на рейде.

Скоро Мурманский порт расширится, в нем оборудуют новые причалы, скоро очереди на рейде не будет; пока же приходится всем этим одинаково грязным, дымящим, сумрачным лесовозам терпеливо ждать. Ничего не поделаешь, доски-то ведь нужны родной Дании, оголенные от коры метровые круглые чурки (баланс) позарез нужны милой, уютной, но почти безлесной Голландии. Неприязнь, непривычка к русским очередям побеждены выгодой и необходимостью. Запах русской сосны и русской осины стелется по всему миру. Мы гордимся тем, что вдыхали конденсат этого запаха в Мурманске.

НОЧЬ, ТИШИНА, УТРО

В час ночи мы покинули Мурманский порт: снова Кольский залив, как широкая река, понес нас к океану.

Наш бот был старинного склада, большой, неуклюжий. Но для нас, пассажиров, он представлял некоторые удобства: его кубрик порадовал нас своей вместительностью, когда мы, озябнув на палубе, спустились вниз познакомиться с капитаном. Машину на этом судне нам аттестовали как полуразвалину. Вдруг шторм, и вдруг станет машина! Впрочем, нас успокоили, сообщив, что киль этого бота достаточно тяжел — пятьсот пудов, — стало быть, судно отличается отменной остойчивостью (не путать с сухопутной остойчивостью).

В Александровск мы прибыли в пять утра. Бот был тихоходный, 60 километров смог покрыть лишь за четыре часа. С чувством блаженного узнавания, повторения наизусть, мы увидели опять Кольское устье, выход в открытое море, седоватый в тумане остров Седоватый,

грозно-лиловые скалы материка на восточном его повороте к Кильдинскому проливу, серый западный берег, неширокий вход в тихую, умиротворенную Екатерининскую гавань.

На полчаса нас взяла океанская штилевая волна, широкая и пологая, — с удовольствием мы опять ощутили эту покойную качку, с которой расстались лишь сутки назад... И вот узкая бухта, промежуток между Екатерининским островом и берегом Кольского залива. Открыта она с северо-запада, поэтому, как бы ни было сильно волнение в океане, в гавань оно не заходит.

Екатерининский остров — остров только на время прилива, во время же куйповы в юго-восточной части гавани между «островом» и берегом залива обнажается довольно широкий перешеек — перейма. Через переимку перекинут мост не слишком капитальной постройки.

Гавань действительно тихая. Каждому путешественнику подарено один раз за все дни его путешествия испытать необыкновенную тишину. Принято в этих случаях красиво писать: «Я слушал эту хрупкую тишину. Она была единственной на земле!» Да, именно так, это не преувеличение. Только одни слушают тишину где-нибудь в казахских степях, другие в горах Тибета, третьи в Англии в воскресенье, четвертые в будний день в Детскосельском парке.

Мы услышали ее в Екатерининской гавани, ранним утром. Ах, какая это была тишина! (Крик чаек не в счет.) Иронически можно воспринимать тишину лишь чужую, испытанную другими. Шутки в сторону, когда говоришь о своей! Мы слушали ее под окнами столовой на берегу, дожидаясь начала рабочего дня на биологической станции.

День начался в шесть утра. Вышли сезонники на работу — чинить крышу, строгать новые рамы, выгружать тес с нашего бота. Сезонники были тверские, псковские. Вышла на крылечко столовой стряпуха, позвала рукой чай пить. Стряпуха была псковитянка. Чайки летали совсем низко над ее головой, как псковские ласточки перед дождем.

Сезонники пошли пить чай. Научные сотрудники биостанции пошли пить чай. Мы пошли пить чай. Это был уже день. Колокол на биологической станции звонил к завтраку: день, день! Наш день должен был распределиться так: 1. осмотр города; 2. осмотр биостанции; 3. восхождение на окрестные горы. Что и гово-

рять, распорядок типично туристский! Нам самим это не нравилось, но как иначе, с большей пользой распределить свое время бездельному пришлому человеку? Александровск — город не производственный, производственного очерка здесь не напишешь. Непременно получится очерк туристского образца — без целенаправленности, без отражения классовых интересов. Никаких неожиданностей, заранее установлен порядок. Да и экзотика нам знакома — по Териберке, по Кильдину. Что касается биостанции — учреждение это, конечно, почтенное, но какие в нем могут быть столкновения классов? Заброшены люди на край света и делают свое ученое дело...

После чая мы прочитали в стенгазете стихи, принадлежащие перу научных сотрудников. Серьезнее прочих стихотворных забав нам показалась одна — «Персей». Мы знали, что «Персей» — специальное судно Океанографического института, ходившее в более или менее дальние экспедиции. В оде содержались, например, такие строфы:

Сквозь зыбь волны открыт «Персею»
Весь тайный мир морского дна.
Вперед, «Персей», на норд смелее,
Земля там Гарриса видна!
Нам с кромки льда тюлень ленивый
Кивает круглой головой,—
Скорее, штурман, мимо, мимо,
На Север путь мы держим свой!

Город Александровск расположен в полутора километрах кошмарно каменистой дороги от биостанции. Горы и вовсе далеко, на Екатерининском острове, идти туда надо через переюму. Между тем осмотр биостанции как раз стал для нас сейчас затруднительнее других намеченных предприятий: оказалось, что у сотрудников сегодня выходной день и, напившись чаю, они разбрелись — кто куда, ускользнув от нас, зазевавшихся на стихи в стенгазете.

Это, разумеется, полбеда, уж как-нибудь расстарались бы, поймали бы одного-двух сотрудников, упросили бы показать станцию... Но тут упало, как снег... помогите мне освежить сравнение! — как мурманский, как полярный снег на голову, — одно неожиданное событие. Оно смяло, скомкало наш туристский, наш пресный план, населило вымершую было на весь день биостанцию скопищем интересных людей, несказанно оживило

нас самих, прогудело на весь Александровск, на всю Екатерининскую гавань! Вернулся из месячного плавания во льдах «Персей»! Да, да, тот самый «Персей», герой оды...

Спящие восстали от сна, ушедшие в горы скатились с гор подобно лавине, писавшие письма родным в Ленинград и в Москву — захлопнули крышечки чернильниц и отбросили ручки (по-московски — вставочки). Все сбежались на пристань. Чумазую угольную пристань, которую прежде никто не хотел замечать, теперь осаждали с бою.

От описания встречи уклонюсь, боясь впасть в сентиментальность.

**ОН АКАДЕМИК, ОН ГЕРОЙ,
ОН МОРЕПЛАВАТЕЛЬ, ОН ПРАКТИК**

«Персей» — героическое судно.

Он построен в годы тяжелой разрухи и был первым советским судном, спущенным на воду сразу же после гражданской войны.

Начиная с 1923 года, он совершил более 25 экспедиций, прошел многие тысячи миль, исходил все морские тропинки в Белом, Баренцевом и Карском морях. Собранные им научные материалы огромны: благодаря им стала ясна общая картина Баренцева моря, такого капризного и такого богатого. Последние рейсы «Персея», которые он совершил, заключив договор с Севгосрыбтрестом, имели целью составить рыбную карту Баренцева моря. Вот конкретный пример: до сих пор советские траулеры совершенно не пользовались Шпицбергенской банкой, а уже нынче, основываясь на данных, добытых «Персеем», Севгосрыбтрест направил туда свои тральщики. Вот и в этот свой рейс «Персей» открыл новые рыбные районы. Словом, работы ему хватает по горло — по самые трубы...

Впрочем, труба у него всего одна. Серая, с синими полосками. И вообще внешний вид «Персея» весьма невзрачный: облупленный непогодами, низкорослый. Когда он пристал к нашей пристани, мы с удивлением увидели, что даже ей, чумазой, он не под рост: борта его ниже ее краев почти что на метр. Водоизмещение «Персея» — 280 тонн, машина на нем — в 360 лошадиных сил, скорость хода 7 миль в час.

Странно, не правда ли, что такое суденышко счита-

ется испытанным ледоколом? За примером ходить недалеко: «Персей» сегодня вернулся из ледового странствия — ходил изучать на практике взрывчатые свойства термита и аммонала. Эти вещества скоро будут применяться во льдах для свободного прохода судов. За границей они в ходу давно, но не все рентабельны, надо выбрать наиболее подходящие.

После обеда должен был состояться доклад начальника экспедиции о проделанной во льдах экспериментальной работе, мы непременно должны его послушать. Мы радостно сознавали, что план наш окончательно завалился: через три часа доклад, после него околоэкспедиционные разговоры, потом демонстрация свободного горения термита и, наконец, после всего — мы вместе с экспедицией отправляемся в Мурманск. («Персей» идет туда по служебным делам.) Как же тут выбрать время для восхождения на горы?.. Но пока, до доклада, мы все же отправились побродить по Александровску.

ЮМОР ПРИРОДЫ

Городок расположен на западном берегу Екатерининской гавани. Живописность — единственное его преимущество. Ничто не напоминает о его недавнем административном значении: уездный центр всего Кольского полуострова, занимающего 130 тысяч квадратных верст. С тех пор даже число домов в городе успело убавиться — перевезены в Мурманск. Авторитет переехал еще раньше... Лишь в одном отношении Александровск может быть совершенно спокоен: его живописность никуда не перевезти, это поистине недвижимое имущество: вечная красота!

Из чего она состоит? Казалось бы, из нехитрого сочетания неба, воды, гранита и жилищных неудобств, связанных как раз с тем, что всюду из земли выпирают гранитные утесы и скалы, облитые вместо травы потоками зеленого мха. Чайка, летящая на буро-зеленом фоне утесов и машущая прощально крылом, похожа одновременно и на что-то печальное, без названия, и на белую собаку, быстро бегущую по карнизам многоэтажных скал и вскидывающую на бегу задом... В странных сходствах проявляется юмор природы, ее желание подшутить. Над кем? Над собой или над человеком? Пожалуй, только над нами, приезжими, — местные этого юмора не замечают, привыкли.

Осмотру станции мы посвятили все оставшееся время до начала доклада. Полярный музей и большой, чрезвычайно эффектный аквариум, вместивший в себя животных и растения, населяющие Кольский полуостров и Баренцево море, развернули перед нами свои богатства. Это была настоящая шехерезада морского дна!

Но, любуясь этой увлекательной шехерезадой, мы не забывали о главном — выяснить, насколько прочно и органично сплелась научная работа биостанции с практическими нуждами и требованиями края, с его промышленным планом. Как нам кажется, мы увидели эту связь наглядно. Вот несколько примеров.

Станция долго и кропотливо изучала морские микроорганизмы, миллионами кишачие в воде. Какая тут связь с практикой? Самая тесная. Эти микроорганизмы служат единственной пищей мальков (личинок рыб), следовательно, от насыщенности данного района микроорганизмами зависят и его рыбные богатства. Или, скажем, изучается планктон — мельчайшие животные придонной фауны. Скопление в данном месте планктона является в свою очередь непосредственной причиной скопления косяков промысловой рыбы.

Еще пример. Известно, что температура Гольфстрима влияет на подход к берегам и размножение рыбы. Полградуса выше, полградуса ниже нормы — и уже явственны вредные результаты: рыба подходит к берегам позже, потомство уменьшается и ухудшается. Значит, изучая Гольфстрим, станция может предсказывать урожай трески и время подхода ее к берегам. Разве все это не имеет самое непосредственное отношение к рыболовной практике?

Кроме того, станция помогает выработать лучшие способы консервирования мурманской рыбы. Это уже в полном смысле слова заводское производство. Кто может сказать, в чем она еще может стать первым помощником и советником? Ясно одно: роль и значение станции будут все возрастать.

ПОСЛЕ ДОКЛАДА — ФЕЙЕРВЕРК

Полюбовавшись еще раз аквариумом, всеми его уродами и красотками морского происхождения (особенно полюбился нам морской заяц необыкновенно сонного вида, точно страдающий флюсом), мы поспешили на доклад начальника экспедиции «Персея».

Доклад происходил в столовой. На стенгазетной доске были навешаны карты, по рукам слушателей ходили многочисленные фотоснимки. Начальник обрисовал условия, в которых происходила экспедиция. Лед встречался чаще мелкий и влажный, набухший водой; как выразился докладчик — состарившийся, прямо-таки при последнем издыхании, казалось бы, тхни — и развалится. Но оказалось, что термит такой лед плохо взрывает, аммонал действует лучше, что следует учесть готовящейся сейчас Карской экспедиции. Кстати, термит пригоден зато для пресных льдов — речного и айсбергов.

После доклада и премий, уже совсем ночью, — увы, июньской, солнечной — состоялся фейерверк. На открытой каменистой площадке жгли аммонал. Он горел, как смола, — это было эффектно, но не страшно.

ПРАВО НА СЕВЕР

На «Персее» мы возвращались в Мурманск. Это вторая была бессонная ночь подряд; спутник мой, Александр Гитович, был мрачен, молчал, — не понять, не то сочинял стихи, не то просто боролся со сном. А я с упоением наблюдал, как на палубе судна делили шкуру белого медведя... Я не шучу: во время экспедиции был убит огромный белый медведь, и сейчас, расстелив его шкуру на палубе, научные работники что-то измеряли, о чем-то спорили. Может, взаправду делили?

Мы долго с Гитовичем стояли на палубе. Жаль было упустить случай еще раз взглянуть на Кольское устье. Солнце еле виднелось за утренними тучами, было ветрено и тоскливо. Невольно думалось: завтра конец. Конец нашему путешествию. Сядем в «Полярную стрелу» — и через три дня будем дома...

Рядом с нами стоял участник экспедиции Владимир Иванович Арнольд. Все мы трое молчали. И вдруг, перед

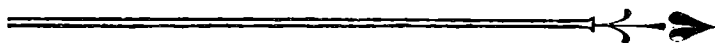
тем как спуститься в кают-компанию, Владимир Иванович сказал, показав рукой на лиловые скалы:

— Какие обаятельные очертания гор!

Мы с Гитовичем невольно переглянулись. Оба подумали об одном: мы никогда не осмелились бы произнести всерьез слово «обаятельные», да еще в применении к диким мурманским скалам. Такое банальное, банально-комплиментарное слово! А вот Владимир Иванович, нимало не сомневаясь, сказал, сказал с чувством, и как хорошо это у него вышло... В чем дело?

Наверное, в том, что мы как-никак заезжие, завтрашним ветром нас отнесет в сторону, и кто знает — приведется ли нам, горожанам (возможно, с эстетским душком!), еще раз здесь побывать. А Владимир Иванович — человек навсегда северный, и если уедет, то на время, снова сюда вернется: он давно заработал себе право говорить о здешних местах, не затрудняясь в выборе слов. Словам его возвращается первородная свежесть — и это тоже право на Север!

Июнь — июль 1930



КУПЧИХА УТИЛЬ

Рассказ

Александр Гитовичу

Ответственные стояли на ките. Их было пятеро: четверо мужчин, одна женщина. Они представляли четыре хозяйственные организации города.

Вокруг туши расположились прочие участники торжества. У хвоста — отряд пионеров, справа у головы — военный оркестр. Раздутые в неподвижности щеки у трубачей — ужасали. Мальчик барабанил, как вкопанный.

Ответственные соответственно улыбались, взявшись за руки; для мурманского мая они одеты довольно прохладно, «а ля макинтош», как говорит Михай, — именно а ля макинтош...

Один из них очень толст. Он настолько громоздок, что присутствующим, наверно, кажется, будто каблучки его сапог глубоко врезались в китовую кожу и кожа вдруг с треском лопнет.

Кит же не производит впечатления тяжести — кит точно дутый — кит похож на аэростат.

Если ссадить на песчаную отмель излишне балластного толстяка, вполне может статься, что аэростат этот отделится от земли и полетит над заливом, унося на себе четверых ответственных. То-то будут стараться они сохранить между собой равновесие — равновесие четырех хозяйственных организаций!

— Киты на ките, — с толком пошутил сейчас иностранец и ткнул заостренным сверкающим ногтем в ответственного. (Иностранец, по-видимому, хорошо знает русский язык, раз он может на нем так шутить.)

— Киты города на ките! — повторяет он и смеется. Он поднимает за уголок фотографию и смеется. Постукивает фотографией по столу и громко смеется, уверенный в крепости своего каламбура.

Наконец, прячет карточку в шегольский блокнот.

Михею немного досадно, что мурманцы послужили посмешищем для иностранца. Детское их тщеславие Михай понимает.

«Что ж тут такого? — думает он. — Можно убить крокодила и сняться в обнимку с ним. Это практикуется во всех странах. А ты попробуй, убей».

Он с досадой угадывает: не раз еще иностранец вынет карточку из блокнота, чтобы показать ее своим знакомым и погромохать вместе с ними отрывистым заграничным смехом.

У иностранца профессорский вид, сухой и стандартный, и типично профессорская жена — милая-милая, мягкая-мягкая, с усталым-усталым лицом; приспособлена для того, чтобы смягчать независимый жесткий характер своего мужа, оберегать его от гражданских потрясений и разрезать ему толстые ученые книги — узким, матово-теплым в руке, удобнейшим в мире ножиком, слоновой кости или... китового уса?

Печально улыбаясь, она сидит сейчас в глубине кубрика, милая-милая, мягкая-мягкая и так далее...

Михей смотрит на нее с непривычной почтительной нежностью.

Ноги ее укутаны пледом, на плечах ее — плед, сидит она на сложенном вчетверо пледе на койке: милые-милые, мягкие-мягкие пледы окружают ее привычным теплом и нежностью.

Трое в кубрике — Михай и профессор с женой — отогреваются от полуночного солнца. Полчаса назад они были на палубе, грязной палубе этого скверного бота, — ходили, стояли, сидели, любясь мурманской июньской ночью, вдоволь намерзлись и спустились, наконец, вниз. Два часа назад они еще были в Мурманске в кабинете начальника порта — полустрогом и полутемном полуночном кабинете — просили у начальника разрешения отправиться им на боте биологической станции в Александровск.

Бот аттестовали им, как полуразвалину. Впрочем, сказали, что полуразвалина эта имеет одно преимущество: устойчивость ее очень солидна, киль весит около четырех тонн — шторм ей не страшен...

Сообщение это походило на четырехтонную шутку.

Свежераспиленный тес — доски и горбыли — вез бот в Александровск.

Команды на боте было всего трое: двое строгих и неподвижных на руле и в машине и капитан, весело

двигавшийся за троих — под казенными его сапогами доски и горбыли так кричали, точно судну пришла уже пора развалиться.

Моторчик постукивал, Кольский залив, как широкая река, нес бот к океану.

Залив был спокоен.

Иностранец на палубе был спокоен — не мигая смотрел на солнце, не мигая смотрел на жену.

Жена же — мигала: дремалось ей, наскучило неживое солнце, полуживая вода.

И Михай мигал: он не знал — заговорить ли ему первым с туристами, или выждать, когда они первыми обратятся к нему. Он не был знаком с ними, но еще в кабинете начальника порта их сблизила общая просьба. Что владеют они русским языком, было известно ему еще раньше: вчера встретил их в конторе гостиницы, распоряжающихся и пыльных — только что прибыли с поезда, гостиница, одержимая пыльными сквозняками, казалась им неудобнее поезда.

Бот был еще неудобнее.

Вот подул «ветер в зубы», все трое одновременно озябли, одновременно спустились в кубрик.

Женщина шла впереди, за нею — Михай; муж любезно отстал на три шага.

В кубрике было душно. На столе противно горела керосиновая трехлинейная лампочка убогой жести. Хотелось взять эту лампочку и идти с нею вон из кубрика на поиски лучших покоев.

В кубрике заговорили о кубрике. Потом — о палубе, боте, заливе. После — о Мурманске вообще.

Женщина долго еще не могла согреться.

Михай говорил о кубрике — смотрел на ее руки: озябшие идеальные руки типичной жены профессора. Говорил о палубе, боте, заливе, смотрел на ее щеки: озябшие идеальные щеки типичной жены профессора.

Когда заговорили о Мурманске, профессор показал, смеха ради, ту фотографию с китом и китами, купленную им вчера в Мурманске.

Посмеялись.

Женщина не смеялась. Она согрелась, укрытая тремя пледами, и задремала, сидя, прильнув щекой к верхней койке. Лицо ее было в тени.

Михай испытывал скромную нежность к этой тени, милой тени на мягкой усталой щеке.

После того как профессор вложил в блокнот фо-

тографию и кончил смеяться, Михей разглядел на бодрой и жесткой его щеке шрам — старый шрам возле правого угла рта, похожий на крупную складку. И, словно в чем-то вдруг усомнившись, Михей спросил, обращаясь к почетному шраму:

— У себя на родине вы преподаете в университете?

Спросил и в ту же секунду ясно увидел, что шрам был действительно крупной складкой у рта, похожей на шрам. Открывая рот для ответа, профессор еще более укрупнил эту складку. Профессор сказал очень веско и определенно:

— Я не преподаю в университете. Я — коммерсант.

— Почему же вы?.. — изумился Михей и, изумившись, поглядел — не на шрам: шрам не имел отношения ни к профессору, ни к коммерсанту, ни к любой профессии вообще, кроме охотничьей или военной, — поглядел на профессоршу, жену коммерсанта. — Почему же вы?.. — сказал Михей и запнулся.

— Знаю русский язык, вы хотите спросить? Потому что я коммерсант, — сказал коммерсант. — Потому что я представитель иностранной импортной фирмы, пять-шесть месяцев каждый год провожу в СССР.

Потом говорили о северных курортах.

Коммерсант высказал свое мнение о рентабельности такого курорта на Мурманском побережье, привел в пример Скандинавские страны.

Мнение было положительное: курорт был возможен.

— Вы турист? — спросил, наконец, он Михея.

— Турист.

— Москвич? Ленинградец?

— Ленинградский студент, — сказал Михей очень веско и определенно, и попробовал укрупнить свою складочку возле правого угла рта. Складка, он чувствовал, осталась такой же мизерной, зато укрупнилось что-то другое.

Другое это — было паузой.

Пауза укрупнилась до пятиминутных строгих размеров: иностранец развязывал сак и готовил постели — себе и жене.

Через пять минут он сказал одно слово:

— Спать!

И жена сразу проснулась. Продолжая сидеть на койке, она сняла плед с колен, поправила загнувшийся край плаща, улыбнулась Михею и мужу, прищурясь поглядела на лампочку и стерла тыльной стороной

согнутой милой ладони милую тень с милой щеки. На этом она успокоилась и опять было задремала.

Тогда:

— Спать! — сказал муж вторично и, повернувшись к Михею, любезно прибавил: — У русских есть много прекрасных пословиц относительно сна. Например: утро вечера мудренее. Будем спать!

— Будем спать, — согласился Михай.

— Да, да... — улыбнулась жена коммерсанта и послушно открыла глаза. — Спать! — Она окончательно пробудилась.

Стали укладываться.

Койки в кубрике с трех сторон окружали стол. Коммерсант лег на нижней койке справа от входа, жена — на другой нижней койке слева. Михай лег напротив входа.

Бот слыл тихоходным, до устья залива предстояло плыть еще часа три. Стало быть, три часа спать. Дальше нельзя спать: нужно подняться на палубу — посмотреть на грозно-лиловые скалы материка на восточном угловом повороте к Кильдинскому проливу, на серый западный берег, на вход в неширокую Екатерининскую гавань, на мелкую перейму, отделяющую Екатерининский остров от материка, на седоватый в тумане остров Седоватый, — на все.

Океан! Через три часа океан.

А пока: моторчик постукивал далеко-далеко, в кормовой части бота; в кубрике лампа мигала, гудела чуть; у Михея от вчерашней усталости, от дневного сегодняшнего беспокойства ныли ноги: нытье это было столь ощутимо, что Михею казалось, будто он его слышит ухом, как слышит гуденье (быть может, отсюда и пошло народное выражение: «ноги гудут?»).

Все это можно было условно назвать тишиной.

Прошло пять минут такой тишины.

Иностранец лежал, не мигая смотрел в книжку, иностранка спала, Михай думал.

Михей думал об иностранке.

Ровно через пять минут мысль его оборвал жест иностранца. Впрочем, жест был покойный, привычный: коммерсант всего только отложил книгу. Отложил, готовясь, быть может, заснуть.

Непосредственно за этим коммерсант произвел другое действие: он засвистал. Да, Михай услышал — свист.

Не вздох, не зевок, не храп, не носовой, наконец,

свист — нет, это был громкий искусный художественный свист, с толком произведенный губами. Глаза коммерсанта были открыты, не мигая он смотрел в никуда. Он не спал.

Он вновь посвистал на особый манер, точно выговаривая этим свистом слово «утиль», точно называя удивительное чье-то имя — Утиль.

— У-ти-иль!.. У-ти-иль!..

«Странное имя,— подумал Михей и скосил глаза.— Странное имя! Утиль! Зачем он свистит?»

— У-ти-иль! У-ти-иль!

Свист повторился четыре раза. После четвертого громкого свиста Михей увидел:

Симпатичная иностранка проснулась, приподнялась на своей койке, сбросила с себя пледы и сошла на пол. Улыбающаяся, как бы в гипнотическом сне, она медленно подошла к койке мужа, нагнулась и милыми сонными губами поцеловала его. Поцеловала его — Михей ясно видел,— поцеловала мужа в тот самый шрам, похожий на крупную складку, в ту самую складку, похожую на шрам.

Михей видел. Михей думал:

«Одно из двух. Или действительно коммерсант ее гипнотизирует и она сейчас никого и ничего, кроме складочки на щеке мужа, не видит, или супруги уверены в том, что он, Михей, спит».

Далеко-далеко моторчик постукивал, здесь в кубрике лампа убогой жести гудела чуть, и гудели Михеевы кости.

Женщина выпрямилась, повернулась лицом к столу, к лампе, и отошла от койки, направляясь в свой угол. Замедлив шаг, она выросла над столом, крупная покойная женщина, полминуты назад поцеловавшая мужа. Тень ее поднималась по лесенке к люку. Женщина и ее тень шли в разные стороны под углом.

Михей не хотел смотреть на ее освещенное снизу лицо, на медиумические ее (кто знает?..) руки.

Но вот она нагибается,— Михей смотрит искоса и, хотя искоса, но Михей ясно видит,— нагибается женщина не над койкой мужа на этот раз, а посреди кубрика, зайдя за стол, и шарит рукой по полу. Выпрямляется, шурша макинтошем, и кладет на стол — положила — подвинула ближе к середине стола, к лампе,— что? — Михей смотрит, уже не искоса, прямо. Михей ясно видит. На пестрой бело-синей клеенке вещица эта почти

неприметна, но Михей разглядел ее лучше, чем у себя на ладони. Это — оброненная им, потерянная четверть часа назад, перед сном, бело-синяя тубочка хлородонта.

Теория о гипнозе проваливается.

«Ай да медиум! — смеется Михей про себя. — Не видит, говоришь, ничего, кроме шрама!»

Гипнотическая теория провалилась.

Женщина повернулась открытым для света, для взгляда, лицом к Михею и говорит, мило коверкая букву «х»:

— Хлородонт... Это ваш хлородонт?

— Мой, — отвечает послушно Михей, — это мой.

Наступает условная тишина.

Шуршит макинтош, шуршат пледы, женщина укладывается спать.

— Благодарю вас, — говорит Михей через три минуты.

Молчание.

— Благодарю вас, — говорит Михей, спустя еще минуту.

Молчание. Ну, конечно, женщина уже спит. Она не дождалась его благодарности.

Михей не спит. Михей думает:

«Она видела, что я не сплю. Что это значит? Стало быть, это — культурная заграничная привычка: прощаться перед сном с мужем, где бы то ни было и никого не стесняясь? Да, очень просто».

Михей не спит.

Ночь. Опять лампа, моторчик, опять гудут ноги. Ночь: люк закрыт, в кубрике подобие ночи. Наверху, по доскам, прошлись казенные сапоги капитана. Ать-два. Шаги выпали из общего темпа — миганья лампы, моторчика, гуда Михеевых ног.

Ать-два. — Сапоги прошагали обратно к штурвальной будке. — Ать-два.

Тишина.

Нарушает тишину мысль:

«Чертов буржуй!»

И опять тишина. Сон.

Почему не спит он, Михей? Он мог бы давно уже спать. Спать не хуже этого чертова коммерсанта. Коммерсант давно спит. Михей мог бы давно уже спать не хуже. Но Михей не спит. А коммерсант спит.

Коммерсант видит сон:

Ответственные стоят на ките. Их пятеро. Представляют четыре хозяйственных организации города.

Вокруг туши расположились прочие участники торжества. У хвоста — отряд пионеров, у головы — военный оркестр. Раздутые в неподвижности щеки у трубачей — ужасают. Мальчик барабанит, как вкопанный.

Ответственные соответственно улыбаются, взявшись за руки. «А ля макинтош! — как говорит Михай. — А ля макинтош!»

— Нет, киты на ките, — говорит коммерсант. — Это я «а ля макинтош», а они — киты на ките.

— Макинтош, — возражает Михай.

— Киты на ките, — говорит коммерсант. — Они — киты на ките, а я — европеец, смеюсь над ними. Киты на ките.

«Не надо ему противоречить, — думает Михай, — а то он проснется».

«А почему не надо? — думает Михай. — Почему нужно, чтобы коммерсант не проснулся?»

«А попробую я, — думает Михай, — сам заснуть», — и хочет взглянуть на ручные часы, много ли ему осталось поспать до Кольского устья.

Но вместо того чтобы попробовать заснуть, и вместо того чтобы смотреть на часы, Михай вдруг начинает свистеть. Свистеть, как свистел тогда коммерсант. Имитировать этот громкий, художественный, с толком произведенный губами свист:

— У-ти-иль!

И еще раз:

— У-ти-и-иль!

И пугается. Стоп.

Полминуты тишины. Лампа, моторчик.

Еще полминуты.

«Ничего, ничего, — начинает успокаивать себя Михай, — все в порядке. Свистни еще раз, Михай. Свистни. Не бойся. Больше естественности и громче. Свистни. Она проснется. Она подойдет к тебе и поцелует тебя, Михай. Свистни! Она придет, будь уверен, со сна она не различит коек. Сонная, она пойдет на манок, по направлению свиста. Ну, свистни, Михай!»

Михай свистит.

— У-ти-иль! — свистит он. — У-ти-и-иль!

И еще раз:

— У-ти-иль!

Тишина.

«Еще раз, еще раз,— думает он,— свист уже прошел в ее сон. Она уже думает во сне: посвисти мне еще раз; посвисти мне — и я проснусь; ну, посвисти мне...»

Михей свистит.

— У-ти-иль! — свистит он.— У-ти-и-иль!

Кончилась тишина: шуршит макинтош. Михей взглядывает на койку коммерсанта: там все тихо, спокойно. Шуршит ее макинтош. Она приподнимается, сонная, на локтях, она выпростала одну руку из-под пледов и стирает ладонью тень со щеки. Милую тень с мягкой щеки. Глаза ее еще закрыты, блаженно закрыты («...и хорошо, что закрыты»).

Михей свистит.

— У-ти-иль! — свистит он.

Она скидывает с себя пледы, садится на койке.

«Милая-милая! Подойди, Утиль! Подойди, Утиль! Сейчас подойдет...»

— У-ти-иль! — старается Михей.— У-ти-иль!

Он не смотрит на ее койку. Он свистит и закрывает глаза. Потом открывает и взглядывает на стол.

На столе лежит хлородонт — бело-синяя туба.

На секунду он видит ее, эту тубу, яркую, как сигнал.

И вдруг замечает, продолжая свистеть с увлечением: свистит он сейчас — черт знает что!..

...Вместо слова «утиль», вместо имени миссис Утиль, он начал высвистывать... мотив «Яблочка»...

Случилось невероятное. Он еще всего не осмысливает. Но это невероятное продолжается. В самом деле. Это не сон.

Он свистит. Он свистит громче и громче:

— Э-эх, я-блоч-ко, ку-ды ко-тишь-ся... У-у-ти-и-и... у-у-ти-и-и... У-у-ти... У-у-ти-и...

Невероятное продолжается. Это не сон.

Он чувствует, что не может остановиться, он чувствует, что мотив идет, подступает... Проклятый, любимый... черт знает... любимый мотив! Катится — катится — прямо из сердца...

— ...у-па-де-ешь... про-па-де-ешь... не во-ро-о-тишь-ся!

Это не сон. На столе лежит бело-синяя туба.

Последним усилием он обрывает... Он обрывает «Яблочко» и хочет заставить себя опять свистеть имя Утиль, звать Утиль...

На столе лежит туба.

Михей оборвал.

Полминуты тишины. Общего темпа — лампы, моторчика. Тишина.

И — тишину пререзает визг. Вульгарнейший в мире женский визг.

Визжит женщина, похожая на идеальную жену профессора. Визжит, как купчиха... Милая, с усталым лицом... Приспособленная, чтобы смягчать... чтобы оберегать...

Визжит жена коммерсанта.

У Михея заходится сердце. Сердце Михея выпало из общего темпа.

Визжит буржуазка.

Михей с грохотом прыгает с койки.

Визжит буржуазка. Визжит и рвет пледы.

Страшно ударив по столу кулаком, Михей выбегает из кубрика: лесенка, люк.

Лесенка. Люк. Воздух.

Воздух! Палуба! Океан!

Грозно-лиловые скалы. Серый западный берег. Туман. Красное солнце как сердце в ночи.

Обеспокоенный, вылезает капитан из штурвальной будки. Ать-два.

— Истерика,— спокойно говорит Михей, подходя к капитану.— Буржуазная истеричка. Купчиха.

Они идут с капитаном по громкому тесу.

— Купчиха! — страстно говорит Михей.— Коммерсант! Ненавижу!

Постукивает мотор. Михей с капитаном идут к машине. Ноги Михея не гудут. Ноги стучат каблуками.

— Так себе люди,— спокойненько говорит Михей.— Сдать их в утиль.

Михей с капитаном идут обратно к штурвалу.

— Океан! — показывает рукой капитан.— Кольское устье.

Михей тоже хочет показать рукой, спросить что-то, но вдруг замечает: в руке его зажат хлородонт — белосиняя туба.

Посмеиваясь, кладет ее Михей в карман куртки.

— Океан! — показывает капитан.— Кольское устье.

Михей кивает головой и посмеивается. Он отступает почему-то на шаг и открывает рот.

— Э-эх, я-бло-чко-о! — запевает он и выжидающе смотрит на капитана.

Капитан согласно открывает рот: он готов грянуть. Он грянул.

Через секунду «Яблочко» поют уже двое: Михей с капитаном.

— Э-эх, я-бло-чко-о!..

Но этого мало. Здесь еще двое. Почему молчат те, двое строгих и неподвижных на руле и в машине?

Но они уже не молчат. Строгие подхватили:

— У-па-де-ешь... про-па-де-ешь...

Поют четверо.

— Э-эх, я-бло-чко-о, ку-ды котишь-ся...

Поют четверо. Впереди океан.

— У-па-де-ешь, про-па-де-ешь, не во-ро-тишь-ся...

Поют четверо.

Впереди океан, и грозно-лиловые скалы направо, и серый берег налево, и красное солнце как сердце в ночи. Это — Мурман.

«Яблочко» котится. Впереди океан.

Из люка высовывается профессорская голова коммерсанта.

Михей видит ее, видит складочку-шрам на коммерческом ненавистном лице, и сжимает в кармане кулак.

Потом извлекает кулак из кармана и разжимает пальцы.

Поднимается мятный запах: на ладони Михея лежит раздавленная концессионная тубочка хлородонта.

Коммерческая голова исчезает в люке, встревоженная, налитая встревоженным сном.

Тубочка летит в океан.

«Яблочко» котится в океан.

О-в Кильдин
1930

СТОЛБОВАЯ ДОРОГА

Рассказ

Ток был трехфазный: с одной стороны столба — два фазовых провода, с другой — фазовый, нулевой и включательный для уличного освещения. Пять проводов этих протянулись всюду, во все закоулки города, — не видно их только на побережье реки, широко обмелевшей за лето. Но пришла пора подать ток и на отмель, где идет лесовыгрузка: дни все короче, и с каждым днем ближе опасность заморозить бревна в реке, особенно в случае раннего ледостава. Чтобы успеть, придется работать не в две, а в три смены, — для этого надо осветить плес и пустить в ход электролебедки. Конечно, линия эта — времянка, но соорудить ее надо, и, как всегда в таких случаях, — срочно.

Два монтера, старший и ученик, нагруженные связками блистающих белизной изоляторов, брезентовыми сумками с инструментом и железными когтями для лазания, шли вдоль линии новопоставленных голых столбов. Эта линия ответвилась от городской трассы и напрямик, через огороды, спускалась по отлогому берегу к реке, а там в свою очередь разветвлялась — направо и налево по отмели. Монтеры дойдут сейчас до середины большого кооперативного огорода и начнут работу, расходясь в противоположные стороны. Первые два-три столба для ученика вообще будут первыми — его верховая проба. Старший сперва покажет, как это делается: влезет на столб, коловоротом просверлит гнезда, ввинтит крюки с изоляторами, младший посмотрит на это с земли, а на другой столб полезет уж сам, руководимый снизу наставником.

Они молча шагали по росистой меже, разделяющей участки. Несмотря на раннее утро и поздний сентябрь, солнце грело совсем по-летнему, и монтеры порядком вспотели под своей увесистой ношей. К лицу лепились летучие паутинки, в траве наперебой трещали кузнечи-

ки, пахло мятой, но младшему было ни до чего — его томили заботы. Не осрамиться бы, не уронить инструмент, не разбить изолятор! А если соскользнут когти? Шмякнешься тогда наземь с самого верхо-турья!

Младший действительно может быть назван младшим: он почти вдвое младше старшего, ему пятнадцать лет. Биография его пока ничем примечательным не означена: сын машиниста с городской водокачки, нынче окончил районную семилетку с кооперативным уклоном и сразу же поступил подсобным рабочим на электростанцию. Все лето копал ямы для этих самых столбов; на днях стал учеником монтера.

Старший — сын старого земского почтальона — и сам еще года три назад развозил по району почту, тряся по тракту в дождь и в ведро. Потом надоело сложа руки кататься, человек еще молодой — захотелось освоить какое-нибудь ремесло, однако с тем, чтоб по-прежнему целый день дышать вольным воздухом, трудиться среди природы. Дело нашлось тут же, на службе связи: стал работать монтером на телеграфных линиях. В прошлом году, когда местная электростанция увеличила мощность и стали набирать дополнительный штат рабочих, он решил расстаться с почтовиками — пошел на станцию линейным монтером. Нельзя сказать, что он гнался за заработком — работал здесь уже год и ничуть не стремился повысить квалификацию: отказался дежурить у распределительного щита, вообще не хотел работать на станции, а все лазал и лазал по столбам — навинчивал изоляторы, натягивал провода, ставил предохранители, привешивал фонари, — словом, электрифицировал город, точнее — его окрестности.

Дойдя до середины кооперативного огорода, монтеры сложили у подножья столба свой багаж. Вокруг зеленели гряды с капустой, морковью, свеклой, недавно прополотые, с аккуратно протоптанными тропками для поливки. Красная ботва свеклы, мохнатая зелень моркови, петрушки, укропа — все это сочное, мягкое, словно напрашивалось служить покойной подстилкой для глянцево-белых плодов изоляторов, бережно сложенных подле столба.

Старший монтер пристегнул к ногам когти.

— Видал? — сказал он ученику, распрямляя спину. — Видал миндал?

Он пошевелил рогатой ногой и снова нагнулся.

— Сыромять-стерва! — сказал он, пытаясь потуже затянуть топорщившиеся сыромятные ремни.— Пере-сохла, понимаешь, как...

Он прицепил к кушаку пять изоляторов на крюках, проверил содержимое сумки, потом раскорякой пошел к столбу.

Звякнула предохранительная цепь, которой он прижмет себя наверху за кушак, чтобы остались свободными руки, затенькали друг о дружку фарфоровые изоляторы, упруго запел деревянный столб под вонзившимся когтем, и через считанные секунды старший был наверху.

Здрав голову, смотрел на него снизу младший. Он заметил, что при каждом движении старшего свежевкопанный столб немного шатался.

— Качается! — озабоченно крикнул младший.

— Плевать,— отозвался старший. Он знал повадки своих столбов. Он настолько привык к ним, что по их пению от удара когтем мог безошибочно определить — сухостойное было дерево или зеленым срублено на корню.

По правде сказать, это его интересовало даже больше, чем то, что он делал. Работу там наверху он проделывал механически, не торопясь и не увлекаясь,— работали руки, даже глаза были не очень нужны. Глаза были нужны для другого. И вот это другое было для него и важно, и дорого, и за это старший любил свою профессию.

Удивительная вещь такой столб! Высотой он всего метров восемь, от силы двенадцать, однако открывает глазу отличную перспективу, позволяет видеть вокруг массу занятого и приятного. Вот это больше всего ценил старший: столб как бы возвышал его в его собственных глазах! Разве мог бы он увидеть с земли те дальние дали, что простирались за рекой, за поймой, за дубняком, за сухим болотом, поросшим мелкими сосенками (отец, помнится, называл такой сосняк мяндой)? Разглядеть узкую, синюю полоску леса на горизонте? Различить на ней вешку белой колокольни? А ведь там его родное село, и отделяет его от села ни много ни мало двадцать верст с гаком...

А взять ближнюю местность: весь берег как на ладони, сады, огороды, шиповник в полном цвету, рябина краснеет,— только дроздов на ней пока нет, пренебрегают хитрюги неспелыми ягодами...

В общем, что говорить, ему повезло, выбрал себе подходящую специальность. Он же в душе поэт — чем ему здесь не раздолье: дело делает — и красотой любителю! Правда, нравилась ему в свое время и почтовая служба. Сиди в тарантасе или в санях, смотри, дыши, наслаждайся. Нипочем пыль, дождь, мороз,— зимой спасает тулуп, в летнее время плащ с капюшоном: молодому все в пользу. Но в конце концов надоело: какого черта — почти каждую ночь спать не дома! Да и, откровенно говоря, захотелось поразмяться: слава богу, природа силой и ловкостью не обделила... очевидно, и батя с мамой постарались! Опять же поближе бы к веку техники...

Так и вышло. Взял однажды у приятеля, телеграфного монтера, шведские когти, попробовал влезть на столб, влез, понравилось... С тех пор лазает на столбы три года. Дело несложное: вонзит коготь в столб, придерживается за столб рукой, приподнимется с упором на одну ногу, вонзит другой коготь, перенесет упор на эту ногу, освободит первую, перехватится обеими руками, опять перенесет упор на другую ногу, вонзит коготь выше, опять приподнимется...— таким было его движение вверх.

Так и сейчас. Вот он уже наверху, перед ним протянулась привычная вереница столбов, которые он сегодня облазит,— это его обычный дневной путь, столбовая его дорога. Тот же путь позади, но уже пройденный,— та же привычная строгая линия, уходящая немного в гору (в город, к электростанции), что позволяет видеть и дальние столбы-вехи.

Он вытащил из рабочей сумки коловорот. Две минуты будет вгрызаться коловорот в древесину столба, после чего спрячется снова в сумку, а в свежее деревянное гнездо, сыплющее опилками, пахнущее смолой, будет завинчен крюк изолятора, звенящего фарфоровой юбочкой.

Старший пристегнулся цепью. Обе руки его освободились.

Младший внизу следил за его движениями, следил внимательно, хотя работа эта ему уже известна во всех деталях. Наблюдал ее много раз, но сам наверху еще не был, полезет сегодня впервые.

Но что старший медлит? Все смотрит на вытянутую по прямой цепочку столбов, любителю этой цепочкой, бегущей по зелени огородов, с наслаждением

дышит притом полной грудью и всеми порами тела и медлит...

Но вот закричал, оживившись:

— Смотри, смотри!

Мальчик и без того сверхвнимательно смотрит, готовый изучать по всем правилам НОТа несложные действия, но ведь действий-то нет!

— Куда ты глядишь? — кричит старший.— Вон туда гляди... туда, за забор!

Младший послушно переводит туда взгляд.

— Видишь? — говорит сверху старший.— Репей за забором растет... Огромнейший, братец мой, куст репья. Видишь?

— Ну и что? — с удивлением вопрошает младший.

— Под осень знаешь что будет? Щеглы прилетят на репей, весь куст облепят. Семечки станут лущить, они это знаешь как любят. Налетит щеглов туча тучей. Видал миндал?

— Видал,— говорит младший, переступая с ноги на ногу.

С минуту молчат. Старший опять начинает куда-то всматриваться.

— Э-э! — кричит радостно.— Легки на помине! Уж не они ли летят?

Он делает руки козырьком от солнца и отваливается назад, чтобы удобнее было наблюдать стайку птичек, летящую высоко над огородом.

— Нет, щеглы так не летают. Да и не время,— говорит старший разочарованно, но на всякий случай все еще всматривается в сияющее небо. Он отваливается до отказа на всю длину предохранительной цепи.

«Цепь не лопнула бы»,— хочет предупредить младший, но предпочитает молчать, так как знает, что старший ответит небрежно, рассеянно, как ответил на замечание о шатающемся столбе: «Плевать!» И он вправе ответить так, он опытный, он изучил все повадки столбов, проводов, инструментов, когтей, цепи — он старший, он может небрежничать и поплевывать.

...И цепь лопнула.

Младший услышал железный лязг и фарфоровый теньк и увидел неестественный дикий размах откинувшегося назад крупного туловища: едва успел увернуться от попадавших из открывшейся сумки старшего инструментов.

И вот старший уже висит вниз головой, извернувшись когти поддерживают его кое-как на столбе, сразу набрякшее его лицо с нацелившимся вниз большим лбом страшно,— кепка слетела, блуза задралась, обрывки цепи и связка изоляторов болтались у пояса, руки судорожно устремлялись вверх, машинально цепляясь за складки штанов, все туловище бессильно вздрагивало.

Старший хрипит.

«Сломал ноги! — мелькало в голове младшего.— Лодыжки вывернул? Что делать? Бежать за лестницей, за людьми?..»

До людей далеко, надо делать что-то немедленно, сию же секунду,— ведь человек гибнет!

Нащупав в сумке веревку, мальчик прыгнул к столбу, молниеносно привязал к ногам когти и — раз, раз — полез... Некогда было и просмаковать начало подъема — полез, точно век лазал!

Долез до старшего, лицо того все еще было искажено болью, испугом, шевелил он губами, как умирающий, порываясь что-то сказать.

Но слушать его было некогда; придерживаясь одной рукой за столб, младший живо продернул под кушак старшего веревку и полез с нею выше, стараясь не задеть своими когтями ноги и когти старшего. Добрался до верхушки, пристегнулся цепью, вынул коловорот, запустил его в столб — через две минуты гнездо было высверлено. Отвязал от связки один крюк с изолятором и стал ввинчивать в столб, в гнездо.

Ввинтил накрепко, накинул на крюк двойную веревку, продернутую через кушак висельника, слегка натянул, обернул ее вокруг столба несколько раз, продолжая держать в руке и натягивать, вынул другой рукой нож из сумки и, нагнувшись, осторожно обрезал тугие ремни, прикреплявшие когти к ногам старшего.

Тело встряхнулось и — повисло на веревке. Ноги были свободны от когтей, а когти свободны от ног — когти полетели вниз.

На один только миг младший струсил — веревка не выдержит! — в ту секунду, когда он обрезал ремни.

Веревка выдержала. Тело перекачнулось ногами вниз, ожило, замахало руками,— и вот уже живой старший висит рядышком, как и надлежит висеть на веревке привязанному к поясу — головой вверх, к небу, и уже тянется повеселевшим лицом к младшему. Пони-

мает младший, что тянется старший к нему поцеловать, поблагодарить, понял и говорит (первый раз за всю эту сцену падения и спасения произносятся человеческие слова).

— Да ну,— говорит младший,— чего там.

Затем начинает освобождать веревку.

Медленно скользит веревка по крюку, уступая тяжести. Старший поехал вниз, все еще молча, но уже ободрившись.

Младший решает спросить о главном:

— Как твои ноги? Целы?

— Кажется, целы,— неуверенно отвечает старший. Он уже коснулся ногами земли, но не решается встать и продолжает опускаться, пока не коснулся задом земли; тогда он сел и вытягивает вперед ноги.

— Занемели,— говорит он и с опаской смотрит на свои ноги.

— В больницу не надо тебя отправлять? — полушутя, полусерьезно спрашивает младший, а сам подумал: «Это его сыромять-стерва выручила: затяни он ремни потуже — наверняка покалечился бы...»

— В больницу? Кажется, не надо,— серьезно отвечает старший и пробует шевелить ступнями. Потом облегченно вздыхает, отваливается на спину, руки за голову, еще раз вздыхает и радостно глядит в ясное небо.

— Ну вот,— говорит младший сверху, поглядывая на старшего ласково и заботливо,— ты, значит, полежи, вздремни, а я dokonчу.

Младший уже не чувствует себя младшим, к старшему он относится как к товарищу, попавшему в беду. Беда эта прошла и теперь кажется немного смешной.

Он уверенно заносит вверх по столбу левую ногу, вооруженную когтем. Уверенно и бодро вонзает коготь, бодро, несмотря на то что у самого ноги ломит сейчас с непривычки и пережитых волнений.

Поднимается опять до вершины столба, примыкается цепью и достает из сумки коловорот. Один изолятор ввинчен для спасения погибающего, он же останется и для электричества, значит, нужно на этот столб вернуть еще четыре.

На секунду взглядывает перед собой, на секунду оборачивается назад: перед ним и позади него — вереница столбов, его столбовая дорога. Впереди, на отмели,

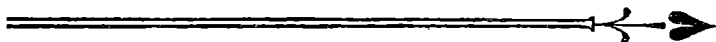
идет лесовыгрузка, которую надо непременно закончить до ледостава. Каждый день теперь дорог.

А позади него столбы-вехи ведут и к основной магистрали, которая в свой черед идет на электростанцию, где он скоро будет учиться сборке-разборке мотора, а потом еще чему-нибудь новому, а еще через сколько-то месяцев или недель станет у распределительного щита... Но он не отказывается и от «черной» работы: два дня назад он копал ямы для этих самых столбов. Ладони до сих пор саднят — здорово намозолил. Ну, это не страшно, это тебе не с верхотуры сверзиться, на щеглов заглядевшись!

Кстати, неверно, что кормиться щеглам на репейнике рано: наоборот, самая пора — бабье лето. Как всякий уездный мальчик, младший любит природу, знает повадки птиц, и авось успеет еще сегодня сбегать на реку порыбачить: перед закатом рыба неплохо клюет. Этот путь из столбов, левая его ветвь, приведет к верхнему концу отмели, почти к тому месту, где стоит его лодка. Значит, место ее стоянки скоро будет освещено электричеством...

— Видал миндал? — торжествующе говорит младший и запускает в столб коловорот.

Брызжут опилки, пахнет смолой, столб поет деревянным голосом.



ПОКРОВИТЕЛЬСТВО ПТИЦАМ

Рассказ

Поезд, в наши дни самолет, дальний аэропорт в непогоду, — где бывают еще такие непри-
нужденные встречи? Случайный попутчик становится на
несколько часов наперсником, почти другом. Разные
обстоятельства побуждают людей к откровенности, —
нашей вагонной беседе, возможно, помог туман. Туман
за окном, мешавшийся с паровозным дымом, легкий
туманец в голове (от трех-четырёх рюмок душистого
массандровского муската) и туман, так сказать, эпо-
хальный: неясное, как многим тогда представлялось,
неопределившееся, переходное время.

1929 год, сентябрь. Осень нэпа. Нэп кончался, но еще
не кончился. Как чахоточный, он протянет до весны, со
льдом уйдет. Все, связавшие с ним свою судьбу, —
кустари, лавочники, фабриканты ваксы и целлулоидных
гребенок, владельцы третьеразрядных ресторашек, про-
сто рыночные жуки, — спешно ликвидировали собствен-
ные дела, объединялись в артели или поступали на
службу. (Последнее, впрочем, было довольно сложно:
многолюдьем и пестротой биржа труда напоминала
киномассовку.) Что касается дельцов покрупнее, те,
спасая себя, бросали к дьяволу дом, семью, метались из
города в город. Страшились нэпачи, по существу, одно-
го: налога. Нарым им пока не грозил.

Я возвращался с летней студенческой практики.
Заработав малую толику, я нахально купил билет в мяг-
кий вагон. Мной руководило своеобразное социальное
любопытство. Лет пятнадцать тому Блок писал: «Мол-
чали желтые и синие, в зеленых плакали и пели». Бывшие
зеленые — нынче жесткие, бесплацкартные — я
знал наизусть; посмотрим, что и как теперь в бывшем
синем.

В просторном четырехместном купе, обитом тисненой
голубой клеенкой (линкруста тогда еще не существова-
ло), нас оказалось двое. Отчасти поэтому, отчасти

благодаря моему юному виду, я не внушал опасений вагонному спутнику. Вначале он все же осведомился — комсомолец ли я, участвую ли в рейдах легкой кавалерии (нечто вроде нынешних дружинников, только с более широкими функциями обследователей и разоблачителей чуждого элемента). Я ответил, что не участвую. Он сочувственно поморгал за стеклышками пенсне светлыми ресницами.

— А что? — придиричиво спросил я. — По-вашему, это хорошо или плохо?

Он кротно улыбнулся.

— Все хорошо, что во благо людям, — сказал он, неторопливо доставая из кожаного саквояжа бутылку муската и два серебряных дорожных стаканчика. — Прошу вас!

Я было в испуге отшатнулся, но он, разливая вино, так мило, так близоруко сощурился, нагнувшись над столиком, так мягко промолвил эту традиционную уютную фразу: «Его же и монаси приемлют», что отказаться было бы грешно и невежливо. А уже через минуту я понял, что фраза эта в его устах отнюдь не шутка.

Пассажир не был нэпманом. Он принадлежал к тому экзотическому миру, в те времена, правда, еще весьма обширному, о котором я почти ничего не знал, если не считать рассказов Лескова и Гусева-Оренбургского да уроков закона божьего в земской начальной школе, где я когда-то учился. Но то был далекий дореволюционный мир, а тут передо мной сидел живой, сегодняшний «слуга православной церкви» — так он отрекомендовался. Теперь-то я понимаю, что в этих признаниях содержалась изрядная доля кокетства. Разглядев и соответственно расценив меня, он явно бил на эффект: мол, смотри, намного ли я тебя старше, а сколько успел повидать, в чем сам участвовал!

Мой попутчик был ласковый, симпатичный блондин в синем шевиотовом костюме, гладко выбритый, гладко причесанный, без малейших признаков своей профессии. Впрочем, он не был духовным лицом в прямом смысле слова: несколько лет служил секретарем у какого-то крупного московского церковника, а до этого, тоже в советское время, был послушником в монастыре. Сейчас возвращался из отпуска, от всей души посадовничал (его выражение) в материнской провинции, поправился, загорел.

Сперва мы беседовали на общие темы: о морали,

жестокости, честности, аскетизме, — насколько свойственны или чужды эти понятия современным людям.

— Жестокость анахорета! — восклицал пассажир. — По-вашему, я могу быть жестоким?

— Анахорет в пенсне? — легко рассмеялся я. (Мускат действовал: мне хотелось быть живым, остроумным, тонко-язвительным!)

— Кроме шуток. Вы слышали, чтобы пустычники, например, мучили зверей, птиц?

— Нет, — удивился я серьезности его тона. — Скорее наоборот, судя по картине Нестерова...

— Так вот послушайте!

И он стал рассказывать, рассказывать с увлечением, то разрешая себе иронический смешок, то возвышаясь до пафоса, рассказывать обо всем, что произошло так недавно, но минуло так безвозвратно. Видно, ему очень хотелось повспоминать, я был лишь удобным предлогом. Подчеркиваю — удобным: рассказ был столь интересен, что я больше не прерывал рассказчика.

Лет пять назад мой сосед отбывал послушание в Покровском монастыре в Москве. Боже мой, что за годы! Нынче их зовут Покровским золотым веком... На одних просфорах, на пяточных черствых просфорках выручали в иной день полтора — двести рублей по твердому червонному курсу. Что творилось с Таганкой! Подошла такая горячая моленная полоса (так сказать, время пик!) — распаленная публика валом валила в соборы.

Настоятелем монастыря был знаменитый Гурий, архиепископ Иркутский, доктор богословия, муж разносторонне ученый. Пустословы называли Гурия калмыцким доктором: ученую степень он получил уже в смутное время, перевел в двадцатом году Евангелие на калмыцкий язык. Ну и что из этого? Проповедник он был превосходный, кроме того, заслужил немалую популярность в духовной среде. В Москве проживало до полусотни безработных епископов — подкармливая их, Гурий составил себе верную партию.

Наместником был поставлен известный в московских пригородах Вениамин. Миряне, что посерее, носились с ним как с писаной торбой, психопатки произвели его чуть не в святые, а он читал им с амвона аскетику, пугал эфиопами... Это в 1926 году эфиопами!

Пассажир лукаво поднял бокальчик, как бы провозглашая тост за прогресс:

— Кажется, как раз год пуска Волховской гидро-станции, на которой вы, говорите, работали? Значит, тем более вы можете оценить такое несоответствие! Впрочем, наша церковная молодежь открыто насмеялась над Вениамином. Поклонниц его звали «взвизгой»: «О, говорят, сколько взвизги сегодня! Кабы от нежных чувств не разорвали игумена...»

Пассажир снова сделал серьезное лицо. Надо признать, продолжал он, что для монастыря Вениамин был полезен. При нем смогли завершить затянувшийся на годы многотысячный ремонт, заново позолотили иконостасы, скупили в периферийных монастырях дорогую утварь, припрятанную там в голодные годы от Помгола.

Но интриг, интриг между пастырями! Отличная школа жизни для наивного идеалиста: Виктор вступил в монастырь несмышленишем, а через год с небольшим успел стать опытным дипломатом и даже влиятельным лицом. Как-никак секретарь самого Гурия! (Я заметил, что Виктор,— так он просил называть его после второго стаканчика,— непритворно вздохнул и очки его запотели. О чем он взгрустнул, о чем сожалел — в тот момент я не понял. Да и сейчас это можно истолковать по-разному.)

Жил он в отдельной комнате на втором этаже Южной башни, рядом со Скорпионом,— так окрестила братия иеромонаха Серапиона, хотя вернее бы назвать его Плюшкиным: склочный, жадный, подбирал всякую дрянь на улице, нес домой; за две булки нанимался за Виктора читать часослов, сердился, что булки в монастырской кухне стали выпекать крохотные, раз укусить. А ведь ел всегда сколько влезет.

В Южной башне проживал и другой иеромонах — отец Иона. Обоим было за шестьдесят, тридцать в монастыре просидели, старели дружно, как грузди. Иона, хитрый, чистоплотный, горбатый, любил подразнить Скорпиона, издевался над страстью того к барахлу. Подбросит на дорогу мерзкую тряпку, дождется, пока Скорпион притащит ее домой, и идет к настоятелю с жалобой: мол, сосед дерьмо собирает, в башне не продохнуть, надо же мало-мальски соблюдать гигиену.

Нижний, полуподвальный этаж занимал кладбищенский сторож Григорий со смутьянкой женой Марфушей. Половина кладбища была монастырской (арендовали у города), половина комхозовской. Ни там, ни тут нынче не хоронили — кладбище считалось законсервирован-

ным. В комхозовской части устраивали зимой каток, летом — аттракционы. И всюду бродили козы, обдирали кусты и молодые деревья, — забора между владениями не существовало. Две козы помещались в башне, в теплом дровянике рядом с Григорием. Одноглазый Григорий сам доил коз — настоящий циклоп! Отец Скорпион раза три в день спускался в сарайчик, считал дрова, прятал подальше растопку — бересту и щепки. Козы пугались его, шарахались, как от домового, стуча копытцами по дощатому полу.

Из верхнего коридорчика башни можно было выйти на монастырские стены. Стены, не правда ли, это уже старина? Виктору иногда казалось, что он пошел в монастырь, подражая Алеше Карамазову. О, Достоевский, кумир религиозного юношества! Достоевский в изданиях А. Ф. Маркса и Народного Комиссариата по просвещению! Виктор читал тебя с обожанием!

Однажды, в конце января, он гулял по стене, любовался обступившей его со всех сторон белизной, чистой: снег окрест лежал так покойно, словно бы и не таял с карамазовских времен, а не то и с самого основания монастыря в XVII веке. Под стеной намело высоченные сугробы, сровняло могилы, — среди них виднелись лишь две разметенные дорожки, одна вела к церкви, другая к комхозовскому катку. А третью, совсем узенькую, протоптал Виктор по верху стены; ночью тропинку заносило снежком, и каждое утро Виктор шагал по свежей пороше, проваливаясь иной раз чуть не по колено. Когда сейчас оглянулся, следы его четко синели, но низкое солнце не освещало их в глубину. Вокруг был мир, тишина, благостыня, не мешал и вороний гай: Виктор знал, что невдалеке, на реке Яузе, городские бойни. Настроение было чудесное, шел и вполголоса напевал:

— Радуйся, ангелы чтимая! Радуйся, певаемая от серафим! Радуйся, светлое сбытие! Радуйся, апостолов похвало! Радуйся, праведных веселие! Радуйся, грешных упование! Радуйся, преподобных венче!..

Закашлялся от мороза, закинул вверх голову и вдруг увидел на высоком дереве, то ли на вязе, то ли на тополе, зимой не разберешь: на тонких, гибких ветвях висят вороны. Мерзлые (или сухие), висят на веревочках, ни с дерева, ни с земли, ни со стен не достать. Десятка два, а то и больше. И над ними с криком кружатся живые.

Виктор пришел на другой день, на третий — висят. Поднялся ветер, раскачивает черно-серых висельников,

скрипит сучьями. А Виктор стоит столбом на стене, акафисты уже не поет, считает ворон и думает: кто, зачем, как ухитрился развесить?

Наступил февраль, морозы не убавлялись. Коза в сарае обморозила вымя: Скорпион проверял дрова, на ночь дверь не закрыл. То-то ругался Григорий, Иона хихикал. Потомплыли оттепели, начался март, великопостные дни. Вениамин восходил в гору, все выше да выше, прибавлял себе и монастырю богатства и славы. Близились светлые праздники, а дурное все — мимо, никаких грозных знамений. Марфуша тут как-то запнулась за порог, уронила поднос с обедом — Виктор на днях получил привилегию — не ходить в общую трапезную. Тоже ничего страшного: пообедал с самим Вениамином, кушали разварную шуку, шестирублевый компот — приношение «взвизги».

Посуда, говорят, бьется к счастью. Особого счастья не было, но на следующее утро начались курьезы. Виктор, как всегда, возвращался из церкви и невольно заметил: только что Иона служил литургию, а в сад поспел раньше Виктора. В теплой скуфейке, в теплом подряснике (успел, значит, в алтаре переодеться) бежит куда-то по талой дорожке.

— Отец Иона! — крикнул ему Виктор. — Чай пить ко мне! С вареньем!

Ради шутки позвал. А придет — Виктор отшутится, мол, варенье кошка съела. Еще раз окликнул:

— Отец Иона!

— Отстань! — сердито оглянулся Иона. — Уйди от греха!

Еще что-то буркнул, свернул с дорожки, ковыляет по насту, одной ногой провалился, другой, осторожно выбрался. Добежал до часовенки, заглянул в решетчатое окно и — к дому. В подвал сунулся — и тотчас обратно. Но уже не с пустыми руками: на спине котомка, в руках метла. И все бегом, бегом! Добежал опять до часовенки, дверь слегка приоткрыл — только чтобы пролезть — и захлопнул за собой накрепко.

Любопытно — что там Иона творит? Часовня близко, но подойти заглянуть — неудобно. Все же духовник Виктора — разозлится, как раз епитимью наложит...

Отправился к башне, сел к окну дожидаться — когда Иона из часовенки выйдет. Чем бы его оттуда выманить? Есть у Ионы малая слабость: любит благословлять. Бывало, летом сидит на втором этаже, у окна, в одном

исподнем — в монастырской, до коленок, рубахе, — и вдруг узрел: бредет по двору незнакомая баба. Не то деревенская, не то из слобожанок. Как на пожар, скатывается Иона по лестнице и, в чем есть, на двор: «Дай, говорит, благословлю!» Задыхается, трясется от нетерпения: «Дай благословлю!» Баба левую руку у него целует, а правой он ее часто-часто крестит...

Выманивать не пришлось, Виктора позвали по делу, — и забыл он на время об Ионе с мешком.

На следующей неделе порадовались всем монашеским обществом. Из тюрьмы вернулся архидьякон Евтихий в ореоле славы и мученичества, принес пуд конфет — наташили ему в ДОПР поклонницы. Евтихий — это тебе не жадина Скорпион, угостил всю трапезу. Вообще — сидеть в ДОПРе считалось выгодным и называлось «составлять капитал». Миряне ташили заключенным монахам подарки, деньги, а так как ссылали и заключали тогда не слишком часто (и то скорей не за проповеди с антисоветским святым душком, не за пылкую иеремиаду с амвона по поводу властей предержавших, а за обычную уголовщину вроде хищений или растрат, мода на которые в годы нэпа была всеобщей), то в монастыре не раз симулировали ссылку. Пустят слух по епархии: «Архиепископа Вениамина скоро сошлют...» Вот и несут для Вениамина белье, продукты, деньги. Одних кальсон дюжин шесть прихожанки нашьют. Сам Вениамин, наверно, о том не знал... А может, и знал, бог его знает! Но Гурию, Виктор ручается, плутни эти были неведомы.

И еще посмеялись на этой неделе. Вернулся с Канатчиковой дачи народный певчий, Андрюша Шмагин. Замолился было. Вбежал, тому месяц, в алтарь — и ну голосить нескладицу. Ничего, вылечили. Молиться стал пуще прежнего. (Народными певчими назывались активные прихожане, которые пробирались поближе к клиросу и подпевали певчим. Они не пропускали ни одной церковной службы — ни ранней, ни поздней обедни, ни вечерни, ни всенощной.)

В субботу, перед самой вечерней, Виктор приехал с Трубной площади. Ездил по поручению настоятеля покупать к празднику Благовещения печенных из теста жаворонков — в монастырской пекарне какие-то неполадки. Приехал, сдал, отчитался — и расположился в своей келье, почитать. Сначала Флавиана штудировал, потом пролистнул (что греха таить!) страничку-

другую из «Монте-Кристо» и принялся, наконец, за сочинение Иннокентия, архиепископа Херсонского и Таврического, «Как помочь усопшим братьям».

«...Одна благочестивая вдовица, заказав сорокоуст по усопшем муже, все сорок дней неукоснительно ходила сама ко всем службам Божиим; в 9-й день, 20-й и 40-й по кончине его причащалась святых тайн Христовых, подавала тайную милостыню, и вот по окончании сего подвига, в 40-ю ночь, усопший ее супруг является ей во сне веселый и радостный, крепко жмет ей руку и говорит: «Благодарю тебя, благодарю!»...»

Не успел дочитать Виктор сочинение Иннокентия, вдруг слышит за окном гвалт. Разбирает: вороний. Но такой оглушительный, какого в жизни не слышал. В чем дело? Кто их так раззадорил? Подошел к окну — ничего не видать. Накинул на плечи плед (проще говоря, материн полушалок), вышел из башни на стену. Господи, что это?..

Отец Иона стоит на проталинке (весеннее солнце успело наделать в кладбищенском саду проплешин), в старом подряснике, седенький, блаженно смеется и крутит над головой что-то странное, вроде пращи Давида, или верней... дай бог памяти, как оно называлось у индейцев?.. — кажется, бола. Только к концам бечевки не камни привязаны, а вороны! Одна — к одному концу, другая — к другому. Держит Иона бечевку за середину и плавно, привычной, видать, рукой, вертит над собой эту штуку. Быстрей, все быстрей!

«Карр-карр!» — это птицы в небе над ним собрались, сотни, если не тысячи. Да ведь как орут — дух захватывает!

Отец Иона стоит подле большой березы, порозовел от волнения. Скуфейка на висок сбилась, сам худенький, чистенький. Пустынников такими рисуют. Пустынников христианнейших, наивных и благостных, которые покровительство живой твари оказывают, к которым злобные звери послушно идут под руку и птицы без страха слетаются на плечи...

Покрутил, помахал, подразнил отшельник воронью стаю и метнул свой снаряд вверх. Высоко-высоко! Откуда сила взялась! Замоталась бечевка вокруг березовой ветки — и повисли птицы. Висят точно так же, как те, что на тополе, мерзлые...

Иона отдыхает с минуту, улыбается мирно, грудь потирает — еще бы, не шутка в таком возрасте себя

утруждать. Затем нагибается, засовывает руку в мешок, вынимает живую ворону — она орет благим матом, порывается клонуть, но Иона до тонкости изучил приемы: зажимает птицу между колен, не спеша связывает лапы бечевкой. Достал из котомки вторую, аккуратно проделал с ней то же самое. И все. Господи, благодать!

И опять трепыхаются на веревке птицы, кричат что есть мочи. И стая в небе кричит: все окрестные вороны слетелись, держат совет — как выручить из беды товарищ?

Вокруг тишь да гладь, снег под вечерним солнцем искрится. Конец марта, по новому стилю — апрель. Завтра Благовещение. Скоро прилетят скворцы, жаворонки, начнется праздник весны!

Наконец Иона ушел с полянки. Надо бы пойти к нему и напрямик спросить: для чего это он делает? Не так уж любит Виктор ворон, из всех птиц они самые непривлекательные — вороватые, неуклюжие, грязные, вечно роются в мусоре, но все равно — зачем мучить?

Неласково принял Иона Виктора, ничего не хотел объяснять. Скорпион же, хоть никогда прежде не принимал Ионину сторону, тут сказал веско, что Иона поступает благополучно. Рядом фруктовый сад. Надо, надо пугать вредных птиц. Публичная казнь — средство верное, недаром ее в старину любили. Ягоды или вороны — чего, Виктор, жальче?

— Да ведь сейчас зима... И к чему живьем вешать? Разве этому нас Христос учит?

— Не поминай всуе! — грозно возопил Скорпион. — Допрыгаешься, вольнодум!

— Грех тебе, молодой вьюнош, — слезно молвил Иона, — грех мешать духовнику твоему иметь махонькую забавоньку...

Узнал Виктор и о способе ловли. Иона заманивал птиц в часовню. У нижнего края двери он отогнул решетку (часовня была холодная, летняя). Снаружи к отверстию насыпались хлебные крошки, внутри, на полу часовни, лежало что-нибудь повкуснее — рыбки кишки или головы. Птицы заходили в дыру, обратно почему-то не могли выйти, летали там, бились. Иона приходил, слегка глушил их метлой, клал в мешок. Потом казнил... На ветках они замерзали, а то издыхали и раньше, во время кружения.

Кончились эти утехы для Ионы бесславно. Явилась

к нему Марфуша и пригрозила, что заявит в милицию, если он не перестанет издеваться над птицей.

— Оштрафуют, не то принудиловку получишь!

Перестал, струсил. Говорят, много лет забавлялся.

Помнится, Виктор тогда пожалел, что не опередил Марфу. В милицию, разумеется, не пошел бы, а вот к настоятелю... Интересно, как порешил бы преосвященный Гурий. Виктора подвела дипломатия: привык выжидать, прежде чем действовать. А Марфу спросил — чего ж она прежде молчала, пригрозила бы раньше.

Марфа насмешливо подбоченилась:

— Раньше-то небось кладбище было все вашинское, то исть монахов. Захочут — нас с Григорием выселят. А нынче-то — выкуси! Половина комхозовская. Скоро и все наше будет. Вот так, мил монашек!

И загремела подкованными сапогами по лестнице. Даже (чего не бывало раньше) посуду грязную от обеда на столе оставила...

Виктор пристально поглядел на меня, как бы спрашивая — все ли я оценил в его рассказе, не хочу ли о чем-либо расспросить.

— Наверно, вам покажется странно,— серьезно проговорил он,— но почему-то ее слова мне запали в сердце... «Скоро все будет нашинское...» Простая, неграмотная баба, не Марфа-Посадница, но вот пронзило... Такое было прелестное время, а от этих ворон точно тень легла. Неужели, думаю, близок конец Покровскому золотому веку? Трудновато, думаю, будет заново начинать жизнь...

Он торопливо добавил:

— Разумеется, я огрубляю. Точно таких соображений у меня не было. Тень мысли, облачко, тучка набежала, не больше. И все же...

Он задумчиво стал смотреть в окно — на синий в тумане лес, на серое, туманное небо, на бледно-зеленую сквозь туман озимь.

«Занятный тип! — думал я, уже беззастенчиво разглядывая моего спутника, его молодое (или моложавое,— не понять у такого блондина) красивое лицо с девичьим румянцем, твердо очерченный рот, тщательно выделанный в светлых прямых волосах пробор... — Как узнать, в чем он искренен, в чем фальшив? Остались ли у него какие-нибудь нравственные «ресурсы»?

Я спросил:

— Вы и сейчас там служите? — Я поправился: — Там находитесь?..

Он встрепенулся:

— Где? Я служу в БРИЗе.

— То есть как?.. — Я опешил.

— В Бюро рационализации и изобретательства на одном из заводов, — пояснил Виктор. — Секретарем. Уже третий год.

Такого поворота я не ждал!

— Значит, расстались с духовной средой, — чтобы что-нибудь сказать, сказал я.

— А почему, собственно, я к ней должен быть навсегда прикован? — Он словно даже обиделся. — В монахи меня не рукоположили. С преосвященным Гурием распрощались мы вполне дружелюбно. Это как раз совпало с закрытием монастыря... — Он усмехнулся. — Когда заварилась, как мы говорили, гурьевская каша...

— А где теперь Гурий?

— Не знаю. Не в курсе, — сухо ответил Виктор. Но, помолчав, добавил: — Впрочем, недавно я получил письмо. Просит навестить, напомнить ему некоторые пасьянсы. Скучает владыка без дела.

Мы еще помолчали. Я не утерпел:

— Ну и как вам нравится в БРИЗе?

Он метнул в меня синий, лучистый, настороженный взгляд?

— Очень интересно. От рабочих завода поступает масса ценных рационализаторских предложений.

В чем другом, а в находчивости он не нуждался!

— Еще вопрос, — напористо сказал я. — Вероятно, главный. Вы верили когда-нибудь в бога?

Он искренне удивился:

— «Когда-нибудь»? Вас интересует именно история вопроса?

— Ну, сейчас-то вы наверняка не верите...

Он расцвел белозубой улыбкой:

— Хорошо, я вам отвечу. Знаете, когда? Когда мы встретимся в следующий раз...

С тех пор я его не встречал. Как вообще почти никогда не встречал бывших дорожных спутников, что, возможно, и к лучшему... Но тут почему-то мне кажется: поездить бы по немногим действующим нынче монасты-

рям, походить по церквам и соборам, и я бы нашел Виктора. Постаревшего, но не слишком (блондин!), все еще привлекательного, увлекающего прихожан (в основном прихожанок) задушевным красноречием и наружностью.

Думается, что в сороковые годы, когда страна относительно подобрела к церковникам, Виктор покинул БРИЗ и вернулся в л о н о. При этом он несомненно возвысился: принял схиму и из архиерейского секретаря стал архиереем или архимандритом. Светский кураж из него давно вышел, и на вопрос о вере он, возведя очи горé, ответит мне утвердительно. Но скорее, пожалуй, предпочтет меня не узнать, на что протекшие три с половиной десятка лет дают полное право.

1929—1964

ЗАМУЖНИЙ РЕДАКТОР

Рассказ

В дальнем городе есть своя широко-вещательная радиостанция. Штат ее невелик, всего шестеро, считая монтера и техника, но недавно пополнился новыми сотрудниками. Они муж и жена и приехали вместе дней десять назад. Муж — диктор, жена — литературный редактор. Они поселились в гостинице, это значит, что в городе трудно с жильем. А где сегодня легко? Этот северный порт — типичная новостройка, хотя начали его сооружать еще перед революцией, а сейчас уже третий год пятилетки.

Зато город отлично радиофицирован, трансляция в каждом доме. Нам надо почувствовать значение радио в этом далеком месте. Мы в своей московской или ленинградской суете включаем его на полчаса утром, на полчаса вечером; они — на всю жизнь. День напролет, а в рыбацкие летние месяцы — круглые сутки, радио говорит, поет, играет. Домашние хозяйки под его немолчный голос хлопочут у плиты; младенцы безмятежно спят, а проснувшись, тщетно пытаются перекричать взрослое радио; мужчины, вернувшись с моря, берут в задубевшие руки газету, а сами краем уха прислушиваются к более свежим радионовостям. Порой это выглядит курьезно, но нужно помнить: природа здесь слишком молчалива, бойкие театральные центры слишком далеко, чтобы здешним людям существовать без радиоголоса. Они слушают все, что он им рассказывает, они ему беззаветно верят, они любят этот металлический баритон, как никогда мы не полюбим послушно являющегося перед нами на сцене живого Качалова...

В мае, в разгар весенней путины, приезжие приступили к работе. Литературный редактор писал и монтировал тексты, размашисто, не по-дамски подписываясь — «Елизавета Карманова», а звали ее сослуживцы «тетей Лизой». Дело в том, что Кармановой в день приезда исполнилось тридцать лет, все вокруг были

моложе, но она не только не скрывает свой юбилей от новых знакомых, но в тот же вечер с ними отпраздновала.

Диктор читал в микрофон все, что писала жена, читал с душой, умело, а звали его сослуживцы — «тети Лизин муж», или же «тетин муж», или совсем кратко: «муж». Все сразу поняли, что Карманова умнее его, сама это знает, и хотя безусловно любит (красивый парень), но немножко его стесняется.

И вот утро в студии. Местные передачи идут к концу, «тетин муж», сделав значительное выражение лица, читает в микрофон сводку погоды. Погода благоприятствует, рыболовные суда, большие и малые, от траулеров до парусных ёл и карбасов, выходят в море на промысел. Остальные жители города, одни с интересом, другие с волнением, узнают об этом еще раз от «тетинного мужа». Каким высоким глашатаем он им представляется!

Вот он выключил микрофон и «направил стопы» в соседнюю комнату, где работает его «дражайшая половина». «Направить стопы, моя благоверная, прошу в смысле умоляю, заморить червячка, время детское, моните гонету», — произнося эти отточенные чуть ли не веками шуточные фразы, он своим гибким голосом заключал их в невидимые кавычки: мол, вы понимаете, что я вместе с вами смеюсь над такими готовыми островами!

Карманова отредактировала вечернюю программу, внесла изменения, исправления, сообразуясь с пожеланиями слушателей, закончила свое рабочее утро и позвала мужа (у него двухчасовой перерыв на время центральных радиопередач) прогуляться с ней в горы. Но муж хочет пойти домой, лечь, вздремнуть, задержав портьеры наглухо от надоевшего солнца. Каким ничтожным он видится сейчас Елизавете Кармановой! Наблюдая за тем, как он вкусно зевает, медленно смыкая выпуклые, тяжелые веки породистого брюнета, она попыталась вспомнить все его прегрешения, но их оказалось не так уж много. Самое главное, что он ленив и рассеян. Сейчас хочет спать, а на днях сказал в микрофон:

— Прислушайте увертюру из оперы «Сирульский цевильник».

Студия с наслаждением хохотала над этой обмолвкой, ей суждено остаться в радиолетописях. А доб-

рые слушатели не заметили либо постарались не заметить...

И все же он славный муж: заботливый, покладистый, прямодушный. Пусть его дрыхнет, Лиза пойдет в гостиницу за подругой.

Вместе с мужем они пришли в гостиницу. Муж отправился в номер (на втором этаже), а Лиза в детскую комнату, где ее шумно встретили все гостиничные дети. Впереди, samozабвенно визжа, бежала трехлетняя Лялька:

— Мой друг пришел! Мой друг пришел!

Спросив разрешения у воспитательницы, Лиза одела девочку, и они отправились. Это не дочка ее, у Лизы нет детей, это совсем чужая, но очень милая, добродушная девочка. Если не считать мужа, она единственный человек в городе, называвший Карманову не тетей Лизой, а просто Лизой.

Подруги бодро шагали по песчаным, ветреным улицам. Пыль как в южных степных станицах, вернешься домой — и надо устраивать головомойку. Когда они поравнялись с универмагом, Лиза вспомнила о вчерашнем происшествии. Ей понравилось в магазине серое шелковое полотно, захотелось взять на платье, но материю расхватили раньше, чем она успела выписать чек. Правда, на прилавке лежал остаток, но всего два метра. Досадно! Приятный такой материал, и приятное вышло бы платье, — какое-то сразу привычное, она не любила самых новых вещей, приходилось к ним привыкать, а тут словно заранее привыкла... Выход один, улыбнулась она, отходя от прилавка, — превратиться в лилипутку!

Лиза, конечно, сразу забыла бы о несостоявшейся обновке, если бы... Если бы, выйдя из магазина, она не увидела женщину на костылях, с парализованными ногами: женщина тащилась посередине дороги и ее новое платье из серого шелкового полотна ужасно мялось от костылей... Совпадение было столь неожиданно, а вид нарядной калеки так странен, что Лиза долго шла за ней, не сводя глаз с неестественных складок, падающих от плеч, задранных к небу, из-под мышек, куда деревянно-тупо упирались костыли.

«Что может делать здесь эта женщина? — спрашивала себя Лиза. — Чем заняться калеке в городе специального назначения? Жена с парализованными ногами? Ревнивая, притащилась за мужем откуда-нибудь из Пензы?..» Задумавшись, Лиза вчера не заметила, куда

исчезла безногая модница, — наверно, свернула в переулок.

Сейчас, проходя вдвоем с девочкой мимо универмага, Лиза подумала: а что, если взять остаток на платье Ляльке? Нет, нет, дурной тон наряжать детей в шелк... Лиза решительно прибавила шагу, так что Лялька едва попевала вприпрыжку, повиснув на ее руке. Однако девочка не сердилась, не жаловалась, только раз захотела остановиться и заглянуть в окошко.

— Лиза, а что она делает? — спросила девочка.

— Кто? — удивилась Лиза.

В домике помещалось какое-то учреждение, окно было растворено настежь, у окна, за столом, над бумагами сидела вчерашняя женщина.

Лиза испуганно дернула Ляльку за руку, но женщина уже повернулась к ним, улыбаясь. Лицо у нее было приятное, улыбалась она приветливо.

Так вот кто ее незнакомка! Она тоже имеет свое специальное назначение: в домике помещается загс. Смешно подумать, что Лиза может зайти сюда и, скажем, развестись с мужем!

Лиза и девочка прошли через весь город, поднялись к озеру, которое наверху, в горах, — наконец девочка устала, пришлось взять ее на руки. До поры до времени Лиза не оглядывалась на город, на порт, на залив, сознательно оттягивая удовольствие — взглянуть на все с самой высшей точки. Но терпеть было баснословно трудно, тем более что Лялька сидела на руках лицом к заливу и поминутно спрашивала — что тут да что там.

Но вот они добрались до вершины, и можно обернуться. Как все оказалось солнечно, нежно! Белые под полуденным солнцем дома, серо-стальной залив, черные пароходы на рейде и в ковшах порта, вдали красный товарный поезд идет светло-зеленым побережьем, кругом лиловые горы. И никакого тумана, несмотря на избыток влаги. На противоположной горе видны мачты радиостанции, в чистом прозрачном воздухе выделяется каждая ветвь антенны. Кто-то, — Лиза забыла — кто, — предостерегал их перед отъездом: ни зимы, ни лета, климатические условия — дрянь, люди хмурые, мрачные, под стать природе. Какая чушь! Люди, как всюду, разные — веселые, скучные, умные, глупые, — что касается природы...

— Лиза!

Девочке надоело любоваться видами, и они отправи-

лись дальше, по горной каменистой дороге, окруженной источниками, пропитавшими почву. Удивительная природа, она спорит сама с собой. Внизу сухо, песок, всегда дует ветер; наверху, в горах, тихо, сыро среди камней; там и сям настоящие болотца, на каждой мшистой кочке примостился опять же камень, как только его не засосет болото...

Они давно прошли озеро с водокачкой, город и залив скрылись за поворотом, стало еще безветренней. И вдруг Карманова увидела вперед, между гор, какое-то странное, густо-черное, словно только что вспаханное или вскопанное, поле. Пожалуй, похоже на торфоразработки, только что это за разноцветные клетки среди черной и рыжей взрытой земли — желтые, синие, белые, красные? Неужели улы? Пасека в таком месте!

Лишь подойдя ближе, совсем близко, Карманова разглядела могилы и вокруг них деревянные крашенные ограды. Это уже само по себе было грустно: попытка украсить безнадежно болотную, с унылым кочкарником, с мелиорационными канавами вдоль и поперек, но так и не осушенную до конца, без единого деревца кладбищенскую землю. Но самым странным и самым грустным оказалось то, что на некоторых могилах, вместо крестов и памятников, вместо дощатых обелисков с красными звездами, стояли маленькие деревянные кровати, тоже окрашенные в разные цвета. На них висели игрушки: слинявшие целлулоидные пупсы, порыжевшие плюшевые мишки, тряпичные зебры и кенгуру. А на одной кровати, отблескивавшей под солнцем белой эмалевой краской, висела на крепкой рыбацкой леске ученическая тетрадь в клеенчатой обложке. Лиза торопливо разлистнула страницы: арифметика, диктант... пятерка, четверка с плюсом...

У Лизы защемило сердце. Она принялась рыскать по кладбищу, все крепче и крепче прижимая к груди девочку. Она словно стремилась убедиться, что ее подруга с ней, что она не лежит под одной из этих разноцветных кроваток... Лиза кружила, кружила, натываясь все на одни и те же могилы, — их было около десятка. Какой странный, пронзающий душу обычай! Кто-то когда-то поставил на могиле своего ребенка кровать, другие взяли с него пример, и вот уже родилась традиция. Лиза силилась прочесть надписи, надписи были неразборчивы, стерлись, выгорели от солнца, да и читала она их сквозь слезы.

Лиза взяла себя в руки, когда девочка, глядя на нее, сначала недоумевала, потом постепенно расстраивалась, затем тоже заплакала.

«Как близко у меня слезы,—виновато сказала себе Лиза.—Ближе, чем у ребенка. Надо скорее домой!»

Домой с горы добежали быстро. Отведя девочку в детский сад, Карманова поднялась в номер. Муж еще спал. Скоро ему идти в студию, Лиза останется здесь работать. Она с треском раздернула на одном из окон портьеры и подошла к кровати. Ей захотелось поделиться с мужем.

— Ты знаешь, где я сегодня была? — сказала она, подождав с минуту, пока он спустит ноги на пол и закурит. Большой, черноволосый, с задумчивыми от сна глазами, он слушал внимательнее, чем обычно, и Лиза подробно рассказала о своей прогулке. Муж не перебил ее ни одним словом.

— Да,— сказал он, когда она замолчала. Он взял ботинок и, надевая его, все смотрел куда-то поверх ее оживленного, взволнованного лица. Затем шумно вздохнул: — Что ж, этого следовало ожидать.

Она удивилась:

— Чего ожидать?

— Здесь, очевидно, повышенная детская смертность,— сказал он, с озабоченным видом зашнуровывая ботинки.

— Откуда ты взял?

— Ты же сама сказала, что там видимо-невидимо детских кроваток.

— Ничего подобного! Я сказала, что меня поразил этот странный обычай...

— Во всяком случае, можно порадоваться, что у нас нет ребенка. Точно предчувствовали, что попадем в такое нездоровое место.— Он встал.— Как это ты, представительница интеллектуальной профессии, не могла сделать логического вывода? Как говорится, не сварил котелок.

— Перестань! — стараясь быть спокойной, сказала Лиза.— Я жалею, что заговорила с тобой об этой прогулке... О, господи, и зачем они устроили его в таком месте? Но вообще это зряшный разговор!..

— Нет, не зряшный,— загадочно сказал муж и отдернул другую штору.

Потом Лиза выходила из комнаты, а когда вернулась, муж что-то писал. Он оглянулся на ее шаги:

— Удивлена, застав меня за интеллигентным делом? Сижу, понимаешь, за твоим столом и пишу...

Она промолчала. Он язвительно продолжал:

— Я слышал, как нас с тобой сравнивали. Ко мне были очень добры. Мол, что вы хотите от простого чтеца!

Лиза покраснела.

— Кто это говорил?

— Неважно кто. Сослуживцы. Ничего, скоро они переменят мнение.

— Что с тобой сегодня, не понимаю! — с досадой сказала Лиза.

— Поймешь, — снова загадочно сказал муж и стал собираться.

Часа полтора Лиза спокойно работала. Радио говорило в коридоре, обычно оно не мешало Лизе. Не мешал и горластый рупор на площади. Голос Лизиного мужа был, как всегда, мягок, звучен, исполнен благородства. Ничего не имея за душой, ни единой выношенной, своей мысли, Лизин муж говорил по радио с величайшим внутренним убеждением. Так бывает: одному человеку даны все лучшие свойства ума и сердца и серый невыразительный голос (Лиза вспомнила однокурсника, много парня, который любил вслух читать Блока и Маяковского и читал очень плохо, все томились и слушали, пока Лиза, за которой он ухаживал, не решилась попросить его не читать больше), а другому не дано почти ничего, кроме гибких голосовых связок, и он-то как раз и оказывается твоим мужем.

«Немного обидно, — сказала себе Лиза, — но ничего не поделаешь. Зато с ним спокойно. Это сегодня какие-то идиоты его раздражили. По правде сказать, хорошего диктора ценят больше редактора. Обязанности редактора может исполнить любой интеллигентный человек, а попробуй заменить любимого диктора каким-нибудь козлетоном...»

Так мысленно утешала себя и мужа Елизавета Карманова, прислушиваясь между делом к знакомому голосу. Несмотря на привычку, Лизу всегда удивляла одухотворенная уверенность ее мужа в каждом произносимом слове. Он не знал и не чувствовал ни одного из произведений — литературных или музыкальных, — об исполнении которых объявлял. Сегодняшний концерт в граммофонной записи состоял из двух отделений, более серьезного и совсем легкого. Черновик программы лежал перед Лизой. В первом отделении — Моцарт,

Россини, еще Моцарт, еще Россини и еще Россини. Во втором отделении — Зуппе и Оффенбах, Делиб и Штраус. Кроме вальсов из опереток, Лизин муж не любил и не знал ничего. Но как он любил и как понимал все, если слушать его по радио!

«Ну что ж,— удовлетворенно сказала себе Лиза,— это высокий профессионализм».

Затем он должен был проводить детский час, и Лиза знала, что в голосе его появятся теплота, задушевность, хотя детей он терпеть не мог.

«А это уже настоящий талант,— с еще большим удовлетворением решила Лиза.— К чему мне жалеть, что мой муж не какой-нибудь там великий ученый, или выдающийся врач, или известный писатель. Они в своем, он в своем роде».

Наконец она поймала себя на том, что занята мужем больше, чем в начале знакомства.

— Не работается мне сегодня,— виновато сказала Лиза.— Отчего бы это?

Она еще посидела, раздумывая, потом улыбнулась, потом нахмурилась:

— Остроумно придумала! Хороший предлог для безделья!

Сердясь на себя, Лиза надела макинтош-пыльник и желтый берет, купленный недавно и торгсине. Опять пошла через площадь, опять мимо универмага, и снова очутилась около домика с раскрытыми окнами. Это было совсем недалеко от гостиницы, Лизе казалось дальше. Она поднялась на крылечко, открыла дверь.

Кроме безногой хозяйки загса, в комнате не было никого. Чисто, светло, пахнет духами. («От серого шелка»,— быстро подумала Лиза.)

— Я слушаю вас, садитесь, пожалуйста,— любезно сказала женщина.

Лиза кратко отрекомендовалась:

— Я сотрудник местного радиоцентра. Вот мое удостоверение.

— Я слушаю вас,— повторила женщина, мельком взглянув на служебный пропуск.

— Я хотела бы получить некоторые данные. О рождаемости, о смертности... детской смертности. В сравнении с другими местами. Можно это?

— За этот год? — просто спросила женщина.— Или за несколько лет?

— За несколько, если можно,— сказала Лиза.

— Видите ли,— ответила женщина и взглянула на часики, серым тоненьким ремешком прикрепленные к запястью. («Все подобрано в тон. И откуда у нее столько вкуса? А руки-то поработали на своем веку, красные», — успела опять подумать Лиза.) — Вам следовало бы обратиться в статбюро. Вам спешно нужно? Если сегодня, то не успеете, скоро занятия кончатся. Пожалуй, я бы могла удовлетворить ваш запрос, но только по нашему городу — о других местах у меня сведений нет.

Лиза благодарно закивала и вдруг заметила, что та все присматривается к ней, значит, не доверяет. Чтобы не было недоразумений, надо объяснить, что запрос неофициальный. Лиза торопливо рассказала о прогулке, о том, что так болезненно поразило ее воображение. Про беседу с мужем не упомянула, сказала, что зашла сюда больше для самоуспокоения, чем по делу... Женщина искренне посочувствовала:

— Представляю, как грустно смотреть на эти кровати. Я там никогда не бывала,— она посмотрела в окно на горы.— Нет, ни разу. Во-первых, мне трудно,— она дотронулась под столом до больных ног,— и потом ведь я здесь недавно, всего два года. Что касается статистики...— Она открыла ящик, порылась среди бумаг.

Лиза поняла, что не прогадала в своей откровенности. Через минуту перед ней лежал график: красная линия, обозначающая рождаемость, бурно вздымалась, как это бывает почему-то на всех новостройках (жилищные и бытовые трудности еще никогда никого не пугали!), а черная, жирно выведенная тушью линия из года в год опускалась. Все это было красиво начертано на листе полуватмана.

— Это я делала, собственно, для себя,— стеснительно пояснила женщина.— С детства люблю чертить, рисовать, а профессия досталась самая канцелярская...

— Значит, трудное время рождения нового города,— не слушая ее, радостно проговорила Лиза,— далеко позади!

Узкие брови женщины поднялись:

— Вы хотите сказать, что за эти годы детская медицина шагнула вперед? Это верно. Я приехала из Тамбова, там примерно такие же показатели.

— Из Тамбова? — в свою очередь удивилась Лиза.— Я почему-то так и решила: из Тамбова, из Пензы... Скажите, не будет с моей стороны нескромным... Скажите, что привлекло вас сюда, на Север?

— У меня умерла мама,— сказала женщина.— Мне не хотелось оставаться в Тамбове. А Север... О Севере я давно мечтала. В детстве, до революции, я прочитала такую книжку: «Волшебный колобок»...

— Пришвина? — оживленно перебила Лиза.

— Автора я не помню. Очень хорошая книжка. О Крайнем Севере. Она мне больше не попадалась. А через двадцать лет я сама сюда приехала.

— И не разочаровались?

Женщина улыбнулась:

— Нисколько.

— Вы правы,— с суровой горячностью заявила Лиза.— Подлец будет тот, кто скажет худое слово о Севере! — И, вспомнив о муже, рассмеялась: — Впопыхах чуть не заклемила собственного супруга! У вас есть радио? Ну так вы его знаете. Будьте добры, включите!

Женщина беспомощно шевельнулась и протянула было руку к костылям. Лиза забыла, что говорит с калеккой.

— Простите, простите! — Она кинулась к висящей над шкафом черной картонной тарелке.

Большой, добрый голос наполнил собой всю комнату:

— Мишка-медведь сел на землю, ослабился, облизнул губы и говорит: «Я вас всех съем!»

Обе женщины радостно засмеялись. Лиза немного убавила громкость,— бархатный баритон все так же волшебным образом заполнял комнату, но не мешал разговаривать.

— Неужели это ваш муж? — восхищенно спросила хозяйка загса.

Лиза подтвердила:

— Мой, мой!

— Какой чудный голос! Я с наслаждением его слушаю. Как приятно иметь такого мужа... Нет, серьезно! — Безногая женщина выговорила свой наивный комплимент без тени зависти, она давно привыкла к мысли, что у нее нет и не будет никакого мужа.— Вы должны им гордиться,— добавила она спокойно и доброжелательно.

— А я и горжусь,— призналась Лиза.— И не только я. Мы здесь всего десять дней, а на студию уже пишут письма: «Просим диктора Ващенко прочесть...» И называют свои любимые вещи.

— Тише! — прошептала женщина.— Давайте послушаем...

Но диктор уже заканчивал передачу. Он сказал еще только:

— Родители, прослушавшие вместе со своими детьми передачу детского часа, вероятно осведомлены об усердно муссируемых в последнее время слухах о том, что процент детской смертности в нашем городе якобы непомерно высок, что имеет своей причиной якобы нездоровый климат. Словом, как говорится, превзошел габариты! Разносчики слухов с фальшивым пафосом восклицают: «Горздрав, где ты?» Мы уполномочены заявить: слухи эти не имеют под собой ни малейшего основания и цель их одна — вредительская: отравить самочувствие советских людей, строителей социализма. Пусть граждане нашего прекрасного заполярного города спят спокойно, и пусть они будут твердо уверены, что гнусных клеветников постигнет законная кара, что их всех до одного вытащат за ушко на наше незакатное солнышко! На этом мы передачу детского часа заканчиваем. Читал диктор Ващенко. Проверьте ваши часы. С последним коротким сигналом...

Лиза сидела униженная и ошельмованная, слезы текли у нее по лицу. Она порывалась вскочить и бежать через пыльную площадь, по ветреным улицам... туда, к микрофону... скорей сказать всем... Что сказать? О чем? Просить прощения? За что? За кого?

Лиза хотела бежать — и не могла встать с места, точно у нее отнялись ноги. Она не замечала, что радио уже молчит, что безногая женщина смотрит на нее с тревогой и с изумлением, она ничего не хотела видеть и слышать. Вот когда, задыхаясь, придерживая рукой бешено колотившееся сердце (словно она и верно бежала сейчас через весь город), Лиза со всей безнадежностью поняла, что ее муж — дурак... злой, тщеславный дурак. Она ясно представила себе, как он самодовольно посмеивался, когда писал эти нелепые, глупые, пошлые, подлые слова.

— Дурак! — закричала она, борясь со слезами, схватила чужой костыль и что есть силы ударила им об пол, с ненавистью смотря в лакированный черный раструб.— Дурак!

БАШМАКИ

Святочный рассказ

Сегодня ему чертовски не везло. Пустая полулитровка, которую он хотел взять с собой на станцию, закатилась под кровать, и сколько он там ни шарил рукой и палкой, все натыкался на разный хлам, а бутылка точно провалилась. Рассердившись, он стал совать палку куда попало, и, когда наконец что-то звякнуло у самой стены, он обрадовался, засунул руку как можно глубже и вытащил на свет — что бы вы думали? (он даже охнул от злой обиды) — ржавый железный башмак! Их там свалена целая груда. Зачем? Неужели затем, чтобы лишний раз вспомнить, как лет десять назад он ловко подсовывал их под колеса вагона, стремяглав несущегося с сортировочной горки? Раз, два — и на всем ходу остановит. Лихой был башмачник. Да, а теперь сторож на переезде...

Глупо, конечно, срывать злость на безвинной ржавой железке, но он не мог удержаться и изо всей силы запустил ее под кровать, к стенке, на старое место. Дзинь! — и зеленые бутылочные осколки шипя вылетели из-под кровати. Так вот еще чего не хватало! Проклятым башмаком он разбил бутылку... Нет, все конечно в этом доме! Задыхаясь, едва попадая в рукава полушубка, он выскочил из сторожки на линию и шибко, как только мог, зашагал по направлению к станции.

Морозный декабрьский воздух, спокойные столбы дыма, поднимающиеся вдали над поселком, рельсы, привычно скользящие прямо и дальше, утомили взбудораженные чувства, и скоро он уже мог приятно размышлять о том, как разыщет на станции своего друга, смазчика, как они купят там кой-чего, — наплевать на разбившуюся бутылку, подумаешь, большие деньги — двенадцать копеек! — затем вернуться на переезд и мирно, вдвоем, по-дружески встретят праздник.

Улыбаясь в предвкушении таких удовольствий, он бодро шаркал подшитыми валенками по плотно умятой

снежной тропинке между рельсами и сам не заметил, как очутился на станции. Семафор, стрелки, громыхающая железом обледеневшая водоразборная колонка и, наконец, паровоз, набирающий из нее воду, горячий, лоснящийся маслом, уютно пахнувший паром и углем, — все это не только не вызвало обидных воспоминаний, — скорее, напротив, преисполнило профессиональной гордости: нет, шалишь, он, как и все тут, настоящий железнодорожник, и будьте любезны его уважать, как прежде. Ничуть не меньше!

Раньше, чем завернуть на квартиру к Прохорову, он немного постоял на путях, посмотрел на маневры, вслед за «овечкой» (так называли старый паровоз серии «ОВ») прошел до веерного депо и тут уж не утерпел и зашел внутрь погреться. В депо он редко бывал, там работали незнакомые молодые парни и решительно не с кем было поговорить про политику. Он неуверенно огляделся. Несмотря на день, в депо было довольно темно, стеклянная крыша закопчена дымящими паровозами. В каменных глубоких канавах горели сильные лампы, освещающие паровоз снизу. Но люди лазали между колес еще и с факелами в руках. В одном углу резкий свет автогенной сварки слепил глаза.

Не спеша, он направился к автогену.

— Эй, берегись!

Он так отскочил от неслышно подкатившего паровоза, что обронил в канаву свою шапчонку. Присел на корточках и умильно попросил рабочих в канаве:

— Будьте настолько ласковы. Вон он — мой колпачок.

Кто-то подал ему ушанку.

— Покорнейше вас благодарю. Пребольшое спасибо.

Из учтивости он не надевал ее, так и стоял с непокрытой плешью, озаряемой автогеном.

— Светлая у вас работа, — заинтересованно проговорил он. — Любо-дорого поглядеть. Прямо волшебство какое-то!

— Откуда ты взялся? — недоверчиво спросили снизу. — Кого тебе надо?

— Особенно никого, — отвечал он, пока еще не обижаясь. — Я как соскучусь, так шагом марш на станцию. Разве меня не помните?

Из канавы хмуро ответили:

— Что-то не припоминаем.

Но все же благожелательно протянули ему папиросу.

— У меня трубочка для души,— отказался он деликатно.— Да и по правде сказать, ребятки...— Он доверительно наклонился над канавой; внизу его оборвали:

— Куда тебя гнет? Еще свалишься, старый черт.

И на это он попробовал не обидеться — о нем же забота.

— Ничего-ничего. Я ведь черт-то железнодорожный! — пошутил он.— А случайно другого старого черта не встретили? Смазчика Прохорова. Интересно, где он сейчас находится?

Он спросил это просто так, чтобы поговорить. Твердо знал, что Прохоров сегодня свободен и ждет его дома, вчера сговорились. Каково же было его изумление, когда кто-то ответил:

— Прохоров? С семьсот девятнадцатым отправляется.

— Не может быть! Как?!

Равнодушный голос ему пояснил, между двумя ударами по железу:

— Прохоров вызвался за кого-то дежурить.

Другой голос добавил:

— Иди, иди, не задёрживайся, папаша.

И он пошел. Послушно побрел вдоль рельсов к выходу, затаив обиду на Прохорова, на этих парней и на весь этот неудачный день. Отпраздновал, называется. Разочарование было так велико, что он твердо решил не заходить ни к Прохорову, ни в магазин. Шел домой и никуда больше.

Когда он уже подходил к дому, его обогнал товарный. «Семьсот девятнадцатый»,— лениво подумал он и даже не поглядел на бегущие мимо него тормозные площадки, на одной из которых, выходит, должен быть Прохоров.

«То есть так подвести приятеля! — бормотал он про себя, когда поезд прошел, тяжело пыхтя на подъеме.— Ну, оплачу я тебе, постой!»

С этой зловредной мыслью он хотел было обратиться в сторожку, но не утерпел и глянул в хвост поезду. Тот маячил уже сравнительно далеко, но все же не столь далеко, чтобы привычный глаз не заметил чего-то неладного: паровозный дым отдалялся и отдалялся, хотя ветер дул не в ту сторону, а последняя, хвостовая площадка будто остановилась. Странно!

— Может, это мне кажется? — попробовал он себя успокоить. — Подъем тут больно здоровый, товарняки едва ползут...

Но площадка не только не уменьшалась, а даже наоборот — увеличивалась, точно поезд пошел обратно. Но ведь дым... дым по-прежнему удалялся!..

Мелькнула жутковатая мысль: неужто разорвался на подъеме? Ох! Если действительно так, что тогда? Вагоны пойдут под уклон, добегут до станции, налетят на маневрирующий состав... да еще, не дай бог, подвернется встречный!.. Опять попробовал себя успокоить: тормозные не спят... успеют остановить...

А дальше — события опередили его мысли. Оторвавшаяся половина поезда и не думала останавливаться. Она неумолимо катилась, вырастая на глазах. Стало видно, как мечется по хвостовой площадке кондуктор, уже не пытаясь крутить баранку тормоза. Значит, задний испорчен... Если и другие — дело табак!..

Старик с потемневшим, окаменелым лицом стоял на полотне и глядел на приближающийся состав. На что тут надеяться? Вагоны бесшумно, словно во сне, накатывались все ближе, ближе... Сами же они не остановятся, это только во сне случаются чудеса...

Совсем не по-стариковски отпрянул он от путей. Куда? — в дом!.. Чтобы не видеть, не слышать, раз уж нельзя помочь!..

...Трясущимися руками он выгребал их из-под кровати, всунувшись туда чуть не по плечи, и лихорадочно кидал в полушубок. Бегом на линию! Только б хватило сил!..

Он бесстрашно улегся у самых рельсов и хищно глядел вперед, на набегающую, уже совсем близкую к нему пустую площадку: тормозной, как видно, изверившись, прыгнул наземь... Старик приготовился к встрече. Секунда — и полетели над ним вагоны. Грохот. Он ловко, не упустив момент, подбросил под колесо башмак. Под следующее. Еще. Еще. Шапку сдуло прямо под вагон, сверкала лысина. Вокруг — снежная пыль столбом, визжали колеса. Он методично делал свое дело. Он не мог видеть, как на одной из вагонных площадок, скорчившись, вобрав голову в плечи, вертел тормозную баранку Прохоров, с виду тщедушный, но жилистый, упорно надеясь, что может сработать хоть его ручной тормоз.

...Еще один башмак. И еще... Господи, кажись замедляет!.. Еще! Так. И еще башмачок подбросим...

Вагоны остановились.

С площадки соскочил Прохоров, бежит к старику. Тот совсем обессилел, сидит на земле, привалившись к застывшему подле него колесу. Лицо серое-серое... как песок между комьями развороченного его локтями и коленками снега. Глаза закрыты. Прохоров обнял его за плечи, другой рукой счищает с полушубка снег и землю; заботливо накрыл ему лысину своей шапкой.

— Это ты, Прохоров? — говорит тот, не открывая глаз, но уже улыбаясь: чувствует, что друг рядом.

— Я... я... ты сиди!

— Видишь, встретились... Ты чего меня обманул?.. Ну, с праздником, Прохорыч... с Новым годом!

— Покалечился? — испуганно говорит Прохоров, увидев, что руки старика в чем-то красном.

— Не,— отвечает тот и, подняв с земли железный башмак, показывает приятелю.— Десять лет не пользовался. Заржавели, стервецы, под койкой...

ПУГОВИЦА

Рассказ

Немецкий социал-демократ приехал в 1920 году в Россию — взглянуть на все своими глазами и встретиться с Лениным. (Многие тогда приезжали за этим.) Еще не кончилась война с Врангелем и Пилсудским,— Россия была, как ему показалось, на крайней черте разрухи и голода. Да, конечно, каким-то чудом она продержалась все эти трудные годы, но сейчас, ему думалось, революционный энтузиазм неизбежно выдохся, люди безмерно устали.

Немец готовился задавать Ленину резкие, прямые вопросы, требующие столь же прямых ответов. Готовился быть беспристрастным судьей того, что происходит в России... Но вместо этого он стал торопливо отвечать на вопросы, которыми забрасывал его Ленин. Ленин расспрашивал, как получилось, что провозглашенная в одном из немецких княжеств советская республика, в правительстве которой независимый социал-демократ принимал близкое участие, продержалась всего три дня. Немец резонно объяснил, что правое крыло социал-демократической партии их предало, что народ оказался недостаточно сознательным, недостаточно подготовленным к социализму и не поддержал в нужную минуту свое рабочее правительство.

— А что вы сделали для народа, чтобы он вам поверил и поддержал вас? — придиричливо спросил Ленин.

— Он нам не мог не верить,— обиженно возразил независимец.— Мы плоть от плоти народа. Мы близки ему так... ну как эта пуговица к пальто, к которому она пришита.

Ленин усмехнулся.

— Гм, допустим. Ну, и что же вы сделали для родного народа?

— А что мы могли успеть за три дня сделать? — недоумевал немец.

— Назовите хотя бы один закон или декрет, который вы объявили и попытались провести в жизнь.

— До законов и декретов не дошла очередь. Наше правительство, повторяю, существовало только три дня.

Ленин был неумолим:

— Три дня! И вы этот срок никак не использовали. Еще бы вас поддержал пролетариат, когда вы даже не успели на фабриках ввести рабочее самоуправление. Вас не поддержали крестьяне, потому что вы и не заикнулись о том, чтобы отобрать и разделить помещичью землю. Что вообще вы успели? Застегнуть куртки на все пуговицы и чинно войти в кабинеты, оставленные бежавшими министрами? Этого мало. Этого непростительно мало. Вот почему вы не удержались больше трех дней. А мы, как видите, держимся больше трех лет и надеемся — на века!

Пораженный такой самоуверенностью, независимец вдруг утратил хладнокровие и воскликнул:

— На века? А пуговица?

— Что пуговица? — удивленно спросил Ленин.

— Если завтра у вас, у меня оторвется и потеряется пуговица — тогда что? Скажу откровенно: я, как бывший портной, нарочно осведомлялся...

— Ах, вы портной? — заинтересовался Ленин.

— Да, но что толку! У вас здесь в России не продают пуговиц. Можно совершать чудеса героизма и самоотверженности, победить всех врагов — и оказаться бессильным против маленького смешного случая: человек потерял пуговицу! У вас остановились фабрики, изготавливающие самые простые, обыкновенные вещи. Люди годами живут без реальной возможности приобрести себе то, что им нужно. Я говорю не о предметах роскоши, я говорю о пуговице!

Ленин рассмеялся:

— Вы хотите сказать, что если у кого-нибудь из нас отвалится от штанов пуговица, штаны не будут держаться на одном энтузиазме. Да, вы правы: по всем законам земного тяготения не должны держаться, — он доверительно наклонился к немцу. — А я вам по секрету скажу: будут. Еще туже подтянем веревочкой брюхо — и отлично станут держаться, пока не прогоним Врангеля. А потом у нас в стране будет много пуговиц и других полезных вещей. Мы станем их делать с не меньшим энтузиазмом, чем воевали. А пока, дорогой товарищ, может быть, вы оставите в покое мою пуговицу?

— Извините! — смущенно сказал немец, крутивший во время этого горячего спора пуговицу на пальто Ленина.

И они пошли дальше, направляясь в рабочий клуб, где Ленин должен был выступать на митинге.

Было лето, от ускоренной ходьбы Ленину стало жарко, он распахнулся... и от пальто отлетела эта злощастная, открученная его собеседником пуговица. Отлетела и покатилась по тротуару. Ленин этого не заметил. А немец заметил, еще больше сконфузился, поднял ее и спрятал к себе в карман. На всякий случай: может, потом как-нибудь удастся поправить дело!

После митинга в клубе, где Ленин говорил об очередных задачах Советской власти, о военном и трудовом фронте, они снова вышли на улицу. И немец с изумлением увидел, что у Ленина на пальто все пуговицы в целости. Что за чудеса? Ведь Ленин всего на десять минут снял в зале пальто и положил его на стул позади себя. Кто успел пришить пуговицу? Откуда взял? Значит, за одеждой вождя постоянно следит специальный человек, иначе объяснить этот случай невозможно: отлетевшая пуговица благополучно покоится в кармане у немца...

Через несколько лет, когда Ленина уже не было в живых, независимый социал-демократ, который стал коммунистом, снова приехал в СССР. Он с радостью увидел, что страна ожила, в ней кипит созидательная работа, много всяких товаров, причем не только в Москве, но и в деревне, где он успел побывать.

В одной избе, куда он зашел, его заинтересовал портрет Ленина. Ленин на этом портрете, увеличенном с фотографии, — в пальто, в кепке, — именно так был он одет во время той хорошо памятной прогулки. Хозяйка избы, пожилая женщина, приметив, что иностранный гость пристально разглядывает портрет, вдруг с гордостью объявила:

— А пальтецо-то на Ильиче мне хорошо знакомо!

— Что это значит? — не понял немец.

Женщина рассказала, что лет пять назад, когда она работала в городе — в заводском клубе уборщицей, — приехал на митинг Ленин. Она, как водится, принесла оратору стакан чаю, быстро глянула сначала на самого Ленина, потом на его пальто, которое лежало на стуле. И обратила внимание, что на этом не новом, но еще хорошем пальто с черным бархатным воротником не

хватает пуговицы. Она тихонько взяла пальто и унесла к себе в каморку под лестницу. А дальше что делать? Пуговицы у нее не припасено, да и не прежнее время — пошел да купил... Ну, авось пройдет номер: оторвала от своей жакетки пуговицу (не совсем, конечно, такая, как у Владимира Ильича, поменьше, другого фасона) и накрепко, самыми толстыми нитками, пришила к пальто.

И вот недавно приходит в сельпо и видит большой портрет Ленина. Вгляделась — матушки! — пуговица на пальто (вторая сверху с правой стороны) та самая, от ее жакетки...

Принесла этот портрет домой и повесила у зеркала.

Не однажды в день подойдет, полюбуется:

— Пуговка-то моя пришита!

Выслушав это, немец внимательно осмотрел портрет, молча кивнул головой: «Все правильно», — затем вынул из жилетного кармана аккуратно завернутую в бумажку (с указанием даты прогулки) ленинскую пуговицу, которую хранил столько лет, — и подарил женщине. От всего сердца!

Потому что он рассудил так: по всей мировой справедливости этот сувенир должен принадлежать ей, и никому другому. Он суть превосходное доказательство того, что русская советская власть — самая что ни на есть своя, народная, что всемирно известный политический вождь и уборщица — отнюдь не полюсы: эта деревенская женщина чувствует себя чем-то вроде его тетушки или нянюшки... Ну что ж, как говорится, дай бог, чтоб так и осталось на века!

ВЕТОЧКА И СЕНАТОР

Рассказ

Задумываться Веточка начал довольно давно, с половины зимы. Сначала он посвящал мыслям лишь понедельник, затем прибавил к нему и вторник. Лежал на диване и думал, угревшись под ватным одеялом и наваленными поверх него двумя-тремя старыми, дореволюционными, точнее — еще довоенными — пальто. Он отдыхал от остальных дней недели, которые проводил на толкучке с рассвета дотемна, если не выгоняла раньше облава.

Толкучка... Какое идеально точное слово! До революции его, кажется, не было, было похожее — толчея, означавшее многое другое, в том числе и сумятицу в мыслях. С приходом революции толчея в мыслях осталась, даже безмерно усилилась, особенно в первое время (сейчас она немного улеглась, по крайней мере у Веточки, но об этом позже), и родилось новое понятие, абсолютно бессмысленное: оно-то и означало то, от чего Веточке хотелось отдохнуть.

Нынешняя толкучка — это, если не бояться примитивного каламбура, такое место, где все толкутся на месте, ибо все продают и очень мало кто покупает. Интересно бы подсчитать, сколько раз за три года Веточка его посетил. Таскаешь-таскаешь на горбу любимую вещь (черт бы ее побрал!), пока тебе повезет и ты сбagriшь с рук картину в тяжелой дорогой раме или персидский ковер, хрустальную люстру или хрустальную вазу, мраморный письменный или серебряный столовый прибор. Словом, любой предмет, вплоть до мелочишки, легко укладываемой в карман, вроде брелока или колоды карт.

Кстати, карты шли ходко, но продавать их следовало архиосторожно: милиция могла посчитать за развращение трудовых масс. Жалко. В этой области Веточка сдедал одно позитивное наблюдение, которым поделился с приятелем: люди нынче одинаково охотно покупают

как запечатанные, так и распечатанные колоды, — значит, стали доверять партнерам, поднялось нравственное начало. Приятель обидно захохотал: «Да ты что? Они никаких игр, кроме «дурака» и «пьяницы», и не знают. И карт других, кроме самых засаленных, в руках не держали. Вполне естественно: падение общей культуры привело к падению культуры карточной... Попробуй, предложи своим квартирным соседям: «Не хотите ли партию в преферанс?» — «Чего, чего? — скажут. — Куда нас затягиваешь? Какая такая-сякая партия окромя большевицкой!..» — Мигом окажешься в чекé!»

М-да... В данном случае он, может, и прав. Но вообще-то любопытных противоречий, не укладывающихся в прежнюю логику, в сегодняшней жизни много. Разве, скажем, не странно, что в то самое время, когда электричество в городе не горело почти ни в одном жилом доме, если не считать самых привилегированных, как, например, Второй Дом Советов — бывшая гостиница «Астория», — охотники до электрических люстр и настенных бра всегда находились. Неизвестно, кому и зачем это нужно, поскольку главные покупатели — деревенские мужички — раньше и слыхом не слыхали про электричество. Видимо, брали за красоту и непонятность, а вот это уже наводило на размышления, этому можно уделить очередной мыслительный день. Нужных и понятных вещей крестьяне набрались вдосталь, с продуктами у них сейчас хуже, но электрические принадлежности продолжали расхватывать.

Так Веточка продал, вернее — променял, все светильники из своей бывшей квартиры. Он уже больше двух лет жил в одной комнате, в кабинете покойного отца, но раньше, чем уплотнили, успел перетащить сюда все, что считал более или менее ценным. Вот уж истинно бог внушил ему содрать со всех стен провода и арматуру, — разве бы ему самому догадаться! Кабинет сначала напоминал нечто среднее между антикварным магазином и электротехнической мастерской, но постепенно он его порастряс — одно сжег, другое сволок на барахолку. На что теперь похоже его жилище? Неважно. Главное, чтоб тепло и дух человеческий!

Веточка слыл любителем и знатоком искусства. При жизни отца, будучи взрослым недорослем или, как нынче говорят, иждивенцем, он усердно и с толком собирал красивые вещи. Сколько забот! Сколько хлопот! Как он всем этим гордился! Теперь он вполне

равнодушно выносил из дому всех любимцев и любимиц подряд; да и какая разница — испытывает он при этом душевную боль или нет: жрать-то надо. Ему еще пофартило: во-первых, жив, во-вторых, здоров, в-третьих, — и это, наверно, основное, — один как перст, заботиться абсолютно не о ком. Последнее обстоятельство — полная безответственность и относительная беззаботность — как раз и сформировало сегодня его мысль.

В это февральское утро Веточка дольше обычного валялся на старом, вытертом до рыжести кожаном диване, покрытом темной камчатой скатертью, оставлявшей узоры на спине и боках: от крахмальных белоснежных простынь в силу понятных причин пришлось отказаться; кровать с пружинным и волосяным матрасом он давно загнал. («Загнать», «загнал» — чуждые же слова! Современная лексика, к которой Веточка не только привык, но даже слегка увлекся, тоже в какой-то мере приобщила его к советской действительности.) Наслаждаясь заслуженным отдыхом, он старался думать о чем-нибудь сравнительно приятном и отвлеченном. Например, человечество... Большевики пытаются социально переустроить мир и, надо признать, немало на этом пути преуспели. Кто был никем, тот если не стал всем, то все же кое-чем. Взять хотя бы уплотнение квартиры. На равных правах с ним (ох, не на больших ли!) поселился в ней простой люд. Рядом с кабинетом, в бывшей родительской спальне, живет кустарь-жестяник. Одного грома и звона от него вагон, но зато он склепал для Веточки отличную буржуйку и взял за нее по-соседски, по-божески. Кто-то удачно окрестил эту капризную печурку строкой из романса: «Не уходи, побудь со мною!» И верно, оставишь ее без присмотра — погаснет или натворит беды.

Пойдем дальше. В гостиной разместились семья бывшего дворника, убитого еще на германском фронте. Дворников редко призывали на военную службу, — ни для кого не секрет, что в свое царское время они должны были помогать полиции, а то и охране. Значит, этот не зарекомендовал себя на мирной стезе, что невольно придавало ему симпатии в глазах либерала Веточки. Впрочем, у вдовы дворника характер типичной ведьмы.

Ну и, наконец, в столовой живет таинственная Кармен. Почему Кармен и почему таинственная? Потому что эту бывшую работницу с бывшего «Лаферма» (табачная фабрика на углу 9-й линии и Среднего про-

спекта) чаще видят ее многочисленные Хозе, которым Веточка уже не раз открывал дверь на условный стук с лестницы, чем обитатели квартиры. Даже дворничиха о ней знает только, что она отправила в деревню своих детей, а от кого дети, был ли у нее когда-нибудь муж — решительно никому не известно.

Что касается остальных комнат — бывшей детской, принадлежавшей некогда самому Веточке, каморки для прислуги и второй спальни, где раньше жила вдовая тетка, то сейчас там никто не живет, и комнаты заперты домовым комитетом. Почему они не оставлены за Веточкой — неясно. Очевидно, чтобы не воображал себя барином. Ну и правильно, зачем они ему?

Социальное переустройство идет, это бесспорно; материальное раскрепощение — налицо, это все видят, а вот как обстоит с раскрепощением духовным? Обрете-на ли духовная свобода? В каком-то смысле — да: люди чувствуют себя независимее, не обязаны делать то, что подчас вынужденно делали раньше, например ходить в церковь. Правда, вместо старой религии пришла новая, Марксова, но сейчас Веточку занимает другое.

Скажем, можно бы считать, что он, как и многие-многие подобные ему, счастлив уж тем, что сыт и не отягощен лишними заботами. И все же его иногда тревожила мысль о неполноценности такого упрощенно-физического счастья. Что тут можно изменить? Ведь истинный руссоизм, несмотря на содержащийся в нем призыв к простоте, близости к земле, земной плоти, это — мышление, работа мозга, а не живота и не икроножных мышц. Можно жить и без мыслей, безусловно можно, — это уж проверено, — но Веточка презрел бы себя навеки, если бы не восстановил и не обогатил свои умственные способности.

Впрочем, само опрощение быта дало определенный плюс для работы мысли. Правда, трудно стало добывать хлеб и дрова, керосин и сало, то есть самое насущное для поддержания жизни, но зато исчезла потребность в комфорте, в вещах и предметах, недавно казавшихся совершенно необходимыми для культурного человека. Стоит вспомнить, сколько времени отнимал утренний туалет, начиная от ванны и заканчивая вдеванием запонок в белокаменные манжеты. Недаром Толстой в «Воскресении» посвятил туалету Нехлюдова чуть не целую главу. Небось в Сибири, следуя за Катюшей на каторгу, Нехлюдов значительно упростил это дело! Так

и Веточка нынче: натянул штаны, вскочил в валенки, нахлобучил ватник — и готов к бытию.

Таким образом, рассуждал Веточка, простые физические перемены повлекли за собой перемены духовные. А ежели пойти дальше? Ведь один из важнейших факторов, закаляющих волю и чувства,— война, фронт,— идет на убыль и скоро совсем исчезнет. Это, конечно, большое благо, но, значит, надо отыскать новые, мирные, еще не открытые, не исследованные ресурсы физического воздействия. Закалять душу испытанием тела. И неожиданными опасностями, не дающими каждодневному, будничному существованию автоматизироваться. Ведь сама революция — неожиданность, да еще какая! Так сказать, нечаянная радость!.. (Веточка машинально улыбнулся своей остроте,— он отнюдь не хотел глумиться над революцией!) Но в чем сегодня, в относительно мирное время, в привычном быту, может проявиться внезапность? Нельзя же требовать каждый день новую и новую революцию,— надо что-нибудь такое попроще.

Проверим обычный, рядовой день и его возможности. Начнем с утреннего вставания с постели. Что тут может случиться? Замерз и лопнул водопровод? Принесли неприятную повестку? К этому петроградцы привыкли, знают: как-нибудь обойдется. Что дальше? Дальше выход на улицу. На улице с человеком может случиться буквально все: в ближайшей подворотне бандиты снимут с него пальто; в следующую секунду свалится с крыши и пробьет башку — и ему и бандитам — гигантская сосуля (дворников-то фактически отменили). Что ж, особой оригинальности в этих происшествиях нет, но нет и неизбежности: с одним случилось, с другим — пронесло мимо. Минутку, минутку! Вернемся чуть-чуть назад. Человек вышел из своей квартиры на лестницу. Так. Совершенно верно: каждое утро Веточка спускается, а к вечеру поднимается по лестнице. Спускаются и поднимаются и другие жители их квартиры и дома, а также тысячи людей, обитающих в сотнях и тысячах других домов города. А что, если?.. Внутри у Веточки похолодело. Что, если?.. Он не стал додумывать детали, а торопливо выпростал ноги из-под одеяла, вскочил с дивана и даже не почувствовал законного для этого раннего утреннего часа бодрящего (или обескураживающего,— смотря по состоянию духа) морозца в комнате.

Веточка размахисто-вдохновенно натянул брюки, не те будничные, протертые, собственноручно и многократно залатанные рабочие штаны, в которых, как правило, дежурил на барахолке, а так называемые праздничные, то есть по сути такие, какие в прежнее время и золотарь стеснялся надеть.

Он знал, что он сделает. Несмотря на вторник, когда, как сказано, он не таскался на толкучку, он все же туда пойдет. Но не продавать и не менять вещи на продовольствие, — наоборот, за часть накопленных в предыдущие недели продуктов купить... рабочую силу. Да, он наймет рабочих — на рынке всегда найдутся подходящие люди — и вместе с ними осуществит то, что задумал. Это на первый раз, — потом он придумает более сложные эксперименты.

На рынке он давно присмотрел — и не раз пользовался их услугами, продавая громоздкую мебель, — двух крепких субъектов. Один — его старый гимназический товарищ по прозвищу Сенатор. В их классе у всех были прозвища: например, к Веточкину кличка пристала так прочно, что его даже дома (даже он сам себя в мыслях!) звали не иначе как Веточкой... Сенатор был сыном какого-то важного чиновника или сановника, а то и в самом деле сенатора, хотя в этом случае его вряд ли определили бы в рядовую гимназию. До революции он увлекался спортом — главным образом, яхтами и французской борьбой, — сейчас, несмотря на голодуху и злоупотребления политурой (внутри, в качестве алкоголя), он еще сохранил кое-какие силенки. Другой рыночный знакомец — Магомет-Хан — еще более ценный помощник. Он профессиональный силач и борец, на этом они и сошлись в свое время с Сенатором. Магомет-Хан не турок и не татарин, а обыкновенный скобарь Михаил Хряпков, и тюркское имя присвоил себе для экзотики, — у них в цирке так полагалось. Кроме того, он давно спился, опух, потерял и весовую категорию и квалификацию, а то не оставил бы арены, махнул бы в Одессу, в Киев, где теплее и сытнее. Но сила у него еще есть, а главное — у него есть навык ломать и гнуть железные прутья, что и требуется для задуманной операции.

Веточка обнаружил друзей на обычном их месте, на задах рынка, между уборной и кирпичным брандмауэром, отделявшим толкучку от угольных складов, ныне пустых. Место это было хорошо уже тем, что защищено

от ветра,— в случае же облавы можно через уборную выскочить прямо на улицу.

— Мое почтение, Миша,— приветливо сказал Веточка, подойдя к силачам.— Здорово, Сенатор! Как живем-можем?

— М-м,— промычал Сенатор, недовольный тем, что Веточка приветствовал сначала Магомет-Хана.

Друзья стояли плечом к плечу для тепла, но лица их были сизы от холода и выпитой натошак политуры, которая мало веселит и совсем не греет.

— А я к вам опять с небольшой просьбой,— сказал Веточка бодро и как бы небрежным тоном, чтобы не заломили втридорога. (Впрочем; о какой таксе речь, когда столь необычное дело?)

Друзья, дипломаты тоже не последнего сорта, выжидательно молчали. Веточка невольно огляделся. Кругом никого не видно, но так неуютно, такой холод пробирал до костей, так противно было излагать заветные мысли возле загаженной внутри и снаружи уборной, что Веточка неожиданно для самого себя предложил:

— Господа, а не зайти ли ко мне? Кажется, у меня найдется...— он секунду повременил. («Живем-то один раз,— подумал он.— И вообще такую идею не надо профанировать на базаре. Не исключено, что друзья отнесутся к ней с энтузиазмом. Правда, Магомет-Хан — примитив, но Сенатор — аристократ духа. Уверен, что и ему надоело заботиться только о жратве и о выпивке. Поговорим хоть однажды по-человечески...») — ...глоток-другой кой-чего! — многообещающе заключил Веточка.

Силач и Сенатор переглянулись, скосив глаза и почти не поворачивая головы,— поразительно отработали они такую синхронность. Затем сразу, молча и согласованно, двинулись вслед за Веточкой. Ни одного слова! И это Сенатор славился прежде красноречием на банкетах, а борец любил многословно хвастать своими рекордами!

Так или иначе, оба друга следовали за Веточкой, который, подавив шокинг (сегодня их нелюбезность особенно резко контрастировала с его состоянием и настроением), привел их к своему дому.

Поравнявшись с воротами, Веточка снова предусмотрительно оглянулся — не идет ли кто вслед: к чему лишний раз обращать на себя внимание. Люди же не

знают, что Веточкой руководят самые что ни на есть человеколюбивые идеи и чувства.

Вот и лестница. Разумеется, черная. Именно тогда возник неписанный закон — забивать главный ход с улицы и пользоваться лишь черным. (Речь идет не о тех квартирах, которые вообще не имели парадных лестниц, выходили только на двор, к тому же задний, третий или четвертый от улицы.) Лишь много позже, когда родилась тенденция к разделу квартир, к мельчению их на отдельные жилые ячейки, а также когда начали действовать лифты (еще позднее), парадные двери и лестницы снова приобрели преимущество перед черными. Но, повторяю, это произошло через десятки лет, то есть в фантастически-далекие в перспективе, поистине грядущие времена.

Днем и черная лестница была вполне сносной для хождения, если ноги еще не отказались носить человека. Сравнительно светло, стекла в редких, мутных, три года не мытых окошках, как ни странно, но целы, ступени не обледенели, ибо водопровод в доме действует, воду не надо носить с Невы, как в некоторых невезучих жилищах, где комендант оказался безголовым или безруким и не сумел навести революционный порядок. Да, да, революция — это не обязательно беспорядок, как думал когда-то Веточка.

Итак, лестница. Что, если пройти по ней не до бельэтажа, а до мансарды? Взглянуть, в каком состоянии перила, — ведь они тянутся на протяжении десяти маршей. Удивятся — зачем это он поперся вверх? Ну, можно сослаться на рассеянность: мол, случайно проскочил...

Едва Веточка успел подняться на один лишний марш, как ощутил спиной и затылком, что спутники остановились. Он оглянулся: так и есть, помнят, черти! Стоят перед дверью в его квартиру и пялятся на него (вверх), задрав головы... А, собственно, что тянуть? Здесь и высказать свою деловую просьбу и вместе проверить ее техническую выполнимость. На лестнице сейчас пусто, они сориентируются, пока светло, внимательно осмотрят арену будущих действий, — потом придется орудовать в темноте со свечкой. А что делать? Днем в любую минуту любая дверь может открыться, и жильцы увидят, чем они заняты. Объяснять будет поздно, и бежать среди бела дня труднее, а свечку задул — и драла!

Так что ж, говорить или нет?

«Мáком!» — грустно подумал Веточка, даже не промаковав это недавно услышанное вместительное слово, означавшее: «Не пройдет номер» или: «Накося — выкуси!» В данном случае оно означало: нет, не получится здесь импровизированная беседа — неподходящая обстановка... не поймут, не оценят... придется, как видно, потолковать дома, за рюмочкой... Итак, в дом, в дом, греться!

«Черт! — с досадой соображал Веточка, спускаясь к ожидавшим его на площадке приятелям. — В кабинете мороз, печка сегодня не топлена... Ничего, нагреется. Мы еще испытаем райское блаженство. И — пойдем друг друга!»

— Господа! — решительно сказал Веточка, широким жестом вынимая из кармана ключ. — Прошу ко мне!

Но на пути в рай их подстерегала адская неожиданность. Когда Веточка открыл дверь и вежливо пропустил друзей вперед, а они недоверчиво вступили в полумрак кухни, окна которой для тепла были больше чем наполовину завешаны какими-то тряпками, из квартирных недр появились две женские фигуры. Одна из них была вдова дворника, другая — Кармен с «Лаферма». Они не терпели друг дружку, дворничиха всегда старалась подловить Кармен в тот момент, когда та впускала к себе своих разнообразных Хозе, разнообразных по возрасту и по социальному положению, хотя, казалось бы, революция уравнила подавляющее большинство граждан. Взаимная неприязнь подогревалась тем, что Кармен была чуть не вдвое младше и жила сытнее и веселее.

Обе женщины вышли навстречу Веточке и его приятелям так дружно, так бойко, что Веточка не успел удивиться. Они с ходу накинулись на вошедших, охарактеризовав их словами, каких он даже в гимназии не слышал, как ни циничны гимназисты в своем нежном возрасте.

Станным, очень странным выглядел этот яростный взрыв. Если дворничиха и прежде позволяла себе по любому поводу лаяться (судьба, характер, да и семья тяготила), то Кармен была женщина тихая, к мужчинам относилась лояльно. В чем же дело? Видать, затесалась какая-то личная неприязнь к Сенатору или к Силачу, а уж Веточке попало за компанию.

Так или иначе, все трое мужчин благоразумно

смолчали и прошли мимо разбушевавшихся фурий в коридор, а затем в кабинет, спешно открытый Веточкой заранее приготовленным французским ключом.

— Рассаживайтесь, господа,— гостеприимно пригласил Веточка,— я сейчас подожгу растопку, и мы уютно посидим у камелька.

Гости, усевшись, один на диван, другой в кресло, мрачно наблюдали за тем, как Веточка, примостившись на корточках, разжигал печурку, и оживились, лишь получив на руки по рюмке вишневой наливки. Основой для наливки послужил спирт-сырец, выменанный еще два года назад на большую семейную люстру, висевшую когда-то в столовой вместе с грушей звонка, проведенного в кухню к кухарке. Сам Веточка алкоголя не употреблял, но держал его про запас, на случай простуды или какого-либо торжественного события. Нынешний день можно было бесспорно считать торжеством мысли, должнествующей завершиться торжеством дела.

«Начать, что ли, немного издалека? — подумал Веточка.— С эпизода из давней детской дружбы. Взрослых это сближает. Воспоминания о детстве, о юности невольно настраивают на сентиментальный лад, помогают лучше друг друга понять, пусть даже жизненные пути разошлись...»

Веточка заставил себя с нежностью посмотреть на оборванца в опорках, с опухшим лицом, сизый нос которого после двух рюмок принял цвет вишни.

— Помнишь,— сказал Веточка, обратив сияющий взор на Сенатора,— помнишь, в гимназии мы однажды с тобой чудно скатывались по перилам лестницы, которая вела в актовъй зал, и в увлечении не заметили, что внизу стоит наш директор? Как его звали? Степан Ильич? Или Илья Степаныч? Да, конечно, Илья Степаныч... мы прозвали его кратко — Стаканыч... Так вот Стаканыч спокойно стоял и ждал, когда мы скатимся до конца, иначе, если бы он окликнул нас раньше, пока мы, так сказать, были в пути, мы могли испугаться и упасть в пролет... А когда мы благополучно прибыли вниз, он сказал: «Господа!.. Господа,— сказал он,— возможно, слова мои покажутся вам трюизмом... Надеюсь, вы знаете, что такое трюизм? Так вот, я вам должен напомнить, что перила лестницы служат в основном для того, чтобы ограждать поднимающихся или спускающихся по лестнице людей от опасности падения, особенно людей рассеянных, а также помогать подниматься

тем, кто нездоров, слабосилен, тучен или стар. Держась рукой за перила, немощные или неуверенные в своих силах и присутствии духа люди легче всходят наверх или спускаются вниз. Но нигде и никогда, слышите? — нигде и никогда не предусматривалась роль перил в том значении, какое придали им вы, господа, съезжая по ним — один на животе, другой... гм, гм... на части тела, во многих смыслах обратной животу. Что вы скажете на это, господа?» — заключил директор. Помнишь, Сенатор, что ты на это сказал? — задыхаясь от нахлынувших на него сладких воспоминаний, спросил Веточка.

Сенатор по-прежнему молчал, и лицо его оставалось бесстрастным. Веточка увлеченно продолжал:

— А я помню! Я отлично помню, как ты ответил: «Виноват, господин директор, мы этого не знали. Благодарим вас. Теперь будем знать». — Веточка залился смехом. — Каково? А? Дерзко, конечно, но остроумно! Ты вообще был остроумным парнем, это потом тебе пригодилось, правда? Я помню, какой примечательный спич ты произнес на обеде в помощь увечным воинам в начале войны... Но я заболтался... — Веточка сделал сосредоточенное лицо. — Вернемся к тому, для чего я вас пригласил... тебя, Сенатор (ничего, что я тебя по старой дружбе так называю?)... И вас, Миша. — Он слегка поклонился тому и другому. — Как ни странно, это имеет прямое отношение к предмету, о котором я только что вспомнил. Загадочная вещь — ассоциативные связи. Клянусь, что я не готовился так начинать. И вместе с тем не исключено, что там, в мозгу, — он повертел пальцем в области лба, — это все и объединилось... Да, да, господа, я имею в виду перила! — Он с силой провел по воздуху воображаемую косую черту. — Это не просто пример — это объект для того самого действия, коего я хочу просить вас быть не только свидетелями, но и участниками. Я знаю вас как смелых и мужественных людей и уверен, что то, что я вам предложу, вас не смутит... — Веточка сделал паузу, он был заметно взволнован; взяв себя в руки, он отрывисто продолжал: — Извините... я сегодня чересчур говорлив... вероятно, я слишком долго находился один в своей скорлупе... — Веточка обвел рукой голые стены своего кабинета. — Скажу теперь предельно кратко: вы мне поможет снять с лестницы перила!

Вымолвив эти главные слова, Веточка пронизываю-

ще взгляделся в своих друзей, сначала в одного, потом в другого, потом опять в первого — и на нем остановил вопрошающий взгляд. Что скрывать, к Сенатору и только к Сенатору был обращен его призыв. Силач, несмотря на свои выдающиеся физические данные, это вторая скрипка, точнее говоря — контрабас... Согласится Сенатор — и дело в шляпе!

Правда, Веточка не предполагал, что согласие будет дано сразу, без добавочных его разъяснений. Наоборот, именно эту часть беседы он готовил с особой тщательностью, заранее гордясь своей логикой и оригинальностью положенной в ее основу идеи. Сейчас он все объяснит, и покоренные этой блистательной мыслью друзья чокнутся с ним бокалами.

— Сколько? — раздался вдруг хриплый голос Сенатора.

Как ни внимательно в этот момент смотрел на него Веточка, он вздрогнул от неожиданности. Ничто в лице Сенатора не выдавало желания заговорить, расспросить, а единственный этот вопрос был так грубо-прямолинейно... Может быть, Веточка ослышался или не так понял?

— Что сколько? — растерянно переспросил он.

Сенатор снисходительно усмехнулся.

— Ясно, что не дензнаков.— Он вытянул вперед, к самому носу Веточки, левую руку в засаленном обшлаге и правой стал деловито загибать на ней бывшие холеные пальцы с обкусанными грязными ногтями.— Спирт, хлеб, сало — вот что нынче валюта. Бумажки, сам знаешь, не в моде. Теперь считай. Пять этажей — значит, пятнадцать погонных сажен перил. А то и больше, считая площадки. Считай, на круг двадцать. Значит, за все про все — полпуда сала и четверть самогона. Хлеб — черт с ним, обойдемся. Половину плати вперед.

Веточка не верил ушам.

— Ты... шутишь? — спросил он упавшим голосом.

— А ты? — отозвался Сенатор.— Не подходит — ищи дешевле. Выходи на середину рынка и выкликай!

— Но у меня нет таких продуктов...

— На нет — и суда нет,— поднялся со стула Сенатор.— Скажи спасибо, что не заявим в милицию. Небось не поблагодарили бы. Силач, пошли!

— Сенатор! — взмолился Веточка.— Может, мы сговоримся... частично? Хоть на один этаж?.. Подождите минуточку, я все объясню! Я вас огорочил голой идеей,

на деле все гораздо сложнее, серьезней... Наверно, мое предложение прозвучало дико... Присядьте, друзья!

Он торопливо наполнил их рюмки. Захлебываясь, он выложил свой проект, все, что ему представлялось в свежий утренний час таким радикальным и смелым. Ликвидация перил только первый шаг, шаг несомненно революционный, но за ним последуют и другие, еще более радикальные.

— Друзья! — вдохновенно говорил он. — Вам не приходилось задумываться над тем, как случилось, что революция, освободив человечество от многих пут и препятствий, забыла за недосугом освободить его от ряда других, не менее досадных, препон? Возьмем те же перила. Это же невероятная косность — ограждать себя от пространства, от неба, от воздуха, то есть от самых целительных факторов. Скажут, это необходимая мера безопасности. А для чего? Разве любой наш шаг не опасен? Я вдохнул глоток воздуха — и с этим глотком в меня ворвались мириады бактерий... (он выразительно показал ртом и рукой, как именно это произошло.) Дело моего организма — защититься от этих врагов. Мобилизовать все силы для отпора. И организм это делает. Хотя это еще как раз вне моего сознания, моей умственной и духовной жизни. Как же не мобилизоваться против бессмысленного страха высоты, боязни пространства, привитой нам глупыми заботами нянюшек и родителей, проектировщиков и строителей, муниципалитета и домохозяев, всех незваных опекунов, проникшихся вековыми предрассудками?!

— Могут сказать: а дети? Дети шаловливы, дети неосторожны, дети скорее других могут упасть и разбиться. Не тревожьтесь, скажу я, вы просто забыли свое детство: для вас были благом малейший риск, любая опасность. И ничего с вами не случилось. Не случайно же я вспомнил о том, что проделывали мы с тобой, Сенатор, на тех же перилах... Возможно, тогда и забрезжила передо мной где-то в тумане мечта, которой теперь суждено осуществиться...

...Позвольте повторить: идея моя, в самых кратких словах, такова. Человечество нуждается в испытаниях, растительная, слишком спокойная, несложная жизнь ведет к вырождению. Революция — отличная встряска, но эту роскошь не часто можно себе разрешить. Война... Я против войны, я пацифист... да думаю, что и вы... Война и голод — безусловно плохо, хотя иногда не-

избежно. Но, так или иначе, этот этап закончится, жизнь войдет в рамки. Надо время от времени выводить ее из этих рамок, причем наиболее безвредными, доступными способами. Тут не обойтись без искусственных затруднений, без своеобразной тренировки тела и духа. Иначе человечество ослабнет и не сможет преодолеть препятствия, которые в любой момент могут перед ним встать и обязательно встанут. Приведу лишь один пример: люди непременно захотят облететь другие планеты, но вот вопрос: готовы ли они к этому? Человечество нуждается в постоянной спортивной форме — вам, как спортсменам, это лучше, чем кому-либо, известно...

Двое пропойц молча смотрели на оратора.

— ...Если мне позволят прочесть на эту тему лекцию, — продолжал Веточка, — а я думаю, что позволят: нигде и никогда в мире не читалось столько разнообразных лекций... я во всеуслышание скажу то, что говорю вам, но уже с фактами в руках. Я должен произвести хотя бы один опыт. Наука без эксперимента мертва, это квазинаука, она не имеет права на существование. Чистое теоретизирование в любой области абсурдно. Мы с вами вместе произведем опыт, который будет запротokolирован общественностью и убедит всех колеблющихся и сомневающихся. Вы со мной согласны?

Сенатор и Силач продолжали зловеще молчать, а Веточка продолжал принимать их молчание если не за сочувствие, то за раздумья: не каждый же день приходится слышать такое... На всякий случай он решил обратиться к убедительному житейскому примеру.

Лихорадочно-торопливо он рассказал о полковнике Батюшкове, живущем в этом же доме, по той же лестнице, двумя этажами выше. Он тоже отказался быть контрой и мирно живет, как и Веточка, меняя вещи и подголадывая. Веточка сознательно не посвятил его в свой проект и не просил помочь? Почему? Потому что гораздо важнее подвергнуть его без его ведома этому смелому эксперименту. Дело в том, что полковник Батюшков, кстати говоря, человек в высшей степени достойный, страдает своеобразным недугом — агорафобией, боязнью пространства и высоты. Из-за этого он иногда вообще не выходит из дому...

— Теперь вам ясно, — голос Веточки окреп, зазвонел, — что значит его излечить? Он всю свою жизнь представлял эту лестницу без о г р а ж д е н и й, и боялся, и трясся... И вдруг... вдруг свершилось: перил нет!

Да, перила исчезли — но исчез и мучивший его всю жизнь страх! Может ли быть? Полковник спустился... затем поднялся... еще спустился... еще поднялся... один раз для проверки, другой раз для удовольствия... Как молодой орел, расправив отдохнувшие за ночь крылья, взлетает на скалу, взлетает за облака, к солнцу... Он счастлив, силен, он готов преодолевать все препятствия на пути к идеальному обществу. Осуществлять мечту Кампанеллы о Городе Солнца! Вы чувствуете, какая эта будет гигантская победа?

Наступила долгая пауза. Веточка с надеждой смотрел на друзей: смог ли он тронуть их сердца, подхлестнуть их вялое воображение своим жгучим рассказом?

— Н-да, победа колоссальная, — сквозь зубы процедил Сенатор. — Слушай, у тебя есть еще эта?..

— Что?.. — В воздухе повеяло прозой. Веточка явственно ощутил, что поникают крылья.

— Давай, давай! — поторопил его Сенатор и сделал выразительный жест, после чего Веточка скрепя сердце полез в книжный шкаф за дополнительной порцией спиртного и искал дольше, чем это было необходимо.

Когда порция вишневки исчезла в широких глотках Сенатора и Магомет-Хана, Веточка с новым немым вопросом поглядел на того и на другого. Лицо Магомет-Хана можно было определить как непроницаемое, если бы не знать, что за этой непроницаемой перегородкой одна лишь непроходимая глупость. На лице Сенатора, напротив того, блуждала улыбка. Улыбка эта и обрадовала и насторожила Веточку: было в ней что-то двусмысленное. Но Веточка успокоился, как только его старинный товарищ произнес четкие деловые слова:

— Инструмент есть? Веревки имеются?

— Инструмент? — радостно переспросил Веточка. — Гаечный ключ, ломик, зубило, большой молоток, плоскогубцы, отвертка... — начал он перечислять. — Что еще может понадобиться? Топор вряд ли нужен... Но есть и топор.

— А веревки?

— Зачем веревки? — удивился Веточка.

— Думаешь, стану ради тебя головой рисковать? Привязаться придется. В цирке и то предохранительные сетки натягивают.

— Господи! — ахнул Веточка. — Спасибо тебе, напомнил! У меня есть гамак, даже два. Натянем их под

лестницей... это вполне обезопасит наш опыт. С одной стороны, люди предохранительных гамаков не заметят, будут страшиться, с другой... мало ли какая случайность. Не разобьются люди...

— Хватит о людях,— буркнул Сенатор.— Давай веревку.

Веточка заметался по комнате. Пока он шарил в одном, в другом углу, Сенатор что-то пошептал Силачу, и тот с готовностью вытащил кулачища из карманов.

— Вот,— сказал Веточка, стеснительно протянув Сенатору синий, шелковый, порядком измызганный шнур от халата.— Смешно сказать, но веревки я раздарили жильцам... Хожу за дровами с этим шнуром. Ничего, что с кисточками?

— Сам ты с кисточкой! — неожиданно добродушно хмыкнул Сенатор, принимая из рук в руки шнур.— Ну, а теперь,— весело провозгласил он,— присядем перед трудами праведными и — за успех нашего предприятия! — Сенатор поднял рюмку.— Садись, садись в кресло... ты же хозяин и руководитель.

Недоуменно улыбаясь, Веточка сел. Он искренне радовался улучшению настроения своего сердитого друга,— но — и удивлялся... Впрочем, понятно: спиртное подействовало. Лишь бы гости лишнего не переложили...

Обдумывая этот неприятный, но возможный вариант, Веточка не успел моргнуть глазом, как с ним совершилось невероятнейшее: в считанные секунды он оказался крепко-накрепко привязан синим шнуром к сиденью и к спинке кресла, а рот его заткнут кляпом из грязного, мерзко пахнущего носового платка... «Что, что такое?! — внутренне вскричал Веточка.— Как вы смее-ете? Разве можно так поступать?! Это неслыханно!! Что вы хотите со мной сделать? Что?!..» Затем Веточка внутренне притих и заставил себя спокойно подумать: «Действительно, что же дальше? Хорошего ждать нельзя, это ясно, но хотя бы примерно знать их намерения. Еще терпимо, если это просто грубая шутка и трагического продолжения не последует. Поживем — увидим!» — символически вздохнул Веточка. Вздохнуть по-настоящему, полной грудью, он при всем желании не мог: рот заткнут, нос заложило от внезапно подступившего насморка, из ноздрей постыдно текло...

Далее происходило так. Удобно развалившись на

диване напротив Веточки, его старый товарищ, неторопливо потягивая наливку, спокойненько говорил.

— Так, так,— ласково говорил Сенатор. (Кстати, имя, фамилию его Веточка за эти годы успел позабыть, но какое это теперь имело значение!) — Значит, ты решил мыслить. Так. Неважно, что все, что ты наболтал, это бред параноика. Неважно, что ты вообще глуп. Важно, что ты полагаешь, будто при нынешней власти возможны мыслительные процессы. Что они имеют еще какой-то смысл! Что они оправданы в этом высшем смысле! Ах ты, сука, мыслить, видишь ли, ему захотелось! Ему мало того, что сыт!..

Благодушная поза его на миг нарушилась. Его передернуло от ненависти. И чтобы обрести равновесие, он повернулся к Магомет-Хану, который, выполнив поручение — искусно скрутив Веточку,— молча прихлебывал вишневку.— Силач, скажи... ты честный и прямодушный человек... Тебе хочется в твоём нынешнем положении мыслить? — Слово «мыслить» он брезгливо подчеркнул, чтобы даже тупые мозги Хряпкова восприняли — как нужно ответить.

Магомет-Хан невразумительно покачал головой: мозговые процессы скорей всего были ему вообще неизвестны. Но возможно также, что в какой-то своеобразной форме, присущей его личности, он мыслил в любых условиях, никакая власть ему не помогала и не мешала: он же не был ни Веточкой, ни Сенатором. Положить на лопатки, уползти с ковра, раздавить рюмашку, нажраться, пёрнуть — вот его интеллектуальная сфера.

Сенатор обернулся от Силача снова к Веточке:

— Я-то слушаю, лопауши развесил! Думаю, предлагает доброе дело: припугнуть кого для гешефта или в отместку. А он идейные сантименты! — Сенатор выматерился.— Помочь воспитывать человечество! Чтоб крепче стало духом и телом!.. Да ты кому помогаешь, стерва?! — Он опять с ненавистью уперся взглядом в старого друга.— Ишь, все обдумал! Заботливый! Гамачок, мол, внизу подвесим! Мыслит, мыслит, гнида такая! Дер-р-рьяма пирога́!! — И он легонько, лишь для почина, ткнул Веточку под дыхало.

Все внутри Веточки оборвалось: «Садисты! Пытать будут!» Но просочилась и капелька оптимизма: «Хорошо, что не успел дать инструменты!..»

Затем был долгий антракт,— гости пили и ели. Все,

что было в доме спиртного и съестного, подчистили до последней капли и крошки.

— То не ветер ветку клонит, — чувствительно выводил Сенатор, поглядывая сузившимися глазками на Веточку. Тот слушал с застывшим взлядом, с вывернутыми назад затекшими руками, с заткнутым кляпом ртом. Что говорить, все сделано было мастерски, как в лучших разбойничьих шайках.

То не ветер ветку клонит, —

выпевал Сенатор,

Не дубравушка шумит,
То мое сердечко стонет,
Как осенний лист дрожит...

Эта правдивая песня, как нельзя более отвечающая внутреннему (и внешнему) состоянию Веточки, закончилась похоронным куплетом, дважды повторенным обоими собутыльниками (у Силача оказался приятный баритон):

Скоро ль, скоро ль гробовая
Скроет жизнь мою доска?..

Затем гости отдохали, улегшись рядом на диване: храп стоял страшный, неистовый, апокалипсический. После сна растопили печку, разожгли ее докрасна. Были минуты, когда Веточка не сомневался, что его собираются пытать огнем и железом. Нет, пытки, как в самом изысканном, нематериальном аду, были избраны психологические: когда сожгли все запасенные в комнате дрова, в ход пошли не стулья, не кресла, а книги. Книги, любимые Веточкой. Сенатор выбрал их безошибочно: не какого-нибудь там Боборыкина, даже не Куприна с Леонидом Андреевым, а Достоевского и Константина Леонтьева, монографию Врубеля, годовые комплекты журналов «Аполлон» и «Золотое Руно»... О, Сенатор знал в этом толк! Из философов он выбрал не трудно усвояемых и устарелых Фихте и Шеллинга в немецких изданиях, а Ницше и Штирнера в русском художественном переводе, зорко приметив в этих книжках многочисленные закладки. Книг в шкафу оставалось еще немало, но в печь пошли семейные фотографии, письма, — Сенатор опять же знал, куда вонзить жало...

Как ни мучительны были душевные переживания

Веточки при виде горящих в буржуйке любимых книг и семейных реликвий, он все же испытывал облегчение: кажется, физических пыток не будет. Пускай все сожгут, лишь бы самого не жгли и не били. Пошуруют и уйдут — надоест возиться. Как ни тяжело на душе, но телу, надо признать, было бы хуже...

Только Веточка успел так подумать, как наступил новый этап, — он совпал с наступлением сумерек. Сенатор аккуратно зажег маленькую пятилинейную лампочку (в целях экономии дефицитного керосина Веточка не употреблял более мощных ламп), еще раз внимательно осмотрел и обшарил все шкафы, ящики и углы кабинета и наконец откуда-то вытащил (Веточка сам не помнил, где это у него завалилось) сверток электрического шнура. Скорей всего шнур остался непроданным потому, что наивные деревенские покупатели не подозревали, что для электрической люстры, бра, плафонов и прочего необходимы еще и провода, кроме электростанции.

— Так. Утаить задумал, — беззлобно сказал Сенатор. — А говорил, кроме шнура от халата ничего нет.

Поскольку с намокшим от слюны кляпом во рту Веточка не мог ни ответить, ни объяснить, он молча ждал, что последует дальше, зачем Сенатору веревки или заменяющий их электрический шнур.

Увы, через несколько минут это приобрело резкую ясность. Вновь призван был к деятельности Силач, он же Магомет-Хан, он же Миша Хряпков. Он почтительно выслушал приказ командира, тайно отданный ему прямо в ухо, мятое, как вареный пельмень, тилично борцовское ухо, которое противник трет и крутит в жестокой схватке, — и сразу взялся за дело. Быстро примотал Веточку электрическим шнуром в дополнение к шнуру от халата и, не успев Веточка опомниться, схватил его вместе с креслом, вернее, кресло вместе с ним, и понес. Куда? Это также немедля выяснилось. Дверь кабинета открыл самолично Сенатор, и все трое прошествовали — если считать самостоятельно шествующей человеческой единицей привязанного к креслу Веточку — по коридору, в кухню и далее. Куда ж далее-то? А на то самое место, которое отводил Веточка для самого главного действия — на лестницу.

Никто не попался навстречу ни в коридоре, ни в кухне, не выглянул из бывшей столовой, из бывшей спальни, из каморки при кухне, — ах, как страстно желал этого Веточка! Квартира словно вымерла...

Когда дверь на лестницу бесшумно открылась и бесшумно закрылась и вся троица оказалась на площадке, в мозгу Веточки черной молнией просверкали две страшные догадки: 1. Его сбросят в пролет. 2. Кубарем скатят по лестнице. Скорее первое: меньше шума — шмякнется один раз и все, — а катить по лестнице — еще встретится кто-нибудь по пути или выйдет на стукотню из любой квартиры. Что страшнее? Падать со второго этажа сравнительно невысоко, но шею можно сломать легко, не говоря уж о том, что башку расшибешь наверняка. Руки-ноги имеют шанс уцелеть: привязаны к креслу. Все-таки катиться по лестнице, пожалуй, не столь опасно, хотя шею тоже можно свернуть в два счета. Итак...

А вышло ни то, ни другое. Прежде всего, палачам показалась недостаточной высота бельэтажа. Они двинулись выше, на третий, затем на четвертый, затем на пятый этаж... У Веточки даже закралась надежда: упрячут на чердак! Кто-нибудь туда забредет — и Веточка спасен! А то он и сам постепенно освободится от кляпа и от веревок...

И опять он ошибся. На последней площадке убийцы остановились, молча переглянулись, и Силач одним атлетическим взмахом перекинул Веточку с его креслом за перила... Нет, Веточка не полетел в пропасть: в последний момент Силач с цирковой ловкостью прикрепил шнур к перилам, и Веточка закачался над пятиэтажной бездной. Боже мой, боже мой, что с ним творят эти люди! И что еще его ждет?!

— Славненько тебе, сука? — спросил Сенатор и сделал паузу, будто Веточка имел возможность ответить. Подождав несколько секунд, Сенатор ответил сам: — Еще бы! Могли повесить за шею, а не с таким комфортом. — Он с любопытством смотрел в напряженное лицо Веточки, потного, несмотря на мороз, задыхающегося от натуги, от страха, от кляпа. — А теперь поиграем. — Он повелительно обернулся к Хряпкову: — Михаил, тащи из кабинета клещи или кусачки. Квартира не заперта.

Силач кинулся выполнять приказание, а Сенатор опять повернулся к Веточке:

— Для чего кусачки? Удовлетворю твою любознательность. Будет так, значит. Перекусим один проводок... Держишься, Веточка? Держись, держись. Перекусим другой... Держишься? Странно. Буквально на честном слове. Да ты у нас чудотворец... Раньше боль-

шеви́ков в коммунистическом раю будешь. Ну, каково тебе мыслится?

Он говорил это, пока Силач бегал за инструментом. Картина, возникшая в воображении Веточки под воздействием этих слов (а на это они и рассчитаны), была столь отчетлива, что если бы он мог стучать зубами, этот стук разносился бы окрест, как цокот копыт. Но Веточка в своем положении мог лишь одно: закрывать глаза и вновь открывать их, с немой мольбой глядя на гимназического товарища. Неужели же не смягчится его окаменевшее сердце? И за что, за что?! Пожалуй, как ни боялся Веточка смерти и как ни велики были его физические страдания (нестерпимо болит и немеет все тело), — пожалуй, душа болела сейчас еще сильнее. Он чувствовал, что беззвучный вой разрывает ему мозг и душу. Как может человек так жестоко мстить другому человеку только за то, что тот не превратился в скота?.. Пусть неумы, согласен, пусть вздорны его проекты, но думать же человеку свойственно, свойство это от него не отнимешь!.. Теперь уже ясно, что Сенатор рассвирепел не оттого, что ему противны Веточкины идеи, — его рассердило само желание в нынешних обстоятельствах жить интеллектуальной жизнью...

Через минуту, две, много через десять, этой жизни, вообще всякой жизни Веточки придет конец. Он не может, даже если бы хотел, выпросить для себя прощение, покаяться, обещать никогда больше... Что никогда? Ну, а все-таки, если бы?.. Если вытащили бы этот ужасный кляп, раздирающий ему рот, отравляющий его своей тошнотворной вонью?.. Раз — и нет во рту кляпа! Согласился бы он тогда вымолить себе прощение и клятвенно обещать?..

Он не додумал, мысленно не договорил — что он должен был обещать, — впрочем, это и без того ясно: речь пошла бы о полной капитуляции — отныне никаких идей, никаких мыслей!.. Но тут раздался какой-то шум, крики: кричали где-то внизу, двумя-тремя этажами ниже, скорей всего на площадке перед Веточкиной квартирой. Скосив через силу взгляд, Веточка увидел, как бесстрастное лицо Сенатора, обернувшегося на шум, искажилось досадой. Значит, что-то заслуживало внимания, даже более чем внимания? Истерзанное сердце Веточки, подстегнутое надеждой, забилось сильнее. Усилился и шум, донеслись визгливые выкрики:

— Бандит!.. Ишь, вору́га, куда забрался!.. А ты

узнаёшь этого прощелыгу?.. Мазурик!.. Духу твоего чтоб!..

Дальше следовала нецензурная брань (в те годы еще не частая в женских устах и потому особенно устрашающая), послышался топот ног вниз по лестнице: очевидно, это бежал с поля брани Силач, он же знаменитый Магомет-Хан, он же бесстрашный русский богатырь Михаил Хряпков...

Что случилось? Почему он не бросился сюда, где его ждет соратник? Вдвоем они могут противостоять по меньшей мере десятку голодающих петроградцев, а тут всего-то две языкастые бабы. Веточка теперь явственно разбирал голоса своих квартирных соседок — Кармен и дворничихи. Голоса не утихли, не удалились, торжествуя победу над бежавшим чемпионом, — наоборот, приблизились: женщины, возбужденно переговариваясь, поднимались по лестнице. Веточка их не видел, он не мог повернуть головы, — да и к этому часу успело основательно стемнеть, короткий зимний денек кончался.

Неизвестно, видел их или только мог слышать Сенатор, но он попытался рвануть запертую на огромный амбарный замок чердачную дверь, — увы, оказалась кишка тонка! Вообще подходящий момент был упущен: женщины поднялись уже на четвертый этаж. Теперь они несомненно видели здесь в полумраке что-то неладное, — видели и все-таки бесстрашно поднимались.

— Кто там? — строго спросила дворничиха, бдительно вглядываясь в темноту. — Господи! — разглядела она висящего в кресле Веточку. — Дуська!! — взвизгнула она. — Смертоубийство! Беги за милицией!..

Не успела Дуська (иначе — Кармен) сделать шаг, как Сенатор, стряхнув с себя оцепенение, ринулся мимо них вниз.

— Дуська!! — снова взвизгнула дворничиха.

— Аниска!!! — вдвое громче взвизгнула Кармен.

— Держи! Держи его! — завизжали они в один голос.

Поздно. Сенатор уже топал двумя этажами ниже.

Что произошло дальше? Как выручен был из своей сверхопасной позиции Веточка? Как его вытащили и освободили от пут эти добрые (?!) женщины? Честно говоря, ничего этого потом Веточка не помнил, да и не мог помнить: то ли от перенесенных страданий, то ли от радости близящегося спасения, он лишился чувств.

Он пришел в себя уже дома, на привычном ложе, где родилось столько мыслей, пусть нелепых, пусть глупых, но не жестоких же, не человеконенавистнических, не подлых... где еще сегодня... Ладно! Хорошо уже то, что он жив, цела голова, почти отошли от многочасового онемения руки и ноги, а главное — нет во рту этой мерзнейшей тряпки... Кстати, ни глаз; ни рта он еще не открывал (только позволил себе, ошупью достав платок из кармана, высморкаться), — наслаждался новообретенной свободой вслепую и молча; зато с неизъяснимым блаженством чувствовал всей спиной каждую вмятину родного дивана. Лишь запах вокруг витал какой-то другой, незнакомый, не тот, что всегда исходил от кожаных переплетов книг, от носильных вещей, от печурки, но и не тот отвратительный перегар, которым он принужден был дышать весь сегодняшний день, находясь в плену у Силача и Сенатора. Вокруг веяло чем-то сладким, не то пастилой, не то помадой, не то духами, словом, чем-то, от чего он давно отвык.

Веточка открыл глаза — и увидел себя совсем в ином мире. Без письменного стола, за которым он иногда сидел и кое-что для себя записывал (например: «На улице стреляли. В кого и кто — неизвестно». Или: «Жестяник Прокоп хороший человек. Я рад, что мне довелось с ним познакомиться»); без книжных шкафов (которых в данный момент оставалось два, — третий давно был загнан); без буржуйки (вместо нее на почетном месте стояла и испускала благодетельное тепло керосинка «Грец № 1»); и наконец, стена рядом с ложем, в отличие от аскетических голых стен Веточкиного кабинета, увешана и оклеена фотографиями и цветными картинками. Фотографии, при ближайшем рассмотрении, оказались портретами Веры Холодной, Мозжухина и других кумиров кинематографа, а картинки — цветными обложками журналов «Солнце России» и «Пробуждение». (Веточка смутно припомнил, что кто-то выпросил у него эти обложки, но кто?) Главное же, что лежал он вовсе не на диване, а на довольно широкой никелированной кровати, поверх розового, с цветочками, одеяла, а возле кровати (он не без труда повернул голову), на стуле с прямой резной спинкой, показавшемся Веточке очень знакомым по прежней жизни, сидела, скромненько сложив на коленях руки и участливо на него смотря... Кармен, иначе Дуся.

— Господи! — воскликнула она, заметив, что он

открыл глаза.— Значит, выжили! А то уж Аниска побежала за батюшкой...

— За...чем,— пролепетал Веточка.— Я... не... верующий...

— Да вы себя не тревожьте,— еще участливее проговорила Дуся (конечно, это она и просила у него прошлой зимой картинки «покрасивее») и, выпростав из фланелевого капота, положила ему на лоб целительную, пахнущую мылом и табаком руку.— Господин Батюшков... славный, смешной такой... мы его «батюшкой» прозвали... он вам поможет, он средство знает. В прошлом месяце я не то угорела, не то опоили... так он меня враз в чувство вернул. Ужас какой образованный, а сочувствует людям, не гордец...

Твердо выговорив все это, она вдруг застеснялась.

— Уж вы извиняйте... не дотащили мы вас до вашего кабинету: все же тяжеловаты... Моя-то горница, прежняя столовая ваша, рядом с кухней — ко мне и сложили. Господин Батюшков сейчас будут, Аниска за ним побежала...— Она пригнулась поближе.— Как вам сейчас — не томно?

— Н-нет... ничего,— с облегчением отвечал Веточка, все еще осматриваясь кругом, насколько позволяла одеревеневшая шея и скудное освещение. Впрочем, лампа была посильнее Веточкиной: величественная, в виде древнегреческой амфоры, она стояла когда-то в гостиной на угловом столике, и уже давно, чуть ли не с начала века, была приспособлена для электричества, а вот нынче опять вернулась к заправке керосинцем; интересно, откуда Дуся его достает? Не иначе, похаживает к ней сам керосиновый Нобель в василеостровском масштабе...

Когда Веточка вдоволь изучил все то новое, незнакомое или переиначенное, что отличало теперь эту памятную с детства столовую, где семья их приятно-неторопливо обедала и еще приятнее и неспешнее ужинала с гостями, с удовольствием обсуждая, точнее — осуждая, государственную политику (например, он до сих пор помнит казавшуюся ему необыкновенно остроумной и дерзкой эпиграмму на председателя Совета министров Горемыкина: «Горе мыкали мы прежде — горе мычем и теперь»), он остановил внимательный взгляд на Дусе, на ее склоненном к нему простоватом, широкоскулом, но, ей-богу же, симпатичном лице. Ему вдруг подумалось: а что, если она похожа на вторую

жену Рембрандта, нет, не на ту изнеженную, прелестно-лукавую Саскию, в шелках, бриллиантах, а на грубоватую, энергичную Гейндрике, не унывающую при любых житейских невзгодах, вплоть до вынужденных затяжных голодовок? Почему-то приблизил же он к себе эту простую служанку, — наверное, по контрасту, который так часто питает новое чувство... Жаль, что великий мастер не запечатлел Гейндрике в своих поздних шедеврах, как многожды запечатлел прежде Саскию! Эта искрой мелькнувшая мысль, это неожиданное сопоставление обрадовало Веточку уже тем, что художественное, иначе говоря, духовное в нем вдруг проснулось и победило... победило все, что сегодня он испытал, в том числе и физические унижения...

Тут Веточка заметил, что небольшие зеленоватые глаза Дуси-Гейндрике сверкают непреодолимым любопытством. Сочувственно, заговорщически, интимно-товарищески, Дуся заговорила:

— Интересно, за что они вас так? Не поделили чего? — И решившись спросить, решила и упрекнуть: — Не пара они вам, Алексей Григорьевич. Я ведь их хорошо знаю. Босяки, охальники! Силач на рынке ко мне подкатывался, так я его (в голосе ее прозвенел металл) — как пошлю!! Нужны мне такие!.. — И добавила опять строго-ласково: — Зачем вы-то их до себя допустили?

Последовала продолжительная пауза. Веточка мучительно думал — что ей ответить.

— Потом... объясню, — проговорил он и как бы по слабости снова опустил веки.

— Отдыхайте, Алексей Григорьевич, отдыхайте! — заторопилась Дуся. — Вам и полегче станет... Экие звери!.. Золота, что ли, добивались?

— Золота у меня нет, — прошептал Веточка. Он с трудом поднес ко лбу руку. — Все здесь... Только путается...

— Спице, спице! — испуганно перекрестила его женщина. — Господь с вами! Это на пользу...

И Веточка послушно заснул.

Он проснулся на сей раз действительно в своем кабинете, подлинно на своем диване, не чувствуя боли, не испытывая ни тяжести в голове, ни тягости в сердце, словно бы ровно ничего с ним не случилось. Женщины возле него тоже не было: вместо нее в кресле, не на стуле, а именно в кресле, том самом, в котором вчера над

бездной качался Веточка, сегодня (да, сегодня, ибо за окном не синел вечер, а белело утро,— значит, с тех пор миновала, по крайней мере, целая ночь) сидел бывший преподаватель военно-инженерного училища, бывший полковник Константин Игнатьевич Батюшков, сутулый, подслеповатый, совсем не воинского вида человек. Почему Дуся и Аниска считали его сведущим в медицине, неизвестно, заходил ли он вчера проведать больного, Веточка тоже не знал, да по правде сказать, и не интересовался: важно, что он сейчас здесь.

Уютно расположившись в кресле, Батюшков мирно сыпал морковный чаек в стоящий на железной печурке чайник. Почаевничают они сейчас с Веточкой, посидят, потолкуют,— расскажет ему Веточка, если захочет, обо всем, что вчера приключилось,— и отмякнет, отпарится душа недавнего пленника, невинной жертвы.

Только совсем ли невинной? И стоит ли рассказывать о б о в с е м? Вдруг полковник обидится: как же так, без его разрешения Веточка намечал его для эксперимента? А если этот насильственный опыт ничуть не лучше того, какому подвергли Сенатор и Силач самого Веточку? Если вообще не может, не должен подвергать человек человека, люди людей... Но тут Веточка ощутил такое смятение, такой тревожный звонок внутри, что сразу себя оборвал: нет-нет, не сейчас! Каким-то чудом он понял, что эта внезапная полудогадка потребует еще многих и долгих мыслительных дней для своей расшифровки... только тогда, может быть... только тогда... Все! Выключился!

— Добрый день, Константин Игнатьевич! — как можно радушнее приветствовал Веточка своего не частого гостя, испытывая некоторую неловкость оттого, что вот он лежит, а гость хлопочет по хозяйству.

— Добрый день, добрый день! — весело отвечал Батюшков.— Каково отдохнулось? На улице, доложу вам, погода отличнейшая. Мороз и солнце; день чудесный! — как справедливо писал Пушкин. Вот мы с вами почти и до весны дожили. Двадцатое февраля двадцатого года — шутка ли? Думали ли мы с вами год назад, что дотянем? Ну-те-с; получайте стаканчик свежезаваренного!

— Стакан... Стаканчик... Стаканыч...— задумчиво произнес Веточка.

— Как говорите? — Батюшков на секунду задержал стакан.

— Нет... это я так, вспомнил,— Веточка встрепенулся и послушно протянул руку за чаем.

На запястье его заметно краснелась ссадина — след от вчерашнего плена. Значит, все было, все правда... Стараясь не смотреть на рубец, Веточка отхлебнул глоток и с наслаждением вздохнул полной грудью. Неужели он проспал, не просыпаясь, весь вечер, всю ночь? И где он спал? Здесь или у Дуси? Пришел ли к нему вчера Батюшков? И неужели всю ночь просидел возле него? Ах, все это так неважно! Важно и существенно только одно... одно на свете...

— Жизнь! Свобода!! — вырвалось у него откуда-то из-под дыхала, куда бил его вчера Сенатор. По правде сказать, он и сам не знал, что разумел под этими двумя равнозначными сейчас для него словами: освобождение ли от плена, насилия; возможность ли снова дышать и думать; еще ли более широкое понятие, необходимое для всего человечества; либо просто нормальную жизнь среди нормальных людей, таких, как он сам или Константин Игнатьевич, или... а почему бы нет? — как Дуся?

— А я вам что говорю? — дружелюбно отозвался Батюшков. — Вчера спускаюсь по лестнице... Когда это? Да в самое распрекрасное время, в полдень. И поймал себя, знаете, на шальной мысли: а вдруг я теперь ничего не боюсь? Помните, я рассказывал вам про свой дурацкий страх высоты? Сколько лет он меня мучил, ужас! А тут на одну лишь секунду вообразил: может, страха этого уже нет! Тогда что? — У него возбужденно блеснули за очками глаза. Он даже нагнулся азартно к Веточке. Тогда — не существуй перил, и не надо! Лестницы нет — и черт с ней, по воздуху полечу! Такая, знаете, легкость в чувствах... Хорошая штука жизнь, Алексей Григорьевич, — он удовлетворенно распрямился и продолжал уже спокойнее, — вот что значит не обжираться... да еще весна на носу... Вам не приходилось такое испытывать?

Со стаканом морковного чая, просвечивающего буровато-рыжим, трогательно близким к земле, к природе, в одной руке и миниатюрным кусочком выменья на что-то ненужное рафинада в другой, Веточка во все глаза глядел на бывшего инженер-полковника Батюшкова.



КОКА

Рассказ

Чем старше становишься, тем больше накапливается в памяти разных житейских фактов и происшествий, а то и событий, в которых хочется разобраться, понять суть, уточнить детали,— увы, иногда это уже невозможно.

Помню, жена когда-то рассказывала об одном из своих школьных друзей. Она не встречала его добрых полвека, слышала, что он стал военно-морским врачом, плавал, после войны жил и работал в Прибалтике, а выйдя на пенсию, вернулся в родной Ленинград. Хотя он был старше ее года на два, но в школе она, как и все одноклассники, звала его уменьшительно — Кока. Так стану его называть и я, но уже по другим причинам, о которых немного позже.

В прошлом году Кока вдруг объявился: узнал наш телефон, стал звонить, расспрашивать, как живем, что подельываем, приглашал в гости. По правде сказать, мы сначала дивились этим звонкам, а тем более приглашениям (довольно настойчивым), но объясняли их тем, что в пожилом возрасте подчас возникает желание повидаться с друзьями детства и юности, пусть даже почти забытыми,— недаром устраиваются встречи выпускников школы... А тут и по голосу можно было понять, что Кока весьма немолод, а то и нездоров.

Когда мы выбрали день и час, сговорились по телефону и приехали на окраину города, где он жил в одном из новых домов, оказалось, что Кока страдал астмой. Именно страдал, потому что болезнь зашла далеко, он с трудом говорил, с трудом поднялся с дивана, когда нас провели к нему. Но видно, что ждал нас и встрече обрадовался.

Это был крупный мужчина, еще пытавшийся сохранить военную выправку: он много десятков лет служил на флоте, сделался там известным, можно даже сказать,

знаменитым военным хирургом. Потому я и стану его называть — Кока... — слишком многие уважительно помнят его имя, отчество и фамилию плюс генеральское звание... Это не значит, что случай, о котором я сейчас расскажу, в чем-то его роняет, компрометирует, — скорее, по-моему, наоборот, возвышает, — но случай действительно был прискорбный и, видимо, он с давних пор томил и жег Коку. Нам раньше думалось, что хирург, привыкший «резать» людей, всегда готов к неожиданностям, что у него закаленная психика. Оказывается, так да не так; хотя я и сейчас не вполне понимаю, зачем Коке понадобилось рассказывать все это нам, посторонним в общем-то людям.

Сделал он это, впрочем, отнюдь не сразу. Немалое время заняло чаепитие и воспоминания о школьных годах, о Васильевском острове, где мы все раньше жили и до сих пор любим эти жестко прямые улицы, сухо обозначенные порядковыми номерами: Первая, Вторая, Четвертая... Двадцать четвертая линия.

— Да, — задумчиво сказал Кока. — Теперь, кроме вас, никого из знакомых и не осталось, кто жил тогда на Васильевском... и звал меня Кокой... — Он слабо улыбнулся. — Даже моя жена встретилась уже с Колей... Кстати, когда я нынче вам первый раз позвонил и назвался по фамилии, помните, вы ведь не сразу догадались, кто вам звонит. А потом вдруг воскликнули: «Кока!»

Он помолчал и сказал грустно:

— Пожалуй, я и сам успел позабыть, что меня так звали...

Мы чувствовали, что Кока устал, он еще тише и медленнее стал говорить, надсадно закашливался. Мы уже собирались уйти, тем более что явственно слышали, как за одной, за другой неплотно прикрытой дверью идет своя домашняя жизнь, которой мы не хотели мешать (там жили семьи двух его сыновей). Но Кока протестующе нас остановил и принялся, сначала не слишком внятно, сквозь кашель, с паузами, о чем-то рассказывать. Лишь постепенно до нас дошло, что он вспоминает о том, как, еще будучи холостым, но уже в полном расцвете своей медицинской практики, дружил с одним капитаном первого ранга и его женой. Дружба была закадычной, все трое были на «ты», часто встречались; Кока видел, что муж и жена любят друг друга так, как

это бывает в самых счастливых браках,— словом, им можно было позавидовать...

— Я и завидовал,— простодушно признался Кока.

Но вот этой идеальной семье понадобилась помощь врача, иначе говоря — е г о помощь. Правда, операция предстояла рядовая, простенькая: у жены обнаружился аппендицит,— но ведь любое хирургическое вмешательство, пусть самое элементарное и невинное, навеивает тревожные мысли, и муж, разумеется, волновался; жена же — ничуть.

Даже перед самым началом операции, находясь уже на операционном столе, она покосилась на медицинских сестер и на анестезиолога и улыбаясь спросила — через сколько дней ей будет можно съесть... хотя бы малюсенький кусочек селедки! Кока ответил, что дней через десять, через неделю... да он ей скажет. Она тяжело вздохнула, нарочно показывая всем своим видом, что, мол, для нее это мучительно долгий срок...

— Ничего, потерпишь! — грубовато пошутил Кока и добавил, что прежде он замечал такое неодолимое влечение к селедке только у беременных. Она засмеялась и горделиво сказала, что, следовательно, он видит перед собой редкое исключение и может извлечь из него пользу для своей науки.

После такого несерьезного разговора Кока уже всерьез приказал готовить больную, и через десять минут операция началась.

— Вы, может, думаете,— хмуро прервал он себя,— что жена капитана и в самом деле оказалась беременна... или что операция была неудачной? Не стройте фантазий! Все прошло без сучка, без задоринки... и изнывавший в ожидании и волнении муж, и очнувшаяся после наркоза жена... и их друг-хирург, сиречь я грешный, все были счастливы...

Вернувшись через неделю домой, капитанша сразу же позвонила — спросить, свободен ли он сегодня вечером, и велела прийти к ним ужинать: «А то вы, несчастные холостяки, наверно, совсем тут без меня заглодали!»

Домашняя встреча получилась веселой и шумной, бывшая больная щедро делилась палатным юмором, больничными наблюдениями:

«Т а к и х бабьих толков вам ни в жизнь не услышать! (К Коке). Думаешь, ты уцелел? Все кишочки тебе прополоскали!..»

Когда сели ужинать, хозяйка строго прищурилась: «Выпить за мое восстановленное здоровье не желаете?»

Мужчины, натурально, ответили, что желают.

Она еще строже:

«А чем закусывать станете?»

Не успели они ответить, как она не выдержала и с укором обернулась к Коке:

«Послушай, совесть у тебя есть?»

«А зачем она тебе сейчас?» — удивился Кока.

«И ты еще спрашиваешь! Неужто забыл?» — Она со значением показала на праздничный стол с украшенным луковыми перьями блюдом посередке, и Кока вспомнил. Он весело-торжественно разрешил, она так же торжественно поблагодарила и, подождав, пока мужчины осушат за ее здоровье рюмки, трепетно приняла, как редкостное лекарство, как драгоценный дар, кусочек красиво распластанной на блюде селедки...

Пауза. Кока поднял на нас тоскующий взгляд.

— ...А через минуту, не больше, лицо ее посинело, наступила короткая агония... не буду ее описывать... и хорошенькой молодой женщины не стало...

Мы невольно поежились. Я спросил:

— Что случилось? Может, селедка вообще была ей противопоказана?

Кока молчал, в упор глядя на нас, как бы стараясь проникнуть в наши тайные мысли.

— Не знаю... да, — растерянно повторил он, — не знаю. Ведь раньше-то она ее ела без всяких последствий... Скорее всего, виной то нервное напряжение, которое она сама себе создала. Тромб вдруг закупорил кровеносный сосуд — так вскрытие показало... (после небольшой паузы) якобы...

— Почему якобы? — не утерпел я.

— Ну, я не патологоанатом... не я вскрывал! — довольно резко ответил Кока, но сделал усилие и стал продолжать свой рассказ: — Через день после похорон мой друг, капитан первого ранга, в белом больничном халате, вошел в мой служебный кабинет. Я сразу заметил, что он не в себе, не здоровадается... значит, все еще перед глазами о н а... (Пауза.) Что я ему мог сказать?

«Садись, — говорю. — Погорюем вместе...»

Сели, погоревали. Не помню уж, что именно мы говорили. Наверно, вспоминали о ней, о ж и в о й... Но знаю, что весь этот долгий час я был не врачом, а просто

другом — его, ее. Потом попрощались — и он ушел. (Снова пауза.) На другой день он опять пришел и признался, что вчера приходил, чтобы меня убить. «Убить, — пояснил он, — если бы ты стал оправдываться. Втирать очки. Револьвер я держал как можно ближе, в кармане халата...»

Кока снова поднял на нас стариковские глаза-щелки в морщинистых желтых веках.

— Но, как видите, я не втирал очков. Нет, не втирал. Он бы сразу заметил... И вот я прожил с того дня уже тридцать лет. И все живу...

Мне почудились в его голосе, в его глазах слезы, но я не позволил себе растрогаться и задал еще один вопрос:

— А ваш друг, капитан первого ранга, не застрелился?

— Через полгода женился. Как и я... вскоре. (В голосе его явно слышалась злость.) Но это уже другой коленкор...

На кого он, собственно, злился? На меня за некорректный вопрос, на себя, на капитана? — этого я так и не понял. Видя, что Кока очень устал, расстроен, что жена глядит на него с тревогой, мы простились и поспешили уйти.

Через месяц его жена позвонила, что Кока умер. Доконала-таки его астма.

ВА-БАНК!

Рассказ

В нашем уездном городке с его десятью тысячами жителей до революции существовали два банка: Волжско-Камский и Сибирский. Бухгалтером Волжско-Камского банка был Михей Иванович Глухих; о нем и его семье я уже рассказал в книге «Люди — народ интересный», в главе «Соседи». Сибирский банк, помещавшийся на главной улице города, в самом ее центре, очевидно, был богаче, значительнее, — во всяком случае, его директор имел вельможную внешность. А вот жена его была приветлива и гостеприимна. Это она устроила на рождестве в своем доме костюмированный вечер, в котором я, семилетний мальчик, принял деятельное участие в виде «волка»... Массу хлопот потребовал от мамы и тети Ани мой волчий наряд, сшитый не то из козых, не то из овечьих шкур.

Нет, козы в нашем домашнем хозяйстве появились позже, в самые трудные годы — в восемнадцатом, девятнадцатом, а маскарад состоялся в пятнадцатом... Вспомнил! мех, в который я был облачен, был не козий, не овечий, а заячий, и это еще смешнее: волк в заячьей шкуре! Кстати, шкурки эти были тогда весьма популярны: задешево продавался мех и для шубы, и для воротников, для горжеток.

Как мы с мамой попали в богатый дом на богатый праздник? Догадываюсь, что нас познакомила с хозяйкой дома жена бухгалтера Волжско-Камского банка — Анастасия Васильевна Глухих: две эти семьи были несомненно знакомы, а может быть, и дружны: люди одной социальной среды, хотя Глухих был куда проще и симпатичнее Сурнина. Судьбы их в начале революции оказались несхожи. Глухих так и продолжал трудиться на бухгалтерском поприще, а более именитый Сурнин в первый год новой эры претерпел неприятности: его заключили в тюрьму как «заложника».

Недавно я нашел у себя несколько любопытных

писем от его жены, адресованных мне в 1962 — 63 году, как автору книги «Очень разные повести». Книгу эту дала почитать Сурниной (жаль, не помню ее имени-отчества) все та же Анастасия Васильевна Глухих, которая продолжала интересоваться нашей семьей, хотя мы уже много лет не встречались. В первом письме, от 23 августа 1962 года, присланном моей маме, Сурнина пишет: «Я была удивлена, когда Анастасия Васильевна порекомендовала мне прочесть эту книгу. Я прочла и вспомнила, что когда-то видела в театре и в кино чудесную пару стариков Полежаевых... Помню и вашего сынка Леню 6—7-летним мальчиком... А мой сынок Миша погиб на фронте».

Почти через год, 2 июня 1963 года, в письме уже ко мне, Сурнина довольно подробно рассказала о себе, о своих злоключениях в 1918 году и о дальнейшей, сравнительно благополучной жизни. Вспомнила она и о маскараде.

«Этот детский маскарад — последний аккорд нашей жизни при царизме. А потом... потом чего только не пришлось пережить. Мужа арестовали и увезли в Вятку, детей добрые люди отвезли к моим родителям в Глазов, все имущество в амбаре запечатано революционной печатью. Ни дома, ни семьи, ни гроша в кармане, не знаю, где переночевать. С утра до вечера добиваюсь приема у Журбы: матрос-анархист, правитель города, он мигом расстрелял на Верхней площади всех воров и бандитов. Пока попала к нему, пережила грубость, ругань, плевки, но добилась: имущество разрешили из амбара взять и немедленно вытряхиваться из города».

Теперь порой удивляюсь — откуда у меня брались силы, физические и душевные: разыскала и запаковала из вещей все, что возможно (мебель, конечно, бросила), приехала на вокзал со своим скарбом: восемнадцать мест! А на вокзале ступить некуда, народу тьма-тьмущая. Сидят, лежат неделями, ждут, когда попадут в поезд. Подхожу к двери комнаты власть имущих, — там опять же матросы, — и слышу такой разговор: «Эх, ребята, какую я сегодня швейную машину завел для своей Катки! Мировая! Но нет иголки...» Хохоцут над ним все, а я вспомнила, что у меня в портмоне лежит иголка к зингеровской машине. Посмотрела: тут. Вынула и смело вошла в комнату. Окрик: «Чего лезешь, что

тебе надо?» А я смело так: «Слышала, мол, что у вас есть швейная машина и нет иголки, а у меня иголка имеется... возьмите, пожалуйста, мне она не нужна». Что тут началось, вспомнить страшно! Матрос вскочил с места и давай меня в объятиях тискать: «А к моей-то машине, говорит, подойдет она?» — «Подойдет, говорю, обязательно подойдет». — «Вот Катька-то моя будет рада... Вот это да... подфартнуло мне! Что тебе, говорит, надо?» Я все выложила, кто я и что мне надо. Мол, надо выехать в Вятку с тяжелым большим багажом. Он кричит: «Эй, кто дежурный?» Явился матрос. Тот отдает ему приказ: «Вот эту гражданку с ее имуществом погрузи в первый же поезд... через час как раз будет служебный состав. Дай ей провожатого до Вятки, там пусть найдет подводу и доставит ее на квартиру, куда она укажет. Понял?» — «Есть», — отвечает. А тот: «Мне ты черкни записочку, что доехала хорошо и вообще все в порядке. Езжай!»

Вот так я сохранила свои пожитки: иголка помогла! В Вятке жила у подруги в углу, без прописки, без карточек хлебных. Ходила по местным деревням, меняла все, что только могла, на хлеб, на картошку, лук, репу и прочее... Готовила из этого обед, кормилась сама и кормила в тюрьме мужа. Была бита, ругана, спасаясь однажды от погони, попала как-то даже под поезд, но, на счастье детей, судьба меня и тут сохранила. Когда отлежалась от ушибов и ссадин, начались мои хлопоты об освобождении мужа. Увенчались успехом, освободили: на поруки был взят Губпродкомом. Вскоре затем взяли в армию как ревизора-инспектора. Гнали тогда Колчака.

А я съездила в Глазов за ребятами, поступила на работу в Главпродукт счетоводом — и эвакуировалась в числе семи семейств в Сарапул. Там жилось сносно, но приехали мы поздно осенью, и на все семь семейств нам дали делянку леса за Камой: «Сами рубите, сами возите и печку топите этим сырьем». Меня назначили кашеваром. Детей отдали одной немощной служащей. Приезжала я в город в субботу, стирала, мыла — и опять в лес. Завела себе тогда лапоточки, износила три пары, но надевать их как следует так и не научилась.

Как жена полевого контролера армии, я имела некоторые привилегии от военкомата. Давали лошадь, и я сама ездила в лес за сучьями. Много было слез и сме-

ху, но надо жить и воспитывать деток. Когда-то, в далекое время, меня прислуга звала барыней, а пришли деньки, когда и мне самой пришлось стать — нет, не прислугой, такого звания теперь не было, — а домработницей. Это когда нужно было учить детей дальше, после окончания ими школы. Муж находил, что ученья хватит: дочь может стать счетоводом, сын — шофером. Дело-то денежное — на ассенизационной машине возить ночное золото...

Я всегда мечтала иметь дочь-врача, а у сына было призвание к летному делу. В пылу спора с мужем решила: стану сидеть на хлебе и воде, а выучу. Но вскоре почувствовала власть и силу главы дома — и свою беспомощность. Муж стал выдавать на содержание всей семьи пятьдесят рублей в месяц: на питание, одежду, обувь, квартиру, дрова и прочее — словом, на все житейские нужды. Пришлось и с жильем потесниться. У нас было три комнаты, но мы с сыном построили в кухне полати, там ребята и спали. Я кровати свои перенесла в столовую, а две комнаты сдала квартирантам: муж, жена и два педагога, с полным пансионом.

Тут-то я и заделалась домработницей! Зато дочка поступила в Ветинститут, а сын в Электроррадиотехникум в городе Горьком. Сыну дали стипендию в 70 рублей, а Леночка получила стипендию только на втором курсе, и то по просьбе всей группы. В первый год начальство мотивировало отказ в стипендии тем, что оклад отца по тем временам был солидный — 250 рублей, хотя, как я сказала, он давал на семью всего 50...

Тяжело мне жилось, но еще раз скажу: детей выучила. Сын, занимаясь в техникуме, проходил без отрыва от занятий учебу в аэроклубе. Затем уехал в Оренбург в школу летчиков, которую после двух лет окончил и как отличник оставлен при школе инструктором. Но война разрушила его мирные планы. Ушел добровольцем, воевал до 1944 года, командовал авиаполком, получил звание капитана, награжден двумя орденами Красного Знамени и орденом Красной Звезды и погиб в Югославии за пять месяцев до окончания войны. Погиб за Родину, за счастье всех наших детей. Горжусь моим Мишей.

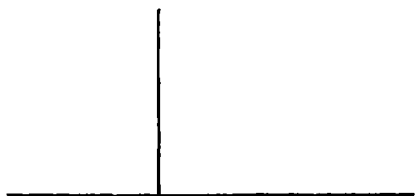
Дочь по окончании института сразу же стала работать в медицинских учреждениях, в лаборатории. За двадцать семь лет работы кое-чему научилась, и только

благодаря ей я и дожила до такого почтенного возраста. 80 лет дают себя знать на каждом шагу. Ведь жизнь трепала и впрямь, и вкось, и поперек, да еще болезнь ног, закупорка вен, трофические язвы... Зато есть что вспомнить: как говорится, жила ва-банк или на всю катушку!..

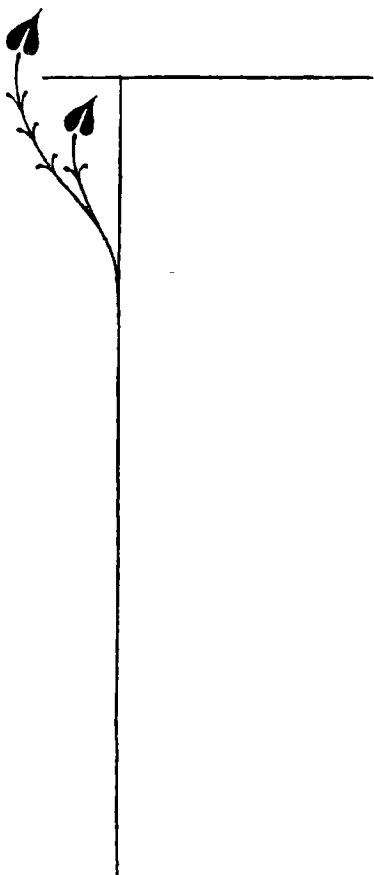
Извини меня, Леня, расписалась я что-то. А где мама? Если у вас в Ленинграде — сердечный привет ей. Всего лучшего всей вашей семье. *С. Сурнина*».

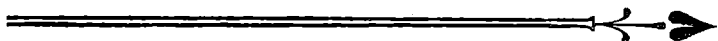
Больше я писем от нее не получал. Наверно, как в старину говорили, «приказала долго жить». Леночка мне ничего не написала — вряд ли она вообще помнила обо мне и о том маскараде... Только у очень старых людей бывают внезапные вспышки памяти!

Август 1986



ПЬЕСЫ





У ПОРОГА ВОЙНЫ

ПЬЕСА В 4-х КАРТИНАХ
1940 — 1941

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Краев Сергей Сергеевич — учитель истории.

Бугрова Александра Романовна — жена Краева, школьный врач.

Краева Агния Сергеевна — сестра Краева, учительница младших классов.

Лобовиков Игнат Петрович — учитель математики.

Лобовиков Антон — его сын, ученик 10 класса.

Костина Вера Ивановна — учительница литературы.

Шабалин Сократ Ильич — инструктор физкультуры.

Образцов Николай Николаевич — учитель физики.

Ферапонтьев Степан Кондратьевич — учитель географии.

Танненбаум Ангелина Францевна — учительница пения и музыки.

Несмелова Зинаида	}	учащиеся 10 класса.
Борисов Борис		
Кислицына Ксения		

Костина Анна Захаровна — уборщица.
Борисова Ольга Семеновна — агроном.

Действие происходит зимой 1940—41 года
в небольшом районном городе.

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Не очень уютная комната. Зимний свет сквозь замерзшие доверху окна. У задней стены голландская печка, которая, очевидно, выходит тылом в другую комнату. В углу зеленая ширма. Из-за

нее выставился конец раскладной кровати, застланной серым солдатским одеялом. Простой канцелярский стол у окна, старый, потертый диван у двери. На полу, около двери, войлок. На столе книги и бумаги. Книги на полке, подвешенной над столом. На стенах карты СССР, Европы, Китая, Испании, утыканные флажками на булавках.

Посередине комнаты стоит Агния Сергеевна Краева, в пальто, в шапке, с муфтой в руках, и беспомощно оглядывается. Протерла запотевшие очки, разглядела около себя стул и села. Александра Романовна Бугрова снимает с себя белый врачебный халат и вешает его на дверь.

Агния Сергеевна (роясь в муфте.) Знаешь, Шурочка, я достала «Красавицу Лотарингии».

Бугрова. Ко дню нашей свадьбы! Какая ты милая... Морковные семечки, да, Агаша?

Агния Сергеевна. Ничего не морковные... (Обиженно роется в муфте.)

Бугрова. Помидорные, помидорные, по глазам вижу.

Агния Сергеевна (подобрев, вытаскивает из муфты несколько бумажных пакетиков). Очень всхожие. Высший сорт. Ранние. Говорят, в июле уже поспеют. Слышишь, Шурочка?

Бугрова (явно думая о своем). В июле? Да, это рано... А ты не могла бы нынче не заниматься огородом?

Агния Сергеевна. Почему, Шурочка?

Бугрова. Вместо этого поехать с нами по Волге. Как десять лет назад, помнишь?

Агния Сергеевна (после паузы). Спасибо. Только зачем я вам, Шурочка? Сбоку припека...

Бугрова (с досадой). Ужасно я не люблю, когда прибедняются! «Где уж мне»... «Сбоку припека»... Это в Епархиальном тебя приучили к смирению...

Агния Сергеевна встала, уронила муфту, подняла, выронила пакетики с семенами, начинает их подбирать. Александра Романовна Бугрова порывисто бросается ей помочь, усаживает на диван, целует.

Прости меня! Ты мне очень нужна, Агнеша! Сними пальто, я все тебе объясню... Разденься! *(Помогает ей снять пальто. Садятся на диван.)*

Агния Сергеевна *(протирает очки, дышит на них и глядит на пар)*. Однако! Пар видно!

Бугрова. Это Сережа вздумал себя закалять. Упрямство во всем. Понимаешь, почему я хочу поехать? Не только отметить наше десятилетие, вспомнить юность. Сережа заkis в этом городе. Да, заkis! Согласись поговорить с ним.

Агния Сергеевна. Шурочка, но почему я?

Бугрова. Тебе это проще, удобнее... ты редко у него что-нибудь просишь. Ну, если ты не хочешь...

Агния Сергеевна. погоди, Шурочка. Он что, много работает?

Бугрова. Он спит через ночь!

Агния Сергеевна *(улыбаясь и вспоминая)*. Да, да, это его система. Знаешь, он еще мальчиком... Шурочка, я тебе скажу: его побороть невозможно. Значит, чем-нибудь сильно увлекся. Помню, зазвонят к ранней обедне, проснусь, а он все еще за столом. Пробовала книжки прятать — найдет и выговор сделает. И так, говорит, времени не хватает, а еще потерял полчаса на розыски.

Бугрова *(нетерпеливо)*. Хорошо, хорошо. Мне тоже нравилось его необыкновенное рвение, но сейчас... Да еще эта Костина... Не то подхалимка, не то я не знаю...

Агния Сергеевна *(рассеянно)*. А что Костина? *(С интересом.)* Шурочка, а чем Сережа нынче так занят?

Бугрова *(горячо)*. Я отлично знаю, что он одаренный человек. По ночам он пишет, вероятно хочет быть не только учителем, но и ученым. Между прочим, имеет полное право, но... *(Умолкла.)*

Агния Сергеевна. Что, Шурочка?

Бугрова *(тихо)*. Я боюсь его потерять. Он очень от меня отдалился за эту зиму.

Агния Сергеевна. Он от тебя? А не наоборот, Шурочка?

Бугрова *(упрямо)*. Я все такая же. Я ничуть не меняюсь. Посмотри, можно мне дать тридцать лет? *(Приближает к Агнии Сергеевне свое лицо.)* Нет, ты скажи!

Агния Сергеевна (*часто мигает*). Я плохо вижу, Шурочка... И я не о том...

Стучат в дверь. Александра Романовна Бугрова убегает за ширму.

Да, да, войдите.

Входит Костина.

Костина. Здравствуйте, Александра Романовна. Нет, это вы, Агния Сергеевна? Ох, я очень рада! А Сергей Сергеевич дома?

Агния Сергеевна. Он еще не пришел из школы. Разве его там нет?

Костина. Я пойду, поищу. Наверное, он в физкультурном зале. Извините.

Агния Сергеевна (*оглянувшись на ширму*). А зачем он тебе понадобился?

Костина (*тихо*). Этого я не могу сказать... (*Испуганно.*) Впрочем, если это необходимо...

Агния Сергеевна. Ну, ну?

Костина. Александре Романовне я бы ни за что не сказала...

Агния Сергеевна (*строго*). А мне скажешь обязательно.

Костина (*нерешительно*). Дело в том, что внимание со стороны Сергея Сергеевича...

Агния Сергеевна (*грозно*). Какие глупости! Тебе показалось!

Костина. Нет, почему? В общем, хотя я и учительница литературы, но, во-первых, я училась заочно... Словом, мне было скучно читать в «Войне и мире» все эти исторические и военно-философские места. А когда Сергей Сергеевич серьезно со мной поговорил, объяснил, я все поняла и мне теперь интересно... Даже ученикам могу объяснить. (*Пауза.*) Вы не станете надо мной смеяться?

Агния Сергеевна. Нет, не стану. (*Смеется.*) Ну, ступай. Я передам, что ты заходила. Ступай.

Костина ушла. Из-за ширмы выходит Александра Романовна.

Слышала?

Б у г р о в а. Неужели ты думаешь — я ревную? Она влюблена в него еще с тех пор, как была его ученицей, но я знаю: ему на нее на-пле-вать!

А г н и я С е р г е е в н а. Понимаю. *(Лукаво.)* А летом на всякий случай хочешь увезти его подальше. *(Обняв ее.)* От меня не скроешь, Шуручка, я ведь старая женщина.

Б у г р о в а *(возмущенно)*. Ты старая дева, Агнеша, это большая разница! Кажется, я опять сказала бестактность? *(Обнимает Агнию Сергеевну.)* Миленькая! Ты же из-за Сережи не вышла замуж, растила его... Ну, я дура! Ну, извини! Давай посмотрим, как мы поедem. *(Подходит к карте.)* Смотри, вот наш город. Так. Сюда. По железной дороге. И отсюда уже по Волге. А вот мои родные места. Как это будет отлично, что мы все трое прикатим на пароходе. Я совсем превращусь в девчонку... с семилетним врачебным стажем. Что ты на меня так смотришь?

А г н и я С е р г е е в н а. Просто я рада, что у тебя настроение исправилось.

Б у г р о в а. Только надолго ли? *(Нечаянно задевает рукой два флажка на карте. Флажки падают на пол.)*

А г н и я С е р г е е в н а. Ой, уронила что-то! *(Шарит рукой по полу.)*

Б у г р о в а. Брось. Все равно не знаем, где они торчали. *(Лениво нагнулась поднять.)* На них что-то написано. *(Подошла поближе к окну, читает:)* «Артиллерия дальнего действия». А на другом? «Корпус, которым командует товарищ Краев». *(Смеется.)*

А г н и я С е р г е е в н а *(заглядывает через плечо)*. Что это значит?

Б у г р о в а. Антошин почерк. Антоша Лобовиков увлечен двумя вещами на свете: Сергеем Сергеевичем — и войной. Соединил такие несоединимые вещи. Смотрит, даже наградил генеральским чином!

Стучат в стенку.

Это Игнат Петрович. Вот ревнивый отец. Рвет и мечет, зачем Антоша здесь чаще, чем дома.

А г н и я С е р г е е в н а. Шуручка, у него ведь никого, кроме сына.

Б у г р о в а. Ну и что? У нас с Сережей и сына нет — мы же за это ни на кого не сердимся. *(Стук*

повторился. Она подходит к стене и стучит в ответ.) Значит, можно зайти. Сережа их приучил. Кстати, когда придет Сережа, не говори ему ничего о моих благоглупостях. Будем пока хитрить. Но о Волге скажи обязательно.

Стук в дверь.

Войдите.

Входит Л о б о в и к о в. Беспokoйно осматривается.

Л о б о в и к о в. Антон у вас?

Б у г р о в а. Нет.

Л о б о в и к о в. Разве Сергей Сергеевич не пришел? Уроки давно кончились.

Б у г р о в а (*пожав плечами*). Еще не пришел.

Л о б о в и к о в (*косясь на ширму*). Странно.

Б у г р о в а. Хотите убедиться? (*Отодвигает ширму.*)

Л о б о в и к о в. Помилуйте!

Александра Романовна Бугрова подвигает ширму на место и уходит за нее.

А г н и я С е р г е е в н а. Игнат Петрович, на меня то за что рассердился?

Л о б о в и к о в (*вздвoгнул*). Извините. (*Подходит, здороваoтся.*) Разве сегодня не виделись? Я же вам дверь в класс открыл. У вас были полные руки таблиц.

А г н и я С е р г е е в н а (*укориzненно*). А еще ребят арифметике обучаешь. Это четвертого дня мы встретились.

Л о б о в и к о в. Может быть, может быть. (*Пошел к двери. Вернулся.*) Я очень прошу, Агния Сергеевна, когда Антоша придет с Сергеем Сергеевичем, пошлите его сразу ко мне.

А г н и я С е р г е е в н а. Хорошо, голубчик, пришлю. (*Тихонько.*) Игнат Петрович, поди-ка сюда, ко мне.

Лобовиков подходит.

Вот что я хочу сказать. Напрасно на сына обижаешься.

Л о б о в и к о в (*настороженно*). Откуда вы взяли?

А г н и я С е р г е е в н а. Погоди, не ерепенся. Антон мальчик живой, непоседа. Тебя любит он, ну и ладно. А с Сергеем Сергеевичем ему интереснее. Что ж такого. О равнобедренных треугольниках он от тебя и в классе наслушается. Вот и бежит на огонек к твоему соседу. Так и надо.

Л о б о в и к о в (*горько*). Заслужил?

А г н и я С е р г е е в н а. Зря обижаешься. Я хотела добрый совет тебе дать.

Л о б о в и к о в. Благодарю — и отказываюсь. Вы не знаете того, что знаю я.

А г н и я С е р г е е в н а. И чего ты волнуешься? Отец ты удачный, отказываться от тебя не надо.

Л о б о в и к о в (*кричит*). Что я, буржуй или поп?

А г н и я С е р г е е в н а (*машет на него рукой*). Ш-ш! Распылался как головешка. Ступай к себе, жди Антошу. Пришлю, так и быть.

Л о б о в и к о в (*пошел, обернулся*). Но я требую, наконец, чтобы топили печку. Печка же выходит и в мою комнату. Что они — хотят простудить Антошу?

А г н и я С е р г е е в н а. Не простынет. Это нам с тобой холодно, а молодым жарко. Еще лучше, не угоришь. В этом доме печки ужас какие.

Л о б о в и к о в (*сухо*). Честь имею!

Открыл дверь в коридор, и сразу оттуда донесся шум голосов, смех, топот ног, и в комнату, едва Лобовиков успел посторониться, вваливается молодежь: Антоша Лобовиков, Борисов, Несмелова и Кислицына, во главе с Краевым, все с лыжами. Шествие замыкает Шабалин.

А н т о ш а (*весело*). Здравствуй, папа!

Л о б о в и к о в (*против воли сразу заулыбался, увидев сына*). Здравствуй, дружок.

К р а е в. Товарищи, обтирайте ноги о войлок. Здравствуй, Агнеша.

В с е (*веселым, нестройным хором*). Здравствуйте, Агния Сергеевна!

Б о р и с о в (*он небольшого роста. Подходит к ней,*

солидно здороваются за руку). Как поживаете, Агния Сергеевна?

Агния Сергеевна (*удивилась*). Скажите, пожалуйста, какой взрослый! Давно ли ты у меня упал с парты?

Кислицына. Агния Сергеевна, с парты он и теперь падает.

Борисов (*неторопливо выговаривая каждое слово*). В этом есть немалая доля преувеличения. (*Помогает Кислицыной с лыжами.*)

Агния Сергеевна. Дальше, дальше от меня, ребята, вы меня совсем заморозили. Зачем лыжи-то в комнату притащили. (*Отстраняясь.*) Дальше, говорю, палку.

Входит Александра Романовна Бугрова.

Бугрова. Сережа, что это значит? Первый раз вижу тебя в образе лыжника.

Краев (*весело*). Да, Санушка. Я как Илья Муромец: тридцать лет и три года сидел у печки (*показывает*), а на тридцать четвертом стал бегать на лыжах.

Борисов (*глубокомысленно*). Сергей Сергеевич, а разве в былинах есть такой факт, что Илья Муромец бегал на лыжах?

Смех.

Бугрова. Жаль, что ты мне ничего не сказал. Может, я тоже бы с вами пошла.

Краев (*ласково*). Видишь ли, Санушка, нашему отделению поручили (*показывает на Шабалина*) выполнить тактическую задачу на местности. Ну как, Сократ Ильич, справились мы?

Шабалин. Ничего.

Несмелова. А белые балахоны нам здорово пригодились.

Шабалин. Да, подходяще. Когда залегли в цепь, слились со снегом.

Лобовиков. Как?! Антоша, ты ложился на снег?!

Антоша (*весело*). Да, папа. Мы лежали тихо, как зайцы.

Несмелова. А потом поползли вместе с лыжами. Мне в рукава снег попал.

Л о б о в и к о в (*Антоше*). Ты хочешь схватить воспаление легких? (*Краеву*.) Что за дурацкая игра?

Н е с м е л о в а. Игнат Петрович, не беспокойтесь, я сама за Антошей следила. На снегу он лежал всего какую-нибудь минуту.

А н т о ш а. Папа, на войне же я все это стану проделывать сотни раз...

Л о б о в и к о в. Ты забыл, какое у тебя здоровье?

А н т о ш а (*горячо*). Папа, я сейчас здоров, как бык. Ты увидишь. Сегодня освидетельствование покажет.

Л о б о в и к о в (*настороженно*). Какое освидетельствование?

А н т о ш а (*Александре Романовне Бугровой*). Александра Романовна, вы сегодня нас станете осматривать?

Б у г р о в а (*смотрит на часы*). Непременно. (*Громко ко всем*.) Будущие призывники, прошу через полчаса в амбулаторию. (*Одевается*.) Агнеша, не забудь мою просьбу. (*Уходит*.)

Уходят Лобовиковы, расходятся молодежь, прощаясь с Краевым.

К и с л и ц ы н а. До свидания, Сергей Сергеевич!

Н е с м е л о в а. Сергей Сергеевич, до завтра!

Б о р и с о в (*прощается за руку*). Всего доброго, Сергей Сергеевич. Очень вам благодарен. (*Все подталкивают друг друга, давась от смеха. Уходят.*)

Остаются Краев, Шабалин и Агния Сергеевна.

А г н и я С е р г е е в н а (*нерешительно*). Сережа, ты станешь сейчас работать?

К р а е в (*ласково*). Да, Агнеша.

А г н и я С е р г е е в н а. У тебя еще много осталось сделать?

К р а е в. Я только начал, Агнеша.

А г н и я С е р г е е в н а (*делает вид, что поняла*). Ну, до лета еще долго. Вместе когда-нибудь отдохнем. Хотя у меня будет масса хлопот с огородом... До свидания, голубчик.

Прощаются. Агния Сергеевна уходит.

Краев (*Шабалину*). Были в военкомате?

Шабалин. Был, утром.

Краев. Узнали?

Шабалин. Все в точности, как говорили.

Краев. Значит, мальчики могут подавать заявление прямо в училище?

Шабалин. Или через военкомат, все равно.

Краев. Спасибо, Сократ Ильич. (*Тихо.*) Письма нет на мое имя?

Шабалин. Пока нет.

Краев. Неужели откажут? Куда ты, скажут, тридцатипятилетний штафирка! Тебе ли тягаться с молодыми? (*Беспокойно.*) Только, Сократ Ильич, никому! Молчок!

Шабалин (*осторожно*). Вы и Александре Романовне не говорили?

Краев (*вопрос ему неприятен*). Конечно, нет. Зачем? Пока же полная неизвестность.

Шабалин (*усмехнулся*). Век живи, век учись.

Краев. Вы про что?

Шабалин. Не знал, что о таких вещах не советуются с женой. А я, между прочим, собираюсь жениться...

Краев (*довольно резко*). Когда женитесь и проживете с женой десять лет, поймете еще не это.

Шабалин. Возможно.

Краев (*вдогонку*). Как я сегодня на лыжах?

Шабалин. Лучше прошлого раза.

Краев (*радостно*). Вот видите! Может, во всем, что задумал, победа за мной?

Шабалин (*уходя*). Я лично во всем буду советовать с женой.

Краев (*смеется*.)

Вытащил на середину комнаты войлок от двери, улегся на спину и делает гимнастику, поднимает по очереди ноги. Кряхтит.

Тоже мне Илья Муромец!..

Перевернулся на живот и стал подниматься на локтях. Вдруг увидел под столом флажки, брошенные Александрой Романовной. Читает, что на них написано. Встает и стучит в стенку. Ответный стук. Вбегают Антоша.

Антоша. Звали меня, Сергей Сергеевич?

Краев (*показывает флажки*). Это ты уронил?

Антоша. Я не ронял.

Краев. А писал ты? (*Читает вслух.*) «Корпус, которым командует товарищ Краев». Что же ты меня подводишь? Ведь на смех поднимут, когда прочтут. Лучше заходи иногда в военный комиссариат, узнавай, нет ли мне письма. А про осмотр не забыл? (*Смеется.*) Надеюсь, доктор найдет тебя годным?

Антоша (*развертывает грудь и плечи*). Будьте спокойны.

Краев (*серьезно*). Отец успел сказать тебе что-нибудь?

Антоша (*уныло*). Все то же. За университет, против военного училища. Да это неважно, Сергей Сергеевич. Запретить же он мне не может.

Краев (*строго*). Что ты хочешь этим сказать?

Антоша (*поник головой*). Это верно. Мне было бы очень неприятно с ним так расстаться.

Краев (*мягко*). Ты прав, дружок.

Антоша. Но ведь он не понимает...

Краев. Пожалуй, в этом виноват я.

Антоша. Почему, Сергей Сергеевич?

Краев. Во-первых, ты нынче слишком мало бывал с отцом... он отвык жить твоими интересами. Во-вторых... Ладно, ступай на осмотр. (*Подождав, пока Антоша уйдет, стучит в стенку.*)

Входит Лобовиков.

Лобовиков (*подозрительно осматриваясь*). А где Антон?

Краев. Ушел на осмотр.

Лобовиков быстро пошел к двери.

Краев. Куда ты, Игнат?

Лобовиков (*неохотно*). Я должен увидеть Александру Романовну.

Краев. Сейчас придет. Видишь, она забыла халат. Давай пока побеседуем.

Лобовиков. О чем, о ком?

Краев. О сыне.

Лобовиков. О каком «сыне»?

Краев (*просто*). О твоём. У меня-то ведь нет. Но твоего Антошу я люблю, как сына...

Лобовиков молча, с напряженным и злым лицом, подносит к лицу Краева фигу.

Не совестно, Игнат Петрович?

Пауза. Лобовиков продолжает держать на весу кукиш.

Человек ты умный. Охота тебе глупить? Человек ты добрый. Охота тебе злость на себя напускать? Сядь.

Усаживает Лобовикова на диван и становится к печке, прислонясь к ней спиной и заложив назад руки.

И еще я не понимаю: ты на германскую войну как пошел, сам или поневоле?

Лобовиков. Какое это имеет значение?

Краев. Вспомни, ты мне рассказывал: убежал из дому, записался добровольцем.

Лобовиков (*резко*). Какое это имеет значение? (*Кричит.*) А потом проклял! Проклял войну!

Краев (*мягко*). Да, потом ты устал. Или струсил.

Лобовиков (*возмущенно*). Струсил?!

Краев (*удовлетворенно смеется*). Вот видишь. А не хочешь понять Антошу, который намерен учиться профессионально защищать страну, причем свою, не царскую.

Лобовиков (*идя к двери*). В проповедях не нуждаюсь.

Краев. Игнат Петрович!

Лобовиков. Ну, что тебе?

Краев. Скажи, что накипело. Легче помиримся.

Лобовиков. Никогда! Я три года (*задыхаясь*)... стрелял и гнил заживо. Я почти умер. Но я нашел в себе силы для жизни. Тебе это ясно? Я нашел жену. Потерял ее. Один как перст (*поднимает палец*) воспитал сына. Еще выучил сотни детей. Неужели я поступил плохо? А ты бессовестно хочешь его отнять. За что? Тебе это почти удалось. Еще бы, ты краснойбай, я знаю. Это ведь очень просто. Увлёк сказками, рассказал басенки из истории, разжег мальчишку подвигами...

Краев. Это все плохо?

Лобовиков. Не знаю. Может быть, хорошо. Для других. Но не для моего сына. Как ты не понимаешь, что я хочу его сохранить?

Краев. Сохранить для себя.

Лобовиков (*топнул ногой*). Нет, для жизни! Он больше принесет пользы жизни, чем смерти! Я всегда надеялся видеть его ученым... или учителем, как я сам...

Краев. Думаешь, я этого не хочу?

Лобовиков (*удивлен*). Как так?

Краев (*горько*). Вот так. Ни Антон, ни его друзья не успеют стать ни учеными, ни врачами, ни артистами, ни учителями. Им осталось не больше года, чтобы стать воинами. И лучше, если они научатся ими быть. Понял?

Лобовиков (*смотрит на Краева во все глаза*). Ну, ты и демагог! Лучше всех знаешь, что будет война и всех на нее заберут?.. Да за такие слова!.. (*Внезапно ему приходит в голову*.) А если ты убежден — так что же ты сам не в армии, белобилетник?

Входит Александра Романовна Бугрова. Лобовиков увидел ее, растерялся, пытается заступить дорогу, что-то сказать.

Бугрова (*нетерпеливо*). Ну, туда или сюда?

Лобовиков отступает на шаг в коридор и стоит в нерешительности. Дверь закрылась перед его носом.

Забыла халат... (*Снимает с гвоздя белый халат*). А ты что такой? Лобовиков что-нибудь?

Краев. Ерунда.

Бугрова (*секунду колеблется*). Сережа...

Краев (*внимательно смотрит на нее*). Нас можно сегодня поздравить, Санушка?

Бугрова (*радостно*). Не забыл! (*Обнялись. Тишина.*)

Краев (*улыбаясь*). Сознайся, нарочно халат оставила?

Бугрова (*тихо*). Пускай! (*Нежно вглядывается в его лицо.*) А ты похудел...

Краев (*смеется*). Вот что значит два раза пробежаться на лыжах! Ничего, привыкну.

Бугрова (медленно пошла к двери, с порога робко). Агнеша говорила тебе о Волге?

Краев (удивлен). О Волге?

Жена ушла. Из коридора слышится взволнованный голос Лобовикова: «Александра Романовна!» Краев подошел к столу, зажигает свет. Сел, задумавшись. Вдруг слышатся быстрые шаги. Вбегает Александра Романовна Бугрова...

Краев (весело). Опять халат забыла?

Бугрова. Ты знаешь, о чем он меня просил? Чтобы я дала заключение, будто Антон непригоден к военной службе!

Дверь распахивается, появляется взъерошенный Лобовиков.

Бугрова. Уходите!

Краев. Игнат Петрович, ты, наверно, хочешь сказать, что она не так тебя поняла?

Стук в дверь.

Лобовиков. Александра Романовна! Сергей Сергеевич! Если Антоша... (*Умоляюще.*) Вы ему ничего...

Голос Антоши. Сергей Сергеевич, можно?

Краев. Можно, Антоша.

Антоша (*входит*). Александра Романовна, все собрались. И потом, мы не знаем, где рейка для измерения роста... Папа? Ты меня ищешь?

Бугрова (*уже спокойнее*). Идем, Антоша.

Уходят. Лобовиков и Краев одни.

Лобовиков. Пока не поздно... Отсоветуй Антоше идти в училище! (*Краев молчит.*) Мы бы с тобой гордились им... Он такой способный! Для любой мирной профессии!

Краев (*просто*). Верно, верно, Игнат. Если бы не наступала на пятки война... Неужели ты хочешь, чтобы он ничего не умел, когда она начнется?

Занавес

Большая светлая комната. Это учительская. Одна половина ее напоминает приемную врача: пианино, мягкие кресла, на круглом столе газеты. В другой половине — шкафы с книгами и физическими приборами, в углу гигантский глобус, на подоконниках тоже приборы: электростатическая машина с большими стеклянными дисками и блестящими металлическими шарами, воздушный насос и стеклянный колпак для опытов с разреженным воздухом, ртутный барометр и др.

Морозный солнечный день. В комнате тихо, тепло, топится кафельная, ослепительно белая печь. Дверь в коридор открыта, слышно, как в соседних классах идут уроки. На пороге стоит Ольга Семеновна Борисова и внимательно слушает, как Анна Захаровна Костина, выметая сор и смотря вниз под ноги, говорит сама с собой.

Анна Захаровна. Сколько раз говорила: нравится он тебе, ну и отбивай. Чем ты ее хуже? Ты моложе. Так ей и надо, гордячке. Ух, я бы на твоём месте... Метлой бы ее под хвост, метлой! *(Так увлеклась, что, только задев веником по ногам Ольги Семеновны, ахнула и выпрямилась.)* Фу-ты, прямо даже испугалась.

Борисова *(строго)*. Ничего. Добрый день. Перемены еще не было?

Анна Захаровна. Скоро уж. В двенадцать.

Борисова. Разрешите? *(Направляется к креслам.)*

Анна Захаровна *(неодобрительно)*. А вам кого?

Борисова. Учащегося Борисова знаете?

Анна Захаровна *(показывая рукой на аршин от пола)*. Небольшого роста, вежливенький такой? Так вы его мамашенька будете, агрономша?

Борисова. Во-первых, он не «такой» *(показывает)*, во-вторых, не агрономша, а агроном.

Анна Захаровна *(несколько опешив)*. Так.

Борисова. Школьный врач придет сюда в перемену?

Анна Захаровна (*начинает опять мести, сердито*). Неизвестно.

Борисова. А где врач сейчас?

Анна Захаровна. Неизвестно.

Борисова. Как мне найти ее квартиру?
(*Направляется к двери.*)

Анна Захаровна (*не вытерпев*). А вам для чего?

Борисова ушла не ответив.

Анна Захаровна берет со стола звонок и идет звонить. Она долго и ожесточенно звонит, то удаляясь по коридорам, то опять приближаясь; вдалеке возникает шум голосов и топот ног. Это освобождаются от занятий классы один за другим, и школьники рассыпаются по коридорам и лестницам. Кто-то стремглав бежит по направлению к учительской. Дверь открывается — и неторопливо входит с папкой для нот старуха Т а н н е н б а у м. Танненбаум усаживается за стол и берет газету. Входит Анна Захаровна.

Анна Захаровна (*увидев Танненбаум*). Уже здесь? Скоро отзанимались, Ангелина Францевна.

Танненбаум (*спокойно*). Звонок был.

Анна Захаровна (*ставит перед ней на стол звонок*). Вы сегодня за председателя.

Танненбаум (*тревожно*). Я? Разве сегодня собрание? (*По-русски говорит правильно, звонким молодым голосом.*) Тогда я уйду. (*Хочет подняться.*)

Анна Захаровна (*успокаивает*). Сидите. Это я так. Эк напугали вас собраниями.

Танненбаум. Нет. Но я не умею быть председателем.

Анна Захаровна (*мешает кочергой в печке, ворчит про себя*). Научишься.

Образцов (*столкнувшись в дверях с Ферапонтьевым*). Позвольте.

Ферапонтьев. Пожалуйста, пожалуйста, Николай Николаевич.

Образцов проходит строгий, прямой, неся две лейденских банки. За ним, отдуваясь, спешит Фера-

понтьев, нагруженный географическими картами, наверху на палки, длинной указкой и большим атласом.

Ферапонтьев (*не успев дойти до окна, где Образцов уже разместил свои приборы*). Николай Николаевич, это ведь мое окно.

Образцов. Откуда вы взяли?

Ферапонтьев. Ей-богу, мое, вот и глобус стоит.

Образцов (*презрительно выпятив кадык*). Напрасно вы его здесь поставили, я еще вчера вам хотел сказать. Вы же знаете, что у меня нет физического кабинета. Я безрезультатно хлопотал целый год, меня поместили в учительской, а теперь и здесь хотят стеснить. Нет, нет, на это я не пойду. Я попрошу вас, Степан Кондратьевич, ни в коем случае не занимать окно и угол. Ставьте свои карты за шкаф.

Ферапонтьев (*жалобно*). А глобус?

Образцов. На шкаф.

Ферапонтьев (*раздражаясь*). Как же я на шкаф-то полезу?

Образцов. Попросите учащихся (*показывает на дверь, в которую в этот момент входит Краев, Антоша Лобовиков и Борисов*).

Борисов (*солидным тоном*). Еще к вопросу о тысяча восемьсот двенадцатом годе. Если мне не изменяет память, военный совет в Филях заседал днем, а не вечером.

Антоша. Но уже во вторую половину дня. Правда, Сергей Сергеевич?

Краев. В четвертом часу.

Ферапонтьев. Ну-ка, ребята, помогите-ка мне его туда.

Антоша и Борисов поднимают на шкаф глобус, причем маленький Борисов и в эту минуту полон достоинства.

Легче. Легче.

Антоша (*со стула*). А сколько времени он заседал, Сергей Сергеевич.

Краев. Час с небольшим. И уже в остальные часы Кутузов ни с кем не сказал ни слова.

Антоша. Наверно, не ел, не пил?

Краев (*улыбаясь*). Не знаю. Не спал, это верно.

(Понизил голос.) Он плакал ночью. Многие в избе это слышали. Представляете? Хитрый, прожженный старик царедворец спокойно принял историческое решение, распорядился жизнью тысяч людей, а ночью лежит, глядит в темноту и плачет своим единственным глазом. Вот это, если хотите, воля и судьба полководца.

Антоша. Ох, Сергей Сергеевич. Он же еще тогда потерял Багратиона...

Образцов (неприятным голосом). Мне кажется, эта комната предназначена для отдыха педагогов.

Краев. Извините! Мы заговорились. Марш, марш!..

Ферапонтьев. Ничего, ничего, разговаривайте. *(Образцову.)* Это вы просто голодны, Николай Николаевич, оттого и злитесь. Пойдемте, позавтракаем. *(Уходят).*

Антоша и Борисов смеются. Краев укоризненно качает головой. Танненбаум читает газету, закусывая бутербродом.

Антоша (осторожно). Сергей Сергеевич, я вот что хотел вас спросить. Вы замечательно рассказывали о Кутузове, о Суворове. Интересно, что мы с ним *(показывает на Борисова)* сначала решили стать командирами, а потом уж узнали от вас об исторических полководцах... А вот вы...

Краев (удивленно). Не понимаю.

Антоша. Вы же обо всем раньше знали... *(Мнется.)* Ведь правда, не только это на вас подействовало?

Краев (раздраженно). Опять ты говоришь не прямо и ясно, как я тебя просил, а дурацкими намеками... Борисов...

Борисов (мрачно). Он идиот. Ему кто-то напел, и я знаю кто, что вы якобы захотели быть *(взглянув на Танненбаум и шепотом, почти одними губами)* полководцем...

Антоша. Что ты врешь! Я же этого не думаю...

Борисов. Ну, за тебя думают.

Антоша покраснел, заметался, хочет возражать.

Краев (посуровел). Подождите. Кто это может

думать, когда никто, кроме вас и Шабалина, вообще ничего не знает?

Антоша (*умоляюще*). Сергей Сергеевич! И не узнает...

Борисов (*уничтожающе смотрит на Антошу*). Эх, ты! (*Краеву.*) Нам с ним вчера не повезло. Я на осмотре оказался недомерком, а он проболтался о вас отцу.

Краев. Игнату Петровичу?

Антоша (*в отчаянии*). Сергей Сергеевич! Это не так. Это не так...

Краев. Что — не так? (*Борисову.*) Ты ошибся? (*Антоше.*) Ты ничего не сказал?

Антоша (*опустив голову*). Сказал. (*Пауза.*) Сергей Сергеевич, можно мне объяснить?

Краев. Говори.

Антоша (*тихо*). Папа меня спровоцировал. Он стал называть вас... трусом, стал говорить, что вы сами небось не пошли в армию... что вы...

Краев (*насмешливо*). Белобилетник?.. Загребаю жар чужими руками?..

Антоша. Да. Ну ясно, что... (*с усилием*) я не вытерпел и сказал, что это неправда, что вы, наоборот, подали заявление... (*Осекся, взглянул на Танненбаум*).

Краев. Так. Теперь, значит, я завишу от Игната Петровича. Спасибо. (*Не глядя на Антошу.*) Ступай.

Антоша. Сергей Сергеевич, он мне обещал никому не говорить... Я ему сказал, что, пока не пришел ответ, вы не хотите...

Краев. Ступай... адъютант.

Антоша понуро идет к выходу. Борисов приближается к Краеву.

Краев (*Борисову*). Ты хочешь мне что-то сказать? (*Антоша обернулся.*) Ступай, ступай.

Антоша идет и встречается в дверях с Лобовиковым.

Лобовиков. Ты здесь?

Антоша. Папа, ты помнишь?.. Ты дал мне слово...

Лобовиков. О чем ты? А-а... (*Краеву, насмеш-*

ливо.) Я, собственно, не понимаю, почему тебе надо скрывать. Чего ты боишься?

К р а е в. Я ничего не боюсь. Боишься ты.

Л о б о в и к о в. Интересно, чего?

К р а е в. Спроси Александру Романовну. (Пауза.)

Л о б о в и к о в (понижив голос). Ты же обещал... (Оглядывается на Антошу.)

К р а е в (Антоше). Ты еще не ушел?

Антоша уходит.

К р а е в (Лобовикову). Можешь быть спокоен. Он не будет больше ходить ко мне.

Б о р и с о в (выступая вперед). Сергей Сергеевич, можно мне сказать?

К р а е в. Учащийся Борисов, эта комната предназначена для отдыха педагогов.

Борисов по-военному поворачивается и идет к двери.

К р а е в (Лобовикову). Что ты хотел мне сказать?

Лобовиков не успевает ответить. Раньше чем Борисов вышел, в учительскую входят мать Борисова, Александра Романовна, Образцов и Шабалин, мирно беседуя.

Б о р и с о в (удивленно). Мама?

Б о р и с о в а. Сейчас. (Шабалину и Образцову.) Вы понимаете, какой странный случай. Мой сын хочет поступить осенью в артиллерийское училище, между тем вчера выяснилось, что ему не хватает сколько-то там сантиметров до установленного роста.

Ш а б а л и н. Да, я знаю. Что же вы хотите?

Б о р и с о в а. Я хочу, чтобы это не принимали в расчет при направлении в училище.

Ш а б а л и н. При направлении — хорошо, но как отнесутся там, на приеме?

Б о р и с о в а. Я сорок пять лет прожила на свете, не зная, что маленький рост — такой большой недостаток. Я знаю: отбор, строгие правила и т. д. Но ведь следует принимать во внимание и желание поступающего.

Ш а б а л и н. Да у нас половина всех мальчиков выражает желание. Вот, например, его сын (указывает на Лобовикова).

Борисова (*к Лобовикову с живостью*). Ваш сын тоже поступает в военную школу? А как его фамилия?

Лобовиков (*неохотно*). Лобовиков.

Борисова. Антоша? Это лучший друг моего сына. Позвольте познакомиться: Ольга Семеновна Борисова. Наверно, слышали от Антоши.

Лобовиков. Лобовиков.

Образцов (*Борисовой*). Мы хорошо знаем вашего сына и его друга Антона Лобовикова. Это энергичные юноши. Со здравым смыслом и в то же время уже со своей целью в жизни. Я думаю, что они достигнут цели, даже, так сказать, наперекор природе.

Борисова. Очень приятно. Я уверена, что за лето он еще подрастет. Папа у него высокий.

Борисов. Мама!

Оба они стоят рядом, похожие друг на друга. Аккуратные, в пиджачках, небольшого роста.

Борисова. А что особенного я сказала? Занимайся больше физической культурой. Тебе помогут (*кивает на Шабалина*). Смотри, помни, минимум пять сантиметров.

Борисов (*серьезно*). Мама, я сделаю все возможное.

Все смеются, кроме Лобовикова.

Борисова. Я агроном, почти все время провожу в разъездах, к сожалению, я не бываю в школе и не знакома с вами, но знаю о вас очень много (*шепчет что-то сыну*).

Борисов (*Краеву*). Сергей Сергеевич, мама хотела познакомиться с вами и поблагодарить вас.

Краев. За что, помилуйте.

Борисова (*восхищенно на него смотрит*). Так вот вы какой, Сергей Сергеевич! Нет, нет, вы со мной не спорьте. Скажу вам одно: я во всем полагаюсь на вас. До свидания! (*Прощается с ним за руку. Остальным.*) До свидания, товарищи! (*Александре Романовне.*) Наверное, вы гордитесь своим мужем?

Бугрова (*улыбаясь*). Еще бы!

Борисова. Пойдем, Борис. (*Уходят*).

К этому времени в учительской все в сборе: пришли Костина, Ферапонтьев.

Образцов. Боевая женщина. Что же вы сплеховали, Сергей Сергеевич? А? *(Смеется.)* Испугались Александры Романовны? Смотрите, как вас благодарят и хвалят. Но вы заслужили. Вы действительно молодец. Я помню, в седьмом классе это были в сущности шалопай. *(Лобовикову)* Простите, Игнат Петрович, но ведь я помню, каким тогда был Антоша... *(Краеву)* и каким он стал теперь, благодаря вам. Вы замечательный педагог, не так ли? *(Случайно обратился за подтверждением слов к Лобовикову.)*

Лобовиков *(иронически)*. Кто — я замечательный?

Образцов *(сдержанно)*. Ежели вы серьезно, то я вам скажу, Игнат Петрович: я вас считаю очень хорошим преподавателем. Но Сергей Сергеевич педагог по призванию, он точно родился для того, чтобы быть педагогом.

Лобовиков *(вызывающе)*. А я?

Образцов. А вы, кажется, сначала пошли в офицеры.

Неловкая пауза.

(Ко всем). Может быть, я сказал бестактность?

Лобовиков *(мрачно)*. Почему? Это все знают. Я бывший прапорщик мировой войны, потерявший на ней здоровье, силы, спокойствие, и меня надо за это всю жизнь поносить.

Образцов. Простите, я вас не поносил, наоборот...

Лобовиков. Дайте мне договорить. А его вы, наверное, станете хвалить даже тогда, когда этот прирожденный педагог улизнет из школы. Я уверен, что он удостоится необыкновенных похвал за эту авантюру или за эту глупость.

Все приходят в волнение.

Костина. Да вы... про кого?

Образцов. Я не понимаю. Объяснитесь, Игнат Петрович.

Лобовиков молчит.

Краев. Что же ты, договаривай.

Лобовиков. Не беспокойся. Пока еще не скажу.

К р а е в. Нет? Ну так я сам скажу. Анна Захаровна, сколько еще минут до звонка?

А н н а З а х а р о в н а. Двадцать минут.

К р а е в. Пожалуй, хватит. *(Оглядев всех.)* Раз уж дело пошло на откровенность, я скажу о том, о чем еще некоторое время хотел молчать... Спокойно, Игнат Петрович. Речь пойдет только обо мне. *(Образцову.)* Мне очень грустно, Николай Николаевич, что я должен разочаровать вас. Вы назвали меня сегодня педагогом чуть ли не от рождения. *(Пауза.)* А я вот — решил переменить профессию.

Тишина.

О б р а з ц о в. Переменить что, Сергей Сергеевич?

К р а е в. Профессию педагога на другую профессию. Вам может показаться *(усмехнулся)*, что она мне подходит, как корове седло, тогда, очевидно, вы надо мной посмеетесь. *(Пауза.)* Я хочу стать военным.

О б р а з ц о в. Простите, как?

К р а е в. Хочу стать военным.

Б у г р о в а. Военным историком, Сережа?

К р а е в *(мягко)*. Нет, Санушка, просто военным. Ну, командиром, если хочешь. Для этого поступить в военное учебное заведение.

О б р а з ц о в. Вы шутите, Сергей Сергеевич?

К р а е в. Нет.

Ф е р а п о н т ь е в *(захохотал)*. Здóрово! Вот отмочил!

К р а е в *(с некоторым раздражением)*. Я не шучу!

О б р а з ц о в *(осторожно)*. Позвольте вас спросить, Сергей Сергеевич, вы что-нибудь уже предприняли?

К р а е в. Да, я подал заявление.

Б у г р о в а. И я ничего не знала! Сережа!

К р а е в *(ласково)*. Это ничего, Санушка. *(Помолчав.)* Я жду ответа.

Б у г р о в а. Молчал, скрывал от меня!..

А г н и я С е р г е е в н а. Сережа, я что-то не понимаю. Плохо я понимаю, что ты затеял.

К р а е в. Я после тебе объясню, Агнеша.

А г н и я С е р г е е в н а. Ты хочешь бросить все, в чем я тебе помогала? Забыл?

К р а е в. Помню, Агнеша. Спасибо тебе.

А г н и я С е р г е е в н а. Значит, все зря...

К р а е в *(несколько нетерпеливо)*. Почему, Агнеша?

(Ко всем.) Неужели все осуждают мой поступок?
(Жестко.) Вам что, не нравится Красная Армия? Плохое место? Плохое занятие?

Образцов *(мягко остановил его)*. Сергей Сергеевич, вот здесь вами управляет горячность.

Краев. Я мог таким образом истолковать ваше неодобрение.

Образцов. Сергей Сергеевич... Наше неодобрение — по крайней мере, я говорю за себя — следует как раз из огромного уважения к Красной Армии...

Краев. Ну, стало быть, неуважение ко мне... Значит, вы думаете, что я ее опозорю?

Образцов. И это не так...

Лобовиков. Почему же не так. А по-моему близко. Интересно, много ли в Красной Армии найдется поповичей.

Костина. Кого? Кого?

Лобовиков. Что, вы не знаете, что Краев из духовного сословия? Недоверие к нему, я считаю, вполне законное.

Общий шум. Все говорят разом. Агния Сергеевна пытается говорить — ее не слышно. Наконец, Танненбаум неожиданно встает и звонит в колокольчик, положенный перед ней Анной Захаровной в начале перемены. Шум утихает.

Танненбаум. Друзья мои. Нельзя так шуметь. Вы же не дети... Тише! *(Еще раз звонит.)* Говорите, Агния Сергеевна. *(Садится.)*

Агния Сергеевна. Сережа, позволь мне сказать насчет поповского рода.

Краев. Подожди, Агнеша. Пожалуйста, продолжай, Игнат Петрович.

Лобовиков *(угрюмо)*. Я кончил.

Краев *(Образцову)*. Вы согласны с ним, Николай Николаевич?

Образцов *(горячо)*. Я? Ну, что вы, Сергей Сергеевич!

Краев. Спасибо. В таком случае...

Агния Сергеевна. Дадут ли мне, наконец, слово?! Я хочу сказать о себе. Я за себя оскорбилась.

Образцов. Мы просим вас, Агния Сергеевна. Поверьте, что мы все глубоко уважаем вас.

Анна Захаровна. Интересно.

Костина. Что ты, мама?

Анна Захаровна (*злорадно показывая на Агнию Сергеевну*). Да вот... сестрица-то твоего... (*кивает на Краева*) на матушку... ведь, на матушку училась!

Легкий смех.

Лобовиков (*ко всем*). Она хочет сказать, что в Епархиальном учились поповские дочки, чтобы выйти потом за попов.

Агния Сергеевна (*оттеснив его, гневно ко всем*). Значит, вы хотите знать, правда ли, что мы из духовных? Еще бы неправда, когда нашего отца вся волость знала. Прямо дыхание у мужиков захватывало, какое имечко младенцу выберет: Философ, Платон, Лукиан, Олимп...

Лобовиков. Таких и имен-то в святцах нет.

Агния Сергеевна. Нет в святцах? Голубчик, кому лучше знать? Ты или я в Епархиальном училась? (*Смех.*) Мой отец деревенский дьячок, а выходит — образованней тебя. Вот его он любил (*показывает на Краева*). Когда отца хоронили, пятеро сидели на печи и ревели, зачем отцовские сапоги Сережка надел. Вот уж действительно, и за гробом любимчик. А я и вовсе была счастливица, жила в городе. Правильно, Игнат Петрович (*кланяется в пояс Лобовикову*). Верно сказал, на матушку, на попадью обучалась. Только вот почему-то ни один поп замуж не взял. То ли приданым не угодила, то ли красой не вышла — уж и не знаю. Так в учительницы и пошла. Надо вам сказать, теперь не жалею. Бог с ним, с попом! (*Смех.*) Сорок лет учу, и никто не попрекнул, кроме тебя. Может, вам интересно, как меня в Епархиальное приняли? Отец всех своих куриц продал, да полгода не пил, и привез благочинному подрясник в день ангела... Взял, спасибо ему, определил меня в училище. Нехудо бы тоже спросить, как я шестерых выкормила и выучила, когда отец помер. Этого к себе взяла (*кивает на Краева*), других рассовала туда-сюда. Двое, правда, не выжили. Мне-то на свою жизнь грех жаловаться. Сережа меня любит. И вы как будто пока уважаете. Не может этого быть, чтобы меня обидели или вот его... Как хотите, а я не верю. Ну, не обессудьте, если что лишнее сказала... (*Садится на место*).

Костина молча подходит и целует ее. Ш а б а л и н подошел и одобрительно крикнул. Образцов поцеловал руку. Ферাপонтьев — тоже и галантно шаркнул. Танненбаум обняла.

К р а е в. Спасибо, Агнеша. Хоть и не очень кстати, а хорошо сказала. Я тоже не верю, что кто-то нас может обидеть.

Ш а б а л и н (*вопросительно к Танненбаум, сидящей с видом настоящего председателя*). Можно мне? (*Та кивает.*) Действительно, был такой дьячок в нашем уезде... Как же, помню. Меня Сократом назвал. (*Все смеются.*) А теперь о нем (*показывает на Краева*). Могу одно сказать. Это человек настоящий. Чего он хочет, того добьется. Я проверил на своем деле. Возьмем турник. Или параллельные брусья. Месяц назад он на них глядел, как баран на новые ворота. Как загремят, так и вздрогнет. А нынче вслепую выполняет. Упражнение, доложу я вам, высокой трудности. Вот вам и учительшка. Нет, будьте спокойны, товарищи. Не знаю, как дальше, а средний командир из него уже получился. Вот все, что я хотел сказать.

К р а е в (*улыбаясь*). Молодец.

Ф е р а п о н т ь е в (*ворчит*). Эх, Сократ. Почему тебя еще не сократили? Вот, ей-богу, лишняя должность.

О б р а з ц о в. Помолчите, Степан Кондратьевич. Со своей точки зрения Сократ Ильич прав. Кроме того, я понимаю и верю, что Сергеем Сергеевичем руководят самые лучшие чувства. Мне только кажется, что Сергей Сергеевич делу обороны окажет не меньше пользы, воспитывая наше юношество в таком (*подбирает слово*), в таком патриотическом духе. Мы сами свидетели того, что почти половина десятого класса, где он классным руководителем, идет в военные школы. Разве это не убеждает вас, Сергей Сергеевич?

К р а е в (*отрывисто*). Это меня убеждает еще кое в чем. Я живой человек. Когда все эти молодые люди, к которым я привязался, стремятся в Красную Армию, думаете, мне не обидно от них отставать?

Л о б о в и к о в (*насмешливо*). О чем же ты раньше думал?

К р а е в. Разве уж я такой пожилой человек? Тридцать три года... Пусть это середина жизни. В таком случае, я хочу переломить свою жизнь по самой ее середке. (*Лобовикову.*) Ты спросил, о чем же я раньше ду-

мал. О том же, о чем думали и продолжают думать все люди нашей страны. Они хотят строить мирную жизнь, и, если им помешают, они себя защитят. Так вот, я хочу приложить к обороне и свою руку. Я еще молод, здоров, у меня есть силы, и я слишком активная натура, чтобы быть обороняемым, а не обороняющимся. Война близка, и не скрою от вас: я уже авансом увлекся тем, что может мне скоро пригодиться. Надеюсь, за это вы также меня не осудите? Надеюсь также и на то... (С досадой.) Звонок!

Пронзительно звенит звонок. Перемена кончилась. Анна Захаровна ожесточенно звонит, удаляясь по коридору. Все начинают собираться.

Образцов (приветливо Сергею Сергеевичу). И так, до следующей перемены, Сергей Сергеевич.

Краев. Пожалуй, на сегодня хватит.

Образцов (пожав плечами). Как хотите. (Уходит.)

Агния Сергеевна собирает книги. На диване сидит безучастно Санушка. Шабалин стоит у двери. Костина в нерешительности.

Шабалин (Костиной). Пойдем, Вера.

Костина. Сейчас. (Подходит к Краеву.) У меня странное ощущение. Я не знаю, правы ли вы. Но вы сказали — переломить жизнь на середине. Я все относилась к вам, как к старшему. Много старше меня. Я же у вас училась. А теперь мне вдруг показалось, что вы мой сверстник...

Смущенная, убегает из комнаты. Агния Сергеевна, сердито трясая головой, идет за ней. Александра Романовна Бугрова, при первых же ее словах, встала и медленно приближается к ней и к Краеву. Затем резко повернулась, уходит.

Пауза.

Краев (грустно Шабалину, все еще стоящему у двери). Ну вот, выходит, свое первое же сражение я проиграл.

Шабалин (убежденно). Ты его выиграл, Сергей Сергеевич.

Занавес

Комната Краева. Вечер. Горит лампа. Краев стоит на коленях перед печкой и с увлечением раздувает огонь. Александра Романовна Бугрова прислонилась к двери и смотрит на его усердные действия.

Бугрова (безразличным тоном). Березовые?

Краев. Были когда-то березовыми... Какой черт с них содрал бересту? Такие голые, такие мокрые, что... (Дует в печку изо всех сил.)

Бугрова. Я давно заметила, что Анна Захаровна сдирает с чужих дров бересту себе на растопку.

Краев (не слушая). Санушка, помоги же мне. (Александра Романовна быстро идет, становится рядом с ним на колени. Оба дружно дуют в печку. Наконец Краев выпрямился.) Загорелись!

Бугрова (поднимаясь). А что вдруг тебе загорелось топить сегодня? Всю зиму, наоборот, увиливал.

Краев. Догадайся.

Бугрова (быстро). Может быть, ты... (Замолчала.)

Краев (улыбаясь). Что?

Бугрова (нерешительно)... Вообще решил иначе что-нибудь?

Краев (пристально смотрит на нее). А ты этого хотела? (Пауза.)

Бугрова. Теперь не знаю.

Краев. Это что-то новое.

Бугрова (покачивая головой). Старое.

Краев (пренебрежительно). А, тогда...

Бугрова. Конечно! Ты с особенным удовольствием расплевываешься сейчас со всем старым.

Краев. Уж и со всем. Что ты имеешь в виду?

Бугрова. Себя, Агнию, твоих друзей, твою учительскую работу, всю нашу с тобой жизнь. Мало?

Краев. Санушка, ответь мне, пожалуйста. Ты против только потому, что обижена на меня, зачем я тебе ничего не сказал, или действительно думаешь, как некоторые, что я это зря затеял?

Бугрова. Как некоторые! Решительно все, в том-то и дело. Одно это могло на меня подействовать.

Краев. Это правда. Могло подействовать так,

что ты обозлилась бы на всех за меня, а не на меня за всех.

Б у г р о в а. Это могло быть в том случае, если бы ты ничего не скрывал от меня.

К р а е в. Санушка, пойми: вдруг бы ты каждый вечер всю эту зиму пилила меня, убеждала, спорила, приставала!.. Чтó бы это была за жизнь!

Б у г р о в а. А теперь?

К р а е в (*улыбаясь*). Сейчас ты растерялась немного от неожиданности, но дело уже сделано, думаю, что скоро привыкнешь к мысли увидеть меня военным.

Б у г р о в а (*преувеличенно громко смеется*). Ой, не могу...

К р а е в (*хмуро*). Опять.

Б у г р о в а. Не нравится? А вот так над тобой все смеются.

К р а е в. Позволь тебе не поверить.

Б у г р о в а. Даже войско твое и то начало сдавать. Бойцы выглядят весьма сконфуженными.

К р а е в. Это ты про кого?

Б у г р о в а. Антоша ходит, повесив нос. Борисов и прочие тоже не лучше. Что поделаешь (*декламирует*): «Другие ему изменили и продали шпагу свою»...

К р а е в. Ну, что ж. Зато у тебя настроение боевое.

Б у г р о в а. Еще бы, начинаем новую жизнь! (*Пошла к двери*).

К р а е в. Ты еще зайдешь сегодня?

Б у г р о в а. Не знаю.

К р а е в. Приходи. Сегодня будет тепло. Авось сердце у тебя оттает, Санушка...

Б у г р о в а. Ты так мне и не сказал, почему печку топить.

К р а е в. Ах да, чтó с печкой? (*Нагнулся, открыл дверцу*). Горят вовсю!

Бугрова заинтересовалась, подходит, заглядывает в печку. Краев делает неловкую попытку обнять ее.

Санушка...

Б у г р о в а (*делает резкое движение*). Оставь! (*Уходит.*)

Краев остался один. Стоит посередине комнаты. Присел на корточки — около печки, смотрит на огонь. Поднялся, пошел к столу, передвигает его от окна

к печке. Перенес лампу. Разложил бумаги, сел за работу. В дверях появилась А г н и я С е р г е е в н а. В руках у нее какой-то небольшой сверток. Краев ее не видит.

А г н и я С е р г е е в н а. Сережа!

К р а е в (обрадовался, вскочил). Агнеша! Ну, замечательно, что ты пришла. Раздевайся. (Помогает ей снять пальто.)

А г н и я С е р г е е в н а. Я не помешаю? Ты, кажется, собрался работать?

К р а е в. Наоборот, я страшно рад тебе. Ты озябла? Устала? Садись скорей, грейся. (Тащит ее к печке.)

А г н и я С е р г е е в н а. Не озябла и не устала. Вокруг дома ведь только обошла, из одних сеней да в другие. (Садится.) Посидеть, что ли, на твоём прежнем любимом местечке. (Оглядывается на стол, к которому села спиной.) Значит, ты опять переехал к печке, вспомнил, как раньше любил погреться. И печку сам затопил.

К р а е в (смущенно смеется). Печку я затопил для Игната Петровича. Пусть отойдет соседка, довольно ему на меня сердиться. Блудный сын к нему вернулся... Да и я (показывает на печку) презрел на сегодня суворовские принципы...

А г н и я С е р г е е в н а. А я тебе, Суворов, что-то принесла. Как раз по твоей специальности. (Неторопливо разворачивает.)

К р а е в. Что же это? Ключка, что ли? У меня есть кочерга настоящая. Кстати... (Мешает кочергой в печке.)

А г н и я С е р г е е в н а. Нет, не то. (Улыбается. Развернула, вертит в руках что-то блестящее.)

К р а е в. Что это?

А г н и я С е р г е е в н а. Не узнал? Твоя детская сабелька. Она у меня сейчас вместо разрезательного ножа для книг.

К р а е в (бледнея от обиды). Ты... нарочно?

А г н и я С е р г е е в н а. Что, Сережа?

К р а е в. Нарочно мне принесла... Значит, тоже... смеешься...

А г н и я С е р г е е в н а (испуганно). Что ты, голубчик... Разве я для смеху. Что ты! Я думала тебе приятное сделать. Я вчера перед сном взяла ее в руки и вспомнила, как ты ею размахивал, на Вильгельма хотел войной идти. Помнишь?

К р а е в. Помню.

А г н и я С е р г е е в н а. Вот надо мной ты и вправду можешь сейчас посмеяться. Только ты не поверишь. Ты знаешь, что я через эту самую саблю вдруг поняла, что ты задумал...

К р а е в (*удивленно*). Почему?

А г н и я С е р г е е в н а. А вот так. Вспомнила, какой ты был смелый, проворный мальчик — и вдруг поверила. Ты ведь очень хочешь?

К р а е в. Очень, Агнеша.

А г н и я С е р г е е в н а. Ну так и я хочу. Я верю, Сережа.

К р а е в (*обнимает ее и целует*). Спасибо, Агнеша. Спасибо. Не ожидал... Санушка тут меня калила, да еще ты, я думал, начнешь...

А г н и я С е р г е е в н а. Ну вот, зачем? Я же знаю, если война, ты и без того пошел бы, не утерпел. Разве я тебя не знаю. Словом, голубчик, действуй, как ты находишь лучше.

К р а е в. Спасибо, Агнеша.

А г н и я С е р г е е в н а (*одевается. Перед самым уходом, по секрету*). Только с Шурочкой прокатись летом по Волге. Такие отметки в жизни обязательно надо ставить. Помнятся они долго-долго. Слышишь? (*И не дождавшись ответа.*) Так я пошла, голубчик.

К р а е в. Проводить тебя, Агнеша?

А г н и я С е р г е е в н а. Не надо, на дворе светло под окнами. (*Остановилась.*) Что я еще хотела тебе сказать? Да, вьюшки, смотри, голубчик, не закрывай рано. Печка угарная, давно не топил, да еще дрова березовые. (*Понизив голос.*) Не прислали еще ответ?

К р а е в (*смеется*). А вдруг не пришлют! Скажут: стар, не подходит... Посмеются еще, как здесь.

А г н и я С е р г е е в н а (*сердито*). Да будет тебе глупости! (*Уходит.*)

Краев ее провожает в коридор. Там происходит какая-то встреча. Чей-то размеренный голос. Голоса Краева и Агнии Сергеевны. Краев пропускает вперед О б р а з ц о в а. Образцов в очень пышной шапке и в тонюсеньком демсезонном пальто.

К р а е в (*оживлен*). Раздевайтесь, Николай Николаевич!

Образцов. Нет, я на несколько минут. Разрешите, я сниму только шапку.

Краев. Даже не сядете?

Образцов. Извините, я очень сегодня занят. Сергей Сергеевич, я считал своим долгом зайти, чтобы сказать вам о том, о чем я не успел сказать на большой перемене. Я размышлял над этим вопросом и пришел к твердому заключению. Вы не будете на меня в претензии, если я откровенно и прямо вам его выскажу?

Краев (*заметно взволнован*). Конечно, прошу, я буду очень благодарен.

Образцов (*серьезно и убежденно*). Вы правы в одном, Сергей Сергеевич. Опасность войны так близка, что мы все должны быть готовы. Что это значит? Это значит, что мы должны оставаться там, где мы есть, и исполнять свой долг. А будет нужно, нам скажут, и мы — и я в том числе, я тоже не лыком шит — пойдем на войну, как утром сейчас идем в классы. И если стране понадобятся наши физические силы, как теперь нужны умственные...

Краев (*перебивая*). А я хочу и физические и умственные силы отдать военному делу уже сейчас, чтобы быть как можно полезнее и сильнее в грозный час. По-вашему, я не имею права этого сделать?

Образцов. Зачем вы перебываете меня? Зачем вы вообще забегаете вперед, Сергей Сергеевич? Там лучше вас знают, как распределить народные силы. Почему-то правительство освободило вас, как районного педагога, от воинской службы. Не зря же оно это сделало... Вы народный учитель... Ваше дело воспитывать и учить тех самых юношей, которые будут сражаться. Их победа будет и вашей, независимо от того, будете ли вы в тот момент с ними, или останетесь здесь воспитывать новых героев. В этом и будет состоять ваш гражданский долг. Таково мое твердое мнение, Сергей Сергеевич, и я пришел вас предостеречь от скороспелых решений. То, что вы тогда говорили в учительской, понравилось мне своей искренностью и горячностью, но горячность же и испугала. Она какая-то юношеская... какая-то ухарская. А вы не юноша, Сергей Сергеевич. Вы уже взрослый муж, как говорили в древности. Не поддавайтесь увлечению минуты.

Краев. Я вижу, Николай Николаевич, вы принимаете меня совершенно за мальчишку, да еще сбившегося с панталыку...

Образцов. Простите, Сергей Сергеевич, может быть, я действительно говорил слишком менторским тоном... Это просто потому, что не часто приходится о таких вещах говорить, да еще со взрослым человеком. Надеюсь, вы понимаете мои побуждения? Вы не обиделись?

Краев *(помолчал)*. Нет. В том, что вы говорили, должно быть, много верного и справедливого, но — скажу вам еще раз: не отнимайте у меня молодость, а у молодости не отнимайте ее права — желать и осуществлять желания.

Образцов *(собирается уходить)*. Надеюсь, мы расстаемся друзьями, Сергей Сергеевич?

Краев. Что за вопрос!

В дверь стучат.

Краев. Войдите!

Входят Борисов, Кислицына, Несмелова.

Борисов. Добрый вечер, Сергей Сергеевич и *(узнал)* Николай Николаевич.

Образцов. Здравствуйте и *(надевает шапку)* до свидания, друзья. *(Уходит.)*

Краев. Брысь-брысь и Кис-кис? *(Приподнял лампу, чтобы освещала вошедших.)*

Кислицына *(Борисову, смеясь в сторону ушедшего Образцова)*. Скажи про него.

Борисов. Ах, это... *(Краеву.)* Смешной этот Образцов. Вчера накричал на Ферাপонтьева, велел ему географические карты убрать за шкаф, а сегодня сам их достал, повесил на стенку в учительской и вместе с Ферাপонтьевым изучают Центральную Европу. Говорят о войне и так далее.

Краев. Вот как! *(Смеется.)* Это интересно! А вы раздевайтесь, я очень рад вас видеть. Располагайтесь на диване, грейтесь, благо сегодня произошло еще одно чудо.

Кислицына. Какое, Сергей Сергеевич?

Краев *(показывает на печку)*. Ради примирения с Лобовиковым топлю печку.

Несмелова *(радостно)*. Вы помирились с Антошей?

Краев *(холодно)*. Ради того и топлю, чтобы поми-

риться, но не с Антоном, а с Игнатом Петровичем. (*Ходит по комнате.*)

Несмелова (*разочарованно*). А мы думали...

Борисов (*подтолкнул ее тихонько*). Говори, говори.

Несмелова. Почему я? Ты его товарищ.

Борисов. А ты не товарищ?

Кислицына. Ты и Несмелова ближе меня.

Борисов. Ну, хорошо... Сергей Сергеевич!..

Краев. Слушаю.

Борисов. Правда, что вы запретили Антоше ходить к вам?

Краев (*остановившись перед ним*). Правда.

Борисов. Это из-за того, что он проболтался?

Краев. Да. (*Пауза.*)

Борисов. Это верно, его следовало проучить. Какой же он будет командир и вообще военнослужащий, если не умеет держать язык за зубами.

Краев. Я тоже так думаю. (*Ходит взад и вперед по комнате.*)

Борисов (*после паузы*). Только, может быть, уж довольно с него. Он ведь понял, да еще как мучается-то, я знаю.

Краев. Он что, просил вас похлопотать за себя?

Кислицына. Ничего подобного. Мы вот из-за чего. (*Борисову.*) Говорить?

Борисов. Говори.

Кислицына. Понимаете, вдруг Лобовиков воспользуется, что вы сейчас с Антошей не видите, и уговорит его... не поступать в училище.

Краев (*свирепо*). И хорошо сделает. Грош цена вашему Антоше, если его можно уговорить.

Борисов. Понятно. (*После паузы.*) Только непонятно, чего он боится, этот Лобовиков? Это же глупо. Война есть война. Как будто в мирной обстановке несчастных случаев не бывает. Вот как с ее братом.

Краев. А что с ним, Кис-кис, я не знаю?

Кислицына. Мы в другом городе жили, когда он умер. (*Тихо.*) Из-за него мы и переехали. Мама не могла больше там оставаться.

Борисов. Расскажи Сергею Сергеевичу. (*Заботливо.*) Или, может быть, не стоит?

Кислицына (*вздыхнула*). Нет, что уж, теперь ничего.

Краев. Давно это было?

К и с л и ц ы н а. Прошлой зимой. Мой брат был командир, воевал год назад на финской... А после войны приехал в отпуск. Все наши девушки бегали за ним. Он очень хороший был, а не то что какой-нибудь донжуан. Просто они сами. Ему неудобно же их прогнать. Они даже меня полюбили, хотя я нисколько на него не похожа. Он блондин, такой большой, румяный, кровь с молоком. Идет — и кожа на нем скрипит. То есть не его кожа, а ремни военные, ну, вы понимаете...

Б о р и с о в. Понятно.

К и с л и ц ы н а (*рассердилась*). Пожалуйста, без замечаний. Ты таким не будешь. Ростом не вышел! (*Борисов кряхтит от обиды.*) Между прочим, они все перессорились. С ним разговаривают, хохочут, а друг на друга не смотрят. В общем, уже ноябрь, заморозки начались, а им хоть бы что — пикники устраивают за городом. В то утро был иней сильный. Красивые такие деревья. Одна дура, капризная — ух, как я потом ее ненавидела! — она захотела показать всем, что он ее предпочитает. А на самом деле ничего подобного. Но мой брат страшно добрый. Он на все согласен. Не на все, но в общем... Она его попросила на дерево залезть, на самую-самую верхушку. Достать ветку с инеем, которая ей будто бы с земли понравилась. Просто мерзавка!.. Он лезет, а она его понукает: «Выше, выше...» В этот день ветки совершенно мерзлые были. Там уж совсем тоненькие на верхушке. А брат у меня был большой, крупный. Все другие кричат: ну ее к черту, слезайте! А он смеется, тоже дурака валял. Ну и оборвался... Пока падал, за все сучья хватался, и все обламывались. А девицы внизу визжат, разбежались в стороны. Снега еще не было. Прямо на мерзлую землю шмякнулся.

К р а е в. Эк, бедняга!

К и с л и ц ы н а. Целый час на земле лежал, пока отвезли в больницу. Умер через два дня.

Долгая пауза.

К р а е в (*тихо*). Очень бессмысленная смерть.

Б о р и с о в (*горячо*). Ужасно бессмысленная! На войне подвергался стольким опасностям — и остался жив, а тут... Уж лучше бы... (*Не договорил, Кислицыной.*) Расскажи, как ты тогда...

К и с л и ц ы н а. Ну, это неинтересно.

Б о р и с о в. Расскажи, расскажи.

Кислицына. Забилась куда-то. Так противно было идти в больницу. Все равно уже нельзя поправить. И жалко его и досадно. Так стыдно, что лучше бы я сама с перебитым позвоночником...

Борисов (*Краеву, тихонько*). Слышите? Вот это то самое, о чем я говорю. Она не до конца еще тогда понимала, но это то самое.

Кислицына. Что я не понимала? Я лучше тебя понимала. Я готова была поехать в его военную часть и просить прощения, что он так глупо... (*Заплакала.*)

Краев (*подошел, гладит по голове*). Молодец, Кис-кис.

Борисов (*горячо*). Конечно, она молодец. (*Пауза.*) Ну, а капризная девчонка как это перенесла?

Кислицына. А ну ее к черту. Выла, конечно. Пойдем, до свидания. (*Уходит.*)

Борисов (*обернувшись к Краеву*). Расстроилась.

Дверь едва успела закрыться за ними, входит Костина.

Костина. Можно, Сергей Сергеевич? Я на одну минуту. (*Краев идет навстречу. Костина смотрит по направлению ширмы.*) Вы один?

Краев (*улыбнулся*). Бойтесь Александры Романовны?

Костина. Не то что боюсь... Вернее, я ее чересчур уважаю.

Краев. То есть как это чересчур?

Костина (*пугается*). Я не то хотела сказать. Сейчас скажу, дайте собраться с духом...

В дверь стучат.

(Костина с досадой.)

Ну, вот.

Краев. Войдите.

Опять появились Борисов и Кислицына.

Кислицына (*взволнованно*). Вы нас извините, Сергей Сергеевич. Мы главного не сказали, зачем приходили. Вашего урока сегодня не было, не могли вас всем классом поздравить. Поручили нам.

К р а е в (*сухо*). С чем поздравить?

К и с л и ц ы н а. Ну, не поздравить, я не знаю, как это... Говори ты...

Б о р и с о в (*солидно*). Сергей Сергеевич! От имени всего десятого класса разрешите вас заверить о том...

К о с т и н а. Неправильный оборот... Нельзя сказать — «заверить о том». (*Краеву.*) Извините, не могла удержаться.

Краев улыбается, Кислицына сердито щиплет Борисова.

Б о р и с о в. Заверить вас в том, что мы все глубоко уважаем вас и желаем вам всяческого успеха.

К р а е в. Рано еще об этом, дружок.

К и с л и ц ы н а. Почему. Вы же сказали вчера учительскому совету. И все ученики узнали.

Краев морщится.

К о с т и н а (*Борисову и Кислицыной горячо*). А если бы вы учились сейчас не в десятом классе, а в девятом или восьмом, вы бы так же приветствовали решение Сергея Сергеевича покинуть школу? Это вам теперь все равно, потому что скоро кончаете школу, а тогда? (*Пауза.*)

Б о р и с о в (*твердо*). Нам очень жалко было расставаться с Сергеем Сергеевичем, но я уверен...

К и с л и ц ы н а. Чего там «уверен». Ревели бы всем классом, как белуги.

Б о р и с о в (*твердо*). Правильно, как белуги. Но и тогда бы мы считали, что он вправе решить именно так, как он решил, и гордились бы им. Да.

К р а е в (*Костиной*). Удовлетворены ответом?

Кислицына и Борисов незаметно уходят.

К о с т и н а. Сергей Сергеевич, неужели вы думаете, я в вас не верю? Я? Когда я сейчас со всеми буквально дерусь.

К р а е в. Вы же начали сейчас убеждать Борисова в том, что я не должен ехать.

К о с т и н а. Не должны ехать?! Когда я сама подгоняю свой отъезд к вашему! (*Робко.*) Это можно?

К р а е в (*улыбнулся*). Но я сам еще ничего не

знаю. Мне оттуда пока ничего не ответили. Зачем вам в Москву?

Костина. На зачетную сессию в моем заочном вузе. Дело в том, что их несколько, этих сессий. Я могу приноровиться к вашей поездке. Вы один поедете?

Краев (*отрывисто*). Пока один.

В дверях появляется Александра Романовна Бугрова, которую они не видят.

Костина (*тихо*). Значит, можно мне с вами ехать?

Краев. Что за вопрос. Я буду очень рад.

Александра Романовна выступает вперед и молча указывает Костиной на дверь.

Костина (*оробев*). Да? Вы мне?

Александра Романовна наступает, Костина пятится.

Краев. Санушка, что с тобой?

Александра Романовна Бугрова оттеснила Костину к самой двери.

Краев. Санушка, ты немедленно извинишься.

Бугрова (*послушно обернулась к нему*). Извини, пожалуйста.

Краев. Ты извинишься перед Верой Ивановной.

Бугрова. Никогда.

Костина, пожав плечами, уходит. Александра Романовна Бугрова становится на ее место к двери и выжидательно глядит на Краева.

Краев (*отчеканивая каждое слово*). Это безобразная выходка.

Бугрова. Ты хочешь, чтобы я тоже ушла?

Краев. Мне очень стыдно за тебя, Санушка.

Бугрова. Считаю до трех. Если ты не пойдешь ко мне, я уйду. Раз. (*Пауза. Краев стоит неподвижно.*)

Два. (*Пауза.*) Ты понимаешь, что я уйду... совсем? (*Пауза.*) Или ты не понимаешь? (*Пауза.*) Два.

Краев. Ты уже считала два.

Б у г р о в а (кричит). Не смей шутить! (Пауза).
Три.

Оба стоят неподвижно. Затем Александра Романовна осторожно подходит к дивану, в уголок, и начинает тихонько плакать. Краев, сев рядом с ней, гладит ее по спине.

К р а е в. Странно, на этом же самом месте сегодня уже, знаешь, плакали.

Б у г р о в а. И ты ее так же утешал.

К р а е в (сухо). Успокойся. Плакала ученица Кислицына. (Пауза.)

Б у г р о в а. О чем она плакала?

К р а е в. О погибшем брате.

Б у г р о в а (равнодушно). Он погиб на войне?

К р а е в. Нет. Об этом она и плакала. (Пауза.) Но тебе же это неинтересно, правда?

Б у г р о в а (равнодушно). Почему? Мне все интересно, что интересно тебе.

К р а е в (радостно). Это верно, Санушка?

Б у г р о в а (порывисто прижалась к нему). Не уезжай!

(Молчание. Краев молча гладит ее по спине.)

Б у г р о в а (отстранилась). Утешаешь. Значит, решил ехать.

К р а е в (твердо). Я все равно поеду. Я добьюсь, что мне не откажут.

Б у г р о в а. То есть назло мне, лишь бы уехать с ней...

К р а е в (с досадой). Санушка. Надеюсь, ты не серьезно?

Б у г р о в а (кричит). Что я, не вижу? Как не стыдно тебе притворяться? Новую жизнь хочешь начать с девочкой. Хочешь, чтобы она твои командирские сапоги чистила.

К р а е в (встает). Ну, знаешь!.. (Пауза.)

Б у г р о в а (тоже встала. Вызывающе). Что?

К р а е в (сдерживая себя). Советую тебе пойти к Агнеше и успокоиться.

Б у г р о в а. А к тебе послать Костину? Да? Мне сбегать за ней? Топ-топ, побежала Александра Романовна... Куда? За кем? Муж послал... Что же ты молчишь?

К р а е в *(спокойно берет ее за плечи и осторожно выталкивает из комнаты)*. Ступай к Агнеше, ступай.

В дверях Анна Захаровна. Александра Романовна убегает.

К р а е в *(сердито)*. Вы ко мне?

А н н а З а х а р о в н а. К вам, Сергей Сергеевич, к вам.

К р а е в *(просительно)*. Нельзя ли потом. Мне сейчас, право, недосуг.

А н н а З а х а р о в н а *(качая головой, значительно)*. Вижу прекрасно. Вот и я, как бы сказать, по семейному делу. Верка моя тут была?

К р а е в. Была. Что вы хотите, Анна Захаровна?

А н н а З а х а р о в н а *(конфиденциально)*. Ничайшая к вам моя просьба, Сергей Сергеевич.

К р а е в. Только скорее.

А н н а З а х а р о в н а. Уж я вам, знаете, повинюсь. Это ведь я ее все подзуживала. Сама-то она несмелая какая-то, не в меня. А теперь я обратно пришла просить. *(Слезливо.)* Не увози ты ее!

К р а е в. Что такое?

А н н а З а х а р о в н а. Оставь ты Верку мою. Запрети ей с тобой уезжать. Я ведь что думала. Я думала, ты всегда будешь здесь жить, а ты смотри что... Ну где же ей за тобой скакать. Да она-то готова, а мне без нее каково... *(Заплакала.)*

К р а е в *(отрывисто)*. Черт знает что! Успокойтесь, Анна Захаровна. Ваша дочь при вас и останется. Вы говорите такой вздор... Извините, мне надо уйти по делу. *(Схватил шапку, убежал.)*

А н н а З а х а р о в н а *(насмешливо)*. «По делу». Санушку свою убежал успокаивать. Ну, если бы ты не уезжал, я бы тебе показала, я выдала бы за тебя Верку. Ну, а теперь — шалишь. *(Осматривается, перед тем как уйти.)* А бедненько живет. Одни книги. Все жалованье, видать, в трубу выпускает. *(Взгляд ее машинально останавливается на печке. Подходит, открывает дверцу, заглядывает.)* Верно, что в трубу. Уж закрывать пора. Так и быть, поухаживаю за «зятюшкой».

Лезет на стул и закрывает вьюшки, уходит.

Стук в дверь. Заглядывает Антоша, за ним Немецова.

Антоша (*негромко*). Можно, Сергей Сергеевич? Я на одну минуту, я сейчас уйду.

Несмелова (*говорит быстро, почти скороговоркой*). Кому ты говоришь? Никого нет.

Антоша. Ш-ш... (*Оглядывается.*) В самом деле. (*Идет на середину комнаты.*) Придется подождать, как ты думаешь? Или неудобно?

Несмелова. Конечно, подождем. Вот его пальто висит.

Антоша. Видишь ли... (*Замялся.*)

Несмелова. Ты же по делу. Кстати, я не знаю, что ты ему принес. Покажи.

Садятся.

Антоша (*таинственным голосом*). А я, думаешь, знаю? (*Ощупывает в кармане пакет.*) Положим, я-то знаю. Мне это передали в военкомате для Краева.

Несмелова. Почему у тебя такое важное лицо?

Антоша (*еще более таинственным голосом, хотя они говорят и без того негромко*). В том-то и дело. Из Наркомата обороны прислано.

Несмелова. Как интересно!

Антоша. Каркаешь во все горло. (*Показывает на стенку, за которой живут Лобовиковы.*) Знал, так не брал бы тебя с собой.

Несмелова. Подумаешь. Это ты не имеешь права сюда входить, а я свободная женщина.

Антоша (*мечтательно*). Значит, покатам скоро с Сергеем Сергеевичем.

Несмелова тихонько смеется.

Только, пожалуйста, потихоньку.

Несмелова. Покажи письмо.

Антоша. Зачем?

Несмелова. Ну, покажи. (*Лезет к нему в карман.*)

Антоша. Оставь! (*Борются.*)

Несмелова. Ой! (*Тихонько вскрикивает.*)

Антоша (*озабоченно*). Больно?

В этот момент Несмелова ловко выдернула у него из кармана письмо.

Антоша (*жалобно*). Ну, это уж совсем свинство. Отдай. Ну, отдай сейчас же!

Несмелова. На, на, нюня. *(Сует ему письмо.)* Почему нельзя? Только взглянуть...

Антоша. Что за шутки с чужим письмом. *(Прячет его в карман.)* Мне уж влетело один раз, хватит.

Несмелова. Не бойся, не трону, раз ты такой жадина. Знаешь что? Я отвернусь, а ты его спрячь где хочешь.

Антоша *(радостно)*. Вот это правильно.

Несмелова усаживается на диване спиной ко всей комнате. Антоша идет к столу, подозрительно оглядываясь, достает письмо.

Антоша. Не смотришь?

Несмелова. Неужели ты мне никогда не будешь верить?

Антоша прячет письмо в ящик стола, в самый низ под бумагу.

Антоша *(отскочив от стола)*. Готово.

Несмелова *(вскакивает с дивана и приближается к Антоше)*. Ну, теперь берегись, стану искать... Холодно? Горячо?..

Антоша. Холодно, холодно. Теплее, теплее. *(Несмелова идет по комнате, а он, наблюдая за ее поисками, насмешливо говорит.)* Еще теплее, горячо, горячо. *(Когда она почти уткнулась в печку.)* Жарко, страшно жарко!

Несмелова. Негодяй! Так это от печки жарко?

Антоша. А ты думала!..

Она бежит за ним, он от нее увертывается. Вывернулся, схватил за плечо и прижал к печке.

Несмелова *(сначала смеется)*. Холодно, холодно. Тепло, горячо, ой, горячо. Пусти!

Антоша. А, терпи!

Несмелова. Ты мне спину сожжешь! Миленький, ну пусти!

Антоша *(отпускает ее)*. До миленького дело дошло!

Несмелова *(отскочила от печки)*. Дурак!

Оба садятся на диван, с разных концов его. Пауза.

Несмелова (медленно начинает придвигаться). Ты что, рассердился? За дурака? (Звонко целует его в щеку.)

Антоша. Зина! (Хочет в свою очередь поцеловать ее, но она уже на другом конце дивана, показывает ему язык, а рукой на стул около печки. Он не понимает и все еще рвется к ней.)

Несмелова. Сядь, сядь туда.

Антоша (он послушно вскакивает и садится на стул). Зина!..

Несмелова. Больше до самого до твоего отъезда не поцелую. Слышишь?

Антоша (уныло). Слышу.

Несмелова (поднялась с дивана). Ну, я пошла.

Антоша (жалобно). Я же должен дожждаться Сергея Сергеевича.

Несмелова (садится опять. Пауза). Ты математику к завтраму приготовил?

Антоша. Приготовил.

Несмелова. Помоги мне потом. А то я твоего папы боюсь, спросит.

Антоша. Хорошо. (Пауза).

Несмелова. Хочешь, я тебя танцевать выучу?

Антоша. Нет. (Подумав немного.) Хочу. (Пауза.)

Несмелова. К отъезду как раз научишься.

Антоша (уныло). Почему только к отъезду?

Несмелова. По крайней мере меня вспоминать будешь. Скажешь спасибо Несмеловой?

Антоша. Скажу.

Несмелова (заинтересованно). Ты что, заранее по мне уже соскучился? (Приглядывается к нему.) Ты что такой? Тебе нехорошо?

Антоша (уныло). Что хорошего. Вчера с Сергеем Сергеевичем, а сегодня с папой поссорился.

Несмелова. Из-за чего с папой? Все из-за того же?

Антоша. Да. Я сказал окончательно, что поеду и что с Сергеем Сергеевичем постараюсь помириться как можно скорее.

Несмелова. А он?

Антоша. Затопал ногами и почти выгнал. В общем, поругались.

Несмелова. Подумаешь! Неужели из-за этого скис?

Антоша (неохотно). И голова еще немного болит.

Несмелова (беспокойно). Давно заболела?

Антоша. Недавно.

Несмелова (беспокойно). Это от печки. Там жарко. Иди сюда.

Антоша (стараясь повеселеть). Нет, ничего. Мне даже наоборот, холодно. (Улыбнулся.) Замечаешь, что я сижу на Сергей Сергеевича месте? (Закрыв глаза.)

Несмелова (подбегает к нему и прикладывает ладонь к его лбу). Очень болит? Пойдем на воздух. Здесь душно. Пойдем. У меня тоже начинается голова болеть. (Хочет поднять его.)

Антоша (упрямо). Я должен дождаться Сергея Сергеевича.

Несмелова. Тогда надо открыть форточку. (Подбегает к окну, дергает форточку.) Примерзла. Сейчас я принесу тебе пирамидон. (Убежала.)

Антоша (вслед). Надень пальто.

Антоша один. Тишина. Он встал, прислонился к печке, потом нагнулся, с усилием открыл дверцу и заглянул в печку. Помешал кочергой в ней, посидел на корточках. Совсем ослабев, упал на электрический шнур, выдернул его из штепселя. Погас свет. В темноте слышно, как Антоша стукнул в пол коленками и локтями. Скатилась со стола и упала лампа. Все стихло. Напряженная пауза. Наконец в коридоре слышны быстрые каблучки Зины Несмеловой.

Несмелова (вбегает в комнату). Ты что свет погасил? Антоша, ты ушел? (Запнулась в темноте за лампу и за Антошу.) Антоша!

Кинулась к двери, распахнула ее. Свет из коридора осветил лежащего ничком на полу Антошу. Несмелова тащит его за плечи к двери. Оставила его, выскочила в коридор, кричит.

Несмелова. Он умер! Умер!..

Хлопнула где-то дверь, бегут по коридору. Вбегает Александра Романовна Бугрова и еще много народу.

В о з г л а с ы:

— Что с ним?

— Зажгите свет!

— Лампу! Лампу!

— Лампа разбилась!..

— Шурочка, что с ним?!

Б у г р о в а (*склонившись к нему*). Скорее на свежий воздух. Здесь угар! (*Пауза*.)

В о з г л а с ы:

— Где нашатырный спирт?

— Пальто!

— Берите за ноги!

— Осторожно!

Антошу уже выносят из комнаты, когда в дверях появляются Л о б о в и к о в и К р а е в. Напряженная пауза. Лобовиков вскрикнул. Оба бросаются к Антоше. Дверь захлопывается.

З а н а в е с

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Стародевичья комната, тесно заставленная вещами. Стулья, диван, пианино — все в белых чехлах. Окна закрыты полотняными шторами. Между окнами ломберный стол. Над столом часы. В углу небольшой комод, на комодe зеркало и различные безделушки. Кровать задернута белым пологом. Подле кровати маленький столик, уставленный лекарствами. На столике горит свеча. Агния Сергеевна хлопочет около столика, переставляя посуду, размещивая и растирая что-то в большой чашке. Перед комодом кто-то стоит на коленях и роется в выдвинутом нижнем ящике.

Агния Сергеевна (*вполголоса*). Да будет тебе шуршать бумагами. Ты не тот ящик выдвинул. Тут выкройки лежат. Тряпки у меня выше. Давай, я сама найду.

В это время искавший уже нашел что нужно и приносит ей. Мы узнаем Л о б о в и к о в а. Он исхудал, пожелтел и при свете свечи выглядит особенно плохо.

А г н и я С е р г е е в н а. Это не та кисейка. Ну ладно, держи стакан. (*Процеживает клюквенный морс.*) Кажется, цвет не особенно получился. Клюква старая. Если еще пить попросит, стакан вот тут с краю будет стоять.

Л о б о в и к о в (*шепотом*). Вы хотите уйти?

А г н и я С е р г е е в н а. Схожу на рынок. К семи часам колхозники приезжают.

Л о б о в и к о в (*беспокойно*). Не уходите. Я очень вас прошу.

А г н и я С е р г е е в н а (*удивленно*). А ты разве тоже куда хотел пойти?

Л о б о в и к о в. Нет. Но я не хочу оставаться один. Вдруг он проснется.

А г н и я С е р г е е в н а. Ну и что? (*Встает.*) Компресс намочен, если понадобится. Рубашка для перемены на спинке кровати висит.

Л о б о в и к о в. Я убедительно вас прошу — не уходите.

А г н и я С е р г е е в н а. Чудак! Ну, хорошо. (*Опять садится.*)

Л о б о в и к о в (*едва слышно*). Спасибо.

А г н и я С е р г е е в н а (*качает головой*). Тебе самому полечиться надо. Заведи-ка часы, что-то слаботикают.

Вставая, Лобовиков нечаянно двинул стулом и замер.

А г н и я С е р г е е в н а. Ничего, утренний сон крепкий. Ну, на всякий случай, взгляни.

Л о б о в и к о в (*подошел к кровати, отогнул полог. С облегчением*). Спит. (*Сел у стола.*) Вы не знаете, как я волнуюсь... По-вашему, он проснется здоровым?

А г н и я С е р г е е в н а. Очень возможно. Шурочка мне вчера знаешь что говорила?..

Л о б о в и к о в (*перебивая*). Вы не знаете, с каким страхом я этого жду...

А г н и я С е р г е е в н а. Еще что выдумаешь. Со страхом... Небось от радости сердце выскочит, когда услышишь: «Папа...»

Л о б о в и к о в (*просиял*). Это будет... такое! (*Задохнулся от счастья.*) Такое!..

Услышав стон, Агния Сергеевна тревожно оглядывается на кровать: но там все спокойно; смотрит на Лобовикова: он сотрясается от рыданий.

Агния Сергеевна (*скинула вязанье с колен, вскакивает, обнимает Лобовикова за плечи*). Успокойся, голубчик. Успокойся. Все прошло. Выздоровел. Все хорошо. Успокойся. Выпей водички. Выпей.

Лобовиков (*отталкивает стакан*). Это... морс... для Антоши...

Агния Сергеевна. Ничего, ничего, пей, я еще разведу.

Он жадно пьет.

(Садится на место. Пауза.) Какой ты стал!..

Лобовиков. Еще бы! После того, что с ним было... Вы меня понимаете? Вдруг не так с ним заговорю, когда проснется... Мы же расстались в ссоре... Не могу я в первую же минуту начать объяснять, что пережил за эти ночи...

Агния Сергеевна. И не надо. Ты не думай об этом. Обнимитесь — и все.

Лобовиков молчит.

Агния Сергеевна. Ну, если хочешь, я ему расскажу, как ты мучился.

Лобовиков (*испуганно*). Нет. Да и вы не все знаете...

Агния Сергеевна. А что я не знаю? Про ссору с Сережей? Знаю.

Лобовиков. Не все. Ведь как она началась. Когда я увидел, что Антона у меня отнял Сергей Сергеевич (*Агния Сергеевна негодующе заворочалась на стуле*), то я еще долго надеялся побороть его влияние.

Агния Сергеевна. А для чего это тебе понадобилось?

Лобовиков. Во-первых, была обида, а главное — я не хотел отпустить от себя Антошу...

Агния Сергеевна. Вот-вот-вот! Что он у тебя, младенчик? Ты его ложкой кормишь?

Лобовиков. Я об этом скажу. Но когда неожиданно Сергей Сергеевич объявил о своем решении стать военным, я понял, что для меня все кончилось. Это был

пример для Антоши, и уже на всю жизнь. До этого я еще мог как-нибудь уронить Краева в глазах Антоши, а тут я понял, что бороться с ним невозможно. Правда, многие ему не поверили, многие над ним смеялись, и я в том числе, но я знал его лучше, чем другие. Я великолепно знал. Рассказывать дальше?

А г н и я С е р г е е в н а. Погоди. А ты видел, что твоему сыну десять человек жизнь спасали и энергичнее всех — кто? Краев! И это ты называешь «отнять» у тебя сына?

Л о б о в и к о в. Если бы я этого не видел, разве бы я сейчас...

А г н и я С е р г е е в н а. Ты мне вот что скажи: дальше ты как думаешь жить? Или еще не думал?

Л о б о в и к о в (*страстно*). Неужели я за это время не думал! Ведь я отчего его не пускал в военную школу? Не хотел, чтобы он имел дело с профессиональной смертью. Выучиться тому, чтобы идти и вести других под пули, стрелять самому!..

А г н и я С е р г е е в н а. А что, это всегда плохо?

Л о б о в и к о в. Вы это спросили совершенно так, как брат.

А г н и я С е р г е е в н а. Это тоже плохо?

Л о б о в и к о в (*твердо*). Нет. Вы напрасно думаете, что я этого не понимаю или не согласен в чем-то. Я только хотел уберечь своего сына от смерти.

А г н и я С е р г е е в н а. Ловко! Пока ты его оберегал, он чуть не помер!

Л о б о в и к о в (*тоскливо*). Это была бы такая тупая смерть! Да еще чуть ли не я сам виноват. Заставлял Сергея Сергеевича топить эту проклятую печку. Но я никого и даже себя не виню. Произошла бессмыслица, и в результате я (*поправился*) мы... чуть не лишились Антоши.

А г н и я С е р г е е в н а. Еще что скажешь?

Л о б о в и к о в (*с усилием, под испытующим взглядом Агнии Сергеевны*). Что? Мне кажется... после того, что произошло... я потерял право распоряжаться его жизнью.

А г н и я С е р г е е в н а. Да ты никогда такого права и не имел. Кто тебе его давал, скажи на милость? (*Заметно повеселев.*) Ты вообще паникер. На войне твой сын будет здоров и благополучен и еще героем вернется. А вот если бы ты продолжал свое, ты бы его потерял. Он молодой, он бы в тонкости не стал входить.

Помнишь, я говорила, что от тебя отказываться не надо? А вот отказался бы, и дело с концом.

Л о б о в и к о в. Вы нарочно меня?..

А г н и я С е р г е е в н а. А хоть бы и нарочно! Ну да ладно, хватит с тебя. Пойди вздремни, а я посижу. Скоро утро. Смотри, шторы-то побелели. Заодно и проснется без тебя... Что ты мнешься? Боишься — наговорю что-нибудь на тебя?

Л о б о в и к о в. Нет. Я во всем на вас полагаюсь.

А г н и я С е р г е е в н а. Полагаешь, все грехи тебе отпущу? Я же не поп, я всего только дьячкова дочка.

Л о б о в и к о в (*сконфуженно*). Извините, что я тогда...

А г н и я С е р г е е в н а. Ну этот грех я как раз могу тебе отпустить. Пойдешь спать?

Л о б о в и к о в. Ни за что!

Агния Сергеевна встает и подходит к постели больного, долго на него смотрит, приоткрыв полог. Лобовиков становится рядом с Агнией Сергеевной. Долгая пауза.

Л о б о в и к о в. Спит.

А г н и я С е р г е е в н а. Ну и пусть. Проснется зато человеком. Смотри, у него и цвет лица уже лучше. Был ведь совсем свинцовый.

Л о б о в и к о в. Да.

Опять стоят молча. Дверь в комнату тихо открылась, появляются Краев и Бугрова.

Б у г р о в а (*подходит к постели*). Ну, как? (*Потрогала его лоб, руки.*)

А г н и я С е р г е е в н а. Не разбуди, Шурочка.

Б у г р о в а. А ночью был жар?

Все четверо стоят у постели.

А г н и я С е р г е е в н а. Как будто нет.

Б у г р о в а. Да, компресс не высох. (*Прислушивается к дыханию.*) Дышит легко.

А г н и я С е р г е е в н а. Верно, дело на поправку пошло.

Б у г р о в а. Давно пора.

Л о б о в и к о в. Трое суток почти без сознания.

Агния Сергеевна. И как это он успел так сильно надыхаться этим угаром. Зина вместе с ним была, а у нее ничего. ~

Бугрова. Когда мы прибежали, Антоша лежал рядом с печкой. Открыл-то он ее уже без Зины. Кочерга в печке осталась, значит, мешал угли, не зная, что вьюшка уже закрыта. Вот он тогда и дышал чистым угаром. А у Несмеловой все прошло, когда она выскочила на улицу. В той стадии угара все лечение в свежем воздухе.

Агния Сергеевна и Лобовиков удалились к окну и там тихо продолжают беседу. Краев и Александра Романовна остаются подле постели.

Краев. Ты знаешь, я сам не ожидал, что так к нему привязался. Этот несчастный случай ударил по мне бесконечно сильнее, чем все дурацкие недоразумения. Ты меня понимаешь?

Бугрова. Конечно.

Краев. Но если бы я не убежал тогда за тобой, ничего бы не случилось.

Бугрова. Сережа, не будем больше об этом. Я со всем примирилась за эти дни. Не надо.

Краев (*мягко*). Ну, хорошо. А что значит — со всем примирилась? Мне казалось, за это время произошло большее. Разве не так?

Бугрова. Пожалуй, я неверно выразилась. Нельзя сказать, что я так-таки уже со всем примирилась. Напротив, только недавно я начала кое с чем враждовать. Ты знаешь это отлично.

Краев (*весело*). Знаю. И, грешный человек, рад.

Бугрова (*тоже улыбаясь*). Я думаю! Раз я устраиваю сражения в твою пользу... А что бы ты запел, если бы было наоборот?

Краев. Было и наоборот.

Бугрова (*помолчав*). Значит, все к лучшему (*показывая на Антошу*).

Краев. Нет. Вот этого могло и не быть! Тебя бы я и без того победил, Санушка. Признайся сама, из-за чего ты вдруг повернула?

Бугрова (*горячо*). Ты думаешь, не скажу? Какое она имеет право драться за тебя со всеми и еще перед тобой этим хвастать. Кто она тебе и кто я?! Я десять лет в тебя верю, а она сколько?

Краев (*сначала улыбался, потом стал морщиться; не рад, что вызвал этот разговор*). Тише, Антошу разбудишь.

Пауза.

Бугрова (*немножко успокоилась*). А какое они имели право смеяться над тобой! Посмели бы теперь...

Краев (*осторожно*). Ответа же нет.

Бугрова. А ты не заходил в военкомат?

Краев. Известили бы. Нет, теперь я уже решил действовать иначе, Санушка.

Бугрова. Как?

Краев. Очень просто. Призовусь нынче в армию. Оттуда меня через год примут куда я хочу.

Бугрова (*смотрит на него с изумлением*). Ты необыкновенный человек, Сережа.

Краев. Что здесь необыкновенного? Миллионы советских юношей делают то же самое.

Бугрова. Но ты же не юноша.

Краев (*улыбнулся*). Это верно, придется помолодеть... или похлопотать!

Бугрова (*поскучнев*). Значит, так или иначе, нам суждено нынче расстаться.

Краев. Не навсегда же. Ну, Санушка, это уж совсем пустяки. (*Горячо.*) Разве тебя не увлекает мысль через год начать жизнь сначала?

Бугрова. По правде сказать, не очень увлекает.

Краев (*обиженно*). Можно и не начинать, если не хочешь.

Бугрова (*смеется*). Ты неисправим. Всегда так вывернешься, что ты же и в обиде остался.

Краев. Ну и ты тоже хороша.

Бугрова. У тебя научилась! (*Серьезно*). Что-то мы разрезвились. (*Показывает на Антошу.*)

Краев (*беспокойно*). Скажи, а могут у него быть какие-нибудь последствия или осложнения?

Бугрова. Некоторое время может быть расстройство речи, потеря памяти. Но это необязательно. Во-первых, молод, здоров, во-вторых, отравление не слишком сильное. (*Показывает на Лобовикова и еще понизив голос.*) Ему ничего не говори. Знаешь, мне кажется, он очень хотел бы с тобой помириться.

Краев. А мы, в сущности, помирились за время бо-

лезни. Не надо опять раздувать. Мне ужасно надоели все эти сложности. В день угара у меня было такое чувство, что к каждой ноге привязано по две огромных гири. Между тем мне сейчас нужно быть совсем легким. Ты понимаешь? Только не обижайся.

Б у г р о в а. Хорошо, не буду.

Пауза.

А г н и я С е р г е е в н а (*подошла к ним сзади*). Наговорились? (*Приоткрыла полог, молча глядит на спящего, шепотом Лобовикову.*) Открой-ка шторы.

Лобовиков на цыпочках спешит исполнить. Утренний свет наполняет комнату. Все вокруг — чехлы, накидка, потолок и стены — становится белоснежным, лица светлеют, и только желтый огонек свечи напоминает о ночи.

А г н и я С е р г е е в н а. Сережа, потуши свечку.

Краев осторожно гасит свечку и тоже становится рядом с Агнией Сергеевной. Подходит Лобовиков.

А г н и я С е р г е е в н а. Спит наш Антоша. А то уж я думала — разбудили разговорами.

Легкий стук в дверь.

Кто это в такую рань? Молоко принесли? (*Спешит к двери.*) Вот это кто. Николай Николаевич.

Едва слышен шепот О б р а з ц о в а. Она отвечает ему.

Ничего, лучше. Спал хорошо. А вы можете зайти. Он спит крепко.

О б р а з ц о в (*входя в комнату*). Я сегодня пораньше встал и решил перед началом занятий навестить нашего больного. Вот напугал он всех. Подумать только. Нелепый случай мог вырвать у нас такого молодого, полного сил, стремлений. Ужасно. (*Помолчав.*) Но как всегда в жизни бывает, смешное идет по пути страшного. Один из наших педагогов так испугался, что решил никогда больше не топить печку! Кстати, Сергей Сергеевич, у меня к вам просьба.

К р а е в. К вашим услугам.

О б р а з ц о в. Я думаю, вас не затруднит писать нам иногда о своей жизни, обо всем новом, что вас там встретит.

К р а е в. Вы шутите, Николай Николаевич?

О б р а з ц о в. Нет, нет. Я искренне вам желаю удачи на вашем новом пути... (*Взволнован.*) Надеюсь, вы мне верите?

К р а е в. Охотно верю, Николай Николаевич. А как же мои ошибки? Прощаете?

О б р а з ц о в. М-м... Это не то слово. Со мной недавно произошла странная вещь. Я, как вы знаете, живу одиноко и замкнуто. Позавчера я пригласил к себе молодежь, несколько наших десятиклассников, тех самых, с которыми дружили вы. И вы знаете, Сергей Сергеевич...

К р а е в. Угадываю. Они сагитировали вас вместе с ними, со мной, подать заявление в военную школу!

О б р а з ц о в (*смеется*). Не совсем так. Но во всяком случае, я понял вас... (*Сам изумляясь.*) Да, понял. Вы тогда мне сказали: не отнимайте у меня права на молодость. Я понял, что это значит. Это очень широкое право. Оно позволяет делать даже ошибки, но так, что другим становится завидно.

К р а е в. В чем же дело, Николай Николаевич. Давайте совершать ошибки вместе.

О б р а з ц о в. Нет. Но вам желаю успеха.

Б у г р о в а (*слушая их беседу*). Вы знаете, что он решил? Если его не возьмут в училище, он просто осенью призовется в армию!

О б р а з ц о в. Ах, так! Разве вы получили отказ?

К р а е в. Я до сих пор ничего не получил.

О б р а з ц о в. Позвольте, позвольте. А мне говорила Вера Ивановна Костина, которую я вчера встретил поздно вечером, что будто бы вы получили письмо из военных инстанций.

Б у г р о в а. Опять Костина!

К р а е в. Нет, Вера Ивановна ошиблась. Письма я не получал.

О б р а з ц о в. Странно, странно...

Стук в дверь, просовывается голова Ф е р а п о н т ь е в а.

Ф е р а п о н т ь е в (*довольно зычно*). Сергей Сергеевич здесь?

А г н и я С е р г е е в н а. Тише!

Лобовиков бежит взглянуть, не проснулся ли Антоша.

К р а е в. Войдите, пожалуйста, только тише.

Ф е р а п о н т ь е в. А-а... (*Крадется на середину комнаты к Краеву. Срывающимся в бас шепотом.*) Сергей Сергеевич, Шабалин сказал, что пришло письмо, которого вы ждали, и теперь все в порядке.

К р а е в (*почти кричит*). Нет письма, нет, нет!

А г н и я С е р г е е в н а. Сережа! (*Испуганно показывает на спящего.*)

О б р а з ц о в. Действительно странно с этим письмом.

Б у г р о в а. Неужели вы допускаете, что Сергей Сергеевич получил письмо и по каким-то причинам это скрывает?! Сережа, ты слышишь?

К р а е в. Что, Санушка? Я не думаю, что они считают меня способным так глупо лгать.

О б р а з ц о в. Успокойтесь, Сергей Сергеевич. Конечно, нет.

Ф е р а п о н т ь е в. Сергей Сергеевич! Значит, я вас расстроил. Плюньте вы на меня.

К р а е в (*угрюмо*). Письма нет.

Л о б о в и к о в. Уж не думаете ли вы, что я взял письмо?

Ф е р а п о н т ь е в. Новое дело! Это почему?

Л о б о в и к о в. Мало ли что. Раньше, например, у меня могли быть причины скрыть это письмо.

К р а е в. Но сейчас ты за себя отвечаешь. Не брал?

Л о б о в и к о в. Не брал.

К р а е в. Подожди. Откуда ты вообще мог его взять? (*Осененный догадкой.*) Ты что, видел его у Антоши?

Л о б о в и к о в. Нет. Собственно, почему ты спрашиваешь?

К р а е в. Антоша в тот день мог получить его в военкомате.

Л о б о в и к о в. Я ничего не знаю.

К р а е в (*к Агнии Сергеевне, быстро*). Антошина куртка здесь?

А г н и я С е р г е е в н а. Вот она висит.

К р а е в. Посмотри, пожалуйста... Или нет, лучше ты. (*Лобовикову.*) Посмотри в карманах.

Л о б о в и к о в (*ищет в карманах Антошиной куртки*). Там ничего нет.

К р а е в. Санушка, сходи, пожалуйста, за Шабалиным. Ах да, он живет не в школе... Ну что ж, подождем. Может быть, скоро проснется Антоша.

В ответ слышится слабый голос.

А н т о ш а (*жалобно*). Я проснулся, но я не могу вспомнить.

Все приходят в волнение. Одни бросаются к постели, другие замерли на месте.

Я никак не могу вспомнить. Папа!

Лобовиков от волнения не может открыть полог.

А н т о ш а. Что же ты, папа?

Л о б о в и к о в (*прерывающимся голосом*). Тебе попить? (*Хватается за пустой стакан.*) А я твой морс выпил...

Беспомощно оглядывается на Агнию Сергеевну, которая уже начала хлопотать, раздвигает занавески.

А н т о ш а. Я не хочу пить. Откуда ты взял? (*Оглядывает комнату.*) Ты что, папа, женился? (*Лобовиков сконфужен.*) Нет? А откуда вся эта мебель? (*Увидев Агнию Сергеевну.*) А, понимаю. Здравствуйте, Агния Сергеевна.

А г н и я С е р г е е в н а. Как ты себя чувствуешь?

А н т о ш а. Очень хорошо. Кстати, я знаю, что угорел. Да, а что я не знаю? Что я забыл? (*Вспоминает.*) Что я забыл? (*Пауза*).

К р а е в (*мягко*). Не надо, дружок, не утомляй себя. Это неважно.

А н т о ш а. Это вы, Сергей Сергеевич? Вот хорошо. А я помню вас во время болезни. Вы с папой все ночи около меня сидели. Правда, папа?

Л о б о в и к о в (*растроганно*). Правда, милый.

К р а е в. А все-таки я советую тебе поменьше говорить.

А н т о ш а. Ну, я очень рад, что вы здесь вместе. И Александра Романовна здесь?

Б у г р о в а (*подойдя ближе*). Да, дружок.

Ф е р а п о н т ь е в (*тихо Образцову*). Давайте выйдем, а то нас уж слишком много.

А н т о ш а. А это кто? (*Заглядывает за край полог.*) Степан Кондратьевич... Николай Николаевич... Видите, как я всех помню... А что я забыл?.. (*Краеву тихо.*) Письмо? Где письмо?

К р а е в (*ласково*). А оно было, Антоша?

А н т о ш а. Я получил его в военкомате по вашей доверенности.

К р а е в. Получил, значит, найдется. Потом. Сейчас не думай.

А н т о ш а. А в куртке нет? Хотя вы искали... Какая я скотина... Вы так его ждали!

К р а е в. Антоша, прошу тебя, успокойся. Я за прошу дубликат, копию, все что угодно. (*Агнии, весело.*) Агнеша, давай же нам завтракать!

В дверь стучат.

А г н и я С е р г е е в н а. Войдите.

Показывается Ш а б а л и н. Краев подсакивает к нему, выталкивает обратно в коридор и сам вместе с ним выходит.

А н т о ш а (*мрачно*). Чтобы при мне не говорили о письме.

Показывается Т а н н е н б а у м, немного позже Ш а б а л и н, К р а е в.

Т а н н е н б а у м (*подходит к постели*). Как вы себя чувствуете, мой друг?

А н т о ш а. Хорошо. А вы?

Т а н н е н б а у м. Я тоже чувствую себя довольно хорошо. Не надо хворать, мой друг.

Стучат. Агния Сергеевна впускает Б о р и с о в а.

Б о р и с о в. Здравствуйте. О, да ты... (*Подходит к Антоше, здоровается с ним за руку.*)

А н т о ш а (*смеется*). Какая честь! Он всю жизнь здоровался за руку со всеми, кроме меня!

В дверь заглядывают Н е с м е л о в а и К и с л и ц ы н а.

Несмелова. Можно, Агния Сергеевна? Батюшки, сколько народу! *(Входит.)*

Антоша *(радостно)*. Зина! Ты же со мной была! Где письмо, которое я тебе показывал? У тебя?

Несмелова. Письмо? Ты же мне его не давал в руки. Ты его спрятал.

Антоша. Куда спрятал? Говори скорее. Ты не знаешь, как это важно!

Несмелова. Я вообще ничего не знаю. Я искала тогда и не нашла, разве не помнишь?

Антоша. Не помню, не помню...

Краев. Ну вот что, граждане, хватит. Иначе я буду серьезно сердиться.

Агния Сергеевна *(тащит большую кастрюлю молока, стаканы, кружки)*. Кто хочет молока? *(Наливает всем молока.)* Не чваньтесь, пейте, Николай Николаевич.

Краев хочет незаметно уйти.

Бугрова. Ты куда? От молока бежишь? Как всегда, боишься пенек?

Краев *(опасливо глядит на постель Антоши. Тихо)*. Нет.

Бугрова. Понимаю. Остаешься, пойду я.

Уходит.

Несмелова *(Антоше)*. Как я рада, что ты поправился.

Антоша. А ты не угорела?

Несмелова. Очень немного. Голова поболела и все.

Антоша. Что в школе?

Несмелова. Скука без тебя. Вот видишь *(тихонько)*, хоть ты и папенькин баловень, а все-таки тебя все любят.

Антоша. На лыжах ходите?

Несмелова. Без тебя — ни разу. А сейчас замечательно бы! По утрам еще холодно, а днем на солнышке даже жарко. Идешь по улице, как будто зима, воздух холодный, а пальто потрогаешь — горячо-горячо под рукой, нагрело солнце. *(Удивленно.)* Что ты?

Антоша машет ей, чтобы замолчала.

Не понимаю...

Антоша (в волнении). Молчи! По утрам холодно, а днем жарко... Да. Холодно, холодно, теплее, теплее, горячо, горячо, жарко! Помнишь?

Несмелова (смущенно). Помню. Почему ты об этом?

Антоша. Зина! Сергей Сергеевич!

Агния Сергеевна (прибежала с кастрюлькой). Что случилось?

Краев. В чем дело, Антоша?

Несмелова. А, я поняла!..

Антоша. Чего ж ты стоишь, беги скорее!

Несмелова. Чудак, я же не знаю, куда ты от меня спрятал.

Антоша. Около печки, в столе, под бумагами. Ох, черт, я сам... (Хочет одеваться, спустил ноги.)

Агния Сергеевна. С ума сошел! Лежи ты спокойно!

Краев. Успокойся, Антоша. Спасибо. (Направляется к двери, подавляя волнение.)

Несмелова. Можно мне с вами?

Антоша. Да, да, иди.

Дверь распахивается.

Бугрова. Я нашла письмо. (Отдает Краеву.)

Краев (вертит в руках). Почему надорвано?

Бугрова (смущенно). Извини, не могла удержаться. Читай.

Краев (читает про себя. Прочитал. Делает вид, что спокоен). Ну что ж, я так и думал. Не примут, не тот возраст.

Долгая пауза. Все точно замерли, не знают, что говорить — утешать Краева? Радоваться за его жену и сестру?

Антоша (в волнении). Как же теперь?

Образцов (неожиданно). Сергей Сергеевич, а что, если вам обратиться к самому Клименту Ефремовичу Ворошилову? Он несомненно вникнет в ваши горячие устремления...

Краев. Нет. Просить и ходатайствовать больше не стану. Сделаю так, как решил... в случае отказа.

Б у г р о в а. Вместе с восемнадцатилетними пойдешь осенью призываться?

К р а е в *(ласково)*. Да, Санушка. А летом... если ничего не случится... мы с тобой и Агнешей поедem по Волге.

А г н и я С е р г е е в н а *(радостно)*. Вот, вот!

Б у г р о в а *(недоверчиво)*. Ничего еще неизвестно. Десять раз передумашь!

Т а н н е н б а у м *(неожиданно)*. Можно мне сказать? На Волге живет мой сын Карл Танненбаум. В четырнадцатом году он отказался воевать против немцев. Сейчас он работает на заводе, и недавно его наградили орденом. Он часто мне пишет и очень доволен, что работает против фашистов, хотя они и немцы. Если вы с ним познакомитесь, вы увидите, какой интересный человек мой сын. Он вас встретит на пристани, я ему напишу.

К р а е в. С удовольствием познакомимся, Ангелина Францевна. Очень хорошо, что вы рассказали о сыне. Правда, Николай Николаевич?

О б р а з ц о в. У вас превосходный сын, Ангелина Францевна. А в каком городе этот завод?

Т а н н е н б а у м. В Сталинграде. Раньше этот город назывался Царицын. Очень красивый город.

К р а е в. Двадцать два года назад наши войска одержали там историческую победу.

Л о б о в и к о в *(не удержался)*. Все победы для тебя исторические!

К р а е в *(не хочет ссориться)*. Недаром же я историк, Игнат Петрович!

Л о б о в и к о в. Что же будет, когда ты в них сам начнешь участвовать?

К р а е в *(продолжает улыбаться)*. Вот в этом ты прав: солдат я буду или командир, но так или иначе участник. *(Серьезно.)* Не прав ты в другом. Ты старался уберечь Антошу от войны, а смерть подстерегала его здесь, рядом, от дурацкой случайности... Война для нас не роковая игра в жизнь и смерть, как думают некоторые западные фаталисты, а борьба за жизнь и во имя жизни... *(прислушивается к звонку, возмущающему о начале занятий)*, которая и сейчас, как вы слышите, требует своего... Пора на урок, товарищи!

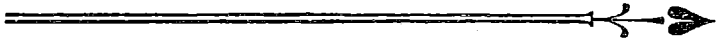
Все собираются уходить. Краев и Лобовиков подходят к Антоше.

К р а е в. Скорей поправляйся, Антоша. Тебе сейчас, как сказал Наполеон, не хватает лишь трех вещей, необходимых для полководца: здоровья, здоровья и здоровья!

А н т о ш а. Они у меня уже есть, Сергей Сергеевич! *(Порывается встать.)*

Краев ласково, но твердо укладывает его опять в постель и уходит вместе со всеми.

З а н а в е с



ЧЕТ-НЕЧЕТ

ДРАМАТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ В 3-х ДЕЙСТВИЯХ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

(по мере появления на сцене)

Виталий Буклевский, 24 года.
Алексей Козулин, 26 лет.
Анатолий (матрос с мандолиной), 25 лет.
Гриша, 25 лет.
Хмурый матрос, 40 лет.
Хозяин (финн), 55 лет.
Егорычев (господин в панаме), 45 лет.
Тетя Надя, 40 лет.
Тамара, 28 лет.
Песков Георгий Иванович, 35 лет.
Лариса Михайловна, 47 лет.
Анюта, 27 лет.
Мужчина с проседью, 50 лет.
Мужчина помельче, 42 года.
Илья Никанорыч, 45 лет.
Володя (офицант), 30 лет.
Зинаида, 23 года.
Лолла, 15 лет.
Матросы, посетители ресторана, лоточник, прохожие на бульваре.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Перед открытием занавеса на авансцену выходит актер, исполняющий роль Виталия Буклевского, и доверительно, но без интимности, как бы размышляя вслух, говорит зрителям:

— Этот спектакль предваряют два... даже, пожалуй, три эпиграфа... Один малоизвестный у нас

эмигрантский поэт вспоминает, как в 1921 году в Петрограде встретил на Николаевском мосту Александра Блока и торжественно показал ему в сторону Финского залива: из взбунтовавшегося Кронштадта доносилась артиллерийская канонада. «Слышите, стреляют!..» — автор воспоминаний откровенно надеялся на сочувствие Блока мятежникам. Но Блок сумрачно посмотрел на него и ответил строками из Тютчева:

В крови до пят, мы бьемся с мертвецами,
Воскресшими для новых похорон...

Объяснений не требовалось. Оба они знали, что к Кронштадту тянутся сочувствующие белые руки, что большевикам предстоит трудный, кровопролитный штурм вооруженной до зубов крепости, дабы навеки похоронить надежды всех старых хозяев России:

В крови до пят, мы бьемся с мертвецами,
Воскресшими для новых похорон...

Таков первый эпиграф. Второй принадлежит перу талантливого советского поэта, в какой-то момент испугавшегося нэпа, этой, как многим тогда казалось, безбрежно разлившейся буржуазной стихии, угрожающей захлестнуть, затопить революцию и социализм.

Как мне вырастить жизнь иную
Сквозь зазывы лавок,
Если рядышком вход в пивную
От меня направо?
Как я стану твоим поэтом,
Коммунизма племя,
Если крашено рыжим цветом,—
А не красным,—
время?..

Так писал Николай Асеев в поэме «Лирическое отступление».

Третий эпиграф предельно далек от лирики... (*Показывает на светящийся транспарант, где появляются одна за другой газетные строчки*):

«Наш лозунг: долой крикунов! Долой бессознательных пособников белогвардейщины, повторяющих ошибки несчастных кронштадтцев весны 1921 года! К деловой практической работе, умеющей понять своеобразие текущего момента и его задачи! Не фразы, а дело нам нужно».

Так писал Ленин в «Правде» в августе 1921 года. В спектакле нет персонажа, имя которого Ленин, нет вообще ни одного исторического лица. Вместе с тем мысли Ленина, мысли о Ленине неизбежно проходят сквозь душу каждого человека, жизнь которого мы пытаемся показать. В том числе и врагов... Ведь и у врагов есть внутренний мир, который мы условно называем душой,— иначе как бы нам иногда удавалось наших бывших врагов сделать в дальнейшем своими друзьями? Редко, но так бывало. Правда, случалось и наоборот...

З а т е м н е н и е

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Ночь. Под лучами шарящих там и тут прожекторов — синий мартовский лед. Позади отсвечивает полынья или проступившая сквозь наст наледь. Впереди, как верстовой столб, стоит торос, вздыбленный еще в ледостав осенними штормами. Он припорошен снегом, но местами обтаял,— прожектор пронизывает насквозь эти ледяные окошки. Слева от тороса Кронштадт, где время от времени взвываются сигнальные ракеты; справа финский берег, скорее угадываемый, чем видимый: едва мерцают редкие желтые огоньки. В стороне крепости слышится беспорядочная стрельба,— значит, там где-то еще воюют.

Мимо тороса, по рыхлому, проваливающемуся насту, низко пригибаясь (может, это стреляют им вслед), шарахаясь от прожекторного луча, бегут в направлении финского берега трое матросов. Один в бушлате, двое в шинелях, подоткнутых полами под ремень. Перед тем как исчезнуть, слиться с темнотой, все трое, как по команде, оглянулись на крепость, и лица их, искаженные страхом, растерянностью, пригвоздил луч. И вот уж их нет — рванулись во тьму. Также со стороны Кронштадта, приближаясь к торосу, матрос А л е к с е й К о з у л и н везет по бугристу льду груженые салазки. Ему тяжело, запыхался, бушлат распахнут. Остановился у тороса отдышаться, сбил бескозырку, вытирает пот. На санках тело, не то в простыне, не то в длинной белой

рубаше; живой или мертвый — не понять. Нагнали Козулина, поравнялись с ним еще двое; эти двое с винтовками и с заплечными мешками. Один, Гриша, выглядит совсем юнцом, он тоскливо молчит, на лице выражение покорности: прикажут стрелять, бежать вперед, назад, стоять, падать — на все готов. Другой, Анатолий, наоборот, полон желания утверждать себя, кричать, спорить, действовать.

Анатолий (кричит). Леш, да брось ты своего недобитка! Давай пристрелю!

Алексей (хмуро). Нельзя. Заложник. (Показывает на финский берег.) Там пригодится.

Анатолий (захохотал, хотя ему, как всем, не до смеха). Чудило! У чухонцев порядок: шлепнут большевичка — и все. В восемнадцатом знаешь сколько их постреляли? Леха, да он у тебя уже сдох... Глядишь, саван и пригодился!

Алексей (беспокойно ощупывает обмотанную бинтом голову раненого: ладони липнут, повязка промокла). Живой. Кровь течет.

Анатолий (еще хохотнул). Нет, видал идиота? Гришка, пошли!..

Едва они с Гришкой двинулись с места, в глубине пробежали прямо по наледи еще несколько морячков, но эти даже не взглянули, что делается у торося.

(Обернувшись к Алексею, остервенело орет.) Гнида благостная! Заранее из коммунистов подобрал дружка! Ну и катись с ним обратно! На радостях тебя сразу в партию примут! Если, конечно, впопыхах не пришьют обоих... Ну, кому говорю, поворачивай! (Выхватил из-за спины винтовку, приложился с маху.)

Алексей рывком втаскивает салазки за торося. Но Анатолий с Гришкой уже убежали. Оставшись один со своим живым грузом, Алексей оглядывается на крепость, точно взвешивая издевательский совет: может, правда лучше вернуться?..

Алексей (с ожесточением кричит вслед ушедшим товарищам). Да, дружок! Ну и что? Был дружок — стал

вражок!.. Пусть на льду остается? Ладно свои найдут, а если нет? Если нет? Пускай замерзает, да?.. Что мы, не люди?! (Сорвал голос. Да и совестно кричать: вдруг лежащий на санках слышит... Нагнулся к нему, тихо спрашивает.) Виталий, ты из Питера сюда или прямо из Москвы?

Раненый не отвечает.

(Громче.) Зинка моя к вам не являлась?

Раненый молчит.

Это я, Козулин Алексей... Витя, ты меня слышишь?

Молчание.

Сильнее подул ветер. В стороне Питера небо алеет, близок рассвет. Надо уходить, пока не застигли. Да и зябко: Алексей в одной форменке, бушлатом сейчас накрыл раненого.

Алексей выходит из-за тороса и, таща за собой салазки, бредет к правому берегу. Ветер от Кронштадта толкает его в спину, прохватывает до кишков, несет по ногам поземку.

З а т е м н е н и е

КАРТИНА ВТОРАЯ

Барак. Нары в два яруса тянутся во всю длину помещения. Застелено всего несколько парных коек, одна над другой. Барак не новый, но стены и нары недавно покрашены. Чисто. Пусто. В противоположном, торцовом конце барака окно, за ним зелень травы, кустов, деревьев: на дворе лето. На ближней койке лежит, закинув руки за голову, хмурый немолодой матрос. Как он, так и все почти, кого мы сейчас увидим в бараке, нервно взвинчены, легко переходят от вялости к бешенству, готовы перегрызть глотку — и снова апатия.

У окна притулился другой матрос — это Анатолий.

А н а т о л и й (поет и подыгрывает на мандолине; уныло, без темперамента. Впрочем, в конце каждого куплета пытается лихо взвизгивать).

Всероссийская коммуна
Разорила нас дотла.
Коммунистов диктатура
Нас до ручки довела...
Эх, эх, довела!
Нет ни спичек, керосину,
Все с лучинами сидять,
При коммуне большевицкой
Только карточки едят...
Эх, да карточки едят!

Х м у р ы й м а т р о с (лениво оборвал песенника).
Кончай, надоело.

А н а т о л и й (продолжая петь).

Вот прислали на деревню
Пять аршинов кумачу,
Все забрали коммунисты,
Ни вершка середняку...
Эх, да эх, середняку!

Х м у р ы й м а т р о с (сел на койке). Заткнись,
середняк!

А н а т о л и й (с вялой обидой). А тебе, значит,
середняку не жалко. Средняку ни вершка не дают,
а ты, значит...

Х м у р ы й м а т р о с. Хватит. (Снова ложится.)
Третий месяц не можешь репертуар обновить.

А н а т о л и й (выскочил в проход). Есть обновить!
(Поет, паясничая.)

Ливки, метана,
Метана, ворóг!..

Жалко, других финских слов не знаю... Нет, Семка,
подержи мои семечки, я ему в ухо дам: думай не думай, а
придется по хуторам подаваться.

Х м у р ы й м а т р о с (презрительно). Батрачить?

А н а т о л и й (мечтательно). Сала, может, по-
жрем!.. (Подожел ближе, понизил голос.) Слушай меня,
есть задумка: найти бабий хутор. Ясно? Без мужиков.
Два вдовьих хутора (широкий жест) — один тебе,
другой мне! Гришку чистенького в работники возьмем.

Х м у р ы й м а т р о с. Что дальше?

А н а т о л и й (возбужденно). Как что? Хозяевать
будем! Да ты понимаешь, что значит русский матрос для

финской вдовы... а то вековушки? Да это ж... (Слов не хватает, бьет себя в грудь.) Семка, поддержи мои семечки, я их всех!..

Хмурый матрос (холодно). Во-первых, тебе надо сначала отъесться... с картохи не очень-то. Ладно, допустим, найдешь такой хутор. Знаешь, чем кончится? Выпустят из тебя кишки чухонские парни, натянут на мандолину: «А ну, пляши!..»

Анатолий (озабоченно оглядел себя, инструмент). Считаешь? (Нерешительно.) Тогда... может, в Бразилию?

Собеседник откровенно хохочет.

А чего? В газете сулили по тридцать гектаров земли каждому переселенцу...

Тот залился еще звонче.

(Совсем сник. После паузы. Почти шепотом.) Неужто обратно проситься?..

Собеседник угрюмо молчит.

(Выждав еще немного, истерически кричит.) И вернусь! Пускай расстреливают! Ну не могу я здесь каждое утро за баландой стоять! Что я — нищий! Я матрос первой статьи Балтийского флота! Рабоче-крестьянский сын!..

Хмурый матрос (еще холоднее). Бывший матрос. Бывшей статьи. Нынешний сукин сын.

Анатолий. Ну, ты! (Замахивается мандолиной.)

В барак вваливаются матросы, человек десять. Большинство пообтрепалось, одни обросли бородами, другие многодневной щетиной. Можно узнать Алексея Козулина, он чисто выбрит, и Гришу: он все такой же беленький, чистенький, борода не растет. Матросы ввалились с шумом, гамом, у кого-то в руках газета, другие пытаются ее вырвать, тот не дает, вскочил на нары.

Матрос с газетой. Слухай, буду читать вслух!

Г о л о с а.

— Слухай сам! Есть пограмотнее...

— Гришка, залазь!

— Р-раз, взяли!

Беленький паренек, похожий на переодетую девочку, мигом оказывается на верхнем ярусе нар. Матрос неохотно отдает ему газету.

В бараке появился молодой человек в застиранной, залатанной гимнастерке. Это В и т а л и й Б у к л е в с к и й. Демонстративно никто на него не обращает внимания. Лишь Алексей подвинулся, чтобы тот мог сесть рядом с ним, но Виталий остался стоять между нарами.

Г р и ш а (*читает*). «Агония затянулась. От нашего ревельского корреспондента...»

Г о л о с а.

— Что за огония? Пожар, что ли?

— Ясно, пожар... Мировой революции!

— Пятый год слышим...

Г р и ш а (*объясняет*). Агония — это предсмертные минуты. Человек мучается, его перед смертью корчит. Читать?

Г о л о с а.

— Вали, вали!

— Крой, Гришка!

Г р и ш а (*спокойно читает*). «Агония затянулась... В марте весь цивилизованный мир был свидетелем конца большевистских попыток загнать коммунизм нагайками и штыками в сопротивляющиеся народные массы. Советский режим был вынужден отступить. Декретом о свободной торговле большевики подписали свой собственный приговор. Отныне для России открыт лишь один путь — путь капиталистического развития...»

В и т а л и й (*решительно*). Чушь!

А л е к с е й (*дернул его за край гимнастерки*).
Витя!..

В и т а л и й. Чушь и вранье!

Г р и ш а (*продолжает читать*). «В марте, на большевистском съезде, Ленин сказал: «Свобода торговли неминуемо приведет к белогвардейщине, к победе капитала, к полной реставрации...» Сказал — а уже меньше, чем через месяц, подписал декрет о свободе торговли...»

В и т а л и й (*гневно*). Клевета и ложь!

Г о л о с а.

— Тэ-эк! Гришка, кто это пишет? Что за газета?

— Какая тебе разница? Белогвардейская.

— Чувствуется...

— От какого числа?

Г р и ш а. Апрельская.

Г о л о с а. А сейчас июнь...

В и т а л и й (*убежденно*). Ни через месяц, ни через год Ленин не мог подписать такого декрета!

Шум. Голоса.

Г о л о с. Погоди! Говорил или не говорил Ленин, что свободы торговли не разрешит? (*Это первое, хотя и безличное, обращение к Виталию.*)

В и т а л и й (*с затруднением*). Я... не имею права разглашать то, о чем говорилось на съезде...

Шум, выкрики: «Ах, не имеешь! Все секреты у них, все секреты!»

(*Повысил голос.*) Но если белогвардейская газетенка разнюхала...

Шум, смех, гогот.

(*Пытается перекричать.*) Да, говорил! И я никогда не поверю брехне о том, что в нашей стране позволили наживаться частникам!

Г о л о с а.

— На что спорим?

— На ведро самогона!

— Откуда возьмешь?

— Будем дома, наварим...

— Где? На том свете?

Этот быстрый диалог идет только между матросами, Виталий снова выключен из беседы.

— Братва, идея! Пустим на тот свет на разведку советского барчука.

— А что? К Духонину его — и концы!

— Бей большевистского пономаря!!

К Виталию потянулись руки.

Алексей (*встав перед Виталием в проходе*). Спокойно, ребята, спокойно. У финнов мы на учете, по списку. Здесь с законом не шутят. А Буклевский?.. Нилешего он не знает, что сейчас в Москве и в деревне. Может, действительно Ленин мужикам навстречу пошел...

Вбегает Анатолий, перед этим исчезавший из барака.

Анатолий (*кричит*). Братва, получать паек! Американский красный крест отбывает! Выдают вперед на неделю!

Суматошно толкаясь, все повалили к выходу. В бараке остались только Виталий и Алексей.

Алексей. Не обижайся, Витя! Я же нарочно... Видел, как они на тебя? А ты и твоя семья меня человеком сделали, научили думать...

Виталий. Научили! Думаешь ты вверх ногами!

Алексей. Ну зачем так?..

Виталий. Хорошо. Оставим. Надо решать день и час. Больше я здесь не могу! Когда я вижу и слышу этих твоих...

Оба обернулись на шум. В барак возвращаются Анатолий и Гриша.

Анатолий. А для вас что — особое приглашение требуется? Брезгуете со всеми питание получать?

Алексей и Виталий молча направляются к выходу.

(*Кричит.*) Стой!

Они обернулись.

(*С хохотом валится на нары.*) Ой, не могу, все поверили! Чесанули очередь занимать! (*Вскочил, напряженный злобой.*) Да американцы уж задали лататы со своим провиантом! Посуду и ту увезли! Подыхай, русская матросня, рваная кронштадтская вольница! На кой

мы теперь господам буржуям, когда Кронштадт в очко проиграли! (*Вплотную приблизясь к Алексею и Виталию.*) Может, и мы — соберем манатки и ходу?

Алексей (*переглянувшись с Виталием*). Куда? Ты о чем?

Анатолий. Туда. О том самом. Гришка, подтверди. Сядем, господа дипломаты? (*Сел.*)

Виталий и Алексей неохотно садятся напротив.

Гриша (*пунктуально, как всегда*). Мы знаем, что вы собираетесь на родину. Мы тоже решили вернуться. Мы знаем, что у вас разные взгляды, разные причины для возвращения... (*Помедлив.*) У нас тоже.

Анатолий. Знаете, о чем это божье дитя мечтает? Ему мало церковно-приходской школы, подай ему университет!

Гриша (*невольно поправил*). Университет...

Анатолий (*сверкнув глазами*). А я говорю — университет! Повтори!

Гриша (*покорно*). Университет.

Анатолий (*успокоился*). Значит, так. Был наш Гришук до мобилизации волостным писарем... хотя и из голытьбы. (*Со значением поднял палец.*) Как папаша расстарался устроить? Должно, батрачил у волостного старшины или какого из богатеев лет пяток... (*Внимательно смотрит на Гришу.*) Словом, писарил, писарил Гришуня, пока его, раба божьего, не мобилизовали. (*Опять пристальный взгляд на Гришу.*) Служит Гриша царю, служит как ценный минный специалист республике, а у самого одна думка: кончится военное время — пойду... Куда, Гриша?

Гриша. В университет.

Анатолий. Верно! А тут кронштадтская заваруха! Гришуню заносит: демократия, лозунги! Полез на трибуну, орет: «Советы без коммунистов!»

Гриша (*потеряв невозмутимость*). Ничего я не орал!

Анатолий. Не орал — с удовольствием слушал. Небось с коммунистами не остался... побежал с нами по льду, как заяц!

Виталий. Хватит! Что вам нужно в Советской России? С мятежами не вышло и не выйдет!

Анатолий (*угрюмо*). Мятежи мне нужны, как

собаке штопор. Здесь оставаться не хочу... не знаю чухонского языка. И вообще, здесь надо работать...

В и т а л и й. А там?

А н а т о л и й (*усмехнулся*). Первое время в тюрьме прокормят... А там будет видно. Полагаю, горбатиться не придется. Времечко наступает веселое.

В и т а л и й (*искренне поражен*). Веселое? Ну, знаете ли!.. (*Овладел собой.*) Идите куда хотите... я в таких спутниках не нуждаюсь.

А н а т о л и й. Зато я нуждаюсь. У вас и личико, глядишь, господское. На кого ни наскочим — интеллигентно поговорите... по-английски там, по-немецки. Мы же финнам не скажем, что вы большевик!.. Так ли, сяк ли, мы с Гришуткой от вас не отстанем. А то хотите — напустим на вас братву. До смерти, может, не забьют, а шкуру спустят.

А л е к с е й. Да ты что? В чем это мы провинились?

А н а т о л и й (*жест*). Леша, завяжи для памяти на языке узелок: в ночь выходим.

Они с Гришей вышли из барака.

В и т а л и й. Понял ты наконец, в какое положение меня поставил? Упрекать тебя не могу — благодаря тебе я жив... но ты представляешь наше совместное возвращение домой? Волк, овца и капуста.

А л е к с е й (*улыбнулся*). Понимаю! Анатолий — волк, я — овца... заблудшая, это ясно... Гришка — капуста... А ты — человек!

В и т а л и й. Что-то ты очень развеселился.

А л е к с е й. Витя! Да ведь мы скоро дома будем! Меня Зинка ждет, тебя родители... Как здоровье-то Ларисы Михайловны?

В и т а л и й. Зимой плоховато было.

А л е к с е й. Оголодала. Ничего, теперь полегчает. Витя, а ты не женился? На той красивой, темноволосой?

В и т а л и й (*не сразу*). Да, Тамара живет у нас... (*Еще помолчал.*) Могу ли считать ее женой? (*С откровенной грустью.*) Не знаю, Алеша. Ее первый муж убит еще на германской, и она ненавидит за это весь мир! Меня, правда, терпит...

А л е к с е й (*в замешательстве*). Витя, ты, может... преувеличиваешь? Прежнего она любила так, а тебя по-другому... потому что ты другой... (*С горячностью.*) Не смейся! Я читал в одной книжке, что женщины

иногда любят мужчину по-матерински... особенно если она старше...

В и т а л и й. Слушай, мудрец! У меня есть мать, которая любит меня по-матерински. Есть сестра... она любит по-сестрински. Обеих я очень люблю. Уже за одно то, что они существуют... А Тамара... Тамары для меня почти нет. Я могу только строить иллюзии. И я строю. И за это считаю себя дураком.

А л е к с е й (*после паузы, робко*). А как, по-твоему, у нас с Зиной?

В и т а л и й. Это тебе лучше знать.

А л е к с е й. Третий год на флоте...

В и т а л и й. Брось! Зина серьезная, деловая, ей не до шашней. Кстати, хозяйничает она наверняка лучше тебя. Ты же был фантазер, землю пахал по учебникам.

А л е к с е й (*с увлечением*). В том-то и дело, Витя! В новых условиях мы с ней, знаешь!..

В и т а л и й. Заговорила кулацкая жилка! Что ж, прямая дорога от кулацкого мятежа. (*Пошел к выходу.*)

А л е к с е й. Слушай, Витя, не рано ли меня в кулачье зачисляешь?

В и т а л и й. Рано? Если так понимать новые условия, то самое время. А коммунизм подождет.

А л е к с е й. Ты не смейся! Врангелей отогнали — неужели в деревне без перемен? Мужик же не враг... (*Не давая Виталию перебить.*) Назначь мне испытательный срок — год, два, пять лет... Увидишь, полезен я или вреден... (*Азартно.*) Нет: ты назначь, назначь! И может, без нас назначили...

В и т а л и й. Хорошо. Подумай лучше, как сегодня ночью обойтись без попутчиков. (*Ушел.*)

Алексей сидит; видно, что мысли его о доме: перегнулся через подоконник, сорвал травы, растер, понюхал. В барак, оглядываясь, входит Гриша а. Подбежал к Алексею.

Г р и ш а (*быстрым шепотом*). Не оставляйте меня с ним... возьмите меня с собой! Я боюсь его!

А л е к с е й. Кого, дурашка?

Г р и ш а. Он страшный, мстительный... меня от себя ни на шаг... Думаете, почему меня в старое время в волостные писари приняли? Его отец, богатый мельник, меня определил. С условием: когда станут сына на войну призывать, чтобы я за него пошел... У нас большая

семья, мельник обещал подкармливать... А потом сын все прятался, только недавно мобилизовали. И вот судьба: попал на тот же корабль. Возьмите меня с собой... без него!

А л е к с е й. Да что ты его, шута горохового, боишься? Что он тебе может?

А н а т о л и й (*появился в дверях, поет, подыгрывая на мандолине*).

Мы помещиков прогнали,
Ждали волюшки, земли,
Николашек поскидали,
Коммунистов обрели!
Эх, эх, обрели!..

Ну как, братки, собираемся в путь-дорогу?

З а т е м н е н и е

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Финский сарай. Стена, сложенная из дикого камня. Черепичная крыша. Все основательно — и нарядно, особенно на закате. Цветет шиповник. Опершись на полированную сучковатую палку с рукояткой в виде массивной бульдожьей головы, Хозяин хутора, пожилой, еще крепкий финн, беседует с «гостями». В и т а л и й и А л е к с е й сидят на скамейке перед сараем.

В и т а л и й. Откуда вы так хорошо знаете русский язык?

Х о з я и н (*медленно, но почти без акцента*). Здесь много русских. Раньше приезжали летом из Петербурга, теперь живут и зимой. Ждут, когда там (*показал на юг*) не будет большевиков. Год, два, три... (*считает на пальцах*.) Да, скоро четыре года играют в бридж. Бридж — по-русски мост. По этому мосту они идут, все идут: вечером бридж, ночью бридж, днем бридж... Никак не дойти домой! (*Смеется, покачиваясь на палке*.)

В и т а л и й. Здесь эмигранты из Петрограда или есть москвичи?

Х о з я и н (*вспоминает*). Москвич? Да... господин Егоров, Егорьев... как-то так. (*Показывает рукой на забор*.) Мой сосед. Была в Москве фабрика духов, пудры. Была. Здесь проиграл.

В и т а л и й. Проиграл московскую фабрику? Но фабрики и заводы у нас национализированы, принадлежат государству.

Х о з я и н. Так считаете вы. Он считает не так. Все равно проиграл. Может, отыграется и вернет. (*Смеется.*) Вы тоже долго играли.

В и т а л и й (*удивлен*). Мы?

Х о з я и н (*неопределенный жест*). Ну, я не знаю. Может, не вы. Другая, большая игра. Называется — революция. Перебор... недобор... (*Сдаёт воображаемые карты.*) Чёт... нечёт... Пас! Нынче Ленин решил: хватит играть, пора делать дело.

В и т а л и й (*насторожился*). Что вы имеете в виду?

Х о з я и н. Политику. Хозяйство. Торговлю. О, Ленин умный, серьезный господин! Вожжи в крепких руках. (*Показывает.*) Р-р-р! Повернул. Все слушаются. Вожжи держит настоящий хозяин.

А л е к с е й (*горячо*). Я с вами согласен! Я говорю: Ленин пошел навстречу крестьянам! Я в это верю!

Г о л о с. Ливки, метана, метана, ворóг!..

С этими словами на пороге сарая появляется заспанный А н а т о л и й. За ним виден Г р и ш а.

А н а т о л и й. Э, да тут клуб! Разрешите присутствовать!

Молчание. Хозяин внимательно оглядел ту и другую пару. Видно, сделал сравнение не в пользу второй. Распрямился, опираясь на палку.

Х о з я и н (*сухо*). Не показывайтесь с хутора никуда. Увидят русские дачники, скажут полиции. Завтра вечером уходите. В лес. Дам с собой хлеб, картофель. Уйдете — не возвращайтесь. Задержит пограничная стража — молчите, где ночевали. Я вас не видел, не знаю. Хлѐб украли, купили... Спокойной ночи. В сарае прошу не курить. (*Ушел.*)

А н а т о л и й (*после молчания*). Чухонская жадина! «Хлеба, картошки дам!» Сала охота! Эх, Семка, поддержи мои семечки — будет сало! (*Уходит вместе с Гришей в сарай.*)

В и т а л и й (*с ненавистью*). Видеть его не могу!

А л е к с е й. Пошли, Витя, спать, пока не ободняло...

Затемнение

Еще в темноте слышен пронзительный вопль. Затем видим тот же сарай ранним утром (солнце освещает его с другой стороны). Никого нет. Крики, рыдания продолжаютя. Из сарая выскакивают В и т а л и й и А л е к с е й. Неторопливо вылезает, почесываясь, А н а т о л и й. Из-за угла появляется Х о з я и н, волоча за одну ногу Г р и ш у. Всегда чистенький, беленький, Гриша сейчас в таком виде, что его трудно узнать. Лицо в крови. У Хозяина в руках трость, которой он, очевидно, дубасил Гришу. Возможно, бил и ногами: все еще не может стоять спокойно — топчет, как лошадь.

В и т а л и й. Что произошло? Что он вам сделал? Х о з я и н (осатаневший от злобы). Он... украл... сало!

А л е к с е й. Гришка? Не может быть!..

Хозяин с отвращением отпустил Гришину ногу; тот лежит на траве, не открывая глаз, тихо постанывая.

Х о з я и н. Я застал его в моем погребе! Вон! Все вон из моего дома! (Топает ногами.) Вон!!

А л е к с е й (рассудительно). Хозяин, давайте разберемся по порядку. Ну, вошли в погреб, и что? В его руках было сало?

Х о з я и н (с акцентом). Та, в его поканных руках мое чистое сало! (Задыхаясь.) Вот такой... (показывает)... такой прус!

А л е к с е й. Гришка, это правда?

Тот чуть заметно качнул головой.

Должно быть, ты с голодухи совсем очумел, перестал соображать — что свое, что чужое...

Х о з я и н. Свое! У него не было никогда своего! Голотранец!

А л е к с е й (сурово). Сейчас же встань и проси прощения!

Гриша лежа дергается.

В и т а л и й (Хозяину). Вы его изувечили! Где это

проклятое сало? Вчера мы говорили с вами, как с человеком!

Х о з я и н. Я тоже тумал, что пустил к сепе в том честных лютей!..

А л е к с е й (*нетерпеливо*). Ладно... Идти так идти!

В и т а л и й. Смотри, он же не может встать!

Гриша корчится на земле.

У него что-то повреждено в спине...

А л е к с е й. Уведем. (*Анатолию.*) Бери его с левого бока. Подлец! Это ты его подучил! Ты заставил!..

А н а т о л и й. Я же для всех... На дорожку!

На дворе появляется в летнем чесучевом костюме немолодой господин в белой панаме. Сделав ручкой привет Хозяину, безошибочно направляется прямо к Виталию.

Г о с п о д и н в п а н а м е. Приятно видеть соотечественника, благополучно вырвавшегося из большевистского ада. Будем знакомы. (*Приподняв панаму.*) Егорычев. Василий Васильевич. (*Протягивает Виталию руку.*)

В и т а л и й (*холодно*). Вы ошиблись. Я направляюсь как раз в большевистский ад. (*Не обращает внимания на знаки Алексея.*)

Е г о р ы ч е в (*отдернул руку*). Ах так?.. Значит, вы большевистский эмиссар! Вы приезжали сюда с тайной целью!

В и т а л и й (*насмешливо*). Считайте, что угадали... Что дальше?

Е г о р ы ч е в (*поразмыслив*). Впрочем, я вне политики... (*Еще подумал.*) Вы в курсе дела и, как образованный, интеллигентный человек, не откажете мне в одной консультации. Кстати, вы не юрист?

В и т а л и й (*слушал с некоторым интересом*). Нет.

Е г о р ы ч е в. Впрочем, это не имеет значения... (*Бросил косой взгляд на остальных.*) Как вы знаете, в советских газетах опубликован декрет, по которому фабрично-заводское предприятие может быть при известных условиях возвращено прежнему владельцу. В связи с этим меня интересует вопрос...

В и т а л и й (*весь как пружина*). Вы читали такой декрет?

Егорычев. Я сам не читал, но мне говорили...

Виталий (*помолчав*). Предположим. Что вас интересует?

Егорычев. Меня интересует, имеются ли также в виду те владельцы, которые в данный момент... по стечению обстоятельств... не имеют чести проживать в пределах России...

Виталий. И вы не прочь оказать ей честь и вернуться, чтобы получить вашу фабрику обратно. Я верно вас понял? (*В упор смотрит на Егорычева.*) Но вы же проиграли ее в карты?

Егорычев (*сразу вспотел и отшатнулся*). Милостивый государь, откуда вы взяли? Во-первых, это гнусная сплетня! Во-вторых, мой партнер настолько морально чистый, интеллигентный человек, что не позволит себе претендовать... Наконец, кто помешает нам с ним стать компаньонами? Тем более что запасы товаров, сырья укрыты в надежном месте, которое известно лишь мне и моему доверенному лицу в Москве, не менее, если еще не более, морально чистому и интеллигентному... (*Сообразив, что наболтал лишнего.*) Впрочем, честь имею! (*Приложив два пальца к панаме, уходит. Заметил по пути к калитке увечного Гришу, с которым возится Алексей, брезгливо спрашивает Хозяина.*) Что это? Кто эти люди?

Хозяин (*неохотно*). Упал с сеновала. (*Когда Егорычев удалился, он быстро и повелительно обращается к Виталию.*) Через полчаса он приведет жандармов. Скорей отсюда! (*Опять правильно говорит по-русски.*) Иначе!..

Виталий (*спокойно*). Вы немедленно запряжете лошадь и довезете нас до границы.

Хозяин молчит.

Алексей. Но как же?

Виталий. Идите и запрягайте.

Хозяин уходит.

Алексей. Ты ему веришь?

Виталий. Во всяком случае, больше, чем ему. (*Кивнул на присмирившего Анатолия.*) Тоже возьмем с собой. Пусть наша власть решает, что с ним делать. (*После паузы.*) Что нас там ждет? Знаю одно: можно

сломать человека, но сломать революцию!.. (Замолк, невольно взглянув на Гришу.)

А л е к с е й (озабоченно.) О чем разговор! Нам бы только домой добраться... (Нагнулся к Грише.) Сейчас мы тебя на телегу... подстелем сенца помягче... А, Гришуня?

Гриша тоскливо глядит в небо.

З а н а в е с

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Еще в темноте слышен стук. Настоячивый, громкий. Смолк. В ответ — тишина. Чиркнула спичка. Зажегся огарок свечи. Осветилась лестничная площадка. На ней двое — мужчина и женщина. В и т а л и й все в той же заношенной гимнастерке, и с ним средних лет женщина, в сапогах, в куртке железнодорожного кондуктора, по-теперешнему — проводница, — т е т я Н а д я. У ног их лежит узелок и маленький чемоданчик, какой берут с собой в путь железнодорожные машинисты и кондуктора.

В и т а л и й. Не достучаться... Пойдем, тетя Надя. Я посижу до утра на бульваре... а у тебя, сказала, дела.

Т е т я Н а д я. Дела-то дела... Хотела всех повидать... Нет, пойду. Стучи... кто-нибудь услышит. Вот тебе узел. Отдашь им... тут кое-какие продукты. Ну, повезло тебе, Витек! Не встретил бы меня на вокзале, сидел бы еще в Петрограде неделю... две. Видал, что в поезде делается? Обрыдло — вот до сих пор! (Показывает на горло.) Езжу, дерусь, матерюсь, спекулирую... Думаешь, для себя?

В и т а л и й (не очень внимателен, думает о своем). Я знаю. Для младших братишек.

Т е т я Н а д я. То-то и есть. Ухожу, Витя, с железяги!

В и т а л и й. Куда, тетя Надя?

Т е т я Н а д я (аккуратно свернув козью ножку). Замуж.

В и т а л и й (удивлен). За кого?

Т е т я Н а д я. За одного вдовца.

В и т а л и й. По любви?

Т е т я Н а д я (о́т смеха рассыпала табак). Да ну тебя! Ребятам в школу пора, а в том селе школа. (Мечтательно.) Может, сама в учительницы поступлю... Правда, не только французский — нормальный русский забыла... Э!.. (Махнула рукой, высморкалась в какую-то грязную тряпицу вместо платка.) У тебя и своих забот два вагона!

В и т а л и й. Подожди, а он кто — учитель?

Т е т я Н а д я (смеется). Он-то? Увидишь! Это, брат, тип... Появятся новые классики — опишут!.. Попробуем еще, поступим.

Стучат. Прислушиваются.

Ладно, может, вечером забегу. Лару, Анютку целуй... Два месяца их не видала... Бери огарок. Поставишь за упокой, коли сдохну от грозного мужа!.. (С чемоданчиком в руке сбегает по лестнице. Снизу кричит.) Помнишь, как вчера тебя под скамейку от ревизора пихала? Хорош бы ты, зайчик, был!.. Проезд-то теперь небось платный: либо билет, либо барашка в бумажке!

Хлопнула дверь внизу. Виталий покачал головой, усмехнулся, задул свечу. Начинает опять стучать в квартиру. В темноте продолжается настойчивый громкий стук. Из темного коридора, с коптилкой в руке, появляется женская фигура. Осветилась прихожая, принадлежавшая когда-то московской семье среднего достатка. Теперь квартира, по-видимому, уплотнена, обветшала, передняя захламлена: сундуки, баулы, корзины, велосипед, старые прорванные картины, диван со сломанной ножкой, под ним и рядом с ним — сэкономленные за зиму короткие дровишки для «буржуйки». Молодая женщина в легком халате пересекла прихожую и, подойдя к входной двери, сердито, охрипшим со сна голосом спрашивает: «Кто там?» В ответ — радостно-возбужденный голос: «Тамара, открой!! Это я!..» Тамара отпирает замки, отодвигает щеколды, на пороге появился В и т а л и й.

Т а м а р а. Почему ты стучал? Звонок действует.

В и т а л и й (ошеломленный таким вопросом). Разве? Батарейка же давно выдохлась...

Т а м а р а (выходит на площадку и нажимает кнопку).

Звонок звонит.

Как видишь. (Вернулась, закрывает дверь на запоры.) Жилец принес новую.

В и т а л и й (невольно продолжая нелепый разговор). Где ж он достал?

Т а м а р а (пожала плечами). Должно быть, купил... или украл.

В и т а л и й (наконец-то ужаснулся). О чем мы говорим?! Боже, какой я болван!.. (Отшвырнув узел, порывисто обнимает Тамару.)

Т а м а р а. Осторожно! (Ставит копилку на подзеркальник и тут же ее гасит.)

В прихожей уже светло от окна — утро. В свою очередь, сдержанно обнимает и целует Виталия. Некоторое время стоят обнявшись.

(Отстранилась.) Но что, собственно, произошло? Где ты был эти три месяца? В госпитале? Почему не писал?

В и т а л и й. Все, все расскажу, Тамаринька! Сначала скажи, что дома? Как мама? Анюта?

Т а м а р а. Они здоровы. Разбудить?

В и т а л и й. Нет, погоди... не надо... Пойдем к тебе... или ко мне? (Со слабой улыбкой.) Я не вшивый! В Петрограде прошел санпропускник. (Без перехода.) А ты без меня замуж не вышла?

Т а м а р а. Замуж? С каких пор такие старомодные понятия? Нет, Витя, у меня не убрано, не проветрено... А в твоей комнате... знаю, ты огорчишься... поселился новый жилец. Нас опять уплотнили...

В и т а л и й (снова заставил себя улыбнуться). Это он и принес батарейку?

Т а м а р а. Представь, оказался такой хозяйственный.

В и т а л и й. Хорошо, посидим здесь... ты мне еще расскажешь... (Привлекая к себе Тамару, садится на диван.)

Т а м а р а. Осторожно, рассыплется! Что тебе еще рассказать? Удалось устроить Ларису Михайловну ак-

компаниатором в кинематограф. Она получает теперь служащую карточку.

В и т а л и й (*оживился*). Это хорошо. Все-таки отвлечется немного... Устает, наверно?

Т а м а р а. Нет, ничего. (*Смеется*.) На первых порах выдержала конфликт с хозяином. Играла Скрябина, Метнера... Представляешь комическую или бандитский боевик под скрябинскую сонату? Пришлось спешно разучить с десятков вальсов и «Бурю на Волге»... А когда стали показывать «Кабинет доктора Калигари», хозяин сказал: «Пожалуй, тут подойдет этот ваш... как его...» — и поскреб грязными ногтями по стенке. Понятливый, шельма!

В и т а л и й. Непонятно только, почему называешь хозяином.

Т а м а р а. А как? Частный кинематограф «Теремок». Фойе в русском стиле. Билетерши в кокошниках... Хотел и Ларису Михайловну обрядить... едва отбилась.

В и т а л и й. М-да... (*После паузы*). Анята служит все там же?

Т а м а р а. Подымай выше. Этот ее бывший грузчик уже директор треста. И ее взял с собой. Еще бы: влюблена, исполнительна, грамотность ему повышает.

В и т а л и й (*грустно*). Ты все так же их презираешь. И Анюту и маму.

Т а м а р а (*с искренним удивлением*). За что? Уверяю тебя, мы прекрасно ладим. Правда, мы мало видимся: прихожу поздно...

В и т а л и й. Поздно? Из детского сада, где работаешь фребеличкой?

Т а м а р а (*расхохоталась*). Хороши детишки! Этот садик называется «Не соскучишься»! Кстати, недурное кабаре.

В и т а л и й. Что? Какое еще кабаре? Что ты там делаешь?

Т а м а р а (*приосанясь*). Пою.

В и т а л и й. Подпольный кабак... Но тебя же могут привлечь?

Т а м а р а. Кто привлечет? Почему подпольный?туда ходят даже ответработники... А знаешь, как получилось? Мы зашли туда со знакомым... немножко выпили, сделалось хорошее настроение — и я вдруг запела! Сначала тихонько, низким таким грудным голосом... помнишь, пела на студенческих вечеринках? Кругом шум, черт в ступе, друг друга не слышат! Я громче, смелее —

стали прислушиваться. Кончила петь — аплодисменты! Я не растерялась — встала, раскланялась. Кричат: «Бис!» Бисировать я не стала... расплатились, собираемся уходить, и тут нас попросили к хозяину... Честно скажу, струхнула! Весь хмель выветрился. Думаю, вызвал милицию... Или, в лучшем случае, нотацію прочитает. Георгий Иванович меня успокаивает... входим в заднюю комнату, там приличный такой гражданин, в хорошем костюме... Приложился к ручке, усадил в кресло. Первым долгом вручает обратно три миллиона. Те, что Георгий Иванович уплатил за пропой души... (*На секунду замолкла.*) За пропой? (*Засмеялась.*) Я не каламбурую, это случайно... Возвращает три миллиона, но уже не Георгию Ивановичу, а мне: «Первый ваш гонорар!» Короче, пою теперь там каждый вечер. Возвращаюсь ночью, днем отсыпаюсь, как кошка. Пыталась однажды затащить твоих, угостить... Какое! Лариса Михайловна верно что устает, а Анюта... Она и в начальника-то своего влюблена платонически, по-стародевичьи... Твой характер! (*Хочочет.*)

В прихожей появляется мужчина, в накинутой на плечи поддевке вместо халата, высокий, лет тридцати пяти — П е с к о в. Делает вид, что зевает, зевает так, что рта не закрыть. Крестит рот.

П е с к о в. О хосподи! Владыко милосливой! Ктой-то туточки расшумелся? Смех, визготня... баловство, поди?

Т а м а р а. Георгий Иванович, знакомьтесь: Виталий Павлович Буклевский. Сын Ларисы Михайловны... тот, который... (*Не договорила.*)

Виталий встает. Мужчина протягивет ему дощечкой руку, обтерев ее о поддевку.

П е с к о в. Очинно приятно. Песков. Не обессудьте... руки потеют сызмала. Лечил, присыпал, мазал — ни боже мой: мокрые, как лягухи. Поверите, самому противно, а каково другим? (*Внимательно смотрит на Виталия — какое произвел впечатление.*) Но случилось и не без пользы. Как сейчас помню, иду это я по базару... еще в царское время... остановился, чтобы вольнее чихнуть, оперся рукой о прилавок... после дальше пошел. Чувствую, чевой-то к ладошке прилипло. Поглядел —

мать честная, полтинник! Ай да я, думаю! Сами липнут к рукам деньги-то... Вот так бы всю жисть! (*Опять внимательно смотрит.*)

Т а м а р а. Георгий Иванович, Виталий устал. Не в духе. Ему не до шуток.

П е с к о в. Молодой, а не в духе! (*Покачал головой.*) Нельзя, Виталий Павлович, никак нельзя! Коли вылупился человек на свет — надо веселей глядеть! Я сюда как переехал? Смех и грех! Вот Тамара Владимировна не даст соврать. Серей серого показал себя в первый день... Волосы намаслил, расчесал их на обе стороны — à la приказчик из лабаза! «Обнаковенно», «чаво», «вопче», «пушай» — других и слов нет. Серьезно, нет... Хотел перед тем Островского перечитать... не успел...

В и т а л и й (*с нескрываемым отвращением*). Для чего вы ломали эту комедию? Вас же легко разоблачить...

П е с к о в. Да за-ради бога! Таких, как я, нынче пруд пруди. Но, каюсь, перебор получился. Цель-то благая... хотел кем попроще, чтоб не придирались в домкоме. Скажем, такая типичная биография: мальчик в лавке на побегушках... не успел выйти в люди... война, фронт... не до культуры. Но пережал, сознаюсь. Почти как мой бывший хозяин и компаньон: опростел, обеднел, заплаты нашил на перед и на зад. А большевики распознали — и чикнули!

В и т а л и й (*пытливо*). При вас расстреливали?

П е с к о в (*сдержанно*). Люди рассказывают. А кто говорит — сиганул за границу. Дело темное.

В и т а л и й. Кто же ваш компаньон?

П е с к о в. Мелочь. Так. Парфюмерщик. Я у него и за технолога и за мастера, и в пай вошел на свою голову...

В и т а л и й (*больше из вежливости*). Учились в Москве?

П е с к о в. В Петрограде. Ах, юность, юность! На Казанской площади с казаками дрался... Доцента Тарле, который у них в Психоневрологическом (*кивнул на Тамару*) историю читал... телом своим прикрыл от казацкой нагайки... Есть что вспомнить, Виталий Павлович! А докатился до буржуйского компаньона, мать его задери до подмышек! (*Тамаре.*) Пардон! (*Виталию.*) Принципиальности не хватило...

Т а м а р а. Говорите вы много, Георгий Иванович. Слишком много для такого раннего часа... (*Непритвор-*

но зевнула.) Пойду досыпать. (*Виталию.*) Знаешь, я разбуджу Ларису Михайловну и Анюту. Что их лишать радостной встречи... А вы еще потолкуйте, пока встанут. Политику обсудите... мужчины это обожают... (*Ушла.*)

Песков (*другим тоном*). Коммунист?

Виталий (*так же серьезно*). Ка-эр?

Песков. Не упрощайте. Может, такие, как я, сейчас самый нужный для Советского государства элемент. Нужнее, чем вы... не обижайтесь. (*Помолчав.*) Из госпиталя? Вполне в курсе современных событий?

Виталий (*сумрачно*). Из Финляндии.

Песков не скрыл удивления.

Так получилось. (*Отрывисто.*) За пять дней в Петрограде немного прозрел.

Песков. В Москве прозреете больше. Город первопрестольный, передовой... (*Прислушиваясь.*) Ну, сейчас вам будет не до меня. Ретируюсь. Днем еще увидимся. А вечером — есть одна светлая идея. (*Уходит.*)

В прихожую распахивается дверь из комнат, куда ушла Тамара. Вбегают наспех одетые пожилая дама и девушка.

Лариса Михайловна. Витюша! (*Приникает к сыну.*)

З а т е м н е н и е

КАРТИНА ПЯТАЯ

Кафе, кабачок, рестораник — заведение это можно назвать как угодно. Оно находится в одном из уголков старой Москвы, где сквозь неплотно закрытые окна можно увидеть еще не прибранный, не подстриженный, но уже многолюдный, с лоточниками, с табачным киоском вечерний бульвар.

Внутри зала над окнами протянут аншлаг: «У нас не соскучишься». На столиках флажки с надписями, — издали их прочесть трудно, о них речь впереди. Шум голосов и смех, позвякивают вилки, ножи, бокалы.

В зал входят трое мужчин. Подошли к ближайшему от нас столику. Подлетает официант.

Официант (именуемый в дальнейшем Володей; почтительно изогнувшись). Виноват-с, этот столик занят-с! Благоволите вот здесь... или здесь... А вот тут еще приятнее-с. Цветы, пальма-с. (Явно стилизуется под минувший век.) Приоткроете штору — вид на бульвар, как в Париже-с...

Компания расположилась за рекомендованным столиком.

Мужчина с проседью (поглядывая на соседний стол). Любопытно, кто ж это его заарендовал?

Мужчина помельче (подмигнул официанту). А вот Володя нам скажет!

Володя (все так же почтительно, улыбаясь). Никак нет-с. Профессиональная тайна-с.

Мужчина с проседью. Молодец, так и надо отвечать. (Надел золотые очки, проглядывает меню.) Принеси-ка ты нам на первых порах икорки. Икорка у нас сегодня удобоедомая?

Володя. Первейший сорт! Самая что ни на есть (оглянувшись) старорезимная... Только свежее-с! (Позволил себе пошутить.) Поскольку старый режим... виноват... протух-с!

Третий мужчина (в дальнейшем Илья Никанорыч; нетерпеливо). Мечи икру! (Сделал энергичный жест.) Растворись!

Официант «растворился». Мужчина с проседью и мужчина помельче переглянулись. Один чуть пожал плечами, другой возвел очи горé. Мол, что поделаешь... воспитанием не блещет, но... он нам нужнее, чем мы ему...

Мужчина с проседью. Ну что ж, уважаемый Илья Никанорыч, пока то да се, поговорим о делах?

Илья Никанорыч (неохотно). Можно. (Вынул из жилетного кармана часы.) Пока я даму жду.

Мужчина помельче (подхватывает). И как раз успеем!.. (Откашлялся.) Илья Никанорыч, вам, конечно, известно: под Самарой люди сейчас, некоторым образом, голодают... Стихия!

Илья Никанорыч (*презрительно фыркнул*). «Некоторым образом!» Мрут, как мухи! Так что?

Мужчина помельче (*понижил голос*). Идея такая: податься в заволжские деревеньки, пока они еще не все вымерли...

Илья Никанорыч. За каким дьяволом? По сыпняку соскучились?

Мужчина помельче (*развел руками*). Риск есть риск, Илья Никанорыч. Зато дельце беспроигрышное. За мешок сухарей или отрубей пополам с мякиной отдадут все, что за три года наменяли у горожан...

Мужчина с проседью (*солидно подтвердил*). Здравая мысль. И с размахом. Конечно, мебель и граммофоны нам не нужны, но что касается мануфактуры...

Мужчина помельче. Тыщи аршин зачалим, Илья Никанорыч! Верьте чутью! (*Замолк, увидев входящую в зал группу гостей*).

Мужчина с проседью (*тоже заинтригован*). Вот, значит, для кого столик! Для интересной нашей певицы с гостями!..

Через зал идут Тамара, Анюта, Лариса Михайловна, Песков и Виталий. Вид у Ларисы Михайловны и Анюты смущенный, даже испуганный; одеты скромно, но прилично, как одеваются рядовые совслужащие, посещая, скажем, театр. Тамара в длинном декольтированном платье, как и положено для эстрады. Виталий в старой студенческой тужурке, которая ему тесновата. Песков в полувоенном костюме: френч, галифе. Все рассаживаются за приготовленный для них столик. Песков и Володя придвигают дамам стулья. Володя привычно нагнулся к Пескову, ожидая распоряжений.

Песков (*полушутя его оттолкнул*). Не по адресу... сегодня нас угощает Тамара Владимировна.

Тамара, бросив быстрый взгляд на Виталия, тихо говорит что-то Володе, отмечая острым ноготком в меню. Володя послушно кивает: «Слушаю-с... слушаю-с...» Лариса Михайловна и Анюта с боязливым любопытством разглядывают (стараясь делать это не-

заметно) ресторанный публику и убранство зала, где идет своя жизнь.

(*Решив нарушить затянутое молчание.*) Обратите внимание на флажки. Соответственно вывеске и плакату, хозяин снабдил и столы подходящими лозунгами... (*Читает вслух надписи на флажках.*) «Прочь тоску!»... «Грусть, прощай!»... «Мне не жаль»... «Зачем горевать?»... Заметьте, это названия романсов, которые здесь поет Тамара Владимировна. Вплоть до двусмысленного... (*Взял с их столика флажок, на котором текст несколько длиннее.*) «Все сметено могучим ураганом...» Двусмысленного, ибо кто знает, хорошо это или плохо. Впрочем, как видите, сидящие за столиками не унывают. (*Виталию.*) И подумать только, все эти перемены произошли за три месяца вашего отсутствия! Да что три месяца! В начале апреля прохожу ночью по Охотному ряду, по Манежной и слышу: дробно стучат... Пулеметы? Ничего подобного — молотки, топоры... мелькают фонарики. Что за черт? Что происходит? Время бандитское, три часа ночи... ближе подойти не решился. Прохожу утром — батюшки! Палатки, ларьки, балаганы! Представляете, только утром объявили в газетах о свободной торговле, а уже торгаши раскинули воинский лагерь! Силен народ! Такой что угодно построит, не только социализм... Тамара Владимировна, дорогая, почему вы меня ногой толкнули? Разве я сказал что-нибудь противоречащее декретам? Беру в свидетели Виталия Павловича... он пролистал за сегодняшний день по крайней мере сотню газет из моей личной хаты-читальни и теперь в курсе нововведений...

В и т а л и й (*не вытерпел*). Одним словом, вы с наслаждением присоединились к этим охотнорядским молодчикам! Чем торгуете, если не секрет?

П е с к о в. Ну, я-то как раз приторговывал потихоньку раньше... до выхода директив и постановлений. (*Улыбается.*) В деревне менял на продукты припрятанные товаришки вроде духов и пудры. Тем сберег тело и душу живы...

В и т а л и й. Припрятанные, то есть украденные у бежавшего хозяина?

П е с к о в. Экспроприированные, если такое слово вам больше нравится. Но это уже пройденный этап: и государство и я метим выше.

В и т а л и й (*вдруг осенило*). Фамилия вашего бывшего хозяина не Егорычев?

П е с к о в (*быстро*). Кто вам сказал?

В и т а л и й. Он сам.

Тамара с интересом прислушивается.

П е с к о в. Шутите? Где вы его могли видеть?

В и т а л и й (*просто*). В Финляндии. Но он собирается вернуться. Кстати, упоминал о своем доверенном лице в Москве. Сказал, что верит ему, как самому себе: такой же морально чистый, интеллигентный человек...

П е с к о в (*помолчал, для него это неожиданность*). Забавно! Кто его сюда пустит? Шалопай, каких мало... (*Полностью овладел собой.*) Так вот, я сказал, что мы с государством метим значительно выше.

В и т а л и й. Куда, любопытно?

П е с к о в (*благодушно*). Время покажет... Вы же всего один день в столице. Ручаюсь, первая мысль была: откуда это? Не читали сегодня случайно в газете? Какой-то восторженный репортер настроил... то ли о Сухаревке, то ли о Смоленском рынке... (*Цитирует с пафосом.*) «Свинные, бараньи, говяжьи, телячьи туши!.. Милый теленок, не знаю, кто вырастил тебя, но знаю и чувствую, что в тебе воскресла и выросла мистика жизни, мистика плоти!..» Вот что значит поэт! Опьянел от одного вида мяса... Но, Виталий Павлович! (*Доверительно перегнулся к Виталию.*) Разве не стоило ради такого животворного начала поступиться одним-двумя аскетическими, р-революционными принципами, сделать одну-две маленькие уступки, один ничтожный шагок назад к капитализму? Правда, пока неизвестно, не придется ли потом сделать еще два, три... десять шагов в том же направлении... (*Заботливо.*) Виталий Павлович, что вы так дернулись? Товарищи, в самом деле, что с вами? Одна толкается, другой дергается... Вы же были в своей партячке... вам, наверное, разъясняли... Сам товарищ Ленин писал... (*Вдруг умолк, увидев, что лицо Виталия исказилось.*)

В и т а л и й (*вскочил, опрокинув стул*). Не смейте произносить все это имя! Вы!.. Знаете, кто вы?!

За соседним столиком притихли, с любопытством прислушиваясь к возникающему скандалу.

П е с к о в. Да бог с вами, Виталий Павлович... успокойтесь!

А н ю т а. Виталий, сейчас же сядь! Ты что — хочешь устроить драку в этом кабаке... при маме!

Т а м а р а. Виталий, не дури! Подними стул и сядь!

Виталий неохотно садится.

И вы, Георгий Иванович, хорош! Что вы его дразните? Догадываюсь: это вы на него за Егорычева рассвирепели... А мы при чем? Охота портить всем настроение... Приказываю: за столом — никакой политики!!

П е с к о в. Слушаемся, прелестная хозяйка! (*Целует ей руку.*) Приношу на блюде повинную голову... (*Приставляет к горлу тарелку.*)

В о л о д я приносит и расставляет яства, вино. Тамара тихонько отдает ему дальнейшие распоряжения.

(*Разливает в бокалы вино. Ларисе Михайловне.*) Вы позволите?

Она молча кивает, продолжая с тревогой смотреть на сына.

Расчудесно. Можно я скажу тост?

Т а м а р а. С одним условием...

П е с к о в. Слушаюсь. (*Продолжает наливать.*) Вообще я за эти недели знакомства с вашей семьей духовно вырос. Мой отец любил поговорку: «Человек — что птичка божья: нажрался, как свинья, и спит». Мне этого уже мало: за ужином хочется общества глубоко воспитанных людей... А тост мой, если позволите, следующий. Однажды прохожие увидели, как некий гражданин бьется головой о кирпичную стенку. Разбежался — хрясь! Разумеется, его участливо спрашивают: «Что вы делаете, разве не больно?» — «Еще как больно-то!...» — «Так зачем вы так?» — «Зато в промежутках как хорошо!...» (*Поднял бокал.*) Так выпьем же, товарищи, за промежутки!

Т а м а р а (*угрожающе*). Ну, Георгий Иванович!

П е с к о в (*невинно*). А что, неужели опять провинился?

В и т а л и й (*усмехнулся и поднял бокал*). Не беспо-

койтесь. (*Чокнулся с Песковым.*) За самый короткий промежуток для вас! Для всех, кто может платить миллион за порцию поросятины!

Все пьют. Одни, как Виталий и Песков, залпом, до дна, другие только пригубили.

Песков (*со вкусом обсасывая маслину*). Крепко сказали, Виталий Павлович. Со смыслом. Вот что значит потомственная интеллигентность. В ней мудрость веков. Нет, серьезно... Вчера мне рассказывали о красном директоре музыкального училища. Как-то, уже после реформ, заходит в класс теории музыки, послушал минутку и говорит: «Контрапункты, понимаешь, тут развели! В восемнадцатом всех бы к стенке!» Вот как по-своему понял он контрапункт, иначе говоря — гармонию. Но — примирился... Недаром кто-то сказал: «Мировой гармонии нет — зато есть мировая гармония!» (*Весело оглядел всех.*) Признавайтесь, очень я вам надоел?

Виталий молчит. Мать с дочерью переглядываются.

Тамара (*встает*). Спасибо, напомнили мне своими музыкальными остротами о службе... (*Идет к маленькой эстраде в углу, где уже ждет аккомпаниатор. Поднялась; переждав, когда кончат аплодировать, обращается к публике.*) Граждане гости! Как всегда, спрашиваю, что вы хотите сегодня услышать?

Голоса.

— «Бубенцы»!..

— «Мичман Джонс»!..

— «Бубенцы»...

— «Ночной Марсель»!..

Озорной голос (*из публики запекает*):

Стаканчики граненые
Упали со стола.
Упали и разбились.
Разбилась жизнь моя...

Тамара (*продолжает*).

Мне на полу стаканчиков
Разбитых не собрать,
И некому тоски своей
И горя рассказать.
Не греет солнце яркое

Души моей пустой,
Дружок мой ласку теплую
Отдал навек другой...

З а т е м н е н и е

Та же картина. Из затемнения. Играет небольшой, но лихой оркестрик. Звучит тот самый мотив, который только что пела Тамара, но звучит на танцевальный манер. Танцует несколько пар, в их числе Тамара с Песковым. За столиком сидят мать, сын и дочь. Виталий мрачно следит за танцующими. Мать и сестра нервничают: им и жалко Виталия, и неловко сидеть здесь, в ресторанном чаду и дыму; вместе с тем было бы обидно уйти, пренебречь этой вкусной едой, которой они столько лет не видели... Да и как оставить Виталия? Понимает ли он свое положение? Наверное, понимает... И Лариса Михайловна с Анютой то и дело обмениваются долгими грустными взглядами, не переставая в то же время есть и немножко презирая себя за плотскую слабость... Наконец Лариса Михайловна стряхнула с себя дурман вкусной пищи, обращается к сыну.

Лариса Михайловна. Витюша, мы даже не успели с тобой поговорить... Ты объяснил, как оказался в Финляндии, а как тебе там жилось — мы ничего, ничего не знаем...

Виталий. Жилось паршиво, мамочка, но знаешь... важно, что выжил. Не хочется вспоминать... Потом!

Лариса Михайловна (торопливо). Конечно, конечно, Витюша... (После паузы.) Какой хороший человек Алеша! Мы ему бесконечно признательны. Ты знаешь сейчас что-нибудь о нем?

Виталий. Нет. На границе нас сразу же разделили... хотя я пытался объяснить, что это один из тех, кого нагло обманули в Кронштадте. Надеюсь, что его скоро выпустят из тюрьмы... чего совсем не желаю другому моему спутнику!

Лариса Михайловна. Ты знаешь, Зина за эти месяцы несколько раз приезжала к нам из деревни. С ней происходит... что-то плохое, Витюша... Может быть, глупо, но нам показалось, что это также связано

с... (Непроизвольный взгляд в сторону танцующих Пескова и Тамары.)

А н ю т а (предостерегающе). Мама!

Танец кончился. Песков с последним аккордом ловко подвел Тамару к их столику, поцеловал ей руку, а она, перед тем как опуститься на стул, ласково потрепала Виталию волосы. Виталий сразу заулыбался, счастливый уже от такой мимолетной ласки. Мать и сестра снова грустно переглянулись.

Л а р и с а М и х а й л о в н а (взглянув на часы). Нам не пора уходить? Анюте рано вставать... И ночью на улице так страшно!

П е с к о в (просто). Лариса Михайловна, я вас провожу. А потом вернусь к Тамаре Владимировне и Виталию Павловичу. (Улыбаясь.) Они без нас не соскучатся. Им много надо друг другу сказать после разлуки. К тому же Тамаре Владимировне еще рано уходить: служба! (Окликает официанта.) Володя, кофе, ликеры!..

В о л о д я. Слушаю-с! (Исчезает.)

П е с к о в (Тамаре). Простите, забыл... сегодня здесь вы хозяйка! Простите? (Но это уже не Тамаре. Вопросительно обернулся к подошедшей паре.)

Мужчина — И л ь я Н и к а н о р ы ч, женщина — т е т я Н а д я. Она элегантно, со вкусом одета, — трудно узнать в ней замурзанную железнодорожную проводницу, которую мы видели утром.

А н ю т а (воскликнула). Тетя Надя? (Ко всем.) Это же тетя Надя!

Тетя Надя держит Илью Никанорыча под руку и с улыбкой слушает, как тот сердито отмахивается от наседающих на него бывших соседей по столу.

И л ь я Н и к а н о р ы ч. Я что сказал? Не собираюсь на мертвяках зарабатывать! И не до того: на днях женюсь... Предупреждал вас, что даму жду? Ну и все!

М у ж ч и н а п о м е л ь ч е. Илья Никанорыч, так мы же из альтруизма! Грешно отказываться от такого дела! Деревне, и не одной, помогли бы выжить... Фри-тьоф Нансен и мы — вся их надежда! Даю вам слово!..

Илья Никанорыч (*высвободив руку, делает грозный жест*). Все! Рас-творись! (*Отвернулся от «растворившихся» компаньонов; опять отдает локоть даме.*)

Тетя Надя (*подчеркнуто весело*). Да, это я! Правда, неожиданная встреча? Разрешите представить вам моего жениха: Илья Никанорыч Поползнев...

Илья Никанорыч неуклюже, но не без достоинства, поклонился.

(*Целует Ларису Михайловну и Анюту.*) Здравствуй, Ларочка... Анютка, а ты от вина разгорелась, тебе идет! О, Тамара Владимировна тоже здесь! Ну, а с тобой, путешественник, мы только сегодня расстались... Как удалось разбудить родственников? А это, наверное, твой приятель? Знакомь, знакомь!

Тамара (*выручая Виталия*). Познакомьтесь, Надежда Александровна...

Тетя Надя. Алексеевна...

Тамара. Простите, Алексеевна... Это наш новый сосед по квартире — Георгий Иванович Песков.

Песков (*он давно уже встал, скромно ждет своей очереди быть представленным*). Очень, очень приятно. Наслышан. Песков. (*Целует тете Наде руку.*)

Тетя Надя. Мне тоже приятно. Года четыре никто мне не целовал руку... Илья Никанорыч, учитеесь!

Илья Никанорыч что-то невнятно пробормотал. Песков и подоспевший Володя переставляют стулья. Все сели. Какое-то время опять длится молчание. И опять Песков его нарушает.

Песков (*Виталию*). Мы с вами днем, за газетами, не договорили... (*Тамаре.*). Ей-богу, не виноват, но Виталию Павловичу угодно было спросить — что я всерьез думаю о положении в стране. С моей стороны было бы невежливо не ответить, правда? Или ограничиться моими не всегда уместными шутками... Боюсь только (*Надежде Алексеевне и ее жениху*), что вам будет неинтересно...

Виталий (*он возбужден*). Что вы крутите! Кому это может быть неинтересно!

Песков. С удовольствием отвечу по всем пунктам. Прежде всего о том, что с моей точки зрения

бесспорно: гениальный (*подчеркивает*) крутой поворот, совершенный Лениным и его товарищами...

В и т а л и й (*не выдержал*). Опять все!..

П е с к о в (*мягко*). Милый Виталий Павлович, посудите сами: могу я говорить о современном моменте, без упоминания тех, кто им руководит? Кстати, к Ленину у вас явно религиозное отношение. Чуть слышите — сразу: «Не употребляйте имени божьего все!» Надеюсь, вы атеист?

В и т а л и й. Пустой вопрос!

П е с к о в. Ага, видите, когда речь идет о простых смертных, вроде меня и вас, — и слова простые. Ведь смысл-то один: что впустую, что все, а оттенок, заметьте, разный!

В и т а л и й (*стукнул по столу*). Слушайте, вы!..

П е с к о в. Ах, горячка, горячка! Давайте зальем ее коньячком... (*Наливает рюмки мужчинам.*) Винovat!.. (*Наливает Тамаре и — взглядевшись в лицо тете Наде — и ей; Ларисе Михайловне и Анюте — вина.*)

Л а р и с а М и х а й л о в н а (*с тревогой*). Витюшенька, больше не пей! Я тебя очень прошу!

В и т а л и й (*пьет*). Продолжайте. Постараюсь воздержаться от эмоций.

П е с к о в. Чудесно. Пью за воздержание... (*мимо-летный взгляд на жениха и невесту*) от излишних эмоций. (*Пьет.*) Итак, крутой поворот гениален, хотя и принужден обстоятельствами. А когда повороты не были вынужденными? В том-то и мудрость крупного государственного деятеля, чтобы суметь повернуть, когда это жизненно необходимо и неизбежно. Но вы представляете, что значит в бурю повернуть корабль? Волны с адской силой хлынут на палубу, смывая за борт матросов, проникнут в люки, зальют каюты, где ошалевшие от постоянной качки, томимые жаждой и голодом, трясутся в страхе за свою жизнь миллионы людей. А ведь они еще не все знают... А если пробоины? А ежели впереди, уже совсем рядышком, — рифы! Минута — и корабль с хрустом врежется в скалы!

Т а м а р а (*скупая*). Георгий Иванович, вы опять что-то слишком красноречивы. Никанор Иванович, вы не находите?

И л ь я Н и к а н о р ы ч (*сделав вид, что не слышал ошибки в имени-отчестве*). Что с меня спрашивать! Я привык жерновами молоть, а не языком!

П е с к о в (*резко Тамаре, которая сразу же присми-*

рела). Тамара Владимировна, у нас идет прямой мужской разговор и, простите, мне наплевать — красноречив я или косноязычен. Мне хочется одного: чтобы сидящий за этим столом против меня коммунист Буклевский постарался понять, что вокруг него происходит! В стране, не здесь... (*Презрительно обвел рукой ресторан.*) Здесь он видит лишь пену, поднятую взбаламученной стихией... пену, правда иной раз пьянящую... Разрешите... (*Наливает Виталию и себе*). Но под ней происходят стихийные катаклизмы, и еще никто не знает, чем они кончатся. Может, благополучно проскочим в спокойную гавань, где сможем, как надеется капитан, залатать дыры, накопить сил, провианта и двигаться дальше. Может, разобьемся о растреклятые рифы, и одни из нас, захлебнувшись, тихо пойдут ко дну, других перемелет, как в мясорубке, а третьи... третьи станут блаженствовать на райском берегу под благодатным солнышком... или трудиться в поте лица, натужно переступая за сохой израненными ногами... Все! Я кончил ораторствовать и пророчествовать! Пускай лжепророчествовать, согласен... (*Жест.*) Тамара Владимировна, пожалуйста!

Тамара послушно встает и идет к эстраде. Поднявшись на нее, начинает петь. С удивлением слушает ее тетя Надя, шепнув что-то своему угрюмому жениху. Со страхом слушают мать и дочь. Опустив голову — Виталий. Свободнее всех чувствует себя Песков, прихлебывая вино.

Т а м а р а (*поет*).

Милый мой строен и высок,
Милый мой ласков и жесток,
Больно хлещет шелковый шнурок.
Разве в том была моя вина,
Что казалась жизнь мне слаще сна,
Что я счастьем вся была полна?
Потом, когда судьи меня спросили:
«Этот шнурок ему вы подарили?» —
Ответила я, вспоминая:
«Не помню, не помню, не знаю!»

Песков встал, набрасывает Ларисе Михайловне и Аняте на плечи легкие накидки. Собираются уходить. Тихо прощаются с тетей Надей и ее женихом. Те незаметно пересели за свой стол. Мать нежно целует Виталия в голову. Анята, она и Песков тихо

уходят из ресторана. Виталий остался сидеть за столом, не отводя глаз от Тамары.

Только раз, странно недвижим,
Он смотрел сквозь табачный дым,
Как забылась в танце я с другим.
Разве в том была моя вина,
Что в чаду кружилась голова,
Что звучали мне его слова?
Потом, когда судьи меня спросили:
«Там, в эту ночь, вы с другим уходили?» —
Ответила я, вспоминая:
«Не помню, не помню, не знаю...»

Весь ресторан, перестав есть и пить, слушает пение Тамары. Как видно, это любимый романс здешней публики. Убавляется постепенно свет, остаются лишь лампочки на столах. Потом гаснут и они, освещена лишь певщица на эстраде.

В ранний час пусто в кабачке,
Ржавый крюк в дощатом потолке,
Чей-то труп на шелковом шнурке.
Разве в том была моя вина,
Что цвела пьянящая весна,
Что с другим стояла у окна?
Потом, когда судьи меня спросили:
«Его вы когда-нибудь все же любили?» —
Ответила я, вспоминая:
«Не помню, не помню... не знаю...»

Взрыв аплодисментов. Крики: «Бис!», «Браво!». Полностью гаснет свет. В темноте продолжают аплодисменты и выкрики: «Браво!», «Бис!», «Браво!»... но звучат они глуше, тише, как бы удаляясь. Повторяется последний куплет, но в темноте и он звучит словно бы издали.

Потом, когда судьи меня спросили:
«Его вы когда-нибудь все же любили?» —
Ответила я, вспоминая:
«Не помню... не помню... не знаю...»

Из темноты вырисовывается бульвар, скамья, на которой сидят В и т а л и й и Т а м а р а. Он обнял ее. Она к нему прижалась.

В и т а л и й. Пусть ты не так меня любишь, как я бы хотел... не на равных... но ты пойми: у меня нет никого тебя ближе!... Тамара, мне сейчас очень худо! Рушится

все... почти все, чем я жил! Иногда даже кажется: зачем это все было? Зачем так трудно, самоотверженно воевали... и победили? И только что пролили кровь на кронштадтском льду... Я не о себе, я жив... но от моего батальона осталось восемнадцать курсантов! Неужели это все для того, чтобы открылся кабак «У нас не соскучишься»?.. Да, они не скучают... и ты помогаешь им веселиться... *(Помолчав.)* Многое я уже понял... но принять... принять не могу!

Т а м а р а. Мне казалось, в чем-то тебя убедил Песков.

В и т а л и й *(не слушая)*. Если бы знать; что это только на время... на короткое время! Кто может поручиться? Кто? Один человек... Увидать бы его, спросить: когда смоем эту отраву? А если она отравит все поколение?.. Тогда — правы наши враги? *(Пылко.)* Нет, я верю ему! Как верил всегда... *(Тихо.)* Но верит ли он сам, что такую опасность можно преодолеть? Если б можно было спросить?.. Если б!.. *(Вздрыгнул.)* Тамара, не слушай меня! Забудь все, что я говорил! Я тоже хочу забыть! Помоги мне! Побудь со мной... мне так тебя не хватает!.. *(На какое-то время он словно забыл о ней, говорил сам с собой; сейчас жадно обнял.)*

Т а м а р а *(чуть отстранясь, очень трезво)*. Понимаю. Хорошо понимаю и верю: ты соскучился по мне... скажем проще — по женщине. Понимает это и Георгий Иванович. Мы взрослые люди, мы посоветовались и решили... Если ты хочешь, я проведу с тобой эту ночь... ну, и какие-то следующие...

В и т а л и й *(похолодев)*. Что... с кем решили? При чем тут Георгий Иванович? Этот циник... скользкая тварь? Ты... с ним?!

Т а м а р а *(спокойно)*. Вот ты нашел простые слова. Да. Такой мне и нужен. Он победил не меня... подумаешь, крепость! Он победил вообще в жизни, а это уже кое-что... знаешь! *(Щелкнула пальцами.)* Словом, я с победителем! *(Помолчала секунду.)* А ты... ты, Виталий, запоздалый романтик!.. Как видишь, даже советская власть отрезвела.

В и т а л и й *(кричит)*. Не кощунствуй! Как ты смеешь кощунствовать! Уходи! Уходи, пока я тебя не ударил!..

Т а м а р а *(встала)*. Конечно, уйду. Что мне тут — ждать, пока ты соберешься с силенками и ударишь? Да ты не ударишь! Эх вы, Буклевские! *(Засмеялась.)*

Когда-то ты называл меня царицей Тамарой. Забыл? И то тебя не хватило на то, чтобы обойтись без оговорок. Называл, стесняясь... извиняясь за пошлость гимназического сравнения... А я не стыжусь. Я хочу быть и буду царицей... пусть в масштабе Охотного ряда... (Ушла.)

В и т а л и й один сидит на скамейке. Из ресторана доносятся звуки романса, который пела Тамара: мелодию «Шелкового шнурка» исполняет оркестрик опять же на танцевальный лад. Но в воспаленном мозгу Виталия звучит не музыка, не романс — назойливо звучат издевательские слова, которые только что произнесла Тамара. Как жутко звучат эти дьявольские слова в сгущающемся, нависающем мраке! Пусть визжит и заглушает их музыка. Пусть визжит громче!! Еще громче!!

З а т е м н е н и е

КАРТИНА ШЕСТАЯ

Раннее утро в квартире Буклевских. Та же передняя. Сутки назад Виталий сюда вошел полный надежд, радости свидания с Тамарой. Сейчас А н ю т а и П е с к о в ведут его под руки, как он сам вел избитого до полусмерти Гришу. *В и т а л и й* едва передвигает дрожащие ноги. Когда его уложили на колченогий диван, он прикрыл глаза ладонью. Матери в передней нет. *Т а м а р а* стоит в дверях. Она что-то хотела спросить у *П е с к о в а*, — тот выразительно показал рукой на горло.

А н ю т а (умоляюще). Тише, тише! Услышит мама... (Тихо плачет.) Как стыдно! Чердак, петля... И это Виталий, который прошел всю войну!.. Наша гордость! Боже, как стыдно!

Т а м а р а (жестко). Перед кем тебе стыдно? Перед богом? Перед твоим начальником, если узнает! Или перед Лениным, которому Виталий написал, извиняясь и запинаясь, предсмертное письмо? Я нашла — можешь взять! (Кидает Виталию письмо.)

В и т а л и й (порывисто схватил письмо). Ты права! Надо потерять честь и совесть, чтобы в такой момент де-

зертировать! Я попрошу направить меня на самую трудную, самую черную, самую неблагодарную работу! Когда-то обыватели спорили: «Кто при коммунизме станет чистить уборные?» Я буду чистить! Я согласен на все! Я отдам партии всю свою жизнь, всю свою кровь!

П е с к о в (*спокойно, скорей развясняя, чем издеваясь*). Кровь больше не в моде. Это нонсенс, дорогой друг, анахронизм. Отстав на три месяца, вы остались где-то в средневековье. Сегодня счет идет на дензнаки, а завтра, надеюсь, власти сменят их на более твердую валюту. Если, конечно, найдут, чем ее обеспечить. (*Неожиданно.*) Впрочем, в советской власти я все же уверен больше, чем в вас, бывшем члене правящей партии.

В и т а л и й. Бывшем? Вы намерены сообщить о моей минутной слабости.

П е с к о в. Нет. Доносить я не собираюсь. Но вы забыли, коллега, что если бы я случайно не заглянул на наш славненький, уютненький чердак, вы рисковали оказаться во всех смыслах бывшим человеком. (*Улыбаясь.*) В отличие от меня, человека будущего!

В и т а л и й (*вне себя*). Вы — человек будущего! Да вас прижмут к ногтю, едва вы повысите голос за пределами этой квартиры или вашего любимого трактира!..

П е с к о в (*искренне удивившись*). Как быстро оживают люди! Коллега, я начинаю в вас верить!

А н ю т а (*холодно*). На твоём месте я бы лучше припомнила, что Георгий Иванович спас не только тебя. Если бы не он, мы бы не вынесли этой голодной весны...

В и т а л и й. Понимаю. Он вас успел купить!

А н ю т а. Идиот! Он нас кормил, когда мы уже совсем подыхали!

П е с к о в (*нетерпеливо*). Хватит! Сделано дело? Сделано. До свиданья! Поправляйтесь, коллега.

Но он не успевает уйти. Зазвонил непрерывный, словно взбесившийся звонок. Одновременно в дверь оглушительно стучат. Все встревожены. В переднюю выбегает проснувшаяся и едва успевшая накинуть на себя шаль Л а р и с а М и х а й л о в н а. Песков твердой поступью (хотя что скрывать — он тоже обеспокоен) идет к входной двери и, после краткой возни с замками, открывает ее. В прихожую врывается одетая почти по-городскому деревенская женщина — это З и н а К о з у л и н а. Короткая жакетка расстегнута, платок съехал набок, волосы растре-

пались, — отчаянно-веселое лицо. Не то она пьяна, не то переполнена радостью, не то все вместе.

Зина (еще с порога кричит). Выпустили! Георгий Иванович! Лариса Михайловна! Алешку моего выпустили! По амнистии!..

В дверях показалось улыбающееся до ушей лицо Алексея.

Песков (с дружеской фамильярностью похлопал Зинаиду по спине). Мадам, поздравляю! От души поздравляю с возвращением мсье Одиссея в родные Опочки! (Втянув носом воздух.) Зиночка, да вы, кажется, на радостях полуштоф первача раздавили!

Зина. А как же! И сюда не с пустыми руками!.. Алешка, где четверть?

Алексей достает из котомки большую бутылку с мутноватой жидкостью и торжественно водружает ее на шатучий подзеркальник. Завидев сидящего на диване Виталия, шагает к нему, чуть не расталкивая остальных; поднял его с дивана на воздух.

Алексей. Витюха, друг! Пир на весь мир закатим! Ведь ожила деревня! Спасибо большевикам! Спасибо тебе! Видишь теперь, что зря артачился?

Песков с усмешкой смотрит на это односторонне-бурное объятие. И также с усмешкой смотрит на это стоящий в дверях еще один человек: Анатоль. Сейчас он без мандолины, одет в добротную тройку, на голове шикарное кепи, даже цветок в петлице. Он сделал шаг внутрь прихожей — и его увидели.

Виталий (освободясь от объятий Алеши, почти умоляюще). Зачем ты его привел?

Алексей (растерянно). Я не приводил...

Анатоль (вежливо снимает кепку). Извиняюсь, я без привода. Скорее как родственник... Папаша просит вас всех на свадьбу, поскольку сегодня он женится (повернулся к Виталию) на вашей тете Надежде Алексеевне. Венчание имеет быть...

Алексей (неожиданно его прерывает). Погоди. (Обращается к Ларисе Михайловне, на болезненно

исхудавшем и нервном лице которой ясно написано все, что она сейчас испытывает.) Можно, я с ним не по-родственному, а по знакомству? *(Не дожидаясь ответа, берет его крепко под руку и ведет к двери, ласково приговаривая.)* Понимаешь, Толик, ты здесь сейчас не к месту. И не ко времени. Проветрись часика полтора-два на улице, а после поговорим... *(Выставляет его на лестницу и закрывает дверь. Обернулся ко всем.)* Может, я чего не так сделал?

А н ю т а *(очень серьезно).* Мы все время не то и не так говорим и делаем. Вы первый; Алеша, мне кажется, сделали то, что нужно...

З а н а в е с

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Перед открытием занавеса, как и в начале спектакля, на авансцену выходит Б у к л е в с к и й и говорит:

— Между вторым и третьим действием прошел почти год. Время оказалось переломным во всех смыслах этого слова. Одних оно заставило неузнаваемо измениться, переменить профессию, переломить характер,— других просто сломило. Что оно сделало со мной?

...Не могу не вернуться к той ночи, когда я почувствовал, что не могу и не хочу жить. Могло показаться, что меня подкосил личный крах — измена и циничное предложение Тамары. Да, конечно, это был последний толчок, который точнее всего выражают слова: «Падающего толкни!» А я уже падал: то, что видел и слышал я за несколько дней в Петрограде, в вагоне, в Москве, ошарашивало, пугало, сбивало с ног... Страшно признаться, но самым последним толчком оказались фразы, оброненные Тамарой: «Советская власть отрезвела... Ты запоздалый романтик...» Они стучали в воспаленном мозгу — и вот с этим-то я не мог жить... Песков болтал что-то насчет моего религиозного отношения к Ленину... Какой вздор! Ленин все тяжкие годы живет рядом с нами — три месяца назад я его видел и слышал, с жадностью внимал каждому его слову... А теперь?

Неужели я смею хотя бы с тенью сомнения продолжать жить, как жил, как будто ничего не изменилось?

...Как видите, я живу. Меня вынул из петли человек, которому я не желал быть обязанным папиросой, спичкой, не то что жизнью... Время и обстоятельства нас связали. Но жизнью в ту ночь я обязан все-таки не ему! Говорят, человек в секунду предсмертия может мгновенно увидеть и оценить всю свою жизнь. Не знаю. Я не раз бывал ранен, но ранение было всегда внезапным и боль или потеря сознания не давали успеть подумать... А в этот последний миг я увидел вдруг не себя, я увидел другого... Я понял: как же велик и бесстрашен этот другой, если, не боясь глумления врагов, сомнений друзей и учеников, он решился совершить такой поворот!.. Но это и есть высочайшая нравственная ступень, на которую может подняться человек, революционер, вождь в часы кризиса... И как же мелки мы со своими обидами, претензиями, разочарованиями по сравнению с тем, что должен был передумать и перечувствовать Ленин!.. Значит, что же? Значит — я должен жить и выполнять то, что он мне доверит!..

...Тут-то и подоспел мой «спаситель» Песков... Да, внешне обстояло так, он каким-то дьявольским нюхом учуял, что со мной происходит... но всего... всего он знать все же не мог.

А через несколько дней партия поручила мне ответственное и трудное, неизмеримо трудное дело. *(Повернул голову, оглянулся на вновь осветившийся транспарант, который был третьим эпитафием к спектаклю.)*

...Нет, крикуном я себя считать не могу... Скорей можно спрятаться за красивое слово «романтик», которым меня обозвала Тамара. Такие, как я, были склонны романтизировать все проявления и требования революции, и раньше всего — готовность к героизму. Не могло нам прийти на ум лишь одно — учиться хозяйничать и торговать. От романтики это действительно далеко, и Ленин предупредил, что это будет гораздо труднее, чем воевать... В этом мы скоро, очень скоро убедимся!..

Затмение

Неказистое помещение конторского типа. Окна во двор; за окнами видны намокишие поленицы дров, бочки, ящики; дымит железная заводская труба, по одному виду которой можно заключить, что предприятие небольшое, не гигант промышленности.

Виталий Буклевский, стоя у перегородки, говорит по старому громоздкому телефону (деревянный ящик с ручкой, двумя чашками наружных звонков и двумя кнопками «А» и «Б» под ними на полочке). Порой приходится кричать. Впрочем, разговор вообще идет неровно.

Виталий. Даже хотя бы ядровое... Слушай, как я могу взяться за дорогие сорта, когда и с дешевыми-то затирает... Худо с сырьем, Федор, много хуже, чем прошлой зимой... А что «Заготскот»? Мы почти полностью перешли на растительные жиры... Правильно, мужички сразу заинтересовались, из самых дальних уездов повезли свое постно масло... Ну, а нынче-то почему заколодило?.. Нет, урожай льна, говорят, хороший... Сегодня... Что, что?.. Алло, барышня, не разъединяйте!.. Жена купила на рынке? Что?.. Понял... А почему я должен краснеть?.. Наверняка старое, дореволюционное... фирмы «Брокер» или «Альфонс Ралле»... Ну и что же, что без обертки... Слушай, Федор, смешно воображать, что кто-то кустарным образом производит... (Твердо.) Нет, Федя, туалетное мыло мы не сможем пока изготавливать... И нет смысла. Убежден, что можно еще год-два потерпеть... Забыл, чем на фронте мылись? Бывало, что глиной и золой, а кусок серого, липкого вонючего мыла берегли для раненых... (Мрачно слушает.) Что ж, прикажут — будем исполнять... Ну, я не сумею обращаться с деликатесами — другому поручат... меня бросят на гвозди... Кстати, дурак, что взялся за мыло, когда идет восстановление настоящей промышленности... (Еще мрачнее.) Как? Возвратный тиф политического и экономического недомыслия... Что ж, кудряво, но хлестко... такие фразочки обожают один мой знакомый нэпман... Спасибо, каустик еще есть, до рождества хватит...

В дверь постучали.

Будь здоров, Федор, ко мне пришли... Да, тут надо распутать одно дело... Нет, мелкое, но противное.. вернусь из деревни, расскажу...

Стук повторяется.

Да ты не утешай, не утешай! (*Вешает трубку.*) Войдите

Входит на костылях инвалид. Это бывший матросик Гриша, теперь он в штатском. Такой же чистенький, но выглядит старше, лицо точно ссохлось. Виталий помог ему сесть на стул. Садится сам, все еще, очевидно, думая о том, о чем говорили по телефону, или просто хочет собраться с мыслями.

Так. Знаешь, зачем я тебя позвал?

Гриша молчит.

Значит, знаешь. Сперва я думал, что ты разиня: сидишь и не видишь, как мимо твоего носа тащат продукцию. К сожалению, разиней-то оказался я... Скажи, как могло получиться, что человек, которого я взял на завод, доверил ему государственное добро, стал ворюгой?

Гриша молчит.

Куда ты сплавлял это мыло? Жены у тебя нет, значит сам торговал по воскресеньям. Полдюжины кусков на рогожку — и выкликаешь: «Мыло серб, да моет белó!»

Гришино лицо исказилось, он сделал попытку встать, уронил костыль.

Дверь приоткрылась. Голос Пескова: «Можно?»

(*Удивлен.*) Можно.

Гриша опять опустился на стул. Костыль остался лежать на полу.

Песков (входя). Здравствуй, Виталий. Кажется, со вторника не видались.

Виталий (сухо). Здравствуй.

Как видим, они на «ты», отношения сдержанные, но не враждебные.

Песков. Извини, не предупредил по телефону. Дело досталось неприятное, лучше обсудить его здесь и сегодня же. Здравствуй, Гриша. *(Подал ему костьль.)* Сиди, сиди, ты нам не помеха... наоборот. *(Приоткрыл дверь.)* Давай сюда, Толик. *(Впускает сына Ильи Никанорыча.)*

Анатолий нахально, без спроса, усаживается на стул.

Приятно видеть всю семью в сборе. *(Виталию.)* Вероятно, догадываешься? Или еще не до всего дознался? Словом, один из этих двух субчиков *(кивает на Гришу)* похищал у тебя на заводе техническое и хозяйственное мыло, другой прикарманивал на моей фабрике дорогие пахучие вещества. Кстати, их в СССР не достанешь ни за какие деньги: старый запас, импорт из Франции. Вместе они изготовляли довольно приличное туалетное мыло. *(Говорит это как бы легко, небрежно, но не спускающая взгляда с Виталия.)*

Виталий. Ты... серьезно?

Песков. Вот образчик, можешь полюбоваться. *(Вынимает из кармана розовый кусок мыла.)* Внешний вид не ахти, но качество... Да ты бери в руки.

Виталий взял, нюхает.

Полить тебе из графина? Посмотришь, как пенится...

Виталий покачал головой, отдает мыло.

Молодцы ребята! А мы с тобой дураки и шляпы. Я пострадал как частный владелец, ты как директор госпредприятия. Что будем делать?

Пауза.

Виталий *(Грише)*. Это все правда?

Гриша тоскливо кивнул втянутой в плечи головой.

Анатолий *(Пескову)*. Попробуйте доказать, что

вы ни при чем, если «производство» происходило на территории вашей фабрики.

В и т а л и й (*Пескову*). Это верно?

П е с к о в (*пожав плечами*). Да, Анатолий орудовал в сарае, который принадлежит моей фабрике. Но я и понятия об этом не имел.

А н а т о л и й. Интересно, кто вам поверит?

В и т а л и й. Он кем у тебя?

П е с к о в. Агентом по снабжению... если приравнять к советским хоздолжностям.

В и т а л и й. Зачем ты его взял? За версту видно, что жулик.

П е с к о в. Бойкий парень. Полагал, что будет полезен.

А н а т о л и й. Полагали, с папашей моим полезно сдружиться. А папаша — кремень: он работает только для своей пользы.

П е с к о в. Когда сюда шел, иначе разговаривал... Ладно, МУР разберется. Вопрос в другом — сдавать вас туда, друзья мои... или обойтись домашним судом, как в доброе старое время?

В и т а л и й. Дай-ка взгляну. (*Рассматривает мыло.*) Можно на время оставить?

П е с к о в. Да возьми совсем. (*Усмехнулся.*) Толик, можно? Принесешь домой — спасибо скажут. Специалистам покажи... если не все вымерли. Ведь что обидно? Явный прохвост, ты прав, а дело знает. Что ж, звони в МУР.

В и т а л и й. Позвоню. Но сначала спрошу. (*Грише.*) Что тебе легче — тюрьма или его воля? (*Кивнул на Анатолия.*)

Г р и ш а (*долго молчит*). Тюрьма. (*После паузы.*) Тюрьма легче. (*Снова после паузы.*) Если не вместе сидеть.

В и т а л и й. Я так и думал. Сильно он тебя забрал. Подкармливает Илья Никанорыч семью в деревне?

Г р и ш а. Немного, но все же...

В и т а л и й. Понятно. Можете пока идти. Оба. Потом потолкуем.

А н а т о л и й (*нагло*). О чем? Попы поют над мертвыми, комары над живыми... Наслушался я ваших песен, товарищ комиссар!

Гриша и Анатолий уходят. Один на костылях, сгорбившись, другой — победителем.

Песков. Не сбегут?

Виталий. Григорий, пожалуй, нет. *(После короткой паузы.)* Ты только по этому делу или еще есть вопросы?

Песков. А если просто соскучился? Давно ж не видались...

Виталий. Да, ты уже подсчитал. Со вторника.

Песков *(весело)*. Совершенно точно! Но не беседовали гораздо дольше. Кстати, ты веришь, что я не участвовал в махинации с мылом?

Виталий. Как ни странно, верю. Удивлен?

Песков. Нет, почему же. Но, откровенно говоря, хотелось бы знать конкретней.

Виталий. Не стал бы пачкаться. Мелковата для тебя эта лужа.

Песков *(с чувством)*. Спасибо. Можно пожать руку?

Виталий. А можно без клоунады?

Песков. Ладно. Тронут. Попробую отплатить. Чем? Я всегда считал тебя мягким человеком. Мягким, который хочет быть твердым. Удивительно, что тебе это удалось. Поднял завод в самый трудный период. Как у тебя нынче с сырьем? Впрочем, не станем терять золотое время... У тебя найдется еще полчаса?

Виталий *(взглянув на часы)*. Скоро должен заехать Алеша.

Песков *(быстро)*. Едешь в деревню. Тем более надо срочно обсудить. Витя, тебе не пришло в голову, что эти два кустаря делали то самое дело, которым не сегодня завтра придется заниматься тебе?

Виталий поражен: только что по телефону об этом говорил Федор Логинов.

Извини, я бы не лез с советами и вопросами, но... *(широкая, простосердечная улыбка)* меня подстрекнул журнальчик, вроде дореволюционного «Сатирикона»... называется более современно — «Мухомор». Там есть краткий энциклопедический словарь. Например, «АРА» — следует объяснение: «Американская корова, дающая сгущенное молоко». «Интеллигенция» — сливки России, битые сливки». «Промышленность» — это когда промышленляют». *(Сразу серьезное лицо.)* Так вот, не лучше ли настоящая промышленность — завод,

фабрика, — чем когда два жулика промышляют, а мы с тобой сидим и моргаем?

В и т а л и й (сдержанно). Что ты предлагаешь?

П е с к о в. Объединиться. Соединить твой мыловаренный госзавод и мою арендованную парфюмерную фабрику. *(Как всегда, смотрит, какое произвел впечатление.)* Ты же один не сможешь сейчас производить туалетное мыло, у тебя нет ароматических веществ. *(Засмеялся.)* Разве что украдешь у меня!

В и т а л и й (продолжает сохранять выдержку). На какой основе предлагаешь объединиться? На государственной... или, может, на частной?

П е с к о в. Понимаю, это, конечно, сарказм. А не хочешь выслушать меня до конца? Только, чур, не сердчать, как когда-то... помнишь? *(Мечтательно.)* Тогда мы топтались в предбаннике новой эры... впереди туман, пар, неизвестность. Сейчас пар поотдуло, перспектива приблизилась — и вот он голубчик Нэп среди нас, румяный, здоровый, веселый детина! Так и хочется ему пожелать... *(Живо обернулся к дверям.)* «Гражданин Нэп, с легким паром!»

Дверь приоткрылась, показался А н а т о л и й.

А н а т о л и й (ухмыляясь). Вы меня?

П е с к о в (вдруг вскипел, без притворства). Какого черта?! Подслушивал?

А н а т о л и й. Очень надо. Вас ожидаю.

П е с к о в. Поезжай на фабрику и займись делом.

А н а т о л и й (недоверчиво). Без вас? Значит, ничего не изменилось?

П е с к о в. Я скоро буду. Ступай.

Анатолий выходит.

Увижу отсюда, как он пойдет через двор? *(Подожел к окну.)*

В и т а л и й. Раньше ты опирался на более мощные образы: океан, шторм, человечество... Нынче спустился до бани.

П е с к о в (охотно подхватил шутку). Не спустился, а поднялся! Вчера был в Сандуновских — какая прелесть! Сперва расслабляешься, потом чувствуешь прилив зверской энергии — горы готов свернуть! Сходи, сходи в баньку, рекомендую. А то сходим в субботу

вместе? Скоро энергия нам понадобится в удвоенном... нет, в удесятеренном количестве!..

В и т а л и й. «Нам»?

П е с к о в (*рассудительно*). Да, и мне и тебе... вообще всем деятелям и движителям новой эпохи.

В и т а л и й. Хочешь сказать, борьба — кто кого! — обостряется и противоборствующим сторонам придется напрячь силенки?

П е с к о в (*ясным взором смотря на Виталия*). А если вопрос «кто кого» предрешен? Так не лучше ли сберечь силы для дружной работы?

В и т а л и й. То есть?

П е с к о в. Рука об руку строить государство того типа, который уже проверен многовековой практикой во всем мире... отчасти включая и наш полуторагодовой опыт на одной шестой части света...

В и т а л и й. Может, выскажешься еще прямее?

П е с к о в (*простодушно*). Куда же прямее-то? Сам видишь, что завтрашний... или, допустим, послезавтрашний класс-гегемон — это не обязательно пролетариат. Сегодня новая буржуазия еще благодарна властям за то, что ей развязали руки, но... уже начинает чувствовать, как жмет сапог. Завтра она захочет принять участие не в одной экономике, но и в политике... Помни, это не прежние трусливые лавочники и купцы-джентльмены со смятенной душой, вроде Саввы Морозова. Это люди без отца-матери, без роду и племени, но зато с огромным запасом авантюризма. Недаром же, считают они, большевики потеснились и дали место рядом с собой новому полезному сословию. И не случайно какой-то пролетарский поэт, пусть в шутку, но предложил Невский проспект в Петрограде переименовать в Нэпский проспект! Это ли не горькое признание новой силы?

В и т а л и й. Ты все говоришь «они», «она». Надо ли это понимать так, что себя к этой «новой силе» ты пока не причисляешь? Из осторожности или случайно?

П е с к о в. А может, я жду, что жизнь причислит к ней и тебя? (*Выдержав паузу.*) За один год ты сумел выказать инициативу, организаторские и инженерные способности. Спрашивается, зачем зарывать талант в землю? Знаю, ты и сегодня романтик. Тебя увлекла идея отмыть страну от грязи, голода, сыпняка. Дорогой мой, прекрасно! (*Обнял Виталия.*) Мы вдвоем на-

чисто, добела вымоем и протрем одеколоном... всю матушку Советскую Россию!

В и т а л и й (*снял его руку*). Так что из красной она станет белой.

П е с к о в. Не придирайся к словам! Скажем иначе: пусть на молодых, свежих, промытых до блеска русских щеках еще ярче алеет заря новой жизни!

Виталий хохочет. К нему, как ни странно, присоединяется и Песков; может быть, просто радуется удачному словцу?

В и т а л и й. Только сейчас почувствовал, что соскучился по твоему красноречию! Вот его-то как раз грешно зарывать... (*Оборвал смех.*) Но прежде чем промывать и протирать Россию одеколоном, давай решим: в случае нашего с тобой альянса она останется Советской?

П е с к о в (*оскорбленно*). Что за вопрос!

В и т а л и й. Еще уточним. Советской без коммунистов, как проектировали некоторые кронштадтцы?

П е с к о в (*сухо*). Мне не нравится этот тон и эти уточнения. И вообще можно проще: подойди к телефону и вызови двух чекистов.

В и т а л и й. Двух? Один, боишься, с тобой не справиться?

П е с к о в (*добродушно*). Bravo! Но не вернуться ли к делу? Кстати, у тебя нет нынче затруднений с сырьем?

В и т а л и й. Ты уже спрашивал об этом. Забыл?

Телефонный звонок.

(*Снял трубку*). Да... (*Слушает*). Тамара Владимировна? (*Пауза. И Виталий и Песков напряжены*). Проводи ее, Гриша. (*Повесил трубку*). Вероятно, за тобой. (*Подошел к окну, смотрит, как Тамара, провожаемая Гришей, медленно, — Гриша на костылях, — пересекает двор*). Позвал подкрепление своим сумасбродным проектам? Хотите насесть на меня вдвоем?

П е с к о в (*сердито*). Чепуха. Она и понятия не имеет, что я здесь. Черт! Разговор повело в сторону... Жаль, что не договорили...

В и т а л и й. Договаривай. Кто же тебе мешает.

П е с к о в. Не хочу, чтобы Тамара видела меня здесь... Можно переждать? (*Показывает на перегородку*.)

В и т а л и й. Жди, если хочешь. Секретов у нас с ней нет.

П е с к о в (*нетерпеливо*). Ну, как? Может, сейчас ответишь на мое предложение... или поразмыслишь на досуге?

В и т а л и й. Досуга у меня мало. Есть две догадки.

П е с к о в. Давай, давай...

В и т а л и й. Ты мне почему предложил... именно мне? Рассчитываешь меня легко подмять и стать хозяином объединенного предприятия. Хозяином, слышишь? Докажешь советской власти, что выгоднее сдать тебе все в аренду. Небось слыхал о партийных спорах насчет государственного капитализма? Слыхал, слыхал, ты ведь всезнайка. Так вот, не будет! И еще: хотел сыграть на моем самолюбии. Откажусь взять тебя на завод — значит, боюсь. (*Нагнулся к нему почти вплотную; тихо.*) Не боюсь.

П е с к о в. Играешь в заправдашнего руководителя? Играй, играй. Только вдруг твои самые главные руководители возьмут — да все и переиграют. Не забыл позапрошлогоднюю весну? (*Идет к двери в перегородке.*) Кстати, твоя поездка в уезд готовит тебе некий любопытный сюрприз. Посмотрим, кто кому пригодится... Нет, это не угроза, просто дружеское предостережение...

В дверь стучат.

В и т а л и й (*выждав, пока Песков уйдет за перегородку*). Да.

Входит Тамара.

Т а м а р а (*смущенно, если это не игра*). Здравствуй, Витя. Не помешала?

В и т а л и й. Здравствуй. (*Придвигает ей стул.*)

Т а м а р а (*оглядев помещение*). Небогато обставлен директорский кабинет, небогато. (*Втянула носом воздух.*) Амбре!

В и т а л и й. Разбогатеем — обставимся. Аромат постараемся превратить в райский. Или хотя бы в песковский.

Т а м а р а. Впрочем, тебе идет стиль «аскез». Еще удивляюсь, что ты сидишь на стуле, а не на табуретке...

В и т а л и й. Не на гвоздях... не надеты вериги... Чему обязан видеть тебя в пещере анахорета?

Т а м а р а (*оглянулась на перегородку*). Секретарша?

В и т а л и й. Счетовод ушел в банк, а секретарши у меня нет.

Т а м а р а. Что за директор без штатов? Все равно что без штанов! Извини... Нет, верно, как это ты умудрился не обрасти? Георгий Иванович — частник, бережет рубль, и то у него два помощника — секретарша и снабженец. (*Неожиданно.*) Имеешь шанс получить их в свое распоряжение. Предлагал он тебе работать вместе? (*Виталий молчит.*) Вижу, врать ты пока еще не научился. (*С досадой.*) Эх, опоздала тебя предупредить!.. (*Пылко.*) Витя, хочешь, встану перед тобой на колени? Если согласился — откажись! (*Опускается на колени перед Виталием.*)

В и т а л и й (*поднял ее с колен, усадил на стул*). Не валяй дурака. Хватит с меня Пескова...

Т а м а р а (*с мгновенной реакцией*). Когда он у тебя был?

В и т а л и й (*после секунды растерянности*). Когда! Он валяет дурака всю жизнь. Думаешь, верю хоть одному его слову?

Т а м а р а. Тому, что он тебе предложил, можешь верить. Но должен знать, что из этого получится. Вернее, на что он рассчитывает. А поскольку он... хитрее тебя...

В и т а л и й (*улыбнулся*). Говори уж прямо — умнее.

Т а м а р а. Да, в делах безусловно умнее. Поэтому...

В и т а л и й. Слушай, чего ты боишься? Перестанешь быть фабрикантшей?

Т а м а р а (*искренне*). Дурачок! Он сожрет тебя с потрохами!

В и т а л и й. Так. Неясно одно: зачем ты меня предупреждаешь. Продаешь Пескова, ибо нашла в своем кабаке другого победителя? Или задумала какой-то сверххитрый ход... в свою или его пользу?

Т а м а р а (*как-то сразу отяжелела*). Не угадал. Пескова мне не продать. Он без меня, как и без тебя, не пропадет. А что тебя мне жалко — мог бы и сам смекнуть. Кроме того... (*Замолчала.*)

В и т а л и й. Ну, ну?

Т а м а р а. Ладно. Сладенького понемножку.

В и т а л и й (*задумчиво*). Значит, не до конца про-

даешь. Не как меня в свое время... (*Порывисто распахивает дверь.*) Георгий Иванович!

Т а м а р а (*выпрямилась*). Ах, так?

Из-за перегородки никто не вышел. Виталий заглянул туда — никого нет. Подошел к окну, жестом подзывает Тамару.

Т а м а р а (*подбежав к окну, видит удаляющегося через двор Пескова*). Какое свинство! Почему ты мне не сказал? Сговорились! Какие вы оба... (*Пыталась подыскать слово.*) Ну что ж, вам же хуже!.. Смотри, Алексей вышел из проходной... Боже мой, что он!.. А-а-а!! (*Отшатнувшись, закрыв глаза руками, кричит.*) Зачем?! Зачем?!

Виталий, не обращая на нее внимания, бежит к двери.

З а т е м н е н и е

Тот же кабинет, если можно так назвать эту неприглядную комнату. В и т а л и й и А л е к с е й сидят посередине, стул против стула, почти касаясь коленями. Алексей трезв и мрачен.

В и т а л и й (*нетерпеливо*). Ну, ответишь ты толком?

Алексей молчит.

Хоть пожелай Пескову поправиться, не то тебе будет худо.

А л е к с е й. Пускай.

В и т а л и й. Если никакого оружия не приготовил, просто схватил кирпич, значит, ударил не предумышленно?

А л е к с е й (*упрямо*). Нет. Думал. Хотел прикончить.

В и т а л и й. Но за что? За что?

А л е к с е й (*вскочил*). За все!.. (*Сел.*) Вчера пришли забирать Зинаиду.

В и т а л и й. В чем дело?

А л е к с е й (*сжал кулаки*). Давно надо было посадить. Первая самогонщица на деревне... А кто научил? Кто развратил всю деревню? Пятнадцать домов гнали

первач для его фабрики. Он же, черт его знает как, очищал это зелье под свой одеколон и духи... Знахарь! Колдун! *(Опять вскочил.)*

В и т а л и й *(резким движением заставляет его сесть)*. А ты что смотрел? Сам каждый день прикладывался к сивушной чаше. А расплачивается Зинаида.

А л е к с е й *(отмахнулся)*. Да нет, не забрали ее. Как раз накануне вдребезги разнес аппарат. Ревела белугой... Тут милиция и нагрянула... Ан в сарае ничего нет. Зинка воображает, что я заранее про обыск узнал. Одно твердит: «Спасибо, спасибо, Лешенька!» И опять в рев... *(После паузы.)* Жалею, что выбросил аппарат. Пусть бы нас всех забрали!

В и т а л и й. Остальные хозяева тоже успели все поломать и выбросить?

А л е к с е й *(хмуро)*. Кто как.

В и т а л и й. Словом, ты в передовых. Не мог мне раньше сказать? Вместе подумали бы, как его прижать к ногтю.

А л е к с е й. Вместе! Ты же ему простил Тамару...

В и т а л и й. Мы не в каменном веке — глушить соперника кирпичом.

А л е к с е й. В каменном веке, я слышал, кирпичей еще не фабриковали.

В и т а л и й. Тоже верно. *(Снимает трубку.)* Барышня, двадцать два, два нуля... Я подожду. *(Держит трубку около уха.)*

А л е к с е й *(возбужденно)*. Знаешь, что этот стервец советовал? «У тебя, говорит, есть полная возможность через год-два с гордостью про себя сказать: «Я советский кулак!» — «Как ты, — говорю, — совбуржуй?» А он: «Забыл, за что боролся в Кронштадте?» Слышишь? Нет, слышишь? Все с усмешечкой... И ты за этого провокатора заступаешься!

В и т а л и й *(в телефонную трубку)*. Больница Склифосовского? Товарищ дежурный, сегодня к вам привезли гражданина Пескова... Да, Георгий Иванович... тридцать пять лет... *(Слушает.)* Так. Сотрясение мозга... Состояние тяжелое? *(Слушает.)* Что, что? Просил вызвать милиционера?.. *(Оглянулся на Алексея.)* Так... *(Слушает.)* Не похоже, что бредит?.. Нет, это говорят как раз с мыловаренного... Спасибо. *(Повесил трубку.)* Алеша, ступай и скажи Грише-чистенькому, чтобы выдал тебе совок, метлу и показал, где зола. Будешь посыпать двор. Песков пожаловался на голо-

лед, сказал, что упал и расшибся. Штрафовать, говорит, их к чертовой бабушке!.. Как тебе нравится это великодушие?

А л е к с е й. Выйдет из больницы — добыю.

В и т а л и й. Не надоело?

А л е к с е й. Скажи, пожалуйста, он меня простил! Фарисей! Умильное рыло!.. Я... я его не прощаю!.. Витя, если не хочешь, чтобы я его добивал, звони в милицию.

В и т а л и й. Это еще зачем?

А л е к с е й. Сообщи, что классового врага и супостата Георгия Пескова звезданул бывший матрос, а ныне рядовой середняк Алексей Козулин!

В и т а л и й. Леха, не дури. В прошлом году я сам, как ты знаешь, ломился в юродивые: «Пропустите, я красный партизан-эпилептик!» Считал, что после военных геройств сразу получим готовый коммунизм... Оказалось, надо его еще горбом заработать.

А л е к с е й (*не слушая*). Звони, говорю, не то...

Телефонный звонок.

В и т а л и й (*взял трубку*). Да, Гриша. (*Слушает.*) Ты окончательно решил? Ну что ж, поставим вместо тебя дядю Сашу. (*Повесил трубку.*) Еще один жаждущий отдаться в руки правосудия. (*Надевает шинель.*) Нет, нет, идем со мной. Лошадь-то накормил? Через час отправляемся по следам твоего супостата. Не веришь? Зря.

Алексей нехотя идет за ним к двери.

З а т е м н е н и е

КАРТИНА ВОСЬМАЯ

Вечер. Лариса Михайловна сидит рядом с молоденькой ученицей, которая разучивает на рояле этюды Черни. Анюта печатает на машинке, стоящей на обеденном столе рядом с чайником. В результате получается малоприятная для уха звуковая смесь.

Л а р и с а М и х а й л о в н а. Свободнее правую

кисть. Ошибка. Повторите, пожалуйста, этот такт... Нет, Лолла, будьте добры с начала...

А н ю т а (*изнемогая*). Вы скоро кончите?

Л а р и с а М и х а й л о в н а. Сейчас, сейчас, Анюточка... (*Смотрит на часы.*) Боже мой, неужели и сегодня не вернется? В старой, худой шинели, в такой мороз!.. Лоллочка, я вас жду послезавтра. Повторите пятнадцатый и шестнадцатый этюды и начните разучивать сонатину. Хорошо?

Л о л л а (*порывисто повернулась вместе со стулом*). Лариса Михайловна, можно я у вас посижу? Дома так скучно...

А н ю т а. А у нас весело?

Л о л л а. Все-таки разнообразие. Например, я вашего брата еще не видела...

Л а р и с а М и х а й л о в н а. Конечно, Лоллочка, оставайтесь. Дать вам книжку?

Л о л л а. Я так посижу. Для мебели.

Л а р и с а М и х а й л о в н а. Не поняла...

Л о л л а. Когда человек в комнате не очень нужен, говорят: «Он для мебели».

В прихожей звонят. Анюта идет открывать.

Л а р и с а М и х а й л о в н а (*радостно*). Витюша! (*Бежит к двери.*)

Входят Анюта и тетя Надя. Тетя Надя заматана платком, в валенках, в полушубке. Лицо не то озябшее, не то заплаканное.

Надюша, какими судьбами! Здравствуй! Ты одна?

Т е т я Н а д я. Лара, можно мне у вас немного пожить? Пока подышу комнату...

А н ю т а. Тетя Надя, конечно... но что случилось?

Т е т я Н а д я. Больше я не могу! Это какая-то холодная машина... перемалывает своих, чужих — ему все равно! На днях выгнал сына... Я понимаю, парень паршивый, что-то натворил в городе, но просто сказать ему: «Убирайся! Довольно я с тобой цацкался. Останешься — сдам в милицию...» Анатолий, конечно, убрался, а когда я о нем заговорила, так этот зверюга... (*Расстегнула полушубок, отвернула ворот кофты.*) Смотрите, чуть не задушил...

Л о л л а. Как интересно! А у нас папа все только жалуется на налоги...

А н ю т а. Лолла, идите домой.

Л о л л а. Нет. (*Села в угол.*) Родного брата вы тоже погнали бы?

Л а р и с а М и х а й л о в н а. Надюша, ты голодна. Раздевайся, садись к столу.

Т е т я Н а д я. По правде сказать, я хотела бы лечь. Не спала две... нет, три ночи. Сразу к вам не пошла, кочевала по вокзалам...

Л а р и с а М и х а й л о в н а. Боже мой! (*Хлопочет.*) Где тебе удобнее — на Анютиной, на моей кровати?

Т е т я Н а д я (*стаскивая полушубок, валенки, толстые шерстяные чулки*). Пока в поездах ездила, хоть через ночь спала. Черт с ним, не подохну... опять поступлю в проводники... Лара, а ты разве уже не служишь?

Л а р и с а М и х а й л о в н а (*грустно*). Да, Надюша, меня сократили... там играет теперь секстет домр. Но ничего, Георгий Иванович мне рекомендовал ученицу... Надюша, ты спишь?

Та не отвечает.

Спит...

Л о л л а. Муж не явится ее душить?

Л а р и с а М и х а й л о в н а. Тихо, Лоллочка, пусть тетя Надя поспит... (*Беспокойно.*) Анюточка, кто-то за дверью шуршит!..

А н ю т а. Не слышу. (*Однако идет и открывает дверь.*)

На пороге мужчина в романовском полушубке, в белых бурках и каракулевой высокой шапке.

И л ь я Н и к а н о р ы ч (*снимает шапку*). Мое почтение. (*Равнодушно скользнул взглядом по спящей жене.*) Виталий Павлович дома?

Л а р и с а М и х а й л о в н а (*растерянно*). Нет, Витюша в отъезде... ждем... А Надюша устала, прилегла... Да вы снимайте шубу... Давно из деревни?

Илья Никанорыч (*надел шапку*). Сегодня. Завтра загляну.

Лариса Михайловна (*нерешительно*). Надюше что-нибудь передать?

Анюта. Мама!

Илья Никанорыч (*усмехнулся*). Пускай отдыхает. (*Пошел к двери.*)

Дверь открылась. Появляется Виталий.

Лариса Михайловна (*радостно*). Витюшенька! Не замерз?

Виталий (*весело ее обнимает*). Видишь, как меня упаковали! (*Ласково кивает сестре.*) Вы все здоровы? (*Снимает тулуп и шинель.*) Батюшки, сколько людей, какой почет!.. А это что за девочка?

Лолла (*вдруг делает реверанс*). Лолла. Можно мне на вас посмотреть... минут двадцать?

Виталий. Хоть два часа, девочка. (*К мельнику.*) Илья Никанорыч, как удачно! А я вас хотел спросить — по какой цене пойдет постное масло?

Пауза, во время которой Илья Никанорыч, набычившись, снова снимает шапку.

Я-то ломаю голову: почему мужички не везут его нынче в город? А в уезде мне говорят: наш мельник скупил все льняное семя, теперь у него и маслобойня и мельница!.. Поздравляю! Георгия Ивановича не взяли в компанию?

Илья Никанорыч (*мрачно*). Без надобности. (*Помолчав.*) Масло я вам доставлю оптом. Убытку не потерпите. В котором часу завтра заглянуть?

Виталий. Да лучше с утра. Стало быть, отказались от своего плана — придержать сырье, пока я не объединюсь с Песковым?

Илья Никанорыч (*злобно*). С этой сволочью я не хочу иметь дела.

На пороге стоит Песков, как всегда подтянутый, элегантный.

Песков (*весело*). Почему вдруг? Помню, две недели назад... Впрочем, о делах после. (*Ко всем.*) Здравствуйте, дорогие домочадцы и гости! Как приятно видеть людей не в больничных халатах... Я ведь сбежал оттуда еще вчера, раньше срока!

Виталий. Да? Вероятно, заставили неотложные дела. Решил махнуть к Илье Никанорычу, но увы — разминулся...

Песков (*подозрительно*). Вы что — вместе в столицу прибыли?

Виталий. Просто, зная тебя, догадался: не терпелось продолжить свою интересную игру. «Перебор... недобор... чёт... нечет...» — как говорил один неглупый финн. Правда, не по твоему адресу. Любопытно, когда скажешь «пас»!

Песков. Мне самому любопытно. (*Мельнику.*) Продал меня, Никанорыч?

Илья Никанорыч. Много ли ты стоишь, чтобы тобой торговать!

Песков. По отдельности мы с тобой, может, и ничего не значим, а вместе бы все же сила. Временная, конечно. Пока другая окончательно не взяла верх...

Илья Никанорыч (*недоверчиво*). Это какая же? (*Взглянул на Виталия.*)

Песков (*усмехнулся*). Верно. Так ведь тоже начал соображать. Понял, что за его плечами стоит: можно сказать, не сила, а силища... пробивной таран! (*Помолчав.*) Кроме того, голубчик, один товарищ недавно ответственно заявил: «Отступление кончилось». До сих пор он как будто не ошибался. (*Илье Никанорычу.*) Да что тебя просвещать, ты же сам сюда прибежал... Вот и я! (*Серьезно и даже грустно глядит на Виталия.*)

Виталий. Ты в прошлый раз говорил насчет близящейся победы буржуазии.

Песков (*раздраженно*). Я тогда же сказал, что шутил!

Виталий. Понимаю. Ты часто шутишь. Ради шутки научил Зинаиду и ее деревенцев варить самогон?

Песков (*вызывающе*). Нет, всерьез! И пусть республика мне скажет спасибо: сэкономил для нее хлеб — выучил варить спирт из картошки. Спирт, подчеркиваю. Настоящий ректификат высокой пробы.

Виталий. Так тебе же понадобился.

П е с к о в. И горжусь этим. Слышал, чтобы кто-нибудь превращал самогонку в духи? Думаю, ни один великий химик не взялся бы...

В и т а л и й. В этом-то я как раз уверен.

П е с к о в. Иронизируешь. А ты бы не пренебрегал первоклассным...

В и т а л и й. Самогоном?

П е с к о в. Грубо. *(Ткнул себя пальцем в грудь.)* Технологом! Слышал, что существуют нефтяные отходы, которые можно употребить в мыло? Что улыбаешься?

В и т а л и й. Умиляет твоя уверенность, что ты на экзамене проваливаешь студента. Имеешь в виду щелочные отходы от очистки керосина и бензина?

П е с к о в. Значит, слышал... Но фокус в том, что нефтяная промышленность только-только начала восстанавливаться. Мы первыми пустим эти бросовые отходы в дело!

В и т а л и й. «Мы». Это кто?

П е с к о в *(с сердцем)*. Мы, простые антисоветские люди! Считаешь меня все контриком?!. *(Помолчав.)* Ну, извини. Мне казалось, ты уже не против, чтобы моя фабричонка влилась в твое госпредприятие. Зря опасался каких-то подвохов. Государство правильно делает, что верит людям вроде меня... а то и значительно хуже...

В и т а л и й *(невоЛЬНО)*. Хуже?

П е с к о в. А что, не бывает?

В и т а л и й. Бывает. Но знаешь, мне легче иметь дело с откровенным врагом.

П е с к о в. Чем я тебя не устраиваю?

В и т а л и й. В основном, двусмысленностью, страстишкой к двойной игре.

П е с к о в. Предпочитаешь врага; аккуратно зарегистрировавшегося на бирже контрреволюционного труда, имеющего предъявить по первому требованию свой честный вражеский послужной список. Ну что ж, дело вкуса. Я, скажем, тоже бы предпочел коммуниста, который, как господь бог, не брезгует черной работой: из человеческой грязи готов лепить подходящих для такой же черновой работенки адамов. Чтобы рыть котлованы для закладки фундамента под социализм, не нужны праведники и ангелы... вроде тебя...

В и т а л и й. Признайся, весь твой расчет был на то, что эти котлованы пригодятся для фундамента под капитализм. Плохо ли? Но ты, кажется, понял, что все решающие судьбу страны заводы и фабрики наши и ни-

когда твоими не будут. Страна не только зализывает раны, она начинает строить. В двух кварталах от известной тебе мыловарни восстанавливают, по существу оборудуют заново, большой химический завод. И я мечтаю на нем поработать... Конечно, когда сдам экзамен по мылу... Но сдавать его буду не тебе!

П е с к о в (усмехнулся). Зато намерен прочесть мне курс политграмоты. Лучше прочел бы его самому себе год назад... Забыл свой перепуг? *(Пошарил в кармане пиджака, словно хотел что-то достать.)* Короче: будем или не будем мы вместе работать?

Вбегают Т а м а р а. Не понять, подслушивала она или у нее сработала интуиция.

Т а м а р а (страстно). Витя, не связывайся с ним, умоляю! Не соглашайся! Зачем он тебе? Ты уже доказал, что великолепно можешь один! *(Горько.)* Это тебе говорит царица Тамара!

В и т а л и й (вежливо выслушал ее, повернулся к Пескову). Хорошо, взвесим в последний раз. Вероятно, есть смысл использовать твой опыт и знания. Но можно и обойтись. Существует предел нарушения моральных норм, ты его давно перешел. Ты прав, и из грязи приходится лепить людей, и даже, возможно, чаще, чем из более благородных материалов. Но я воздержусь. Мне бы вылепить самого себя!

П е с к о в. Пока, так сказать, не запачкался об меня? *(Встает.)* Желаю успеха.

И л ь я Н и к а н о р ы ч (тоже встал, зверем глядит на Пескова). Нет, погоди. Кто сегодня в больнице помер? Спровадил Гришка ненужного свидетеля и помощника... Это не ты ли его научил?

Общее движение.

В и т а л и й (резко). Что произошло?

И л ь я Н и к а н о р ы ч. Как Анатолия забрали... *(показывает на Пескова)* по наущению его дамочки...

Тамара в смятении выскальзывает из комнаты.

Гришка в первую же ночь его в камере зарезал. Тюрма называется! Не могли уберечь...

Т е т я Н а д я (уже давно сидит на кровати). А ты?

Своими руками подставил под нож... Кто Гришку до ненависти довел? Пять лет его на коротком поводке держишь... Ты зачем сегодня приехал в Москву? Хоронить... или торговать?..

П е с к о в. Торговать, ясно! (*Мельнику.*) Все равно тебя изничтожат, как мироеда!

И л ь я Н и к а н о р ы ч (*с достоинством*). Все может быть. Своевременно. И со мной и с тобой!

П е с к о в (*потеряв выдержку*). Врешь! Со мной ничего! Меня оценят дороже платины! Я стану главным советником ВСНХ! Академиком! Спецбм высшей марки! А тебя смеют твоими же жерновами! (*Вытащил из кармана шнурок.*) Говорят, кусок веревки от повешенного займет — к счастью... А у меня, гляди, вся целехонька! (*Виталию.*) Забыл, как я тебя спасал! Дурак я, вдвойне дурак! Считал, что эта веревочка нас повязала... Ладно! (*Пытается взять себя в руки. Судорожно сует шнурок то в один, то в другой карман.*) Тамара, идем к домашнему очагу! (*Оглянулся.*) А, ее уже нет... (*Уходит.*)

Л а р и с а М и х а й л о в н а (*сокрушенно*). Совсем упал духом Георгий Иванович...

В и т а л и й. Ничего, еще постарается воспрянуть. Мамочка, как насчет чаю?

Все облегченно зашевелились, задвигались. Илья Никанорыч аккуратно надел, снял, снова надел, снова снял шапку.

И л ь я Н и к а н о р ы ч. Стало быть, утречком, Виталий Павлович? Мое почтение! (*Тактично уходит, держа шапку в руках.*)

Л о л л а (*восторженно*). Если бы вы знали, как я не хочу домой! Виталий Павлович, можно я еще посижу минут пять?

В и т а л и й (*мягко*). Хоть целый вечер, девочка. (*Берет из ее рук ноты.*) Ты что сейчас играешь с моей мамой?

З а т е м н е н и е

Та же комната. Виталий и Лолла сидят за роялем и старательно разыгрывают скучнейшие упражнения.

В и т а л и й. Ошибка. Начнем сначала... И — раз! И — два!.. (*Играют.*)

Сперва кажется, что в комнате больше никого нет — заглянула А н ю т а и сердито скрылась, — но, приглядевшись, видим в сторонке сидящую на кровати тетю Надю и подле нее на стуле Л а р и с у М и х а й л о в н у.

Л а р и с а М и х а й л о в н а *(негромко)*. Я знаю, почему ты ушла от Ильи Никанорыча. Вовсе не из-за его сына... и не потому, что он тебя чуть не придушил. Просто вы очень разные люди. Ты не могла оставаться с человеком, с которым и словом не перемолвишься, не то что одинаково думать... Кто-кто, а ты уж хватила лиха... и все-таки осталась интеллигентной женщиной. *(Неожиданно.)* А вот Тамара — нет! И знаешь, я теперь рада, что она не с Витей, а с Георгием Ивановичем...

Т е т я Н а д я. А по-твоему, он...

Л а р и с а М и х а й л о в н а *(убежденно)*. Главный контринтеллигент... не знаю, есть ли такое слово. Несмотря на все свои таланты и респектабельность... Потому они с Витюшей и враги, враги до гроба. Ты слышала их сегодня? Я горжусь Витей!

Рояль звучит то тише, то громче.

Т е т я Н а д я. А что такое Анюта?

Л а р и с а М и х а й л о в н а *(сдержанно, для нее это больной вопрос)*. Она нарочно себя сушит. *(Опять неожиданно.)* Ничего не поделаешь, старые девы и при коммунизме останутся.

Т е т я Н а д я *(улыбнулась)*. А эта девочка, дочка нэпмана?

Л а р и с а М и х а й л о в н а *(недовольно)*. Нэпмана, дворника, палача, водовоза... какое это имеет значение! Она будет интеллигентной. Будет. Я заметила в ней хорошие порывы.

Сильнее звучит рояль.

Т е т я Н а д я. Лара, а ты меня удивила. Рассуждения, прямо скажу, туманные... но что-то в них есть.

Л а р и с а М и х а й л о в н а *(обрадовалась)*. Правда? Есть, есть, ты увидишь... Интеллигенция еще прекрасно себя проявит. Россия будет ею гордиться. *(Оза-*

боченно.) Я не похожа на Валаамову ослицу... помнишь, которая заговорила?

Т е т я Н а д я. Ну почему? Скорее, устами младенца...

Л а р и с а М и х а й л о в н а (*заразительно смеясь*). Глаголет истина! (*Вдруг бесшабашно хлопает тетю Надю по коленке.*) Люблю твою прямогу, Надюшка!

Рояль замолк.

В и т а л и й (*Лолле*). Нет, ты небрежничаешь... так нельзя. Давай сначала.

Л о л л а (*жалобно*). Я неспособная...

В и т а л и й. Мало ли... Зато волевая. Думаешь, я способный? И — раз! И — два.

Играют. Сцена темнеет. Этюды опять звучат, мерно, настойчиво, но все громче, громче, — это уже похоже на удары большого колокола.

З а н а в е с

1970



ВОСПО-
МИНАНИЯ

СОЛОМЕННАЯ СТОРОЖКА

КРАТКИЕ ЗАПИСИ УСТНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ
СОТРУДНИКОВ, УЧЕНИКОВ И РОДНЫХ ВАСИЛИЯ
РОБЕРТОВИЧА ВИЛЬЯМСА *

Зимой 1948—49 года я часто бывал в Москве. Жил в Большом Афанасьевском переулке (нынче улица Мясковского), в нижнем его конце, ближе к Кропоткинским воротам. День я обычно проводил так. Утром шел к станции «Дворец Советов» и ехал в метро до площади Дзержинского; подле магазина «Детский мир» садился в троллейбус № 3 и доезжал до кольца; на Хуторской улице пересаживался в 1-й или 51-й трамвай и с этой минуты уже начинал нетерпеливо считать остановки, их было восемь: Бутырская застава, Научный городок, Соломенная сторожка, Райсовет, Красностуденческий проезд, Опытное поле, Пасечное поле и, наконец, Тимирязевская академия. В Тимирязевке я проводил иногда целый день.

Чем же я там занимался? Министерство сельского хозяйства заказало киностудии «Леннаучфильм» картину о знаменитом почвовед-е Василии Робертовиче Вильямсе — к десятилетию со дня его смерти. Сценарий для фильма я написал, министерство его одобрило, студия приняла к постановке... Увы, к тому времени в газете «Правда» появилась большая, на две полосы, статья академика Т. Д. Лысенко, где он подверг строгой критике некоторые положения агрономического учения Вильямса, — и фильм «Старший агроном Советского Союза» не осуществился.

Но тут оказалось, что за минувший год я так увлекся личностью Вильямса, что продолжал собирать о нем биографические сведения. Встречался и разговаривал с самыми разными людьми, хорошо его знавшими, — от

* Записи сделаны мной в 1948 — 1949 гг. — Л. Р.

известных профессоров до уборщиц. В результате передо мной возникла любопытнейшая фигура, о которой мне хочется сейчас (лучше поздно, чем никогда!) рассказать хоть немного. Признаюсь, когда-то хотел я о Василии Робертовиче написать целую книгу, — теперь уже не успею, да и накопилось много литературных долгов...

Судьба Вильямса не проста, и еще неизвестно, так ли я написал бы о нем тогда, почти сорок лет назад, как думаю о нем теперь. Думаю, разумеется, независимо от того, сознательно нынче замалчивают Вильямса или просто о нем подзабыли... На взгляд некоторых, он вообще зловещая фигура, если вспомнить его иные резкие выступления.

А вот в записанных мною в конце сороковых годов воспоминаниях влюбленных в него сотрудников он совсем другой. Как мог бы дурной человек внушить любовь к себе десяткам, сотням очень разных людей, оставить по себе такую добрую память? А его необыкновенная работоспособность, даже когда он был уже тяжело болен. Как складывается отношение окружающих к такому противоречивому человеку? Может быть, это и есть самое интересное. Прощают они или не видят его нетерпимости? Считают страстной прямоотой во имя науки? Сами вовлечены в эти страсти, будучи тоже неплохими людьми?

Да, надо доискаться правды в случае с Василием Робертовичем.

Начну с эпитафии, который я хотел предпослать книге. Не надо думать, что его смысл и слог должны были придать моему повествованию иронический, а то и сатирический характер. Просто мне тогда представлялось, что, будь жив Вильямс, ценивший, любивший шутку, ему понравились бы эти слова, тем более что они были взяты из столь неожиданного для его науки источника:

«...Почва была капризна и производила все, за исключением того, что сеял мудрый агроном; роскошные плевелы указывали на то, что влаги достаточно; изобилие папоротника — на то, что черноземный слой глубок; разрослась крапива, напоминая, что некогда почва хорошо удобрялась; глубокие борозды, попадавшие в самых недоступных для плуга местах, служили доказательством, что земля недавно обрабатывалась... Но напрасно бедный Триптолем применял всевозможные

способы обработки, чтобы получить хоть какой-нибудь урожай».

Вальтер Скотт, «Пират»

Затем хочется мне, пусть с опозданием, поблагодарить одну из преданнейших учениц Василия Робертовича — Наталью Петровну Колпенскую, — как бы посвятив ей этот запоздалый очерк. Как сейчас слышу легкий стук ее каблучков, когда она, накинув на себя шубку, водила меня из корпуса в корпус здания Тимирязевки, неутомимо знакомя с сотрудниками и учениками Вильямса. Наталья Петровна, как и Василий Робертович, обладала чувством юмора, что значительно облегчило мне знакомство и общение с ее сослуживцами. Устные воспоминания их о своем учителе я старался записывать как можно точнее, детальнее, что было для меня далеко не просто: магнитофонов в ту пору еще не водилось, а стенографии я не знаю.

Я немало сейчас колебался — чье воспоминание поместить первым, и остановился на самом длинном. Оно принадлежит профессору Михаилу Григорьевичу Чижевскому и похоже скорее на его биографию, впрочем тесно связанную с Тимирязевской академией и лично с Василием Робертовичем Вильямсом. Записана она мною как очерк, в котором Чижевский говорит о себе в третьем лице. Текст несколько суховат, а в отдельных местах явно тенденциозен — там, где дело касается враждебной Чижевскому реакционной профессуры двадцатых годов или противников учения Вильямса в тридцатые годы, но все-таки достаточно достоверен и основателен.

Остальные воспоминания так или иначе дополняют этот большой очерк, дорисовывают портрет Василия Робертовича, знакомят нас и с его домашним бытом.

Профессор Чижевский Михаил Григорьевич. Директор Почвенно-агрономической станции. При жизни В. Р. Вильямса — замдиректора.

М. Г. Чижевский, рабочий из Гомеля, приехал в 1919 году в Москву. Он был в шинели, только что демобилизовался, Москва встретила его голодом, мерзлой брюквой вместо хлеба, пустыми квартирами в иине, в которые можно было без помехи зайти и не найти там ни крошки съестного.

Чижевский поступил в Петровскую сельскохозяйственную академию, которая как раз в те годы в значительной степени меняла свой учащийся состав. В академию пришло пять тысяч новых студентов — рабочие, сыновья сельских учителей; пастухи, батраки. Сразу же начались битвы со старым студенчеством, принадлежащим к привилегированным классам. На первых порах эти битвы кончились победой реакционного, или, как его называли, белогвардейского, студенчества. Представители его завоевали большинство в Исполбюро, что имело значение и для составления учебных планов, и для распределения стипендий, и пр. Кроме того, представители Исполбюро входили в Правление академии.

Пролетарское студенчество победило только через три года, в 1921—22 гг. Именно тогда было выбрано свое Исполбюро.

Стычки с «белогвардейцами» переходили иной раз в потасовки. Страсти разгорались главным образом на собраниях. Однажды «белогвардейцев» выгнали из химической лаборатории. Наряду с этим, конечно, велась и серьезная работа, связанная как с учебой, так и с самоуправлением академии. Пролетарские студенты встречались с Вильямсом и всегда получали от него ободрение, советы, помощь.

В 1922 году Вильямса выдвинули в руководство академии. Вильямс начал ожесточенную борьбу с реакционными силами академии. В лекциях Вильямс указывал на необходимость плановой организации сельскохозяйственного производства. Это будило мысль студентов. Многие из тогдашних студентов впоследствии выдвинулись, стали учеными, государственными деятелями.

В те годы были основаны предметные комиссии на факультетах, состоящие из студентов, которые ограничили абсолютную власть «феодалов» — заведующих кафедрами и деканов. Предметные комиссии рассматривали учебные планы, программы, принимали участие в выдвижении и утверждении аспирантов.

Вильямс тогда поставил задачу перед пролетарским студенчеством: овладение командными высотами в науке. Прежде в аспирантуру выдвигали единолично заведующие кафедрами. Эта традиция была сломана.

Чижевский, только что кончивший академию, был выдвинут с помощью студенческой фракции практикантом на опытное поле, где всем руководил Алексей

Григорьевич Дояренко, тогдашний заведующий кафедрой земледелия. Это был уже 1924 год, но Дояренко продолжал утверждать, что «умная голова мужика-хозяина сама выбирает из короба агрономии то, что ему надо на 10 гектарах». Типичная кулацкая установка!

Дояренко встретил Чижевского недоброжелательно и прозвал «коммуноидом». (Вскоре это прозвище было применено реакционной профессурой и к самому Вильямсу.) Тема, которую взял себе Чижевский — «зяблевая обработка почвы», — столкнулась с теориями Дояренко. Чижевский защищал ее не слишком удачно, Дояренко удалось его запутать в вопросе о сорняках, и в конце концов Дояренко сказал: «Вы сами не разобрались в своем материале, молодой человек».

Естественно, что обстановка для работы молодого практиканта сложилась трудная. У Дояренко были заведены во всем свои порядки. По воскресеньям к нему наезжали гости с подарками — местные подмосковные кулаки в белых фартуках — и беседовали с ним за большим самоваром.

1925 году осенью кафедра Дояренко должна была пополниться двумя новыми аспирантами. Дояренко буквально выгнал студентов, желавших выдвинуть своих аспирантов. Вильямс же поддержал их. Это был первый случай в академии, когда ректор нарушил негласные правила, отдававшие всю власть на кафедре «феодалу»-заведующему.

На заседании предметной комиссии, которая должна была вынести решение, присутствовало много народу: весь профессорско-преподавательский состав, вся фракция студентов. Дояренко выдвинул своих трех кандидатов и горячо отстаивал их. Чижевскому же дал плохую характеристику. Дальше произошла опять неожиданность: Чижевский сам взялся защищать себя. В своем выступлении он подробно характеризовал Дояренко, его работу, идейное направление, его методы определения структуры почвы и пр. В общем это была удачная и интересная речь, которая произвела хорошее впечатление на присутствующих.

Вильямс предложил председательствующему профессору Ряховскому перед голосованием разобраться в создавшейся ситуации. Ряховский выступил и сказал, что вначале, когда Дояренко рассказывал ему о Чижевском, Ряховский был на стороне Дояренко, но потом он повидался с Чижевским, поговорил с ним, и тот

произвел на него благоприятное впечатление, видно, что хочет и может работать. Сегодняшнее выступление Чижевского еще более убедило его в этом. Он — за Чижевского, он считает, что его кандидатура имеет все преимущества перед названными Дояренко кандидатурами.

Проведенное голосование показало: $\frac{2}{3}$ голосов профессорско-преподавательского состава за Чижевского и за него же вся студенческая фракция.

Но борьба Дояренко с аспирантом на этом не кончилась. На Правлении он так поставил вопрос: «Или я, или он. В случае назначения Чижевского аспирантом покидаю академию...»

Вильямс со свойственным ему хладнокровием поставил кандидатуру Чижевского на голосование, не забыв упомянуть и условие Дояренко:

— Кто за утверждение Чижевского аспирантом, при условии, что Алексей Григорьевич уйдет из академии?

Чижевский был утвержден единогласно, исключая голос самого Дояренко, который весь красный выскочил из кабинета.

Две недели после того длилось вынужденное безделье Чижевского: было совершенно неизвестно, примирится Дояренко с тем, что придется работать с навязанным ему аспирантом, или исполнит свою угрозу уйти из академии. Наконец Дояренко позвал Чижевского к себе в кабинет, и там состоялась волнующая беседа. Маститый, пожилой Дояренко со своей львиной гривой прежде всего сказал Чижевскому, что он недооценивал его. Настойчивость его и твердость, а особенно речь на собрании убедили его, Дояренко, что у нового аспиранта есть будущее. Но, как он сам понимает, вместе им работать нельзя. По-прежнему вопрос стоит так: или он, или Дояренко.

— Я здесь вырос,— сказал Дояренко с чувством,— здесь все мои идеалы. И я должен на старости лет уйти. Умоляю вас, дайте мне возможность остаться...

Под конец он по-настоящему расплакался. На Чижевского этот разговор произвел сильное впечатление. Он почувствовал жалость к профессору, но постарался сохранить выдержку до конца и сказал:

— Я выполню вашу просьбу, Алексей Григорьевич, если это теперь зависит только от меня. Но я хочу, чтобы вы поняли все, сделали для себя все выводы из этой

истории. А сейчас попрошу помнить, что вопрос пока все же остается открытым.

На этом они расстались, и Чижевский пошел за советом к Вильямсу. Вильямс внимательно выслушал его, подумал, — глаза его были в это время то лукавыми, то серьезными, — и затем сказал, что советует забыть о Дояренко и его переживаниях и идти аспирантом к нему, Вильямсу, на кафедру почвоведения.

Чижевский спросил:

— А стоит ли вам меня брать? В глазах многих я скандалист и карьерист... Благодарю вас за предложение, но подумайте и о том, что я, как сотрудник, могу вас скомпрометировать. Надо ли со мной связываться?

Вильямс сердито-добродушно ответил:

— Это пустое. Все изменится. Кастовость в науке надо преодолевать. Ваше дело показать, что ваш брат не лыком шит.

И сразу же сформулировал решение: «В связи с создавшимся положением на кафедре земледелия, переместить аспиранта Чижевского в лабораторию Вильямса аналитиком». (Должности аспиранта в лаборатории не было.) На этом и порешили.

Вскоре Чижевский пришел к Вильямсу и спросил, чем ему заниматься, какую тему взять для исследования. Вильямс ответил, как он всегда отвечал в таких случаях: «Чем хотите». Он всем предоставлял полную свободу действий и требовал только хорошего и смелого выполнения взятой задачи.

Чижевский думал-думал и выбрал тему: поглощение почвой анионов (вопрос, намеченный в работах Гедройца). Вильямс утвердил эту тему. Чижевский стал производить опыты. Начал с физико-химического поглощения. «Украл» у Вильямса немного краснозема. Азотно-кислый калий (50 %) в нем поглотился. А в дерново-подзолистой почве не поглощался. В солонце — поглощался совсем немного. Сообщил Вильямсу о результатах исследования. Вильямс с ним согласился и сказал, что так и должно было быть. Подарил Чижевскому банку с красноземом, сказал, чтобы тот довел до конца опыт и проверил поглощение вытеснением, то есть обратным процессом. При этом научил, как делать коллоидные гидраты железа. По окончании опыта вопрос можно было считать доказанным.

В 1926 году состоялся Менделеевский съезд. Вильямс поручил Чижевскому сделать доклад о произве-

денном исследовании поглощения почвами анионов. С робостью взялся за это Чижевский. Доклад прошел хорошо, это было его научное крещение. До него Чижевский был парией в научной среде, с ним никто не здоровался, считая выскочкой и рабочим нахалом. После съезда начал здороваться даже гордый Прянишников. Но Дояренко все еще смотрел зверем.

К этому времени Чижевский начитался трудов Вильямса, увлекся ими и следующей темой выбрал: как поглощенные катионы * влияют на органическое вещество почвы, их роль как биологических факторов. Вильямс поморщился, но разрешил Чижевскому работать над этой темой. Затруднения начались с технических условий опыта. Чижевский соорудил прибор из воронок и трубок, который Вильямс насмешливо назвал «циклопической постройкой». Сооружение это развалилось, места соединений пропускали воздух. Чижевский отправился за советом к Вильямсу. Тот велел ему взять менделеевскую замазку, с ней дело пошло, у Чижевского начался «медовый месяц» его исследовательской работы. Он выяснил, что почва с натрием превращается почти в камень, с водородом, железом — рассыпается. В ходе работы понадобились еще практические советы Вильямса, которые тот давал изумительно. Сам Вильямс был превосходным экспериментатором, все помнил и знал, как сделать, и мгновенно давал совет, например: «Возьмите бунзеновский клапан».

После окончания работы, во время которой Чижевский по 12 часов не выходил из лаборатории, Вильямс одобрил ее результаты и сказал: «Публикуйте». Большая статья Чижевского была помещена без единого сокращения в трех номерах журнала «Химизация» в 1928 году.

Руководить работой опытного поля кафедры земледелия был назначен Чижевский. Так он вернулся туда, где был практикантом по окончании академии.

В 1933 году состоялась конференция по засухе. Были обсуждены тезисы Вильямса по борьбе с засухой. Было выделено несколько МТС для пробы травопольной системы Вильямса. МТС эти были далеко не из лучших, проводить пробу там было трудно. Но сторонники Вильямса под его руководством с увлечением принялись за

* Положительно заряженные электроны, в противоположность анионам.

дело, и МТС стали завоевывать признание как передовые.

Но и среди его искренних последователей оказывались такие, которые по невежеству доводили его взгляды до абсурда, вредя делу. Известен случай с бороной. Один председатель колхоза, приехав в Москву, решил послушать Вильямса и пришел на лекцию, причем к самому ее концу. Он услышал, что Вильямс бранит борону, доказывая, как она портит почву и вредит урожаю, здорово перетрухнул и, приехав домой, собрал колхозников и запретил им пользоваться бороной при весеннем севе, если они не хотят прослыть вредителями. Ехавший по району секретарь райкома, к своему изумлению, увидел, что колхозники старательно сеют по вспаханному и не взбороненному полю, прямо по огромным пластам и глыбам. Председатель ему объяснил, что так советует делать знаменитый московский ученый Вильямс. Секретарю едва удалось втолковать ему, что для этого почва должна быть предварительно подготовлена осенней обработкой под зябь и всем комплексом агротехнических мероприятий, а он слышал звон, да не знает, где он. Предколхоза со вздохом облегчения согласился: «Я и сам уж вижу — что-то не то делаю!» — и весело побежал распорядиться, чтобы бороновали скорее...

Вильямс всегда прислушивался к добросовестной критике и всегда был готов к самокритике, и не сердился и тем более не мстил, когда с ним спорили. Он много и долго сражался из-за паров, говорил: «Это икона в красном углу, которую пролетариат выкинет». А потом ввел пары в травопольные севообороты, убедившись в их пользе, и стал подчеркивать диалектическое их отличие от паров в паровой системе.

Он не раз выслушивал очень резкие суждения Чижевского, одного из своих близких учеников и помощников. Чижевский ему заявлял так: «Я буду вам говорить то, что я думаю, потому что вы большой человек и вам всегда нужно говорить правду. Я обязан это делать».

Вильямс думал минуты три, потом сказал, как всегда, кратко: «Так и делайте. Мне нужна правда, а не лесть. Надо понять, где я ошибаюсь.— И повторил: — Так и делайте». Вильямс был нетороплив в выводах. Так же неторопливо он и писал. Потому писал прямо набело, точно отчеканивая мысль. Однажды Чижевский спросил, почему он не пользуется стенографисткой, ему приходится так много писать статей. Вильямс ответил:

— Писать мне трудно. Видите, даже другой рукой помогаю. Значит, когда пишу, я думаю. Этак ничего не сболтнешь зря ума.

Почерк его был разборчив, но своеобразен. Однажды он спросил Чижевского, который часто приносил ему на подпись бумаги:

— Ни разу не пробовали за меня подписаться?

— Пробовал,— признался Чижевский,— ничего не выходит.

— О! А это очень просто. Возьмите таракана, окуните в чернильницу и посадите на то место, где нужна моя подпись. Он напишет.

Всегда соблюдая принцип открытого доступа к себе в любое время, Вильямс иногда все же был недоволен, что ему помешали. Как-то сказал Чижевскому, вошедшему в комнату: «А где черт?» — и рассказал анекдот: «Глава семейства увидел в окно тещу и в сердцах воскликнул: «Черт ее принес!» Потом внук ее спрашивает: „Бабушка, а где черт, который тебя принес?“...»

На одном совещании Чижевский сунул куда-то подалее докуренную папиросу. Вильямс заметил это, достал окурочек и, к ужасу Чижевского, положил на самое видное место: «Отсюда скорее уберут».

Вильямс был предельно аккуратен и бережлив, но отнюдь не скуп. Так, например, он писал очень долго одним пером, которое тщательно вытирал тряпочкой, и в то же время от души жертвовал пять тысяч рублей на празднование Женского дня 8 Марта в Тимирязевской академии.

Идеально знал он лабораторную технику. Когда Чижевский только еще начинал работать в лаборатории, Вильямс его попросил вычистить газовые горелки. Чижевский не знал, как это нужно делать, да и не считал важным делом.

«Я вам покажу»,— сказал Вильямс.

На следующее утро, войдя в лабораторию, Чижевский увидел на столе перед Вильямсом пять горелочек и щетку. Вильямс тщательно вычистил одну, другую горелочку, и тут Чижевский уже смекнул: уж если такой большой человек это делает сам, значит... И стал старательно чистить.

«Теперь проверим»,— сказал Вильямс. Зажгли все горелочки. Огонь идеальный. «Правильно»,— сказал Вильямс.

Он сам разбирал и чинил химические весы, сам писал

карточки для своей огромной коллекции образцов и растений. Это особенно поражало: такой мощный ум, такая широта обобщений... и сам этикетки клеит! «А я в это время думаю...»

Это вечное, на всю жизнь, увлечение трудом: шесть часов работал в лаборатории, шесть часов дома,— так каждый день. Чужую небрежную рукопись редактировал так, что она оказывалась неузнаваемой, и автору становилось стыдно за свою небрежность и торопливость.

Последние годы близкие особенно оберегали его здоровье и время и создавали «заслон», чтобы его не беспокоили все посетители, жаждущие к нему прорваться. Узнав об этом, Вильямс рассвирепел: «Почему вы ко мне людей не пускаете? Я сам должен с людьми говорить!» Даже кулаком стукнул по столу.

С иностранцами держал себя с большим достоинством. Когда готовился Международный съезд почвоведов, на котором Вильямс должен был делать доклад, Чижевский спросил его — на каком языке он станет читать, на немецком или английском (Вильямс тем и другим владел превосходно). Вильямс ответил, что на русском. Чижевский сразу подумал: напрасно, надо бы показать иностранцам, что русские ученые в совершенстве владеют иностранными языками, выдать им европейский товар.

— Неудобно,— сказал он Вильямсу.

— Очень удобно,— ответил Вильямс.— Пусть они учатся русскому языку. Наша наука не хуже, а лучше их науки.

Это было сделано совершенно правильно. Иностранцы еще больше заужавали Вильямса и шли потом к нему на прием, как к мировой величине, к мировому авторитету.

В наследстве Вильямса не хватает описаний многих его экспериментов. Эксперимент не был для него священнодействием, а только рабочим моментом в ряду умозаключений и выводов. Убедится, сделает нужные выводы и идет дальше. Этим он отличался от многих ученых, всю жизнь проводящих на «подножном корму», которые плюнуть не могли без предварительного эксперимента. Но этим же он создал трудности для тех последователей, которые хотели бы проверить его выводы. Им приходится заново повторять каждый опыт.

Шуманов Степан Сергеевич. Замдиректора Почвенно-агропочвенной станции. Секретарь партячейки в 1928 году.

Был пастухом. Мальчишкой ушел на фронт. В 1919 году осенью красноармейцы получили подарки. На вагоне было написано мелом: «Бойцам Красной Армии от рабочих и служащих Петровской сельскохозяйственной академии». В госпитале расспросил об этом вузе политрука. Потом был демобилизован, два года заведовал отделом коллективизации Уземотдела. Почувствовал недостаточность своего образования, узнал об организации рабфаков при вузах и решил поступить в Петровскую, теперь Тимирязевскую, академию.

Первые рабфаковцы были в шинелях, некоторые даже в лаптях. Большинство профессоров не подпускали их к аудиториям. Только Вильямс, Каблуков, Демьянов относились к ним с большим вниманием. Постепенно аудитории были отвоеваны, и однажды с Дояренко был такой случай. Пустив их в аудиторию, он распорядился вынести оттуда все учебное имущество. Тогда рабфаковцы вежливо постучались к нему в дверь и напомнили:

— Алексей Григорьевич, вы указочку забыли.

Через минуту опять постучались:

— Алексей Григорьевич, еще тряпочка ваша осталась. И заячья лапка.

После этого Дояренко перестал уносить из аудитории учебное оборудование.

Когда обсуждался вопрос — два или три года должен быть курс обучения на рабфаке, Вильямс был за два года. Он считал, что чем скорее рабфаковцы попадут на основной курс, тем лучше. Стране нужны красные специалисты. И кроме общеобразовательных предметов Вильямс включил в курс рабфака почвоведение с началами земледелия. Сам читал эту дисциплину.

Антагонизм между рабфаковцами и старыми студентами был большой. Различие было и во внешнем виде. Старые студенты щеголяли в форме, а новых студентов они называли мешочниками за то, что те являлись в академию с мешком: авось удастся получить жмыхов или кролика. Среди студентов было много детей попов, кулаков. Как-то раз с одного студента сшибли форменную фуражку, которую он не снял во время пения «Интернационала» и демонстративно остался си-

деть. Потом началась серьезная и открытая политическая борьба. Дело это было трудное: членов партии в 1921 году было всего 17 человек. У враждующих групп студентов все было врозь: отдельные сходки, отдельные литературно-художественные вечера.

Читая на рабфаке лекции, Вильямс спрашивал, все ли понятно. Отвечают: «Не все». Вильямс просматривает их записи.

«Вам надо перестраивать свои мысли. Уметь мыслить не только конкретными и привычными образами, но и абстрактными, обобщенными понятиями. Скажем, почва. Землю вы представляете в виде глины, песка, чернозема, супеси и т. д. Иначе говоря, вы представляете ее конкретно. Почва же, о которой я вам говорю, это нечто уже обобщенное».

После избрания Вильямса ректором (1922), пролетарское студенчество собралось в столовке (теперь это физкультурный зал института механизации). Пригласили на собрание Вильямса. Речей не произносили, прочли только вслух (студент Никитин) предисловие Вильямса к «Общему земледелию» («Расторгнуты вековые цепи...»). Шуманов до сих пор помнит это предисловие наизусть. Тогда это чтение вызвало восторженные овации. Студенты встали и запели «Интернационал».

В 1928 году группа партийцев поставила задачу — видеть Вильямса членом партии. Посоветовались в МК и ЦК. Решено было, в случае согласия Вильямса, принять его в партию без кандидатского стажа. Вскоре после того как Вильямс подал заявление, было созвано вечером открытое партийное собрание. Народу в химичке собралось масса. Много комсомольцев. Вильямс рассказал свою биографию, стал отвечать на вопросы. Чувство юмора не оставило его и здесь, хотя он был очень взволнован. На вопрос, состоял ли в комсомоле, Вильямс ответил: «Сожалею, что родился почти на 60 лет раньше комсомола, а то обязательно состоял бы». (Смех, аплодисменты.)

Во время XIV партсъезда Вильямса попросили написать для студенческой газеты Тимирязевской академии об основах его учения. Редактор газеты и секретарь партбюро прочитали написанную Вильямсом статью и пришли в некоторое смущение: там чувствовалась явная недооценка индустриализации сельского хозяйства. Явились к Вильямсу и откровенно сказали, что

в таком виде они не могут опубликовать статью. Попросили ее переделать. Вильямс заявил:

— Печатайте в таком виде.

— Василий Робертович!..

— Напечатайте, а затем в том же номере или в следующем покритикуйте. Скажите, в чем ошибся. Это и меня и других научит.

Так и сделали. Статья и критика на нее появились во 2-м и 3-м номерах газеты.

Шмырев Валериан Иванович. Ученый секретарь в последние годы жизни Вильямса, научный сотрудник в двадцатые годы.

Институт луговодства (теперь Институт кормов) в Качалкине Вильямс начал организовывать в 1910 году. Хлопоча об этом в департаменте земледелия, он приезжал в Петербург, который вообще недолюбливал, и останавливался поближе к вокзалу, чтобы скорее можно было уехать в Москву... Обычно жил в «Северной гостинице». В министерстве убеждал не скучиться:

— Мы не так богаты, чтобы строить дешево.

Сам набрасывал эскиз проекта, заботясь о том, чтобы в здании было больше света и воздуха. Стены предпочитал окрашивать в цвет слоновой кости. Не позволял никаких лепных украшений и архитектурных финтифлюшек, собирающих пыль.

В трудные двадцатые годы он регулярно ездил в Качалкино, хотя поезд эти 30 километров иногда шел 12 часов, всю ночь приходилось сидеть в неудобном, холодном вагоне, пока во время вынужденных остановок пассажиры запасали топливо для паровоза. Однажды со смехом сообщил, приехав в Качалкино: «А меня молочницы обмочили!..» Оказалось, что его попросили поддержать ребенка, а тот повел себя нехорошо.

Потом стали ходить только телячьи вагоны, а потом поезда совсем перестали ходить, и Вильямс стал нанимать лошадь до Качалкина, но посещения его не сделались от этого менее регулярными. Обычно он приезжал вместе с Ксенией Ильиничной Голенкиной на несколько дней и сразу по приезде начинал себе готовить махорку-самосад, которую рубил, а затем сортировал на ситах, как фракцию почвы. Затем заготавливал массу самокруток и принимался за работу. В Качалкине он писал в то время свою большую работу по луговодству, одно-

ременно руководя работами всех своих сотрудников. Жил и работал он в маленькой комнате, где стояла простая койка, с соломенным тюфяком, на которой он спал. Питался он в общей столовой, где кормили самой простой и скудной пищей, главным образом овощами — брюквой, свекольников.

Несмотря на усиленную работу в Качалкине, он находил время и развлекаться вместе с другими. Сотрудники увлекались тогда домашними оперными спектаклями. Все роли исполняли они сами, да еще приезжали на помощь научные работники академии. Открыв дверь своей рабочей комнаты, Вильямс с удовольствием слушал их спектакли. Однажды перед спектаклем Шмырев проходил мимо сцены и увидел, что какая-то белая фигура возится под сценой. Заглянул и рассмотрел Вильямса в белой рубашке, который выметал мусор и пыль из-под сцены. Оказывается, он накануне заметил, что на репетиции балетных номеров («Половецкой пляски» из «Князя Игоря») облака пыли окутывают танцоров, и решил навести порядок. Можно себе представить, на что похожа была его пикейная блуза, когда он вылез со своей щеткой из-под сцены... Кроме отрывков из «Князя Игоря» ставили «Снегурочку» и «Русалку». Чернобородов (из наркомата) пел мельника, служащий с мельницы — князя. «Кисятник» (сотрудницы и воспитанницы Ксении Ильиничны — тети Кисы) был хором, которым управляла сама тетя Киса. А слушатели и зрители собирались со всей волости. Зал, в котором шли спектакли, предназначен был для музея, который впоследствии и был там организован.

О рубашке. До революции он любил носить пикейные жилеты белоснежной чистоты. Потом долго не могли достать этого материала. Наконец с большими трудностями достали, и Василий Робертович попросил сшить себе широкую блузу с карманами на груди. Такие рубашки он носил уже до самой смерти.

В лаборатории Вильямс обычно сам натирал пол флюритом, специальной паркетной мастики он не признавал. У него для всего был свой метод, он даже спичку зажигал по-особенному, чтобы не отлетала головка. Курил он много, обычно дешевые папиросы «Шутка», «Червонец», «Трезвон» или махорку, как сказано выше.

Как-то раз справляли именины в Качалкине, устроив из этого много веселых развлечений. Долго фильтровали и очищали денатурат с помощью марганцево-кислого

калия. Потом каждый получал свою порцию угощения по шуточной карточной системе — заполняя бесчисленные анкеты, стоя в очереди за рецептами из «аптечного управления» на спирт и пр. Надо было два часа ходить по инстанциям, а пункты эти были нарочно разбросаны в самых разных концах институтских зданий, так что приходилось высунув язык бегать по этажам.

На Ученых советах в Луговом институте Вильямс всегда донимал вопросами: «А это почему?», «А почему это так?». Это называлось «встряхиванием в бутылке».

Последние годы Шмырев был неотлучно при Вильямсе и, кроме научных дел лаборатории и музея, вел многие его депутатские дела, разбирал ежедневную почту, прочитывал Вильямсу письма, отвечал на них вместе с ним. По огромному большинству серьезных, заслуживающих внимания писем принимались меры, чаще всего увенчавшиеся успехом. Нередко приходилось защищать агрономов, проводников взглядов Вильямса, чем-либо не угодивших местному начальству. Но бывали и вздорные письма и просьбы. При этом Вильямс и Шмырев вспоминали известную им резолюцию одного кавказца: «В двух словах о т к а з а т ь».

— В двух словах? — спрашивал Шмырев, приговорясь писать ответ.

— В двух словах, — подтверждал Вильямс.

За несколько дней до смерти Вильямс впервые на памяти Шмырева ответил ему словами «не знаю» на заданный Шмыревым агрономический вопрос (кажется, об укосе травы до цветения). Девятого октября он заболел, а десятого Шмырев уехал по поручению Вильямса в один из подмосковных колхозов. Вернувшись, он нашел Вильямса уже только с проблесками сознания и почти с полной потерей речи. С трудом поняли его жесты, указывавшие на шкафчик, в котором лежали его рукописи. Очевидно, Вильямс хотел, чтобы рядом с его диваном, на стул, положили незаконченную рукопись.

А еще Шмырев уловил какие-то невнятные слова вроде: «сено... трава...» Он и сейчас думает, что это Вильямс хотел ответить ему на вопрос, на который не ответил за несколько дней до болезни.

Не только В. И. Шмырев вспоминал о Качалкине и о самодеятельном театре в Луговом институте в голодные двадцатые годы. Вспоминает о том и Ксения

Ильинична Голенкина, ассистент Вильямса и дирижер женского хора, который называли «кисятником»... Действительно, Василий Робертович умел выкроить время для театра, для музыки, несмотря на свою крайнюю занятость. Ведь одна дорога в Качалкино — и та отнимала порой чуть не целый день. Правда, Вильямс и в эти, казалось бы, пропащие часы умудрялся работать. Вот две странички, набросанные мной в свое время о таком путешествии:

«Недавно еще поезд шел. Медленно, словно на ощупь, тянулся он в темноте через поле, надрывно свистел и томился у семафора, мучительно дергал перед тем, как взять с места, и снова полз дальше.

Движение это, совершавшееся с таким трудом, через силу, сочувственно отмечал про себя каждый. И нещадно дымивший махрой красноармеец в залубеневшей от скопной грязи шинели, и старуха, испуганно прижимавшая к себе граммофон, который она везла менять на картошку, и сытого вида молодчик в новом романовском полушубке, насмешливо шутившийся на остальных пассажиров: ему одному тепло в этом насквозь промерзшем, два года не топленном дачном вагоне, — законный повод всех презирать.

Разные люди ездят нынче по железной дороге. Казалось, Россия чуть ли не вся на колесах: крестьяне и служащие, рабочие и солдаты — все социальные категории, включая племя профессиональных спекулянтов, к которым, наверно, принадлежит этот тип в полушубке.

С особенной остротой ощущал движение Вильямс. Сознание того, что поезд все же идет, преодолевает пространство и время, само по себе было приятно. И пусть вместо одного часа протянутся они до Качалкина пять или шесть часов (случалось и двенадцать, когда пассажирам приходилось запасать для паровоза топливо). В неосвященном вагоне хорошо думалось, разговоры вокруг не мешали.

А подумать следовало о многом. Раньше, главное всего — о предисловии к недавно законченной книге «Общее земледелие», которое он завтра напишет, добравшись до места и выбрав комнату потеплее. Потеплее — значит, поменьше... Вильямс усмехнулся. Шесть лет назад, когда замышлялось и строилось здание Лугового института, Вильямс больше всего заботился о том, чтобы все комнаты были просторными, высокими, светлыми, и безжалостно устранил из про-

екта каморки и закоулки, на которые почему-то так падки иные архитекторы.

— Помните,— строго говорил Вильямс,— вы строите не помещичий дом, а Дворец науки!

Что он намерен сказать в предисловии к книге? Ему не хотелось бы, чтобы оно было чрезмерно ученым, научнообразным. Лучше пусть будут в нем такие слова:

«Беспредельна русская равнина, бесконечны русские поля...— Устремив взгляд в вагонное окно, он словно бы видел сквозь лед и грязь, наросшие на стекло, эти бескрайние поля...— Непрестанна работа русского гражданина над родною своей нивой, и только в ней лежит залог будущей мощи Российской республики... Не беден русский народ, он попирает ногами несметные богатства своей земли, и нужно только уметь и з н а т ь, как взять этот клад, а работа не страшна... И если удастся этой книге о почве пролить хотя бы ничтожный свет знания на тяжелый труд русского гражданина-землепашца и хотя бы немного подвинуть его вперед в умении завоевывать свою будущую великую мощь, цель моей жизни будет достигнута...»

Санина Мария Павловна.

С 1931 года работает в Тимирязевке, с 1934 года — около Василия Робертовича препаратором.

Рабочий день начинался в 8 часов утра. Василий Робертович приходил ровно в восемь, через окно лаборатории. Поднимался из сада по специально устроенной лесенке (с перилами с одной стороны). Сам отпирал замок (для этого ему приходилось распахнуть пальто и достать большой ключ, висящий у него на груди на длинной цепочке), открывал окно и спускался в комнату опять же по лесенке (4 ступеньки). Сначала он ходил от дома до музея пешком с помощью старой няньки своих сыновей Матрены, но однажды они оба упали, и последние годы его привозили на большой машине, с трудом разворачивавшейся между зданием академии, деревянным домиком Вильямса и оранжереями.

Мария Павловна доставала из бюро чернильницу, две ручки с перьями «рондо» и остро отточенные карандаши. Карандаши он любил мягкие — «В», «ЗВ», химических карандашей не признавал (пачкали всё вокруг) и отучил от них своих сотрудников. Часто поль-

зовался цветными, главным образом — синим. Чернилами писал сравнительно редко.

Василий Робертович садился за большой стол, стоявший перед окном, выходящим на площадку, где был когда-то питомник и лизиметры, а впоследствии, когда пристроили новое здание, — выходящим в парк. На столе помещались стаканчики с органическими веществами, электрическая баня для выпаривания жидкостей, на полочке повыше стола стоял большой сосуд с резиновой трубкой (вроде большой стеклянной клизмы) — в нем дистиллированная вода, слева, на уровне стола, водопроводная раковина.

В кармане белой, широкой пикейной рубашки Василия Робертовича лежали папиросы, карандаши. Усевшись, он выкуривал папиросу, думал. Потом принимался за работу.

В 11 часов утра завтракал, читал «Правду». Завтрак состоял из большой чашки очень крепкого чая (три ложки на чашку), бутербродов с маслом и сыром. Сыр он любил вонючий — лимбургский, рокфор, — шутил, что есть еще такой сыр, который сам ползает и за ним нужно смотреть в оба, а то уползет. Бутерброды резались им самим на мелкие кусочки, иначе он не мог есть из-за паралича лицевых нервов, искривившего ему рот.

Завтрак помещался на чайном столике, стоявшем рядом с рабочим столом, и накрывался стеклянным колпаком (крышкой от эксикатора — прибора, изолирующего от наружного воздуха), плотно прилежавшим к квадратной пластине матового стекла.

Днем Василий Робертович иногда пил еще сырую воду, но во время лекции никогда не пил и предостерегал от питья своих сотрудников, читавших лекции.

В 12 часов начинался прием посетителей, продолжавшийся до 2 часов. Мария Павловна записывала очередь. Принималось обычно до 10 человек в день, не считая групповых посещений. Приходили самые разные люди. Мария Павловна помнит, что приходили, например, даже пчеловоды, которым Василий Робертович советовал, как устраивать пастбища для пчел, засеивать клевером.

Приходили люди, состоявшие «на пенсии» у Василия Робертовича, которым он регулярно помогал. Вручал он им эту пенсию через Марию Павловну. У каждого из этих иждивенцев было свое шутовое прозвище. Например, «барыня», вдова какого-то давно умершего профессора,

или «Маша-бородавка», которая часто брала деньги вперед за два-три месяца, мотивируя тем, что чувствует приближение смерти: «Уж я в последний раз тебя, касатик, вижу. Ты дай уж мне и на похороны». А на следующий месяц как ни в чем не бывало являлась и брала еще, а на отдельные нужды получала особо.

В два часа дня Василий Робертович уходил обедать, в четыре часа возвращался и работал до шести — семи часов вечера.

Через каждые два часа ежедневно Мария Павловна подавала ему гомеопатические лекарства. В приеме их, как и во всем, Василий Робертович был чрезвычайно аккуратен. Лечил его доктор Кейс, Николай Иванович, пожилой, добродушный, небольшого роста, толстенький человечек. Гомеопат. Познакомились они, когда у Василия Робертовича случился припадок печени. Кейс основательно вылечил его. Об этом говорит и то, что Василий Робертович мог потом есть и свиное сало, и любимую им баранью ножку, нашпигованную чесноком, недожаренную, с кровью, и ливер телячий, и пирожки с ливером. Василий Робертович любил и простую пищу, например печеную картошку, и изысканную, в которой был одинаково умерен. Пил виноградное вино (небольшой стакан), — в сухом виноградном вине знал толк. Однажды ему подарили полувековой токай.

Глаза его были весьма чувствительны к цветению ржи и сосны. Пыльца эта раздражала слизистую оболочку, глаза воспалялись иногда до нарыва, поднималась температура, начинался насморк.

В холодное время Василий Робертович под верхнюю белую рубашку надевал шерстяной свитер. На нижней рубашке у него был карман с клапаном, там он хранил партбилет. Когда к нему приходили за членскими взносами, было сложным делом достать так бережно хранимый документ. Последние годы Мария Павловна помогала ему в этом.

Память у него была изумительная. Через пять лет помнил, куда положил щетку для гербария (с длинными волосами). Мало записывал — все и так помнил. Сидя спиной к лаборатории, узнавал всех по шагам, отличал своих от чужих. Не поднимая головы и не оборачиваясь, окликал проходившего за его спиной, если тот был ему зачем-либо нужен. Не любил, когда вокруг него говорили шепотом, чтобы не мешать. Как раз шепот-то и мешал, а свободный разговор — ничуть.

Однажды у него был сердечный припадок на лекции, Василий Робертович почернел лицом, но лекцию дочитал до конца.

Девятого октября, за два дня до смерти, пришел, как обычно, в лабораторию, но почувствовал себя плохо, едва дышал (у него был отек легких). С трудом досидел до двух часов дня, но когда уходил, то сказал, заметив, что на него смотрят:

— Что смотрите? Думаете, упаду?

Академик Бушинский Владимир Петрович.

Эпизод с лекцией, экспромтом прочтенной Вильямсом перед социал-демократической сходкой, происходил в июне 1908 года. Полицейской облавой руководил околоточный Хлебников, толстый лысый человек. Было жарко. Во все время лекции Хлебников внимательно слушал, ничего не понимая, и только вытирал лысину красным фуляровым платком. Вильямс два часа читал лекцию без перерыва. После того как Хлебников взмолился и попросил позволения удалиться, Вильямс сделал пятиминутный перерыв и затем еще час читал лекцию. На всякий случай! После этого прочитал нотацию слушателям, пожурив их за неосторожность и за то, что заранее не предупредили его. Удостоверившись, наконец, что поблизости от академии полицейских и «гороховых пальто» нет, участники собрания разошлись.

По душе Вильямс был мягкий, деликатный, доверчивый человек, никогда не хотевший верить, что на жизненном пути ему могут попасться и жулики, и предатели. Вместе с тем он был необыкновенно принципиален, что называется теперь — партиен. Был нетороплив, выдержан, но мог и выгнать за дело.

Тулайков, Дояренко были учениками Вильямса, впоследствии отошедшими от него. Вильямс назвал «чемоданным земледелием» проводившиеся ими взгляды на сельскохозяйственное производство: вот приедут трактористы, вспашут, приедут рабочие — посеют, убьют. В чемоданчике завтрак, как на пикник приехали!

Вильямс всегда соблюдал принцип «открытых дверей» там, где работал. Был подлинно демократичен как до революции, когда был «действительным статским советником», «вашим превосходительством», так и в революционные годы, когда с удовольствием носил кожа-

ную куртку и такую же кепку, что ему очень шло. В натуре его и в навыках было много инженерского — от отца.

Вильямс был великаном среди всех, окружавших его, — великаном и в моральном и в физическом смысле. Очень точно изобразили его и его противников в студенческом журнале «Анофелес» — в карикатуре «Слон и моська», где можно усмотреть большое сходство Вильямса со слоном.

Козлов Петр Владимирович. Сын служителя лаборатории Вильямса.

Семья отца, Владимира Адриановича, начавшего работать здесь еще у профессора Фадеева, учителя Вильямса, была из семи человек. Двое сыновей — Петр, Николай и три дочери — Анна (работала у Вильямса полуженой в питомнике, получила среднее образование, работала на контрольной семенной станции), Ольга (муж — доцент кафедры мелиорации) и Наталья. Сам Козлов происходил из деревенской семьи. Отец его, Адриан, из кантонистов, не приписался вовремя к обществу, вернувшись с военной службы, и остался безземельным крестьянином. Владимир Адрианович ушел из дома (Покровское-Стрешнево, в семи верстах от Петровского-Разумовского) на заработки 15-летним и поступил работать в академию. Женился на прачке Ксении Ивановне. Жили в подвале под лабораторией Вильямса. Сначала — в одной комнате, потом в трех. Окна были маленькие, из-за этого сыро. Вильямс распорядился увеличить окна, много раз предлагал переехать в другую квартиру. Козлов не согласился: привык, да и близко к лаборатории, где провел всю жизнь.

Козлов состоял при лизиметрах, четырнадцать лет переносил бутылки с почвенной водой в лабораторию. Каждая бутылка — в 10 литров, носил их по несколько десятков в день. Исполнял всю техническую работу в лаборатории, многое наравне с лаборантами. Был молчалив, исполнительен, — этим очень подходил Вильямсу, с которым проводил все дни. Они понимали друг друга с полуслова.

Умер Козлов в 1934 году, за пять лет до смерти Вильямса.

Дорошко Анна Ивановна. Секретарь кафедры почвоведения.

Василий Робертович посылал сотрудников за свой счет в санаторий. Они не знали, что это личные деньги Василия Робертовича. Студентам он помогал особо льготной работой за высокую плату. К осени у него совсем не было свободных денег, а к весне опять накапливались, и все начиналось сызнова.

Анна Ивановна вспоминает, что когда она поступила на службу, то первое время очень боялась суровой внешности Василия Робертовича, но потом хорошо узнала его доброту и внимание к служащим. Даже замечания он делал в добродушно-шутливой форме.

— Вы пишете «штаты»,— сказал он как-то Анне Ивановне,— лучше пишете «штат», в отличие от Северо-Американских Соединенных Штатов.

После его смерти сотрудники все осунулись, как будто умер близкий, родной человек. На похоронах плакала не одна тысяча глаз, как сказал в своей речи профессор Каблуков.

Везли его по Лиственничной аллее.

Кулаков Евгений Васильевич. Научный сотрудник. Аспирант В. Р. Вильямса.

Когда он выбрал себе тему и начал работать, Вильямс ему посоветовал: «Составьте сначала логический план. Подробный. Это важно: видеть отчетливо перед собой путь поисков».

Однажды Евгений Васильевич привез из экспедиции рога архара. Вильямс, у которого к рогам была слабость (над дверью основного зала музея всегда висели большие рога), попросил принести их к нему. Но их уже успел взять кто-то из хозяйственников. Вильямс настойчиво повторил свою просьбу: «Заберите у них и принесите ко мне». И не успокоился, пока рога не были доставлены.

В другой раз Евгений Васильевич поехал отмывать корневую систему, для демонстрации различных видов ее на с.-х. выставке. А на солонцах ее трудно отмыть, земля такая, что рыть могилу едва ли легче, чем помирать... Вильямс подал совет:

— Возьмите бочку, налейте воды, насыпьте соли, и этой соленой водой намочите корни, чтобы кальций из

почвы вытеснить. Это крестьянин один меня надоумил. У меня, говорит, стояла бочка с соленой капустой и потекла. Так земля под ней как пух стала мягкая.

Потом, когда привезли эти корни, Вильямс сам с величайшей бережностью расправлял их, не позволяя никому это делать. Вообще к экспонатам, привезенным из экспедиции, он относился как к святыне.

— Затрачен большой труд, чтобы добыть и привезти это, — говорил он. — Труд этот надо уважать.

Аваев Михаил Григорьевич. Научный сотрудник агрономической станции.

Окончил Тимирязевскую академию по отделению культуртехники, организованному по инициативе Вильямса в 1922 году. Задача культуртехников — организовывать всю с.-х. территорию. Это не мелиораторы, не агрономы, не инженеры, а все вместе, точнее — агрономы с техническим уклоном, «мокрые агрономы», как их презрительно называли. Специальность эта особенно нужна для организации использования бросовых земель, которых в стране очень много.

Последний раз выезжал Вильямс в экспедицию в 1926 году. 26 культуртехников выехали в Закавказье — в Мугань, Ленкорань. Они должны были изучить вторичное засоление Муганской степи и влажные субтропики Ленкорани. В лодчонке по одному переезжали шоколадную бурлящую воду разлившегося Аракса, увязали в жидкой грязи болот, спали однажды в курятнике и сбежали, донятые куриными блохами и т. д.

Кочевой период экспедиции Вильямс провел в маленьком городке, занимаясь своей работой. Когда участники экспедиции вернулись, набравшиеся впечатлений, видевшие, казалось им, все, что можно было увидеть, Вильямс выслушал их внимательно, а затем стал расспрашивать: «А этого вы не видели?» — «Нет». — «А это видели?» — «Кажется, видели, но не обратили внимания...» Оказалось, что он знает все, что они могли ему рассказать, и даже больше того, не участвовав в их походе.

Любимый воспитательный прием Вильямса был — рассказать полузнайке или совсем незнающему студенту то, что спрошенный студент не мог рассказать на экзамене. Прием этот почти всегда действовал, а те, на

которых он не действовал, и не заслуживали, по мнению Вильямса, внимания и заботы, из них ничего не выйдет.

Читая лекции, Вильямс никогда не повторялся и в ответ на удивление некоторых коллег говорил: «Что я, граммофон?»

Примеры его были иной раз шутливы, но всегда убедительны.

«Органическое вещество,— говорил он,— имеет влагоемкость. Никто не сморкается в железо или кусок камня, а всегда возьмет органическое вещество».

Любченко Надежда Елеазаровна.

Вильямс, который был исполинского роста, со смехом рассказывал, как он примерял шляпу в магазине и шляпы подходящего размера все не находилось. Продавец нервничал, и Вильямс, чтобы успокоить его, сказал, что, как видно, не нашли подходящего болвана, чтобы сделать большую шляпу, которая пришлась бы впору для такой головы, как у него.

— Да, такого болвана поискать! — охотно согласился приказчик.

Вильямс сам называл себя слоном в посудной лавке, работая в лаборатории, наполненной всевозможными стеклянными приборами. Но обращался он с этим стеклом необыкновенно ловко и бережно. Его толстые пальцы были пальцами виртуоза.

Для пикейных рубашек, которые Вильямс постоянно носил, он просил делать запасную пару рукавов.

Семена он очищал в большой чашке, отдувая труху, которая садилась затем ему на голову, на плечи.

Иногда ему не хватало рук, когда он делал анализы, и он с сожалением восклицал:

— Эх, мне бы четыре руки и хвост,— сколько бы я успел сделать!

Валентина Георгиевна Вильямс (вдова сына Василия Робертовича — Николая).

Василий Робертович вставал в 6 часов утра, в 7 садился завтракать. На столе был ему приготовлен очень крепкий чай с молоком и два сырых яйца, которые он сам обваривал кипятком, разбивал, выливал в чашку, клал туда маленькие кусочки булки и размешивал. Ел он медленно, как медленно и одевался, болезнь его сильно

ему мешала, поэтому на все утренние сборы ему нужно было довольно много времени. К 8 утра он отправлялся в лабораторию.

Обедали дома в 2 часа, или в 2.30, ужинали в 9 часов вечера. В 5 часов дня пили чай — с булочками, печеньем, а летом иногда с пирогами из свежих ягод. В обеденный час его ждали у окна лаборатории многочисленные кошки, которые вслед за ним отправлялись домой и рассаживались вокруг стола. Обед начинался с того, что Вильямсу подавался большой кусок мяса и он разрезал его на кусочки и раскладывал на маленькие тарелочки, стоявшие перед ним. Затем все эти тарелочки ставились на полу перед кошками. Только тогда подавался на стол суп для Вильямса и его семьи.

Число кошек доходило иной раз до пятнадцати. Каждый знал в академии, что если некуда девать кошку или котенка, то можно подбросить Вильямсам, а уж те о ней позаботятся. У каждой кошки было, разумеется, свое имя: Белка, Мартышка, Сивочка-красивочка и пр.

Вильямс любил и собак. В доме жили и таксы и простые дворняги. На стенке и посейчас висит большой портрет Ункаса, собаки редкой породы — леонберг *, — много лет жившей у Вильямсов, еще до революции.

За вечерним чаем, за ужином Василий Робертович обычно читал и, казалось, не обращал внимания на происходившие вокруг него разговоры и шутки. И вдруг, взглянув поверх очков в сторону собеседников, отпускал точное и меткое замечание, показывавшее, что он вполне в курсе этого разговора. Любил он и реплики «под занавес», вставая из-за стола и отправляясь к себе в кабинет. Нередко реплики эти были весьма ехидными, перерачивавшими тему беседы.

Василий Робертович и в обычной беседе любил огоршить собеседника неожиданно меткой фразой. Правда, она вовсе не обязательно была колкой, а с простыми людьми — всегда добродушной и благожелательной, даже когда человек этого не заслуживал.

Однажды, например, парковый сторож, желая выслужиться, сообщил ему конфиденциально, что его сыновья Василий и Николай (большие кутилы) с утра сидят в беседке в саду и пьют пиво. Вильямс подумал и спросил:

* Помесь сенбернара, водолаза и мастифа.

— Много выпили?

— Много, Василий Робертович,— сокрушенно ответил сторож.

— И много еще осталось?

— Да много, Василий Робертович.

— Ну, вот допьют, тогда и придут домой,— заключил Вильямс, чтобы больше не возвращаться к этой теме.

Воспитательные приемы Вильямса были всегда своеобразны. Валентина Георгиевна помнит, как однажды в гостях она выпила на пари целую бутылку коньяку и явилась домой совсем больная. На следующий день она не встала к завтраку, и когда Василий Робертович пришел домой обедать и спросил сына, где Валентина Георгиевна, тот рассказал про ее недуг.

— Ничего, я ее сейчас поправлю,— сказал Вильямс, налил из хранившейся в его кабинете бутылки рюмку коньяку и отправился в спальню невестки. Слабым голосом она ответила на его стук и едва могла открыть глаза, когда он подошел с этой рюмкой к ее постели.

— Я принес вам опохмелиться,— сказал Вильямс, участливо поднося рюмку. Валентина Георгиевна не могла даже подумать о том, чтобы выпить сейчас вина, и с ужасом отказалась от «лекарства». Василий Робертович невозмутимо унес коньяк и вылил его обратно в бутылку, которую спрятал, несмотря на умильные взгляды Николая Васильевича, которому очень хотелось самому принять это лекарство, но который не смел попросить отца. Да и тот все равно не дал бы. Разумеется, только потом дошел до Валентины Георгиевны саркастический смысл этих слов, обращенных к молодой женщине: «Принес вам опохмелиться». Урок этот запомнился надолго.

Дочь его Вера унаследовала привязанность и любовь к животным, но доводила это до абсурда. Она с необыкновенной заботливостью относилась не только к животным, но и к насекомым. Кусает ее комар,— она его ни за что не прихлопнет, а только сдунет бережно. Попадет муха в варенье, Вера бережно ее вынет, обмоет ей лапки и пустит гулять и летать. Домашних интересовало, испытывала ли она муки совести при мысли, что каждую минуту своей жизни она миллионами уничтожает микробов, сама об этом не зная, и что это уже неизбежно...

КАБИНЕТ В. Р. ВИЛЬЯМСА

Небольшая комната с окном в сад представляет собой вытянутый прямоугольник в 16 кв. метров. Входная дверь в левой части одной из его узких сторон, окно — в противоположной стене. Направо от двери — старая изразцовая печь, срезающая угол комнаты. Налево от двери — небольшая книжная полка, пять рядов книг. Дальше по левой стене — довольно широкий диван, обитый кирпичного цвета материей. На нем спал Вильямс. У изголовья дивана лампа с длинным бра, которое можно повертывать, приближая свет к книге, когда Вильямс читал в постели. За изголовьем тумбочка. В самом углу невысокий шкаф с рукописями в выдвижных ящиках. На шкафу стоит нелепая ваза, в виде чудовищно уродливого льва.

Вдоль правой стены, ближе к окну, письменный стол, покрытый красным старым сукном. Посредине его — лист шестислойной фанеры, прикрепленный к столу несколькими винтами. В задней части стола узкая полка на столбиках. На ней подаренные Вильямсу электрические часы, похожие скорее на химические весы под стеклянным небольшим колпаком. Над левым углом стола свешивается с потолка электрическая лампа на блоке, точно такая же, как в лаборатории, с таким же зеленым стеклянным абажуром в виде воронки. Рядом с часами барометр. На столе две вазочки с цветами. Под столом, перед креслом, на котором сидел Вильямс, волчья шкура. На стене несколько хорошо выполненных фотографий, в том числе портрет Леночки, любимой внучки Вильямса.

Дверь в кабинет во время бодрствования Вильямса была всегда открыта. Входя из передней в гостиную, видели, как он сидит за столом и работает. В гостиной, примыкающей к кабинету, шла своя жизнь, играли на рояле, смеялись, спорили, а Вильямс сутуло сидел за столом, огромный, под конец жизни грузный, с затрудненными от паралича движениями, и писал или читал.

В гостиной висит немецкая литография, скорее лубок, который он почему-то любил. На нем изображены трубочисты, закусывающие в ресторане. Их пять человек, при них инструменты их ремесла — гири, связки веревок, щетки, ведра. Каждый из них по-своему грязен и безобразен. Им подает подчеркнуто чистенький половой, испуганно сторонящийся их грязных лап. Литогра-

фия называется «Компания в ресторации». Под ней текст — диалог на каком-то искусственном простонародном наречии или на старорусском языке (видно, что немцы нарочно придумали побезграмотнее) на тему: ничего, что мы грязные, — мы рабочие люди.

Может быть, Вильямсу потому нравилась эта карикатура, что в молодости он сам любил рисовать карикатуры. Имеется целая пачка наклеенных на паспарту фотокопий с карандашных рисунков Вильямса, остроумно и тонко выполненных, изображающих различные моменты, служебные и учебные, из жизни старой Петровской академии. На них можно узнать многих известных ученых, коллег Вильямса. Под рисунками курьезные подписи.

И еще одно коротенькое воспоминание, на этот раз не из мира науки. Наталья Петровна Колпенская решила познакомить меня с известной московской пианисткой Е. А. Бекман-Щербиной, с которой Вильямс дружил с начала девятисотых годов и часто слушал в ее исполнении своих любимых композиторов. Можно сказать, что музыка для него была с детства родной стихией. Его старшая сестра окончила консерваторию, училась у Николая Рубинштейна. Вильямс обладал хорошим голосом (бас-профундо!) и в юности даже колебался в выборе профессии — стать агрономом или певцом. Будучи уже большим ученым, предельно занятым человеком, он находит время слушать музыку, пение, — недаром шутил: «Вся жизнь прошла как по нотам!» Когда жена тяжело заболела, при всем желании не могла пойти на концерт, он на руках вносил ее в Большой зал консерватории...

Для меня имя Елены Александровны Бекман-Щербины было не в новинку: не раз прежде слышал по радио ее выступления. Мы с Натальей Петровной приехали к ней на Патриаршие пруды не то в воскресенье, не то после служебного дня. Хозяйка встретила нас с московским радушием, запросто началась беседа. Я не решился расспрашивать эту приветливую, но уже весьма пожилую даму о ее стародавней дружбе с Вильямсом. Да и заманчивее для меня было другое: послушать в ее исполнении те вещи, которые любил слушать Вильямс. Играла она нам преимущественно Шопена — баллады, ноктюрны, и я невольно себе представлял, что вместе

с нами присутствует в этой комнате и Василий Робертович, тем более что его портрет висел над роялем рядом с портретами братьев Рубинштейнов. Бритая начисто его голова, отблескивающая под светом люстры, особенно контрастировала с густой гривой до плеч Антона Рубинштейна... Глаза Вильямса зорко смотрели сквозь угловатое пенсне, — казалось, он, как всегда, был весь внимание!

Незаметно прошли два часа, мы простились с гостеприимной хозяйкой и талантливой музыкантшей, но я и теперь, когда вдруг услышу, что объявили по радио запись Шопена в исполнении Бекман-Щербины, сразу вспоминаю тот вечер... и Вильямса!

Как, чем подытожить мои воспоминания о том, как собирал я сведения о Василии Робертовиче? Ведь доставая из дальнего ящика стола свои давние записи, я предполагал не просто перечитать их, а, как я уже говорил, попробовать доискаться психологической правды об этом сложном человеке, понять его до конца, если это возможно. Так вот доискался ли я этой правды, многожды перечитав записи? Не знаю. Мне кажется, я остался примерно с теми же впечатлениями и ощущениями, какие сохранила моя память и с какими я начинал перечитывать. То есть передо мной опять встал даровитый большой человек, оригинальная крупная личность со многими привлекательными, но и многими противоречивыми чертами и свойствами: Он не ангел, не демон, а именно человек, человек, полностью принадлежащий своему времени. Отчасти заметно это и в примечательном документе, который он опубликовал в 1935 году под названием «Почему я взялся за организацию рабфака». В этом кратком автобиографическом очерке Вильямс особо выделил свою ненависть к религии и дворянам, хотя, казалось бы, к теме рабфака это имело и малое отношение...

Академик В. Р. Вильямс. «Почему я взялся за организацию рабфака». (Из сборника «Пятнадцать лет рабфака им. Вильямса при Тимирязевской Академии». М., 1935 г.)

Мой отец — американец, инженер-мостовик, построивший все мосты на б. Николаевской, ныне Октябрьской железной дороге, близко соприкасавшийся с целой ар-

мией крепостных рабочих и крестьян, — неоднократно говорил: «Из каждых десяти русских рабочих и крестьян один по уму — министр, а девять — золотые руки». Эти слова глубоко запали в память мальчика (я лишился отца, когда мне было 13 лет).

Отец женился на вольноотпущенной крепостной б. Тверской губернии, Кашинского уезда, Троицкой волости, дворовой девице Е. Ф. Одинцовой. И когда была обнародована «воля», моя бабка, Пелагея Парменовна, поселилась в семье отца. Нянька, Александра Андреевна, — также бывшая крепостная б. Смоленской губернии. В этой среде протекло мое детство. Долгими зимними вечерами, при свете оплывающей сальной свечки, наслушался я про зверства помещиков двух губерний и с детства пропитался глубокой ненавистью к дворянам-помещикам.

Насколько я могу отдать себе отчет по детским воспоминаниям о разговорах отца с его двоюродным братом по матери — Мельвилем Лондоном (известный американский публицист — псевдоним Илай Перкинс, отец Джека Лондона, отравленного, как «неудобного» популярного писателя), отец мой был социалистом-утопистом и питал страшную ненависть к попам, особенно «православным», на которых он насмотрелся в России. Поэтому, при возобновлении контракта с «трехпоездным» министром Клейнмихелем, он поставил перед Николаем I дилемму — или его жена и дети становятся гражданами США, или он немедленно возвращается в Америку. Николай сдался, и «по высочайшему повелению», «не в пример прочим», требование отца было удовлетворено, и таким образом я был освобожден от поповского дурмана. Но отец умер, когда я, в сущности, еще был ребенком, мать не могла мне помочь, она сама была полуграмотной, то есть могла только читать «по печатному». Добрые знакомые помогли советом — поручить репетитору подготовить меня в IV класс реального училища, куда преимущественно поступали «кухаркины дети». «Репетитор» попался образцовый, такой же горемыка, как и я, который за 7 рублей в месяц и стакан чаю «расстоянием не стеснялся». Это был впоследствии известный профессор математики — Б. К. Млодзеевский. Через полгода я был освобожден от платы за «право учения», а впоследствии за устройство и заведование училищной химической лабораторией и исполнение обязанностей стар-

шего технического десятника при постройке нового здания реального училища — был освобожден и мой брат.

Последние три класса реального училища мне, брату и старшей сестре (стипендиатке Н. Г. Рубинштейна по классу фортепиано) пришлось усиленно «не стесняться расстоянием», чтобы поддержать существование семьи в 8 человек, из которых пятеро были неработоспособны. Но с поступлением в Петровку обстоятельства круто изменились. Как «иностранец» (гражданин США), я не имел права ни на какие льготы и стипендии и, несмотря на ничтожную плату за право учения (40 руб. в год), я неоднократно фигурировал в списке «исключенных за невзнос платы». На первом курсе было еще сносно. Приходилось два раза преодолевать расстояние от Петровки до Смоленского бульвара (около 11 километров).

Но со второго полугодия II курса занятия кончались в 8 часов вечера (лаборатории, лесные науки, механика, опытное поле, дежурства и т. д.), и пришлось переселиться на «Выселки» в угол избы за 7 рублей, и вся свободная наличность от урока в 10 руб. была только 3 рубля в месяц, что в переводе на продукты питания означало 1 фунт ржаного хлеба и чай с «угрызением». На таком пайке я просуществовал два с половиной года. За это время я ни разу не ел горячей пищи. Я могу смело утверждать, что я «знаю, почему фунт лиха и где его достать».

И когда товарищ Рындин и его супруга — ныне профессор Рындина — заговорили со мной о рабочем факультете, я представил себе ненасытную жажду к знаниям у огромного контингента граждан, из которых «каждый десятый по уму министр, а все остальные — золотые руки» и которые лишены даже возможности «расстоянием не стесняться», мудрено ли, что у меня ни на мгновение не могло возникнуть ни колебания, ни сомнений.

Пятнадцать лет показали, что я не ошибся.

Этим автобиографическим очерком В. Р. Вильямса я и закончу свою пробную «реставрацию» образа Старшего агронома Советского Союза, как называли его в тридцатые годы.

В 1950 году я взял за основу этот очерк и несколько

воспоминаний рабфаковцев, задумав повесть «Соломенная сторожка» — повесть о Вильямсе и о том, как молодые рабочие и крестьяне вернулись с фронта, разгромив интервентов и белых, и принялись овладевать знаниями, чтобы в дальнейшем занять командные высоты в науке. «Что значит выражение Вильямса — «командные высоты»? — спрашивал я себя тогда. — У лучших, талантливых — это получить возможность творить, стать новой, советской интеллигенцией, широко открыть дорогу другим талантливым людям из народа. Для иных — это власть в науке, власть ради власти. Здесь лежит подоплека двойного конфликта. Да, в те годы это прежде всего борьба с враждебным классом, но это и обуздывание карьеристов своего класса, тех, кто жаждет лишь привилегий, хочет быть аппаратом приращения...»

Вот оставшиеся наброски к началу повести:

«Последнее, что я запомнил из своего недолгого пребывания дома, это опустевшая отцовская комната. Я сижу днем у окна, вечером — у стола при свете крохотной трехвольтовой лампочки, соединенной двумя проводками с аккумулятором, который успел зарядить отец, и читаю «Мир приключений». Разрозненные номера этого лихого журнала, насыщенные самыми невероятными событиями и приключениями, были рассованы всюду. Я находил их под матрацем, в комод, в карманах промаслившегося до медного блеска отцовского кителя, в железном чемоданчике для провизии, который по старой привычке паровозного машиниста отец брал с собой ежедневно на водокачку, хотя она находилась в двух шагах от дома и тетя Маня доила козу, сидя на ступеньках, ведущих в машинное отделение.

«Адская война» Жиффара, «Ледяной ад» Буссенара, «Доктор Черный» Барченко, бесчисленные переводные рассказы безвестных иностранных авторов... Интересно? Да. Правда, я только что вернулся с фронта, где испытал, наверно, не менее сногшибательные приключения и переживания, но в госпитале зачитывался совсем другой литературой — «Войной и миром», рассказами Чехова, на счастье оказавшимися в госпитальной библиотеке.

Но вот почему мы так поздно заинтересовываемся родителями, их жизнью, их мыслями, внутренней жизнью? По большей части тогда, когда их уже нет... Мать умерла давно, когда мне пошел всего пятый год.

Отец умер за две недели до моего приезда. Он, помню, был всегда весельчак, балагур, непрестанно курил и кашлял: эмфизема легких. Фантазер, увлекавшийся несбыточными проектами, со страстью бравшийся за любое новое, незнакомое ему дело. После его смерти мы с тетей Маней оказались должны соседям кучу денег: за взятые им в починку и испорченные часы, за мыло, которое он взялся и не смог сварить... Жаль было отдавать за долг его большие серебряные часы с тяжелой цепочкой, но пришлось отдать. Передал я соседу и подписку на газету «Беднота», которую почему-то любил читать отец, не имевший никакого отношения к деревне. В одном из последних номеров этой газеты я и прочел объявление об открытии приема на рабочий факультет при Петровской академии. Меня удивило, что это объявление было жирно подчеркнуто отцом: неужели он тоже подумал, что мне можно пойти туда учиться, когда вернусь с фронта?

А что привлекало отца в приключенческой литературе? Убить время? Или в нем билась романтическая жилка? Старой конфетной бумажкой был заложен в журнале рисунок, изображавший драку на маяке: человек сталкивает другого человека через перила, ограждающие фонарь. Сажённые волны разбиваются о подножие маяка, а вдаль гибнет судно. Маяк поразительно похож на водонапорную башню той самой водокачки, где работал отец, перестав ездить на паровозе. Есть какая-нибудь связь между этим рисунком и тем, что усилившаяся болезнь выживала его и с водокачки? Мне казалось, что есть...»

Первые главы повести назывались: 1. Дома. 2. На паровозе в Москву. (Подсадил приятель отца — машинист.) 3. Соломенная сторожка. Кстати, станция эта существовала с тех давних пор, — семидесятые годы прошлого века, — когда здесь были подмосковные дачи и огороды с их сторожами. Но и в 1920 году по узкоколейной железной дороге от Бутырской заставы к Петровской академии все еще продолжал ходить паровичок с вагонами трамвайного типа, только теперь перед ним уже не скакал мальчишка-форейтор («фалетура»), трубивший в рожок и тем предупреждавший несчастные случаи.

В 1920—21 годах в этих заброшенных, нетопленных дачах поселились рабфаковцы — будущие ученики и помощники Вильямса. Название «Соломенная сторожка»

показалось мне образным, вызывало много ассоциаций,— и я озаглавил им всю начатую мной повесть о первых рабфаковцах, главным героем которой стал их профессор, а с 1922 года ректор Сельскохозяйственной академии — Василий Робертович Вильямс.

Я не написал эту повесть, увлекшись еще более крупной, чем Вильямс, несравнимо более крупной фигурой. Кое-что в их характерах — целеустремленность, напористость, пылкое, резкое неприятие чуждых им взглядов и убеждений — роднило их, хотя один жил на полтора столетия раньше другого.

Так появился фильм о Михайле Ломоносове вместо повести о рабфаке и Василии Вильямсе...

1949, 1985

ВТОРОЙ И ПЕРВЫЙ РЕЖИССЕР

Умер Миша Шапиро. Мы с ним не были близкими, закадычными друзьями и сравнительно не часто встречались, и все-таки он прошел через всю мою «кинематографическую жизнь», с 1936 года по свое время.

Режиссерская его судьба не была счастливой и полноценной — она половинчата и зависима либо от первого режиссера, при котором он был вторым, либо даже от двух режиссеров... Познакомились мы ранней весной 1936 года, когда И. Хейфиц, А. Зархи и я жили в Петергофе, в гостинице «Интернационал», и работали над вторым вариантом «Депутата Балтики» (тогда еще «Беспокойной старости»). Миша был при Зархи и Хейфице как раз вторым режиссером, и его обязанностью было уже загодя подыскивать актеров. Если не ошибаюсь, именно он предложил кандидатуру Николая Черкасова на главную роль, но это было уже несколько позже. В марте же Миша приезжал к нам и уезжал, в ресторане по вечерам собиралась веселая, дружная компания — Ю. Герман, Л. Канторович, мы, одно время Блейман и Большинцов, обслуживал нас милый старик Власыч — официант с дореволюционным стажем, — присоединялись к нам и Н. С. Тихонов с Марией Константиновной, а однажды сел за наш стол, составленный из многих малых столов, сам директор гостиницы. Это был Международный женский день, каждый наш тост был «За дам!», и каждый раз директор вставал и кланялся: фамилия его была Дамм.

Нередко ужинал с нами и Миша Шапиро. Помню, однажды затеяли пари: сколько Миша может съесть яичниц. Глазуньи подавались фырчащими на сковородках и мгновенно исчезали, сметенные Мишей Шапиро. После каждой проглоченной глазуньи он вскидывал на нас свои черные, влажные, как чернослив, глаза. При

этом он был молчалив и сосредоточен, и вообще весь процесс поглощения яичниц был похож на серьезный научный опыт... Молодость любит резвые шутки!

Миша прекрасно знал музыку, сам хорошо играл на рояле, и это он предложил, чтобы супруги Полежаевы в сцене одиночества играли «Елку» Ребикова. В продолжение всего нашего знакомства, в часы работы Миша частенько садился за рояль, играл Шопена, Листа, — у меня, у себя дома, — что было для нас превосходной разрядкой.

Летом того же 1936 года Мише предполагали дать самостоятельную постановку железнодорожной комедии, над сценарием которой я начал тогда работать. Он несколько раз приезжал в Карташевку, где я с семьей жил на даче, со сценарием пока не ладилось, но все же начинал вырисовываться характер главной его героини — молодого диспетчера Веры Соколовой. Миша при первых встречах был вял, равнодушен, но тут оживился и сказал, что ясно видит в роли диспетчера с непосредственным, непоседливым характером, эксцентричной и предприимчивой Веры, — актрису Зою Федорову. Но дальше произошел ряд типичных для кино неожиданностей. Когда сценарий задвигался, зажил, студия решила передать его для постановки Эрасту Гарину и Х. А. Локшиной, и Миша остался опять без картины. Впрочем, комедия эта так и не была никогда поставлена — ее зарезали в Наркомате путей сообщения; подробно о ее судьбе я рассказал в «Советском экране» в 1969 году, то есть через три с лишним десятка лет, за два года до смерти Миши. Кстати, играть главную роль в фильме Гарина и Локшиной должна была та же Зоя Федорова — таков был совет великодушного Миши...

У Миши в те годы был тик, у него дергались глаз и щека, но он вылечился от тика памятной запиской: на бумажке было написано своеобразное врачевное заклинание, которое он регулярно читал перед зеркалом: «Не буду, не буду, не буду кривить лицо, моргать глазом, и пр., и т. п.» Это примитивное самовнушение подействовало.

Когда началась война, Миша остался в Ленинграде, и поскольку он превосходно знал немецкий язык, он стал работать в 7-м отделе Ленфронта, читая по радио обращения к немцам. Я встречал его иногда в Книжной

лавке писателей — с осени он покупал много книг. Но в один декабрьский морозный день я встретил его на Литейном проспекте — через силу он волочил в Книжную лавку санки, навьюченные теми же самыми книгами: «Ленфильм» вызвал его в Сталинабад — работать над военной картиной. И Миша Шапиро уехал.

Сразу же после войны он поставил вместе с Н. Н. Кошеверовой прелестный фильм «Золушка» — для детей и для взрослых, по сценарию Е. Л. Шварца, с Яничкой Жеймо и Эрастом Гариным в главных ролях. Фильм этот живет посейчас и, думается, будет жить вечно, если это только возможно в кинематографе...

А затем наступил период малокартинья, и Миша стал снова вторым режиссером, в том числе на картине «Михайло Ломоносов» по моему сценарию (1951—1954). Так как Миша был человек начитанный, то он мог оказать большую помощь постановщику фильма. Мог, но в полной мере не оказал, ибо А. Г. Иванов был грубоват и самолюбив (как все самоучки), случалось, обижал Мишу, а тот тоже был самолюбив, и они плохо сработались. Как всегда, Миша был полезен в подборе актеров, и Б. Н. Ливанов был выбран верно, но, к сожалению, оказался тоже упрям и не поладил с режиссером, что, несомненно, сказалось в процессе и в результате работы.

После этой картины Миша наконец-то получил самостоятельную работу и поставил «Искателей» Д. Гранина. Но полной удачи опять же не получилось — причин тому не знаю, но полагаю, что все дело в том, что Миша еще не нашел (или ему не предоставляли) родного для него жанра.

В 1961 году Миша поставил малометражную картину «Явление Венеры» по моему сценарию. Нас не сблизила эта работа. Этот, второй уже, сценарий о Ломоносове был написан мной, очевидно, без особого увлечения, да еще по необходимости сокращен (литературный его вариант, напечатанный в журнале «Звезда», все-таки сочнее и интереснее), Миша ставил его еще с меньшей охотой: колорита эпохи и увлечения Ломоносова астрономией он не чувствовал, но при этом упрямо настаивал на каких-то своих решениях, а их не было. Он словно решил доказать картиной, какой плохой у нее сценарий, и это ему удалось, но это была уже «Шапирова победа»...

Домами мы редко общались, хотя с Жанной Гаузнер, его женой, я был давно знаком. Как-то в середине пятидесятых годов меня попросили принять у себя дома Герберта Маршалла с женой-скульптором, которые только что приехали из Индии, и Маршалл собирался ставить фильм о знаменитом в свое время негритянском актере Айре Олдридже. Меня сватали писать сценарий, о чем объявили уже в газете. Я позвал на «суварею» (по выражению Иринарха Введенского, переводчика Диккенса) И. Д. Гликмана, как предполагаемого редактора будущего фильма, и чету Шапиро — Гаузнер, — Шапиро должен был стать сорежиссером Маршалла. Герберт Маршалл непрерывно рассказывал, как он учился в свое время в СССР у Эйзенштейна и переводил на английский язык Маяковского, как жена сооружала в Индии памятники Неру и Индире Ганди, а вся затея со сценарием и фильмом вообще оказалась блефом: через год Маршалл опять приехал и привез написанный им вчерне первый вариант сценария — это была бездарно изложенная биография Айры Олдриджа, а никакой не сценарий. Вряд ли эта работа, если бы мы взялись превратить ее в фильм, принесла бы Мише удачу и радость.

Настоящая творческая удача ждала Михаила Шапиро впереди: это была постановка в кино оперы «Катерина Измайлова». Уж не говоря о счастье работать совместно, бок о бок, с Д. Д. Шостаковичем, работа оказалась вполне по силам и увлекла Михаила Григорьевича Шапиро, может быть единственного нашего кинорежиссера, кто прекрасно знал и любил музыку. На художественном совете «Ленфильма» и во всех дальнейших инстанциях картина прошла хорошо, и мне до сих пор досадно, что она не успела завоевать того зрительского успеха, какого заслуживала. Куда ей было до 70—80 миллионов зрителей, которых завоевала «Свадьба в Малиновке», музкомедия и типичная дешевка для широкого зрителя... К тому же, мне кажется, Миша несколько отяжелил свой фильм полиэкраном и другими новшествами, которые помешали как раз широкому зрителю, да и музыка Шостаковича не рассчитана на всенародный успех. Возможно также, что фильм недостаточно активно продвигали на зарубежный экран. Обидно. Несправедливо. И все же творческое и душевное удовлетворение Миша несомненно получил от работы над «Катериной Измайловой». Помню, он очень

хорошо выступил на художественном совете — ясно, точно, с достоинством; вот уж нельзя было сказать, что у него закружилась голова или «в зубу дыханье сперло»!

Забыл я упомянуть еще об одной удаче Шапиро, и тоже, как видно, в близком ему жанре: «Загадка «Н. Ф. И.» — по рассказам И. Андроникова и с его участием. Картина вышла в 1959 году.

Последние годы Миша плохо себя чувствовал, плохо выглядел, постарел, согнулся, трудно и медленно двигался. Прошлой зимой мы шли с ним из Дома кино. Я старался приноровиться к нему, шел, как казалось мне, очень медленно. Через два квартала Миша остановился.

— Ленья,— сказал он своим глубоким и проникновенным голосом (он часто так говорил в последнее время).— Дальше идите один. Я не могу идти так быстро. А вам, наверное, холодно. Идите.

Миша порой был вспыльчив. Года два-три назад мы сидели с ним на скамейке в саду писательского дома в Комарове. Рядом со мной была моя жена, а рядом с Мишей муж и жена Ниновы и Михаил Леонидович Слонимский. К нам подошел известный ленинградский музыковед Э—с и приветливо поздоровался, особенно с Михаилом Григорьевичем. Вдруг Миша занес вверх свою трость и лицо его исказилось.

— Ступайте прочь! — опять же медленно, но необычно громко заговорил он.— Как вы смели ко мне подойти! Идите прочь!

Музыковед явно опешил, стал уговаривать Мишу, просить успокоиться, говорил, что не понимает его раздражения, что только на днях они дружески встречались... Миша продолжал замахиваться и кричать, что тот отлично знает, какую он совершил подлость, а музыковед продолжал настаивать, что происходит какое-то недоразумение... Видя, что Миша так возбужден и ему вот-вот станет плохо, я убедил Э—са уйти. Как я потом узнал, Миша вступился за свою сестру, которую якобы обидел Э—с. Миша был очень привязан к своей сестре, высокой энергичной брюнетке, в блокаду работавшей в Ленинграде шофером.

Смерть Миши была в полном смысле скоропостижной, несмотря на то, что он давно уж болел. Плохо почувствовав себя, он вызвал по телефону «неотложку» или «скорую помощь». Бригада приехала, позвонила

в дверь, Миша пытался добраться до двери, открыть ее, но не смог. С полдороги он начал кричать, что не может открыть дверь, что ему очень худо... Пока вызвали дворника, милицию, взломали дверь, он умер. Он лежал на полу головой к двери.

Он жил один. Жанна умерла несколько лет назад от инфекционной желтухи. Я встретил ее в перерыве между двумя ее пребываниями в больнице, встретил по дороге в Союз писателей. У нее было невероятно желтое лицо, и помню — я удивился, как могли ее выпустить из больницы.

29 октября 1971

1945—1966

Но я предупреждаю вас,
Что я живу в последний раз.

А. Ахматова

Единственная в моей жизни книга, которую я не вернул в библиотеку, грубо говоря — зачитал, это «Четки» Анны Ахматовой с ее портретом работы Натана Альтмана. Библиотека эта давно не существует. Она называлась «Универсальной» и помещалась на площади Ломоносова у Чернышева моста. Запись в нее была проста: девушка за книжным прилавком, худая, высокая, горбоносая, как Ахматова, симпатично картавая, произносила пять слов:

— Запогните кагточку. Пего и чегнила напготив.

Читатель подходил к столу у окна, заполнял бланк, и на этом официальная часть кончалась: ты мог брать на дом книги. Чуть ли не первой, во всяком случае, последней взятой мною книгой был сборник стихов Анны Ахматовой. Купить ее стихи я не мог по своей студенческой бедности (пятнадцать целковых в месяц на все про все), красть тоже не намеревался, но книга эта у меня залежалась — очень уж не хотелось с ней расставаться, — залежалась до тех пор, когда «Универсальная библиотека» вдруг исчезла. Ликвидировали ее или слили с какой-нибудь другой, находившейся в другом месте, так и не знаю; вполне возможно, что ее книжный фонд растаял так же, как «растаяли» взятые мною «Четки».

Произошло это в 1926 году. До этой зимы я почти не знал стихов Ахматовой, читал лишь цитаты из них в одной старой, кажется еще дореволюционной, статье Корнея Чуковского о новаторстве Маяковского и Ахматовой. Сперва меня поразило сочетание этих имен, но я к этому быстро привык. Дело в том, что Маяковский, его два сборника — «13 лет работы» и «Все, сочиненное Владимиром Маяковским» — были моими настольными книгами уже с весны 1925 года, когда я приехал в Ленинград. Они принадлежали моему двоюродному брату,

студенту-геофизику, который днем в университетской обсерватории запускал в небо испытательные воздушные шары, а ночью иногда ходил качнуть маятник какого-то прибора, — качнет и возвращается домой досыпать.

Маяковский перешел ко мне по наследству через год, когда Сергей утонул, и я по сейчас храню эти старые, без переплета, напечатанные на серой газетной бумаге книги. Кстати, футуристов я немножечко знал и раньше и очень за них обижался, когда наша школьная учительница на уроках литературы пренебрежительно о них отзывалась. Однажды она спросила у моей одноклассницы: какой девиз взял Герцен для «Колокола»? Ученица не успела ответить, как Вера Афанасьевна вызвали по делу в учительскую, а когда она вернулась, ученица бойко ответила:

— Колокóль в свою молодость!

— Что такое? — с недоумением переспросила Дернова, которая, очевидно, забыла о своем вопросе.

— Девиз Герцена к «Колоколу», — пояснила ученица.

Вера Афанасьевна, и всегда-то хмурая, еще больше насупилась:

— Такими глупостями Герцен не занимался!

Я и теперь гадаю: неужели она читала книжку Василия Каменского «Звучаль веснеянки», из которой я взял эту строчку для подсказки? Учительница она была хорошая, кончила литературный факультет Петроградского Психоневрологического института, но вкусы ее были консервативны.

В 1929—30-м годах, начав печататься, я стал зарабатывать себе на жизнь и на книги, обзавелся первой книжной полкой, на которой встали рядом Бунин и Лесков, «Красное и черное» Стендаля и «Мистерии» Гамсуна, «Записки Пиквикского клуба» и любимые поэты, — вот тогда у меня кроме «Четок» появились и «Аппо Домини», и «Белая стая».

Уже значительно позже я узнал, что Маяковский любил и знал наизусть много стихов Ахматовой, и очень тому обрадовался: опять эти два таких разных и любимых поэта оказались для меня рядом. К 1930 году относится и тот памятный для меня день, когда за два или полтора месяца до смерти Маяковский вошел вместе с Виссарионом Саяновым в редакцию «Звезды» и за руку молча поздоровался со всеми присутствующи-

ми. Меня поразила эта тихая, даже какая-то грустная вежливость: раньше я слышал и видел его на эстраде и восхищался не только его стихами и тем, как он их читал, но и свободной манерой держаться, веселыми, порой дерзкими, разящими наповал ответами на записки, а тут в комнату на третьем этаже Дома книги с окнами на канал Грибоедова вошел словно бы совсем другой Маяковский.

Правда, потом, много лет спустя, не кто другой, как Ахматова засвидетельствовала, что Маяковский мог смутиться и растеряться. «Как-то раз в «Бродячей собаке»,— вспоминала Анна Андреевна,— когда все ужинали и гремели посудой, Маяковский вздумал читать стихи. Осип Эмильевич (Мандельштам) подошел к нему и сказал:

— Маяковский, перестаньте читать стихи. Вы не румынский оркестр.

— Это было при мне,— вспоминает Ахматова.— Остроумный Маяковский не нашелся что ответить».

Ахматову я увидел ровно через пятнадцать лет после того, как не стало Маяковского.

Здесь, пожалуй, сразу оговорюсь, что пишу не литературный портрет и не воспоминания о встречах с Анной Ахматовой,— о них я скажу, но встречи эти, к сожалению, были редки и кратки,— просто мне хочется поделиться тем, что значили стихи Ахматовой в моей жизни. Могут сказать: «Но ты же любил и других поэтов. Возможно, они значили для тебя не меньше, а некоторые и больше, чем Ахматова?»

Верно, верно, соглашусь я, но, во-первых, почти ни с кем из них я не встречался лицом к лицу, если не считать того, что видел и слышал, как Маяковский и Мандельштам читали стихи, а Пастернак — перевод «Антония и Клеопатры» (читал он в довольно узком кругу и вдруг с детской непосредственностью пожаловался, что сегодня его всю ночь кусали блохи,— в то жаркое лето в Москве было необычайное нашествие блох!).

Есть еще одно обстоятельство, близко связавшее, как ни странно, меня, прозаика, со стихами Ахматовой, но о нем позже... Сначала все же о тех кратких встречах, что дали мне повод назвать эту главу — «1945—1966»,— то есть годы знакомства с Анной Андреевной.

В 1945 году весной, будучи членом редколлегии «Ленинградского альманаха», я загорелся мыслью опубликовать в нем новые стихи Анны Ахматовой, в том

числе и два-три отрывка из ее «Поэмы без героя», которая имелась у меня в списках, еще не оконченная, еще в самых ранних вариантах.

Я сделал вчерне подборку, то есть переписал на машинке в определенном порядке несколько стихотворений и отрывков, и принес к Анне Андреевне. Она жила тогда в «Фонтанном доме», во дворце Шереметевых на Фонтанке, где помещались Арктический институт и Дом занимательной науки. Не помню, как мы условились о встрече, был ли у Анны Андреевны телефон, — кажется, был. Шел я к ней, разумеется, не без трепета...

Ахматова открыла мне дверь сама, хотя солидная медная дощечка на двери с фамилией Пунина доказывала, что она жила в семье. Кроме Анны Андреевны, в этот раз я никого не видел. Окна выходили в сад, откуда несся звонкий, разноголосый собачий лай: там открылась собачья выставка. Ахматова, как и всегда потом, как, наверно, и раньше, выглядела величественной и великодушной монархиней, чему ничуть не мешал ее старей, как у цыганки, шелковый черный халат.

Мы поработали над предложенной мною подборкой, изменили порядок, Анна Андреевна иначе озаглавила некоторые стихи. Я имел наглость предложить ей замену какого-то слова в одном из отрывков (кажется, в стихотворении «Россия Достоевского. Луна...» или «Вот здесь кончалось все. Обеды у Донона...»), поскольку тут были какие-то редакционные резоны. Какое именно слово и какие резоны, совершенно не помню.

Пожалуй, меня удивило то, что она с первого раза возымела ко мне доверие. Она меня не знала, вероятно никогда обо мне не слышала, но, по-видимому, поняла (или почувствовала), что я не праздный очередной любопытный. Во всяком случае, уже в первую встречу мы заговорили о Мандельштаме и она вдруг прочла вслух незнакомое мне стихотворение Мандельштама — «Как по улицам Киева-Вия...».

Но еще важнее для меня то, что произошло при второй или третьей встрече с Анной Андреевной. Зная, что она не оставляет работы над «Поэмой без героя», я принес имевшийся у меня список, чтобы попросить ее просмотреть и позволить внести поправки и дополнения, которые она мне продиктует. Анна Андреевна сделала больше: она сама на широких полях рукописи вписала карандашом все многочисленные поправки и целые новые строфы и варианты. Впрочем, она и дальше потом

без конца переделывала и дополняла эту поэму, и окончательный печатный текст значительно отличается от рукописных.

Дважды встречался я с Анной Андреевной в 1946 году летом на вечерах памяти Блока (25 лет со дня смерти) — в Пушкинском доме и в Большом Драматическом театре. В 1955 же году, когда в Таврическом дворце отмечалось семидесятипятилетие со дня рождения Блока, меня не покидало тяжелое чувство: Анну Андреевну на этот юбилей не позвали... А если бы позвали, честь честью прислали билет? Думаю, что она бы пришла: почему я так думаю — объясню.

Человеческие характеры крайне различны. После осени 1946 года М. М. Зощенко много лет избегал показываться на людях — в театрах, в Доме писателя, в других общественных местах. Ахматову же мы встречали в Филармонии, в Театре комедии, куда ее неизменно приглашал Н. П. Акимов на свои новые спектакли. В шестидесятые годы она стала бывать в Доме творчества в Комарове. Помню, она с мягкой улыбкой рассказывала, как сидевший с ней за обеденным столом разбитной и в то же время наивный молодой литератор спросил:

— Вы, наверно, жена какого-нибудь писателя?

Анна Андреевна, говорит, пожалела, что не догадалась ответить: «Да, я была женой поэта. Правда, мы давно разошлись».

Попал и я в глупое положение. Ища в прихожей на вешалке ее пальто, я замешкался, и Анна Андреевна, желая помочь, сказала:

— Соболий воротник.

Я все не находил и не находил пальто,— вешалка была перегружена. Тогда Анна Андреевна добродушно заметила:

— Наверно, вы не отличаете соболя от не соболя.

Я с обидой ответил:

— Вы думаете, я отличаю только Соболева от не Соболева.

Анна Андреевна засмеялась. Она тогда уже знала председателя Союза писателей РСФСР Леонида Сергеевича Соболева...

В Доме творчества наша с женой комната была на втором этаже, над комнатой Анны Андреевны, и мы часто слышали, как она вслух читала своим гостям стихи: к ней часто приезжали молодые поэты. Мы с же-

ной тоже не раз заходили к ней. Она давала нам свои воспоминания о Мандельштаме, давала по частям, как писалось, из года в года расширяя их. Дала и воспоминания о Модильяни, что было нам особенно интересно: мы давно любили этого художника.

В беседе Анна Андреевна иногда сердилась, — нет, не на нас, а чаще всего на ошибки, неточности в чьих-либо воспоминаниях (литературных воспоминаний появлялось в печати все больше). Например, Николай Чуковский в своих воспоминаниях о Мандельштаме в журнале «Москва» в 1964 году почему-то решил, что стихотворение «Соломинка» («Когда, соломинка, не спишь в огромной спальне...») написано в 1922 году в Доме ученых на набережной Невы неподалеку от Зимнего. На самом же деле стихотворение «Соломинка», посвященное Саломее Андрониковой, было написано еще в 1916 году и навеяно ее огромной спальней в доме, стоявшем на другом берегу Невы, у другого моста, где действительно жило много ученых: И. П. Павлов, А. Е. Ферсман, П. Л. Чебышев, Б. М. Ляпунов, А. П. Карпинский и другие; теперь фасад дома испещрен мемориальными досками, — недавно из любопытства я сосчитал: их оказалось тридцать две... Как не вспомнить было при этом строки Ахматовой о Литейном проспекте:

И визави меня живут Некрасов
И Салтыков... Обоим по доске
Мемориальной. О, как было б страшно
Им видеть эти доски!

Я часто думал о том, что помогало Ахматовой легче переживать годы испытаний. В основном, разумеется, сила духа, огромная жизненная сила; но убежден, что немало способствовали тому и друзья: они твердо, без отклонений считали ее великим поэтом и необыкновенной женщиной. Это теперь никого не может удивить — теперь, когда часто выходят многотысячными тиражами ее книги, когда самое имя Анны Ахматовой стало чуть ли не хрестоматийным. А тогда ее знали немногие, но она чувствовала их прямоту и искренность и потому с такой простотой и естественностью принимала их преклонение перед ее поэтическим даром, ее умом, ее волей.

Впрочем, так же естественно она приняла и пришедшее наконец к ней широкое и высокое общественное признание. Хорошо помню открытие Второго съезда

писателей в Большом Кремлевском дворце, в присутствии правительства, когда Анну Андреевну пригласили в президиум съезда. Сначала она села где-то сбоку, в задних рядах, а потом не то А. А. Сурков, не то С. В. Михалков почтительно провел ее в первый ряд, за стол президиума, и усадил с правого края, рядом с М. А. Шолоховым.

Анна Андреевна спокойно сидела там до перерыва, а в перерыве вышла в большой кулуарный зал и села там у стены, почти напротив входа в президиум. К ней подсакивали фотографы, подходили, здоровались литературные знаменитости, иностранные писатели и корреспонденты, — с первых же секунд она оказалась в центре внимания. Поэтому я особенно оценил ее благосклонную улыбку, когда, не желая мешать торжеству, издали поклонился, а она с оттенком домашности мне кивнула: мол, знай наших! не воображайте, что я не знаю цену этому паломничеству и этому любопытству!

Последняя встреча с Анной Андреевной была в 1966 году — с мертвой. Морозы стояли страшные, больше тридцати градусов, мы долго ждали на Комаровском кладбище, когда тело Ахматовой привезут из Ленинграда, где отпевание происходило в Никольском соборе. Мы то бегали по дороге, чтобы согреться, то залезали в автобус, где было все же немного теплее. Особенно мерз Михалков, приехавший из Москвы почему-то в демисезонном пестро-сером пальто. Когда гроб привезли и короткая гражданская панихида окончилась, мы с женой чуть не бегом понеслись по снежной дороге в Дом творчества, за три километра от кладбища. Нам удалось согреться, не простудиться, а Анна Андреевна в это время уже лежала в промерзшей земле, в ледяной могиле.

Много людей посещает теперь эту могилу — отдыхающие в окрестностях Комарова, Зеленогорска, Репина, Солнечного, туристы, просто горожане — ленинградцы и москвичи, — приезжающие в Комарово, чтобы повидать могилу Ахматовой, и, быть может, лишь после этого знакомящиеся с ее творчеством. С интересом читают они и ее статьи — о Пушкине, о его семье, о сестре жены Александрине: у Ахматовой на все свой, оригинальный, давно выношенный взгляд, — о Пушкине она начала писать еще в двадцатые годы и первой ее публикацией была «Последняя сказка» — о «Золотом петушке», напечатанная в журнале «Литературный современник».

Прочитав эту статью, О. Э. Мандельштам сказал: «Прямо шахматная партия». Видно, что, приведя эту фразу в своих воспоминаниях, Анна Андреевна вполне оценила такую своеобразную похвалу.

Да, любовь к поэзии Анны Ахматовой на наших глазах все растет и, кто знает, может сделаться скоро поистине всенародной, — ручательством служит хотя бы тот простой факт, что ее одноклассники расходятся мгновенно, их невозможно купить уже через день после выхода в свет. Это не исключает того, что далеко не все любящие поэзию непременно любят (или еще полюбят) стихи Ахматовой: одни ищут в стихах одно, другие — другое. Но есть и такие изысканные ценители, для которых Ахматова давным-давно перестала существовать: они как бы похоронили ее не в 1966 году, а еще в двадцатые годы...

С одной из таких читательниц я столкнулся в Крыму, в Коктебеле. Соседка моя по столу, пожилая интеллигентная московская дама, однажды спросила, читал ли я воспоминания Миндлина о Марине Цветаевой, прибавив, что Цветаева — единственная великая поэтесса нашего времени. Я удивился:

— Вы забыли про Ахматову?

Соседка скучным голосом сказала:

— Ну, это же было так давно!..

Этим самым она как бы повторила скверную эмигрантскую легенду о том, что настоящая Ахматова — это революционная Ахматова, а все остальное, что она писала, уже не в счет! Я, как это случалось иногда в юности (а тут мне было за шестьдесят), чуть не откусил моей почтенной соседке нос: налившись злостью, сказал, что Ахматова до последних дней своей жизни писала прекрасные, во всех смыслах классические стихи и что тот, кто любит поэзию, не может этого не чувствовать и не понимать... Разумеется, жена толкала меня под бок, щипала за руку, но я не мог, никак не мог не окрыситься, и правильно поступил: литераторша сразу стала смиренной и ласковой.

Ну, конечно, я знаю, что вместо своей гневной тирады я мог прочитать наизусть несколько ахматовских стихов, написанных в сороковые — шестидесятые годы, то есть как раз в то самое время, которое московская эстетка считала бесплодным. Скажем, то изумительное стихотворение 1940 года, из которого я взял две строки для эпиграфа:

Но я предупреждаю вас,
Что я живу в последний раз.
Ни ласточкой, ни кленом,
Ни тростником и ни звездой,
Ни родниковой водой,
Ни колокольным звоном —
Не буду я людей смущать
И сны чужие навещать
Неутоленным стоном.

Попробуйте выбросить здесь хотя бы одну строчку!
Или тончайшее наблюдение в том же 1940 году:

Когда человек умирает,
Изменяются его портреты.
По-другому глаза глядят, и губы
Улыбаются другой улыбкой.
Я заметила это, вернувшись
С похорон одного поэта.
И с тех пор проверяла часто,
И моя догадка подтвердилась.

И если уж продолжать вспоминать белые стихи, требующие, как известно, особой отточенности, новизны и глубины мысли, пришлось бы с начала и до конца прочесть упомянутую раньше «Предысторию» («Россия Достоевского. Луна...»), написанную в 1945 году. Именно ее цитирует Корней Чуковский в своей поздней статье, говоря о чувстве истории, присущем Ахматовой, начиная с двадцатых годов. Поэзия ее мужала с годами, и это мужание происходило необычайно быстро и интенсивно. Судьбы страны, ее история, роль и значение Пушкина в нашей культуре — все это кровно и очень конкретно интересовало Ахматову. Война особенно усилила и возвысила эти мысли и чувства. Уже весной того же 1940 года Анна Ахматова написала трагические стихи, посвященные бомбежкам Лондона и оккупации Парижа, а через год с небольшим — «Клятву», «Ноченьку», «Первый дальнобойный в Ленинграде».

Ноченька!
В звездном покрывале,
В траурных маках, с бессонной совой...
Доченька!
Как мы тебя укрывали
Свежей садовой землей.
Пусты теперь Дионисовы чаши,
Заплаканы взоры любви...
Это проходят над городом нашим
Страшные сестры твои.

Как мы, пережившие в Ленинграде эту первую, страшную блокадную зиму, так и все ленинградцы, куда бы их судьба ни закинула, не могли не почувствовать трагическую мощь этих строк.

И вновь говорила с нами Ахматова, вернувшись в 1944 году в Ленинград; говорила о городе Пушкина, о том самом Царском Селе, которому раньше посвятила столько прекрасных стихотворений, с которыми связана самая молодая и счастливая пора ее жизни, когда «заря была себя самой алее...».

О, горе мне! Они тебя сожгли...
О, встреча, что разлуки тяжелее!..

Да, этого города в 1944 году почти не стало, в нем все оказалось убито войной,— его не охранили, не уберегли предпосланные стихотворению Ахматовой пушкинские строки: «И царскосельские хранительные сени...»

И все-таки город Пушкина ожил: «А лицейские гимны все так же заздранно звучат»,— эти строки Ахматова написала через тринадцать лет, в 1957 году, и закончила это второе послевоенное стихотворение о любимом городе так:

Полстолетья прошло... Щедро взыскана дивной судьбою,
Я в беспамятстве дней забывала течение годов,—
Я туда не вернусь! Но возьму и за Лету с собою
Очертанья живые моих царскосельских садов.

Ахматова-человек взяла эти живые очертанья с собой, Ахматова-поэт оставила их навечно нам. Даже в самые черные дни отступления наших войск от Пушкина, а несколькими днями раньше от Павловска, я все помнил и твердил наизусть (хотя, казалось бы, до стихов ли, когда за спиной и где-то там, впереди, сбоку, рвутся снаряды):

Все мне видится Павловск холмистый,
Круглый луг, неживая вода,
Самый томный и самый тенистый,
Ведь его не забыть никогда.

— Не забыть никогда... не забыть никогда,— упорно повторял я, шагая по обсаженной липами дороге из Павловска в Пушкин.

— Не забыть никогда! — твердил я с надеждой, стоя в очереди за наганом в Александровском саду, где

их выдавали «неимущим» офицерам. Нас не оставляла надежда, больше — уверенность, что мы вернемся и снова увидим любимые парки, и мне были душевным подспорьем стихи Ахматовой об этих местах, до войны исхоженных мною летом пешком, а зимой на лыжах.

Повторяю: значение стихов Ахматовой в моей жизни вообще велико, многолико и примыкает вплотную к Блоку, Маяковскому, Мандельштаму, Цветаевой, Пастернаку, а из поэтов XIX столетия — к Баратынскому, Тютчеву, Фету, не говоря уж о Пушкине, Лермонтове, Некрасове, которых я знал и любил с детства, начав с наиболее мне доступного тогда Некрасова.

На этом блистательном фоне проходили (и оставались) увлечения другими поэтами, может быть не великими, но талантливыми и оригинальными, и всегда со мной была нежность к Есенину и восхищение пронзительно ясным Буниным:

Летний ветер мотает
Зелень длинных ветвей,
И ко мне долетает
Свет улыбки твоей...

И тут пришло время сказать, как стихи Ахматовой вольно или невольно учили меня... писать прозу! В самом деле, уж если поэт в перенасыщенном сильным чувством любовном стихотворении обходится без сравнений и метафор, то мне, прозаику, и сам бог велит быть поскромнее в слоге. Для наглядности приведу один пример. В 1911 году Анне Ахматовой было немногим больше двадцати лет. Вокруг пышно цвели десятки, если не сотни, велеречивых поэтов, восхищал поклонников и поклонниц Игорь Северянин со своим «Громокипящим кубком» и «Литургией-гимном жасминовым ночам». Ахматова же в 1911 году писала:

Как забуду? Он вышел, шатаясь,
Искавился мучительно рот...
Я сбежала, перил не касаясь.
Я бежала за ним до ворот.

Задыхаясь, я крикнула: «Шутка
Все, что было. Уйдешь, я умру».
Улыбнулся спокойно и жутко
И сказал мне: «Не стой на ветру».

Сколько здесь можно было навернуть сравнений, эпитетов, а двадцатилетний автор даже ни одного вос-

клицательного знака не поставил. Зато прозаично уточнил, что героиня бежала по лестнице, не касаясь рукой перил, а герой, когда она ему объявила, что умрет с горя, иронически посоветовал ей не схватить насморк.

Спрашивается, стоило ли мне, читая эти аскетические по форме и тем не менее пронзающие своим драматизмом стихи, писать в 1928 году такую шегольскую прозу: «Надежды расцветают быстро, как плесень — в одну ночь». Или: «Я хотел вспомнить все большое, но память моя рассыпалась — одни прекрасные мелочи пересчитывал я, как грехи...» А ведь это еще не худшие фразы!

Так или иначе, мои эстетические «нормативы» уже через год перестали меня удовлетворять, и я повернулся лицом сперва к иронической, а затем к подчеркнуто сдержанной, даже суховатой прозе (за что критики, бранившие меня прежде за излишнюю цветистость, стали опять же упрекать).

Но вернусь к поэзии Анны Ахматовой, хотя то, о чем хочется здесь сказать, относится скорей к прозе ее жизни, а если еще точнее — к ее концу...

В 1973 году вдова поэта Александра Гитовича прочла нам с женой свои заметки об Анне Андреевне, с которой они многие годы были соседями по даче. Гитовичи оставались в Комарове и на зиму, не смущаясь тем, что в иные ночи пролитая на пол вода превращалась в лед; Ахматова там жила только летом. Воспоминания Сильвы Гитович ценны не только своей правдивостью, непосредственностью, но еще и тем, что, в отличие от других (например, превосходных воспоминаний Маргариты Алигер, напечатанных в 1975 году в журнале «Москва»), они рисуют Анну Андреевну, так сказать, с домашней стороны. Кто из нас может похвалиться, что знал ее в быту, встречался с ней в каждодневной житейской обстановке? Впрочем, «быт» в данном случае весьма условное понятие: Ахматова жила столь напряженной духовной жизнью, что быт был сведен к максимальному минимуму. Даже кровать, такая необходимая вещь для каждого, тем более старого человека, представляла собой матрац, подпертый по углам кирпичами, что однажды чуть не привело к «катастрофе» (к тому же, если не ошибаюсь, в присутствии какого-то иностранного визитера!).

Записи Сильвы Гитович подкупают юмором, которым всегда владела сама Анна Андреевна и ценила его

у других. Они умны, добры, наблюдательны и вызывают у слушателя желание — скорее увидеть их напечатанными. Уверен, что они понравились бы Ахматовой. Я знаю, что Анна Андреевна дорожила соседством и дружбой с Гитовичами, несмотря на разницу в возрасте. Правда, случилось так, что Александр Ильич всего на полгода пережил Анну Андреевну, и могилы их находятся рядом на Комаровском кладбище; вскоре там появилась и могила Сильвии Соломоновны. В жизни же их сближало, кроме живого ума и обостренного интереса к истории, то, что оба поэта переводили китайскую и корейскую древнюю лирику. Они даже посоревновались, переведя одну и ту же вещь Цюй Юаня — автобиографическую поэму «Люсао» («Скорбь»), написанную за тысячу триста лет до нашего века. Ко всему прочему, Гитович был отличный рассказчик и мог много порассказать Ахматовой о нашем житье-бытье тридцатых годов, — как раз о том времени, когда Ахматова была далека от литературных кругов.

...Я с наслаждением слушал талантливый рассказ Сильвы о последних годах жизни Анны Ахматовой и вместе с тем непрестанно ловил себя на мысли о том, как одинок большой поэт в большом мире, даже если у него много читателей, почитателей, старых и молодых друзей. Когда он остается наедине с собой, никто не может его отвлечь от надвинувшейся вплотную старости и близости конца; никто и ничто — кроме сознания, что он до конца остается поэтом.

...Но звонкий голос твой зовет меня оттуда
И просит не грустить и смерти ждать, как чуда.
Ну что ж! Попробую.

Так писала больная семидесятишестилетняя женщина за четыре месяца до смерти. О чем свидетельствуют эти мужественные строки? О том, что не смерть, а жизнь ее была чудом.

1974—1975



САМЫЕ ГЛАВНЫЕ СЛОВА

Вера Кетлинская... Удивительно тесно соединились для нас в этом имени — писатель, человек, общественный деятель. Так тесно и органично, что, пожалуй, грех было бы их в краткой статье разделять. Да это и невозможно. Любой читатель любой ее книги безошибочно чувствует, что такую книгу не мог написать литератор кабинетного склада. О чем бы ни писала Кетлинская — о заводе, о стройке, об ученых, о партийных работниках, — сразу видно, что она не на время, не на командировочный месяц, а навсегда погружена в окружающую ее жизнь.

Перед Кетлинской никогда не стоял вопрос: писать о давнем, о дальнем, дать новым впечатлениям улечься, или писать о сегодняшнем. Она — неизменная сверстница описываемых ею событий. Известный миллионам читателей роман «Мужество» написан в те самые годы, когда в дальневосточной тайге создавался новый город — Комсомольск-на-Амуре. Прибывший туда разъездной корреспондент «Комсомольской правды» не просто встречался с его строителями — он делил с ними трудности этой суровой, лишенной минимальных житейских удобств, напряженной, порой драматической стройки. В 1938 году книга была напечатана и оценена по достоинству, особенно молодежью, — первая большая награда за целеустремленность, энергию, мужество Веры Кетлинской.

Роман «В осаде» писался в самые тяжкие, самые смертные месяцы ленинградской блокады. По собственному признанию, Кетлинской потом казалось невероятным, что она написала его первые страницы январской ночью 1942 года, в заледенелой комнате, когда рядом спал укутанный множеством одеял полуторагодовалый сын, а в соседней комнате лежала на столе умершая от голода мать, которую уже третьи сутки она не могла похоронить.

По свежему следу событий, или одновременно с ни-

ми, писались и другие книги Кетлинской: «Дни нашей жизни», «Иначе жить не стоит», «День, прожитый дважды». И хотя повествуют они об очень разном, совсем не случайно слова «жизнь» и «жить» присутствуют во всех трех заглавиях, — может быть, к этому я еще вернусь...

Две книги Веры Кетлинской — «Вечер, окна, люди» и «Здравствуй, молодость!» — автобиографичны: это своеобразный сплав воспоминаний о детстве и юности опять же с сегодняшним днем. Присущий Кетлинской жгучий интерес к современности, откровенная публицистичность ее дарования, горячий, размашистый почерк сполна отразились и здесь. Мы вместе с автором наново переживаем остроту и насущность тех проблем и вопросов, которые волновали Кетлинскую, все наше поколение в двадцатые годы. Мы вместе с ней размышляем, оцениваем и судим: что отжило, отмерло, а что надо продолжить, напитать соками новой жизни. «Взаимопроникновение и взаимосвязь поколений, — говорит Кетлинская в предисловии, — великая тайна... Но в любом случае тебе хочется, чтобы юные восприняли те духовные ценности, которыми ты владеешь, не отмахнулись от тебя с молодым самодовольством, если надо — защитили тебя от напраслины, если ты предаешься душой любимому делу — не предали его, не забросили, а продолжили...»

Наверно, писатель Кетлинская, как всякий другой писатель, может нравиться или не нравиться — дело вкуса, читательских интересов, — но несомненно одно: на ее книгах всегда лежит отпечаток авторской личности, авторского характера. Говоря о первом ее романе, я уже называл эти главенствующие черты, но ведь они проявляются во всей ее жизни. Я бы мог привести тому много примеров, — ограничусь давним, одним. Лет тридцать назад Кетлинская возвратилась домой якобы из долговременной очередной командировки, на деле же — из больницы, перенеся грозную операцию. У нее хватило духу никому из близких, домашних об этом не сообщать... Часто ли люди так поступают?

В трудные для себя годы она сумела вырастить, воспитать двух сыновей, — один из них ныне врач, другой — химик. Так вот не преувеличением будет сказать, что материнское внимание проявляла она и к литературной молодежи. Много лет руководила Кетлинская в Ленинграде работой с молодыми писателями, оказывала им необходимую помощь, печатала их в специаль-

но созданном для этого альманахе и вместе с тем оберегала их от излишне ранней профессионализации. Широко известный теперь писатель Александр Рекемчук, наверное, помнит, с каким деятельным вниманием отнеслась Кетлинская к его творчеству, когда он с Дальнего Севера привез в Ленинград на межобластной семинар молодых писателей повесть «Время летних отпусков».

Повторяю, все знали ее энергию и работоспособность, но меня они особенно поразили в блокаду. Будучи военкором ТАСС, я вернулся в Ленинград с Мурманска в середине августа 1941 года, ровно за две недели до того, как кольцо блокады замкнулось. Вскоре я узнал, что ответственным секретарем Ленинградской писательской организации с первых дней войны стала Вера Кетлинская. Как ни странно, но, живя в одном городе и начав печататься почти в одно время (1926—1927 годы), мы с ней до войны не встречались. Знакомство наше было заочным и заключалось в том, что когда-то я прочел рукопись рассказа «Люська», рассказ показался мне сентиментальным, искусственным, я, как член редколлегии журнала «Литературный современник», этого не скрыл, и рассказ автору вернули... Для курьеза отмечу, что с осени 1941-го до весны 1942-го, когда мы с Кетлинской часто видались, порой работали рука об руку, она ни словом об этом эпизоде не обмолвилась, и лишь через четверть века, в мой юбилейный вечер смеясь напомнила, как я «зарубил» ее «Люську»! Опять редкий случай. Что-то немного я знаю литераторов, способных настолько отвлечься от самолюбия, от обиды, а ведь в этом вся Вера Казимировна!..

Но, конечно, не только в этом! Перечислю несколько деловых и общественных обязанностей ответственного секретаря Ленинградской писательской организации во время войны: «трудоустройство» писателей — в армейские и городские газеты, на радиовещание и выступления в госпиталях, эвакуация всех, кого можно и нужно эвакуировать, ежедневные заботы и хлопоты о водопроводе, отоплении, противопожарных средствах и ПВО, о плане обороны Дома в случае уличных боев, материальная и духовная поддержка семей фронтовиков, и самая трудная, невероятно трудная задача — как улучшить хоть немного питание, как подкормить людей, — за это она боролась изо всех сил.

Как давно это было, сорок пять лет назад, а мне все

видится: утром иду в ЛенТАСС или в Союз писателей, где мы готовили сборник «День осажденного города», и встречаю на набережной знакомую фигуру... Подеревенски закутав голову в шаль, так что видны были одни бодрые, как всегда, глаза, Кетлинская чуть не каждое утро брела в карточное бюро Ленгорисполкома, помещавшееся рядом с Адмиралтейством, — хлопотать для Союза писателей еще об одной хлебной карточке первой категории, приравненной к рабочей. В большинстве случаев это означало жизнь еще для одного литератора.

Значит, недаром прозвали ее в те тяжкие дни — «Наша Вера в Победу»! В словах этих не было ни излишней выспренности, ни оттенка иронии — они точно и искренне выражали суть и значение для нас этой деятельной натуры. Правда, кое-кого раздражал ее неунывающий вид в самую мрачную пору — ноябрь, декабрь 1941 года, — когда паек хлеба еще убавили — рабочим до 250 граммов в сутки, служащим, иждивенцам и детям до 125 граммов, когда немцы заняли Тихвин, казалось совсем отрезав нас от России... Но даже самые закоренелые пессимисты и скептики невольно воспрянули духом, когда в предновогодний вечер в столовой Дома писателя Вера Кетлинская встала на стул и ликующе объявила, что восстановлен железнодорожный путь Тихвин — Волховстрой и повышены хлебные нормы: рабочим — до 350 граммов, служащим и иждивенцам — до 200 граммов... Это ли не начало победы хотя бы над голодом!

Так надо ли удивляться тому, что слова «жить» и «жизнь» — самые главные в произведениях Веры Кетлинской?

ВЕЧЕР ПАМЯТИ

(14 апреля 1976 года)

С Наумом Яковлевичем Берковским я познакомился в 1928 году, почти полвека назад. Он вел занятия в литературной мастерской Пролеткульта на улице Пролеткульта, прежде — Екатерининской, ныне — Малой Садовой. Я сказал — Пролеткульт, и все, наверно, подумали: «Но ведь Пролеткульт — это что-то очень и очень давнее, самое начало двадцатых годов. Разве в конце двадцатых он еще был?» Да, был. Его отменили в 1932 году, тогда же, когда отменили и РАПП, и РАПМ, и АХРР. А до этого даже кинотеатр «Колосс», помещавшийся в доме теперешнего Радиокomiteта, принадлежал Пролеткульту.

Не помню, кто меня привел в Литературную мастерскую, но пришел я туда с написанной летом 1928 года повестью «Полнеба». Судьба повести еще не определилась, лишь через полгода ее приняли к печатанию в журнале «Звезда», и первопрочтение ее вслух Берковскому и его ученикам стало для меня событием. Но еще больше значило для меня внимание, которое с тех пор оказывал мне Наум Яковлевич. Это вовсе не означает, что он меня хвалил, — наоборот, внимание его было весьма придиричиво. Недавно я заглянул во 2-й номер журнала «Литературный современник» за 1934 год: боже, как крепко критиковал моего «Базиля» Берковский! Почему же я сохранил благодарное воспоминание и об этой статье? Да потому, что статья умна, остра, пронизательна, но главное — потому, что, строго разбирая повесть, Берковский стремился раскрыть литературные возможности автора. Он умел вычитать не только то, что автор в ней написал, и что хотел написать, и что явилось порой независимо от его намерений, но и то, что м о г л о б ы явиться, будь автор образованнее и опытнее, и что авось явится в следующих его вещах... Вот это, повторяю, самое главное в критических замечаниях Берковского: несмотря на резкость, а то

и язвительность, они бодрили и подстрекали — стань мастером! Секрет в том, что Наум Яковлевич увлекал тебя своим пожеланием, а для этого нужен и педагогический, и художественный, литературный талант.

Но кто не знает, как щедро был одарен Берковский? Удивительно органично в нем сочетались огромные знания в области германской и мировой литературы, любовь к театру, глубокое понимание Чехова и живой интерес к советской молодой прозе. (Кстати, иначе не попали бы в силовое поле его внимания Геннадий Гор и я в конце двадцатых годов и Андрей Битов в шестидесятые годы, — в Андрее он сразу почуял редкостное и умное дарование и не ошибся.)

...С благодарностью вспоминаю я наши медленные прогулки с Наумом Яковлевичем по Невскому от улицы Пролеткульта до улицы Софьи Перовской, дом № 12, где в то время Берковский жил. Курьезная деталь (может быть, ее помнят и другие): идешь с ним рядом, течет неспешная содержательная беседа, и чувствуешь; как теплый бок Наума Яковлевича дружелюбно теснит тебя к краю панели или к стене дома, что ничуть не мешает, а даже способствует нашим духовным контактам!

Понятно, что я ценил и помнил эти прогулки, но лет пять назад меня поразило, что Наум Яковлевич вдруг мне напомнил о предмете одной из наших бесед — о Махе и его учении, которое меня тогда почему-то интриговало, в результате чего я обозвал одного своего героя «помесью Маха с вятским мочалом»... С той зимы прошло четыре десятилетия, пролегла война, Наум Яковлевич написал не одну тыщу страниц блистательной литературоведческой и театроведческой прозы, воспитал, вынянчил сотни студентов и аспирантов — и не забыл столь махонький факт!

Я говорю — беседа, беседы... Но те, кто знал Наума Яковлевича, хорошо помнят, что чаще беседа с ним была почти односторонней: так интересно было все, о чем говорил Берковский, что вы его слушали, не могли не слушать, и диалог сам собой становился монологом. Наум Яковлевич сам писал потом в книге «Романтизм в Германии», в главе о Клейсте: «Мысль рождается в разговоре... Одно только присутствие слушателя, разговор, в котором одна сторона без слов, — и того уже достаточно, чтобы мысль возымела нужную энергию».

Что верно, то верно! Именно так Берковский в 1929 году открыл мне Клейста и Мериме, обольститель-

но рассказав о них, и тем помог моему уходу от орнаментальной прозы, которой я увлекался в юности; и он же потом упрекал меня в статье о «Базиле» за слишком «белую прозу»: «Если наши прозаики вчера писали витиевато, это еще не значит, что на сегодня им вручается перо регистратора» — так пояснил он свое выражение «белая проза».

Шли годы, проходила жизнь, встречались мы с Наумом Яковлевичем, увы, пореже, но внимание, добрая память не остывали, о чем свидетельствуют надписи на подаренных книгах: «Леониду Николаевичу со старой любовью», нежное поздравление меня с шестидесятилетием... стало быть, с сорокалетием нашего знакомства. Странно: когда мы познакомились, мне стукнуло двадцать, Науму Яковлевичу — двадцать семь, но отношение у меня к нему было тогда сыновнее. Неужели разница в семь лет такая решающая? Думаю, что дело в другом: в разнице в знаниях, в культуре, в литературном опыте; эта разница была колоссальна. Соответственно велико было и мое уважение к Науму Яковлевичу.

Наума Яковлевича уже нет — уважение, признательность и любовь остались, остались на всю оставшуюся жизнь. Убежден, это чувство испытывают все, кто знал Наума Яковлевича Берковского, — тем более, кто знал его столько лет, как мы с Геннадием Гором.

ТВОРЧЕСТВО

(К 75-летию Ефима Семеновича ДОБИНА)

Перед тем как писать для журнала «Искусство кино» о своем старом друге, я заглянул в «Литературную энциклопедию» — и огорчился: все, что я там прочел о Ефиме Добине, верно, но как же этого мало! Разумеется, я не ждал от неизбежно краткой заметки исчерпывающих данных о его многолетней критической, литературоведческой, искусствоведческой деятельности; тем более что после того он опубликовал еще четыре, может быть, лучшие свои книги. Огорчило меня другое: я понял, что тоже не смогу хотя бы с приблизительной полнотой охарактеризовать творчество этого человека.

Да, творчество, не хочется иначе называть литературную работу Ефима Добина. И не только потому, что он чутко разгадывает и тонко раскрывает нам тайны искусства исследуемого им художника: на то он и мастер своего дела. Хороший язык, живое изложение? Так ведь все нынче научились писать: возьмите любую статью, очерк, растянувшуюся на месяцы литературную дискуссию, — чего стоят одни заголовки! «Блистают, блещут и блестят», — как сказал когда-то Илья Сельвинский.

Но вот почему-то я ни о ком не слышал того, что услышал в разное время от двух очень разных читателей о двух очень разных добинских книгах:

— Какую прелестную книжку написал Добин!

«Прелестную»... Что за эпитет, когда речь идет о литературоведческом труде? Эмоционально, просто-сердечно, но ничего не определяет. Впрочем, об этом после.

Для журнала «Искусство кино», вероятно, следовало бы писать о Добине-киноведе: добрая половина всего, что им сделано, относится к этой области. Но я — литератор — познакомился с Добиним в те давние дни, когда он был далек от кино, в самом начале тридцатых

годов; к тому же в последнее время он снова обратился к литературе, словно исчерпав (либо поборов) свой повышенный в течение ряда лет интерес к кино. Заглавия его новых книг: «Поэзия Анны Ахматовой», «История девяти сюжетов. Рассказы литературоведа», «Искусство детали». Но вот странность. Беру эту изданную в прошлом году превосходную книгу — о мастерстве Гоголя и Чехова, — открываю ее и читаю: «Иногда Гоголь дает сначала самую общую типовую характеристику... (пример из «Мертвых душ»). В кино это называется — самый общий план». Или: «Так называемый первый план — человеческие фигуры во весь рост».

Открываю страницу во второй части книги: «Чехов закрепляет в прозе прием, который впоследствии в кино будет назван с м е н о й п л а н о в: от общего к среднему, затем к крупному и, наконец, к детали... Чем более суживается поле зрения, чем более глаз приближается к детали, тем сильнее напряжение». Следуют цитаты из «Мужиков» — картина деревенского пожара. На следующей странице читаем про «способ отраженного видения, дающий возможность создать картину отдельными мазками, крупными планами». Добин приводит описание пикника в «Дуэли», для большей ясности, «раскадровав» его, как в режиссерском сценарии:

«На том берегу около сушильни появились какие-то незнакомые люди. Оттого, что свет мелькал... нельзя было рассмотреть всех этих людей сразу, а видны были по частям

то мохнатая шапка и седая борода,

то синяя рубаха,

то лохмотья от плеч до колен и кинжал поперек живота,

то молодое смуглое лицо с черными бровями, такими густыми и резкими, как будто они были нарисованы углем».

М-да! Прочитав эту «раскадровку», никак не скажешь, что, приступая к работе о писательском мастерстве, Ефим Добин распрощался с кино...

Но, конечно, чтобы по-настоящему оценить Добина-киноведа, нужно знать его книги «Поэтика киноискусства» (1961), «Козинцев и Трауберг» (1963) и особенно — «Гамлет, фильм Козинцева» (1967). Читая это исследование, отчетливо сознаешь, как Добин обогащает твое понимание современного кинематографа в его лучших образцах, с его поэзией и правдой, и вместе

с тем видишь, что кинематограф обогатил и самого автора. Содержание книги — не только глубокое погружение в режиссерскую мысль, не только анализ и предыстория козинцевского фильма, но и талантливое словесное воссоздание тех, казалось бы, неповторимых впечатлений, которые подарил тебе фильм. Читаешь и словно бы заново постигаешь его красоту, пластическое и психологическое мастерство режиссера, актеров, композитора, оператора, художников.

Понятно, почему Григорий Михайлович Козинцев любил встречаться и часами беседовать с Добиним, чему я неоднократный свидетель. Будучи редактором следующей козинцевской картины — «Король Лир», — я тоже не раз испытывал потребность посоветоваться с Добиним: уж он-то помнит, уж он-то знает!

Особенно поражает его память. Вот уж кому не нужны закладки, заметки, справки: он в каждый момент безошибочно помнит всю цепь ассоциаций, приведших его к главной мысли, всю сеть разветвлений, частности, мелочи; и все это как бы на одном легком дыхании. Кстати, в книге о «Гамлете» это отражено и в щедро рассыпанных стихотворных эпиграфах: Пастернак, Блок, Антокольский, Ахматова, Цветаева, Мандельштам, Микола Бажан; видно, что их стихи нашли свое место сразу — недаром они действуют безотказно. Скажем, первая глава начинается изложением кадров, где Гамлет скачет из Виттенберга в Эльсинор. День сменяется ночью, угасает последний луч — Гамлет въехал в зловещий замок. Главе предпослана строчка из Пастернака: «На меня наставлен сумрак ночи», и мы физически ощущаем, что на Гамлета и на нас наведен черный луч. Удивительно тесно сплетаются две душевные привязанности Ефима Добина — к поэзии и к кино.

Хочется добавить еще — и к природе. Наверное, смешно вспоминать, но, когда мы были моложе, мы часто вдвоем собирали грибы. Есть разные методы, разные стили в этом занятии, здесь не место о них распространяться, но в добинской манере органично соединялись систематичность ученого, охотничий азарт и лирическое настроение...

Похожие контрасты я замечаю и в его работе. Иначе, думается, как бы он обнаружил в привычных, знакомых со школы литературных понятиях новый, свежий, никем не замеченный смысл? Добин первым понял и объяснил разницу между подробностью и деталью: «Подробность

воздействует во множестве. Деталь тяготеет к единичности» («Искусство детали»). Эта мысль выношена им давно, и я знаю, как высоко оценил ее профессор Б. М. Эйхенбаум: «Мы все ходили вокруг да около, и никто ее не поймал, не накинул на нее свое лассо!»

Но Добина посещают внезапные решения и другого порядка. В своей старой книге — «Жизненный материал и художественный сюжет» (1956) — на ряде примеров (Бальзак, Стендаль, Флобер, Толстой, Чехов и многие, многие бессмертные имена) он дотошно проследил путь, который проходит писатель от встречи, знакомства с житейским случаем — к типическому обобщению и раскрытию социальных и психологических противоречий. Достойная, интересная, насыщенная фактами работа. И вдруг, через много лет, Добин решает вновь ее совершить, но уже... для детей. Его не пугает, что это будет посложнее, чем для взрослых.

В 1973 году книга вышла. В предисловии к ней педагог и писатель Н. Долинина пишет: «Как вам удалось так увлекательно рассказать о Монте-Кристо? — спросила я у автора книги.— Читаешь с не меньшим волнением, чем сам роман». Автор ответил: «Когда я писал, мне казалось, что я опять стал четырнадцатилетним».

Ответ хорош, но ведь в «Истории девяти сюжетов» автор сумел увлекательно рассказать и о куда более серьезных вещах: о том, как появились на свет «Шинель», «Пиковая дама», «Капитанская дочка», «Муму», роман «Отверженные»... Вот почему еще мне понравилось, что две последние добинские книжки читатели назвали п р е л е с т н ы м и: это слово отлично передает увлеченность и непосредственность маститого автора, юность его души. Поблагодарим же за них Ефима Семеновича, пожелаем ему здоровья, а себе — почаще встречаться с этим умным, талантливым, интересным писателем.

Ровно через год, 15 сентября 1977 года, Ефим Семенович Добин умер.

Сентябрь 1976



ЕЩЕ ОДИН ПАМЯТНЫЙ ГОД

Когда спрашивают — чем запомнился мне 1934 год, год Первого съезда Союза советских писателей, я неуверенно отвечаю: пожалуй, многочисленными поездками. В Мурманск — в июне; в Нижний Тагил и Свердловск — в июле; в Москву, на съезд писателей — в середине августа; на военные маневры под Ленинградом — в начале сентября; в Карелию — в декабре; в танковую часть, в Петергоф, — на всю зиму. Самый съезд занимал центральное место, но был ли он для меня в центре внимания в этот насыщенный год? Трудно сразу сказать — столько было всего другого.

Прием в Союз, как ни странно, взволновал меня сравнительно мало. Может быть, потому, что как раз в эти месяцы меня грызла тревога — что́ я стану писать, когда в журнале кончит печататься моя последняя повесть? Она мне вдруг разонравилась, показалась явно слабее «Базиля», я даже решил не издавать ее отдельной книжкой — редкий случай в жизни и практике малоимущего молодого писателя.

Да и слишком я хорошо помнил, как легко вступил за три года до этого во Всероссийский Союз писателей: подал краткое заявление — и баснословно скоро, чуть ли не через неделю, получил членский билет. Вот он передо мной, подписанный 27 июля 1931 года председателем Ленинградского отделения М. Слонимским и секретарем Н. Баршевым, талантливым, но мрачным прозаиком, автором книги «Большие пузырьки», — так называлась в одном из рассказов железнодорожная станция, где происходят трагические события. Членами правления Всероссийского союза писателей были Алексей Толстой, Евгений Замятин, Вячеслав Шишков, Константин Федин, Ольга Форш и другие известные, точнее — знаменитые писатели, жившие в ту пору в Ленинграде. Помещался Союз на Фонтанке, в доме № 50 (бывшее дворцовое управление), на углу Пролетарского (бывше-

го Графского) переулка. Насколько помню, помещение было неказистое: низкий первый этаж.

Билет я получил у казначея Союза, А. В. Ганзен, переводчицы Андерсена, Ибсена, Гамсуна, Стриндберга. Анна Васильевна добродушно спросила, в каких журналах печатались мои произведения, и когда я ответил, что не только в журналах («Звезда», «Молодая гвардия»), но есть даже полторы книжки (одна пополам с Геннадием Гором — «Студенческие повести»), она ласково удивилась. Меня же удивил и заинтересовал стоявший за ее спиной рояль, накрытый полотняным чехлом с подписями членов Союза писателей, вышитыми цветными нитками.

— Можно расписаться? — нерешительно спросил я.

— Непременно, голубчик, — еще ласковее ответила Ганзен.

В апреле 1932 года, то есть меньше чем через год, Всероссийский Союз писателей, как и другие литературные организации — РАПП, «Перевал», ЛЕФ, — был ликвидирован постановлением ЦК, и мою подпись наверняка не успели вышить. Впрочем, куда-то исчез и сам факсимильный чехол — ни в одном литературном музее я его потом не видел. Жалко!

Два года мы пребывали в некоем промежуточном состоянии, управлял нами Оргкомитет, и лишь в июне — июле 1934 года осуществился прием в единый Союз советских писателей СССР. Все-таки мне запомнился этот летний, жаркий день, когда в Доме писателя, только что предоставленном нам Ленгорсоветом, — до этого мы ютились в Доме печати, — на площадке лестницы вывесили два списка: 139 принятых в члены СП и 89 принятых в кандидаты, иначе говоря, в стажеры. Литераторы толпились перед списками, трепетно ища в них свою судьбу. Оказалось много сюрпризов. Скажем, Геннадий Гор и я, оба начавшие литературный путь в 1927 году, попали в разные списки: Гор в кандидатский (ему повредили придирки критиков к его талантливой, с напряженными поисками новой формы, книжке «Живопись»), я в членский (подсобил «Базиль»). Еще удивительнее, что автор пяти или шести прозаических книг (не считая стихов и переводов) Николай Чуковский был зачислен в стажеры! Через полгода несправедливое неравенство исправили, но удар по самолюбию был уже нанесен. Это сказилось на первом этапе нашей поездки в Мурманск, куда в связи

с близящимся Съездом писателей направили выступать перед читателями критика Иосифа Гринберга и прозаиков Н. Чуковского и меня. В вагоне они вдоволь острили насчет своего кандидатства и моего членства, с преувеличенным почтением уступая мне нижнюю полку.

Впрочем, дальше поездки было отличной. Чуковский и я раньше бывали в Мурманске, писали о нем, и нам было интересно посмотреть и сравнить — как изменился он за четыре года. Достаточно сказать, что в 1930 году в городе «высился» всего один каменный двухэтажный дом — столовая наверху, продмаг внизу, — а сейчас мы выступали в театре, мало чем отличавшемся от ленинградских домов культуры. Неузнаваемо вырос и порт, который мы обозрели с горы: побродить по его причалам на этот раз не успели. Мог ли я предполагать, что через семь лет опять окажусь в Мурманске, уже в качестве военного корреспондента, — увижу, услышу, как на него падают бомбы...

Сразу после поездки на Мурман я отправился на Урал, в Нижний Тагил, где все лето в служебной командировке находилась моя жена. Она снимала комнату в квартире секретаря парткома Нижне-Тагильского чугунолитейного завода, что дало нам возможность не раз побывать на этом старинном заводе, полюбоваться на выплавку чугуна, осмотреть все, что нас интересовало. Строился в Нижнем Тагиле и новый завод, рассчитанный уже не на 100 тысяч, а почти на 2 миллиона тонн чугуна. Съездили мы на вагоностроительный завод, для которого жена проектировала служебные и жилые дома. Поднялись на гору Высокую, чуть не целиком состоящую из магнитного железняка, — руды, которой хватит для завода надолго. Заводской пруд живо напомнил мне лето 1917 года в Ижевске, которое я провел в гостях у отца: там тоже был пруд, но уже не в 18, а в 40 верст длиной.

Увлекательной оказалась поездка в Свердловск, где удалось попасть на завод-гигант, знаменитый Уралмаш, обойти за целый рабочий день его цехи, поражавшие величиной и новейшим техническим оборудованием; на собрании в одном из цехов я познакомился и даже стоял на помосте бок о бок с товарищем Кабаковым, секретарем Свердловского обкома, членом партии с 1914 года, крупным, рыжеватым мужчиной, и с интересом слушал его грубоватую, темпераментную речь.

Казалось бы, все увиденное и услышанное за эти

недели могло подтолкнуть меня хотя бы на очерк,— многие мои коллеги, и старшие и ровесники, в те годы уже писали (и написали) романы и повести о Магнитке, о Сельмаше, о Сталинградском тракторном, но эта активность меня и смущала. Почти за месяц пребывания на Урале я написал лишь рассказ, в основу которого легли старые и новые впечатления... о Мурмане. Типичное для меня отставание! Но я не жалел, что написал этот рассказ, хотя судьба его оказалась нелегкой.

А вот одна из заметок в старой записной книжке, относящихся к уральской поездке:

«1934. Ночь в вагоне из Тагила в Свердловск. Шесть часов езды. Высокоинтеллигентный мужчина рассказывает соседям по вагону о том, что он видел когда-то в Австрии, потом о цыганах, о санскритских корнях испанского языка, светски любезен с простенькими техникумскими девушками, мешая им спать. Потом сам засыпает сидя. Ночь. Рассвет. В вагон вошли ягодницы. Усевшись, начали пересыпать и отмеривать свои ягоды, готовясь к Свердловску. Вдруг тишину нарушает строгий голос: «Не облизывай ложку! Не облизывай ложку!» Это проснулся интеллигент и увидел, как ягодница облизала деревянную ложку, насыпая ею в стакан землянику. Публика просыпается. Техникумские девушки как ни в чем не бывало покупают землянику у провинившейся ягодницы...»

О, если бы так же подробно я записал речь товарища Кабакова или впечатления о работе гигантского прокатного стана!

В Ленинграде я подросел к писательскому собранию, выбиравшему членов Правления и делегатов на съезд. Недавно я нашел в старой газете отчет о собрании и прочел там список выбранных делегатов с решающим и совещательным голосом. Значусь в списке и я, и действительно назывался на собрании как кандидат в делегаты, но поехал на съезд по гостевому билету. Впрочем, жил я в гостинице и питался в ресторане (карточная система была еще в силе до конца года) наравне с делегатами. Вообще любопытно сейчас прочитать делегатский список: имена многих ленинградских посланцев неизвестны сегодняшним читателям. Кто помнит, кто слышал о Баузе, Свирине, Камегулове, Лаврухине, Кикутсе, Ральцевиче, Адамовиче (не путать с теперешним белорусским писателем), Майзеле? А ведь их имена стояли рядом с именами Форш, Лавренева, Тынянова,

Федина, Маршака, Зощенко, Тихонова, Слонимского, Прокофьева, Каверина, А. Толстого...

Итак — Москва 1934 года. Август. Рядом с Домом Союзов, где идет съезд, строится Дом Совнаркома, а напротив него, на другой стороне Охотного ряда — гостиница «Москва» с вестибюлем метро под ее правым крылом. Столица всю перестраивалась, за два года, прошедшие с того дня, когда я впервые в ней побывал, произошло множество перемен. Но Тверская (в недалеком будущем улица Горького) оставалась прежней, ее еще не расширили, не раздвинули, не построили тех больших жилых корпусов — № 2, № 4, № 6, № 8, — простирающихся вплоть до бульварного кольца, к которым за минувшие с той поры сорок с лишком лет все привыкли, словно эти дома существуют вечно.

Входили мы в Дом Союзов не с Дмитровки (Пушкинской), как сейчас, а с фасада здания, выходящего на Охотный ряд. У подъезда толпилось много москвичей — посмотреть на писателей, русских и иностранных. Пропускали внутрь по делегатским и гостевым билетам и разовым пропускам. Я обратил внимание на молодого человека, назвавшего себя сыном покойного Анатолия Васильевича Луначарского, — пропуска у него не было, и попал ли он тогда на съезд — не знаю.

Открытие съезда, конечно, было торжественным, весьма торжественным, но в отличие от послевоенных съездов (скажем, Второго, в 1954 году, в Большом Кремлевском дворце), в президиуме отсутствовали члены Политбюро. Из членов правительства заметил лишь одного — наркома просвещения А. С. Бубнова, имя которого в свое время носил Ленинградский университет. Нарком был облачен в белый китель, равно как и Демьян Бедный, также сидевший в первом ряду президиума. Безыменский снял пиджак (как видно, в подражание Маяковскому!) и остался в подтяжках (чего не позволял себе Маяковский). Величественно, но как всегда подмаргивая, возвышался Алексей Толстой. Сутулился еще не седой Эренбург. Как штык, торчал Тихонов, в те времена показательно худой. Привычные места — как в литературе, так и в президиуме! — занимали недавние рапповцы Киршон, Фадеев, Gladков, Панферов, поочередно потом председательствовавшие на заседаниях. Скромно, хотя и на почетном месте, но как бы в сторонке, держался один из старейшин нашей

литературы А. С. Серафимович. Украинцев и белорусов сперва я не знал в лицо, — постепенно мне показали поэтов Миколу Бажана, Рыльского, Янку Купалу, драматургов Микитенко и Кочергу, популярность которых тогда была не меньше, чем у Киршона, и, наконец, автора действительно отличной пьесы «Гибель эскадры» — Корнейчука. Кажется, Александр Корнейчук сидел не в президиуме, а просто в зале.

По мере выступлений и по фотографиям в газетах мы узнавали иностранных писателей — Луи Арагона, Жана Ришара Блока, Вилли Бределя, Иоганнеса Бехера, Эрнста Толлера (через пять лет покончившего с собой драматурга, антифашиста), Мартина Андерсена Нексе, Андре Мальро (будущего министра культуры в послевоенном правительстве де Голля). Речь Мальро (роман которого «Условия человеческого существования» был издан за год до съезда) переводил для нас Юрий Олеша. Меня обрадовало присутствие в этом высоком ареопаге Олеси и Пастернака, так много для меня всегда значивших. Пастернак был необычайно оживлен, весел, выпятив губы, тянулся через ряд, через два к своим грузинским друзьям — к Паоло Яшвили, Тициану Табидзе (с челкой на лбу, как у римского патриция), а я с удовольствием твердил про себя его строки: «Мы были в Грузии. Помножим Нужду на нежность, ад на рай, Теплицу льдам возьмем подножьем, И мы получим этот край...» Помню, через год в Ленинграде, на банкете, устроенном в честь грузинских поэтов, он поднял нашего Александра Андреевича Прокофьева на руки и носил его по всему залу, а тот счастливо смеялся, прикорнув, как младенец, к широкой груди Пастернака...

Ежедневно приветствовали съезд пионеры, колхозники, метростроевцы, узбеки, киргизы, военные, многократно в честь съезда бил барабан, звучали фанфары. Съезд длился пятнадцать дней, начавшись с доклада Горького. Читал его Алексей Максимович тихо, надолго закашливался; подвели и несовершенные радиоусилители. В газете на другой день я прочел все внимательно, в том числе настоящий призыв Горького к коллективным работам — истории фабрик и заводов, истории гражданской войны, книге «День мира». Я знаю, сам видел, что к хорошему замыслу истории фабрик и заводов еще в 1932 году, бывало, примазывались ремесленники и начетчики, оказавшиеся не у дел рапповские

чиновники, явно дискредитируя эту тему. Подумалось — знает ли об этом Горький?

Думалось и о многом другом, но когда я смотрел на Горького — из головы не выходило одно: какая громадина! Кроме того, что с возрастом я больше и больше ценил «Клима Самгина», эту эпопею русской жизни почти за полвека, и чистосердечно считал лучшим произведением советской драматургии «Егора Булычева», — в эти дни всего более впечатляла меня сама личность. Вспоминалось поистине подвижническое трудолюбие Горького, его сверхначитанность, всевнимание, а в далекие годы разрухи и голода — неустанная забота о нашей интеллигенции, повседневная боевая защита культуры. Если же с чем-то в его высказываниях и оценках я внутренне не соглашался, то согласен был отнестись этот «спор» на потом...

Весь белоколонный зал был увешан портретами классиков, среди которых заметно отсутствовал портрет Достоевского. В кулуарах были развешаны шаржи и карикатуры — лучшие из них принадлежали Кукрыниксам. Я полюбил этих талантливых сатирических художников еще в 1928 году, когда их характерные рисунки появились в первой советской литературной газете «Читатель и писатель», сокращенно — «ЧИП». Годовой комплект ее у меня сохранился: первый номер вышел 7 января 1928 года с портретом Некрасова на первой странице — к 50-летию со дня его смерти; этому номеру исполнилось нынче 55 лет, — вот такие отрезки таких разных эпох!

В один из перерывов беседовала в соседнем ряду заинтересовавшая меня группа: Бабель, Ильф, Евгений Петров и бывший (в 1929—30 гг.) председатель Совнаркома РСФСР Сырцов с женой: спокойное русское лицо, светло-русская голова. Рядом с ним молчал большеголовый, коротко стриженный лысеющий Бабель. В проходе стоял, поставив ногу в американском коричневом башмаке на перекладину стула, Илья Ильф. Оживленно говорил Евгений Петров, негромко ему отвечал Сырцов. Испытывая неловкость, я старался не вслушиваться, — теперь жалею! Бьюсь об заклад, что они вспоминали Одессу-маму: в 1920 году, когда восемнадцатилетний Женя Катаев окончил Одесскую гимназию и стал сотрудником телеграфного агентства, а затем агентом угрозыска, Сырцов был секретарем Одесского губкома.

Какие ораторы мне больше запомнились? Прежде всего назову своего давнего любимца — Олешу. (Давнего, ибо нынче меня раздражает многое даже в «Зависти», не говоря уже о «Строгом юноше» и «Списке благодетелей».) Речь его была патетической. Он уверял, что чувствует себя молодым и счастливым, не испытывает ни к кому зависти, то есть просил не путать его с Кавалеровым, что склонны делать иные критики, а я смотрел на него и с волнением вспоминал, как шесть лет назад подражал ему в своей первой повести и мои товарищи называли меня «олешаченком» (я был единственным его подражателем). И как всегда в случаях литературной влюбленности, я стеснялся, страшился личного знакомства. Пусть Олеша в Москве, но в Ленинград он наезжал часто, с ним неизменно встречался наш блистательный переводчик Валентин Осипович Стенич («Русский денди» — назвал его в 1918 году Александр Блок). Стенич отлично ко мне относился: познакомил же он меня с немецким антифашистским поэтом и певцом Эрнстом Бушем, автором «Болотных солдат», и мы втроем поужинали, — значит, мог познакомиться и с Олешей. Однажды в Доме писателя они сидели рядом, Стенич, смеясь, показывал на меня Олеше и что-то ему говорил, а Олеша в ответ кивал, тоже смотрел на меня и смеялся. Это вконец уязвило мое самолюбие — я поклялся никогда не знакомиться с Юрием Карловичем... Помню, как слушал в одной из комнат Большого драматического театра чтение Олешей пьесы «Список благодетелей» — и опять избег непосредственного знакомства. Лишь незадолго до смерти Юрия Карловича, на одном из послевоенных писательских съездов, он вдруг подошел ко мне и сказал:

— Пьеса, под которой я с удовольствием подписался бы, ваша «Беспокойная старость», Рахманов.

Я так растерялся, что не спросил — видел он спектакль или читал пьесу. Заметил только, что он трезв, но выглядит плохо: седая щетина на подбородке, старый, помятый рябой пиджак. Мне стало до боли жаль Юрия Карловича, я не ощутил счастья от его лестных слов, а вспомнил его незаконченную пьесу «Нищий», где герой стоит в таком виде у двери в аптеку, и гениальный конец рассказа «Лиомпа», где мальчик кричит, вбегая в комнату: «Дедушка, дедушка, тебе гроб принесли!»

С сочувствием слушал я речь Ильи Эренбурга,

защитившего тех писателей, что пристально наблюдают, но медленно пишут. Он привел шуточный пример из мира животных и сослался на себя и на Бабеля: «Я лично плодовит, как крольчиха, но я отстаиваю право за слонихами (понимай — Бабелем) быть беременными дольше, чем крольчихи...»

Бабель на это откликнулся самокритично, сказал, что он испытывает к читателям столь беспредельное уважение, что не имеет, назвал себя великим мастером молчания, и съезд наградил его дружным смехом.

Блеснул митинговой речью Всеволод Вишневский, которого я потом много раз слышал, и всегда его речь зажигала. (Но в первую блокадную зиму случилось встречать его в Ленинграде грустным и молчаливым, и это тоже понятно.)

Запомнился конец речи Фебина: «Надо дело делать», — веско сказал он своим хорошо поставленным актерским басом; и Леонида Соболева: «Советским писателям даны все права, кроме права писать плохо». Эта классическая формула имела большой успех, цитировалась многими, начиная с Горького и Бабеля; правда, Бабель оспорил «запрет» писать плохо, сказав, опять же под общий смех, что писатели широко пользовались этим правом.

Л. Соболев вполне оценил значение своей речи. Мы с ним жили в довольно второразрядной гостинице — в «Европе» на Неглинной, тогда как наиболее почтенные делегаты поселились в «Гранд-отеле». До своей речи он еще не был классиком и на следующее утро зашел ко мне в номер, чтобы поделиться новейшим способом завязывать шнурки у ботинок, у туфель так, что наружу не торчат ни петли, ни кончики. На деле его, конечно, интересовало, что говорят по поводу его речи в широких литературных кругах, в частности среди молодых. Справедливости ради замечу, что в личном общении Леонид Сергеевич был прост, весел, доброжелателен, и через год я очень жалел, что не смог совместить два дела: писать сценарий и ехать в Казахстан с ленинградской писательской бригадой, которую возглавил Соболев.

...А съезд все длился, и уже примелькались лица знаменитых писателей, и утихли споры вокруг доклада о поэзии, который я почему-то пропустил и слышал потом лишь споры, и уже перестала удивлять высокая

фигура иностранного писателя в кожаных коротких тирольских штанах, открывавших его голые полные колени. Словом, съезд близился к завершению. Ждали, что выступит заведующий отделом агитации и пропаганды ЦК партии А. И. Стецкий (ленинградские писатели хорошо его знали, в конце двадцатых годов он был редактором журнала «Звезда»), но выступил только что переведенный в Москву из Нижнего Новгорода (еще не ставшего городом Горьким) неведомый нам Жданов. Кто мог думать, что он сыграет через двенадцать лет, в августе 1946-го, такую знаменательную роль в нашей литературной жизни и заставит надолго замолчать Зощенко и Ахматову! Съездовская речь А. А. Жданова мне не запомнилась, помню только, что он произнес ее, а не прочел, и произнес очень уверенно и умело.

Писательский съезд привлек всеобщее внимание. Газеты были наполнены съездовскими материалами, и люди следили за происходящим в литературе и около литературы с таким усердием, словно дело шло по меньшей мере о спасении челюскинцев, как это происходило в том же году весной... Кстати, участники съезда с искренним пылом встретили и приветствовали Отто Юльевича Шмидта: Шмидт и спасавшие челюскинцев летчики были в 1934 году знаменитейшими людьми на земле (и на небе!). Помню, через год, когда на сцене БДТ в Ленинграде обнялись и расцеловались два Шмидта — подлинный Отто Юльевич и артист Монахов, изображавший его в спектакле «Не сдаемся», — последовал гром оваций...

А совсем недавно, в новой рубрике «Литературной газеты» — «Страницы истории», — посвященной 50-летию со дня Первого Всесоюзного съезда советских писателей, я прочел, что в 1934 году в моих родных местах, в Котельническом районе Горьковского края, колхозники дали слово сдать к 23 августа (как раз середина съезда) хлебоналог полностью и предложили организовать красный обоз имени Съезда писателей... Больше того, единоличники деревни Никитичи того же района, выполнив хлебоналог, организовали колхоз имени Первого Всесоюзного съезда писателей... Не правда ли, это несколько наивное сообщение, относящееся к столь давним годам и дальним местам (800 километров до Москвы!), невольно вызывает улыбку: вот, значит, куда докатилась тогда слава писательского съезда?!

Сейчас с уверенностью могу сказать, что съезд был событием и для меня: я услышал много такого, чего не ждал, увидел писателей, которых не видел в Ленинграде, но любил с детства, с юности. И все же, все же меня не оставляла тревога. Я одновременно испытывал и сомнение в своих силах и желание их развить, приложив к чему-то для меня новому, неожиданному,— словом, был раздираем противоречиями. (Кажется, такое душевное состояние принято называть «творческим кризисом»!)

Недаром, вернувшись домой, я с охотой принял участие в военных маневрах под Ленинградом в качестве военкора. Тем более что фашистский переворот в Германии еще в 1933 году насторожил и заставил думать о возможной войне. Однажды, в июньскую белую ночь, возвращаясь с гастрольного спектакля из Выборгского Дома культуры пешком на свой Васильевский остров, я был поражен какой-то особенной тишиной и пустотой в городе и так ясно представил себе, что эта тишина предвоенная, а то и затаившаяся между боями! Сам не знаю как, почему, предвосхитил в своем воображении блокадную пору...

...И вот в сентябре, в продолжение нескольких дней, я стоял в башне танка Т-26 рядом со стрелком, из-за тесноты и отсутствия опыта набил себе синяков и шишек обо всякие железяки, надышался пыли и выхлопных газов. На привале встретился с начальником военклуба танковой части, с которым случайно познакомился за два года до этого на «Красном выборжце», когда писал историю этого завода. К концу маневров ему удалось меня уговорить — месяц-другой пожить в танковой части и попробовать написать повесть о танкистах. Мы условились, что осенью я возьму командировку от Союза писателей в эту танковую часть, размещенную в Петергофе. Так я и сделал.

Всю зиму я жил в отдельной, но очень холодной комнатке в квартире начклуба, дни проводил с танкистами на танкодроме, на поле, на стрельбище, на их классных занятиях, вечерами читал и писал, а то и нянчил младенца, когда хозяева уезжали в театр или уходили в гости. Каждое утро, когда я завтракал в гарнизонной столовой, ко мне подсаживался начальник особого отдела, бывший заведующий магазином «Росконда» на Среднем проспекте Васильевского острова, и спрашивал:

— Что сейчас классик Чумандрин пишет?

На следующее утро осведомлялся:

— А что нового классик Либединский написал?

Он не шутил, не иронизировал — просто он всех писателей именовал классиками, а кроме Чумандрина и Либединского больше никого не знал. Со мной же садился завтракать, чтобы потолковать, поразвлечься, а заодно приглядеться к новому в воинской части человеку. Узнав, что я был на съезде писателей, заметно зауважал, стал расспрашивать — о чем говорили выступавшие Чумандрин и Либединский. И тут же во мне разочаровался, когда я сказал, что не помню — выступали ли они на съезде (а я и верно не помнил). Жаль, что не пофантазировал и не изложил содержание их увлекательных речей...

По воскресеньям гулял по городу, в занесенном снегом парке, бродил в одиночестве по холодным залам Петергофского дворца, рассматривал десятки, сотни портретов. Мне было интересно видеть эти иссиня бритые, пудренные лица мужчин XVIII века, разгадывать их характеры. Нравились мне и корабли, изображенные на маринистских картинах, также во множестве развешанных по стенам. Нравился вообще весь зимний Петергоф с его багровыми и оранжевыми закатами, на фоне которых хотелось читать наизусть стихи Блока, что я и делал.

Среди танкистов было много симпатичных парней, мастеров своего дела, с которыми я гораздо охотнее встречался, чем с бывшим кондитером. Так я задумал и начал писать «Военную косточку», вскоре объявленную в журнале «Знамя» под заглавием «История одного увлечения». В основу повести я положил эпизоды из жизни командира танковой роты, увлекшегося изобретением прибора в помощь обучению танкистов. Семейное его положение — женат, причем женат на парикмахерше. Воины любят посещать парикмахерскую. В их суровой, строго регламентированной жизни это своеобразный оазис. Тепло, уютно, красиво, пахнет духами, а не тавотом и не соляжкой, женские руки легко и ласково касаются их обветренных лиц, заботливо бреют и подстригают, прикладывают горячий компресс. С этими девушками можно и пошутить и пофлиртовать, это даже в традициях такого салона и ни к чему серьезному не обязывает. Но зато сколько причин для обоюдной ревности, если женился на парикмахерше! И какая

утонченная месть возможна с ее стороны, если муж слишком занят своими машинами и делами и пренебрегает семьей (или жене кажется, что пренебрегает).

Со странным чувством привожу для примера отрывок из незаконченной повести, — настолько это далеко от меня сейчас; далеко и все-таки дорого: последняя моя проза перед многими годами драматургии, кинодраматургии, публицистики, педагогики...

«Была не поздняя еще осень, когда вернулись из лагерей. Утром в саду пели птицы, днем дети, а вечером радио; на лужайках уже в третий раз выростала трава, на клумбах цвели георгины и астры, белые, красные, темно- и светло-лиловые; башенку клуба, зимой отовсюду заметную, сейчас не было видно за тополями, полными зелени, едва начавшей желтеть.

Здесь все было хорошо, и Михай Петрович не обращал на это внимания не потому, что уезжал на юг, где еще лучше, а просто он стал рассеян и равнодушен ко многому.

— Это не важно, — говорил он немного в нос, морщась при виде конфет, а все же иной раз в гостях за стаканом чая съедал все сласти, поданные на стол.

Почти так же он относился к женщинам. Он еще мог увлечься, разойтись, опять жениться, но как-то все это стало не важно. Не важно, что он потеряет или найдет жену, — важно, что нынче он окончательно нашел себя. И с радостным ощущением этой находки он уезжал в отпуск.

Была поздняя осень, когда он вернулся с юга. Быстрым, щегольским шагом, — на нем чудесно сидела шинель, — по шоссе, залитому жидкой, блестящей грязью, Михай Петрович прошел километр от вокзала до военного городка. Войдя в переулок, где его дом, а напротив дома сад и клуб, он мог увидеть, как все изменилось в его отсутствие. Все отлетело — цветы, листья, нарядные афиши, расклеенные в саду. Идя мимо живой изгороди, похожей теперь на мертвую, просто на огородный тын из прутьев, Михай Петрович задел углом чемодана жесткую, всю кривую ветку акации, обернулся, взглянул поверх невысоких кустов в черный, голый, неприглядный сад и только хотел подумать о чем-то грустном, связанном с осенью, как вдруг услышал с поля звук трубы — выхлопной трубы мотора... Он

повернул голову и сразу увидел там, вдалеке, за дождевым туманом, знакомые темные глыбки, плотно прилипшие к земле и в то же время бегущие с поразительной быстротой по огромному полю.

Михей Петрович даже присел от восторга. Полы длинной командирской шинели обмакнулись в луже, новенький чемодан был поставлен на край колеи и свернулся набок,— Михей Петрович азартно глядел на свои послушные машины, мелькающие одна за другой по болоту, и вслух повторял, точно все еще с грустью, все с сожалением:

— Ах, лешой, лешой! Лешой, лешой...

Растроганный и разгоряченный, он не хотел бы сейчас идти домой, и все же пошел, подумав так: «Хорошо, если Розы дома нет»,— однако, живо представив себе, как придет в пустую квартиру, сразу же оскорбился.

А встреча получилась радостная, даже бурная. Роза была дома, что-то шила, стуча машинкой, и, как только он переступил порог, стремительно повернулась со стулом вместе, выпустив со всего маху ручку машины. Колесо еще вертелось, старенький механизм стучал, иголка шила, путая на свободе стежки, а Роза уже повисла на Михее Петровиче, Михей Петрович почувствовал вдруг, что любит, доволен, счастлив, и черненький чемодан опять, как давеча, упал и стукнул.

Потом, когда они взглядывали на незанавешенное окно, такой, казалось, уютный дождик их отделяет от улицы, и как это хорошо, что весь день они будут вместе.

Но в тот же день, а точнее — в тот же час, Михей Петрович явился к командиру части. Это он был обязан сделать лишь завтра утром, а ему уже не сиделось дома. Бодрый и оживленный, более еще, чем по пути с вокзала, он шел мимо красных многооконных зданий,— три года назад в них жили кавалеристы, нынче живут танкисты,— шел мимо красных зданий совсем без окон, зато со множеством очень больших дверей, растворенных настежь,— там, где недавно постукивали легким копытом белые и вороные кони, сейчас оглушительно грохотали тяжелые, темно-зеленые, заводимые людьми танки.

Михей Петрович шел, смотрел и слушал, опять с тем самым чувством, какое испытывал час назад, услышав

машины в поле. Конечно, не помнил он уже о Розе: днем трудно сосредоточиться на любви. Щеки и уши еще горели, но это могло быть от духоты в вагоне, от ветра, от чего угодно. Дождь перестал. Ранний гость, говорят, не ночевщик...»

...В конце декабря я покинул на несколько дней Петергоф: состоялась короткая, задуманная как послесъездовская, поездка в Петрозаводск: поэты Виссарион Саянов и Борис Лихарев, прозаики — Юлий Берзин, Николай Чуковский и я стали гостями Карело-Финской республики. Утром из Петрозаводска нас повезли в «Линкольне» в пригородный правительственный санаторий в Маткачах, там повстречались с Геннадием Фишем, который уже давно, после повести «Падение Кимас-Озера», сдружился с этим лесным и озерным краем. Стоял легкий морозец с солнцем, мы вооружились лыжами и с наслаждением побегали по холмистым окрестностям. Вечером карельское начальство познакомило нас с карельскими писателями, угостило ужином и концертом. Местный артист-затейник шикарно читал «Мэри-наездницу» Семена Кирсанова; после этого приплясывания и прицокивания («Мэри-наездница-цаца!») прочитанные Саяновым и Лихаревым стихи показали нам касталским ключом, не уступавшим по чистоте морозному воздуху нашей лыжной прогулки... На другой день мы выступали перед читателями в Петрозаводском театре, а ночью возвращались в Ленинград. В поезде почти не спали — так нам было весело, чему немало способствовал остроумный Юлий Берзин. На прощанье Саянов мне подарил книжку своих стихов «Золотая Олёкма» и при свете свечи в фонаре над вагонной дверью написал на титульном листе: «Л. Рахманову после поездки в Петрозаводск. 30/XII.34 г.

Всё: лыж неутомимый бег,
Петрозаводский теплый снег,
Свет стеариновой свечи,
Приветливые Маткачи,
Озера, скованные льдом,
Вложите в каждый новый том
Своих изысканных романов,
Мой замечательный Рахманов».

Так закончился 1934 год. Через день начнется Новый, 1935-й, еще более памятный и кризисный для меня год, когда, проживя январь и февраль в Петергофе и написав три главы «Истории одного увлечения», я круто поверну свой литературный руль и возьмусь за сценарий и пьесу о Тимирязеве — Полежаеве.

Кто знает, может, причастен к этому повороту и съезд? Как-никак, но творческая энергия, исходившая от сотен писателей, впервые собравшихся вместе, наверно влияла на каждого из нас, побуждала искать свою тему, свою планиду, точку приложения своих сил. А что из этого вышло — узнаем на следующем, Втором съезде, намеченном через три года...

Второй съезд писателей состоялся лишь через двадцать лет — в декабре 1954 года.

РУССКИЙ ДЕНДИ

«Общепризнано, что героем очерка А. Блока «Русские денди» (1918) является В. Стенич». — Писатели Ленинграда, Л., 1982, с. 294.

Когда я впервые увидел Валентина Стенича, ему было тридцать с небольшим лет — завидный возраст для даровитого литератора. А если прибавить к этому его эффектную внешность, блестящее остроумие — немудрено, что стоило ему где-либо появиться: в столовой Ленклуба, в издательстве, на любом собрании — он сразу же вызывал интерес, привлекал внимание, хотя иных это и раздражало.

...Я вошел в коридор третьего этажа Дома книги в тот момент, когда крепенький толстяк Лев Савин, в миру Савелий Моисеевич, ловко сбил с лица Валентина Осиповича очки, и тот, ставший сразу беспомощным, растерянно повторял, шаря на полу очки:

— Но я мог его одной рукой... одной рукой...

Противников развели. Из-за чего произошла драка? Все знали острый язычок Валентина Осиповича и горячий характер Савелия Моисеевича, ну а конкретный повод — кто теперь его вспомнит? Как ни странно, могла сыграть роль устная пародия Стенича на только что начавший печататься роман Алексея Толстого «Петр Первый»... В годы нэпа Савелий Моисеевич был владельцем или, как тогда считалось, коммерческим директором красильной фирмы «Пеклие», конкурировавшей в Ленинграде с другой известной красильней — «Данцигер». Савелий Моисеевич любил принимать гостей, забавно рассказывал им о своих приключениях на германской войне, где он, как Швейк, был простым солдатом (только по нашу сторону фронта!), и с интересом слушавший Алексей Толстой подстрекнул его написать и великодушно помог издать автобиографическую повесть «Юшка», ныне несправедливо забытую. Так вот все, что касалось ее крестного отца, — для Савина было свято.

Кстати, его настоящую фамилию я забыл, помню лишь псевдоним, который привел к досадной для нашего нового ленинградского прозаика литературной путанице. Столичный прозаик и драматург Лев Славин, о существовании которого Савелий Моисеевич не подозревал, начал писать роман «Нефть» как раз в тот самый год, когда и Лев Савин задумал роман «Нафта»... В газетах появилась соответствующая информация и хлесткая эпиграмма «2 Льва 2», кончавшаяся словами:

Хоть Славин тоже — Лев,
Но только Савин — славен!
Прошу учесть.

С приветом — САВИН

Что касается Стенича, то им с Савиным пришлось помириться, поскольку тот и другой приятельствовало с Николаем Корнеевичем Чуковским; там и я с ними познакомился. Правда, Савин, живший неподалеку, обычно приходил к Чуковским непосредственно после обеда, когда хозяина тянуло вздремнуть, и подробно рассказывал ему содержание сегодняшнего номера «Правды», который оба они еще с утра прочитали. А Стенич являлся позже, да и дружба его с хозяевами была несравненно теснее и глубже, — отчасти отсюда любимая его шутка: «Чуковские живут грязно, но интересно!» Это был комплимент высшей пробы, высказанный в парадоксальной форме: все мы тогда любили эксцентричные парадоксы. С этой точки зрения, пародия Стенича на толстовский роман «Петр Первый», столь возмущавшая Савелия Моисеевича, могла выглядеть комплиментом. Сейчас я ее приведу. Прошу извинить за одно грубое словцо (хотя мы уже привыкли, что сегодняшняя литература не стесняется в выражениях):

«Ровно в полночь дьяк думского приказа вышел на двор подрисовать. Вызвездило».

Эксцентричность была свойственна Стеничу с юности. Кинорежиссер Сергей Юткевич вспоминает о знаменитом киевском кафе «ХЛАМ» («Художники, Литераторы, Артисты, Музыканты»), где «мелькала... таинственная фигура человека, одетого с ног до головы в черную кожу и с деревянной кобурой огромного маузера; про него осторожно шептали: «поэт-чекист» и называли фамилию — Валентин Стенич. Стихов своих он не читал, а я не знал, что это был тот самый легендарный «русский денди», которого увековечил в своем эссе

Александр Блок. Маска «чекиста», в которую онрядился тогда в Киеве, была просто очередной мистификацией Стенича, он был их большой любитель».

Повторяю, он навсегда сохранил эту склонность. Может, кто-нибудь из оставшихся в живых ленинградских литераторов помнит, как воздвигалась в начале тридцатых годов писательская надстройка на канале Грибоедова, где то и дело не хватало гвоздей и досок. В качестве члена строительной комиссии Стенич заявился к соответствующему начальнику и патетично воскликнул:

— Небось нашего Христа распинать нашлись гвозди!

Курьезные отношения сложились у Стенича с Петром Ильичом Сторицыным. Оба умные, остроумные, образованные (Сторицын когда-то учился в Геттингене), но по виду прямо противоположные. Стенич быстрый, всегда элегантно одетый, с великолепной артистической дикцией. Друг Бабеля Сторицын неуклюж, крайне небрежен в одежде, неясно выговаривал целый ряд букв, и вообще чудак, шепеляво рассказывавший про самого себя невероятные истории. Однажды он предложил Стеничу:

— Валя, мы с вами двое городских сумасшедших. Давайте разделим Ленинград пополам. Вы возьмете себе Петроградскую сторону.

Стенич сперва даже немножко опешил, но вскоре нашелся и стал всерьез торговаться. Нет, они не поссорились, для этого оба были слишком умны и находчивы.

Несравненно больше обижен был Стенич (втайне, конечно) на каприз судьбы: как получилось, что он, открывший для русского читателя талантливого Дос Пассоса и блистательно его переведший, вовремя не «открыл» талантливейшего Хемингуэя? Я чувствовал, что он бесконечно об этом жалеет, но — Дос Пассосу не изменил и не раз убеждал меня (а он хорошо ко мне относился, как и вообще к молодым писателям) — учиться у Дос Пассоса.

Стенич дружил с Мейерхольдом, причем в трудные для Всеволода Эмильевича годы, когда дружеская поддержка для него была особенно ценна. Разносторонне одаренный, Стенич написал новое либретто для «Пиковой дамы», которую Мейерхольд тогда ставил в Малом оперном театре. Как сейчас вижу и слышу подчеркнуто п у ш к и н с к у ю концовку в этом спектакле, где Гер-

манн, вместо того чтобы застрелиться, сидит за решеткой сумасшедшего дома и монотонно твердит:

— Тройка... семерка... туз...

Это производило куда большее впечатление, чем традиционный оперный финал.

Больше, чем с кем-либо из литературной молодежи, подружился Стенич с Юрием Германом. Всюду их видели вместе, он прививал Юре светскость, любовь к красивым харчам, — случалось, что Герман целые дни проводил в доме Стеничей, и именно там познакомился с Осипом Мандельштамом. В 1932 или 1933 году Мандельштам приезжал в Ленинград и читал стихи в зале Капеллы и в Доме печати (Дома писателя еще не существовало). Он был беден, неважно одет, и вот Герман, эта широкая натура (да еще подстегнутый Стеничем), от всей души подарил Осипу Эмильевичу новый (или почти новый) пиджак, чего я, знавший и любивший стихи Мандельштама, честное слово, не меньше, чем Герман, при всем желании не смог бы тогда сделать...

1982



ПУТЕШЕСТВИЕ С ДИККЕНСОМ

Почему я вдруг вспомнил о таких давних событиях, начало которых восходит к самым первым пореволюционным годам?

Однажды меня пригласило Общество книголюбов — рассказать что-нибудь о моей домашней библиотеке. Я с удовольствием согласился, хотя понятия не имел, что именно может заинтересовать слушателей: редких книг у меня почти не было, я всегда собирал просто хорошие книги, любимые книги, а также книги, необходимые для работы. Правда, некоторые из них теперь стали действительно редкими, скажем книги М. И. Пыляева о старом Петербурге, о питерских пригородах, о замечательных чудаках и оригиналах. Случалось, что та или иная книга была мне до зарезу нужна, я искал ее всюду, заказывал букинистам, опрашивал всех знакомых, — тщетно. Оставалось одно: терпеливо посидеть над ней в Публичной или Академической библиотеке, что я и проделывал. Правда, с одной такой книгой мне «повезло»: через четверть века я увидел ее на книжном развале рядом с Пассажем, то есть в самом людном квартале Невского. В память о прошлом пришлось купить. Называется она — «Описание Исаакиевского собора в С.-Петербурге, составленное по официальным документам в 1865 году». (Значит, через семь лет после окончания строительства и смерти самого Монферрана.) В ней 100 страниц большого формата (ин-фолио), напечатана в типографии Императорской Академии Художеств. Кстати, именно в Академии художеств я ее и читал, трудясь в 1931 году над «Базилем».

Порой попадались своеобразные уникамы, по сути не нужные мне ни для дела, ни для души. Например, книжка некоего Хаджета Лаше, о которой А. Н. Толстой сообщал в примечании к своему «Черному золоту» (впоследствии «Эмигранты»): «Книга издана в русском переводе самого Хаджет Лаше в Петрограде в 1917 году. Большая редкость». Толстой прав: книга на редкость

редкая! Называется — «Убийца на троне. Записки начальника тайной полиции в Турции» — и написана донельзя вульгарно, хотя со знанием дела, недаром автор был одним из высших агентов султана Абдула Гамида, которого он сладострастно разоблачает. Каюсь, я так и не смог одолеть 240 ее страниц. А купил случайно у какой-то старушки и сгоряча хотел позвонить Алексею Николаевичу, спросить, имеется ли у него самого эта редкость. Заодно сказать, что он ошибся в дате: книжка издана не в 1917-м, а в 1918 году, так значит и на обложке, и на титульном листе, и в печатном авторском посвящении на отдельной странице.

Зато уже точно к 1917-му относятся имеющиеся у меня два равнообъемистых тома, весьма различных по содержанию и по духу: Библия и... «Подарок молодым хозяйкам» известной Елены Молоховец. Впрочем, я зря сказал р а з н ы х п о д у х у: к своей расхожей книге (29-е издание, 295-я тысяча!) тщеславная кулинарка приложила рекламу других, как видно, не столь популярных своих сочинений: «Голос женщины в защиту христианской семьи», «Значение православной панихиды», «Небесное торжество русских воинов», «Ветхозаветная история Иакова и семьи его», «Опыт истолкования XIV главы пророчества Исаии» и прочее и прочее... Выглядит это довольно курьезно по соседству с кулинарными советами, а все вместе — по правде сказать, даже кощунственно рядом с Библией...

Вот курьез иного рода. Два томика повести Вальтера Скотта «Редгонтлет», или «Красная перчатка», переведенной с... французского и изданной в Москве в 1828 году. Почему с французского? Да потому, очевидно, что куда больше людей тогда знало французский, чем английский язык, — вот и взялся кто-то за перевод. Для меня интереснее то, что томик эти — из Библиотеки для чтения А. Смирдина, о чем свидетельствует соответствующая наклейка на переплете; в ней обозначены и условия пользования: «За год — 12 руб. сер., за 1 месяц — 2 рубля, чтение книг с журналами — 20 рублей, новые книги держать не более двух недель». В дальнейшем, судя по штемпелю, книга попала в «Показательную библиотеку Мастерской Передвижного Общедоступного театра» (П. П. Гайдебурова?), затем прошла через многие частные руки и после войны подарена мне одним приятелем. Не знаю, пользовался ли Пушкин библиотекой Смирдина, или бывал только в его лавке, но думаю,

что, как и мы, грешные, Пушкин больше любил видеть книгу в своей домашней библиотеке, навечно, а не на две недели, а уж переводы с французского были ему совсем ни к чему. И все же приятно сближение этих лет и имен: 1828 год, Смирдин, Вальтер Скотт, Пушкин...

Но это все вид затянувшегося вступления, — путешествия же и приключения с книгами впереди, и происходили они как раз с любимыми книгами, а не с уникалами. Но сперва еще чуть-чуть предыстории... С детства ценил я счастливые совпадения и неожиданности. И нередко случалось, что самые-самые любимые книжки я покупал там, где меньше всего мог рассчитывать их найти или встретить. Так одну из тринадцати имеющихся у меня книг Гильберта Честертона, наиболее для меня ценную, книгу о Диккенсе, я вдруг увидел в газетном киоске вокзала в Котельниче, возвращаясь в 1929 году в Ленинград со студенческих каникул. Сборник статей Осипа Мандельштама «О поэзии» купил на Павловском вокзале, которому посвящено одно из лучших его стихотворений — «Концерт на вокзале». Последний же его прижизненный и наиболее полный сборник «Стихотворения» умолил продавщицу снять с витрины Дома книги на Невском, — так единственный оставшийся в магазине экземпляр, с выгоревшей от солнца обложкой, стал моим, и произошло это в самый год выхода сборника — в 1928 году, осенью; с тех пор много лет, куда бы ни ехал, я с ним не расстаюсь. А впервые узнал я стихи Мандельштама в 1926 году, когда купил на «Вербе», проводившейся на бульваре Софьи Перовской, среди гомона, толкотни, свиста «тещинных языков» и взрывов хлопушек, запаха вафель, халвы и сливочных тянучек, толстенный том «Антологии русской поэзии XX века». Он был издан «Новой Москвой» в 1925 году и стоил целых 15 рублей, — такую покупку я мог осилить лишь в пору моего сравнительного богатства — во время работы на Волховстрое. Сколько чистого счастья дала мне эта покупка! Сколько лет я твердил потом наизусть:

Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины.

Или, проходя мимо Адмиралтейства:

Как плуги брошены, ржавеют якоря.

Или, подняв взгляд на Адмиралтейский шпиль:

Он учит: красота не прихоть полубога,
А хищный глазомер простого столяра.

Или, шагая по Невскому:

Ходят боты, ходят серые у Гостиного двора,
И сама собой сдирается с мандаринов кожура.

Или, встретив там иностранцев:

Когда пронзительнее свиста
Я слышу английский язык,
Я вижу Оливера Твиста
Над кипами конторских книг...

И так как это уже вплотную близко к главному предмету моего рассказа, то процитирую стихотворение до конца:

У Чарлза Диккенса спросите,
Что было в Лондоне тогда:
Контора Домби в старом Сити
И Темзы желтая вода.

Дожди и слезы. Белокурый
И нежный мальчик Домби-сын;
Веселых клерков каламбуры
Не понимает он один.

В конторе сломанные стулья,
На шиллинги и пенсы счет;
Как пчелы, вылетов из улья,
Роятся цифры круглый год.

А грязных адвокатов жало
Работает в табачной мгле —
И вот, как старая мочала,
Банкрот болтается в петле.

На стороне врагов законы,
Ему ничем нельзя помочь!
И клетчатые панталоны,
Рыдая, обнимает дочь.

В своей автобиографической повести я уже говорил, что впервые познакомился с Диккенсом в одиннадцать лет. Может быть, стоит кратко напомнить. В холодный декабрьский денек голодного 1919 года молодой библиотекарь, эвакуированный студент из Москвы, прочел нам,

школьникам, «Рождественскую песнь в прозе». Я был так очарован этим неведомым мне доселе шедевром, что на следующее же утро выпросил в библиотеке толстый роман того же автора — «Холодный дом», начал его читать и — не дочитал! Как теперь понимаю, роман оказался для меня сложноват: в нем чередовались главы от автора с главами от лица героини, и вообще он был для меня слишком взрослым.

Но зато в ту же зиму я откопал в тетушкином амбаре, в ящике со старыми журналами и газетами три другие книги Диккенса: «Оливер Твист», «Записки Пиквикского клуба», «Домби и сын», погрузился в них с головой, навсегда возлюбил добрейшего мистера Пиквика, его верного слугу Сэма Уэллера, однорукого капитана Кутля, возненавидел хищного Каркера, чванного майора Багштока, и с тех пор перечитывал эти книги ежегодно. Исключение пришлось сделать лишь для «Оливера Твиста»: в день рождения одного моего школьного друга захотелось подарить ему что-нибудь очень хорошее — и я подарил «Оливера Твиста». Жаль было расставаться с этой книгой ужасно, но долг дружбы обязывал, да и любовь к Диккенсу была так активна, что требовала внушать себя и другим... Неизвестно, оценил ли Володя мой оторванный с кровью подарок!

В начале тридцатых годов, уже в Ленинграде, я постепенно собрал у букинистов все сочинения Диккенса. Это были разные издания, разных лет, разного вида и сохранности, но основой продолжали служить как раз те первые котельнические книги издания Сойкина, в мягких обложках, с портретиком Диккенса в левом верхнем углу, в круглой рамке. Увы, самой любимой из них я вскоре опять же лишился: мой близкий ленинградский друг и коллега взял ее с собой в Москву, куда поехал повидаться с отцом, ветеринарным врачом из Сибири, а на обратном пути у него сперли корзину с отцовскими подарками и «Пиквикским клубом»...

В середине тридцатых годов, немного разбогатев, я купил у Льва Савина, автора «Юшки» (занимательной, колоритной повести о германской войне, в чем-то напоминавшей «Похождения бравого солдата Швейка»), собрание сочинений Диккенса в издании «Просвещение». Издание это приятно выглядело — в светлорычневых переплетах, сравнительно небольшого, удобного формата. К моему огорчению, сразу выяснилось, что в этих 33 томиках отсутствует целый роман —

«Мартин Чезлвит», а это уже был большой урон! Что делать? Обратнo Савелию Мойсеевичу (настоящее имя Льва Савина) не вернешь, я ему даже ничего не сказал о дефекте издания, которым он беспечально владел, а постарался загнать симпатичные томики «братьям-разбойникам», как прозвали двух букинистов, торговавших на Петроградской стороне. И у них же счастливо приобрел полноценное сойкинское издание в крепких кожаных переплетах. Правда, переплетчик малость ошибся, и первый том с «Оливером Твистом», биографической статьей и портретом Диккенса оказался по порядку номеров вторым, а 14-й со злополучным «Мартинoм Чезлвитом», — первым, то есть открывал собрание сочинений. Владею я им и сейчас, присовокупив к нему в 1957 году подписное издание Диккенса в издательстве «Художественная литература», еще более полное, со статьями, речами и письмами. Но и оно страдает существенным недостатком: три любимейших мною вещи — «Пиквикский клуб», «Домби и сын» и «Давид Копперфильд» — переведены неталантливо, в отличие от сойкинского издания, где над ними успешно трудился Иринарх «Вреденский», как несправедливо искажали фамилию Введенский его насмешники, не прощавшие ему словесных чудачеств.

Вот сойкинскому-то изданию и предстояло в дальнейшем претерпеть несколько приключений, пусть в масштабе того, что происходило вокруг, весьма незначительных...

Двадцать второго июня 1941 года началась война, 24-го я отбыл на Северный фронт, в Мурманск, а 12 августа меня неожиданно отозвали на Ленфронт, в распоряжение ЛенТАСС, и я как раз подоспел к блокаде. Что такое блокада, ленинградцы слишком хорошо знают, добавлю лишь одну характерную деталь, возможно не всем известную: к р у г о в р а щ е н и е к н и г. В чем оно заключалось? Если в начале войны, в летние месяцы, да, кажется, еще и в сентябре, ленинградские книголюбы азартно приобретали у букинистов и непосредственно у покидающих Ленинград граждан редкие книги (или менее редкие, но зато полные собрания сочинений), то в тяжкие осенние и зимние месяцы они же пытались продать целиком или по частям свои домашние библиотеки, чтобы взамен купить кусок хлеба, а то беспощадно жгли книги в железных печурках, чтобы согреться.

Помню, я увидел в Книжной лавке писателей никогда прежде мною не виданные 15 томов «Похождений Рокамболя» и невольно заинтересовался — откуда они взялись? Оказалось, их продал один из уезжавших с Театром комедии известных актеров. Покупать сочинения Понсон дю Террайля я не только не собирался, но и сам простился со всеми приключениями, которых собрал в свое время из почтения к далекому детству: кто из мальчишек не увлекался Жаколио, Буссенаром, Хаггардом, Густавом Эмаром, Дюма? В годы «зажиточности», дарованной мне «Беспокойной старостью», широко пошедшей по стране, я позволил себе их приобрести, и называю их сейчас для того, чтобы была ясна разница: с чем в блокаду расстался с легкостью, а что старался уберечь и спасти.

В начале марта 1942 года меня демобилизовали по состоянию здоровья и эвакуировали в родные края — в Котельнич, где находились уехавшие из Ленинграда еще летом жена и дочь. Несмотря на исхудание и слабость, типичные для дистрофика, я собрал последние силы, повез на салазках через весь город и постепенно погрузил в вагон не только свои рабочие рукописи и пишущую машинку плюс самые необходимые носильные вещи, но и две увесистые связки книг: полные собрания сочинений Диккенса и Вальтера Скотта! Насколько помнится, взял я эти книги с собой главным образом для того, чтобы двенадцатилетняя дочь не упустила время начать читать замечательных писателей, без которых детство не детство... и взрослость не взрослость, в чем убежден и сейчас.

Через Ладожское озеро ехали в кузове грузовика, для тепла прижавшись друг к другу, — Евгений Рысс, Владимир Орлов и я. Рядом с нами теснились Владимир Григорьевич Адмони с матерью. Когда мы были уже в Кобоне, по берегу бегал, как сумасшедший (откуда тоже взялись силы!) Борис Михайлович Эйхенбаум: потерялась рукопись второго тома «Молодости Л. Н. Толстого», над которой он работал последние годы. Он что-то кричал (тоже необычно для его характера), вне себя от горя.

В Вологде мне пришлось, с помощью моих товарищей, перебираться в другой поезд (их эшелон должен был повернуть к югу), точнее, в одинокий пассажирский вагон, стоявший на запасных путях: на станции сказали, что в дальнейшем его прицепят к теплушкам, которые

прибудут из Ленинграда, и отправят на восток, к Уралу. Вагон оказался битком набитым незнакомыми мне ленинградцами (потом выяснилось, что это были сотрудники Политехнического института и Палаты мер и весов). Очевидно, из-за тесноты они отнеслись к новому пассажиру хмуро, и я, с трудом расставив свои пожитки по самым разным концам вагона, почти всю ночь провел без сна, прикорнув на краю скамейки. К утру удалось прилечь на третьей, багажной полке, потеснив чей-то багаж. Соседкой по другой третьей полке была молчаливая молодая докторша, неустанно читавшая «Петербург» Курбатова, как бы прощаясь с родным городом, что, не скрою, произвело на меня сильное впечатление.

Постепенно ко мне расположились, приняли в свою компанию, что было для меня далеко не безразлично: вагон застрял в Вологде на пять суток. На прощание выхлопотали в вокзальном ресторане подобие банкета, главным блюдом которого был жирный гороховый суп, на чем многие подорвались: всю ночь бегали под вагон, поскольку уборной на всех не хватало. Еще хорошо, что ни с кем не произошло ничего более непоправимого... Вполне бог миловал докторшу и меня: мы были более воздержанны.

Дальше мы ехали дружно, спаянно, но однажды я чуть не отстал от поезда. Побежал на остановке за кипятком, а поезд взял да и пошел. Я успел только вскарабкаться на ступеньки одной из последних теплушек и больше часу стоял на открытой тормозной площадке, грея руки о чайник с кипятком, пока тот не остыл. Зима была сверхморозной, но меня выручило то, что поезд сравнительно скоро остановился.

Случай этот оказался для меня как бы первым звонком к дальнейшим событиям... В Котельнице, куда мы прибыли на одиннадцатый день после Ленинграда и на третий день после Вологды, поезд должен был простоять часа два-три, чтобы там успели покормить эвакуированных. Я решил воспользоваться этой продолжительной остановкой и отправился к дому моих родных, живших километра за полтора от станции: и чтобы скорей с ними встретиться, и чтобы, вернувшись вместе на станцию, легко забрать из вагона мой тяжеленный багаж. Но когда мы в радостном настроении уже подходили к железной дороге, послышался паровозный гудок и в промежутке между домами, между деревьями

мы увидели, как промелькнул хвостовой вагон моего поезда — багаж уехал!

Сердце мое упало... Что произошло? Значит, кормежку отменили? Так и есть: на станции я узнал, что кормить пассажиров решили не в Котельниче, а в Лянгасове — крупной станции между Котельничем и Кировом. Я немедленно послал туда телеграмму — с просьбой к станционным работникам снять с поезда мой багаж и оставить его в отделении железнодорожной милиции. Конечно, я не питал ни малейшей надежды, что кто-то станет этим заниматься: эвакуированные обыкновенно сами заботились о своем имуществе, если только их не снимали с поезда в виде трупов. Да и эвакуопоезда останавливались обычно поодаль от вокзала. Что до исчезнувшего по моей оплошности багажа, вдруг ставшего сразу далеким, мифическим, почти потусторонним, то пытаться поехать за ним в тот же день я не мог ни физически, ни морально; к тому же моя жена была в эти дни в колхозе.

Словом, отправились мы с ней в Лянгасово только через три дня. Поездка была, как и все в то тяжелое время, далеко не проста, но не стану ее описывать — гораздо важнее результат. Можно представить наше изумление, ликование, когда мы нашли в милицейской комнате и чемодан с рукописями и бельем, и пишущую машинку, и — две грандиозные пачки книг! Все было цело и невредимо, если не считать разбившегося термоса. Действительно, произошло чудо, настоящее чудо! Больше всего я радовался сохранившейся папке с начатой до войны пьесой о Дарвине и материалами к ней. Словом, это милые мои спутники все разыскали — и снесли на станцию. Никогда не забуду такой заботы и доброты. И в какое время! Нет, не прошу себе, что после войны не попробовал разыскать и поблагодарить своих благодетелей: началась мирная жизнь с ее хлопотами и заботами, и было, очевидно, не до того...

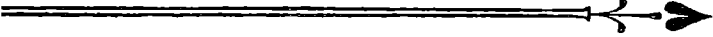
Но скитания Диккенса и Вальтера Скотта в 1942 году не кончились, хотя дальше были уже более спокойными. В 1943 году я перевез эти книги из Котельнича в Москву (помню, тоже долгонько ехал с ними в тамбуре, ибо в вагоне не нашлось для нас места и даже дверь в вагон была заперта). В Москве книги мирно просуществовали больше года. Наконец, в сентябре 1944 года они вернулись вместе со мной и моей семьей в Ленинград и прочно заняли свое прежнее место на полках, где

стоят и сейчас. Когда я раскрываю тот или иной том, с уважением глажу его корешок, а то просто со стороны гляжу на все эти книги, я невольно начинаю гадать: «А что еще предстоит вам, мои хорошие? — мысленно спрашиваю я. — Скажем, после меня в чьи попадете вы руки? В теплые, любящие или в холодные, равнодушные? Станут ли вас беречь, хранить, спасать в случае беды?»

Одна молодая интеллигентная женщина, когда я ее спросил, почему она не любит Диккенса, искренно удивилась: «А за что мне его любить?»

Впрочем, теперь у нее уже двенадцатилетний сын и, может быть, она ради него снизойдет, оценит Диккенса...

Май 1983



ПОДАРКИ, СПОРЫ, ВСПЫШКИ ХАРАКТЕРА

До войны Веру Федоровну Панову я не знал, не видел, не встречал это имя в печати, а перед самой войной прочел в газете, что пьеса Веры Пановой «В старой Москве» премирована на всесоюзном конкурсе. Я ничуть не сомневался, что автор пьесы с таким заглавием — коренная москвичка, и лишь через много лет узнал, что В. Ф. Панова, по происхождению южанка, в те предвоенные годы жила в двадцати пяти километрах от Ленинграда, в Детском Селе (теперь город Пушкин), где я часто бывал.

Увидел я Веру Панову только в 1946 году, уже в ореоле автора «Спутников». Не будет преувеличением сказать, что известность ее тогда росла с поразительной быстротой: за право публиковать ее вещи боролись редакции ленинградских и московских журналов, критики в своих спорах о творчестве Веры Пановой ожесточенно ломали копыя, читатели с нетерпением ждали ее новых книг.

Начиная с 1950 года мы жили в одном с нею доме. О доме этом, на углу Марсова поля и набережной Мойки, стоит немного рассказать. Он построен в двадцатые годы прошлого века для Удельного ведомства, управлявшего царскими имениями, — отсюда колонны, роскошный фронтон, вообще весь классический его облик; затем дом стал частным владением и перед революцией принадлежал пресловутому «Митьке» Рубинштейну, банкиру и другу Распутина. В угловом подвале, как раз под моей квартирой, помещалось литературно-художественное кабаре «Привал комедиантов», где часто бывали Мейерхольд, Блок, Маяковский, Анна Ахматова, где зимой 1918—19 года жена Блока, Любовь Дмитриевна, читала его поэму «Двенадцать» и на одном из чтений присутствовал Луначарский. Стены «Привала

комедиантов» были расписаны модными в то время художниками — Борисом Григорьевым, Сергеем Судейкиным, Александром Яковлевым, а в простенках стояли две фигуры «арапов» с сигарами, в которых горел газ и можно было от них прикуривать... Во время наводнения 1924 года помещение было до самого потолка залито и вся роспись испорчена, смыта водой.

Жаль, ни разу не говорили мы с Верой Федоровной о столь диковинном прошлом нашего дома — не сомневаюсь, оно ее тоже интересовало! Впрочем, домами мы мало общались — чаще встречались в Союзе писателей, в редакциях журналов, издательствах. Да и особой дружеской близости у нас все эти годы не было — с начала и до конца просто добрые отношения, оживленные и достаточно откровенные литературные разговоры. Правда, книги свои дарила мне Вера Федоровна всегда — «с дружбой», «дружески», «с горячим уважением», «сердечно», но ведь это опять же скорее хорошее отношение, чем настоящая дружба. Потому не знаю, легче или труднее мне написать воспоминания о Вере Федоровне, чем самым близким ее друзьям. Но друзей и сверстников, как известно, становится все меньше, — прошло уже десять лет со дня смерти Веры Пановой, — да мне, может, и легче быть беспристрастным: я всегда видел и слышал этого умного, очень талантливого, далеко не простого человека как бы со стороны. Прошу не удивляться, если отмечу и некоторые противоречивые (или показавшиеся мне противоречивыми) черты характера.

Повторяю, дома у Веры Федоровны я бывал редко, и одна из встреч (в 1951 году, судя по дате на подаренной мне книге) особенно запомнилась.

Моя квартира находилась в первом этаже, окнами на Мойку, квартира Веры Федоровны — в третьем, окнами на Марсово поле, и, поднявшись на два этажа, я мог впервые увидеть сверху наш гигантский зеленый луг (Царицын луг, как называли его еще до Пушкина, хотя тогда это был как раз голый, пыльный плац без единой былинки), за ним — Летний сад с белеющими среди деревьев статуями, налево серебрилась Нева, направо мрачно багровел Инженерный замок... Минуты две любовался я открывшимся из окна видом, чтобы не мешать Вере Федоровне спокойно надписывать мне свой однотомник. Зато, приняв его из рук автора, тут же нескромно полюбопытствовал — что написано для меня

на титульной странице... Увы, не смог разобрать ее мелкий почерк!

— Забыли очки? — сочувственно спросила Вера Федоровна.

Я признался, что очков пока не ношу, но... иногда требуются!

— Иногда! Вот и сказалась разница в нашем возрасте, — снисходительно заметила Вера Федоровна (разница составляла ровно три года). — Попробуйте надеть эти, они для меня уже слабы.

Я надел, очки оказались мне впору, я с удовольствием прочитал дарственную надпись, поблагодарил за оба подарка и торжественно унес их домой. Пановские очки с их тонким, круглым ободком верно служили мне лет пять, пока не понадобились более сильные, но хранятся и нынче в ящике письменного стола.

На мой, уже вооруженный очками, читательский взгляд, заключенные в сборнике вещи были неравноценны. Я перечитал их очень внимательно, ибо «Спутников» читал довольно давно, «Кружилиху» — слишком поспешно, в журнале, полученном всего на один вечер, «Ясный берег» прочел тоже в журнале (уже не в «Знамени», а в «Звезде»), и повесть эта мне тогда не понравилась. Значит, следовало проверить свои впечатления. «Спутники», как и раньше, вызвали восхищение, «Кружилиху» перечитал с профессиональным интересом к тому, как серьезно и умело справился автор с новым для него заводским и людским материалом; «Ясный берег», как помнилось и по первому впечатлению, вызвал ощущение некой сладости, что меня огорчило: огорчило заметное приукрашивание послевоенной деревенской жизни. Впрочем, я понимал, что это понимает и автор, всегда стремившийся к правде, и в данном случае его отступление от своей привычной позиции вынужденное...

Наверное, я отнесся бы к этой повести куда добрее, если бы мог предвидеть, что ответвлением от нее через пять лет явится повесть «Сережа», подлинный бриллиант, которому не суждено потускнеть. Это и был следующий подарок, полученный мной от Веры Федоровны в 1956 году, и дорожу я им, как немногими любимыми книгами.

Если следовать этому своеобразному календарю, то третьим подарком явился «Сентиментальный роман», неожиданно возымевший для меня особое значение.

Прочитав эту колоритную, увлекательную и во многом автобиографическую вещь, я стал подумывать: а не написать ли и мне... ну, не роман, а хотя бы повесть на основе собственных воспоминаний? Пусть жизнь Пановой была богаче моей событиями, но ведь и мое детство и отрочество проходили на весьма колоритном фоне первых пореволюционных лет... И вот я начал писать сценарий, а затем прозу — «Повесть о печурке», где действие происходило в голодные и холодные, но романтические двадцатые годы. Но вскоре вспомнил, что ведь еще до войны написал сценарий «Маленький мужчина», который нигде не был поставлен, а затем пробовал набросать повесть для детей «Приключения маленького изобретателя», как там и тут были использованы какие-то автобиографические факты, и никого это тогда не заинтересовало. Стало быть... стало быть, эти попытки надо оставить! И лишь в семидесятые годы я написал не сценарий и не повесть, а просто воспоминания, и не столько о себе, сколько о «взрослых моего детства». Кстати, к концу своей жизни и Вера Федоровна пришла к мемуарным заметкам, и жаль, что они кратки, с большими пропусками.

А в моем «подарочном календаре» оказался большой перерыв, почти десять лет: за это время Вера Федоровна написала пять или шесть пьес. Она шутила: «Один опытный драматург посоветовал мне писать пьесу за пьесой — вдруг одна окажется гениальной!» Как и все, что она писала, пьесы были талантливо, с успехом шли на сцене, немало актеров нашли для себя там прекрасные роли, но для меня лучшей пьесой Веры Пановой остается сравнительно ранняя ее драма — «Метелица», которую она начала еще в самые страшные для нее дни, в оккупации.

И наконец, последний подарок — в 1967 году: книга рассказов о древней русской истории. Казалось бы, непредвиденная тематика? Но я знал, как глубоко увлеклась Вера Федоровна нашей древней историей, и мне очень дороги эти ее поэтичные были или легенды, написанные с тончайшим чувством русского языка. Как точнее определить жанр этой книги? Лучше всего называл ее сам автор: «Лики на заре». Именно лики, именно на заре! Кто мог знать, что для автора время работы над этой книгой будет уже далеко не утренней, а скорее вечерней зарей: через год или два Вера Федоровна тяжело заболела...

Вера Панова давно уже классик советской литературы. О ее прозе, о ее пьесах существует, должно быть, целая полка литературно-критических книг и статей. Казалось, мне вряд ли стоит занимать страницы моих кратких воспоминаний исследованиями, детальным анализом ее сочинений. И ни к чему прославлять их — они прославили себя сами.

...И все-таки, все-таки не удержусь и хотя бы немного скажу об одном своем впечатлении, возможно частном и с точки зрения критиков отнюдь не решающем для оценки произведений, но я уверен — далеко не случайном...

В поздних заметках Вера Федоровна признавалась: «Я и сама не очень люблю романы без женщин, без любви». Писала она это по поводу «Кружилихи», самого «производственного» своего романа, где тем не менее ей очень хотелось рассказать о личной жизни инженера-конструктора Нонны Сергеевны. Ведь уже в первой и самой знаменитой книге Пановой все женщины, молодые и немолодые, красивые и некрасивые, — все влюбляются в кого-нибудь из своих поездных спутников. Старшая сестра, Фаина, пышная, цветущая, шумная, сначала влюблена в Супругова, врача-ларинголога, трусливого, эгоистичного человечка, который даже ростом ниже ее на полголовы. В него же влюблена и хирургическая сестра Юлия Дмитриевна, влюблена беззаветно, тогда как Фаина скоро его раскусила, сказав: «Форменный обалдуй!», и полюбила больного монтера Низвецкого, полюбила по-настоящему, так что они решили пожениться, хотя до этого Низвецкий был робко влюблен в Лену Огородникову... Лена же любит Даню и продолжает его любить, пусть он женился на другой...

В «Сереже» мать, потерявшая на войне мужа, смущенно говорит четырехлетнему сыну, что у него будет «новый папа»... Мы видим, что молодожены нежно любят друг друга, она без конца твердит, что все прошлое кажется ей теперь только сном, а наяву — только о н!.. А он любит и ее и Сережу, без Сережи не хочет уезжать на новое место службы. Полюбил его и Сережа, для которого он стал даже главнее мамы...

В «Сентиментальном романе» действие происходит в двадцатые годы, все герои его очень молоды, живут бедно, презирают наступающий нэп, и лишь немногие из них не выдерживают, поддаются соблазну нэпа или жажде власти. Но все, без различия, жаждут любви.

Даже инвалид гражданской войны Кушля, уже далеко не молодой — но такой же революционный романтик, как и его юные друзья. И любят его сразу две женщины — Ксаня и Лиза. Одна — фронтовая подруга, спасшая его когда-то от смерти, другая завоевала его недавно. Но вот Кушлю убили, и Ксаня, именно Ксаня в холодном сарае тоскует возле мертвого Кушли...

Главный герой «Сентиментального романа» Севастьянов (мы сразу догадываемся, что он ближе всех автору) страстно любит Зою-большую, и лишь после случившихся с ней передраг, ее измены, ее падения, соединил свою жизнь с Зойкой-маленькой, о чем в конце книги, то есть уже через тридцать лет, поведано одной фразой, в сущности, одним словом: «Послезавтра утром он будет обо всем ей рассказывать, и глаза у нее будут влажные, ее з е л е н ы е милые глаза». Пусть это несколько диккенсовский счастливый конец, но мы искренне за них рады: мы всегда считали, что они созданы друг для друга, и только Севастьянов раньше этого не понимал, а зеленоглазая Зойка-маленькая великодушно уступала свое счастье подруге.

Я мог бы назвать и другие книги Веры Пановой, где также все согрето любовью, магнетическим притяжением ее к нему, а его к ней: любовь для них — это и есть жизнь. Недаром даже четырнадцатилетняя Валя в рассказе «Валя» восторженно говорит своей случайной подруге Светлане (и когда — в ленинградскую блокадную осень!): «Я читала т а к у ю книгу! Понимаешь: он ее любил. И она его любила...»

Что же, кроме этих талантливых, столь богатых любовью книг, мне запомнилось? Конечно же — непосредственные встречи с их автором, и не столько в Ленинграде, сколько в Комарове... В середине пятидесятых годов, когда писателям предложили в рассрочку, на льготных условиях, построить там себе дачи, оба мы отказались от этого заманчивого предложения. Возможно, мы руководились различными причинами, но так или иначе предпочли приезжать для работы, для отдыха от города, для смены обстановки — в комаровский Дом творчества. И чаще всего получалось так, что мы, не сговариваясь, приезжали туда в одно и то же время, — пусть на разные сроки (Вера Федоровна обычно жила там дольше). В столовой, как правило, сидели за одним

столом — за крайним левым столом у окна: Михаил Леонидович Слонимский, Панова, я, Владимир Григорьевич Адмони и Тамара Исааковна Сильман.

Случайные люди за наш стол не садились — это стало почти законом. Я однажды видел во сне, что хожу с Верой Федоровной по большой полутемной комнате и убеждаю ее пригласить за наш стол NN. Говорю, что он порядочный, остроумный, тактичный, что не часто одно с другим монтируется. Панова отмалчивается, а перед нами, в сгущающихся сумерках, бегают, скачут, играют на полу два мышонка, уже едва различимые глазом. Пробежали, скрылись, и вдруг бегут кошка с котенком. Мы думаем, что они охотятся за мышами, но нет, они тоже играют, не замечая мышей... Во сне успеваю подумать: может, это символика? Может, не надо приглашать NN — он действительно из другой стихии?..

Наяву, не во сне, за нашим столом, особенно в часы ужина, после рабочего дня, не умолкали беседа и шутки. Беседа часто бывала острой, если даже касалась чисто литературных вопросов. Однажды речь зашла о только что изданном у нас однотомнике знаменитого французского писателя Альбера Камю, недавно получившего Нобелевскую премию. Главный спор шел между Слонимским и Пановой, — я сначала почему-то не принял участия в споре, хотя Камю я читал: мне было интересно послушать спорщиков. Слонимский ставил Камю высоко, выше других современных французских писателей, — Панова резко ему возражала, причем прибегла к могучему, неотразимому приему: сравнила Камю с Достоевским. Господи, подумалось мне, да кто такое сравнение может выдержать — все станут казаться пигмеями, всем давно надо было перестать «творить»!

Словно услышав мои мысли, Вера Федоровна по бедно заявила:

— Ну, что ваш Камю по сравнению с этим гигантом?

Слонимский даже оторопел, не успел ничего возразить, а я не выдержал.

— Вера Федоровна, — тихонько сказал я, — а вам не кажется, что вас заносит?

Не обратив внимания на мою реплику, робко взывавшую к ее чувству меры, Панова продолжала бить в ту же точку, приводя примеры гениальности Достоевского и несостоятельности Камю. Я повторил, уже понастойчивее, не на шутку рискуя навлечь на себя гнев:

— Вера Федоровна, вас з а н о с и т!

Вера Федоровна замолчала и залпом выпила свой остывший чай. Теперь-то уж я был уверен, что она не простит мне столь дерзкого усовещивания. Каково было мое удивление, когда сразу же после ужина она предложила мне вместе проведать больного Бориса Федоровича Чирскова, жившего на своей даче в нескольких кварталах от Дома творчества. Удивился тем более, так как прекрасно знал, что Вера Федоровна очень редко гуляет, вообще мало бывает на воздухе.

Идя по тенистой улице, мы мирно беседовали о чем-то нейтральном... не о Камю и Достоевском... и минут через десять были уже на Неясной поляне (так в шутку называли писатели свой поселок). Больного застали мы за работой: он лежал, обложенный томами и папками с материалами дознаний, допросов, предоставленными ему угрозыском. Если не ошибаюсь, Чирсков работал тогда над сценарием фильма «Два билета на дневной сеанс» или над сценарием следующего своего милицейского фильма, названия которого не помню. Естественно, что на обратном пути мы говорили о детективе. Я знал, что Вера Федоровна любит этот жанр, и у меня сохранилось несколько ее записок:

«Дорогой Леонид Николаевич, с благодарностью возвращаю Диккенса. Нет ли у Вас одной из следующих книг: 1. Гастон Леру.— «Человек о ста лицах» («Мистер Флоу»). 2. Уоллес или что-то в этом роде.— «Таинственный сосед миллионера Маршалта». 3. Любые свойства честертоновского патера Брауна: Простодушие, Неверие, Мудрость,— еще там что-то было. (Еще «Тайна патера Брауна».—Л. Р.) 4. А. Дюма — «Ожерелье королевы».

Жажду детективных романов! Если есть — пришлите с моей Вале! Приветствую Вас. В. П.».

Вторая записка датирована тем же 1957 годом:

«Дорогой Леонид Николаевич, я мучительно грызла Дюма (это не была «Графиня Шарни», это был «Анж Питу», бог с ним; подозреваю, что «Графиня Шарни» не лучше), поэтому возвращаю книги так поздно. Но возвращаю полностью. Большое спасибо.

Если остальной «Патер Браун» уже у Вас, или есть еще какой-нибудь неведомый мне славный детектив (скажем — «Таинственный сосед миллионера Мар-

шальта») — буду признательна, если пришлете почитать. Устаю, нужно легкое, легчайшее чтение.

Привет сердечный. *В. Панова*».

Когда мы подошли к дому, уже темнело, и мы всерьез пожалели, что ни одного детектива на этот вечерний час у нас не имелось. О размолвке за ужином так и не произнесли ни слова, хотя я не сомневался, что Вера Федоровна о ней помнила, как помнила, несомненно, и о двух своих вспышках совсем иного характера, происшедших тоже при мне и имевших лишь косвенное отношение к литературе.

Мы обедали, помню, в Доме писателя в Ленинграде между двумя заседаниями, когда к нашему столику подошел литератор, известный своим выдающимся эгоцентризмом: о чем бы с ним ни говорили, он непременно сводил разговор к самому себе, к своим книгам. В данном случае он ничего не успел сказать, кроме двух слов обращения — «Вера Федоровна!» — как она резко его оборвала: неужели она не может пообедать спокойно, без всяких просьб и вопросов о делах? Он растерянно извинился, сказал, что хотел только поблагодарить ее за содействие ему в «Советском писателе»... Вере Федоровне, я заметил, стало неловко.

Другой раз она вспыхнула на редсовете издательства, с незаслуженной резкостью возразив что-то одному из редакторов, умной, образованной женщине. Потом, уже тет-а-тет, я осмелился сказать Вере Федоровне, что, мне думается, если мы в пылу спора еще можем надерзить друг другу, то уж служащих нашего Союза, Литфонда, издательства не стоит обижать ни в коем случае. Вера Федоровна кротко со мной согласилась. Вполне возможно, что в душе она посмеялась над моей проповедью, но никак не показала виду.

Я и теперь не могу понять, откуда у этой очень умной женщины с очень трудной в середине тридцатых годов судьбой (о чем мы узнали много позже), проведшей во время войны два с лишним года в крайне сложных и опасных условиях, — откуда у нее порой брался этот оттенок высокомерия — в манере держаться, в манере говорить. (Отнюдь не всегда, но бывало, бывало.) Богатый ум, думалось, высокая интеллигентность никак не могут позволить их обладателю важничать... Нет, всерьез зазнаться она не могла, это исключено. Может, это была произвольная реакция как раз на трудные, а то

и унижительные годы? Или средство самозащиты от настырных, бестактных людей? Возможно. Но так или иначе этого не могли не заметить все, способные что-либо замечать, и могли, к сожалению, по-своему истолковывать...

Впрочем, какие-то неожиданные детали (в чем-то даже курьезные) мне нравились. Помню, в 1954 году мы шли в Кремль, на Второй съезд писателей. На улице было снежно, морозно, ветрено, но Вера Федоровна шла свойственной ей всегда твердой и вместе с тем изящной походкой, отважно шагая по снегу в нарядных лаковых туфельках. Любая другая женщина надела бы в такую погоду обувь поглубже, попроще, а нарядные туфли несла бы в сумке. Вера же Федоровна вышла из гостиницы так, словно для нее к подъезду должны были подать карету, словно ей вовсе не предстояло топтать через всю огромную площадь и через прилегающий к Кремлю Александровский сад: она была как бы выше этого — и меня это покорило и восхитило!

Кстати, спорила она без тени высокомерия, с полной самоотдачей, со всей пылкостью своей страстной натуры, и неважно, была ли она права или не права, — эта страстность все равно подкупала. И моя реплика в споре о Камю — «вас заносит» — относилась совсем не к заносчивости, тут случайно получилась игра слов: я имел в виду лишь запальчивое, несправедливое изничтожение хорошего французского писателя.

Спорили мы и в более поздние годы. Как-то в Москве, в гостях у Чуковских, Вера Федоровна сверхубежденно сказала, что из всех дореволюционных и пореволюционных судеб ее главным образом интересует судьба кухарки, на что я иронично заметил, что почему-то с тех пор, как появились в России разночинцы, великую русскую литературу больше интересовала судьба не самой кухарки, а кухаркиных детей... Словом, вольно или невольно, но надерзил я! В гостиницу мы возвращались молча и в лифте сдержанно пожелали друг другу спокойной ночи.

Спорили и еще в более поздние годы, совсем незадолго до болезни Веры Федоровны. Один наш разговор мне запомнился почти дословно (по свежей памяти я его записал, — жаль, что только один!). Сидя на скамейке в саду в Комарово, мы заговорили о Чехове. Вера Федоровна сказала, что с годами она стала к нему равнодушнее, что сейчас ее привлекает Леонид Андреев, его

темперамент, его фантазия. Не скрою, я удивился, даже сказал, что не верю, и решился спросить:

— Вот вы написали в «Ликах на заре» встречу, вернее «невстречу» Феодосия с матерью. Не может быть, чтобы вы при этом не вспомнили чеховского «Архиерея»... и как его матери уже не все верили, что у нее был сын архиерей?

Вера Федоровна помолчала, затем сухо и упрямо сказала:

— Леонид Андреев лучше написал о священнике, об отце Василии Фивейском. Читали?

— Давно. В юности.

Вера Федоровна необычно для себя кратко, отрывисто изложила суть:

— Вот этот поп действительно претерпел. Умер его любимый сын... с горя пьет до безумия жена... родился другой сын, злой идиот... малолетняя дочь хочет убить брата и мать... мать сгорает вместе с их домом... завалило землей работника... отец Василий то пламенно верит, то вовсе не верит в бога... пробует в церкви воскресить труп смердящий... народ в ужасе бежит из храма... отец Василий тоже бежит... умирает на бегу от разрыва сердца...

И закончила просто, но настоятельно:

— Нет, вы перечитайте этот рассказ.

Я послушался, перечитал. Но больше на эту тему нам говорить не пришлось. Да и что я мог ей сказать? Привычно отделаться известной фразой Льва Толстого про Леонида Андреева: «Он нас пугает, а нам не страшно»? Или вспомнить шутку самого Леонида Андреева в ответ на осуждающую статью Софьи Андреевны Толстой о рассказе «Бездна»:

Будьте любезны —
Не читайте «Бездны»...

Повторяю, все это было бы банально... да и неверно, если применить к моим впечатлениям. «Василий Фивейский» при этом повторном чтении действительно поразила меня темпераментом, фантазией и жестокими реалистическими деталями, хотя я не мог не заметить явного пережима, местами риторики, пожалуй излишнего нагромождения бед, какие пришлось претерпеть злосчастному отцу Василию. Пожалуй, это напоминало скорей ж и т и е, чем жизнь, автор, наверно, так и задумал, но

назвал проще: «Жизнь Василия Фивейского». Панова назвала свой рассказ «Сказанием о Феодосии» (вот словно бы и нашелся общий подзаголовок для «Ликов на заре!»), но написала его бесконечно сдержаннее, хотя довела драматические события тоже до предела.

Выступления Веры Федоровны на собраниях были всегда выверены, содержательны, деловиты. Высказывания на редакционных советах были интереснее, нередко резки, порой даже очень, но всегда обоснованно. В Ленинградском архиве литературы и искусства хранятся стенограммы наших редсоветов. Наиболее интересные выступления Веры Пановой следовало бы включить в собрание ее сочинений, когда оно будет переиздано и расширено. Кстати, на всех таких заседаниях Вера Федоровна полностью сохраняла присущее ей чувство юмора. С улыбкой смотрела, как Павел Далецкий, сидевший обычно напротив нее, по другую сторону маленького столика, клал в пепельницу, стоявшую между ними на столике, листки косметических салфеток, которыми он вместо носового платка вытирал на лбу пот, а то и сморкался в них, подражая японцам...

Вообще Вера Федоровна все видела и все замечала, как и подобает наблюдательному прозаику. Реакция же бывала разной. Помню, общая наша приятельница с увлечением о чем-то рассказывала и вдруг для полноты впечатления употребила такой немыслимый образ: «Например, если бы вы, Вера Федоровна, вдруг сделались наездницей и стали выступать в цирке!» Я сразу заметил, что Веру Федоровну это уподобление несколько озадачило: она отклонилась назад в своем кресле и холодно сказала:

— Вы меня удивляете!

Наша приятельница ничего не заметила и с энтузиазмом продолжала рассказ.

Однажды на заседании Правления совместно с личностью Театра оперы и балета один видный театровед, говоря о недостатках сегодняшних балетных либретто, восхищался лучшим в мире, единственным в своем роде, неподражаемым, идеальным либреттистом Метастазио. Мы с сидевшей рядом Пановой устали от этих бесконечных похвал, и я шепотом поделился: вот, мол, когда-то существовал один Метастазио и как это было замечательно, а теперь существуют тысячи метастаз и ничего в этом хорошего нет... Панову, как видно, не покорило

такое рискованное гиньольное сравнение, и она с удовольствием посмеялась.

В другой раз мы говорили о жесткой критике, которой без конца подвергался роман одного московского прозаика. Панова это объяснила так:

— Очевидно, критики руководствуются известным правилом: «Если зайца долго бить, он научится спички зажигать»!

— Но неплохо бы им знать и такой вариант: «Если зайца слишком долго бить, он разучится спички зажигать», — дополнил я.

— Во всяком случае, я разучилась бы! — решительно заключила Вера Федоровна.

Реакция Веры Пановой была всегда мгновенной и выразительной. Тут помогала еще и ее удивительная память. События и детали, характеры и лица, все, когда-либо встретившееся и наблюденное в жизни, верно служило этому художнику до конца его дней. Но кроме памяти и творческого воображения Панова обладала еще одним свойством, и здесь я немного отвлекусь. Поразительная память, скажем, была у прозаика прошлого века Петра Боборыкина. Она видна и в его лучших романах, таких, как «Китай-город», живописующий Москву девяностых годов, и в его двухтомных мемуарах, где имеется невероятное количество фактов литературной жизни, в которой круговращался Боборыкин. Любопытно все это? Безусловно. Но вот, живя в Комарове, я как-то спросил у тонкого, умного критика Н. Я. Берковского:

— Что на сон грядущий читаете, Наум Яковлевич?

— Воспоминания Боборыкина.

— Не утомляют порой излишние факты и подробности?

— Ну, я же в любой момент могу отключиться. Погашу свет — и сплю! У него ни одна фраза не тянет за собой следующую.

Читая Панову, отключаться трудно. И дело не только в интересном содержании: у нее каждая фраза именно тянет за собой следующие. Панова на редкость чувствует музыку слова, музыку слога — отсюда ритм, мелодия и гармония ее прозы. И не отсюда ли ее любовь к поэзии и память на стихи?

Мы с Н. К. Чуковским часто испытывали исключительную способность Веры Пановой запоминать стихи со слуха. Испытание проходило так. Николай Корне-

евич, знавший наизусть стихи многих любимых нами поэтов, читал вслух то или иное стихотворение, причем наверняка неизвестное Вере Федоровне (потому-то стихи Ахматовой мы исключали, наперед зная, что наша слушательница любит и помнит великое множество ее стихов). Панова внимательно слушала незнакомое ей стихотворение — и затем повторяла, негромко, медленно, стараясь как бы нащупать, припомнить последовательно каждую строчку... Чувствовалось, что ей помогала то мелодия, то логика стиха, то парадоксальность, контрастность сравнения, образа, если это, положим, был ранний Пастернак.

Я уже говорил, что Вера Федоровна вела преимущественно комнатный образ жизни. Да, в комнате своей она много работала и читала, в минуты отдыха раскладывала пасьянс, а поздним вечером иногда позволяла себе сыграть в компании в карты. И опять же тут проявлялся ее азартный характер: случалось, что игра в покер затягивалась чуть ли не до утреннего завтрака. Партнером ее частенько бывал тот самый прозаик, который заключил свой отчетный доклад, где резко критиковал Веру Панову, фразой, стоившей ему потери поста первого секретаря Ленинградского отделения Союза писателей:

— Нас инфарктами не запугаешь!

Он имел в виду недавний сердечный приступ Веры Федоровны. Собрание не простило ему этой эффектной фразы — забаллотировало на выборах.

Но и до этого сенсационного собрания, и особенно в первые послевоенные годы, когда все были моложе (да и соскучились за годы войны по своей литературной организации), мы во главе с Верой Федоровной до позднего часа, случалось и до утра, ждали результатов — кто сколько голосов получит на выборах Правления. Теперь в это трудно поверить, но тогда для нас, очевидно, это было не менее увлекательно, чем игра в покер... Помню, как-то в часы ожидания я попробовал высказать несколько своих прогнозов, и Вера Федоровна предупреждающе — и из суеверия! — толкнула меня под столом ногой.

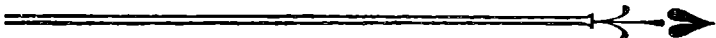
Панова всегда дружелюбно, но сравнительно сдержанно относилась к своим литературным сверстникам. Гораздо больше она дружила со «стариками» — Корнеем Ивановичем Чуковским, Константином Георгиевичем Паустовским, постоянно с ними переписывалась.

С пылким вниманием относилась она к молодежи, напористо помогала им в издании первых их книжек. Одна ее статья в «Литературной газете» в 1959 году так и называлась: «В защиту начинающих». В ней Панова писала: «Но вот странность: нет у нас денег на литературные кружки. Нет денег на это святое дело ни у Союза писателей, ни у издательств, ни у ВЦСПС». И дальше: «Почему начинающих балалаечников можно учить законным образом, а начинающих писателей нельзя? Почему годами миримся с таким положением?» В связи с этим она единственный раз за все годы нашего знакомства нашла нужным меня похвалить! Нет, не за мои сочинения, а за то, что — «При Ленинградском отделении издательства «Советский писатель» объединением (молодых писателей.— Л. Р.) в шефском порядке, безвозмездно, руководил в течение четырех лет писатель Леонид Николаевич Рахманов; но это случай особый». Мне была дорога столь нежданная положительная отметка...

Вполне естественно, что, вообще любя молодежь, Вера Федоровна страстно и беззаветно любила своих детей. Женившиеся чуть ли не сразу после окончания средней школы, сыновья рано подарили ей внуков. Вера Федоровна была домовита, рачительно заботилась обо всех, но, насколько я замечал, ее собственные дети были для нее неизменно на первом месте. Никогда не забуду, как мы с женой пришли навестить Веру Федоровну уже больную, должно быть за год до ее кончины. Мы спокойно о чем-то беседовали втроем на веранде коттеджа Дома кинематографистов, когда приехал в Репино и вошел к матери ее старший сын Борис (ныне уже тоже покойный). Вера Федоровна взволнованно обернулась.

— Любименький мой! — воскликнула она.

Эта нежная встреча взволновала и нас. И это была последняя наша встреча с Верой Федоровной.



ГЕННАДИЙ ГОР ВРЕМЕН «СМЕНЫ» И ПОЗЖЕ

Ранней весной 1927 года я сдал в газету «Смена» свой первый рассказ. Поэты Михаил Голодный и Борис Лихарев, ведавшие литературной страницей этой молодежной ленинградской газеты, полуприняли, полуодобрили мою «Живую полянку», и я стал терпеливо ждать, не появится ли она в печати. Прошел месяц, другой, по воскресеньям в газете по-прежнему появлялись произведения молодых авторов: так в мае был напечатан рассказ Г. Гора «Сапоги». Я никогда прежде не слышал такой фамилии и потому очень внимательно прочел эту вещь. А прочтя, понял, почему не печатают мое сочинение: в нем и действия мало, и никакой неожиданной развязки; Гор состязался с самим О.Генри и даже упомянул его имя в тексте, а у меня в рассказе сплошные пейзажи, к тому же слишком чувствительные.

В конце июня весь первый курс Электротехнического института, где я учился, отправили на два месяца на военный сбор под Красное Село, и мне сперва было не до литературы. Но все же в одно из июльских воскресений я заглянул в палатку с походным Красным уголком, развернул «Смену» — и увидел свой рассказ! На той же странице были шаржи на Лидию Сейфуллину и Николая Тихонова, статья Зелика Штеймана, глава из поэмы Вл. Заводчикова (через два года я написал об этой поэме свирепую рецензию), но тогда ничего этого я не заметил. А радость от обнародования собственного рассказа омрачилась тем, что напечатали не второй, улучшенный его вариант, который я в свое время тоже представил в редакцию, а первый, как я считал, черновой, — почему-то именно он попал под руку составителям! Таково было самое первое мое литературное огорчение, проложившее путь всем последующим...

Тем не менее, с осени я опять принялся сочинять, написал рассказ «Обмылок», его приняли в журнале

«Юный пролетарий», и я решил прочитать его на занятиях литературной группы «Смена», о существовании которой только что узнал. Она не была связана с газетой «Смена», если не считать, что там и тут был Борис Лихарев, когда-то учившийся в Москве в Литературном институте имени Брюсова, где и познакомился с Михаилом Голодным.

Занятия сменовцев происходили в ту осень в Доме печати, на Фонтанке (второй дом от Невского). Придя туда в первый раз, я ничего своего не читал, только слушал и осматривался. Все говорили умно, интересно, особенно Гор, круглоголовый, стриженный, но еще не лысый. О чем он в тот раз говорил? Кажется, с увлечением хвалил рассказ Николая Тихонова «Рискованный человек» (как я вскоре понял, ему всегда нравились произведения с эксцентрическим уклоном). Тоже хорошо, но немного пижонски и пуская слюнку в уголок рта, говорил Исай Рахтанов (гость, а не член группы). Председательствовал, снисходительно усмехаясь, поэт Дмитрий Левоневский, раньше других начавший печататься в «Звезде». Это на него уже успел написать эпиграмму поэт-рабфаковец Леонид Равич:

Дай, Левоневский, мне ушко
И я скажу тебе секрет:
Ах, у тебя растет брюшко,
Но не растет в тебе поэт.

Потом Равич чистосердечно признавался, что лучшее слово в эпиграмме — «Ах!» — принадлежит критику Зелику Штейману... В 1928 году Равич переписывался с Маяковским и напечатался в журнале «ЛЕФ».

Руководили литературной группой в ту пору двое: поэт Виссарион Саянов и критик, когда-то поэт, Валерий Друзин. С обоими я встречался затем в редакциях и в Союзе писателей не один десяток лет. Назову тех, кого я запомнил на первых занятиях, и с некоторыми из них подружился.

Семнадцатилетняя поэтесса Ольга Берггольц с необыкновенно нежным цветом лица и двумя золотистыми косами.

Ее муж — поэт Борис Корнилов, небольшого роста коренастый паренек с нависшей на лоб прядью. Брак их оказался недолгим: уже в 1929 году Корнилов вдруг попросил меня помочь ему найти отдельную комнату,

а через год у него появилась Люся, молчаливая, очень красивая и по виду совсем девочка.

Раиса Мессер, жена Друзина, толстенькая, маленькая, но хорошенькая; критик и литературовед, она писала тогда о Брюсове.

Поэт Александр Гитович, приходивший в Дом печати всегда с ракеткой для настольного тенниса. В 1930 году я провел с ним месяц на Мурмане и посвятил ему рассказ «Купчиха Утиль», а он мне — стихотворение «Одинокое существование на острове Кильдине».

Маленький, остроумный Юлий Берзин, автор опубликованного уже отдельной книжкой романа о нэпмане — «Форд».

Поэт Илья Авраменко; помнится, я завидовал его необычайной способности двигать сразу всей кожей на голове! Постепенно он отрастил огромные усы и начальственность.

Петров, толстый блондин, автор рассказа, напечатанного в том же альманахе, где была помещена первая повесть Геннадия Гора «Пистолеты капитана Печонкина». (Петров чуть ли не единственный сменовец, не ставший профессиональным литератором.)

Прозаик и поэт Виктор Виткович; псевдоним — Закоморный. Впоследствии он стал сценаристом, а в 1929 году написал вместе с Лихаревым пародийную поэму «Граф Нулин», посвятив ее почему-то мне. «Сказать ли вам, кто он таков, Рахманов из чужих краев, Где промотал он в вихре моды Свои сектантские доходы» (имелись в виду баптисты, изображенные в моей повести). О самой повести говорилось так: «Не то Ромэн, не то Дельтей, Не то Моран; роман отменный, Но бессистемный и бестемный, Без соблазнительных затей, Без моряков и без детей...» (намек на прозаиков-моряков Адама Дмитриева и Николая Мамина и на детского писателя Василия Валова).

Назывались и характеризовались там и другие сменовцы: «Погода становилась хуже, Как будто Гор прийти хотел... Вдруг колокольчик прозвенел. Кто долго жил в глуши квартирной, Друзья, тот, верно, знает сам, Как даже умный, скучный Цырлин Порой волнует сердце нам...» Второй герой поэмы, Друзин, говорил жене, вернувшись с охоты: «Раиса, там, у огородов, Мы затравили Тверяка» (Тверяк — известный в то время крестьянский писатель). И наконец, последняя строчка поэмы:

«Смеялся Цырлин, их сосед, Философ двадцати трех лет...»

Лев Вениаминович Цырлин (именно этого возраста!) — литературовед в очках, суховатый, весьма интеллигентный и образованный (через несколько лет я горячо поспорил с некоторыми положениями в его книжке о Тынянове).

Его жена (и будущая жена Степана Щипачева) — Леля Златова, пока неизвестно что пишущая, но красивая и насмешливая, от улыбок и смеха на висках ее уже разбегались морщинки, — она была года на два старше меня. Ее отец был когда-то врачом в Давосе (место действия романа Томаса Манна «Волшебная гора»).

Опережая календарь, скажу, что с Цырлиным и Златовой скоро стал особенно часто встречаться. Не раз ночевал у них на улице Гоголя, где в той же квартире жили две «крузошки», племянницы пожилого еврея по фамилии Робинзон-Крузо. Цырлины владели двумя комнатами — большой трехконной залой и маленьким кабинетиком-спальней, откуда по вечерам беспоянно выбегал в залу Лев Вениаминович, если перед сном Леля здесь надолго задерживалась. Он прекрасно ко мне относился, но все же отчасти тревожился и выказывал недовольство, видя нас с Лелей сидящими на «моем» диване и мило беседующими на литературные темы. Однажды и я к ним пришел не на шутку взволнованный: был в кино «Пикадилли» (нынче «Аврора») на немецком фильме «Вторая жизнь», столь меня захватившем, что, уходя с последнего сеанса, оставил на соседнем пустом кресле рукопись своего «Племенного бога» (пока еще в единственном экземпляре!). Вспомнил, отойдя за квартал, опрометью кинулся назад и обнаружил рукопись уже у администратора...

Но вернусь к 1927 году. На втором или третьем занятии «Смены» я прочитал моим новым товарищам рассказ «Обмылок». Изругали его отменно, хотя в нем были, как кажется мне теперь, и недурные места, с настроением и вниканием в психологию героя. В основном бранили за стилевые излишества, за избыток сравнений и метафор. Об этом вечере вспоминал через 45 лет Геннадий Гор в статье «Романтик и реалист» (в «Неве») и в предисловии к моему однотомнику, выпущенному в 1972 году издательством «Художественная литература».

Зимой 1927—28 года я посещал почти каждое заня-

тие «Смены», если оно не совпадало с уроком русского языка и литературы, который я вел во 2-м полку связи, куда направил меня профком Электротехнического института. Я быстро сблизился с Геннадием Гором, жившим, как и я, на Васильевском острове: я на 4-й линии, ближе к Малому, Гор — на Среднем проспекте, между 7-й и 8-й линиями, по соседству с бывшим городским училищем, где в девятисотые годы был инспектором Федор Сологуб.

Кстати, будущая моя жена была тоже василеостровкой и знала Гора значительно раньше, чем я. Он учился в соседней школе, и нередко бывало, что в перемену или после уроков кто-нибудь из учеников громко возвещал:

— Завтра Гор придет на собрание! Гор!

И действительно, на другой день в их школу приходил комсомолец Гор, в юнштурмовке, с кожаной портупеей и пышными тогда еще волосами. Его слушали всегда с интересом, чувствуя, что это не просто красноречивый, но и чем-то особенный, одаренный юноша, и не ошиблись...

Вместе с тем наши с ним литературные интересы и склонности с самого начала знакомства заметно различались. Например, из всего обожаемого мною с детства Чехова Гор любил тогда лишь один рассказ — «Черный монах» (в Геннадии уже сказывался будущий фантаст!). К Бунину он был равнодушен, зато очень любил немецких экспрессионистов двадцатых годов — Мейринка, Эдшмида, а из французов — Жана Жионо и Дельтея, особенно его «Фарфоровую джонку».

Любопытно, что, почти всегда расходясь в литературных привязанностях, мы с Геннадием ни разу из-за этого не поссорились, а вот с Николаем Чуковским, как я уже вспоминал в «Сыне своего отца», разногласия порой доходили чуть не до полного разрыва... Дело в том, что Гор по натуре своей был так добр, что сердиться на него за что-либо было бы чудовищной нелепостью: он буквально обезоруживал всех своей незлобивостью. Тому можно бы привести множество примеров, в том числе и из области чисто житейской, — ограничусь двумя-тремя, по ходу воспоминаний, сейчас же снова скажу: Гор был сама доброта.

В 1930 году Гора призвали на военную службу, и он присылал мне из-под Архангельска жалостные письма: он совсем не умел ходить, а тем более бегать на лы-

жах,— на Севере же это было основным занятием и спортом... Вскоре из его писем я узнал, что перед отъездом на Север Гор успел жениться, и теперь по его поручениям я не раз заходил к Наталье Акимовне, простой деревенской женщине, умной, доброй и хозяйственной. Зашел и за рукописью «Корова»,— эту повесть Гор написал незадолго до армии и просил передать в Издательство писателей в Ленинграде. Разумеется, я сразу же ее прочитал: это была очень левая, и по формальным и по идейным признакам, большая повесть о раскулачивании. (Интересно бы перечитать ее сейчас, после «На Иртыше» Залыгина и «Канунов» Василия Белова.) Написана она была в свойственной тогда Гору абстрактной манере, кулаки изображены сатирично, но отвлеченно. Повесть эта заинтересовала консультанта издательства, критика и переводчика Давида Выгодского, равно как заинтересовал его и мой «Племенной бог». Договоров, правда, с нами пока не заключали, но ордера на получение бумаги для перепечатки рукописей вручили, и я пришел с этими двумя ордерами в канцелярский магазин на Старо-Невском. Тут выяснилось, что бумагу дают только для сельскохозяйственной литературы. Для горовской «Коровы» бумагу выдали без затруднений, с моим же «Племенным богом» пришлось немного схитрить: я объяснил, что в ордер вкралась досадная описка, что на самом деле книга должна называться «Племенной бык», и мне поверили.

Несмотря на разницу в литпристрастиях, вкусах, сближало нас с Гором многое. Мы даже опубликовали под одной обложкой две наши повести — его «Факультет чудаков» и мои «Полнеба», написанные в 1928 году. Изданная в 1931 году «Молодой гвардией», эта книжка называлась «Студенческие повести». (Раньше наши повести были напечатаны врозь — «Полнеба» в журнале «Звезда», 1930, № 2, «Факультет чудаков» в альманахе «Звезды» в том же году.) И вот типичный пример доброты и великодушия Гора: он настоял, чтобы моя повесть шла в книжке первой, как и моя фамилия, хотя по алфавиту его фамилия должна бы идти впереди... Не так часто пишущая братия любит отступать на второй план, тем более в молодости, еще не завоевав и малой известности у читателей!

Еще пример, из совсем других времен. В шестидесятые годы нам с Гором заказали статью о науке для альманаха «Наш Ленинград». Помню, в апрельский

погожий день, когда мы вышли из университета, побывав там в нескольких лабораториях, по Университетской набережной (заглавие известного горовского романа!) валом валила студенческая молодежь, ликующе приветствуя первый космический полет Юрия Гагарина... В этот день мы собрали почти весь нужный нам материал, но написал на его основе статью, по сути, один Геннадий. А когда альманах вышел в свет, Гор настоял (зная, что у меня тогда было туго с финансами), чтобы гонорар был разделен пополам, причем, убеждая меня, напомнил о своем давнем «долге»: когда-то он потерял одну из самых любимых моих книг: «Записки Пиквикского клуба» Диккенса. Верно, потерял, но как и когда? При каких трагикомических обстоятельствах?

В начале тридцатых годов Гор поехал в Москву повидаться с отцом, ветеринарным врачом, жившим постоянно в Сибири. Отец одарил его, вернее свою молодую невестку, всякими сибирскими шкурками и китайскими шелками, которые Гор уложил вместе со взятым у меня для чтения в дороге и в Москве «Пиквикским клубом» в большую прутьяную корзину. Вернувшись темным осенним утром в Ленинград, он стал на Лиговке ждать трамвая, поставив перед собой, чтобы не украли, эту драгоценную кладь. Вдруг его сзади сильно толкнули, он упал, споткнувшись о свою корзину, а когда поднялся, корзины уже не было... Как видно, больше всего огорчила Гора пропажа моей книги, если он о ней вспомнил через тридцать лет!

Что говорить, все знали и чувствовали его доброту и сверхпорядочность. В середине тридцатых годов Гор поселился с семьей уже из пяти человек в одной, но просторной комнате коммунальной квартиры на набережной Фонтанки. Надо ли объяснять, что такое коммуналка с ее обычаями и нравами? Но тут соседями оказались люди, сразу же оценившие Гора по достоинству. Достаточно сказать, что они продали мне, совершенно незнакомому им человеку, редкостный для тех лет материал на костюм, с рассрочкой на год, исключительно под ручательство Гора... Верно, не частый случай? Правда, чтобы ненароком не подвести Гора, я до выхода на экран «Депутата Балтики» не решился шить костюм — добротный английский материал так и лежал у меня впрок, «на всякий случай»: а вдруг придется вернуть, если фильм не получится...

На Фонтанке у Горов я бывал не раз, вплоть до их

переезда в так называемую «писательскую надстройку» на канале Грибоедова, где неожиданно освободился ряд квартир. Еще чаще к ним заходил Леонид Иванович Добычин, любивший рассказывать о том, как Гор работает: за одну руку дергает его пятилетний Юра, за другую — двухлетняя Лида, а он все пишет и пишет... Добычину, закоренелому холостяку, видеть это было не только курьезно, но, может, и завидно — отсюда гротескная зарисовка.

Гор вообще так привык жить в тесном семейном кругу, что в 1937 году, в сентябре, когда мы приехали с ним в Коктебель и я оказался сперва один в отведенной мне комнате (жена еще не вернулась из альпинистского похода), он попросился ко мне ночевать — одному ему было тоскливо. Вместе с тем не привился ни к одной компании отдыхающих, редко купался, не катался на лодке, не ходил с нами в горы, — словом, не умел отдыхать. Правда, однажды отправился с нами, молодежью, и охотно примкнувшим к нам Борисом Андреевичем Лавреничевым в Сердоликовую бухту. Погода была свежая, ветреная, надо было обойти скалу по узкой кромке (оплывать было трудно среди волн, угрожающе разбивавшихся о камни), Гор только начал «оползать» скалу, как сразу же разорвал об ее острые выступы рубаху, раскровенил бок и спину и вернулся обратно, чтобы подождать нас на мирном берегу.

Научился ли он когда-нибудь отдыхать — не знаю. По-моему, нет. Всегда читал книгу. Без книги я его не помню. Рассказывали, что в 1942 году, в эвакуации, в деревне Черной под Пермью, Гор по поручению Натальи пас поросенка, читая одновременно Гегеля. Поросяенок пользовался тем, что внимание пастуха было отвлечено Гегелем, и убегал. Гору потом попадало от Натальи. И правильно: поросенок и Гегель — две вещи несовместные.

О философии Гор был готов говорить всегда. В пятидесятые годы, живя в Комарове, я повел известного московского писателя-палеонтолога и фантаста Ивана Антоновича Ефремова, в комаровский лес, чтобы показать ему здешние места и мою любимую «мохнатую дорожку». С нами пошел Гор, которого я только что познакомил с Ефремовым. Гор непрерывно говорил об искусстве, о философии, не давая нам ни минутки просто полюбоваться и насладиться природой...

Несмотря на то, что Гор был домоседом, он любил

знакомиться с интересными людьми. На международном совещании по проблемам романа, проходившем в Ленинграде в шестидесятые годы с участием Натали Саррот, Сартра и других, в перерыве он оживленно беседовал с Натали Саррот, а на лестнице Дома писателя попросил меня познакомить его с Твардовским, который как раз поднимался навстречу нам. Я и сам-то был мало знаком с ним, но Гор так пылал этим желанием, что я представил его Твардовскому, человеку сдержанному, на лице которого тем не менее прочел немалую озадаченность...

Как ни странно, мы с Гором всю жизнь были «на вы»; вначале я его звал — Гор, он меня — Рахманов, потом я его — Геннадий, а он меня почему-то — Леонид Николаевич! Вечером 12 марта 1968 года, когда в Доме писателя отмечалось мое шестидесятилетие, выйдя на эстраду и обнявшись со мной, Гор смущенно предложил, чтобы мы перешли «на ты», но из этого так ничего и не вышло: вот что значит привычка многих десятилетий!

Что же писал Гор в годы нашей долгой дружбы? Первая его отдельная книга — «Живопись» — состояла из небольших рассказов и отличалась не только поисками формы, но уже склонностью к философии, которой, как я сказал, он увлекался до конца своих дней и знаний в этой области постепенно приобрел много. «Живопись» в 1933 или 1934 году резко и несправедливо раскритиковал чудесный наш переводчик и интереснейший человек — Валентин Осипович Стенич. Почему он сделал это, причем явно без всякой корысти, страстно, искренне, я никогда не мог понять. Сколько было тогда плохих писателей — он же на них публично не ополчался! Может, напал на Гора именно потому, что видел немалое дарование, направленное не по тому пути? В той же газете «Литературный Ленинград» Гор несмело возражал Стеничу, но ничуть не каялся, а настаивал на своем праве искать и экспериментировать, что вполне потом оправдалось. Но тогда он так возлюбил западных «леваков», скажем Кафку, Джойса (не зная их в оригинале, знакомясь лишь с пересказом их произведений в критической литературе или с отдельно переведенными отрывками — скажем, из того же «Улисса»), что одно время почти не замечал русских классиков, если не считать, разумеется, вечно любимого им Гоголя; настоящий кумир всей жизни Гора был рассказ Гоголя «Портрет».

Николай Чуковский когда-то сказал: «Начитанность Геннадия Гора напоминает костюм негра: крахмальный воротничок, галстук, манжеты — и ничего больше!» Со временем начитанность Гора неизмеримо выросла, но я всегда ценил эту злую шутку, пока не усомнился в ее оригинальности, прочтя в «Старой записной книжке» П. Вяземского: «Это дикая островитянка, которая является к нам голая, но с серьгами в ноздрях». Он сказал это о новейшей в его время романтической литературе.

С давних пор Гор начал коллекционировать картины. Он всегда любил живопись, — недаром же его первая книжка так и называлась... Сначала он собирал работы лишь самых «левых» художников, чем немало гордился (даже не очень-то разбиравшаяся в изобразительном искусстве Наталья Акимовна любила говаривать: «Наши левые селедки лучше», — она имела в виду принадлежавший Геннадию натюрморт молодого художника Зеленина, сравнивая его с какой-то другой картиной из чужой коллекции). Потом Гор «поправел», поместил на почетное место работу даже такого заядлого реалиста, как Пахомов, которого после ленинградской блокады стал уважать и ценить. Но наибольшее его увлечение и заслуга — это открытие, еще в тридцатые годы, талантливого северного художника Панкова (позднее он написал о нем книгу).

В своей литературной работе Гор вскоре набрел, и надолго, на близкие его сердцу темы: Север, Байкал, Баргузин, дед-перевозчик через сибирскую реку (Гор родился в Верхнеудинске, в Забайкалье) — и написал много рассказов и повестей о северных народностях, о звенящих ручьях (его любимый на всю жизнь образ). Успел до войны съездить на Алтай, на Сахалин, написать о Сахалине очерковую книгу.

Северные рассказы и повести Гора поэтичны и человечны — настоящая поэзия в прозе, как я писал в своей статье о его работе, но постепенно это стало угрожать однообразием. И уже после войны наступил новый, третий период его творчества, сугубо реалистический, появились повесть «Ошибка профессора Орочева» и роман «Университетская набережная». Книги эти широко издавались, охотно читались широким читателем, и вообще это было полезно для прозаика уже не первой молодости, полезно во всех смыслах, в том числе и материальном: именно в эти годы Горы построили для своей все увеличивавшейся семьи большую дачу. Но

я бы не назвал эту полосу его литературной работы самой сильной и самобытной: Гор рисковал стать расхожим «беллетристом».

И вот наступил перелом — время, когда Гор решительно склонился к фантастике, точнее — к философской фантастике. С 1960 года он все увереннее стал одерживать здесь победу за победой и вошел в первый десяток советских писателей-фантастов. Лично я считаю его вообще лучшим автором этого жанра — по уму, образованности, таланту и присущей ему всегда оригинальности. Я недавно нашел у себя краткий отзыв Гора о рассказе «Мышонок», принадлежавшем перу начинающей писательницы: «Уже одна оригинальность темы, острота наблюдения — выдают человека талантливого, независимо от того, хорошо или неважно пока это написано. Плоскостность, невыразительность, ординарность содержания убедительно говорят, что перед нами неталантливый человек, хотя бы это и было старательно, порой даже тонко написано». Эти строки относятся к 1964 году, ко времени зрелого мастерства самого Гора, поэтому им особенно веришь.

Я нередко писал о его фантастике, писал в газетах, в так называемых внутренних издательских рецензиях — о повестях «Докучливый собеседник», «Странник и время», о романе «Изваяние». Решусь познакомить читателя с этим последним отзывом (в несколько сокращенном виде), но сперва приведу надпись на своей первой, подаренной Гору еще в нашей литературной юности книжке:

«Оба мы пробираемся к обезьяннику новых форм. Мой путь популярнее вашего. Я покупаю в кассе билет, стою в очереди, подкрепляя себя бутербродами. Вы перемахиваете через забор. Честь и хвала вам за это!»

Через тридцать лет я написал ему проще:

«Вы всю жизнь берете препятствия, в каждой своей новой книге. Но это давно уж не те привлекавшие нас когда-то замысловатые заборы. Болезнь роста прошла и, мне думается, ни в чем не нанесла урона Вашему таланту. Как и всякий художник, Вы преодолеваете подлинные, не искусственные препятствия и решаете настоящие, не придуманные задачи... Это совсем не похоже на обезьянник — это человеческое искусство, и Вы владеете им совершеннее с каждой книгой. Вот за это Вам честь, хвала и спасибо!»

А вот что писал я в 1971 году об «Изваянии»:

«Проза Геннадия Гора поэтична не только по форме, по стилю, по настроению: Гор всегда побеждал там, где он отдавался поэтическому видению мира, будь этот мир Ленинградом, Дальним Востоком или выдуманной планетой, и подчас терпел поражение, пытаюсь быть только бытовым беллетристом. Другое дело, когда срабатывал сам контраст между бытом и мечтами, сочетание привычного с необычным, реальной жизни с фантазией,— недаром Гор так часто вспоминает и упоминает (и в статьях и в рассказах) «Портрет» Гоголя и «Неведомый шедевр» Бальзака, эти любимые им образцы поэтической и философской прозы.

В новом романе Г. Гора главной героиней является как бы сама Поэзия, бессмертное поэтическое вдохновение, которое — по авторской формулировке — «может сокращать расстояние между мыслью и миром, превращая все виденное в поэму». Эта Поэзия вочеловечилась в женщине, которую зовут Офелией. Она с легкостью переносит героев романа из XXII века в двадцатые годы нашего и тридцатые годы прошлого столетия, из колчаковских застенков в Петроград, в Петербург, в таежный чум, на неизвестную планету и снова в Ленинград, в годы нэпа.

Как раз самое любопытное, неожиданное и смелое в этом талантливом романе — это именно образ Офелии, Офелии Аполлоновны, как значится она в домовый книге обыкновенного жактовского дома на 5-й линии Васильевского острова. Офелия — не всесильный джинн из старинных восточных сказок, не святой дух и не языческая богиня,— это живая женщина, настолько живая, что она полнеет, худеет, капризничает, любит вкусно поесть и хорошо одеться, профессионально печатает на пишущей машинке, азартно ссорится с квартирными соседями, она взбалмошна, упряма, от обиды на мужа может выкинуть неожиданный вольт — начать ходить по дворам в рваном платье и петь никому не понятные скандинавские саги.

Повторяю, это живой человек и вместе с тем, несомненно, волшебница, это Муза времени,— не Машина времени, а именно Муза, творящая с людьми чудеса, какие возможны только в поэзии, только в сказке. Туманно? Не скрою, туманец в моем пересказе есть, как он есть и в романе Гора. Больше того, я уверен, что без некоторой размытости, нечеткости контуров этот роман

не мог бы существовать — он просто-напросто потерял бы свою поэтичность.

Пожалуй, он потерял бы и реализм, ибо кто может сегодня сказать, что ему абсолютно ясно, как будут люди жить через два, три века, чем они еще овладеют, что будут знать, и самое главное — какой тогда будет их духовная и душевная сфера. Тот, кто сегодня железно сконструирует модель (любимое словечко кибернетиков и журналистов!) будущего общества и будущего человека, представляется мне вульгарным очковитрателем — в произведениях такого фантаста не будет ни поэзии, ни правды.

Геннадий Гор в своем новом романе почти не показывает нам далекого будущего общества, основное действие протекает в Ленинграде, и сдвиги происходят чаще в сторону прошлого. (Кстати, прекрасно написан эпизод с шаманом, который вырезает из полена идола, а затем решает сжечь его за беспомощность: почему не заступился, не покарал врагов!). Говоря о размытости, я имел в виду скорее мягкость изображения, благодаря которой читатель в иные моменты видит героев, события, обстановку как бы в дымке, выведенными из фокуса. В романе есть очень значительный и впечатляющий эпизод: земной герой попал в санаторий, находящийся на другой, неизвестной планете, человечество которой в результате термоядерной катастрофы стало бездетным; люди могут продлить с в о ю жизнь, вернее, восстановить подобия самих себя, но потомства у них уже никогда не будет. Будь этот эпизод написан в резкой манере, он, наверное, выглядел бы излишне тематическим, публицистичным, а сейчас он лиричен и пронзительно грустен.

Но Гор не чурается гротескной резкости, когда это ему нужно. Так один эпизод происходит все же в будущем времени, в XXI веке, там очень смешно разговаривают местные специалисты, все как один с чеховскими бородками и в пенсне — социолог, техник, главный контролер...

После Офелии вторая главная удача в романе — художник М., всю жизнь малевавший эффектные, но банальные, по существу ремесленные пейзажи. Лишь перед смертью отдался он до конца своему призванию и таланту, и в результате явились на свет два-три настоящих шедевра. В изображении этого характера и этой судьбы Гору удалось соединить густой реализм, юмор,

сатиру с лирическим и философским накалом — отсюда высокая человечность финала этой, казалось бы, столь заурядной и даже во многом пошловатой жизни. Уже позднее, через десятки страниц, я себя недоуменно спросил: как могло случиться, что одухотворенная, всепонимающая Офелия не почувствовала, не оценила гениальный порыв своего мужа, этого василеостровского Тициана? И сам же себе ответил: очевидно, художник М. настолько сочная, земная натура, что Офелия за время брака невольно погрязла в прозе его жизни!

Впрочем, такова парадоксальная двойственность природы Офелии. Забегая вперед, скажу, что одно из самых сильных мест романа — это гимн слову, который слагает Офелия. Это большой и словно бы самый бездейственный кусок текста, — тем не менее, он производит гигантское впечатление, и это уже прямое воздействие откровенной поэзии. Да, Поэзии, хотя была очень близка опасность, что «сопряжение далековатых» фактов и образов, из которых соткана ткань этого десятка страниц, могло стать риторикой, превратиться в манерный перечень, с изысканным литературным кокетством записанный инвентарь бытия — бытия сегодняшнего, вчерашнего, завтрашнего, от сотворения мира, со всем, что сюда может войти: наука, искусство, труд, природа, фантазия, имена и свершения гениев и пр., и пр. Опасность была близка, но Гор ее преодолел: эти страницы романа читаются с волнением.

В заключение скажу, что Гор этим романом завоевал новую высоту в том мире, в котором он последние годы работает».

Мне особенно приятно было это сказать, потому что как раз в последние десятилетия мы с Геннадием сравнительно редко встречались. Не оттого, что охладели друг к другу, — нет, просто, как это часто бывает в пожилом возрасте, не хватало времени для общения... Но, даря нам с женой свою книжку о Константине Панкове, Гор написал:

«Дорогим Лёне и Тане, самым старинным и самым любимым моим друзьям».

Когда-то у нас с Гором был один общий старинный друг — Люся, Евгений Глейбер. Глейбер жил рядом со мной, в соседнем доме № 47 по 4-й линии Васильевского острова, нигде не учился (в смысле высшей школы), но был начитан и образован, писал тонченные стихи и поэ-

мы, которые нигде не печатал, и был для нас бесценным советчиком. Правда, его не удовлетворял мой переход от орнаментальной к суховатой прозе, и он настоятельно советовал учиться не у Стендаля и Мериме, а у Диккенса. Увы, мой любимый Диккенс был для меня как учитель недоступен...

Глейбер был женат на студентке, маленькой, худенькой русской женщине, у них был ребенок, дочка, которую жившая с ними бабушка (теща Глейбера) учила подойти к отцу и сказать ему: «Жид, жид!» Кротко улыбаясь, Люся рассказывал, что он даже не сразу понял, когда дочка подошла и сказала: «Зи, зи!» Потом Глейбер расстался с этой женой и женился на крупной блондинке, работавшей в Институте Севера, и сам стал писать научные статьи, одну из которых успел до войны подарить мне, но встречались мы уже редко, в основном в Филармонии, куда он ходил с новой женой (почему-то нас не знакомя). Работа его о Миклухо-Маклае у меня сохранилась, равно как и огромный том сочинений Державина с размашистой Люсиной подписью на титульном листе. Погиб он в первую блокадную зиму, у него всегда было слабое здоровье; впрочем, блокада губила и крепких, здоровых людей. Нам с Геннадием очень не доставало потом Люси Глейбера.

В молодые годы у Гора был и еще один близкий друг — Григорьев, о размолвке с которым, дошедшей до драки (!), Гор однажды поведал мне. Но когда он праздновал дома в 1967 году свое 60-летие, среди почетных его гостей я увидел Григорьева, разумеется весьма постаревшего.

Когда у Гора случился инфаркт (примерно в те самые годы), первое, что он мне сказал: «Как я рад, что это случилось со мной, а не с Натальей». Чистая правда! Кроме того, что он был к ней очень привязан, он был беспомощен без Натальи в быту, в повседневной жизни. Кроме того,— повторяю еще и еще раз,— он был сверхъестественно добр. Чего стоила его просьба к трехлетней внучке:

— Если ты хочешь плюнуть в бабушку, лучше плюнь в меня.

Наивность, бытовая его неопытность иногда поражали. Мы сидели однажды рядом на каком-то банкете в Доме писателя. Он налил себе в водочную рюмку лимонада, выпил и крикнул:

— О, вино-то ничего! — Вгляделся в этикетку на

бутылке и тихо сказал, как бы извиняясь: — О, да это квас...

У Геннадия было двое детей — сын и дочь, много внуков и правнуков, и ему уже было трудно в этом тесном семейном кругу в маленькой квартирке в писательском доме на улице Ленина. Но получить квартиру побольше, а еще желаннее — отделить семью сына, он так и не успел.

В последние годы его томила депрессия, как и его Наталью, но непосредственной причиной смерти была гангрена, развившаяся в результате диабета. Отрезать ногу не решились — слабое сердце, лишние страдания. Болел он долго и необратимо — слабел, угасал. Последние дни был в сознании, говорил о литературных делах, попросил принести ему Пастернака, сравнил два издания. Дочери Лиде сказал, что видит себя во сне — в о д о й... Это было совсем в его духе: всю жизнь он писал о р у ч ь е, холодном, горячем, в тайге, в сопках, образ этот был для него самым родным!

Наталья лежала в это время в другой лечебнице. Так расстались они в конце жизни. На похороны ее привезли из больницы, и она, сидя у гроба, дремала. И это всегда энергичная, рассудительная и обожавшая мужа Наталья! Горько было на это смотреть...

Умер Геннадий 5 января 1981 года, а узнал я о его смерти 6-го, через два часа после того, как случайно нашел в своих бумагах литературную страницу газеты «Смена» 55-летней давности, с рассказом, о котором я упоминал в начале воспоминаний. Рассказ Г. Гора «Сапоги» был напечатан в мае 1927 года, за месяц до моей «Живой полянки». Это была первая наша встреча, пока заочная. По-настоящему встречались мы затем более полувека...

Хоронили Гора 9 января. В 12 часов состоялась панихида в Доме писателя. Вел ее от имени Секретариата Б. Н. Никольский. Первым выступил Гранин, часто бравший у Гора книги, когда они жили летом на даче. Говорил Гранин хорошо, но Лурье и Адмони говорили проще и непосредственней. Все говорили о доброте Гора, никто не запомнил его иным, а сейчас он лежал в гробу небывало строгий, худой — почти неузнаваемое лицо. На двух автобусах поехали в Комарово, где благодаря хлопотам Чепурова разрешили похоронить Гора, автора двух с половиной десятка книг, писателя с пятидесятипятiletним литературным стажем...

Могила Геннадия Гора — возле могил Веры Кетлинской и актрисы Ирины Зарубиной, в очень хорошем месте. На кладбище в день похорон было чудесно: снег, снег, тишина. Провода над дорогами — в виде толстых снежных жердей, деревья — словно бы вылеплены целиком из снега. Я слышал, как две незнакомые пожилые женщины на кладбище позавидовали покойнику... Говорили над гробом Алексей Иванов от «Невы», журнала, в котором до самой смерти Гор был членом редакционной коллегии, и незнакомая мне художница — о любви Гора к живописи.

Через год, 6 февраля 1982 года, на вечере памяти Геннадия Гора, я получил большую тетрадь стихов, написанных им в 1942 году, после блокадной ленинградской зимы, уже в деревне Черной. Ни до, ни после 1942 года он стихов не писал и никогда никому не говорил о написанных, а тогда вдруг прорвало... Разве это тоже не краска для его характера? Все, буквально все было у него не так, как у других литераторов. Начав как левак, как отвлеченный от окружавшей его жизни литературный экспериментатор (конец двадцатых, начало тридцатых годов), он вдруг стал автобиографичен (Байкал, Сибирь); домосед, «кабинетчик», он успел поехать по дальним окраинам (Дальний Восток, Сахалин, Алтай). Добившись успеха в типичной беллетристике («Ошибка профессора Орочева», «Университетская набережная»), он круто свернул к научной и философской фантастике. Даже музыка, которой, казалось, он раньше не интересовался, не бывал в Филармонии, в конце жизни обрела его интерес: покупал и слушал пластинки с симфонической музыкой... Очень жалею, что мы не встретились и не поговорили о музыке, которая так много для меня всегда значила.

На вечер памяти Геннадия Гора я на всякий случай взял с собой именно тот рассказ, что нашел за день до его смерти. Большинство выступавших на встрече были люди сравнительно молодые, знавшие уже пожилого и старого Гора. Почти все говорили о Геннадии Горе — научном фантасте, философе, уснащая свою речь учеными терминами. А я решил прочесть вслух простенький его юношеский рассказ. И прочел, кратко объяснив причину... Кажется, никто из предыдущих ораторов не обиделся: наверно, сочли за мое чудачество!

В конце хочу привести несколько стихотворений,

написанных Гором после первой блокадной зимы, которая явно сказалась на их содержании:

Невеста моя, поляна,
И яма, как рана моя.
Положат меня туда рано,
Невеста, поляна моя.

В душе моей укус и тленье,
Тоска у виска и мороз,
И нет ни любви, не терпенья,
И ветку мне ворон принес.
В душе моей дуб и осина,
И осень давно утекла,
И филин не плачет. И Нина
В могилу с сестренкой легла.
И филин не плачет. И эхо —
Как сон и как крик, как прореха,
Как рана, как яма, как я.

Сезани, с природы не слезая,
Дома и ветви свеживал.
Вот в озере с волны снял кожу,
И дуб, тут умирая, ожил.
Трава зеленая в слезах.
И в тополе большая рана
Кричала голосом барана.
С домов на камни боль текла
И в окнах не было стекла,
А в рамах вечно ночь застряла,
И все как гром и как стрела.
Душа и человечесье тело
И небо вдруг окаменело.

Ручей, уставши от речей,
Сказал воде, что он ничей.
Вода, уставшая молчать,
Вдруг снова начала кричать.

Вот этим его любимым до самой смерти р у ч ь е м я
и закончу свои воспоминания.



ПОЗДНИЙ ОТКЛИК

(Из воспоминаний о Г. М. Козинцеве)

Читаю, вернее — перечитываю, рабочие тетради Григория Михайловича Козинцева, изданные в 1981 году отдельной книгой — «Время и совесть». Составительница книги, Валентина Георгиевна Козинцева, так объясняет ее заглавие: «Во всем, что делал Козинцев, он был верен себе, своей жизни, и, как ни разрознены, ни различны по темам материалы, я надеюсь, что прочтутся они как единая книга, которая названа словами, так часто встречающимися в его текстах — в р е м я и с о в е с т ь».

Так они и читаются. О чем бы Григорий Михайлович ни думал, что бы ни записывал в ходе или преддверии той или иной работы, близкого или далекого замысла, нравственное начало и ответственность перед современниками всегда главенствуют в его записях. И перечитывая их, убеждаешься, что они не стареют — они остаются для нас насущными и тревожащими. Это ведь не какие-то правильные, добрые, симпатичные, но уже примелькавшиеся истины, — это горячие, неожиданные, порой резкие, противоречивые, даже противоречащие еще недавним мыслям и чувствам самого художника записи. Видно, что автор их непрерывно движется вместе с временем, а то и опережая его. Примеры? Их можно привести в изобилии, — но не лучше ли посоветовать читателю, зрителю, любому задумывающемуся о жизни искусства человеку прочесть эту книгу...

Да, читая ее, я получал наслаждение; но вместе с тем огорчался. Почему, будучи близко знаком с автором, несколько десятков лет с ним встречаясь, временами работая рядом, я так редко, так мало слышал от него о затронутых в записях животрепещущих темах? Потому ли, что я не режиссер и занимавшие Григория Михайловича вопросы и мысли были, считал он, от меня далеки? Или же он ощущал их глубоко личными, вел эти записи чуть ли не как интимный дневник? Но ведь пред-

ложил же он мне в 1967 году быть редактором «Короля Лира» (о чем детальнее дальше), и тогда такие или похожие вопросы вдруг возникали и в дружеских наших спорах обсуждались...

Правда, он не раз говорил, что писатель, художник, композитор свободны от многих забот и мучений, характерных для профессии кинорежиссера, и словно бы даже завидовал этой свободе. Верно, свободны. Свободны от всей сложности кинопроизводства, от каждодневного общения с десятками, сотнями руководимых кинорежиссером людей (чего стоит хотя бы только одно — руководить актерами!). Но главное, что сближает всех нас, если мы хотим честно работать, как раз отразилось в заглавии этой книги: время и совесть...

И не только это роднило нас. Шестьдесят лет назад, мчась на грузовике по освобожденному от белых армий Киеву, пятнадцатилетний Гриша Козинцев кричал:

Довольно грошовых истин!
Из сердца старое вытри!
Улицы — наши кисти,
Площади — наши палитры!

Я на три года позже узнал Маяковского, но полюбил его, быть может, не меньше. И оба мы любили Блока, Ахматову, Мандельштама, Пастернака, Мейерхольда. «Как много можно понять, перечитывая собрание стихов какого-либо поэта», — пишет Козинцев на стр. 96-й, а на стр. 180-й цитирует слова Иннокентия Анненского: «Чтение поэта есть уже творчество». Значит, нам было чем поделиться в своих литературных привязанностях. И бывало, делились, но мало, мало...

Не утерплю, приведу еще несколько строк из записей, особенно для меня дорогих. Сначала из первого раздела, посвященного не какой-либо конкретной работе Григория Козинцева, сколько вообще искусству (впрочем, тем самым и его собственному).

«Во время работы я не хожу в кино. Читаю Толстого, Достоевского, Чехова. Чему я учусь у них? Чувствую стыда за все, что отдает эстетическим баловством, невозможным в наш век».

«Я сам себе множество раз повторяю: «Не подменяй выстраданного вымученным».

«Мне претит разорванность формы, мешанина времен, смесь реального и воображаемого — все это ка-

жется мне сейчас... манерным, недостойным кинематографа».

«У меня был хороший вариант конца «Гамлета»: стена Эльсинора, шарахаются в ужасе Бернардо и Марцелл; не торопясь, идет призрак отца, за ним идет Гамлет, то есть призрак сына. Военные караулы отдают ему честь».

Не скрою, сейчас я немного жалею о том, что режиссер Козинцев предпочел в фильме другой вариант... Но тогда я не знал варианта с двумя призраками, так как не был редактором «Гамлета». Достаточно и того, что мне не удалось убедить Григория Михайловича сократить или убрать совсем один из эпизодов в «Короле Лире», о чем расскажу позже... А теперь перейду к хронологии наших встреч, нашего знакомства.

Не помню, были ли мы с Григорием Михайловичем хотя бы шапочно знакомы до войны. С соавтором его по трилогии о Максиме, Леонидом Захаровичем Траубергом, встречались, помню, в 1936 году у Эраста Павловича Гарина — они жили в одном и том же доме на Пушкинской, где я часто бывал, работая над новым сценарием для Гарина. А с Г. М. Козинцевым, мне кажется, мы встретились впервые лишь в 1947 году. Я был тогда членом художественного совета в Театре комедии, и в начале сезона 1947—48 годов Г. М. Козинцев пришел к нам — прочесть вслух пьесу Ильи Эренбурга. Читал он громко и выразительно, с треском перелистывая страницы, но пьеса не заинтересовала главного режиссера Н. П. Акимова. Григорий Михайлович не спорил, активно не защищал пьесу, и обсуждение ее скоро выдохлось. Мы вместе с ним вышли из театра. Наше внимание привлекла толчея у окошечка театральной кассы: в декабре предстояла денежная реформа, и все билеты до конца месяца азартно расхватали... Равно как и все порошки и крупинки в гомеопатической аптеке на углу Невского и Садовой, о чем сообщил мне побывавший там Григорий Михайлович. И с улыбкой добавил, что это очень похоже на ярмарку, было бы чем — мы бы роскошно поторговали. Я отвечал, что для этого у меня не хватит способностей, а втайне подумал: почему в таком случае не состоялась «продажа» пьесы?.. И про себя же ужаснулся — скажи я об этом вслух Козинцеву!

На том кончилась наша первая встреча. Не помню, как получилось, что вскоре Григорий Михайлович уз-

нал, что я пишу сценарий о Яблочкове, знаменитом русском электротехнике, и любезно мне предложил ознакомиться с имеющимися у него материалами о пребывании Яблочкова в Париже. Впервые я тогда побывал у Григория Михайловича дома, на Малой Посадской, в его кабинете.

Через несколько лет я начал работать над сценарием фильма о Ломоносове. Сначала предполагалось, что фильм будет ставить Козинцев, но то ли ему успел надоесть чрезмерно распространившийся тогда жанр биографических фильмов (к тому времени он уже поставил «Пирогова» и «Белинского»), то ли действительно крайне не удовлетворила моя наметка будущего сценария, но он камня на камне (кадра на кадре!) от нее не оставил! Я согласился со многими замечаниями, с другими же не был согласен и разразился в ответ довольно пылким письмом, копия которого (как и копии других писем к Козинцеву) у меня сохранилась. Из письма видно, чего именно требовал Григорий Михайлович и что я не мог или не хотел реализовать.

«Дорогой Григорий Михайлович! — писал я 3 января 1952 года.— Вспоминаю нашу беседу с большим интересом, но и не без грустного ощущения, что я почти во всем разочаровал Вас. Спешу все договорить до конца, чтобы у Вас не осталось насчет меня никаких иллюзий.

1. Согласен с Вами, что великие дела Ломоносов должен творить буднично, по-рабочему. (Отсюда и ход и характер изложения в сценарии.) Но все же я убежден, что Чехова из него не сделаешь, да и не стоит делать. Он был человеком не только внутреннего, но и внешне отчетливо выраженного темперамента и пафоса и любил в подходящий момент соответствующим образом высказаться. Было бы ошибкой маскировать его под скромного земского деятеля 1880 года.

2. Согласен, что «ветер эпохи», по Вашему выражению, надо показывать на неожиданных, свежих деталях, на заданных, на взъерошенных этим ветром листьях изнанкой сверху. Но, как уже косноязычно я пытался Вам объяснить, я очень плохо еще овладел атмосферным материалом, очень мало знаю жизнь XVIII века для того, чтобы мог свободно и непринужденно черпать оттуда эти детали.

3. Согласен, что для изображения Ломоносова, его

темы и времени, в сценарии должно быть больше фальстафовского начала. Увы, я не Шекспир, не А. Н. Толстой и не Евг. Федоров, и не только чего-нибудь фальстафовского, но и просто бытовой сочности от меня не ждите. В этом смысле я безнадежен, и вся надежда на Вас.

4. Насчет «ренессанса» в России XVIII века согласен.

5. Но что касается «гофмановского фарфора» в марбургском эпизоде, то тут я далеко не уверен, что его надо разбивать. (Я имею в виду Гофмана-бытовика, а не фантаста.) Вернее так: его надо действительно разбивать, но — показом самих контрастов между Россией, которую все еще бурно и неприлично пучит после петровской закваски, и немецким княжеством, совершенно прилично сидящем на расписанном розочками бюргеровском горшке. Отсюда — Вольф и Ломоносов. Изящная трость для прогулок в нежные утренние часы, располагающие к тихому раздумью, и грубая палка с железным наконечником для скитаний на голодный, урчащий желудок, пешедралом, по рудникам и солеварням. Вежливость и дерзость. Милое вольнодумство, просвещенный деизм — и раздраженное недовольство, готовое к взрыву против всей этой упорядоченности интеллигентного и воспитанного ума.

Другое дело, что для показа всего этого опять же необходимы точно выбранные и свежие детали, а не близко лежащие, штампованные и приблизительные, которыми я пока грешу. Стало быть, надо работать еще не один и не два месяца, чтобы насколько возможно приблизиться к чаемому. Тем более, повторяю, что я никогда не смогу писать размашисто и стихийно, густым живописным маслом.

Если Вас это обескураживает, то скажите об этом мне прямо — я ничуть не обижусь, так как давно и отлично знаю все свои недостатки и недочеты, но знаю также и упорство».

Так или иначе, моего «Михайлу Ломоносова» в 1953—54 годах поставил не Григорий Козинцев, а Александр Иванов (перед тем с успехом поставивший «Звезду» по повести Э. Казакевича), роль Ломоносова сыграл Борис Ливанов. Нельзя сказать, что фильм получился удачным, кто из нас виноват в этом — трудно сказать. Любопытно другое: расхождение во взглядах на стиль картины о Ломоносове ничуть не рассорило нас с Григо-

рием Михайловичем, наоборот, мы стали с ним чаще встречаться. В частности, по просьбе уже тяжело больного Евгения Львовича Шварца я посмотрел материал фильма «Дон Кихот», который снимал Григорий Михайлович по его сценарию, и убедился, что режиссер твердо следует своим принципам — «показать луковую и чесночную, а не легендарную, не романтическую Испанию...».

Как старший друг и советник, Григорий Михайлович был неизменно внимателен и заботлив. Смешно, но приятно вспомнить, как он, сам всегда элегантно одетый, консультировал шитье костюма, в котором мне предстояло поехать с МХАТом в Англию, Францию, Японию с моей «Беспокойной старостью»... Увы, театр поехал без драматурга, взяв с собой лишь спектакль по его пьесе!

Энергично содействовал Григорий Михайлович другой моей поездке — в Египет, для совместной работы с тамошними кинематографистами над фильмом об известном востоковеде академике Крачковском. Созданию фильма помешали несколько охладившиеся отношения с этой страной...

Сближало нас с Григорием Михайловичем и одновременное житье в Комарове — Григорий Михайлович жил на даче, я в Доме творчества писателей. Меня и сейчас грызет совесть, когда я вспоминаю, как в самый разгар весенней распутицы Григорий Михайлович пришел ко мне, а я, надев резиновые сапоги, пошел потом его проводить. Очень неловко я себя чувствовал, увидав, что он в обычных туфлях шагает по снежной жиже, которая ему местами чуть не по щиколотку... Заметил бы раньше, терзался я, ни в коем случае не надевал бы сапог, или лучше предложил бы их ему, но теперь уже поздно! Впрочем, держался он молодцом, да и вообще мы были тогда еще молоды, тому и другому не было шестидесяти.

В 1961 году Г. М. Козинцев настоял, чтобы я стал членом редакционной коллегии 1-го творческого объединения «Ленфильма». Членом художественного совета студии я был уже давно и имел возможность часто слышать там выступления Григория Михайловича; на заседаниях редколлегии он бывал редко, и встречались мы больше опять же в Комарове. Вместе с Валентиной Георгиевной он приходил обычно к Ефиму Семеновичу Добину, писавшему в то время книгу о фильме «Гамлет», они сидели на скамейке в саду и беседовали; затем

наступала моя очередь... Помню, как Григорий Михайлович, всегда сдержанный в оценках, оценил в моих воспоминаниях об Евгении Шварце одну деталь: в Котельнице, куда приезжал ко мне в эвакуационное лето 1942 года Евгений Львович, мы с ним слышали, ночуя на сеновале, как курица пела петухом... «Очевидно, из-за нехватки петухов, то есть мужчин в тылу во время войны», — объяснил Козинцев. Помню, однажды он поделился наблюдением над самим собой: стал писать письма, не извиняясь перед своими корреспондентами за то, что пишет на машинке... Но сделал это только после того, как Илья Григорьевич Эренбург сказал, что его предрассудок унаследован от прошлого века...

В 1966 году началась работа Козинцева над экранизацией «Короля Лира», в которую я вступил как редактор лишь через год, когда уже были написаны первая и вторая серии литературного сценария. Внимательно просмотрел я сейчас свои заметки по первому его варианту и вижу, что ряд замечаний, особенно текстовых, Григорий Михайлович учел при доработке сценария и превращения его в режиссерский. Примеры: «7-я страница, — писал я. — Дочери-девочки. Из семейного альбома! Лучше оставить только девочку-Корделию, скачущую на коне; тем более что дальше она написана у Шекспира слабее сестер». «Стр. 11. Зачем Шут сделан деревенским дурачком? Не лучше ли его оставить умным человеком в должности Шута? Достаточно с нас юродивых в этой вещи». «Стр. 13 (вторая серия). «Так да свершится». Лучше «И пусть свершится!», а то получается «Тогда свершится!» «Стр. 31. Неважная фраза в переводе: «Нет, королева, это бы шло вразрез с расчетами моими». И Козинцев совсем убрал эту фразу.

Но когда я предложил заменить перевод Пастернаком последних слов Лира:

Вы видите? На губы посмотрите!
Вы видите? Взгляните на нее...—

переводом М. Кузмина:

Вы видите? Взгляните, губы, губы...
Взгляните же, взгляните... (умирает),—

Козинцев оставил перевод Пастернака, и правильно сделал. Хотя перевод Кузмина, казалось бы, эмоциональнее и целенаправленнее (недаром же Михоэлс

в свое время заметил: «Лир говорит об у с т а х Корделии, впервые сказавших ему жестокую, но нужную правду»), но у кино больше возможностей, чем у театра, и режиссер нашел пластический и звуковой образ, который срабатывает максимально: в самый момент своей смерти Лир смотрит на летящую на коне девочку-Корделию, и мы слышим высокую, поразительной чистоты ноту — звенящий, ликующий звук...

Картина вышла на экран в 1971 году. Не стану затруднять читателя своими впечатлениями и замечаниями по поводу режиссерских вариантов сценария, а также уже готового, но еще не вполне озвученного фильма, которые я регулярно посылал Григорию Михайловичу. Но одно письмо, от 12 ноября 1969 года, хочется привести, ибо в нем содержится тот мой рискованный «совет», который сыграл особую роль в наших отношениях. Кстати, хотя я просил не отвечать на мое объемистое письмо, зная о занятости Козинцева в это время на съемках, но он все же ответил, и этот ответ я также приведу.

12 ноября 69.

Дорогой Григорий Михайлович! Хочу написать Вам о нескольких своих ощущениях, «отстоявшихся» от просмотренного материала.

1. Все увиденное чрезвычайно нравится, запоминается, не вызывает никаких сомнений. Все? Ну, пожалуй, согласен с Хейфицем: как и ему, Корделия в заключительных эпизодах показалась мне неожиданно матронистой (возможно, из-за светлого, плотного платья). Но, вместе с тем, ведь и не надо было делать ее ангелоподобной и бесплотной. В литературном сценарии, в мысленном представлении Лира, она скачет на коне, диковатая, крепкая, смелая девушка-отрок, — и это правильно. Что касается ее лица, то оно во всех снятых эпизодах, с начала и до конца, очень хорошо и выразительно. (По-прежнему, у меня претензия только к лоснящимся «выростам» на лбу в первом эпизоде, — не сердитесь! По-моему, здесь неудачно освещено ее лицо.) Но вот мертвая — она выглядит слишком спящей, как в сказке о мертвой царевне, а бедро слишком дамистое.

2. Не согласен с Хейфицем относительно «излишней сегодняшности» Реганы — Волчек. И наружность и голос Волчек меня вполне устраивают. Единственно,

к чему мог бы придаться, это к тому, что она скорее деловито, чем обуреваемая страстью, бежит по залам замка (особенно по лестнице; тут, при своей комплекции, она квашневато натряхивается). В этом пробеге к Эдмонту (после смерти мужа) она выглядит больше хозяйкой, домоправительницей, озабоченной каким-то делом, чем чувственной бабой, жаждущей тут же, не медля утолить бешенство своей плоти! Но, может быть, я и не прав, зря придираюсь. Или же вы так и задумали.

3. Теперь о Вашем настойчивом вопросе — нет ли монотонности, безэмоциональности в развитии главной линии действия, во всем, что касается Лира. И вот тут я решил прислушаться к первым своим ощущениям (которым всегда очень верю, хотя и пытаюсь иногда их подавить). В начале письма я подчеркнул слово *у в и д е н н о е*. Почему? Во-первых, потому, что слышно пока далеко не все, особенно в степи, на натуре. Возможно, что когда все будет перезаписано, мое впечатление, о котором напишу дальше, исчезнет, окажется ложным. Но возможно, что и останется, а то и усилится. Попробую объяснить. Как Вы бесконечно лучше меня знаете, наше сегодняшнее восприятие экранной речи требует — в идеале — минимума слов, произносимых героем, в отличие от театра, где можно легко примириться с «фонтаном» слов, тем более гениальных... Прекрасно это зная и тревожась, Вы старались в сценарии добиться этого минимума. И все-таки Лир неизбежно красноречив. И я скажу прямо, не страшась огорчить Вас или расстроить, что местами это может утомлять. Ужасно хочется в какие-то моменты «слышать», как в ответ на очередной громовой удар судьбы (или выпад дочерей) Лир молчит, а не отвечает мгновенной словесной реакцией, то есть очередной же иеремиадой, какой мы ждем и к каким успели уже привыкнуть... Вот почему мне так понравилась, не побоюсь сказать — гениальная по выразительности сцена в ковыле, когда волосы Лира смешиваются с этой травой: это и поэтично, и страшно, это высокочеловечно и потому волнует. Не поискать ли еще две-три таких паузы? (Вырывает и ест коренья он тоже хорошо, но это уже в другом ключе, в физиологическом.) Более того, не замахнуться ли в одном-двух местах на текст, не заменить ли сильную фразу еще более сильным молчанием, притом там, где Лир еще не впал в тихое безумие?

4. И наконец, еще одно дерзкое предложение, но уже

не по тому, что снято, а по тому, что еще станете снимать. Я имею в виду эпизод в сарае. Так как действие в степи заметно разрослось и эпизод в сарае тоже велик, я осмеливаюсь предложить Вам... убрать из него сцену суда! Все остальное в сарае — до и после суда — важно и существенно, особенно мысли вслух о натуральных людях: «Мы все поддельные, а он — настоящий, неприкрашенный человек...» Именно это наблюдение и рассуждение Лира бьет в самую точку, пронзает и его самого и нас, а вот инсценируемый им дальше суд — это эксцентриада. Наверно, она естественна для театра, где почти все представлено и разыграно, а в кино (как и в жизни), честное слово, это искусственно!.. Конечно, это придумал Шекспир, гений, и это делает Лир, а не директор учреждения и даже не современный король, но где-то и у Шекспира и у Лира есть перебор, — я подразумеваю перебор в форме суда как процедуры; внутренний суд над дочерьми оба они уже совершили, и мы об этом знаем без процедуры.

Словом, что, если исключить из сарая весь суд — от 526 до 535 кадра включительно? Можете меня презирать и топтать ногами, но мне эта купюра кажется целесообразной (как целесообразно то, что Вы выгнали Лира сразу в степь, без поездки в карете, взбесившихся от грозы коней и оборванных постромков, хотя это и было эффектно).

Извините за нескладность и помарки. Не переписываю; хочу, чтобы скорей получили. Знаю, что Вы безумно заняты и замотаны, и очень прошу не отвечать на это письмо. Прочтите — и все. Когда увидимся — просто скажете, с чем согласны, с чем нет. А можно и ничего не говорить, если все это бред.

Низко кланяюсь Валентине Георгиевне. Будьте оба здоровы.

Крепко жму Вашу руку.

Дорогой Леонид Николаевич!

Спасибо за письмо. Во многом Ваши ощущения, на мой взгляд, верны. Действительно, у Реганы нет бешенства плоти, нет «наглого мяса» (Сартр). Наши артистки не умеют играть такие сцены.

Что касается обилия текста (особенно монологов Лира) — еще не знаю, бог его ведает, что станет после озвучания.

Думаю, что вообще этот фильм окажется куда сложнее для восприятия, нежели «Гамлет»: нет здесь единства судьбы героя, занимающего — с начала и до конца — первый план и душевные симпатии зрителя. Черт его знает, каким он окажется для людей в зрительном зале? Жалеть его — плохо; чувствовать антипатию — того еще хуже. Видимо, нужно мыслить вместе с ним (что и делает наш брат, гнилой интеллигент) — но разве для этого ходят в кино?

О «суде» обязательно подумаю. Пока мне — крайне трудно, каждый день сложнейшие съемки, а на душе — по многим причинам — совсем худо.

«Унцию уксуса, чтобы отбить в душе этот смрад», как говорит Лир.

Вот почему Ваше письмо было для меня особенно приятно. Вокруг лес, одиночество, черные мысли.

Сердечный привет всем Вашим,

15/XI—69.

Г. Козинцев

Как бы в продолжение своих слов в письме о предстоящей судьбе фильма, Григорий Михайлович при встрече сказал:

— Больше всего я боюсь, что моя картина получится не выстраданной, а вымученной...

Какие неожиданные для его характера слова! — подумал я тогда, но, читая сейчас рабочие тетради, я нашел такое же опасение.

И еще он сказал:

— Когда проснусь ночью — все кажется снятым плохо, игра актеров унылой, не яркой, но подумаю вдруг: хорошо одно — что не взял на роль Лира актера Х! — и сразу полегчает...

В рабочих тетрадях он развил и конкретизировал свое мнение о пробе этого актера: «Пусть он и не подходит к роли, но все же — актер высокой квалификации — играл по-бытовому русского ничтожного старичка» (стр. 186). Кстати, как раз на ближних страницах имеются две покорившие меня записи: «Что касается музыки для этого фильма, к ней подходит одна из ремарок трагедии «Владимир Маяковский»: «Вступают удары тысяч ног в натянутое брюхо площади» (стр. 185). Так 65-летний Козинцев сохранил юношескую любовь к Ма-

яковскому, а Шостакович идеально осуществил его мечту!

На 190-й стр. пронзительно современная мысль: «Ошибка — отнесение «Лиры» к доисторическому времени: представление, будто чем дальше в глубь веков, тем больше зверства творили люди. Разве бомбы в Хиросиму сбросили при Каролингах? Освенцим спланировали и выстроили при готах?»

Вернусь к переписке по поводу сцены суда в шалаше, о которой Григорий Михайлович обещал подумать. Да, он подумал — и оставил ее в неприкосновенном виде, а я на обсуждении готового уже фильма на студийном художественном совете имел неосторожность повторить свое мнение о затянутости и искусственности этой сцены и у Шекспира и у Козинцева... Это мое выступление привело к заметному охлаждению между нами на целых два года. Впрочем, книги свои Григорий Михайлович продолжал мне дарить с самыми дружескими надписями. Да и по правде сказать, я заслуживал гораздо большего наказания за другой проступок. В 1968 году на юбилейном вечере в Доме писателя я совершил невероятно глупую и обидную для самого себя оплошность. Григорий Михайлович был нездоров и прислал с Валентиной Георгиевной свое письменное выступление, которое я впопыхах не прочел, положил в карман и забыл передать для оглашения председателствующему... Вот уж тут Григорий Михайлович законно рассердился! Я недавно нашел это письмо, и хотя это, наверно, нескромно, мне хочется сейчас его обнародовать!

«Дорогой Леонид Николаевич! От всего сердца поздравляю Вас с славным юбилеем. Нас много, Ваших друзей, на Ленфильме. Вы для всех нас родной человек, вовсе не «лицо, именуемое автор», а один из людей, строивших нашу кинематографию.

Вы пришли к нам, засучили рукава и взялись за работу. Разве «Депутат Балтики» был просто удачным фильмом? Вспомним только, что началось с Вашего сценария? Началась жизнь Черкасова в искусстве; Зархи и Хейфиц стали настоящими режиссерами; впервые на экране появился образ интеллигента в революции.

А Ваш труд продолжался. Неторопливо и спокойно Вы разбирали фильмы на художественных советах, помогали молодым авторам, сами писали, и опять брались за чужие рукописи. А потом Ваш труд входил

в общее усилие. И даже когда в титрах не стояла Ваша фамилия, без Вас многие из этих работ не стали бы удачей.

Вы не один, не сами пришли в кино. С Вами пришла литература, культура. Вот почему так важен был для нас всех Ваш труд.

Спасибо Вам за все: книги, сценарии, пьесы, воспоминания, спокойную доброжелательность, высокую честность художника.

Всего Вам, дорогой друг, самого доброго!

12 марта 1968 г.

Ваш Г. Козинцев».

Разумеется, я не склонен преувеличивать значение юбилейных речей и приветствий, и по этому поводу можно вспомнить запись самого Козинцева в «Рабочих тетрадях» (стр. 34 — 35) о своем шестидесятилетии:

«...на телевидении устроили мой вечер. Услышав начало передачи, я удивился: хотя речь идет обо мне, то же самое я уже слышал — и не раз — о многих других режиссерах... Все как один передавали опыт, правдиво показывали, верно отражали, смело искали, но в то же время продолжали традиции, создали картины, любимые народом, вошли в «золотой фонд»... Да и не только о режиссерах слышал я не только подобные, но именно эти самые, стертые, уже ничего не значащие слова.

И все же слова Григория Михайловича, обращенные ко мне, звучат для меня совсем не так: слишком хорошо я знаю его требовательный характер и прямой характер наших отношений. Вот почему навсегда я запомнил, как в конце января 1973 года Григорий Михайлович позвонил мне и рассказал о своей «Гоголиаде» — сценарии о Гоголе, обещал познакомить с тем, что успел уже написать (50 стр.). Беседа наша длилась чуть не час. На следующий день я отправил ему большое письмо как бы в продолжение беседы и в связи со статьями о Гоголе, упомянутыми Козинцевым накануне. Вот это письмо:

20/I — 73.

Дорогой Григорий Михайлович, Вы раздражили мое любопытство (если можно так назвать это чувство), и я сразу же после нашего разговора перечитал «Пушкин и Гоголь» и прочитал впервые «Как произошел тип Акакия Акакиевича». Сначала я понял, почему когда-то меня оттолкнула первая статья В. В. Розанова и почему

я не стал читать вторую. Как ни странно, меня оттолкнула терминология: «мертвая ткань», «восковой язык», «восковые фигурки» (к тому же «крошечные восковые фигурки»). Для меня, бесконечно любящего Гоголя, показались эти слова оскорбительными, и я не стал читать вторую статью — об Ак. Ак. Сейчас я прочитал обе, и с удовольствием. Особенно вторую. Анализ рассказа — гениален, но главное откровение — это объяснение лиризма Гоголя как великой жалости к человеку, т а к изображенному: «...скорбь художника о законе своего творчества, плач его над изумительной картиной, которую он не умеет нарисовать и н а ч е...» Конечно, замечателен пример с молодым человеком, потрясенным словами Акакия Акакиевича: «Оставьте меня! Зачем вы меня обижаете?» А подтекст этих слов: «Я брат твой». И как этот молодой человек закрывался рукой от бесчеловечья и грубости, так и Гоголь закрывался своим лиризмом от пошлости и жестокости мира.

Все это действительно мудро и сильно, и переворачивает в сознании многое, хотя и высказывается порой с присущей Розанову парадоксальностью. Не могу согласиться с ним в первой статье только с одним: что уже сразу после смерти Пушкина Гоголь знал, что он погасит Пушкина в сознании людей и тосковал и скорбел по этому поводу. М о л о д о й гений — непременно эгоистичен, он не может печалиться по поводу того, что он будет сильнее только что умершего гения, хотя бы тот и был его старшим братом. Уходящий из жизни Гоголь м о г это сознавать и чувствовать, потому и «погасил» свой гений, по выражению Розанова (еще в первой статье).

Но в любом случае (согласия с одним, несогласия с другим) обе статьи доставили мне сейчас огромное удовольствие, и я хочу Вам сказать спасибо. Кстати, знаете ли Вы весьма любопытные слова Бердяева о Розанове? На всякий случай привожу их здесь:

«В. В. Розанов один из самых необыкновенных, самых оригинальных людей, каких мне приходилось встречать в жизни. Это настоящий уникум. В нем были типические русские черты и вместе с тем он был ни на кого не похож. Мне всегда казалось, что он зародился в воображении Достоевского и что в нем было что-то похожее на Федора Павловича Карамазова, ставшего писателем. Во внешности, удивительной

внешности, он походил на хитрого рыжего костромского мужичка. Говорил пришептывая и приплевывая. Самые поразительные мысли он иногда сообщал вам на ухо, пришептывая... Литературный дар его был изумителен, самый большой дар в русской прозе. Это была настоящая магия слова. Мысли его очень теряли, когда вы их излагали своими словами.

И дальше: «Он говорил, что восковую свечечку предпочитает Богу: свечечка конкретно - чувственна».

(Теперь понимаете, Григорий Михайлович, почему я «протил» сейчас Розанову выражения «восковые фигурки», «восковая картина»? Я понял, что для Розанова слово и понятие «воск» не только не однозначно, но вообще особенное, раз он сравнивает его с богом!)

У Бердяева, кроме того, есть статья о Розанове, которая называется «О вечно бабьем в русской душе».

Я вчера Вам сказал, что Розанова у меня много. Да, 13 книг, в том числе и «Уединенное» и «Опавшие листья» (оба тома). Если Вас что-нибудь из них заинтересует — пожалуйста, они к Вашим услугам.

Ну, что-то я расписался. Извините и за неряшливость «слога» и за помарки!

Низко кланяюсь Валентине Георгиевне.

...А через сто дней — три с половиной месяца — я писал — уже не Григорию Михайловичу, а о нем.

«Нас постигла большая беда, огромная, ничем и никем не восполнимая потеря. Н а с — потому, что мы — это не только друзья и товарищи Григория Михайловича по работе, не только его многочисленные ученики (а мы все его ученики, независимо от возраста), не только студия «Ленфильм», которой Григорий Михайлович отдал всю свою жизнь: это — советское и мировое кино и это миллионы и миллионы людей, бесчисленных кинозрителей. Утрата неизмеримо велика, размеры ее даже трудно пока полностью осознать.

Мы знали: Григорий Михайлович настолько богато одаренная натура, что если бы он не стал режиссером, он стал бы, возможно, художником, стал бы писателем, стал бы ученым. Собственно, он и есть писатель. Книги о Шекспире, книга «Глубокий экран», книга «Простран-

ство трагедии», опубликованная в журнале,— выхода ее отдельным изданием Григорий Михайлович не дождался,— это одновременно и практика, и теория, и мемуары,— и это настоящая художественная литература, образная и эмоциональная.

Но должна быть еще одна, а может быть, и не одна книга, и ленфильмовцы обязаны об этом позаботиться. Нет, я имею в виду не воспоминания,— воспоминания, несомненно, появятся, но для них, наверно, нужна какая-то дистанция времени. Я сейчас о другом. Члены художественного совета, участники наших собраний и совещаний, хорошо помнят, какое неотразимое впечатление производили на нас устные выступления, речи Григория Михайловича. Они всегда были шире, глубже обсуждаемого предмета, чаще всего нового фильма, ученической или даже зрелой работы.

Дело даже не столько в опыте, энциклопедических знаниях, эрудиции, безукоризненном, я бы сказал — идеальном вкусе Григория Михайловича. Нас поражало сочетание вдохновенной импровизации с исчерпывающим, всесторонним анализом. Как щедро, с какой силой убежденности делился Григорий Михайлович своими мыслями, тревогами, размышлениями о будущем авторов этих работ, вообще киноискусства! Большая часть из сказанного Григорием Михайловичем сохранила и сохранит и дальше свое значение. Существуют стенограммы за многие годы, надо перечитать их, составить и издать сборник. Это же тоже наше богатство. Мы не имеем права оставить его пылиться в архивах. Пусть с нами, со всеми нами, заговорит еще и еще раз живой Григорий Михайлович. Он так нам нужен ж и в о й!»

Вот о необходимости издать такой сборник я сразу и написал в Ленинградский обком партии. Не знаю, будет ли издан он и когда, но пока я счастлив уже тем, что опубликованы его рабочие тетради, пусть даже не полностью. И пусть мои очень краткие и не очень-то содержательные воспоминания о Григории Михайловиче послужат хотя бы запоздалым откликом на его талантливую, очень своеобразную книгу «Время и совесть», вышедшую три года назад.

15 сентября 1984

ДУША ГОРОДА

Недавно я раскрыл одну старую книгу, которую не читал лет двадцать, если не больше. Раскрыл — и зачитался. В ней предпринята интересная попытка: проследить по литературным памятникам XVIII, XIX и XX веков отношение русского общества к Петербургу. Отношение это, как известно, отнюдь не было неизменно одинаковым...

Впрочем, изменялся и Петербург. В 1919 году, когда написана эта книга, город выглядел так: «...Трава покрыла... площади и улицы. Воздух стал удивительно чист и прозрачен. Петербург словно омылся... Воздвигается только одно новое строение. Гранитный материал для него взят из разрушенной ограды Зимнего дворца... Из пыли Марсова поля медленно вырастает памятник жертвам революции. Суждено ли ему стать пьедесталом новой жизни, или же он останется могильной плитой над прахом Петербурга?»

Жизнь скоро ответила на этот вопрос, заданный автором в конце книги. Н. П. Анциферов мог бы дополнить свой труд новыми примерами, наблюдениями и мыслями — уже о судьбе Ленинграда. Но «*Душа Петербурга*» была издана в 1922 году и с тех пор не переиздавалась.

Итак, в чем же заключались и как происходили эти изменения?

После прославления Северной Пальмиры Ломоносовым и Державиным, после гениального «*Медного всадника*», где созданный Пушкиным образ Петербурга вырос в целый мир, который живет и в прошлом и в будущем («*Красуйся, град Петров, и стой Неколебимо, как Россия!*»), — вскоре после этих вдохновенных величаний отношение к Петербургу резко изменилось.

Примерно с сороковых годов прошлого столетия лучшие русские писатели стали либо равнодушны к своей столице, предпочитали как бы не замечать ее, либо изображали скучным, холодным, казарменным городом,

который нельзя любить, не стоит гордиться и восхищаться им, который можно только ненавидеть и тяготиться его каменным пленом.

Что произошло? Откуда такая разительная перемена?

Н. П. Анциферов, очевидно, был прав, объясняя ее особенностями наступившей эпохи. Действительно, в глазах передовых людей Петербург отныне должен олицетворять деспота, попирающего вольность. Прямые линии улиц, проспектов, набережных перестают привлекать своей простотой и строгостью, как они привлекали Пушкина и его современников. Теперь эти строгие линии выражают собой мертвящий дух николаевского режима.

Уже у Гоголя, с такой живописной силой описавшего Невский проспект, заметно двойственное отношение к Петербургу. Содержание образа города в петербургских повестях Гоголя — преимущественно быт или фантазмагория, пошлое или страшное начало. Тема, выдвинутая Пушкиным, — тема жертвы огромного города, безучастного к маленьким радостям и страданиям своих обитателей, — была пересмотрена Гоголем, и осужденным оказался город. Мечты и привязанности писателя не здесь, — «Русь-тройка» уносила их далеко от столицы.

Печален, тосклив Петербург у Тургенева в «Призраках»:

«Эти пустые, широкие, серые улицы; эти серо-беловатые, желто-серые, серо-лиловые, оштукатуренные и облупленные дома, с их впалыми окнами... эти окаменелые дворники в тулупах у ворот, эти скорченные мертвенным сном извозчики на продавленных дрожках, — да, это она, наша Северная Пальмира. Все видно кругом; все ясно, до жуткости четко и ясно, и все печально спит...»

Как чужда эта картина пушкинскому Петербургу, полному здоровья и силы, свежести, бодрости, несмотря на разыгравшуюся в нем драму и борьбу со стихией.

В стихотворении Полонского, которое он назвал «Миазм», умирает ребенок — сын богатой и знатной хозяйки дома на Мойке. Женщина видит вылезшего на свет божий «косматого мужичонку», который ей объясняет: «ведь твое жилище на моих костях». Это он строил город и умер. Это его тяжкий вздох задушил ребенка.

Григорович сравнивал судьбу Петербурга с аристо-

кратическими похоронами. Город гибнет не в битве с разъяренной водой, а медленно, торжественно замерзает, как знатный мертвец в могиле. «Зимние петербургские сумерки превратятся в глухую ночь... останется он один далеко ото всех, среди ночной тьмы и снежной пустыни с гуляющей вокруг метелью».

Бесконечно шире и многообразнее был изображен Петербург Некрасовым. Но и он запечатлел город с самой мрачной стороны: нужда, грязь, болезни, смерть, похороны. Только здесь уже не наивная символика, — здесь безжалостно реалистическое срывание маски с нарядного аристократа, каким недавно еще был (или старался казаться) Санкт-Петербург. Некрасов сознательно, даже подчеркнуто противопоставил свой Петербург пушкинскому:

Душный, стройный, угрюмый, гнилой,
Некрасив в эту пору наш город большой,
Как изношенный фат без румян.

С ироничной усмешкой было написано Гончаровым прощание с Петербургом молодого Адуева в «Обыкновенной истории»:

«Прощай, говорил он, покачивая головой и хватаясь за свои жиденькие волосы: прощай, город поддельных волос, вставных зубов, ваточных подражаний природе, круглых шляп, город учливой спеси, искусственных чувств, безжизненной суматохи! Прощай, великолепная гробница глубоких, сильных, нежных и теплых движений души!..»

Совсем вскользь, мимолетно, но, быть может, не менее обобщающе обрисован Чеховым петербуржец в «Рассказе лишнего человека»:

«Наружность у Орлова была петербургская: узкие плечи, длинная талия, впалые виски, глаза неопределенного цвета и скудная, тускло окрашенная растительность на голове, бороде и усах. Лицо у него было холодное, потертое, неприятное».

Наконец, вспомним, каким характерным петербургским сановником выглядит у Льва Толстого Каренин...

Наиболее сложные отношения с Петербургом у Достоевского. Для него это также «самый угрюмый город» на свете. Но Достоевский находил особую красоту именно в скорбном облике города:

«Как-то невольно напоминает она мне (речь идет

по петербургской природе.— Л. Р.) ту девушку, чахлую и хворую, на которую вы смотрите иногда с сожалением, иногда с какой-то сострадательной любовью...»

Достоевский искал и находил в Петербурге, как и вообще всюду, прежде всего сумрачные, ночные, потаенные стороны и с великим мастерством их описывал.

И в XX веке писатели и поэты, особенно символисты и декаденты, продолжали клеймить и проклинать Петербург.

Нет, ты утонешь в тине черной,
Проклятый город, божий враг.
И червь болотный, червь упорный
Изъест твой каменный костяк!

Так, с истеричной ненавистью выкликала гибель «граду Антихриста» З. Гиппиус.

Несколько по-иному, в духе прежних мотивов неприязни к самодержавному Санкт-Петербургу, писал Ин. Анненский:

Только камни нам дал Чародей,
Да Неву буро-желтого цвета,
Да пустыни немых площадей,
Где казнили людей до рассвета.

Он искренне считал Петербург искусственным, сочиненным городом:

Сочинил ли нас царский указ,
Потопить ли нас шведы забыли?
Вместо сказки в прошедшем у нас
Только камни да страшные были.

Как видим, этот исторический, поэтический и «культурный» нигилизм по отношению к Петербургу, упорная неприязнь к нему, проявленная почти всей русской литературой после Пушкина, продолжалась более полувека.

Но вот что нужно отметить: с самого начала этой борьбы выступил сильным и страстным защитником Петербурга — Белинский.

Дело вовсе не в том, что Белинский, как якобы безоговорочный западник, считал Петербург лишь окном в Европу, залогом объединения с Западом. Для нас в занятой Белинским позиции неизмеримо важнее другое. Это д р у г о е следует хорошо понять и запомнить, поэтому я щедро процитирую Белинского.

«Многие не шутя уверяют,— писал Белинский в статье «Петербург и Москва»,— что это город без исторической святыни, без преданий, без связи с родной страной,— город, построенный на сваях и на расчете».

Да, в Петербурге нет памятников прошлого. Зато у него есть будущее. «Он сам... великий исторический памятник».

Белинский был согласен и с тем, что Петербург построен на расчете. Но он замечает: «Расчет есть одна из сторон сознания...» «Мудрые века говорят, что железный гвоздь, сделанный грубой рукой деревенского кузнеца, выше всякого цветка, с такой красотой рожденного природой, выше его в том отношении, что он — произведение сознательного духа, а цветок есть произведение непосредственной силы».

Так оправдывал Белинский «расчет», то есть торжество сознания, торжество человеческой мысли, деятельную, активную красоту умного человеческого труда.

«Город, построенный на сваях»... И этот упрек звучит для Белинского похвалой: «Казалось, судьба хотела, чтобы... русский человек кровавым потом и отчаянной борьбой выработал свое будущее, ибо прочны только тяжким трудом одержанные победы...»

Мы особенно ясно понимаем это теперь, когда история дала нам такое обилие жизненных впечатлений. За что можно и должно было любить Петербург прежде? За то же, что и сейчас: за его красоту, сотворенную самоотверженным и вдохновенным трудом гениальных зодчих и сотен тысяч искусных «рабочих» людей. Это же они, а не царь, не сановники создали все наши прекрасные улицы и здания. И не стоит отождествлять эту бессмертную красоту с царской и чиновничьей властью. Белинский словно бы знал, провидел, что этот великолепный город будет принадлежать народу, а всякая прочая власть исчезнет, сметенная революцией.

И то сказать: поводов для любви к Ленинграду у нас прибавилось. Ленинград мы любим за то, что в нем совершилась первая в мире и в истории человечества пролетарская революция. Любим Ленинград за все, что он сделал во все эти годы, и за то, что он вынес. 900 дней блокады! Что по сравнению с этой бедой все сочиненные, предрекаемые пророками и поэтами беды? А вот выжил, выстоял Ленинград, не замерз, не сгорел и не провалился. Но победил и стал крепче прежнего.

Ибо такие небывалые испытания закаляют не только

душу человека, но и душу города. А душа города — и есть люди. Люди, которые населяют город, строят его, украшают, всегда о нем думают и заботятся, обороняют в тяжелую годину и радуются его праздникам.

Помню, как в самые трудные дни ленинградской блокады, в январе 1942 года, в зале Академической капеллы у Певческого моста (одно из красивейших мест Ленинграда — за Дворцовой площадью, наискосок от Зимнего дворца) состоялось «Литературно-художественное утро». Так, немного по-старомодному, был назван в афишах (сколько трудов стоило их набрать, отпечатать!) чуть ли не единственный в ту зиму публичный концерт, в котором приняли участие артисты, музыканты, писатели. На улице было морозно и солнечно, в зале тоже было морозно, но красный бархат кресел и драпировок, казалось, отчасти смягчал этот холод. И слушатели и участники концерта были одеты в шубы, в шинели, в ватники, — они берегли каждую каплю тепла, — и мне невольно припомнилось, как много лет назад Маяковский на этой самой эстраде, когда ему стало жарко, непринужденно снял пиджак и повесил его на спинку стула...

Сейчас к краю эстрады медленно подошел старый седой человек в длинной тяжелой шубе и тихо заговорил. Это был профессор Л. А. Ильин, главный архитектор города. Мы напряженно вслушивались в его речь. И вдруг произошло чудо: голос его окреп, худое лицо осветилось такой неожиданной в этот момент счастливой улыбкой. Он сказал, что, идя сюда, он не старался на этот раз сокращать путь; на его взгляд, это даже очень удачно, что по причине нездоровья приходилось идти не спеша: дело в том, что сегодня он испытал особенно волнующее чувство радости и гордости — под этим январским солнцем Ленинград был непередаваемо, необыкновенно прекрасен.

Профессор Ильин продолжал говорить, называя известные каждому ленинградцу улицы, здания, знаменитые на весь мир архитектурные памятники, которые, начиная с осени, с 8 сентября (первый массированный воздушный налет), деловито старались разрушить, стереть, уничтожить осаждавшие город фашисты. Он не сказал словно бы ничего особенного, — обо всем этом мы и сами не раз писали в газетах: что враг не пройдет, что наш город бессмертен. Но, слушая его, смотря на этого старого больного человека, пришедшего сюда пешком

через весь город, трудно было удержаться от слез, и, как ни странно, слез не боли, не жалости, а восхищения: было видно, что у этого человека по е т д у ш а, очарованная только что пережитой, как бы заново увиденной, заново оцененной красотой родного города. Думалось: уж если люди в этих страшных условиях военной блокады, голода, холода могут так сильно чувствовать красоту Ленинграда, значит, действительно этот город и живущие в нем бессмертны...

Не скрою, мелькнула и тревожная, колючая мысль: а те, кому придется здесь жить после войны, исправлять ее последствия, отстраивать то, что за эту зиму будет разрушено (ведь тогда не думалось, что блокада продлится почти три года), — скажем, подросшая молодежь, фронтовики, вернувшиеся с войны, люди, прибывшие из других мест страны, иначе говоря, новые л е н и н г р а д ц ы, — будут ли они т а к любить этот город?

Это сомнение почти бесследно рассеялось в 1944 — 1945 годах, когда старые и новые ленинградцы с таким подъемом взялись за восстановление города. Об этом времени много написано, многие это хорошо помнят, остались кинодокументы, зарисовки художников, и я хочу сказать о другом.

К концу войны и в первое лето после нее Ленинград был необычайно красив — с разросшейся зеленью, с чистым прозрачным небом над улицами и домами, — но пока еще заметно пустынен и малолюден. Повторяю, его энергично восстанавливали и украшали, но иногда хотелось спросить себя: не отстраиваем ли мы музей? Не музейный ли это город, наподобие своеобразного архитектурного заповедника? Не принадлежит ли эта красота скорее прошлому, чем настоящему и будущему?

Но постепенно, чем дальше, тем крепче, мы убеждались, что жизнь не только не отлила от этих прекрасных проспектов и набережных, от этих мощных заводов и умных лабораторий, но еще никогда до войны Ленинград не был столь многолюден, столь полнокровен, исполнен такой активной, напористой жизни. И, как это часто бывает, большие значительные явления жизни сопровождались малыми, может быть даже совсем пустячными, но тем не менее характерными и выразительными.

В городе теперь действительно много новых жителей, рабочей и учащейся молодежи, а так как все нынче

увлекаются фотографией, то на улицах буквально на каждом шагу видишь, как люди жадно, — я бы сказал — упоенно, — фотографируют. Пусть это порой наивно, пусть не всегда и не все умеют выбрать, найти самое лучшее, художественное, красивое (с точки зрения высшего вкуса), но в этом желании людей запечатлеть для себя как можно больше из окружающего их ленинградского пейзажа, ближе сродниться с замечательной архитектурой, впустить, вобрать ее в свой домашний эстетический обиход, — право, есть в этом что-то трогательное и закономерное.

Если ленинградцы являют собой живую душу города, то и Ленинград прочно занял часть их души, и наверняка — немалую. И это место в их сердце он сохранит навсегда, куда бы судьба ни закинула их жить и работать. Как Ленинград — вечный город, так они — вечные ленинградцы.

1957



ГРОЗНОЕ ОРУЖИЕ

Удивительно забывчивы наши театры, наши театральные режиссеры и театральные критики. Сколько прочно забытых пьес могли бы украсить сегодняшние подмостки и прозвучать современно и остро! — так невольно подумалось, когда я на днях перечитал одну старую советскую пьесу. Бывает, читаешь иную пьесу о наших днях, только вчера законченную, только сегодня отточенную, с легко узнаваемыми бытовыми подробностями, с наиновейшими, животрепещущими проблемами, с самыми правильными словами, вложенными в уста ее персонажей, читаешь или смотришь ее в театре, и ни единой мысли о современности не пробуждает эта драматургическая новинка. После нее не раздумаешься ни о судьбах мира, ни о своей судьбе, вообще ни о чем не раздумаешься, кроме разве того, зачем рождена на свет эта бескрылая вещь, осужденная ползать по нашим сценам.

И вот пьеса, написанная сорок пять лет назад. Автор не успел ее опубликовать, вероятно считая несовершенным черновиком, может быть даже первым наброском, первым выражением своих мыслей о темных днях после Мюнхена, предшествовавших второй мировой войне, свидетелем и участником которой он потом был. Действительно, многое в этой пьесе эскизно, особенно ее последний акт; больше того, по всем признакам жанра это памфлет, а ничто не стареет так быстро, как произведения такого рода. Почему же вдруг ожила для меня эта пьеса? Почему я ее с увлечением прочитал и с нетерпением стану ждать ее постановки на сцене (если какой-нибудь театр прислушается к моему зову!)? В чем секрет ее жизненности?

Думается, главный секрет в том, что пьесой этой с нами талантливо говорит наш подлинный *современник*. Живя своим настоящим, великолепно его наблюдая и изображая, он глядел в будущий день, видел наше завтра и завтра Запада. Он не был фантастом — он был

реалистом, он не был пророком — он был страстно думающим писателем. В 1942 году он погиб, возвращаясь на самолете из осажденного Севастополя. Да, пора пояснить: я говорю об Евгении Петрове и его пьесе «Остров мира». В 1948 году спектакль «Остров мира» был поставлен Николаем Павловичем Акимовым в Ленинградском Театре комедии. В ролях были заняты превосходные актеры — Ирина Зарубина, Елена Юнгер и Лев Кровицкий. Вслед за автором театру удалось органически спаять откровенную публицистику с неким как бы условным и лаконичным психологизмом. Зритель с живым интересом следил за событиями и судьбами персонажей, хотя перед ним был типичный гротеск.

Любопытно бы нынче понять, проверить — устарело ли сколько-нибудь его содержание. Попробую немного подробнее поделиться впечатлениями об этой давней, но свежепрочтенной мною пьесе. О чем она?

Есть сюжеты-открытия, их можно рассказать в двух словах, записать на клочке бумаги, потерять запись и все-таки навсегда запомнить. В них нет хитросплетения событий, искусственной сложной интриги. Они сами — события, и лаконизм их особый, он рожден глубиной и точностью знания темы, которую они выражают. Такой сюжет (пусть он будет гротескным) легко вызывает массу ассоциаций из окружающего. Автор дает нам в руки путеводную нить, и мы идем с ней по лабиринту мира. Такая нить, такой сюжет — разгадка ко многим явлениям, даже не упомянутым в пьесе.

Итак — о чем «Остров мира»? Очень широко говоря — о капитализме, империализме, пацифизме и изоляционизме... Но все предстало не в глобальных масштабах, а в частной жизни обыкновенного английского джентльмена, испугавшегося новой войны, бежавшего от нее со своей семьей на отдаленный идиллический остров и унесшего войну вместе с собой в своем сознании. В конце пьесы мистер Джекобс стреляет из тех самых ружей, от которых он так шарахался в первом акте. И это не иносказательно, он припрятал их на дне своих сундуков, когда бежал из предгрозовой Европы на свой «мирный» остров.

Мистер Джекобс олицетворяет собой средний капиталистический ряд, который еще не дорос до понимания того, что он империалистичен по своей природе или

ханжески утаивает это от самого себя. Мистер Джекобс — пацифист, он утверждает, что его страна стала сильной и возвысилась благодаря мирной торговле, а не завоеваниям. Мистер Джекобс на каждом шагу произносит вдохновенные речи, где заклинает обезумевшее человечество вернуться на праведный путь мирного существования. Зачем эти братоубийственные раздоры? Зачем эти возмутительные сообщения по радио: «...швейцарский священник изобрел авиабомбу, которая взрывается со страшной силой, подвергая разрушению все живое в радиусе свыше двухсот метров»? Мистер Джекобс не может от негодования усидеть на месте, когда радио возвещает о «п о л е з н о й бомбовой нагрузке в восемь тонн» и «у б о й н о с т и артиллерии, повышенной на двести процентов». Бежать, бежать из этого ада!

И он бежит. Он устраивается со всеми удобствами на далеком райском острове, который заранее выбрал, предусмотрев все случайности мировых катаклизмов. Чудный климат, кроткое население, не знающее, что такое драка или кража, а главное — далеко от всяких коммуникаций, от интересов стран, грызущихся между собой. Идеальная жизнь! В сорокаградусную жару привычно трещит камин в уютном доме, охлаждаемом искусными приспособлениями. Привычный портвейн, преданная, нерассуждающая прислуга, тесный семейный круг, домашний доктор, домашний священник, даже жених привезен для дочери — удобный глупый красавец, готовый мчаться на край света за оставленным зонтиком. И пусть гремят в эфире новые, еще более грозные сообщения. Пусть португальский монах изобретает новую, еще более убойную бомбу. Пусть какой-то Данциг представляет собой бочку с порохом, а к ней тянутся с зажженным фитилем чьи-то руки. Все это далеко. На острове мир и благоволение.

Дальше события могли бы пойти, скажем, так: пламя общей войны достигло бы острова, рай невольно бы оказался одним из филиалов ада. Что ж, и так бывает, примером тому Гавайские острова.

Но Евгений Петров поставил себе другую задачу, для него этот маленький остров — капиталистический мир в миниатюре. Капитализм сам рождает чудовище войны. На острове обнаружены богатейшие месторождения нефти. Быстро образуются нефтяные компании. Вся семья втянута в лихорадочную деятельность.

Мистер Джекобс возглавляет «Английскую нефть». Миссис Джекобс, американка по происхождению, основывает конкурирующее общество «Американская нефть». Спасшийся от кораблекрушения японец открывает банкирский дом «Баба́ и сыновья», тоже протягивающий свои щупальца к нефти. Даже доктор и священник пустились в коммерческую аферу — их общество называется «Христианская нефть». У туземцев по дешевке скупаются земельные участки. Местный царек, которого Джекобсы спаивали раньше ради развлечения, оказывается в центре событий. Японцы образуют на острове марионеточное правительство, и мистер Джекобс, в виде откупа, передает бывшего царька на пытки японцам, восклицая при этом, как истый мюнхенец: «Вот и достигнут мир, тихо, спокойно, без кровопролития, благодаря одной лишь дипломатии».

Но мир не достигнут. Наоборот. Уже не о Данциге, а об «Острове мира» газеты и радио сообщают, как о «бочке с порохом», к которой достаточно поднести фитиль — и мир на Тихом океане взлетит на воздух... Начинаются военные действия. И мистер Джекобс, пустивший в ход припрятанное оружие, при виде английского военного корабля, спешащего ему на помощь, становится в позу, которую принимал в первом действии, когда проклинал войну, поднимает кверху руки и обращает глаза к небу: «Благодарю тебя, господи, за то, что не забываешь малых сих и помогаешь им в беде!»

И последние слова на Острове мира — это команда: «Выйти в море! Открыть огонь!»

Так закончилась пацифистская и изоляционистская затея мистера Джекобса, который, впрочем, до конца убежден, что он верен своим христианским высоким принципам. С железной логикой Евгений Петров показал ее неминуемый исход. Он нашел ту меру реального и карикатурного, которая создает полную иллюзию того, что мы были свидетелями такой фантастической и такой правдоподобной эпопеи мистера Джекобса. Пародийная картина жизни маленького мирка так близка к подлинному изображению подлинных событий в большом мире, что временами читателю и зрителю может казаться, что он присутствует при ходе истории, только в убыстренных, кинематографических темпах.

Пьеса Евгения Петрова интересна не только своим

содержанием, она интересна и теми приемами, какие применил автор, добиваясь наибольшей выразительности и доходчивости. Действие ее необычайно динамично. Каждое явление, каждая сцена решительно двигают его вперед. Вот миссис Джекобс отказывается ехать на Остров мира: у нее есть свои средства, вложенные в американское предприятие. В это время ей подают телеграмму:

«В Филадельфии взрывом совершенно уничтожен пороховой завод «Бэри энд компани лимитед». Акции падают с катастрофической быстротой».

М - с Джекобс. Мое состояние погибло.

М - р Джекобс. Ты едешь с нами, Мери?

М - с Джекобс. Да. *(Плачет.)*

Та же миссис Джекобс в конце пьесы отказывается объединиться в единое акционерное общество «Тихоокеанская нефть».

М - р Джекобс. Я здесь хозяин. И я требую подчинения. Тот, кто хочет вступить под мою защиту, выполнит все мои предписания.

М - с Джекобс *(иронически)*. Под твою защиту? Чем же ты собираешься защитить нас? Своими речами? Ведь ты же отказался взять с собой оружие, когда мы выезжали из Англии!

М - р Джекобс. Леди и джентльмены, я взял оружие. *(Сенсация.)* Ты вступаешь в мое общество, Мери?

М - с Джекобс. Да. *(Плачет.)*

Острые повороты действия эффектны сами по себе, но они не самоцель в этой пьесе, они безотказно работают на главную тему. Точно так же монологи мистера Джекобса характеризуют не только его как личность, они являются злыми пародиями на речи хорошо знакомых нам политических деятелей Запада. Удивительно, как злободневно звучат слова мистера Джекобса о колониальной политике. Они точный отзвук на всю практику империалистических стран во всех теплых местах и местечках земного шара. Сила предвидения и обобщения в пьесе Евгения Петрова сказывается буквально в каждой ее политической и «частной» сцене. Это доказывает, насколько точно и виртуозно автор воплотил в драматургическое действие основной замысел. Легкость, гротескность отдельных приемов и сценок сливаются с разбросанными там и тут реалистическими и психологическими штрихами в одну умную, злую

и увлекательную сатиру на современных мистеров Джекобсов, как бы они себя ни называли — англичанами, американцами или японцами.

Пьеса начинается в тонах привычной буржуазной семейной пьесы. Поучительно и забавно видеть, как известный английский «частный» принцип — «мой дом — моя крепость» — претерпевает неожиданные и многообразные трансформации, как семья превращается сначала в промышленное предприятие, потом в военный лагерь и в настоящую крепость, как комфортабельная робинзонада оказывается на поверку империалистическим рейдом для закабаления новой колонии. Причем всё это происходит без малейшего авторского нажима, как бы по естественным законам, и лишь в ремарках да в тончайшей пародийности диалогов мы видим знакомую, такую любимую всеми нами, спокойную, умную улыбку Евгения Петрова.

Повторяю: большою радостью для меня было прочитать эту превосходную современную пьесу, не меньшей радостью будет увидеть ее вновь на сцене. Такое разящее оружие, как памфлет, не так уж часто вынимается из писательских ножен. И принято думать, что оно действует только раз и, нанеся удар, отбрасывается за ненужностью. Памфлет Евгения Петрова убеждает в ином.

Разумеется, читатель и зритель поначалу могут задать вопрос: через сорок лет после Хиросимы и Нагасаки, уже в наши дни, когда изобретены действительно сверхъестественной силы ядерные ракеты и бомбы, не наивно ли прозвучат патетические монологи мистера Джекобса, пугающего нас бомбами, уничтожающими все вокруг в радиусе... 200 (!) метров? Да, наивно. Значит, тем более страшно, тем больше похоже на сегодняшний день, если читатель и зритель прикинут и мысленно увеличат «убойную» силу ужасавшей когда-то мистера Джекобса бомбы, скажем, в несколько тысяч раз, что вполне будет соответствовать действительности...

Кстати, немало подстрекнуло меня написать этот словно бы запоздалый отклик еще одно обстоятельство. Случилось так, что утром я читал пьесу Евгения Петрова, а вечером в тот же день смотрел и слушал по телевидению выступление знаменитого кинорежиссера Стенли Крамера, приехавшего в 1983 году в Москву. Он говорил о том, что маленькая наша планета Земля —

возможно, единственное во всей Вселенной обитаемое местечко, и вот оно-то и исчезнет, уничтожится напрочь в результате термоядерной бойни... Видно было, что Стенли Крамер, поставивший в 1959 году фильм «На последнем берегу» именно о такой судьбе Земли, не перестает думать, как и мы, его зрители, о грозящей человечеству катастрофе.

И я вдруг представил себе, что, будь Евгений Петрович жив, он наверняка бы сейчас тоже думал об этом и, кто знает, мог бы предложить в театр свою пьесу, написанную чуть не полвека назад: обновлять и дорабатывать ее пришлось бы очень немного...

1947—1984

ЗЕМНОЙ ИЛИ НЕЗЕМНОЙ?

(О творчестве А. С. Грина)

Даже мифическому Дедалу, не связанному еще никакими учеными путями, пришлось кропотливо мастерить крылья, чтобы вместе с Икаром улететь с острова. Герою же романа Александра Грина «Блестящий мир» достаточно было лишь пожелать и чуть оттолкнуться от земли, чтобы лететь куда вздумается. Вместо мотора и вместо мускулов его несла мечта автора.

Надо сказать, что такая демонстративная беспочвенность раздражала некоторых читателей. Они недоумевали, как можно в «деле фантазии» обойтись без научных подпорок, без технических обоснований. Позвольте, говорили они, это не только идеалистично, это безграмотно, это просто нелепо для взрослого человека! Да и детям не столь уж полезно так отрывать от действительности. Ну, сказки — другое дело, их ценил Горький и другие наши классики, а тут романы и повести, и такие неосновательные. Странный писатель! Где он живет? Для кого он пишет?

Для кого? Александр Грин писал для тех, кто любит поэзию, дорожит малейшими ее проявлениями в жизни и в книгах. Оказалось, таких читателей тоже немало на свете: любой тираж любой книги Грина расходуется буквально в считанные часы. Что ж, у поэзии свои крылья, и летит она по своим законам, не всегда согласующимся с законами аэродинамики и даже космонавтики, что, впрочем, не вредит ни поэзии, ни этим замечательным наукам.

Значит ли это, что писатель Александр Грин действительно был далек от земли, от житейских горестей и радостей, и предпочитал творить искусство для искусства? Что он забрасывал в небо сплетенную из невесомых блестящих нитей чудесную лесенку, уходил по ней ввысь и там, в изоляции от всего земного, предавался туманным грезам? Именно так пытались представить

его нам иные литературные критики, подозревавшие Грина в безыдейном эстетстве.

Сейчас Грин признан, хвалим, широко издаваем (достаточно сказать, что журнал «Огонек» выпускает пятитомник Грина в качестве своего приложения), и, быть может, не стоило бы вспоминать о прежних его хулителях. Но любопытно вот что: восторгаясь его богатой фантазией, превознося его лирический дар, часто и теперь говорят о нем с некоей снисходительной скидкой. Дескать, а в остальном — что взять с прекрасногодушного мечтателя! В общем-то он стоял над схваткой...

Какая чепуховая легенда! Грин — над схваткой? Да он один из самых озабоченных человеческими бедами писателей. Никто не намеревается записывать его в социологи, а тем более в революционеры, но, ей-богу, надоело слышать, как твердят зады о благодушном сказочнике и отвлеченном фантазере! Неужели неясно, что нужда и несправедливость, людские страдания, происходящие от самых разных, но всегда реальных причин, неотступно стояли перед внутренним взором Грина, когда он писал свои лучшие вещи? Его герои, при всей их необычности и приподнятости над бытом, ведут битву жизни, а не срывают цветы удовольствия.

Более того, этот волшебный выдумщик, которому, казалось бы, ничего не стоило одним взмахом пера осчастливить в романе или рассказе всех бедняков мира, никогда не обманывал читателя таким легким способом. Вот уж кого не назовешь добреньким утешителем. Его книги по большей части грустны и тревожны. Кристально, пронзительно чистые, они не лелеют, не успокаивают, — они волнуют нас своей недостижимо высокой нравственной красотой.

И хотя Грин не борец, а мечтатель, его мечта бьет набат благородной тревоги за судьбу человечества. Он страстно желает людям земного рая. **З е м н о г о**, подчеркиваю, и для в с е х, не для избранных. Грин, как все великие мечтатели, предельно демократичен, в нем нет ничего от элиты, от так называемой аристократии духа. Уж в этом-то смысле он типично русский писатель, вышедший из исконно российской глубинки — из города Вятки.



НЕДОЛГАЯ, НО СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ ТАНИ ТЁТКИНОЙ

В литературе, в театре, в кино время от времени возникают споры: возможны ли новые произведения о давних событиях гражданской войны, способные по-настоящему взволновать читателя и зрителя? На моей памяти такие теоретические споры велись не раз, и всегда их разрешало на практике «вдруг» появившееся произведение — книга, фильм, пьеса; оно привлекало к себе массовое внимание, завоевывало всенародную любовь. Классический пример — это, конечно, «Чапаев».

С самого начала скажу, что фильм, о котором сейчас пойдет речь, я не собираюсь сравнивать с «Чапаевым» ни по силе воздействия, ни по общественному значению. Как известно, «Броненосцы „Потемкины“» и «Чапаевы» рождаются пока не чаще, чем дважды в полустолетие, так что не этой мерой следует мерить.

И все же фильм «В огне брода нет», поставленный на «Ленфильме» молодым режиссером Глебом Панфиловым по сценарию Евг. Габриловича и Г. Панфилова, производит сильное, очень сильное, а главное — очень свое впечатление. Почему?

Сказать — фильм талантлив — еще ничего не сказать. Даже перечислив все его компоненты: хорошую режиссуру, прекрасную игру актеров, высокое мастерство оператора, художника, композитора. При всем том картина могла бы не стать художественным событием, а она стала. В чем же дело?

Думается, секрет лежит в двух вещах. Во-первых, авторам удалось создать характер и образ центрального героя, вернее героини, талантливой художницы, ярко, эмоционально, активно-творчески воспринимающей окружающий ее мир. Парадокс заключается в том, что эта художница — юная девушка, почти девочка, сверхнаивная, непосредственная, не очень-то грамотная, а окружающий ее мир — 1919 год, война, санитарный

поезд, где она ходит за ранеными, моет полы, выносит судна, тазы с кровавой водой, ежедневно и ежечасно видит страдания, смерть... И вот этот жестокий и страшный мир Таня Тёткина романтически преобразует в своих первых, еще неумелых, но даровитых и поэтичных рисунках.

Что ею движет? Только любовь к искусству? Неосознанное стремление эстетизировать малоэстетичные подробности жизни, войны? Попытка вообще удалиться от них и создавать свою, несколько отвлеченную, грозную красоту? Нет, не то, все не то, хотя, как мы знаем, история искусств изобилует подобными примерами. Я уверен, что зрители фильма увидят в побуждениях юной художницы совсем иные, прямо противоположные мотивы, и будут правы: столь естественно переполняют Таню гражданские чувства, выплескивающиеся в ее экспрессивных рисунках, близких одновременно и к революционному плакату, и к древнерусской живописи. (Здесь уместно отметить заслугу художницы Н. Васильевой, работа которой так органично слилась с характером времени и самой героини.)

Правда, Тане и в голову не приходит, что ее чувства называются гражданскими, что они, возможно, кем-то ей внушены, что она сагитирована... На деле же — ее агитирует жизнь, все, что она повседневно видит, пример убежденных людей, их споры, их порою нелепые, но всегда по велению совести слова и поступки. В изображении этой жизни и этих людей в картине нет приукрашенности, — наоборот, авторы, режиссер и актеры боются украшения, как чумы, — все житейские обстоятельства, в том числе и «взрослая любовь», невольно наблюдаемая Таней, чаще всего весьма прозаичны. Но сила революционной борьбы, встающей за этой житейской прозой, такова, что чуткая душа Тани Тёткиной верно улавливает неизменно звучащую для нее во всем чистую и сильную ноту, как уловил ее, скажем, служа в Конармии писарем, Бабель, как почувяли и воспроизвели эту поэтичную ноту другие советские художники и писатели, прошедшие через кровь и грязь войны.

Теперь о втором «секрете» удачи фильма. Режиссер безошибочно выбрал, а выбранная им актриса вдохновенно сыграла главную роль. Уже из моих предварительных кратких слов видно, как это было трудно — соединить словно бы несоединимое: душу художника, жаждущего творить красоту, наивные порывы впервые

влюбленной девчонки и героизм глубоко верящего в свою идейную правоту человека.

Инне Чуриковой это вполне удалось. Ее Таня Тёткина сперва смешна, неуклюжа, — актриса и режиссер не боятся показать ее некрасивой, даже уродливой. Но постепенно она становится для нас прекрасной, мы любуемся каждым ее движением, выражением лица, взглядом, хотя внешне в ней словно бы ничего не изменилось. Мы начинаем понимать, что перед нами прелестное в своей искренности и гармоничности существо и вместе с тем — одаренный и убежденный человек.

Соответственно с этим растет и наша благодарность актрисе. Помню, кто-то на первом обсуждении картины на студии воскликнул: «Товарищи, это же советская Мазина!» Можно было считать это горячностью преувеличения, которое простительно и понятно сразу после премьеры... Но вот прошло время, я вспоминаю картину сцена за сценой, кадр за кадром, и убеждаюсь, что ощущение встречи с большим и добрым талантом осталось, оно не преувеличено. Хотелось бы проследить подробно все этапы вживания Инны Чуриковой в Таню Тёткину в столь недолгой и щедрой ее судьбе, но оставляю это удовольствие зрителям. (Для меня несомненно, что не до конца оцененная многими при первом своем появлении на экране эта картина обретет впереди второе дыхание, долгую жизнь, и об этом я еще скажу дальше.) И все же не могу сейчас не упомянуть о нескольких эпизодах, произведших на меня наиболее сильное впечатление. Кстати, все они связаны с персонажами, о которых тоже не грех сказать.

В этом фильме мы долгое время видим людей такими, какими они себя проявляют, привыкаем к ним и считаем, что другими они и не могут быть. Но вот происходит с нами мгновенная перемена, что-то в них изнутри или извне прорывается, и они сразу становятся другими, духовно преображенными. Так происходит на наших глазах с жестким, негибким Фокичом (арт. М. Глузский), жаждущим искупительной крови, готовым закопать в одну яму всех буржуев и слюнвявых гуманистов. В финале, перед неминуемой казнью, Фокич ласково и настойчиво отсылает — к жизни, к свободе — Таню, которую из каприза помиловал белогвардейский полковник: «Иди, голуба, иди! Иди, тебе говорят! Иди, так надо, ну!..» Эти слова непреклонного Фокича покрывают столь неожиданной в нем человечностью.

Душевное преображение происходит и с Алешей (арт. М. Кононов). Этот недалекий паренек хамовато ухаживает за Таней, не сразу выходит к ней на свидание («Пусть ждет. Бабе надо терпеть»), советуется с одним, с другим дневальным, брать ли ее замуж, потому что замечает в ней ненормальную, по его мнению, доброту, странноватую любовь к красоте, к природе, к каким-то паршивым деревенским собакам,— все это делает ее в его глазах немного психованной. Только в последний момент прощания, когда его поезд уже двинулся с места, Алеша вдруг заметался, побежал по платформе опять к Тане, не добежал, вернулся, уронил чайник, догнал вагон, вскочил на ступеньки — и мы видим, что по лицу его текут слезы. Вот когда, стало быть, Алешу пронзила любовь, и кто знает, может, он в этот миг догадался, какой девушкой его наградила судьба, и судьба же их разлучает... Этот эпизод мимолетен, в нем отсутствует малейший нажим,— это значит, что мы имеем дело с художниками, которые умеют в самых простых, можно сказать, простейших человеческих поступках находить и показывать нам глубокие, сложные человеческие чувства. Я говорю и о режиссере, и об актерах.

Может быть, одна из лучших сцен фильма — чуть ли не самая бездейственная: просто Вася-художник (арт. В. Бероев) смотрит, перебирая один за другим, Танины рисунки. Смотрим и мы вместе с ним. Смотрит, сидя немного поодаль, и Таня, и на лице ее видим мы отблеск всех чувств, волнующих в это время начинающую художницу: скромность, робость, гордость, сомнения... здесь недоделано, здесь не так... и вообще, что значат эти рисунки по сравнению с тем, что задумано, что хочется сделать...

Вася молча возвращает рисунки Тане и уходит. Через минуту не выдержал, вернулся и говорит: «Ты, Тёткина, может быть, чудо. Ты береги себя, Тёткина!» Не скрою, у меня в этот момент стоял комок в горле. Вместе с Васей я ощущал явление таланта, таланта редкостного, от народных корней, таланта, которому не суждено явиться перед миром в полном своем расцвете.

Тёткина не захотела себя беречь — и в этом, пожалуй, нравственный смысл всего фильма. Она замахивается подобранным во дворе камнем на добренького полковника, от которого выносят избитого, без памяти, Фокича, и кричит: «Сдавайся, гад!» Через секунду ее

настигнет пуля, но в эту секунду она твердо верит, что сила за ней...

Несколько слов о режиссерской работе, хотя она заслуживает особого разбора, настолько является зрелой, несмотря на дебют.

Возможно оттого, что режиссер молод, не видел собственными глазами событий гражданской войны, он хочет сначала сам поверить в подлинность, в правдивость изображаемого. Отсюда в начале картины подчеркнута грубоватые штрихи и детали. Беспокойно ведет себя сперва и камера: она как бы еще не знает, что именно нужно держать ей в центре внимания. Характерно примечание режиссера в рабочем сценарии к самому первому эпизоду: «Поезд останавливается чуть поодаль, не очень-то вписываясь в кадр, как бы незначай. Должно возникнуть ощущение, что мы лишь подсмотрели и зафиксировали его приход. По этому принципу снимаются все последующие сцены, весь фильм».

Собственно, этот принцип сейчас исповедуют многие молодые кинематографисты: отсюда увлечение «скрытой камерой», хроникальными съемками, участием в фильме непрофессиональных актеров. В данной картине большую часть этого трудно осуществить, поскольку показывается далекое прошлое, — тут не вставишь в кадр сегодняшнюю случайную уличную сценку, спешащих на работу людей, вход в метро или что-нибудь в этом роде. Перед нами 1919 год со всем, что было и могло быть только тогда: патетика и чудовищно тяжкие и кровавые будни, когда выстирать и продезинфицировать белье раненых бойцов было уже трудно разрешимой проблемой.

Так вот патетики в этом фильме отдельно — нет, она вырастает из всего остального, сугубо непатетичного. Сознательно выбран самый трудный путь, через тернии к звездам, как говорили древние римляне. Ибо при всей приземленности показанного на экране, при всей героичности избранной манеры, картина получилась героичной и поэтичной, и в этом ее главная победа.

Возвращаюсь опять к Тане Тёткиной. Таня не только героиня картины, — она ее духовный, объединяющий центр. Самым своим существованием и поведением в этом поезде, в этих фронтовых и тыловых буднях, индивидуальными особенностями своей натуры Таня оказывает влияние на людей. Даже белогвардеец задумался: кто же все-таки прав — он или она, твердо верящая, что

скоро не станет на свете «мучителей» и «всем будет хорошо».

И это она вселяет в нас мысль,— пожалуй, скорее чувство: сколько же было в нашем народе талантливых, одержимых людей, которых пробудила к действию, к творчеству революция,— и сколько из них не успело из-за двух страшных войн свершить то, что позволял им талант... Это чувство сопровождает нас всю картину,— может быть, потому где-то перед финалом нас особенно грустно волнует бравурный, мажорный, до боли знакомый марш, под который идет на фронт красноармейский отряд, увлекший за собой инвалида-комиссара. Отряд идет, а ты цепко всматриваешься в эти лица, словно хочешь увидеть кого-то еще и еще, на чьей судьбе снова сосредоточишься, как на судьбе Тани Тёткиной, Фокича, комиссара Евсюкова, санитарки Марии...

Очевидно, это всегда станет нас волновать, далекая ли гражданская это война или недавняя Отечественная,— сколько бы ни прошло лет, мы вечно будем в искусстве к этому возвращаться: уж очень много кровушки, своей и чужой, пролил наш народ — забыть это невозможно. Такое не забывается.



РЕЦЕНЗИЯ С ПРЕДИСЛОВИЕМ

Я не критик, не литературовед и никогда прежде не включал в свои книги статьи этого рода, хотя, как и каждый профессиональный литератор, написал их на своем веку немало. Равно как и так называемых «внутренних рецензий», то есть отзывов на представленные в издательство или журнал рукописи моих товарищей. Иные из таких отзывов представляли собой подробный анализ того или иного романа, повести, пьесы, сборника очерков или статей. История рецензии, о которой сейчас пойдет речь, мне кажется, сама по себе представляет интерес: она касается весьма трудного периода в творческой жизни талантливейшего, всеми нами любимого писателя, когда его вдруг перестали издавать и печатать. Был даже снят со своего поста главный редактор журнала «Нева» за то, что опубликовал очерк Федора Абрамова «Вокруг да около» (ныне спокойно включаемый в собрания его сочинений). Впрочем, сам Абрамов в эти годы опалы и безденежья продолжал упорно трудиться над романом о Пряслиных, отлично зная, что редакционные трудности могут подстергать и это его произведение.

Не знаю, читал ли кто до меня в редакции рукопись «Две зимы и три лета», — на меня она произвела сильное, и я бы сказал, чарующее впечатление, о чем я так и написал в издательство. Кстати, с автором я был лишь шапочно знаком, встречая его иногда в Доме творчества «Комарово». Более того, его характерный немигающий взгляд невольно меня настораживал: я никак не мог понять, почему так сурово и с подозрением он молча на меня смотрит. Но вот однажды, уже в Ленинграде, идя по каналу Грибоедова к Дому книги, я неожиданно встретил явно рванувшегося ко мне Федора Александровича и сразу понял, что он прочел мой отзыв.

— Никак не думал, что вы любите деревню! Никак не думал! — повторял он растроганно. — А теперь слушайте!..

И невзирая на пронизывающую нас сырость и холод (конец октября), он принялся читать вслух только что полученное им от Твардовского большое письмо. Твардовский хвалил роман и сообщал, что «Новый мир» обязательно его напечатает...

Пожалуй, я обрадовался этому письму не меньше Абрамова и, поздравив его, решил: когда роман будет опубликован, напечатать где-нибудь и свой отзыв, — действительно, часто ли бывают такие совпадения!

Увы, в Ленинграде из попытки моей ничего не вышло: инерция опального «Вокруг да около» все еще активно действовала. Но я тоже проявил редкое для себя упорство: взял да и послал свою статью в журнал «Москва», сопроводив ее кратким письмом: «Знаю, что зря посылаю: если роман редакции нравится, значит, в запасе вашего журнала уже имеется соответствующий отзыв; если не нравится — вывод ясен...» Через неделю я получил письмо от главного редактора, Михаила Николаевича Алексева: «Вашу статью внимательно прочитали. Она нам понравилась и пойдет в одном из ближайших номеров... Спасибо, что не забываете наш журнал». (Я не печатался в этом журнале ровно десять лет!)

Вот эта статья в том виде, как она была опубликована в 1969 году в 6-м номере журнала «Москва».

ТРУДЫ И ДНИ СЕМЬИ ПРЯСЛИНЫХ

Федор Абрамов. — «Две зимы и три лета», роман. — «Новый мир», 1968, № 1—2.

Этот роман имеет то счастливое свойство, отличающее далеко не всякое талантливое и правдивое произведение, что, перевернув его последнюю страницу, как-то с трудом себе представляешь: вчера еще этого не читал, а два-три года назад такого романа вообще не было! Говоря это, я не хочу причислить Федора Абрамова к сонму классиков: роман неровный, есть в нем страницы и слабые, и лишние. Тем не менее отчетливо видишь, что все написанное рвалось из сердца, автору кровно дорога судьба северной русской деревни, он не мог о ней не написать.

Но, разумеется, сердце сердцем, долг долгом, а художественная удача могла и не произойти. Для читателя произведение тогда по-настоящему состоялось, когда на

его глазах происходит сотворение мира, когда герои начинают жить самостоятельной жизнью, которая словно бы уже и не в руках сочинившего их автора. Впрочем, Михаила Пряслина и его сестру Лизу можно считать не просто главными героями романа «Две зимы и три лета», но главными людьми, главными тружениками нашей деревни военных и послевоенных лет. В их конкретности и в их обобщенности видится мне основная удача Абрамова.

Помните, говорит нам автор, как часто наша молодежь, особенно молодежь мужского пола, старалась покинуть деревню или хотя бы найти и в родных местах дело полегче, повыгоднее, чем земледелие. Михаил же, напротив, только в деревне, только на крестьянской работе чувствует себя человеком. Да, Михаил написан именно так программно, — и все же он самый живой в этом живом романе.

Я назвал Михаила и Лизу главными героями произведения Абрамова, хотя в романе немало и других, четко очерченных, уверенно вылепленных, сочно написанных персонажей. Это прежде всего антипод Михаила — Егорша Ставров, первый парень не только на деревне, но всюду, где бы он ни был, чем бы ни занялся. Возможно, что он способнее и умнее Михаила, возможно, что просто хитрее, смекалистее, — во всяком случае, находчивость, предприимчивость, самонадеянность органичны для этой одаренной натуры, это все выражения своеобразного динамизма подобного деятельного характера. У Егорши несомненно есть обаяние, недаром с его неприятными свойствами, — а их у него тоже немало, — долго мирится Михаил, натура нравственная и глубокая. И лишь неожиданное сватовство друга к любимой сестре приводит Михаила в ярость, затем и в отчаяние.

Финал романа Ф. Абрамова — свадьба Лизы и Егорши — пример того, как герои романа обретают независимость от добрых желаний автора. Ни Михаил, ни автор, ни мы, читатели, казалось, не можем сочувствовать этому браку: Лиза — и Егорша! Противостоит, даже страшно, ибо мы успели искренне полюбить Лизку и возненавидеть Егоршу. Мы уверены, что Лиза не будет счастлива, она и сама побаивается сделанного ею шага, но — шаг сделан, а любовь ли это, готовая за себя бороться и, может быть, победить (ведь Лиза тоже сильная и деятельная натура, несмотря на

свою юность и внешнюю хрупкость), или пагубное увлечение — покажет будущее.

Правда, замужество ее обусловлено многими обстоятельствами; среди которых далеко не на последнем месте материальные трудности послевоенной деревни, необходимость спасти многодетную семью, великодушный, хотя и хвастливый поступок Егорши, продавшего мотоцикл, чтобы Пряслины могли купить корову. Все это остро и больно сознает Михаил, да, вероятно, и Лиза. В том, как показана эта сумятица сложных, противоречивых побуждений и чувств, — жизненная и художественная сила финальных эпизодов романа.

Собственно, я не случайно перешел сразу к финалу. Часто бывает, что читательский интерес выдыхается значительно ранее, чем наступит развязка, исчерпают себя человеческие судьбы и взаимоотношения. Здесь — другое. Здесь развязки в обычном смысле и вовсе нет, хотя роман кончается традиционной свадьбой. В том-то и дело, что этой свадьбе противятся все наши читательские чувства, приобретшие к концу особую активность, и теперь в самую пору Абрамову писать продолжение романа, ибо мы хотим знать, что будет дальше...

Именно так, внешне как будто традиционно, а на деле — свежо и по-новому, построено большинство событий романа. Взять хотя бы снятие с поста председательницы колхоза Анфисы Мининой. Через год она выходит замуж за нового председателя — Лукашина, и все ее прежние заботы становятся опять сегодняшними, пусть в отраженном виде.

А сложное переплетение судеб Михаила, Варвары, Анфисы, Григория — сколько в этом житейских превратностей! Я не вижу здесь авторского произвола, я вижу лишь произвол жизни, с которым явно считается автор, а вместе с ним и мы. Писатель не допускает нас в душу Варвары, когда она внезапно предпочитает восемнадцатилетнему Михаилу, с которым так увлеченно «крутила» любовь, немолодого Григория, отвергнутого Анфисой. Но мы догадываемся, почему она это сделала, и утверждаемся в своей догадке, когда читаем в одной из последних глав о встрече Михаила и Варвары на городском рынке. Вот пример превосходно написанной сцены, где смело сближены материальное и духовное в человеке. Что может быть прозаичнее: Михаил продает мясо, — а сколько за этим психологических и драматических сложностей, как тонко показано чув-

ство Варвары к Михаилу! Но этого мало. Любовная драма окончена, а крестьянская — продолжается. С неумолимой логикой вытекает одно из другого: гибель коровы в какой-то мере тоже способствует роковому замужеству Лизы. Так один материальный фактор послужил причиной целого сложного комплекса, дал развернуться клубку человеческих отношений и переживаний.

Я оборвал список персонажей на Егорше Ставрове. Если этот список продолжить, то надо сказать, что Анфиса и Варвара, крутой секретарь райкома Подрезов и «старый райкомовский коняга» инструктор Ганичев написаны тоже отлично — что ни человек, то характер. Это же можно сказать и о жене Нетесова Марье, — слабее мне показался сам Нетесов, чуть ли не единственный партиец в деревне тех лет. Несколько дежурным ничтожеством, знакомым нам и по жизни, и по деревенским романам и повестям, выглядит Першин, на год сменивший Анфису у колхозного руля. Автор так откровенно презирает этого дутого деятеля, что поспешил на индивидуальные приметы. Гораздо обиднее, что не ярок, не ожил в романе Лукашин, пришедший на место Першина. Он вызывает наши симпатии, наше сочувствие, но и только. Поэтому, может быть, «провисает» середина романа.

Сложная фигура Евсея Мошкина как пришла в роман, так и ушла под таинственным флером. Человек он работающий и совестливый, но излишняя «святость» придает ему елейность и сладостность. С ним поступили когда-то несправедливо, несправедливо поступают и сейчас, но он никого не винит, только вздыхает и плачет (много плачет), а что у него за душой — неизвестно. Все кажется, что автор что-то еще откроет...

Но вернусь к центральной фигуре романа, воплощающей его центральную тему. Михаила Пряслина мы застаем в начале романа восемнадцатилетним юношей, а расстаемся с двадцатилетним. С четырнадцати лет он работает за мужика, тянет вместе с овдовевшей матерью всю их большую, но маломощную семью, где ребята мал мала меньше: он же — один из немногих мужиков колхоза и в годы войны и сразу после нее, и сколько бы житейских соблазнов, на которые так податлив Егорша Ставров, ни подвертывалось Михаилу, он остается верным колхозу и семье.

Вот уж кого не упрекнешь в святости, в паточности.

Михаил порывист, прямолинеен, груб, нередко несправедлив и пристрастен. Жизнь словно нарочно ставит перед ним испытания и преграды. Преодолевая их, Михаил закаляет свой дух, свое мужество, и мы вместе с ним глубоко и сильно переживаем его срывы, после которых он становится лишь прямее, честнее — он никогда не прощает себе своих ошибок.


Так было и в тот эгоистичный период любви к Варваре, когда Михаил пренебрег своим сыновним и братским долгом, когда безобразно отомстил Анфисе, в чем потом больно раскаивался. Так обвинил он себя и в смерти Тимофея Лобанова, болезни которого вовремя не поверил, считая его притворщиком, изменником, трусом. И только раз поступил он как «соглашатель», позволив Егорше жениться на Лизке. Да и как ему было поступить, если б даже отринул он заботу о семье, а думал только о Лизке? А вдруг не на шутку увлеклась она Егоршей?..

Я читал роман в рукописи, и любопытно, что, еще не успев полюбить семью Пряслиных, не зная, куда поведет меня автор, уже после самых первых страниц отметил для себя: «Трудная у них жизнь, а все равно «вкусно» про нее написано. Все освещено дружбой в этой семье, и при этом никакого сусала».

Однако в романе есть пережимы и переборы. Считаю уместным их отметить. Не слишком ли высветлены двойняшки, братья Михаила? Уж такие они праведные, словно отроки с картин Нестерова! Верно, автор и сам это чувствует, оттого и противопоставил им третьего брата, звереныша и ворюгу Федьку. Правда, ворует-то он с голодухи.

Возможно, я не прав, полагая, что тут утеряно чувство меры. Автор нигде не боится острых углов, сильных сцен, — видно, хотел довести до конца и этот конфликт в душе Михаила, жестоко обидевшего Тимофея при жизни. Тем более, я в этом убежден, не стоило Абрамову писать послесловие к своей страстной, горячей книге. Это «Вместо эпилога» живо напомнило мне последние кадры великолепного фильма «Председатель», заметно подпорченного таким казенно-оптимистическим сверхфиналом...

Талантливый, правдивый роман Федора Абрамова в этом не нуждался.



ДЕТЕКТИВ — ЧТО ЭТО?

Детективы читают, детективы смотрят в кино, о детективах пишут и спорят, причем с каждым годом спорят все темпераментнее. Одни считают детектив сказкой, игрой, забавой, другие — полноценным и полноценным жанром, в рамках которого можно решать социальные, нравственные, политические задачи; третьи раз и навсегда заклеили его как нечто бульварное и напрочь отказывают ему в правах гражданства в нашем кино и литературе; четвертые призывают учиться у западных специалистов этого дела... Разве все это не свидетельство популярности и вместе с тем некоей зыбкости понятия «детектив»? Казалось бы, пора разобраться — спокойно, вдумчиво, не впадая в крайности, — что же такое в действительности этот хваленый и этот презренный жанр.

Вот почему вышедшая недавно книга Янины Маркулан «Зарубежный кинодетектив» не сможет остаться незамеченной. Кстати, эффектная внешность книги — черный коленкоровый переплет с лиловыми оттисками двух ладоней с искривленными болью пальцами — не обманчива. Книга Маркулан не только серьезный научный труд, содержащий тонкий и точный анализ многих разнообразных видов и направлений детективного жанра, но и увлекательное чтение; по крайней мере, я прочел ее с маху, отложив в сторону все очередные дела. А через месяц-другой прочитал еще раз, уже внимательнее, как бы вместе с автором совершив тот путь, который прошел детектив, начиная с трех знаменитых рассказов Эдгара По об Огюсте Дюпене до сегодняшних американских и итальянских боевиков.

Я назвал По; мог бы дальше назвать Уилки Коллинза, Конан Дойля, Честертона, Сименона и других прославленных детективных писателей. Книга Я. Маркулан шире своего заглавия: сначала автор исследует детектив как литературный жанр — его историю, его разновидности, — лишь с пятидесятой страницы обра-

щается к кинодетективам. И это правильно: кинодетектив не безроден, литература намного старше кинематографа, к тому же большинство нашумевших кинодетективов последних десятилетий — это экранизация современных им детективных романов и повестей. Правда, как при всякой экранизации, режиссеры поддаются соблазну «украсить» литературный первоисточник, все сделать как можно ярче, богаче, зрелищнее, — кино в этом отношении всесильно, — в результате мы получаем красивые или вульгарные поделки. Но бывают счастливые исключения, и Маркулан с нескрываемым удовольствием (еще бы — она киновед, а не литературовед!) о них рассказывает, — рассказывает, следует признать, мастерски, и к этому я еще вернусь.

В чем одна из особенностей ее книги? Не впадая в заведомо осудительный, всеразоблачающий тон, который мог бы оттолкнуть или хотя бы насторожить читателя, зрителя, симпатизирующего детективному жанру, автору удалось отделить зерно от плевел — оценить по достоинству и порокам то нашествие детективов, которое в любой буржуазной стране за год выражается в сотнях штук, — другого наименования бо́льшая часть их не стóит. Конечно, проще всего, когда резкая черта пролегает между искусством и неискусством, грубой, базарной дешевкой. С другой стороны, пренебрегать этой массовой продукцией нельзя, ведь она-то как раз и рассчитана на самого широкого зрителя. Впрочем, как это ни парадоксально, эстеты и снобы тоже проглатывают и даже смакуют рыночные кинояства, — как говорится, потянуло на капусту, а выражаясь научнее, на свет появилось еще одно новомодное увлечение — псевдонародной псевдокультурой.

Но опаснее и прискорбнее, когда тонкое, по-настоящему художественное искусство оказывается отравленным, — это случается в любом жанре, в том числе и в детективе. Существуют самые различные варианты: скажем, картины, возникшие на стыке идеологий, когда у художника нет ясного взгляда на жизнь, — естественно, они могут быть по-разному истолкованы; к правдивой, социально весомой картине хозяева фирмы заставили режиссера приделать такую концовку, что она сводит на нет прогрессивное содержание; в чисто развлекательном фильме скрыта капелька яда, безошибочно действующего на зрителя, и т. д.

То, что я сейчас для примера назвал, выглядит

довольно примитивным,— увы, это свойство всякого аннотирования. Секрет чуда Маркулан в том, что она доказывает, показывая, делая читателя своей книги по возможности зрителем разбираемых ею фильмов, и об этом я должен сказать чуть подробнее — это весьма важное свойство и качество ее работы.

Одна из глав называется: «Волнует зримое сильнее, чем рассказ», — строка из знаменитого сочинения Никола Буало, французского поэта XVII века, теоретика классицизма. Маркулан применила эти слова не к театру, а к кино, где зритель невольно становится очевидцем события. «Кинозритель,— говорит Маркулан,— остается один на один с полотном экрана, на котором созданные светотенью фантомы превращаются для него в подлинно живых людей, кровь кажется настоящей кровью, и человек, убитый кем-то, не встанет раскланиваться, как в театре, а так и останется мертвецом». Это одна из разгадок того, почему современный кинематограф обладает гипнотической силой подчинения своей воле, и от него зависит — будет эта воля доброй или злой.

Прочитав Буало, Маркулан как бы заранее предупредила читателя, что не сможет конкурировать с экраном. Ведь изложить сюжет, внешнее действие фильма с таким заманчивым заглавием, как «Веревка», или «Лифт на эшафот», или «Ловушка для Золушки», или «Прикосновение зла», это одно; куда труднее внушить нам, что мы это видим, нарисовать детали, передать атмосферу происходящего; разумеется, я имею в виду первосортные фильмы, где такая атмосфера создана режиссером, художником, оператором.

Но, повторяю, Маркулан умеет рассказывать. Возьму для примера фильм по роману Жоржа Сименона «Мегре и дело Сен-Фиакр», поставленный французским режиссером Жаном Деланнуа. Мы не читали этого романа, не видели этого фильма, мы узнаем о нем лишь со слов Маркулан. Это психологический детектив, он лиричен, печален, горек, — он детектив, ставший искусством. Маркулан с горечью добавляет, что обыватель, привыкший к экранному ширпотребу, может и не заметить психологической тонкости и поэтичности этого фильма, но тут уж ничего не поделаешь... Сама же она рассказала его так, что мы видим стареющего Мегре в исполнении Жана Габена, его большие, тяжелые, усталые руки, видим подругу его молодости, пожилую

женщину, попросившую Мегре спасти ее от смерти, которой ей угрожают в анонимной записке; чувствуем скорбь Мегре, когда он не смог предотвратить смерть; и видим проснувшуюся в нем энергию и волю, когда он ищет и находит убийцу. Это фильм о неполной удаче Мегре, когда он тоже в какой-то мере виновен, фильм о его старении, и потому мы особенно ценим тут щемящую ноту, что так чужда, казалось бы, детективному жанру; фильм человечен и поэтичен, — мы в этом убедились.

Кстати, за тридцать страниц до рассказа об этом фильме Маркулан говорила о неудаче двух режиссеров, французского и английского, экранизовавших один из лучших и гуманных романов Сименона — «Неизвестные в доме». Француз (в 1942 году) попытался превратить роман Сименона в средство петеновской политики соглашения с немцами; англичанин (в 1967 году) расшил по своему фильму модные фрейдистские узоры, ввел секс, песни в исполнении популярного ансамбля и даже... чтение вслух последних страниц «Преступления и наказания» Достоевского. Можно представить, что за мешанина получилась в итоге.

В краткой рецензии я не имею возможности пересказать в а т ь п е р е с к а з ы и потому прошу поверить мне на слово, что Маркулан блестяще выходит из положения, знакомя нас с незнакомым нам фильмом, будь то старые ленты еще двадцатых годов, времен немецкого экспрессионизма, первые звуковые детективные картины начала тридцатых, фильмы сороковых и пятидесятых годов, фильмы нашего времени — американские, французские, английские, итальянские. Пластика, колорит, отдельные, наиболее выразительные детали — разве это не арсенал художника? «Полосатая обивка кресел, полосатое платье Бригид усиливают ощущение зыбкости, изменчивости, неустойчивости всей атмосферы». Или: «Здесь, в этих огромных комнатах, где мало мебели, а много хрусталя и зеркал, сбившиеся в одном месте гангстеры кажутся кучкой мусора. Огромен только босс, как идол, возвышается он над всеми». Разве это не наглядно?

В одной из самых интересных глав Маркулан знакомит нас с лучшими образцами социального детектива. Это прежде всего «Мальтийский сокол», фильм по роману американского писателя Хеммета, который когда-то сам служил в частном сыском агентстве, а став писате-

лем, сидел в тюрьме за левые взгляды, и книги его были изъяты из библиотек. Его герой-сыщик часто оказывается между двух огней: с одной стороны, гангстеры, с другой — связанная с ними полиция; эта ситуация жива и теперь, через сорок лет.

Мир коррупции и насилия предстает и в фильме «Прощай, любимая», по роману Чендлера, автора, высоко ценимого таким крупным писателем, как Фолкнер, который даже написал по одному из его романов сценарий фильма «Глубокий сон». Но «Прощай, любимая» — как раз пример фильма, где грустный финал романа — герой остается один — был заменен типичной голливудской концовкой: влюбленная в ВД — Великого Детектива, как принято называть сыщика в западной критической литературе, — дочка миллионера спасает ему жизнь.

...После похвал не грех бы в чем-то и упрекнуть автора «Зарубежного детектива». Серьезный упрек у меня, собственно, один, и то больше относится к издательству: ограниченный объем книги порой явно мешает развернуть или проиллюстрировать ту или иную мысль. Так, меня удивило, что, приведя строки из Буало, Маркулан не упомянула о его основных заветах — о делении искусства на «высокие» и «низкие» жанры, — столь блистательно затем нарушаемых всей практикой литературы и искусства. Еще в предисловии Маркулан сказала, что детектив считался одним из элементарных жанров, а на поверку оказывается явлением сложно-диалектическим, — напрашивалось связать это потом с отвергнутыми «законами» Буало, но автор, как видно, решил не ставить точки над «и». В иных случаях что-то заметно скомкано, недосказано, как в приведенном мною примере с французской экранизацией «Чужих в доме»: мы так и не узнали, в чем заключалась попытка «петенизировать» фильм, автор ограничился одной фразой.

Очень хочется заключить свой отклик на книгу Я. Маркулан локальной метафорой: автор оказался опытным «сыщиком», который умело, талантливо, а местами и вдохновенно расследовал «преступление», имя которому — детектив.



ЦЕНА НЕУДАЧИ

Как мы пишем? Вопрос коварный! Вольно или невольно, но вокруг него завихрилось столько шаманства, что прорваться сквозь этот туман нелегко. Боишься все усложнить, занестись в эмпирию, либо, наоборот, упростить, свести дело к литературной технике, а то и к... физиологии. Я не шучу. Когда-то один известный писатель, отвечая на подобный вопрос, сказал: «В дни работы меня тянет на молочную пищу. Стараюсь не употреблять ни кофе, ни чая, ни алкоголя, заменяя все молоком». Как видно, почувствовав, что такое признание слишком односторонне, он дополнил его привычными литературными рассуждениями: «Когда я читаю произведения моих коллег, я могу сказать, почему это хорошо или плохо; когда дело касается моих собственных рассказов, в ста случаях из ста десяти я не могу объяснить, почему я написал так, а не иначе». И дальше: «Ныне я знаю очень много правил того, как надо писать, как ставить слова и фразы, как вводить и выводить людей, вещи, время... За столом я не думаю об этих правилах, но знаю, что они забрались ко мне под стол сознания».

Я выбрал довольно элементарный пример ответа, где главная роль отдана интуиции. Но существуют примеры и мудрого, по-настоящему профессионального авторского самоанализа. Таковы знаменитые строчки Бабея о том, что никакое оружие не пронзает столь леденяще, как точка, поставленная вовремя, или тыняновское: «Там, где кончается документ, там я начинаю».

И все же основными опасностями перед «ответчиком», как мне кажется, остаются следующие: субъективность, кокетство, банальность (расхожестъ), нескромность. Последняя даже как бы запрограммирована в самом факте: тебя спрашивают, тобой интересуются, следовательно... Но мой случай еще сложнее. Пишу я давно, пишу в разных жанрах, а «выдал в свет» так немного, что было бы просто глупо делиться опытом,

секретами мастерства. Правда, когда я был помоложе, я охотно рассказывал, как работал над «Беспокойной старостью», над «Депутатом Балтики», но сколько можно об этом рассказывать! — о других же вещах меня не спрашивали. И если я решаюсь сегодня на эту тему порассуждать, то скорей не о том, что и как у д а л о с ь, а о том, как и отчего н е у д а в а л о с ь. А в о с ь этот отрицательный опыт кому-нибудь пригодится! Разумеется, я не стану перечислять в с е — у каждого литератора тьма неосуществленных (или не до конца осуществленных) замыслов, — ограничусь двумя-тремя неудачами, причем в том жанре, работа в котором порой удавалась, а уж манила всегда. Я попытаюсь объяснить, как получилось, что я не закончил начатые в свое время сценарии о двух выдающихся русских ученых — Сеченове и Мечникове, — жизнь и дела которых волнуют меня до сих пор.

Сперва два слова о том, что значил Сеченов для своих современников, шестидесятников прошлого века. Его наука — физиология — стала их символом веры, все поколение молодых врачей, студентов, курсисток резало лягушек, когда это делал Сеченов (вспомним тургеневского Базарова); главное же — его материализм дерзновенно побеждал в той области, на которую до него не посягал никто — в так называемой душевной сфере: его «Рефлексы головного мозга» сразу завоевали себе такую известность, что теперь эту книжку называли бы бестселлером. Но Сеченов идет дальше: не удовлетворившись опытами над головным мозгом, он через несколько лет пытается ставить опыты по изучению высших психических функций, посягает на область подсознательного; как справедливо заметил его биограф М. Г. Ярошевский, «Сеченову виделось на полстолетия вперед».

Может быть, больше всего меня восхищало то, что Сеченов буквально во всем, в том числе и в любви (если вспомнить историю с М. А. Боковой-Сеченовой), шел напрямик на препятствия, поступая всегда бесстрашно и неожиданно. Он был самобытен даже в житейском; его угловатая непосредственность не смешна, его охранял свой собственный юмор. Он мог быть великолепен в почти глупышкинской сцене с цилиндром, который он по совету друзей купил для поездки за границу. В карете его соседку (простую швейку, которую господа везли подучиться в Париж) укачало; Сеченов, недолго разду-

мывая, поднес к ее побледневшему личику спасительный цилиндр, а затем спокойным жестом, как миллионер, выбросил его в окно. Так, с непокрытой головой, прямыми, жесткими черными волосами, черноглазый, скуластый, как монгол, он и въезжает в Европу...

Не скрою, я с наслаждением писал этот и другие эпизоды, как, например, пешую прогулку с Д. И. Менделеевым через перевал в Альпах близ озера Комо или юмористический и научный интерес к некоему немецкому студенту, выпившему на пари в течение вечера 32 кружки пива! А дальше? Как вышло, что я не закончил сценарий? Помешало одно: я не мог понять, объяснить себе — почему этот сильный, своеобразный, высокоодаренный человек, такой деятельный, столь заслуженно знаменитый в шестидесятые годы, не сохранил свою силу, энергию и славу в дальнейшем? Да, появились и приняли от него эстафету Введенский, Ухтомский, гениальный Павлов, но где же сам Сеченов? Почему он уже не тот? Почему в стороне? Почему отошел от своих главных научных тем, словно уступив их молодому Введенскому? Зачем стушевался, сменил профессорство в Петербургском университете на приват-доцентство в Москве? Почему более двадцати лет, чуть не до самой смерти, занимался по сути второстепенными и для него и для большой науки вопросами газообмена в крови? Что произошло с Сеченовым?

Меня мучила эта загадка его характера, это слепое пятно в биографии (и ничего не объясняющие недомолвки в «Автобиографии»), я не мог по-настоящему ничего написать, если чего-то не знал или не понимал. Можно было, конечно, со вздохом сказать, что, увы, «звездный час» ученого часто короток, но в данном случае я в это не верил; можно было сослаться на дурное начальство и на плохое его отношение к Сеченову, — а когда оно было хорошим и когда хорошо к нему относилось! — да и причем тут начальство, когда речь идет о таком мужественном, целеустремленном человеке. Можно, наконец, сказать себе: все в порядке — и так или иначе дописать сценарий. Ничего этого я не сделал. Я забросил свою работу, хотя у меня и сейчас щемит сердце, когда я о ней вспоминаю. Отчасти можно оправдаться тем, что и сам Сеченов успел написать лишь о первой половине своей жизни, написать ярко, талантливо, и скомкать как раз вторую. Можно утешаться и тем, что не только я, литератор, но и ученые биографы

Сеченова не могли (а может, и не хотели) разгадывать тайну ухода Сеченова от большой науки. Лишь совсем недавно известный психолог М. Г. Ярошевский заинтересовался этим вопросом и на основе новонайденных материалов и своих умозаключений стал строить исторические и психологические догадки. Но сценарий, над которым я работал более тридцати лет назад, эти догадки воскресить не могут: для меня они уже опоздали.

Совсем в ином мой казус с Мечниковым, да, с тем самым Мечниковым, о котором Сеченов говорил, что не знавал человека более увлекательного по живости ума и неистощимой веселости (разумеется, вне науки, где он был предельно серьезен). Так вот, в жизни этого записного оптимиста, автора «Этюдов оптимизма» и основателя науки о долголети, существовал эпизод такой драматической силы, такой выразительности и философской насыщенности, что все остальное — для меня, драматурга, — не могло с этим сравниться. Когда Мечникову не было еще тридцати, у него умерла от туберкулеза жена. Умерла, несмотря на все усилия врачей ее спасти. Мечников был так угнетен, раздавлен этой бедой, что потерял волю к жизни. Он решил покончить с собой. Решил не сразу, не импульсивно, это не был мгновенный шок, который затмил сознание, подавил в человеке все, кроме яростного желания не существовать.

Мечников пытался бороться. Он поехал в другую страну, путешествовал, испытывая разные дорожные приключения (в этот момент в Испании происходил карлистский мятеж, и Мечников, из любопытства и чтобы отвлечься, встречался с карлистами). Но душевная драма, надрыв, тоска все продолжались, и, не видя другого выхода, Мечников принял морфий, который со дня похорон возил с собой.

Судьба над ним подшутила: доза морфия оказалась слишком высока и именно потому не смертельна. Тогда Мечников принял очень горячую ванну и легко одетый вышел на холод, надеясь простудиться или — кто знает, может, у него и была тайная мысль — вернуть жизненный инстинкт...

Проходя по мосту через реку Рону (это происходило уже в Швейцарии), он увидел насекомых, вьющихся вокруг пламени фонаря. Это были поденки, бабочки-поденки, эфемериды. И тут, вместо того чтобы воспользоваться представившимся случаем — броситься с

моста в реку и утонуть, Мечников, глядя на поденок, подумал: «Эти существа живут всего несколько часов, совсем не питаюсь, у них нет даже ротовых органов, следовательно они не подвержены борьбе за существование, не имеют времени приспособляться к внешним условиям. Как применить к ним теорию естественного отбора?»

Таким образом, мысли Мечникова неожиданно приняли научное направление, и он был спасен. Связь с жизнью восстановилась.

Зато я, по достоинству оценив этот эпизод, понял, что ничего сколько-нибудь равного ему в изображении дальнейшей судьбы моего героя не смогу ни найти, ни вообразить... и сложил оружие. Прав я был или не прав? Ну что ж, ответ прост: не всякая жизнь выдающегося и даже великого человека может служить основой для драматического произведения, где главнее всего конфликты и эмоциональные пики.

Но дело не только в этом. Я жалею, что не написал сценарий, где упомянутый эпизод был бы не проходным, не иллюстративным, а может быть, как раз пиком или даже кульминацией в жизни этого человека. К сожалению, я, как и все мы, драматурги, режиссеры, редакторы, находился под гипнозом вытянутого в линейку биографического повествования. Мы стремились вложить в фильм все, что узнали, вычитали о своем герое, показать всех, с кем он встречался и даже с кем не встречался, но мог бы встретиться, показать его окружение, простой народ и золоченую знать, всю эпоху, а если герой жил долго, то и смену эпох, две, три эпохи! Если в фильме шла речь о писателе или об ученом, то непременно должен был появиться на экране Горький, в сапогах, в блузе (обычно его играл Черкасов) и, окая, произнести несколько умных хороших, все объясняющих слов; если речь шла о художнике или композиторе, то выступал вперед Стасов в поддевке (его играл тоже Черкасов) и возглашал анафему Западу или импрессионистам; теперь уже мнится, что они появлялись и вместе, одновременно, чуть ли не под руку, и обоих сразу исполнял народный артист Черкасов...

Говоря серьезно, мы совсем не умели свободно распоряжаться в фильме временными и событийными пластами, выбирать лишь самые необходимые для сюжета, для действия, для эмоционального впечатления факты, годы, дни, часы, минуты, секунды. Нынче в кино

существует другая крайность: порой без нужды перебрасывать действие из начала в конец и из конца в середину, тасовать все и вся как попало, лишь бы потрудней, посложней воспринималось это подопытным зрителем, лишь бы выглядело помодней, помодерней.

И все же я — тогдашний — завидую этой теперешней кинематографической свободе. Владей мы тогда хотя бы десятой ее частью, не появились бы на свет скучнейшие экранные биографические хроники, по существу, сборники киноиллюстраций, что дарили мы нашему зрителю в сороковые и пятидесятые годы. Естественно, я причисляю к ним и своего «Михайлу Ломоносова» (1954 год), хотя, помнится, я тогда уже начал понимать, в какой тупик загоняем мы так называемый биографический фильм. Но инерция продолжала действовать. Действует она и теперь: вспомним фильм о Гойе (как ни талантлив его исполнитель — Донатас Банионис), фильмы о Красине, о Нансене.

Но хватит о кино. Обращусь к театру. В начале этой статьи я сказал, что меня, как правило, спрашивали о работе над «Беспокойной старостью» и никогда — о других моих пьесах. Это вполне понятно, поскольку они очень мало шли на сцене, а то и совсем не шли: так, «Даунский отшельник» ставился лишь в двух театрах ГДР, «Камень, кинутый в тихий пруд» — в одном советском театре (кстати, таганрогский спектакль получил положительную оценку и в местной и в центральной печати). Парадокс в том, что пьесы печатались в журналах, не раз включались в мои однотомники, — не значит ли это, что они вообще предназначены для читателя, не для зрителя? Ну что ж, например, Томас Манн предпочитал читать пьесы, а не смотреть их на сцене, и если смотрел, то специфически зрелищные, а не те, что, с его точки зрения, представляли литературную ценность; исключение делал лишь для Шекспира и для музыкальных драм Вагнера — этих авторов Томас Манн слушал и смотрел с наслаждением.

Нет, классики классиками, но, ей-богу, никто не поверит (и правильно сделает), что я пишу пьесы, заранее зная, что их никогда не сыграют актеры! Известно, что написать 60 страниц пьесы — дело весьма трудоемкое и нервное, прозу писать спокойнее. Поэтому особенно памятен разговор с Товстоноговым, разговор, которому предшествовала не одна наша творческая встреча. Еще до войны, в молодости, Георгий Алексан-

дрович поставил в Тбилиси дипломный спектакль «Беспокойная старость»; в 1970 году, юбилейном, ленинском, поставил эту же пьесу в БДТ в Ленинграде; в промежутке, в 1956 году, среди многих других своих дел руководил постановкой «Униженных и оскорбленных», инсценированных мной для Ленинградского театра им. Ленинского комсомола. Словом, знакомство с Рахмановым-драматургом было долгим, пристальным, и вот, прочитав два акта из моей новой пьесы «Чёт-нечет», Георгий Александрович дружески посоветовал:

— Пишите об этом повесть.

— А вы ее инсценируете,— сказал я.

— А я ее инсценирую,— столь же благожелательно ответил Товстоногов.

Ни капли не сомневаясь в искренности совета большого мастера, я все же не прекратил работу над пьесой, не превратил ее в повесть,— я закончил ее, опубликовал в журнале «Театр» и считаю самой сценичной из всех написанных мною пьес. Мое заблуждение? Очень возможно. В таких случаях все верят режиссеру и смеются над автором; действительно, невероятно смешно: автор слепо защищает свою пьесу! Умора!! Но допустим в порядке исключения хоть что-то иное. Вот память мне подсказала еще одно парадоксальное мнение о другой пьесе, казалось бы самой не театральной. Покойный Владимир Платонович Кожич, великолепный, талантливый режиссер, когда-то намеревался поставить «Даунского отшельника».

— Я буду ставить его как пейзаж,— сказал он.

Пейзаж, гм... Загадочно, неопределенно, но — убежденно: что-то ведь ему представлялось в его режиссерской фантазии, когда он вдруг вымолвил это странное и, откровенно говоря, смутившее меня слово! Подкрепляет или опровергает оно постепенно сложившийся взгляд на мои пьесы, как пьесы для чтения? Не скрою, вопрос для меня болезненный, если вспомнить, что на драматургию потрачена изрядная часть моей жизни.

Между прочим, вокруг каждой пьесы, в процессе работы, накапливались сотни страниц, содержащих размышления о сюжете, о теме, о персонажах; присутствовала и жесточайшая самокритика, и многочисленные варианты, и продолжение судеб моих героев, выходящее далеко за рамки и время действия пьесы. Если бы я вздумал приложить к пьесе, которую публикую в журнале или в книге, эти распространенные комментарии (так

условно их назову), не исключено, что в результате бы получилась своеобразная повесть... Но я этого не делал и считаю, что не имел права делать: за что должен страдать читатель, которому пришлось бы преодолевать нечто экспериментальное и кентаврообразное? Пусть уж читает 60 — 70 страниц пьесы, чем 300 страниц неизвестно чего... Правда, пьесы читатель тоже не очень любит читать, особенно размеченные на акты, картины, явления; авторские же ремарки чаще всего раздражают профессионалов театра. Вспомним опять Томаса Манна: «Некий театральный критик однажды заявил в статье, что если взять повествовательную фразу: «Розалия встала, расправила платье и сказала: «Прощай!», то, строго говоря, искусством следует здесь считать только слово «прощай!». Он повторил: «Строго говоря».

Как ясно я себе представляю этого критика, уставившего на нас сквозь годы свой строгий взгляд! Сразу весело становится на душе и не хочется задавать ни себе, ни читателям, ни тем более критикам риторический и, наверно, бестактный вопрос: имеют ли мои пьесы отношение к театральному искусству? Строго говоря, театральная их судьба пока незадачлива. Повторяю: строго говоря... Но что делать, если мне очень хотелось их написать, написать именно так, как они написаны; и я их писал, писал с мучительным удовольствием (отнюдь не в смысле «вымучивал!»), и пусть это будет цена неудачи. Я считаю ее доброй ценой.

Теперь немного о прозе. Когда я уже заканчивал свою статью для «Литературной России», я прочел в той же газете, под той же рубрикой «Как мы пишем», — статью Юрия Нагибина «Признания». Как и все, что делает Ю. Нагибин в прозе, в кино, «Признания» его темпераментны, интересны и невольно вызывают желание откликнуться. Скажем, я с ним совершенно согласен, что жить и знать жизнь — это одно, а школярски изучать ее для того, чтобы сотворить роман или повесть, — занятие довольно бесплодное: почти наверняка получится нечто мертворожденное. Полагаю, что к этому мнению присоединится большинство серьезных, талантливых литераторов, пишущих о сегодняшнем дне. Но вот относительно исторической и историко-биографической прозы (а Нагибин говорит и о ней) мнения разойдутся.

Нагибин прав, что «столкнувшись с материалом, надо тут же обрести свободу от него». Правда; я предпо-

чел бы сказать «затем» или «в дальнейшем», а не «тут же», не «сей секунд», но это неважно, смысл ясен. Но Нагибин явно перехлестнул, утверждая, что для свободы творчества, для вдохновенного запала лучше со всем ничего не знать о предмете, чем знать о нем много. Вот с этим я никогда не соглашусь.

В 1932 году, двадцати четырех лет от роду, я написал историческую повесть «Базиль» — о том, как строился Исаакиевский собор. Прочитав ее, образованный и умный ленинградский поэт и прозаик Константин Вагинов сказал: «Либо автор знал все об этой эпохе, либо не знал ничего...» Действительно, слова эти поразительно совпали с тем, что спустя долгие годы сказал кинорежиссер Михаил Ромм Нагибину по поводу его вещи: «Писать такое вот можно, если знаешь все о герое или если ничего не знаешь...» После чего Нагибин воскликнул в своих «Признаниях»: «Меня аж током пронизало от этих слов. Я понял, что отныне мой метод определен раз и навсегда: ничего не знать...» (Кстати, слова М. И. Ромма можно понимать по-разному и вовсе не обязательно делать из них лишь один радикальный и парадоксальный вывод!)

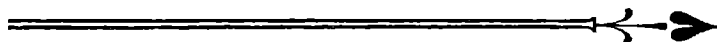
Так вот с «Базилем» дело обстояло и так и не так, как предположил Константин Вагинов, а где-то посерединке. О двадцатых и тридцатых годах прошлого века, когда происходило действие в моей повести, я и верно мало что сумел прочесть («Записки Ф. Ф. Вигеля», еще кое-что из мемуаров), но зато много знал о самой постройке собора. Целую зиму работал в холодных архивах Сената, Синода, где хранились сметы, проекты, ведомости, расчеты с подрядчиками, бесконечные списки работных людей, словом, все, относившееся к строительству, вплоть до служебных склок и доносов... Повесть, как отмечали критики и читатели, получилась небезынтересная, с тех пор она много раз издавалась, но кто знает — она могла быть значительно лучше, обрасти мясом, избавиться от излишнего схематизма и социологизма, если бы я, кроме чисто хозяйственных обстоятельств, дел, документов, знал пошире, поглубже тогдашнюю жизнь Петербурга, страны, вообще житье-бытье современников этого «эпохального» строительства. Уверен, что в любом случае — как удачи, так и неудачи, — стоило заплатить за них полной ценой!

A decorative L-shaped frame composed of thin black lines. The vertical line is on the left, and the horizontal line is at the top. At the top-left corner, a small sprig of a plant with three dark, teardrop-shaped leaves and a few tiny buds extends from the corner.

ЛИСТКИ КАЛЕНДАРЯ

О, погреб памяти! Давно
Я не был в нем...

Велимир Хлебников



ИЗ СТАРЫХ ЗАПИСЕЙ

Смотрит на фасад дома и видит: окна гаснут одно за другим под его взглядом. Другой вариант, значительно более реальный: девушки потупляются под его демоническим взглядом.

— Иди к нам. У нас холодочек есть. И солнышко есть. Здесь солнышко... здесь холодочек.

Он сел, улыбаясь. При посторонних он не умел садиться серьезно.

Небо кажется выше в узком переулке между крышами. И перед смертью.

Идет домой. Последний квартал почти бежит. Так он нетерпелив. Всегда.

Человеческие слезы в качестве лекарства в Персии. Идут за гробом, плачут в губку; потом выжимают.

Пирожное ела перед зеркалом, чтобы не запачкать губ.

Она пробовала гордо раздувать ноздри, но у нее получалось только сопенье.

Дядя Шура на похоронах своей бывшей жены. Стали поднимать гроб на плечи. Он тоже взялся. Кряхтит:
— Ого! Покойничек-то тяжеленький!

Он смотрел на ее желтую безволосую икру, как на бутылку с коньяком. «Ах, черт возьми!» — думал он.

С ним здороваются:

— Здравствуйте!

— Можно,— он снисходительно подает руку.

Старик в трамвае. Сидит, читает, в мягких губах держит пенсне за стальную дужку. По временам водружает пенсне на нос и строго оглядывает публику.

В столовой. Старуха отобедала, встает из-за стола, крестится. Мимо спешат по проходу между столиками, толкают ее, подбивают под локоть.

В столовой. Одинокий старик поел, развернул газету, читает. За газетой невидим для всех, забытый всеми. Вдруг раздается тихое пение. Едоки оглядываются — кто это? А это поет старик за газетой. Покушал — поет.

Развелся с женой, уехал на другую квартиру. Каждый день приходит прощаться: «Прощай, Аня! Прощай навсегда!»

Ломают Благовещенскую церковь на площади Труда. Купол внутри выглядит разбитым шоколадным яйцом.

На пароходе

1915 год. Едет на пароходе тетка с племянником, двадцатипятилетним сельским учителем, поит его чаем, величает Иваном Максимовичем.

— Сахару-то вам еще наложить, Иван Максимович? Поди несладко?

— Сушку-то берите, Иван Максимович.

Они едут в гости на целый месяц и везут с собой два сундука, две большие корзины, постели в узлах. На голове Ивана Максимовича форменная фуражка на каркасе, с бархатным околышем. Он ушел наверх, гуляет по палубе, сидит на скамейке, любуясь пейзажами. Вдали показалась долгожданная пристань. Из люка второпях высовывается теткина голова:

— Ванька, чего ты, дурак, расселся, тащи сундуки-то!

Утро вечера мудренее

Бывший помещик Ширинский живет в деревне, мыслит и встречается с крестьянской девушкой Дарьей, хотя знает, что это нехорошо, потому что он не сможет на ней жениться. После Петрова дня она выходит замуж за кузнеца Михайлу. Ширинский страдает, в день ее свадьбы безумствует, мчится верхом по полям, и как раз подле кузницы его лошадь сбивает себе подкову. Михайло только что вернулся из-под венца, с родичами, гостями празднует свадьбу. Тесть командует:

— Михайло, справь бывшему барину лошадь! Живо!..

Пьяный Михайло пробует справить, делает это неловко, лошадь ударяет его копытом. От ушиба Михайло теряет мужскую способность.

Ширинский внутренне рад, хотя знает, что это нехорошо, продолжает встречаться с Дарьей, дружит с кузнецом. День его распределяется так: утром он пишет статью «Как нам побороть нашу похоть», в полдень идет в лес на свидание с Дарьей, вечером перечитывает написанное за утро кузнецу Михайле.

На антирелигиозном карнавале раздача призов за лучший грим и костюм. Главный приз — флакон духов — жюри присуждает маске, с успехом одетой и замечательно подражавшей соборному протоиерею. Восхищенная публика просит маску открыться. И маска оказывается... самим отцом протоиереем. Он торжественно уносит духи.

«Счастье с ярмарки» — рассказ.
Старуха везет в телеге зеркало с ярмарки — дрянное

стекло в большой рыжей раме, держит его торчком, глядится в него, смеется и плачет. Вечером объявляет домашним, что она, Устинья, помолодела страшенно, морщин нету, губы не утянуло и щеки толстоватенькие.

— Разве же вы не видите? — говорит она и ликует. — Разве же вы не знаете?

И знают все: если этакое бабке привиделось, значит быть ей христовой невестой, значит скоро ей помирать.

И вот после шьет она себе смертное, прощения просит, не ест и не спит, и через неделю умирает от слабости.

Похороны. Зеркало забыли завесить, оно висит подле гроба, и лицо мертвой старухи, кривясь в пузырчатом стекле, кажется подлинно молодым, задорно-счастливым, лукавая усмешка трогает губы, и девичьи щеки раздуваются плохо скрытым весельем...

«Полтора желания писателя Батавского» — сюжет рассказа.

Писатель в отчаянии от бестемья, ему хочется написать новые «Мертвые души» с новым героем и новой причиной к его скитаниям, но он не может придумать сюжета. Пораженный творческой немочью, Батавский готов покончить с собой, — он признается в этом своему приятелю, приехавшему по делам из Харькова.

Через два года приятель опять едет в Ленинград и по дороге читает нашумевший роман Батавского «Инвалидный пробег». Как и в «Мертвых душах», герой романа скитается по Руси, одержимый необычной целью: безногий инвалид, он ищет нэпмана, который откроет торговлю на его имя и тем спасет себя от налогов. Идея проста, но он претерпевает множество приключений, сопровождающих его скитания. Города и сельхозы, Крым и Архангельск, арбузные бахчи и золотые прииски полосуются его маршрутами. Он неутомим и он — калека: ему сочувствуют, помогают, не зная его тайной цели...

Прочитав роман, приятель приезжает в Ленинград и находит Батавского... безногим обрубок! Батавский рассказывает ему о страшных и странных событиях в своей жизни за эти два года. Под довлевшим над ним психозом он выбросился из окна пятого этажа, но не убился, а только сломал себе обе ноги. Суставы неудачно срослись, произошло нагноение — и ноги при-

шлось ампутировать. И вот в больнице его вдруг вдохновляет собственная судьба! Через год роман был написан и издан.

Батавский рассказывает о своей «удаче» там же, где два года назад говорил о своей творческой немочи — в фойе кинотеатра, помещавшегося в доме, в котором он живет. В первую встречу Батавский показал приятелю на полного, седоватого гражданина и сказал:

— Это владелец киношки, мы даже знакомы шапочно.

Теперь он небрежно роняет приятелю, показав на того же самого гражданина:

— Мой компаньон. Предприятие числится за мной.

«Мечтателям — моя притча»

1929 год. Петрорайрабкооп 29. Нищий у двери — открывать, закрывать — с грузными пакетами покупатели ходят, — вечером в 9 и утром в 9. Нищий ждет за услугу копеечку. Не дают. Холод да ситный носят, а сердце дома оставили. Стоит, ждет, мечтает: а вдруг бы ему бы да подали!

Я иду. С собой сердце — теплая булка. Сочувствую, от собственного сочувствия умиляюсь: «Подам! Дам! Три копейки. Три? Три!»

Вся притча? Нет. Случилось: не открыл нищий дверь; замечтался, не видел.

Я, отзывчивый, раздосадован. Не даю. Нет. Остаются 3 копейки при мне. Три? Три.

А он-то о них мечтает. Он-то мечтает!

Теперь все.

«Жгучая драма»

Дети маркиза Д'а, год назад утонувшего в минеральном источнике, — двадцатипятилетний Осмос и двадцатилетняя Диффузия — тайно предаются кровосмесительной любви. Они очень страдают, боясь Рока и людского мнения, но никак не могут расстаться, покончить со своей нечистой любовью.

— Нет, лучше смерть, чем разлука! — восклицают оба в отчаянии.

Но вот умирающий мосье Капилляр, отставной швейцар их фамильного дома, призывает к себе молодого маркиза Осмоса Д'а. Осмос вместе с Диффузией

спускаются в каморку швейцара, и старик открывает им фамильную тайну.

Покойные маркиз и маркиза долгое время были бездетны. У швейцара, мосье Капилляра, умерла после родов жена, и малютку Осмоса усыновила чета Д'а. А через пять лет у маркизы родилась дочь, Диффузия, и маркиза вскоре скончалась от горловой чахотки. Маркиз Д'а одинаково полюбил обоих детей, воспитывал их как брата и сестру, поддерживая уверенность у них и у всех родных и знакомых, что Осмос и Диффузия родные дети его и покойной маркизы.

Поведав коснеющим языком эту тайну и в доказательство показав метрику, мосье Капилляр умирает на руках у вновь обретенного сына.

Вариант Мопассана:

— Любимая! — произнес Осмос дрожащим от волнения голосом. — Отныне мы можем быть счастливы — наша любовь не преступна! — И он распахнул навстречу Диффузии свои объятия.

— Напротив, между нами все кончено, — сухо отвечает мадмуазель Д'а. — Ваше место здесь, мосье Капилляр. — И, брезгливо отряхнув платье, Диффузия покидает каморку.

Вариант Цвейга:

И вдруг тут же в каморке, вместо ковчега законной радости — отныне их любовь не преступна! — к молодым людям подплыл моллюск отвращения. Они остро чувствуют, что признание мосье Капилляра, разрубив жуткую опасность их противоестественной связи, разрубило самую связь: Осмос и Диффузия перестают вожделеть друг к другу.

Осмос твердыми шагами уезжает из каморки в Америку.

Гражданин Амфитеатратов развлекается тем, что посылает в научно-популярные журналы запросы. Два каких-нибудь вопроса посылает во все такие журналы одновременно. Ответы на них в соответствующих отделах «Живая связь», «Ответы читателям», «Почтовый ящик», «Наши ответы» и т. д. примерно таковы:

Журнал «Вестник знания»: 1. Вопрос о любви и ревности — слишком обширная тема для короткого, но исчерпывающего ответа. 2. При нормальном пищеварении отрыжки быть не должно.

«Наука и техника»: 1. По вопросу о любви и ревности смотри книгу проф. Реванш «Биология, физиология, социология и психопатология любви», изд. «Красная газета». 2. При исправном пищеварении отрыжки обычно не бывает.

«Искра»: 1. Вопросу о любви и ревности в современном быту посвятим специальную статью в одном из ближайших номеров журнала. 2. Отрыжка бывает при некоторых неисправностях пищеварения.

«Гигиена и здоровье рабочей семьи»: 1. По вопросу о любви и ревности смотри статью проф. Залкинда «Социальные посылки любви» в № 23 нашего журнала за 1925 год. 2. Отрыжка свидетельствует о некоторых ненормальностях пищеварения.

«Хочу все знать»: 1. См. ответ № 13 подписчику № 1023 в № 21 нашего журнала за 1929 год. 2. См. ответ № 31 подписчику № 3201 в № 12 нашего журнала за 1929 год.

Местная газета. Консультационный отдел: 1. По вопросу о любви и ревности смотри... (стертая печать). 2. Отрыжка после еды бывает... (не допечатано).

Чтобы крысы в амбаре не поели картошку, ее обкладывают репейником, который они не любят — берегут свою шкурку.

Прямая кишка жизни.

Про иностранные книжки:
— Должно, вверх ногами написано.

Сидела недвижно, шевелились лишь губы. К груди был приколот коленкоровый букетик фиалок, под электричеством выглядевший железным.

«Как на памятнике!» — думал Ефрем.

И даже сравнение это, в другое время — смешное бы, — сейчас нелепостью своей пугало.

Редакционный работник говорит, разделяя свою речь знаками препинания: «Вы — запятая — товарищ — запятая — не следите за периодической комсомольской печатью — точка абзац тире — обратитесь — запятая — товарищ — запятая — туда-то — двоеточие...»

Получив очередной том «Литературной энциклопедии», читаю: «Мировая скорбь» — см. «Скорбь мировая».

Это значит — придется терпеть еще минимум два тома.

Известный востоковед Б. имел привычку спрашивать у студентов, что привело их на восточный факультет. Однажды к нему пришел студент, у которого вся голова была обмотана бинтом. Профессор обратился к нему с обычным своим вопросом: «А вас что привело на наш факультет?»

Уши у того были завязаны, и, не расслышав, он решил, что профессор спрашивает, что с его головой:

— Это меня ломовик оглоблей...

— А, тогда понятно.

К военной повести (1934—35)

Петергоф. Балтийская осень. Серое небо за черными деревьями.

Первые морозы, но на танкодроме — запах болота, развороченного танками.

Поет в вагоне женщина с ребенком, поет трогательную песню о Кате, ее любовнике, о ребенке, о том, как она поехала в город искать обманщика, скиталась год по панелям, научилась пить русскую горькую и, встретив однажды своего полюбовника, убила его.

Комроты Шипицын ищет эту певицу по всем вагонам, но она уже вышла из поезда.

Девушка в военной парикмахерской нежно и бережно обращается с головами и лицами молодых танкистов, у которых только еще начала расти борода.

Когда его брила девушка, он, разрезвившись, попробовал посвистать, но она легонько шлепнула его по губам.

Красный кирпичный поселок. Розовые облака на зимнем закате. Очень прозрачный воздух. Затем сумерки, как бы с мелким порошком в воздухе.

Поезд. За окном первый снежок выпал ночью. Сейчас чудесное утро. Кучи камней и кирпичного лома у железнодорожного полотна припорошены снегом — каждый камень отдельно сверху покрыт немножко.

Рыжая кошка в окне красного кирпичного дома.

Ржавые купола на кирпичной нештукатуренной церкви — в тон стенам.

Инвалида порывом ветра сдуло с перрона.

Две женщины, Варвара Николаевна и Марья Александровна, стареющие, некрасивые службистки. (В одном учреждении, но в разных комнатах.) Одна пришла к другой по делу и вдруг, как девочка, опустилась на колени. Та нежно ей говорит: «Дай погляжу в твои ясные глазки...» Хорошо, естественно, никаких сантиментов — просто они сердечно относятся друг к другу. И одиноки.

Воротник у младшего флотского командира застегивается сзади, а спереди ужасно давит кадык. Стоят двое на трамвайной площадке и совершенно одинаково вертят шею.

Значок танкиста — броневой щит, рука (с копьём), перевитая молнией.

Военные жены

Муж вернулся с курорта. В воинской части он очень занят, почти не бывает дома. Жена скучает и злится. Вдруг приходит письмо на его имя. Не показывая письмо мужу, жена распечатывает его и читает. Письмо от женщины, с которой он познакомился на курорте. Из содержания письма еще нельзя заключить об измене, но все равно оно возбуждает у жены ревность и желание скандала. Но настоящего материала для большого скандала еще маловато. Поэтому, отчасти же от скуки, жена отправляет незнакомке письмо от имени своего мужа. Затевается переписка, постоянно усиливающаяся в выражении чувств. Дело доходит до того, что незнакомка, бросив мужа, приезжает в военный городок вместе с ребенком. Только тут жена испугалась — что она наделала! — она хотела скандала, но теперь может потерять мужа... Он, бедняга, и знать ничего не знает. Жена пытается все свалить на него, пользуясь тем, что прибывшая дама забыла дома злополучные письма и невозможно точно установить, кто же их написал. Но рушится и последняя возможность свалить с себя ответственность: супруг незнакомки оказался настолько предупредительным, что присылает эти письма... И все выходит наружу.

Кончается более или менее благополучно. Муж и жена помирились, а незнакомка, приняв много сраму, уехала восвояси.

Набросок начала этого рассказа:

Она долго вертела письмо в руках. Ничто в его внешнем виде не помогало догадаться о содержании. Обыкновенный конверт, из тех, что продаются на почте, с напечатанными вопросами — куда, кому. Незнакомый почерк, похожий на женский. (Но и мужчины иногда пишут круглыми, без нажима, буквами.) Она попробовала поместить конверт против света. Конверт был плотный и ничуть не просвечивал. Адреса отправителя на конверте нет, штемпель размазан.

— Здорово затемнено! — сказала она с досадой и бросила письмо на стол. Оно слетело на пол. Она подняла его и аккуратно приставила к чернильнице.

— Ладно, — сказала она, — так и быть. Пусть он сначала прочтет.

Расчет был правильный. Он не откажется удовлетворить ее любопытство. Так бы и было, если бы он пришел сейчас, сию минуту. Но он, как всегда, запаздывал, ей, как всегда, было скучно его дожидаться, и она решила его наказать.

Музыканты беседуют

Концертмейстер Маринского театра виолончелист Вольф-Израэль очень любил дирижировать. На гастролях оркестра в Кисловодске он должен был дирижировать в очередь с другим дирижером. Его очередь была в четверг. Но в четверг пошел дождь, эстрада была открытая — концерт отменили. В следующий четверг — опять дождь. Вольф-Израэль взмолился к другому дирижеру:

— Давайте переменяемся: ваша очередь будет в четверг, а моя в среду.

Тот согласился. Но на этот раз дождь пошел в среду. С тех пор Вольф-Израэля прозвали «дождливым дирижером».

Курт Зандерлинг

— Я люблю этого дирижера. Когда он захочет, он очень хорошо дирижирует. — И, помолчав, добавил с кроткой улыбкой: — К сожалению, он почти никогда не хочет.

В 1941 году Зандерлинг был приглашен в Ленинград на радио дирижировать одной новой симфонией. В воскресенье 22 июня начались репетиции с оркестром. Утром успели сколько-то поработать, а в перерыве по радио выступил Молотов: война. Но приказа об отмене репетиций начальство Радиокomiteта еще не отдавало, и Зандерлинг счел своим долгом после перерыва продолжать работу. Лишь поиграв еще некоторое время, прервали репетицию. Прощаясь с музыкантами, Зандерлинг сказал:

— Товарищи! Мы непременно с вами еще вернемся к начатой работе. Я уверен, что симфония у нас получится.

Билеты на поезд достать было трудно, — лишь через три дня Зандерлингу удалось уехать в Москву, к семье.

Молодая пара слушает «Пиковую даму». Скучает. Вдруг оживилась: на сцене поют «Мой миленький дружок, Прелестный пастушок».

Парень поднял вверх большой палец:

— О, что-то знакомое. Откуда это?

Слушает оперу «Евгений Онегин». Иногда завязывает узелок на носовом платке.

— Для чего это вы?

— Понравился мотив. Хочу запомнить.

Из балетного либретто:

Раннее утро. Ветхий домик. Покосившееся крылечко. Евгений выносит Парашу.

Два композитора вспоминают город, откуда они родом и где учились в музыкальном училище:

— Помнишь Епифанова?

— Нет, не помню.

— Ну как же, гобоист. Василий Андреевич. Умер. Два года назад. А Сивцова помнишь? Ивана Сысоевича?

— Так он же еще во время войны погиб.

— Нет, после. Году в 1948-м. От инсульта. Хороший был дирижер. А вот духовик, тромбонист Павлов, тот совсем недавно скончался. Прошлой весной. Кстати, помнишь жену Павла Дмитриевича, баритона? Красивая такая женщина.

— Это сопрано, что ли?

— Меццо-сопрано. Рак. Обе груди вырезали.

— Это, говорят, еще ничего. Не влияет.

— Померла. Метастазы туда, сюда. И привет.

— М-да. Ну, а этот... как его?.. (Жест).

— Клементьев, что ли? Он давно помер.

— Да нет... Украинская такая фамилия...

— Дивенчук. Помер, помер. Почил в бозе наш Дивенчук. А между прочим, неплохой был мужик. Ты давно был у нас?

— Давно.

— Училище совсем захирело. Все хорошие педагоги

померли. Инструменталисты буквально все. Знал такого кларнетиста Милёхина?

— Нет, не знал.

— Помер. Еще пять лет назад был жив, и вдруг отдал концы. Да кого ни возьми... Прямо не узнаешь города. Ты где останавливался, когда приезжал? У своих?

— Нет, в гостинице.

— Померли, что ли, свои?

— Да нет, квартира у них малогабаритная. Не хотел стеснять.

— На Северном конце, кажется, живут?

— Нет, на Южном.

— А, это Тугарины на Северном конце жили. Померли. В позапрошлом году. Чай будешь пить? Хотя... чай, говорят, не водка, много не выпьешь. — Вставая и выходя из-за столика: — Гребенёва знал? Нет? Ну и правильно. Помер Гребенёв.

Джон Данкер (псевдоним) рассказывал о рекламе, которую ему в 1927 году устроили в Минске. Тогда он играл на банджо, и вот на афише, возвещавшей о его гастролях, было написано: «Джон Данкер (Америка). Соло на бандже».

Фамилию «Сорок собак» переменял на «Вишневский».

Оптимист (угодив в пасть льву):

— Может, он меня еще не проглотит.

Находясь в львином желудке:

— Слушайте, а вдруг его мною вытошнит?

В прямой кишке:

— Как хорошо, что он меня плохо переварил!

Фарс — жанр глубоко человеческий, психологический, в отличие от водевиля, жанра насквозь условного. Недаром существует трагифарс, тогда как трагиводевилль — это нонсенс. Трагифарс — явление столь же естественное и впечатляющее, как, скажем, мужская

истерика. Это может быть противно, но вполне жизненно.

Часто ловлю себя на том, что непроизвольно кланяюсь, когда кланяются (здороваются) на сцене или даже на экране. Вот всесильный реализм!

Знаменитый пианист, играя на эстраде, видит все, что происходит в зале — кто как слушает, кто дремлет, видит знакомых, замечает новые для него лица. Это не мешает его вдохновению.

За обедом говорю соседке по столу:

— Произошла непоправимая девальвация женских ног... Что вы смеетесь? Помните, что писал Бунин в «Митиной любви»? «Самое страшное в мире — женские ноги...» И вдруг эти слова приобрели прямой смысл: из эротической приманки, укрытой в таинственной сени платья, белья, нижних юбок, женские ноги настырно вылезли на всеобщее обозрение и — боже мой! — чаще всего они действительно страшны: короткие, толстые, кривые, худые, жилистые... Но еще хуже, что и красивые ноги в значительной степени обесценены мини-юбками.

Старый актер хвалил молодого:

— Замечательно, голубчик, в этом спектакле сыграли. Очень талантливо!

— Леонид Федорович, я там не играю...

— Все равно... я и говорю: если бы играли, замечательно бы сыграли! Очень талантливо!

Вывеска: «Прием вторичного литературного сырья».

О фотографе, молодом отце:

— Пленки проявлять пошел.

В конце 20-х, начале 30-х годов каждую осень надо было являться в райфинотдел и заполнять «декларацию» (сведения о заработке) для подоходного налога. И всегда я встречал в коридоре красивого темноволосого нэпмана, на которого все невольно обращали внимание, особенно женщины. Как потом выяснилось (мы познакомились позже), это был никакой не нэпман, а чудесный детский писатель Виталий Бианки, настоящий поэт природы...

В 1954 году мы снимали несколько эпизодов фильма о Ломоносове в Одессе, поскольку Ливанов там был на гастролях МХАТа. Снимали обычно ночью, из-за жары, а днем спали, обедали, купались. Однажды пошли на пляж в день солнечного затмения. Пляж был полон. Все были либо в темных очках, либо с закопченными стеклами. Я сидел на песке, а передо мной стояла весьма плотная одесситка, из-за которой я ничего не видел (а другого места не было).

— Нет,— уныло сказал я нашим операторам, сидевшим рядом со мной,— это неверно, что з а д м е н е е с о л н ц а... он значительно его более!

В ресторане всегда полно жрецов и жриц. Они истово, испытывая священный трепет перед вкусной едой, творят обряд.

Подписывает письмо: «Преданный Вами...»

На похоронах Б. Ф. режиссер Г. М. Р., заключая свое надгробное слово, сказал:

— Так будем же работать, чтобы Борису Федоровичу не пришлось за нас краснеть.

А Борис Федорович и рад бы покраснеть, но — лежал зеленый-презеленый в гробу.

Инженер, перед тем как зверски избить свою жену, предусмотрительно вызвал на дом «скорую помощь».

Человек умирает от всего, а рождается от одного.

Женщина оттаскивает от забегаловки мужа, в отчаянии крича:

— Идем, идем домой! Тебя дома маленькая ждет!

Видел сон: вернулись мы в конце лета в город, вошли в бывшую нашу квартиру на Васильевском острове, и полез я достать с полки томик Люиса Синклера. Ищу-ищу, шарю-шарю,— на книгах пыль страшная,— и вдруг из-за полок протягивается рука и крепко сжимает мою руку. Вот и сам обладатель руки высунулся до пояса: высокий, худой, стриженный, глаза светлые — и нагло, насмешливо на меня смотрит: мол, что, попался?

Я понимаю, что это не человек забрался за полки, а нечто вроде домового или кикиморы мужского пола. Летом зародился из пыли и вырос, вымахал в ражего детину. Теперь придется с ним как-то ладить, а сейчас — сейчас мы с ним обменялись предварительным рукопожатием. Зла он мне, может, и не желает, но о существовании своем заявил.

Человек молится и так кончает молитву:

— Благодарю тебя, господи, за внимание.

— Мамочка, что раньше изобрели — телевизор или книжки?

— Кажется, книжки, деточка.

Асфальтом залит мир безбрежный.

В Коктебеле мы как-то позвали Николая Федоровича Погодина на прогулку в горы, подальше от городской культуры.

— А зачем? — сказал он. — Мне и здесь хорошо. Бог дал людям землю и заповедал: «Асфальтируйте ее и живите».

— Ни дня без строчкá! — воскликнул писатель-грибник.

— И сморчкá,— добавил другой.

Когда тебе кто-то, прощаясь или здороваясь, очень долго трясет руку, ты всегда в затруднении — когда же можно начать ее освобождать.

Чехов прелестен тем, что у него в с е н е о к о н ч а т е л ь н о. Треплев и его мать могут наговорить друг другу черт знает что, чудовищные вещи... а через минуту они явно любят друг друга и молят простить их...

«Ты сказал — я поверил. Ты повторил — я стал сомневаться. Ты стал настаивать — я убедился, что это ложь».

(Чье?)

В Дом отдыха приехал доктор каких-то наук. За завтраком он беседует с соседкой по столу, довольно простой женщиной, которую хочет, как видно, заинтересовать собой и одновременно привлечь своей добротой, простосердечием. Он спрашивает, она отвечает. Он очень серьезно воспринимает каждый ее ответ, старается полностью его осмыслить, кое-что переспрашивает; изредка кивает своей большой, стриженной ежиком седеющей головой.

— Мне говорили, что завтрак здесь с девяти до десяти... Сейчас двадцать минут... Как? С девяти до половины одиннадцатого? Ну да, не все отдыхающие приходят вовремя. Понимаю. Так. А обед? От двух до трех. Ближе к трем. Конечно, конечно, это нормально. Когда же ужин? Ах, так? Ужин с восьми до девяти... стало быть, гм, между обедом и ужином проходит больше пяти часов. Это, пожалуй... Ага! в промежутке полдник. В котором часу, говорите? От пяти до шести. Это неплохо. Что обычно подают к полднику? Чай с булочкой. Или с сухариками. Ну, что ж... А если вы не придете? Ах вот как, булочка остается к ужину. Я так и думал. Теперь позвольте спросить вас...

Разговор продолжается и включает в себя весь

бытовой обиход: где отдыхающие гуляют, далеко ли ближайшее почтовое отделение, как обстоит с горячей водой и т. д. Вдумчивый, внушительный и вместе с тем очень дружелюбный тон соблюдается до конца беседы.

Недурной эпизод для кино:

В самом людном квартале Невского супружеская чета собирает на панели рассыпанную кем-то из них охотничью дробь, только что купленную в магазине. Легко представить себе разные варианты того, что они могут говорить друг другу... И кто-то из прохожих может поскользнуться на этой дроби!

Книга по собаководению на основе павловских методов. Часть III. «Хозяин как основной раздражитель для собаки». Прочитав, обиделся и расстался с собакой.

— Читала у Надсона? «Поцелуй — первый шаг к охлаждению».

— Господи! Сколько мы таких шагов сделали!

Жена — мужу, потерпевшему служебное крушение, ныне на пенсии:

— А помнишь, сколько у тебя было замечательных резолюций?

Ловкач и блатмейстер искренне восхищается чистым, неподкупным человеком, смотрит на него влюбленно, как на героя, потрясен его душевным подвигом, почти как самосожжением на костре. А сам бежит потом по своим пошлым и грязным делишкам. «Это не для нас, — говорит он, вздохнув, о подвижнике и его подвигах. — Мы люди маленькие, нам лишь бы прожить...»

— Неужели вы не помните своих произведений?

— Представьте себе, иногда не помню. (Помолчав.) Я даже ваши не все помню.

— Ответ не считается! Слишком долгая пауза!

— А я не знал, что нужно всегда отвечать быстро, как на базаре.

«Здесь не говорят о литературе». «Ни о чем не спрашивайте только из вежливости». Развесить дома побольше таких плакатов — и гости прекрасно проведут время.

Прощаясь у поезда, торопливо целует своих детей — от гиганта студента до грудного ребенка.

Новых людей делать легче, чем лечить старых.

Как хлестко и как неверно сказать про Гоголя: инженер мертвых душ!

— Аскет, аскет, а золотой зуб во рту!

В ресторане важно и строго оглядывает всех, разбивая ложечкой яйцо.

Человек с бриллиантом на перстне сморкается осторожно, чтобы не оцарапать нос.

Помню, в середине 20-х годов на углу Садовой и Невского сидел сравнительно молодой мужчина с картонкой, висящей на шее: «Подайте поэту!» Никто его не сгонял с места. Это был поэт Тиняков, автор известных уничижительных строк:

Любо мне, плевку-плевочку,
По канавке (вариант: по Фонтанке) проплывать.

Известно, что Наполеон боялся мышей. Представляю, как при виде мыши он вскакивал на барабан и принимал типичную для него позу: скрестив руки, как

бы обозревал войска или обдумывал предстоящую операцию.

Интересный мужчина всю жизнь гордился своими яркими, блестящими глазами. Оказалось, что они блестят от глистов.

Исполнитель эстрадных психологических опытов стал склеротиком: все путает, все забывает — кто, что, почему, сколько.

— Ах ты мой суженый, укороченный!

— А чем занимается их экспедиция?
— Ищет вредные ископаемые.

Фасон рубашки: — Эх, распашонка!

«Беспокойная старость» постепенно стала пьесой-анонимкой. Из безлюдного фонда.

Следовало бы переменить заглавие моей пьесы «Камень, кинутый в тихий пруд» на «Камень, канувший в тихий пруд». Судьба обязывает.

Он хотел бы всю литературу уложить в пропрустово ложе.

Николенька Завьялов (3,5 года): «Когда я бегу, у меня все подпрыгивает — ноги подпрыгивают, руки подпрыгивают, живот подпрыгивает!» Осенью за рекой, задумчиво: «Листок облетел. А ветра нет». «Наш Валера все надписи на катерах умеет прочесть» (с гордостью о семилетнем брате).

Когда Боря и Коля Карловы приехали учиться в Ленинград, они жили у своих родственников, где была их троюродная сестра — глухонемая. Она, как большинство глухонемых, читала речь по губам. Карловых она долго не понимала, потому что их артикуляция соответствовала вятскому, а не ленинградскому говору. Самое смешное, что Карловы были урожденные ленинградцы (петербуржцы) и до девяти лет (до 1917 года) жили в Петрограде.

Совсем прежний, хорошо воспитанный мальчик сокрушенно отвечает на вопрос учителя:

— Запомнювал, Иван Федосеич...

Анна Семеновна (сестра-хозяйка) обещала сажать к нам за стол лишь по большой нужде.

Когда он ко мне приходит и сидит у меня, мне очень хочется спать. Зато когда он от меня уходит, я чувствую прилив бешеной энергии. Научно это можно объяснить так: вся накопленная за время его визита потенциальная энергия мгновенно превращается в кинетическую. Проще говоря, сдерживаемая злость — в жажду деятельности.

— Важнее...

— Главнее...

— Тело, вращающее, понятное дело, ся...

(Из доклада)

— Подвизывается в месткоме... (вместо подвизается)

— Содерживается в жидкости...

— Униансы (вместо «нюансы»)...

(Из беседы)

Заболел Афоня (Афанасий Матвеевич, наш дачный хозяин в деревне) — 38°, 38,9°, 39,9°. Александра Степановна оставляет его на целый день одного — бегаёт

в Михайловское, ездит в Пушкинские горы за сахаром, чтобы сварить брагу для поминок. А он выжил!

Авиавек: собака лает и все оглядывается, чтобы никто не зашел в хвост.

Разница между автобиографической прозой Мандельштама и Пастернака еще и в том, что Мандельштам видит и с удовольствием изображает внешний мир (пусть подчас слишком изысканно и образно), а у Пастернака главное — это все-таки его собственные порывы и увлечения; нам невольно кажется, что все приметы и детали возникли от творческой щедрости художника, от его внутреннего захлёба, — они как бы служат покорными выразителями его самого. Повторю: в прозе. В стихах он бывает куда реалистичнее:

Серебрятся малины листья,
Запрокинувшись кверху изнанкой...

(Пусть дальше и следует, как всегда, личное ощущение:

Даже солнце сегодня, как ты, —
Даже солнце, как ты, северянка.)

Когда Алеша ел мясо, я сказал ему, показав на тарелку и на его живот:

— Из животного мира...

— В животный мир! — быстро договорил он (9 лет).

Двадцатые годы. На станцию пришел поезд. Пассажиры бросились к ларькам. В суматохе у кого-то свистнули бумажник. Воришку тут же поймали, бумажник вернули, раздался свисток, и поезд медленно тронулся. Пассажир в галошах на босу ногу нехотя бежал к своему вагону, оглядываясь, и по лицу его было заметно, что он неудовлетворен чем-то... И люди поняли, люди оценили его чувства: доброхоты из местных жителей, которым некуда было торопиться, подтащили к нему ворюгу, и пассажир от всей души вlepил ему оплеуху. Затем подхватил спадавшие галошки и босой поска-

кал по грязи догонять свой вагон,— справедливость восторжествовала.

Семнадцатилетний сын нашего дачного хозяина в Кясму, унаследовавшего от Альвины дом и другое хозяйство, приехал на каникулы из мореходной школы, где он учится на радиста, и принялся электрифицировать дом, чердак, баню, сараи. Все время ходит с коловоротом, задрав голову к потолку, чтобы еще где-нибудь просверлить дыру для электрических проводов. А не видит, что дом такой ветхий, что только он стукнет, как сразу сыплется мусор из щелей в стенах и потолке. Когда Рихард включит все свои светильники,— дом засияет десятками дыр — издалека будет виден, как иллюминированный!

А мы не можем им это объяснить: по-русски плохо понимают (приехали из какого-то глухого района). Покажи им мусор, который сыплется из-под обоев,— подумают, что мы хвастаемся: эка, сколько мы в своей комнате сора накопили! Показали им, скажем, оконную раму, которую я починил еще шесть лет назад, при Альвине, они поняли это так, что я раму сломал...

Девушка лет двадцати пяти выскочила из дома или из общежития принарядившаяся, миловидная, полная жизни,— и в растерянности стоит, не зная, куда пойти. Она одинока, друга у нее нет,— куда, к кому ей идти в большом городе, полном чужих людей? Очень нам ее стало жалко. Тем более что девушка уже не первой молодости, лучшая пора жизни прошла.

Про мужа, навещающего нередко свояченицу, с которой, возможно, у него роман:

— Да уж мой Яков даром на пятый этаж подниматься не будет!

Проснулся утром — разорван рот, кровоточит с правой стороны.

— Должно быть, во сне кричал «ура!».

Робкий был человек, чувствительный. Жена на него прикрикнет — уже инфаркт. Сам себя ненароком испугается — инсульт.

Когда в Доме творчества живет М., путевки должны продаваться за половинную цену. И каждому ежедневно выдавать бесплатно бутылку молока — за вредность.

Стоим на перроне в Комарове. Я говорю:
— Здорово все-таки у него:

Один удой
 давай сядой (*жест на себя*),
Другой удой —
 тудой! (*жест налево*).

Моя спутница (давний специалист по Маяковскому):

— Да, верно, здорово!.. (*Погодя.*) Я забыла, в каком это стихотворении?

— Ну как же! «Марш работников молочных совхозов».

— Ах да, конечно!

— Раечка, это я сейчас придумал...

— Мой папа... папочка... — с чувством говорит глубокий старик.

— Боюсь!

— Почему? Ведь это тебя все боятся.

— Боюсь, что перестанут бояться...

Помню в детстве на котельническом вокзале молодую пару. Сидят, молча обнявшись, на станционной скамье под ясенями, он накрыл полрой шинели ноги своей подруги: осень, зябко, моросит дождь. На какую войну она его провожала — не помню. Наверное, на гражданскую, потому что он в старой шинели, значит, уже побывал на германской, и окружение соответствующее, и восприятие мое уже не младенческое — смог проникнуться настроением этой разлуки.

С 1928 года, со времен консультации в журнале «Резец», помню фразу одного молодого автора: «Он держал ее крепкие, маленькие, как шестидесятикопеечные черные арабские мячики, груди и говорил с ней хорошо, хорошо, по-товарищески».

Сейчас можно добавить одно: таких дешевых и прочных мячиков я давно не встречал в продаже.

Сюжет для пьесы (Комедия? Фарс?)

В провинциальном вузе, где-нибудь в Перми, работает молодая женщина, молодой научный работник. Зовут ее, скажем, Т. Время от времени сюда приезжает из Москвы известный профессор Б. У Т. роман с Б., ее научным руководителем. Она полностью под его влиянием и страстно в него влюблена. Он действительно умный, талантливый, интересный, хотя и далеко не молодой человек. Диссертация, которую Т. пишет, навеяна также его идеями. Впрочем, у нее есть основание усомниться в том, правильно ли она выбрала себе путь в науке, — тема ее диссертации кажется ей сейчас уже не такой безупречной и оригинальной, а порой и вовсе незначительной.

Т. знает, что у Б. в Москве есть семья — пожилая жена, которую он не любит, и взрослые дети, и Т., по существу, ни на что не претендует, как только быть его молодой подружкой. Но обстоятельства складываются так, что в этом периферийном городе состоялась научная конференция, симпозиум, как любят теперь говорить. На этот симпозиум приезжают научные силы из других городов, в том числе, конечно, и из Москвы. И тут вдруг оказывается, что у Б. чуть ли не в каждом университетском городе по такой подружке — одна постарше, другая совсем юная... Более того, у нескольких из них — похожие темы для диссертации, над которыми они усердно работают, благодаря своему вдохновителю и опекуну. И у каждой подружки хранится дорогое ей сердцу письмо от Б., где тот пишет (вдохновенно и пылко), что адресат — это единственный в мире близкий и дорогой ему человек, что если бы не она (имярек), то он бы вообще не знал счастья...

«Подруги» сходятся и «зачитывают» вслух эти поразительные документы. В довершение всего оказалось, что настоящей семьи — с нелюбимой немолодой женой и взрослыми детьми, из чувства долга перед которыми

Б. не мог уйти, бросить эту семью, — нет и в помине. Эта выдуманная семья служила лишь ширмой, чтобы не жениться на «подругах». Ясно?

Это не драма, скорее наоборот, — поэтому «подруги» со злорадным удовольствием учиняют «суд и расправу» над Б., своеобразный розыгрыш, сочинив и проведя в жизнь сложную издевательскую процедуру, цель которой — обличение смехом, несмотря на высокий авторитет этого ученого селадона. Это и будет второй (а возможно, и основной) акт этой двухактной пьесы.

(1960, Котельнич)

В своем «Путешествии в Армению» О. Мандельштам назвал Матисса «художником богачей», которым «незнакома радость наливающихся плодов». Тут двойная ошибка: и Матисс не был художником богачей, и богачи могут чувствовать «радость наливающихся плодов». А почему нет? Вообще в прозе и публицистике своей Мандельштам иногда несправедлив и очень пристрастен. Правда, порой отступал от прежней неприязни, — например, к Дарвину, — и как-то представил себе, что Дарвин и Диккенс сидят за одним столом и беседуют, уж они-то нашли бы общий язык. Разумеется, с ними сидел бы и Пиквик... В этой доброй фантазии есть что-то честертоновское!

В 1919 году в журнале «Летопись Дома литераторов» было помещено письмо Вас. Вас. Розанова, обращенное к Петроградской синагоге. Умирающий Розанов просил синагогу обеспечить его семью, подарив ей корову или хотя бы козу...

Меня поразила цинизм (или безграничная наивность) этого письма. Стоя уже обеими ногами в могиле, Розанов извиняется перед евреями за свои прежние перед ними грехи и вместе с тем в самой просьбе откровенно насмешлив: чего стоит одна коза, словно сошедшая с картин Марка Шагала!

Когда-то в эстонском местечке Кясму нашими соседями по даче была семья из двух старых женщин и старого, но молодцеватого мужа одной из них. У нас были

смежные комнаты и общая кухня, и мы часто слышали их разговоры. Репертуар был примерно такой:

— Когда я на него смотрю, у меня чешется пуп.

— Ш-ш-ш! — укоризненно.

— Ну что я сделаю! Чешется пуп...

Или: — Мясо молодое, оно скоро сварится.

— Ах, мясо молодое?

— Да. И свеклу я уже положила.

— А не рано?

— Свекла молодая.

— И свекла молодая? Все молодые, одни мы старые...

А вот они обсуждают такое происшествие: паучок утонул в тарелке. Сначала еще барахтался шестью лапками кверху, потом затих.

— Может, сделать ему искусственное дыхание?

— Да у меня рук для этого не хватит...

Они всегда шутят, острят, и мы смеемся их старушечьим шуткам.

Репертуар Степана Андреевича в другом роде. Он уже не раз сообщал, что первый этап склероза — забыть в уборной очки или спички, второй — забыть застегнуться, третий — забыть, зачем туда пришел, последний — обойтись вообще без уборной...

Невольнo заключишь, что женщины дольше остаются разумными и интеллигентными, чем мужчины!

Зашли на днях в ДЛТ и увидели огромную очередь. За чем? За глобусами... Какая-то женщина взволнованно поделилась своими сомнениями:

— Не знаю, брать или нет... Ведь некоторые по две штуки берут...

Начальник пересыльной тюрьмы бил всех вновь прибывающих арестантов, особенно бывших военнопленных, крича им: «Мой сын — Герой Советского союза — погиб, но не сдался, а вы!..» И вдруг среди арестантов оказался его сын... Теперь начальник на пенсии, живет у сына, нянчит внуков.

Я сейчас слушал очень талантливую музыку Родиона Щедрина к гениальному роману Толстого «Анна Каренина», просматривал талантливую книгу В. Пескова

«Отечество» об очень талантливой стране — России, и был очень рад, что я русский, хотя сегодня я не очень здоров и не мог работать так, как хотелось бы.

Эпиграф, который я взял в 1943 году для пьесы «Великодушная война» («Даунский отшельник») — о Дарвине:

«Я слишком люблю Англию и слишком мало ее видел, чтобы говорить о ней».

«Я слишком люблю Англию и слишком хорошо рассмотрел ее, чтобы писать о ней».

Это одна и та же строка Стендаля, различно переведенная в двух русских изданиях: «О любви», т. II, стр. 22, изд. 1915 г., и «О любви» — Собр. соч., т. VIII, стр. 130, изд. 1935 г.

Писателю, жаловавшемуся на творческий кризис после с блеском написанных им зарубежных путевых очерков.

— А вы не пробовали воздерживаться от остроумия, когда пишете? А также от виртуозности как синтаксиса, так и лексики. Роман — не эссе. Стендаль, например, говорил, что ему н е л е г к о не острить в прозе. А вот Гейне острил всюду, но зато не писал романов...

Можно преодолеть лень, усталость, инерцию и выработать в себе второе дыхание, даже третье, — н о л е г к о е дыхание — это, как видно, от бога!

Впечатление от телепередачи «Очень разные повести»:

Актер может быть бездарен, это его святое право, но текст-то он должен знать! Не перевирать и не сокращать его на ходу! Так могут выпасть как раз главные слова, главный смысл. Кроме того, хорошо бы Дарвину не выглядеть персонажем из Островского, а также не трубить своим голосом, как на Страшном суде. Но это уже максималистские пожелания. А вообще — чудовище огромно, озорно и Лайель!

Мешок, набитый собой, своими остротами, воспоминаниями, болезненной мнительностью и страхами, сложностями с женой, дочерью, ее мужем, свекровью. При всем этом витиевато талантлив.

В прошлом: муж, погибший на фронте, любовники, — один покончил с собой у них в доме. В настоящем: молодой интересный муж, прелестная годовалая дочка, женатый сын, невестка — врач-дерматолог. Наружность огромного барбоса, набрякшего сизой кровью, хохочет, прыгает, но по-одесски практична и осторожна.

Новичку-кулинару: «Как борщ — это у тебя не вышло, как компот — прекрасно».

Сюжет для короткометражной комедии:

В трамвае, в пору нашествия амнистированных, один гражданин захотел высморкаться. Хватить — нет платка. Хватить — и носа нет, бритвой отрезали.

В одесской гостинице на балкон вышел человек, деловито выбил пробку из бутылки. Ушел. Через четверть часа появился, поставил бутылку, погрозил ей пальцем. Ушел. Через пять минут появился, покачиваясь, сделал несколько неопределенных жестов. Ушел. Еще через пять минут появился, схватился за голову, отнял руки от бессмысленного лица, упал через порог на спину.

На другом балконе, тоже выходящем на двор, видел изо дня в день пожилого командировочного, вышивающего на пальцах.

Надпись на могильном камне в Котельнице:

«Здесь сгоревшие рабы девицы Лидия 16 лет, Мария 7 лет, деревни Степаны, 17 мая 1 час ночи. В глухом без окон помещении услышали родители рев, старались добыть через стену, стену не проломили и так сгоревшие успокоились с ревом. От любящих родителей Вечная память!»

Общее корыто у входа в школы, в учреждения — мыть обувь, главным образом резиновые сапоги, в которых все ходят в этом утопающем в грязи городе.

— Мама, а что делают комары в лесу, когда нас там нет?

Август 1965

Надюша спросила санитарку в больнице, когда дядю Колю утром нашли уже мертвого, не заходила ли она ночью в палату, не видела ли, как он умирает.

— Заходила. Часа в четыре. Тогда он еще пищал.

А когда он был жив и все слышал и понимал, заведующая отделением, цветущая молодая докторша, вернулась из отпуска и спросила, мельком взглянув на дядю Колю:

— Это еще откуда такого старикашку выкопали?

Пародийный детектив: разоблачение глухонемым сыщиком глухонемого осведомителя, работавшего в коллективе глухонемых. У него оказался прекрасный слух и чудесный тенор, которым он незабываемо исполнял — сначала песни без слов и сольфеджио, а потом, когда его разоблачили — «Я помню чудное мгновенье» и «Пусть солдаты немного поспят».

«Вперед через трупы!» — это не только война, революция, но и обыкновенный быт. Вот сюжет для изящного детектива:

В семейном доме вторую неделю гостят дальние родственники. У хозяина дома пропадает бумажник с деньгами. Подозрение падает на проходящую прислугу. Но увлекшийся следствием и сыском хозяин находит настоящую преступницу — молоденькую, гостящую у них племянницу. Оказывается, она нарочно украла бумажник, чтобы обратить на себя внимание, заинтересовать собою хозяина.

А дальше — неожиданный поворот безобидной до сих пор истории. «Сыщик» совершает бесконечно более тяжкое преступление: убивает жену, увлекшись молоденькой племянницей. Мать жены разоблачает их обоих.

Р. толковал о трагедии сегодняшнего молодого писателя, постоянно испытывающего огромное сопротивление и натиск эпохи.

— А вам не кажется,— мягко спросил я,— что молодые писатели сейчас иногда напоминают собой излюбленные номера мимов: идти против ветра. Ни на сцене, ни в зрительном зале нет ни малейшего дуновения, полный штиль, а они изо всех сил показывают, как они борются с ветром, и действительно не могут сделать вперед ни шагу!

Тете Шуре 86 лет. Ее любимое выражение, когда она собирается уходить домой: «Аллегро удирато!» Так сказала она и вчера, уходя после трехдневной слабости, когда она большую часть дня лежала и спала и ничего не могла есть, и вообще мы уже начали думать, что ей не встать. Ан нет: на четвертый день последовало «Аллегро удирато!» и тетя Шуринька на неделю опять исчезла. Она любила свою светлую комнату на углу Пушкарской и Съезжинской.

Тетя Шура, когда ее спрашивали, какую она кашу любит, всегда отвечала: «Все равно». Пока я ее не спросил: «А хотите каши из все-равна?» Тогда она рассмеялась. Дошло. До нее всегда доходил юмор, равно как и она умела и любила шутить. Как-то утром вышла из спальни в халате, накинутом поверх ночной рубашки. Я говорю: «В бальном платье». Она поправила: «В банном платье». А сама еле дышит. Хотя когда человек шутит — не верится, что он смертен...

Тетя Шура рассказывала, как один ухаживавший за ней молодой человек пришел на четвертый день пасхи и хотел похристосоваться, то есть поцеловаться, с ней, а она сказала, что христосуется только в первый день... Он запомнил и на следующий год пришел в первый день пасхи: ей пришлось выполнить свое обещание и правило. Вспомнила она это через семьдесят лет. Увы, молодые люди теперь не столь терпеливы и памятьливы...

Шутки тети Шуры часто имели обратный смысл:
— Я не сделала... (Значит, сделала.)

- Я не умею! (Значит, умею.)
— Зачем зашивать? Рваное красивее.
-

За месяц до смерти, уже не вставая с постели, когда к Наташе вызвали ночью врача и он оказался молодым мужчиной, тетя Шура нашла в себе силы пошутить:

- А ко мне, небось, одни старики ходят!
-

В Доме отдыха всех достигших шестидесятилетнего возраста (и много выше) выстроили на спортплощадке, и они троекратно прокричали высоким голосом:

- Инсульт-ура! Инсульт-ура! Инсульт-ура!
-

1917 год. Лето. Едем на пароходе по Каме. На нижней палубе кормы татары бреют друг другу головы. Большие ножи (не бритвы), кровь от порезов и ссадин, необычность самой операции и то, что проделывают они ее почему-то не дома, а на пароходе, все это производило на меня не просто странное, но даже устрашающее впечатление. Глядел я на это зрелище с верхней палубы: мы ехали во втором классе, а татары в третьем. Интересно, были ли среди них Рахмановы...

Когда я учился в начальной школе, в большую перемену к нам приходила баба — торговать пирогами. Деревенские ученики покупали их нарасхват, в основном те, что из дальних деревень, ночевавшие в городе. Остальные брезговали, поскольку кто-то сказал, что эта баба в земской больнице моет покойников.

Миграция белок через Котельнич — в начале 900-х годов — по крышам домов, по деревьям. Явление паразитическое! Очевидно, было жаркое лето, где-то горели леса. Может, вызвана была эта миграция и другими причинами, сам я ее не видел, меня и на свете еще не было, но папа не мог этого придумать, — не тот характер! — значит, происходило на деле.

Моя соученица Мухлынина — всегда подкрашенная, нарумяненная (в 1920 году!) красивая девочка с манерной походкой — вышла замуж за начальника котельнической тюрьмы, еще дореволюционного офицера — типичную военную косточку. Я видел их свадьбу, и она произвела на меня гнетущее впечатление. Мухлынина выглядела идеальной невестой, а жених был явно в корсете, чтобы не развалиться на части... Художник Пукирев не мог бы найти более идеальной пары для своего «Неравного брака». Смотря на Мухлынину, я вспоминал, как она шла между партами к классной доске, вихляя бедрами и вертя плечами. Зачем она покидала свою «камчатку» (Мухлынина всегда сидела в самом заднем ряду), зачем шла на вызов учителя, непонятно: ни на один вопрос она не могла ответить, ни одной задачи решить, ни одного географического пункта на карте показать; стояла у доски и молчала, моргая подведенными глазами. Может, она заранее знала свою женскую судьбу и потому решила — ничего не знать больше. Зачем же она ходила в школу? Кстати, она была из деревни. Откуда она успела набраться щегольства самого последнего разбора? Но еще раз скажу, что на свадьбе мне было ее очень жалко.

Не переводя дыхания

Двое молодых людей поздно ночью вернулись на дачу, на которой живет один из них. Они собирались на рыбалку утром, горожанин хотел приехать сюда на первом поезде, но вышло так, что они вместе провели в городе вечер, выпили и решили вместе приехать и переночевать на даче. По пути у них завязался нервный личный разговор, который они заканчивали уже в саду, под деревьями. «Горожанин» намекнул, что «дачник» зря верит своей невесте (тоже живущей неподалеку на даче). Она готова крутить чуть не с каждым, в том числе и с ним, его другом. «Дачник» оскорбился за нее, схватил «горожанина» за грудки и стал трясти, заставляя взять свои слова обратно. «Горожанин» тоже разозлился (винные пары еще не выдохлись,— оба были хоть и не пьяны, но сильно возбуждены) и так сильно ударил «дачника» головой о дерево, что тот свалился без сознания. Чувствуя, что случилось что-то непоправимое, «горожанин» стал хлопотать около него, расстегнул рубашку, послушал сердце — оно не билось, оче-

видно он причинил своему другу такую мозговую травму, что тот мгновенно умер. Хмель сразу вышел из «горожанина», и на него напал такой страх за себя — он убийца! — что, вместо того чтобы позвать домашних, сбегать за врачом, он позорно бежит без оглядки, оставив недвижимое тело друга под деревом.

Но куда бежать? Поезда не ходят уже (и еще), значит, надо провести где-то время до первой электрички. Он идет к «невесте» своего бывшего друга; притворившись, что его привела сюда влюбленность, страсть, он проводит, не отходя от нее, всю ночь. «Невеста», заподозрив неладное из всего его поведения (поздний ночной приход, разговоры, настроение, что-то скрывает, о чем-то умалчивает и пр.), не согласилась на близость. Был только тяжелый нелепый флирт, который трудно даже назвать флиртом...

Рано утром он уходит, говоря, что они условились с ее женихом рыбачить. И действительно, он является туда на дачу — с намерением признаться в своем неумышленном убийстве. Так или иначе, он оказывается в саду — где произошел вчерашний кошмар. На даче пустынно, никого нет — ни под деревом, ни, по-видимому, в доме, который заперт. Собственно, эта пустота вполне объяснима: найдя тело брата, сестра его, жившая на даче, вызвала «скорую помощь» или милицию и вместе с ними уехала в город, в больницу или куда-нибудь еще... Но крепнет и робкая надежда, что все еще кончится хорошо: его друг жив... вместе с сестрой его ищет... они помиряются... и т. д. Но как же теперь с невестой, к которой он так нелепо и безобразно приставал ночью?

В это время появляется невеста, обеспокоенная всем происшедшим ночью — тем, что может потерять жениха, если до него дойдет слух о сегодняшней ночной сцене между ней и его другом. Она застаёт «друга» тщательно осматривающим землю вокруг того дерева, где произошла драка. Крови нет, но трава измята на большом расстоянии. Видно, что кого-то тащили от дерева или он полз сам... И «невеста» догадывается. «Ты убил его! — кричит она. — Не думай, что я стану молчать обо всем, как ты вел себя ночью! Ты преступник! Я никогда не прощу тебе, что пустила тебя в свой дом и говорила с тобой! На суде я скажу всю правду, так и знай!»

...Завершается тем, что «горожанин» медленно приходит в себя. Над ним склоняются встревоженные лица «дачника», его сестры и невесты.

— Ну, ты и напугал нас! — говорит «дачник», когда видит, что «горожанин» очнулся.— Как будто и не сильно ударился... не успел тебя поддержать... а вот до утра с тобой возились. Боялись, что совсем тебе карачун. Как на грех, и врача не найти в поселке. Скажи спасибо моей сестре и Марьяне — женщины умеют ухаживать за больными и ранеными... сохраняют присутствие духа. А уж на рыбалку мы с тобой опоздали, в другой раз придется...

Видел во сне маленьких, не больше 1—1,5 сантиметра, живых человечков. Они бегали по протянутой в углу искусственной паутине, что-то тащили, как муравьи. Все они сухонькие, тоненькие, как карандашные черточки, но через очки я видел, что они вполне человеческого сложения, одеты в цветные рубашки. Там, в углу, их было очень много, но у меня создалось впечатление, что они толпятся, чтобы уйти, убраться, «эвакуироваться», и я созвал всех в доме — посмотреть на них, пока они не исчезли. Мои домашние смотрели на них по-разному — кто как ни в чем не бывало, не удивляясь, кто недоверчиво, кто насмешливо (но все же так, чтобы меня не обидеть).

Продолжалось это довольно долго, потом человечков в углу не стало, но на полу я нашел двоих: они тащили какую-то тележку и потому задержались. Я хотел им помочь, но они, кажется, испугались, один упал, а я боялся ему повредить и не стал ему помогать.

Потом я проснулся, как всем понятно...

Привычное преувеличение при создании фильма:

— Надо, чтобы всей деревней в голос ревели, когда провожали своего сельского учителя в заведующие роно.

(На обсуждении сценария)

5/IX-67

Слушая выступления М. на художественных советах, читая статьи и книги ее и других молодых специалистов по кино, театру, литературе, невольно сравниваешь с собой и размышляешь...

Вот вечная разница читательских и зрительских

поколений! 60-летний читатель и зритель прочел сотни книг, видел сотни спектаклей и фильмов, причем как раз в годы их появления на свет, накопил опыт восприятия явлений литературы и искусства на своей собственной шкуре, пусть временами глупо заблуждаясь, принимая плохое за хорошее и наоборот, и при этом не утратил свежести восприятия как старого, так и нового. И читатель молодой, скажем 30-летний, который многого вообще не читал и не видел, а если читал и видел, то спустя многие годы после появления этих книг и фильмов, так сказать изучая их задним числом, а не воспринимая непосредственно, как современник. Мы видели и читали много трухи, много лишнего, брели ощупью, постепенно разбираясь в прочитанном и увиденном, отделяя зерна от плевела. Они читают и смотрят уже отстоявшееся, отобранное, просеянное временем и, так сказать, проверяют — верно ли произведен этот естественный отбор. (Если не говорить о современном им искусстве.) Кроме того, в основном я имею в виду молодых искусствоведов и литературоведов, специально занимающихся этим, а ведь мы были дилетантами, практиками, все прошло через наш личный опыт и наши личные чувства, — в малой степени через знания. У иных это сочеталось с теорией, с изучением эстетики, даже более или менее планомерно сочеталось, но это исключение, это не правило. Я не имею также в виду старых специалистов-эстетиков: те в большинстве были заражены социологизмом, от чего практиков большею частью бог спас...

Вообще-то это вечный процесс, в моих размышлениях нет по существу ничего нового, но вместе с тем вечно встает вопрос: за кем же преимущество? За старыми, матерыми псами (ослы не считаются), или за молодыми способными и образованными щенками? Знаю заранее ответ: конечно, за молодостью! И все же: неужели же за нами нет ничего, даже при условии обладания хорошим, в редких случаях почти абсолютным вкусом (что тоже весьма условное свойство!)? Будем утешаться, что хотя бы чуточку есть!

Симферопольские студенты в местной газете о «Даме с собачкой»: «Такой малозначительный рассказ Чехова вылился в фильм со сплошным очарованием».

Александра Александровна как тип и характер

Прежде всего она очень добра и внимательна к друзьям и товарищам, вообще к людям. Если что-либо ей поручить, о чем-нибудь попросить, она никогда не откажет (если просьба реальна) и непременно исполнит. Более того, поможет, если даже ее и не просят, но она видит, что может помочь, как в пустяках, так и в серьезных делах, например в случае болезни, в беде. Во всех этих случаях она пунктуальна, но не суха, принципиальна, но не жестка, — наоборот, мягка, тепла, искренне участлива, даже ласкова, причем без слюней и сусала.

Но при этом одна замечательная особенность: любое свое действие — мелкое, крупное — она непрерывно сопровождает комментариями, все объясняет, описывает, излагает свои принципы, прослеживает их историю, начиная чуть не с детства. Ее говорливость неизмерима. Она буквально не закрывает рта. Достает ли она ключ из сумочки, или хочет убедиться, что она не забыла его туда положить, или достает талон на телефонный разговор и смотрит, не устарел ли он, не просрочен ли, — она все это подробнейшим образом обговаривает, неторопливо, ровно, не повышая голоса. Кажется, можно с ума сойти, если жить с ней рядом и постоянно ее слушать... Как существует ее супруг — загадка! Разве что научился полностью отключать свой слух.

Александра Александровна всегда права. Более того, горда своей правотой; скромна, горда, без кичливости и фанфаронства. Более всего она гордится тем, что с детства и до старости не ест ничего острого и вообще вкусного. Я не преувеличиваю: в перечень несъедобных для нее вещей входит колбаса, ветчина, икра, любые копчености, любая приправа, кажется даже сыр, словом, все гастрономическое; я уж не говорю о любом вине, пиве и пр., чего она ни разу в жизни не пробовала и не хотела попробовать.

Об этой своей особенной нелюбви к вкусной пище (она не считает ее, разумеется, вкусной) А. А. без конца говорит и при этом подчеркивает, что человек она вполне здоровый и все это могла бы есть, если бы захотела, но она просто это не любит, терпеть не может, — говоря это, она выказывает на лице отвращение и брезгливость. Кстати, будучи женщиной доброй, расположенной к людям, тут она становится неделикатной: ее угощают чем-

нибудь — в ответ она не только отказывается, но и делает гримасу, выказывающую ее крайнюю нелюбовь к этому лакомству, длинно объясняя, как она с детства питает к нему отвращение, не понимает, как могут это любить другие. Повторяю, она чистосердечно гордится этой своей нелюбовью, она сияет, когда говорит об этом, — что по сравнению с этим ее профессия, все добрые поступки!

Помню, А. А. как-то сказала, что она ест только ливанские яблоки.

Не выдержав, я спросил:

— А когда не продавали ливанских яблок, какие тогда вы ели?

— Я никаких тогда не ела, — спокойно ответила А. А.

Знакомый ученый, рассказывая о древнем Египте:

— Забыл, как называются эти штуки, которые надевают сбоку на глаза у лошадей... (Показывает.)

— Шоры. Так же, как, говорят, и у людей.

— Вот-вот! Если бы подумал про людей, сразу бы вспомнил: шоры!

Английский лингвист Генри Морон, исследуя стиль Вальтера Скотта, нашел, что его слог не изменился даже после пяти кровоизлияний в мозг и написанного за это время десятка романов... Он заключил это на основе «готовых» пар слов, часто употребляемых тем или иным писателем, в данном случае В. Скоттом: тем более, как видно, явно что... и пр.

Я сразу вспомнил свои стереотипы: отнюдь, явно, крайне, то есть, таким образом, в лучшем случае, в том числе, сверхточно, словом, иными словами... Да-а, вряд ли найдутся подобные стереотипы у Бунина!

Тост:

— Гости приходят и уходят, а хозяева остаются. За хозяев, товарищи!

Кинорежиссер со всей убежденностью:

— Какое великое искусство — кино! Только оно

смогло сделать скучный роман «Пармская обитель» увлекательным произведением!

Сон:

Видел уже под утро, будто я один из младших русских князей времен Батыея, что татары по-своему нас обрядили, надели нам на головы какие-то высокие шапки, которые мы не должны снимать, а лишь на особый манер переставлять на голове (помню, в момент инструктажа я тревожно подумал — хватит ли у меня на голове места для этого?). Затем нам велели лечь гуськом на длинную лавку (нас четверо или пятеро, не считая старшего князя) вверх животами. Мы и легли, как дураки, а старший князь притворился глупым, блаженным, юродивым и «не понял» приказа: лег в сторонучку, на диван, и не навзничь, а на бок, поджав под себя брюхо. Это была высшая мудрость, ибо татарские вожди сели на нас верхом, стали прыгать по нашим животам, хохоча и издеваясь, а наш старший избег таких пыток, — по правде сказать, довольно милостивых, хотя и обидных. Но в то же время я ясно чувствовал, что все это неизбежно, хотя помнил отлично, что еще недавно жил в XX веке и совсем в другом качестве...

Гениально сказал 120-летний старик отцу Бунина, когда тот спросил, как же вот он, слепой и глухой, живет и что его интересует в жизни, а старик ответил, что живет прежней жизнью и снами — видит себя молодым, как играл, как бился на кулачках, а был он первый на селе боец: «Ну вот — моя жизнь во мне воскресает, и я целый день весел».

Мысль эта колоссальна, потому что объясняет происхождение искусства, его корни. В воспоминаниях и материальное становится духовным, ибо работа памяти всегда духовна, всегда душевна. Стоит вспомнить, как расстроился Афанасий Иванович, когда подали любимое блюдо Пульхерии Ивановны: сразу из отупевшего обжоры стал — хотя бы на несколько секунд — человеком.

22 января 72 г. Вчера, 49 лет назад, умер Ленин. Как много уже мне лет! Я учился в последнем классе средней

школы. В тот вечер у нас был Матвей Семенович Саутин. Папа пришел с собрания и сказал о смерти Ленина. Они с Саутиным много, весь вечер, говорили о том, что и как теперь будет без Ленина. Как видно, тревожились, хотя были в общем-то аполитичными людьми. Когда Ленина хоронили и по всей стране гудели гудки и мороз был страшный, я был у Карловых, и мы слышали гудки паровозов и немногих в Котельниче заводов. Кто из котельничан, которых мы знали, остался в живых? Почти никто.

На худсовете «Ленфильма»:

— На эту роль нужна актриса типа Чуриковой. Чтобы, увидев ее на экране, мы подумали: «А вот какой она будет при встрече с английской королевой?» А вот такой и будет!

В ночь на 15 февраля видел во сне, что ночевал на даче у Ш., около которой живут чудовищные, двухметровой величины улитки, с которыми хозяева дружат, позволяют облизывать себе руки, после чего остается на коже белая, как сметана, слизь. Со мной Ш. был очень мил и заботлив, дал мне подобие зубной щетки, когда оказалось, что я свою потерял. Вместе с тем он тактично старался не замечать моей неприязни и отвращения к улиткам, которых он и его дети и внуки нежно любят, общаются с ними не только вне дома, но и в комнатах, словом, живут с ними душа в душу. И все же мне показалось, что в основе всего лежит какая-то вынужденная зависимость от этих смиренных — пока — чудовищ, и эту загадку мне не удастся разгадать (что, вероятно, и к лучшему, ибо хозяева явно не хотят, чтобы я ее разгадал).

Наташина сослуживица по Библиотеке Академии наук в 50-е годы вернулась из Югославии. Когда в БАН приехал президент Академии наук С. И. Вавилов, она выскочила на лестницу:

— Здравствуйте, Сергей Иванович! Рада вас видеть. Смотрите, здесь для вас ковры постелили (на лестнице). Завтра это все уберут.

Нечего и говорить, что она не была знакома с Вавиловым, но представилась ему и долго трясла ему руку.

На улице она громко спрашивала прохожих:

— Вы не знаете, который час? — Спрашивала, обращаясь сразу ко всем.

Очень любила футбол, всех уговаривала посмотреть тот или иной матч, нанимала для всех грузовик, везла на стадион и вела на трибуны без билетов, говоря контролю:

— Это со мной.

Покончила она с собой, выбросившись из окна, хотя ее берегли, зная ее намерения.

В 1972 году, зимой, когда я сказал П. о смерти моей мамы, он на несколько секунд снял шапку, и меня тронул этот добрый старый обычай.

Потом, на прогулке по заливу, он назвал нас с К. И. Чуковским ненавистниками Бунина (по поводу письма ко мне К. И., напечатанного в «Вопросах литературы»). Назвал в полушутку и сразу оговорился: мол, он понимает, что это мы осуждали отношение Бунина к символистам, как к «жуликам». Впрочем, тут же напал: «А что ваш любимый Чехов о них говорил? — какие они декаденты! Они здоровые мужики, их в солдаты надо сдавать». Или: «Этот Урениус...» — «Да такого поэта нет...» — «Ну, Упрудиус...» Я отвечаю: «Так это же Бунин о Чехове вспоминает». П. немного смутился: «Да, верно...»

Граф де Лотреамон (Исидор Дюкас): «Прекрасное может родиться из случайной встречи зонтика и швейной машины на операционном столе». Фраза поэта XIX века используется сейчас как одна из заповедей сюрреализма.

Дымшиц правильно отмечает упреки Мандельштаму в стилизации, в подражании античным поэтам и пр. Он не сказал только одного: да, стилизация всегда суха и бесплодна, но изобразительная сторона в таких вещах иногда бывает и сильной (Мей, Щербина, Майков), зато отсутствует внутренняя музыка стиха, а это значит —

отсутствует чувство, эмоции, которыми так богаты «эллинистические» стихи Мандельштама.

Архитектор Константин Михайлович Дмитриев рассказал нам о судьбе памятника Лассалю у бывшей Городской думы на Невском. После войны, когда улицу Лассалья (б. Михайловскую) переименовали в улицу Бродского, памятник сняли со своего места и отправили на Волково кладбище, в склад бывших памятников (такой склад имеется и в Александро-Невской лавре, где мы с В. М. Руженцевым покупали памятник для его умершего брата). Приятель К. М. Дмитриева, архитектор Александр Лукич Ротач, проходя через лазейку в заборе и перешагивая через канаву, обратил внимание на странной формы камень, лежащий поперек канавки, чтобы, наступив на него, легче было шагнуть. Присмотрелся — это была голова Лассалья... Сразу же обратился (письмом или позвонил) в соответствующее ведомство, и голову эту увезли: возможно, во двор Русского музея, где уже с давних пор хранится памятник Александру III (работы П. Трубецкого), убранный с площади у Московского вокзала. Самое место революционеру рядом с царем! В своей повести «Полуночники» я писал так:

«Вот и памятник Лассалю, который Илье всегда нравился: с гордо поднятой головой, дерзко сдвинутой на своем постаменте на энную долю круга».

Привелось, значит, этой работе скульптора Синайского (1893—1968) полежать и в канаве... И даже при жизни автора!

Нашел запись от 14/VI 1972 года. Репино.

Сегодня в лесу кукушка четыре раза подряд прокуковала двенадцать «ку-ку». Первый раз я слушал внимательно и насчитал не то 11, не то 12 «ку-ку». Примерно через минуту она повторила, уже точно 12. Больше я решил не слушать, не считать, не испытывать судьбу. Она настойчиво повторила — опять 12... Но кукушка снова закуковала, и я невольно прислушался: 11. Секунду помедлила — и прибавила еще одно «ку-ку». Значит, опять 12. Я прибавил к своим 64 годам 12 лет: неужели я доживу до 76 лет? — поразился я.

И вот мне уже 77...

Видел во сне, что я застрелился. Выстрелил из револьвера в середину лба. Боли не было (или ее не помню). Крови тоже. Помню ощущения и состояние после этого: страшное беспокойство, что хотя я еще вроде бы жив, но до смерти остается безумно короткое время, может быть всего минута, и я больше ничего не успею сделать, и даже сказать какие-то очень важные слова Тане... между тем все говорю, говорю что-то, не умолкая, но каким-то не своим голосом... О, этот вечный страх — не успеть!

1942 год. Село Молотниково. Старуха 88-ми лет, с густыми черными бровями, не прочь, чтобы ей поднесли рюмочку. Когда всех фотографировали, она попросила:

— Девки, посадите меня к себе на колени.

В автобусе. Разговор двух старых женщин о своих зятях:

Одна. Вы подумайте, он мне ноги мыл, когда я заболела. Каждый вечер грел воду и мыл... Должно быть, это оттого, что он воспитывался в детдоме, не знал ни отца, ни матери, вот и дорожит тещей...

Другая (*с нескрываемым раздражением*). А мой зять воспитывался у отца с матерью и потому готов заставить меня ему ноги мыть!

Если дьякон в «Дуэли» Чехова говорит, что его дядька-поп так верил в бога, что, идя на молебен о дожде, брал с собой зонтик, чтобы на обратном пути не замочило, то это надо понимать расширительно: так верить в то, что он делает, чему себя посвятил, должен каждый. Если он делает добро, он должен верить, что это действительно добро и что оно абсолютно необходимо. Так должен верить революционер в революцию, коммунист — в коммунизм. Вот какой вывод должен сделать читатель (или зритель) «Дуэли» и будет прав. Иные толкования слов дьякона о вере его дядьки-попа — ограничены и убоги (3/IV—73).

Надюша:

— Не люблю котов. Как-то пришла к Марье Васильевне, а она чистит рыбу. Распорет брюхо — и бросит кишки коту. Он сразу слопает и опять просит, мяучит. Еще рыбина, еще кишки! Нажрался так, что вырвало этими кишками... Кот оживился — опять мяучит, просит! С тех пор не могу смотреть на этих жадюг...

А нашего Кузю она любила. Да и как было не любить этого интеллигента! Он даже умирал благородно. Перед самой болезнью, когда уже подступила старость (15—16 лет), он попытался исполнить перед гостями свой любимый цирковой номер — забраться на черный шкаф в прихожей и перепрыгнуть на антресоли (дистанция 2 метра). На шкаф он еще вскочил с кресла у телефона, но — покачался-покачался для большого прыжка... и, страдальчески затаив смущение, незаметно слез вниз. Нам всем было очень грустно: кончилась молодость, озорного Кузи больше не будет, а будет больной старик... Так и вышло. Но умирал он (от рака) мужественно. Выбрал себе место для лежки — под телефоном в передней, и, когда нужно было в уборную, он, шатаясь, едва добредал туда — но добредал! — и потом, еще больше шатаясь, почти ползком, брел обратно, чтобы в изнеможении лечь. Похоронили на Островах. Так не стало нашего старика Котабыча.

Н. написала хорошую большую работу. Она умна и талантлива. И очень некрасива. Когда я смотрю на нее, мне невольно становится грустно. Я очень ясно себе представляю, как в школе училась способная, некрасивая девочка, ни один мальчик на нее не смотрел, девчонки над ней смеялись. Ей оставалось одно — учиться лучше всех и этим удовлетворять свое уязвленное самолюбие. И вот она стала взрослой женщиной. Женского счастья ей не дано, и она никогда его не получит, — остается одно: литература. Здесь ее можно назвать победительницей. Согласилась бы она променять эти победы и эту интеллектуальную деятельность на самые обыкновенные житейские радости, уж не говоря о любви, о страсти? Полагаю, что да. А может быть, нет?

Сон:

Спектакль Мейерхольда — поздний, словно бы совсем недавно... Помещение — какой-то огромный, не

театрального вида сарай. Набит зрителями. Сесть негде. Не догадались раньше занять места. Таня осталась где-то у двери, я протиснулся к сцене. Сперва стоял, потом какой-то дядька позволил мне примоститься на край скамьи рядом с собой.

Спектакль был слабый, растянутый, со множеством персонажей. Содержания пьесы я не понял, тем более что мы пришли не к началу. И вдруг на этой огромной, высоченной сцене стал качаться на трапеции сам Мейерхольд... Это было столь нелепо, вид у него был тоже нелепый, старый, он что-то кричал, силясь взлететь повыше... Потом группа актеров побежала через зал, я оглянулся и увидел, что зал уже полупустой, да и рядом со мной почти не было уже зрителей. Я понял, что спектакль проваливается. Но дальше произошло нечто совсем неожиданное: позади меня, на второй от сцены скамье, улегся сам Мейерхольд. Он постанывал, не скрывая, что чувствует себя плохо. Ему принесли лекарство, он выпил какие-то капельки, ему стало немного лучше, он сел где-то сбоку, под ложей, но опять очень близко от меня. Я невольно к нему оборачивался, хотя понимал, что это невежливо. И вдруг я увидел, что, пристально взглядевшись в меня, Всеволод Эмильевич заулыбался и закивал мне: узнал! Я удивился очень: много ли раз мы виделись, да еще чуть не полвека назад, в 1938 или в 1939 году! Ну, разумеется, я обрадовался, мы пожали друг другу руки. Закивала мне и протянула руку в светлой лайковой перчатке и какая-то дама, очевидно молодая жена Мейерхольда (не Зинаида Райх). Я поцеловал ей руку повыше перчатки — и тут проснулся! Почувствовал, что мне так жаль Мейерхольда (продолжая думать о нем, уже не во сне), что больше заснуть не мог...

Старый художник испытывает острую зависть к своему бывшему ученику, который пошел дальше него и смог воплотить, претворить все, чего он не смог, или не успел, или не хватило сил; а ведь именно он научил того думать, чувствовать и творить, и даже внушил эту мысль... Банальный вопрос: прав он или не прав? Казалось бы, должен, наоборот, радоваться за своего ученика и за свою нашедшую наконец воплощение идею! Конечно же, этот внутренний конфликт неизбежен

в любой среде и в любом поколении. Моцарт и Сальери? Не совсем так. Нечто иное. Но близко.

Личное тщеславие у вдовы: «Почему это его так пышно хоронят? А не е е? Небось, когда умрет она, ни одна собака не поплетется за гробом!»

В сороковой день я пошла к Масеньке на могилку, и Масенька мне сказал:

— Я никогда, говорит, так хорошо себя не чувствовал.

— Почему, говорю, Масенька?

— Потому что не слышу, говорит, твоей болтовни.

Сон:

Церковь. Боковой придел. Подле гроба стоит красавец великанского роста, молодой паралитик. Мать или жена; не понять, с трудом поддерживает его под руку или обняв за пояс. Священник с ярко покрашенными губами произносит с амвона проповедь о всепрощении. Кругом тихо толкуют о проклятом богом красавце паралитике. А покойник, лежащий в огромном гробу, установленном на наклонном к нам катафалке, лукаво усмехается в черную бороду и усы. Он не стар, и мы поневоле задумываемся — каковы между всеми троими отношения? В чем темная тайна?

Ностальгия бывает по разным поводам. Недавно за столом зашла речь о том, что в столовой нет и нет горчицы. Кто-то меланхолично заметил:

— А раньше пьяные купцы рожу официантам горчицей мазали — и на все хватало.

Червонец

Начало нэпа. Киселевы еще в Петрограде. Живется трудно, одолело безденежье. Мать Надюши прислала письмо, в нем написано: «Посылаю червонец». Где же он? А он разорван на мелкие-мелкие клочки. Надюша, как всегда, получив письмо, прежде всего разорвала конверт и выбросила его в помойное ведро, а потом

стала читать — что пишет мама... Что теперь делать? Соседи посоветовали собрать все клочки и попытаться наклеить их на кальку. Так и сделали, предварительно просушив разорванный и намокший в ведре червонец.

Дядя Коля помчался в банк на Васильевском острове, где они тогда жили. Там сказали, что обменять червонец на новый может только центральный банк. Поехал на последний пятак на Фонтанку. А там — окошечко перед носом захлопнулось: операции до определенного часа, приходите завтра. Денег на трамвай больше нет, поплелся пешком домой, а наутро — опять в банк, на Фонтанке, где на этот раз беспрекословно обменяли склеенный червонец на новый. Значит, живем! Радости не было конца...

С тех пор Надюша перестала рвать конверты сразу же по получении письма, делала это потом, когда все внимательно прочтет и осмотрит.

В этот «сюжет» могут поразительно точно уложиться и характеры и обстоятельства. Надюша — веселая, беспечная, избалованная, на двадцать лет моложе дяди Коли. Дядя Коля до тридцати лет тоже жил при папе, нигде не служил, не работал, только учился: получил три высших образования — художественное, музыкальное и юридическое. Похоронив первую жену, женился на дочери друга, имея уже за сорок лет. Легкие характеры помогли перенести тяготы и приключения голодного времени. А приключений было немало, вплоть до скитания в 1919 году по калмыцким степям, когда пробовали добраться до бывшего отцовского имения... И вот после всего — курьез с разорванным червонцем и хлопотливой беготней! Трудное житье-бытье и анекдотический случай из-за привычной небрежности (капризной привычки) веселой, беспечной Надюши... Кстати, смешно и то, что сам дядя Коля служил когда-то в банке, и однажды ему привелось принимать по делу Анну Григорьевну Достоевскую (перед самой революцией, в 1917 году).

Ключевский, читая лекции, показывал на примере воды и красных чернил в двух стаканах, как разжижалась кровь династии Романовых посторонними примесями. В конце опыта оставалась почти бесцветная жидкость.

Виринея Корытина — дочь богатого оренбургского купца — владельца двух кожевенных заводов, старообрядца, который вот уже больше десяти лет (дело происходило в 1925 году) парализован и лежит в постели. Он ничего не знает о двух революциях (февраль и октябрь 1917 года), об отречении царя, гражданской войне и пр. Старик приказчик каждое утро докладывает ему о мнимых «делах». Домом заправляет сестра заводчика, старая, безобразная, властная монашка — раскольница. 18-летнюю дочь в 1917 году пытались выдать замуж за молодого купчика, с которым ее помолвили еще в детстве. Она решительно отказалась. Тогда ее связанной увезли в скит под Орском и посадили на год в одиночную келью. Затем ей удалось бежать и явиться в Оренбургский женотдел. С тех пор она работает в отделе писем от женщин этого края. Отец ничего о ее занятиях не знает. За эти годы Оренбург пережил дутовщину и многое другое. Тетка и племянница — это два полюса: одна ненавидит все новое, другая — все старое. Виринея в 1925 году — лет двадцать пять, она мрачно красива.

Примечание: история с отцом Виринеи Корытиной напоминает историю с бывшим португальским диктатором Салазаром. Тот по болезни отошел от дел, и вот уже год, как его место занял Каэтану. Однако, как рассказал французский газетчик, Салазар, прикованный к постели, живущий без газет, радио и телевидения, даже не подозревает, что он уже «не хозяин» Португалии, а, наоборот, уверен, что правит ею именно он и что весь мир считает так же...

Самара. 1923 год. Пивная. Цыганская певица Шура Масальская и ее муж — безногий инвалид, участник германской войны. Шура была замечательной красавицей и стала пристанской проституткой после того, как революция ликвидировала ее первого мужа, знаменитого самарского богача мукомола. Жила в Барабашке — самарской «Ницце». Теперь живет с мужем-сапожником в хибаре. Счастлива. Сначала ее кормил он, теперь она его, имеющая успех в пивной. Он всегда присутствует на ее концертах, — иначе ее

выступления нельзя назвать — такая благоговейная царит тишина, когда она поет.

Познакомился Янковский с Шурой за десять лет до встречи в Самаре; познакомился в Москве, в доме родителей, где бывали цыгане из «Яра» (на одной из певичек женился знакомый им адвокат Теленин). Тогда Янковскому было лет тринадцать, но в Самаре Шура его узнала и все рассказала о своей жизни. Муж-инвалид сидел на стуле, который специально для него приносили и ставили подле эстрады. На нем была старая шинель.

В гостях у дочери Гиляровского.

Старая московская квартира. Пять комнат, где все осталось таким, как при Гиляровском. До потолка связки дореволюционных газет. Пыль, хлам. Хозяйка поцеловала Янковского в лоб. Сели обедать. Вошла чудовищной толщины 90-летняя старуха (вдова Гиляровского) и вместо приветствия произнесла одну фразу:

— В этом доме меня морят голодом.

За обедом она съела три тарелки супа, три вторых и целую миску компота. Уходя, старуха простилась с гостем той же сакраментальной фразой:

— Видите, что меня здесь морят голодом!

Из жизни одной старой актрисы.

В 1943 году, живя в Москве, она очень нуждалась, так как не имела ни звания, ни пенсии, ни даже литерной или рабочей карточки. Стали хлопотать за нее. Когда ей нужно было заполнить анкету, она выбросила ее за дверь, сказав в сердцах: «Они хотят меня заставить сказать, сколько мне лет! Не выйдет!» Кое-как это уладили, убедив ее оставить графу о возрасте пустой. И вот она получила пенсию в 300 рублей и соответствующую продовольственную карточку. Янковский слышит, как она звонит по телефону своему старому другу, доктору, и приглашает его в гости, в пятницу, в 5 часов дня, обещая напоить его кофе с коньяком, как он привык, как он любит. Янковский спрашивает ее:

— Вера, а у тебя есть кофе и коньяк?

Она отвечает:

— Откуда? Конечно, нет.

— Как же ты обещаешь доктору такое угощение?

— Боже мой,— говорит она,— я и забыла! Знаешь, это просто по старой привычке...

Янковский достает в Доме литераторов немного кофе и коньяку, и доктор уболаготворен. Через несколько лет реабилитируют мужа Юреновой, генерал-лейтенанта, и она получает пенсию в 900 рублей и прочие блага. Она приезжает в Ленинград, останавливается в «Астории» в номере люкс, приглашает Янковского на кофе с коньяком и... забывает приготовить это угощение. Звонит через два часа после его ухода, когда они уже наболтались «в сухую», и рвет по телефону волосы за свою забывчивость: она так мечтала отплатить ему за его любезность, лелеяла эту мечту столько лет — и вот результат!

В Доме кино кто-то рассказывал анекдот про «Ленфильм».

По Кировскому проспекту идет автобус с туристами. Указывая на «Ленфильм», гид сообщает:

— Направо от вас киностудия, старейшая в стране. На ней были созданы такие великие картины, как «Чапаев», «Петр Первый», «Юность Максима»...

Турист спросил, сколько человек работает на студии. Немного подумав, гид отвечает:

— Примерно, процентов сорок.

На худсовете:

— По-вашему, стоит экранизировать «Горе от ума»?

— Как вам сказать... Два выигрышных момента там, во всяком случае, есть. Превосходный монтажный переход Чацкого с корабля на бал... И заключительный (но это уже с натяжкой) — из дома Фамусова в карету.

Сон (с 3-го на 4-е января 77 г.) —

рассказ в рассказе: отчасти навеянный чтением перед сном книги З. Паперного «Записные книжки Чехова».

...Будто я написал (или задумал) рассказ об одной супружеской чете. Муж — предприимчивый неудачник, этаким прожектер. Все его предприятия имеют эксцентрический характер и неизменно кончаются крахом и разорением. Жене это надоело, нрав у нее нелегкий, да и кого угодно могут извести постоянные неудачи, бедность и одновременно такие несуразные фантазии мужа, — и она его оставляет. Проходит какое-то время — и вдруг она приезжает на лихаче, веселая, оживленная,

хвалится своим новым мужем, богатым, щедрым: он был так добр, что позволил ей навестить своего старого, незадачливого муженька... Она до тех пор это все рассказывает, пока не приходит кучер (извозчик), требуя, чтобы с ним расплатились. Конечно, она все придумала и у них у обоих не находится даже рубля, чтобы заплатить за ее шикарный проезд на лихаче от вокзала... Но все же вместе им, может, и лучше?

И тут начинается новый грустный сон о том, как я хочу поделиться этой написанной (или задуманной) вещью с домашними, и никому не интересно (или некогда) меня выслушать...

Сон (с 5-го на 6-е января 78 г.):

Купался в Старой Руссе, в лечебном пруду. Плавают осьминоги. Мне предложили с ними познакомиться. Я попробовал погладить подплывшего спрута. Он встретил это враждебно, так что мне пришлось отрубить ему один отросток... Но постепенно знакомство наладилось и завершилось вполне светски. Спрут вылез на мостки, стал на задние ноги, оказавшись довольно стройным и моложавым, и представил мне своих сыновей. Все мы пожали друг другу узловатые руки.

В 1970 году меня спросили — нравится ли мне «Беспокойная старость» в Большом драматическом театре.

— Хороший спектакль, — ответил я. — Унылый, умирающий Полежаев, прекрасная, грустная музыка Перселла, почти как месса... Отлично похоронили мою пьесу.

Предлагаю тост за склеротиков. То есть за всех нас в настоящем, прошлом и будущем.

— Почему в прошлом?

— Потому что многие из склеротиков стали уже маразматиками.

Хейфиц когда-то верно сказал, что в хорошем марше всегда должна быть щемящая нотка: марш без грусти — это не марш. Таня правильно объяснила: под

марш провожают солдат на фронт — значит, как он ни бодр, он не может, не должен скрывать, что солдат ждет опасность, опасность даже смертельная, и солдаты должны быть готовы к ней...

Сороки за окном в Репине трещат, как десять пишущих машинок.

В лесу около Мельничного ручья. Мать стянула с мальчугана штанишки:

— Какай давай!

— Мама, я не хочу какать! (Жалобно.)

— Какай, тебе говорят!

— Мама, да я не хочу какать! (еще жалобнее).

— То хочу, то не хочу! Ты что, издеваешься над матерью? Циник какой! Терпи теперь до самого дома!

Голова болит из-за тебя, человечек.

Какой ты вертлявый, жужжащий, как тонок!

Вытащу тебя, подожгу на свечке,

Запишишь ты, проклятый, как мышонок!

Анна Баркова. «Дурочка»

«От человека, помнящего добро и хороших людей, иначе бы он не писал эти воспоминания».

Говорят, что люди пикнического сложения, пикнической конституции — всегда динамичны, активны, деятельны. Но Наполеон, которого мы по поздним, зрелым портретам знаем полным, с брюшком, до 40 лет был худым, очень худым, чуть не кожа да кости... Вольтер от рождения и до смерти был — «живые мощи», а его творческая активность и пламенная мысль — поразительны.

Медсестра рассказывала об Исае Ефимовиче, что он добрый дядька, но смешной: например, жаловался, что его жена очень ревнует (ему 70 лет). Я говорю: «Может, хвастался (как хвастается, что учился у Ивана Петро-

вича Павлова, что заведует отделением, что у него много помощников». — «Да нет, — отвечает Людмила, — он жаловался конкретно: мол, жена его зубы от него прячет, чтобы он ей не изменял».

— Так заказал бы себе вторую пару протезов!

— Не очень талантлив и не очень умен. У него просто живой талантливый ум. Это не парадокс — это так и есть. Так бывает.

— Часто говорит и делает глупости. Но может обмолвиться и умным словом. Значительно реже.

Люди часто хамят потому, что путают вежливость с подобострастием, с подхалимством, а хамство — с чувством собственного достоинства, с утверждением своей личности.

Оперные мужики в новеньких скрипящих лаптях, в белоснежных накрахмаленных онучах бегают через сцену мелкими-мелкими шажками, беспрестанно облизываясь, чтобы блестели губы:

Один (*теноровым речитативом*). Вот те хрест!

Другой. Нешто мы люди!

Третий. Двистительно!

Молодая мать называет своего ребенка только «ребенком» и никогда по имени. И еще — ласкательно: «чудовищем» и «сокровищем». Вообще стесняется своего материнства и его младенчества. Только что окончила университет и неожиданно для всех родила. Облик, характер и ум у нее типично мужского склада. Девочкой она была похожа на мальчишку.

— Этот ребенок чудовищно много пишет! Писсарро, Пикассо и Де Сика втроем не сделают столько, сколько один Петюша...

Сон под утро: Умирает Герман. Умер. Жена в отчаянии (совсем не Татьяна Александровна, а Рене Ароновна, жена Николая Никитина) кидается к нему на диван, тормозит его, трясет, кричит, а когда убедилась, что не оживить, отстранилась. Тогда он вдруг сваливается с дивана и кое-как, на карачках, но бежит на другой конец комнаты, зачем-то пролезает между ножками стула, затем поднимается на ноги, во весь рост. Тут уже я подхожу к нему, обнимаю за плечи и, успокаивающе с ним говоря, веду по комнате. Мы делаем довольно много кругов, и, когда я чувствую, что ему это трудно, что он на пределе сил, говорю, что я устал, и усаживаю его опять на диван. Я знаю, что в сущности он уже мертв, что это был лишь короткий антракт, небольшая отсрочка, кусок агонии... Прощаюсь с ним; говорю:

— Ну, скоро увидимся! — хочу сделать жест рукой вниз и вверх, мол, в аду или в раю, но воздерживаюсь.

Вдруг откуда-то, из-за угла, появляется Пантелеев. Я говорю:

— Вы знакомы?

Они молча здороваются (Герман не встает с дивана, очень слаб). Я зову Пантелеева к нам домой пообедать. Говорю Герману:

— Будем есть суп из мышек!

Уже на лестнице поясняю Алексею Ивановичу:

— Это я нарочно, чтобы его посмешить. Герман всегда издевался над нашей пищей!

Приходим к нам. Пантелеев, как почти всегда, молчалив. Садимся есть поданный Таней суп, в нем куски курятины. Вдруг заметил плавающую в супе пластмассовую крышечку от лекарственного пузырька, вынимаю; затем, к своему неприятному удивлению, вылавливаю из супа один, другой пузырек... всего пять или шесть стеклянных и пластмассовых пузырьков — все ставлю на стол подле тарелки. С ужасом боюсь взглянуть на тарелку Алексея Ивановича: неужели и у него то же?... И просыпаюсь. Пора вставать.

Библиотекарь Эрмитажа всю свою жизнь составлял картотеку — библиографические сведения о художниках. Число карточек превысило миллион, но библиотекарь был уже стар, и чтобы его работа не пропала, была продолжена, мои друзья — два эрмитажника — решили

написать об этом в «Литературную газету». Мысль о письме так их сблизила и так затянулась, что они успели пожениться. Они женаты уже четверть века, и время от времени, когда что-нибудь их возмущает или тревожит, они восклицают:

— Об этом надо написать в «Литературную газету»!

Кстати, библиографический словарь о художниках издается и уже вышло два тома.

А станешь стариться — нарви
Цветов, растущих на могилах,
И ими сердце оживи.

Кони считал, что эти прекрасные стихи принадлежат Некрасову, но я не нашел их у Некрасова, кого из литературоведов ни спрашивал, никто не мог мне назвать автора. Не спросил в свое время только у К. И. Чуковского... Почему? Побоялся, что он скажет: «Конечно, это стихи Некрасова!»

Натан Альтман когда-то рассказывал, как они с Эренбургом шли в Париже по улице, а перед ними шла стройная француженка. Они ее обсуждали вслух до тех пор, пока француженка не обернулась и не сказала на чистом русском языке:

— Вы мне надоели!

Так состоялось знакомство, а в дальнейшем — чудесный портрет Ахматовой работы Альтмана.

Кто-то верно сказал: чтобы лечиться по-настоящему, надо быть очень здоровым человеком.

Помню, Меттер задавался вопросом — предсказуема ли та или иная форма, тот или иной жанр в литературе. Сам отвечал — нет. Яша тоже считал, что непредсказуема. Я не уверен в этом. Скажем, после войны можно было предвидеть появление документальной прозы, фронтовых записок и пр. После XX съезда можно было ожидать исповедальной, дневниковой, мемуарной прозы (причем речь идет не только о содержании, но в какой-то мере и о форме).

В блокадную ленинградскую зиму «обедал» я, как и другие писатели, в нашей столовке на улице Воинова. Однажды, вставая из-за стола и оставляя за столиком Сергея Александровича Семенова понуро сидящим над тремя фасолинками на блюдечке, машинально сказал, прощаясь: «Приятного аппетита!» Семенов быстро поднял голову и вперил в меня взгляд: он подумал, наверно, что я над ним издеваюсь...

Вскоре, уехав из Ленинграда, он умер по дороге от сыпного тифа.

Один из родственников тети Шуры, пьяница, умерший потом от водянки, очень боялся летаргического сна и заказал трубу, которая должна была из гроба проходить через могилу. Но смерть его была столь бесспорна, что трубу выбросили.

В своей «Охранной грамоте» Пастернак, обожавший Скрябина и его «Поэму экстаза», откровенно восклицает: «Как бы мне хотелось теперь заменить это название, отдающее тугой мыльной оберткой, каким-нибудь более подходящим!» Верно, согласен с этим остроумным сравнением, для меня это название всегда отдавало если не мылом, то духами или одеколоном, но ведь оно дань времени (1907-й год!). Да и сам Пастернак, так уничтожительно снизивший его до мыла, не удержался от слова «тугой» — оно отражает напряженность музыки этой симфонии... Можно и по-другому снизить (если это будет снижением!) самую музыку: она напоминает все начинающийся, все усиливающийся и все никак не кончающийся половой акт, и это можно назвать — «Экстаз без оргазма», как это ни кощунственно... А собственно, почему кощунственно? Тем более что проблемы пола тоже дань времени: 1907-й год!

Знаменитого авиаконструктора Туполева однажды спросили — бывает ли он в кино. Он сказал, что бывает.

— И сколько примерно фильмов вы смотрите в год?

— Двадцать три.

— Почему так точно?

— Двадцать четыре дня я провожу в Узком (правительственный санаторий) и каждый вечер смотрю кар-

тину. Кроме последнего, двадцать четвертого дня, по-
скольку уезжаю после обеда уже домой...

Внучка артистки ТЮЗа Казариновой (травести)
громко сказала своей подруге на спектакле:

— Смотри, вон тот мальчик в пионерском галсту-
ке — это моя бабушка.

Весь театр, включая актеров на сцене, разразился
хохотом.

Идем в ноябре 1941 года под Усть-Тосно (Орлов,
я и Рысс) по дороге меж вскопанных полей (картошка
уже выкопана). Падают немецкие снаряды справа, сле-
ва от дороги — и не взрываются. Говорим: халтурно
сделаны или нарочно такие? Это как раз ободрило —
значит, и на немецких заводах есть противники гитле-
ровского режима. Теперь думаю, что последнее умо-
заклучение было оптимистическим преувеличением...

Сейчас многие старики и старухи любят хвастаться
своим возрастом: «А ведь мне уже восемьдесят пять
лет!»

Долголетие стало в моде.

Слушая, как кто-то играет модные танцы, подчерки-
вая синкопы, отдельные тяжело и неровно скачущие
звуки:

— Так играют непарнокопытные.

— Какие у вас духи?

— «Юноша Данко».

— Это не то. «Старуха Изергиль» — вот духи!

— Но выставка имела успех!

— У кучки снобов.

— Хороша кучка! Милицию пришлось к дверям
звать!

— Ну, куча снобов.

— Почему не читаете, отложили? Это же веселый, интересный роман.

— Возможно. Но с некоторых пор мне стало скучно читать веселые книги.

Старая фотография: я снят с Пиратом, положившим морду мне на плечо.

— Это Рахманов... и пес с ним! — скажут когда-нибудь.

— Гитара была тогда еще подпольным инструментом.

— Неужели?

— Разве не помните слова «С гитарой под полюю»?

На обсуждении детективного сценария:

— Разве утопленники сразу всплывают наверх?

— Ну, если они умели плавать...

Дама спрашивает физика:

— А что такое антитело?

— Вот у вас, например, антитело... извините!

Помню хор оборванцев, выступавший перед началом сеанса в кинотеатре «Гигант» (Большой зал консерватории). Все, включая «регента», были одеты в страшное тряпье. Что они пели — не помню. Но не частушки, а какие-то городские песни. Удивительно, что был разрешен такой показательный хор! Как бы в противовес чистенькой, даже нарядной публике эпохи нэпа.

Впрочем, обожаемый мной конференсье Гибшман (Константин Эдуардович), создатель замечательного образа неудачника-дебютанта, едва связывающего несколько слов, одет был нарочито неважно — в потрепанную, лоснящуюся синюю пару. Год и место смерти его неизвестно. Кое-что можно прочесть о нем в книге Е. М. Кузнецова (друга Ю. М. Юрьева) — «Из прошлого русской эстрады», М., 1958, стр. 297 — 298. Нет ли там и о Василии Гущинском, эстрадном комике, часто выступавшем в концертах, и о хоре оборванцев?

Есть фотография: мой портрет с собачьей мордой на плече. Это карловский Пират, гладкошерстный пойнтер, с которым, как и с другими собаками, я дружил. Впрочем, любили его в карловской семье все. Полежав в узком месте за печкой, он с трудом вылезал оттуда и долго разминался, потягиваясь: затекали ноги... Когда ему давали блюдце и говорили: «Проси», — он брал блюдце в зубы и обходил всех; каждый клал ему на блюдце кто кусочек сахара, кто ломтик колбасы, — потом он утаскивал это добро за печку и съедал. Иногда колбасой только мазали блюдце — это вызывало у него страшное недоумение. Если же клали блюдце доньшком вверх, так что Пират не мог взять его в зубы, он начинал катать блюдце по всему дому с необыкновенным азартом, ронял стулья, чуть не передвигая столы, — собака была большая. Когда мы ходили с ним зимой, в мороз, за реку, то подвязывали Пирату яички чем-нибудь теплым, чтобы не отморозил.

Дама рассказывает приятельнице:

— Ты знаешь, мы завели щеночка. Хорошенький такой, пушистенький. Ну, сейчас он еще мал, а вырастет — будет Витьке (мужу) на шапку.

— Милостивый государь! Вы в меня плюнули!

— Бог с вами! Я вам послал воздушный поцелуй!

Жена мужу, прозаику:

— А ты трудись, трудись! Я тебе помогу... Вон Анна Каренина семь раз переписывала «Войну и мир».

Эммануил Казакевич, обедая у нас вместе с Н. К. Чуковским, как всегда был весел; то и дело кричал: «Бомбрам-стенги крепи!» Но потом внимательно слушал незнакомые ему стихи Мандельштама, которые я читал вслух. Ни тогда, ни при других встречах не сказал мне, что в свое время, работая в театре в Биробиджане, перевел на еврейский язык «Беспокойную старость», не зная, что ее уже перевел (в 1938 году) С. Галкин для ГОСЕТа (Московский еврейский театр под руководством Михоэлса).

Чем я вовремя не дополнил «Взрослых моего детства», печатавшихся в «Неве» в 1977 году?

Олюнины

Семья Олюниных жила во дворе Котельнической земской больницы. Дмитрий Васильевич был смотрителем (по-нынешнему — завхозом) этой больницы. Сын тети Лизы (о которой я писал в «Семейном альбоме»), он легко примирился с тем, что его жена, Александра Николаевна, не пускала свекровь на порог. Александра Николаевна была миловидной, даже скорее красивой женщиной, дочерью крестьянки из прилегающей к городу деревни Большие Шильниковы. Мещанства и злости в ней было хоть отбавляй, но это сполна искупилось потом целым рядом несчастий. Началось с того, что, когда они переехали в Вятку (теперешний Киров), погиб под грузовиком муж (много ли машин-то было в те годы в Вятке!), умер старший сын Володя, смуглый, молчаливый молодой человек, служивший бухгалтером в ГПУ (я помню его котельническим гимназистом-старшеклассником, когда сам учился еще в начальной школе); в 1926 году утонул под Ленинградом второй сын Сергей; сама Александра Николаевна была парализована и прикована к постели. При ней оставалась старшая дочь Лида, когда-то очень хорошенькая девочка, которую потом обезобразила многолетняя безуспешная борьба с прыщами и угрями.

С младшим сыном Олюниных я почти четыре года жил в Ленинграде в одной комнате. Коля учился в Промышленно-экономическом техникуме на кожевенном отделении. Это тоже был немногословный блондин в очках, тихий и славный, с которым мы за все годы ни разу не поссорились, что не так-то просто, особенно при моей «реактивности». Он ко всему относился по-философски и любимыми присловьями его были: «Там видно будет» (когда спросишь, чем занят сегодня вечером или что намерен делать завтра); «Всяко бывает» (реакция на любое событие любого масштаба); «Деньги в печку бросил» (после неудачной покупки чего-либо, вплоть до невкусной булочки).

Только успев поселиться вместе, мы с Колей хоронили в Новгородской области его брата Сергея. Был разгар полевых работ, никто не хотел делать гроб, копать могилу; пока Коля оформлял официальную часть

в сельсовете, я таскал по жаре из деревни в деревню доски для гроба, уговаривал одного, другого сколотить домовину. На похоронах мы с Колей несли Сергея в тяжелом гробу почему-то на шестах, положенных на плечи, все кругом с любопытством смотрели, но почти никто не помог: Сергей был для всех чужой, приезжий человек. Но мы были благодарны уже за то, что тело его местные парни вытащили из омута, долго искали, ныряли, пока нашли под корягой. На берегу лежала его одежда и книжка Мариэтты Шагинян «Своя судьба».

В детстве, когда Олюнины жили в Котельнице, я бывал у них умеренно часто, либо с родителями вечером, либо один с раннего утра, когда папа, мама и тетя Аня отправлялись в дальний лес за грибами и рыжиками; меня они с собой не брали, а отсылали к Олюниным, на прямо противоположный конец города. Летом мы играли в больничном дворе или на берегу Вятки, обследовали заброшенную кузницу против психолечебницы, лог Семиглазов, его окрестности. Зимой, в комнатах, нашей главной игрой было строить из пустых картонных коробок из-под вермишели замки и крепости. Один из многочисленных котельнических пожаров произошел в больнице, захватив угол дома, в котором жили Олюнины: сгорел чулан, в котором хранились какие-то старые вещи, что дало повод Александре Николаевне долго потом твердить:

— Нищие мы теперь... Нищие!

Помнится, я тоже жалел, что в чулане сгорели вермишельные коробки... Впрочем, ничего другого, более ценного, там, кажется, не было.

Баскóва

Наши школьные щеголи Фойхт и Гузиков (один — сын инженера из управления новостроящейся железной дороги из Котельнича в Нижний Новгород, другой — внук богатой купчихи Воронцовой), и еще несколько бойких мальчиков, из которых ни один не был моим приятелем, вместе со многими девочками учились танцевать. Давала уроки некто Баскóва (фамилия вполне вятская — бáско, красиво). По улицам она ходила зимой в элегантном дубленом полушубке, затянутом ремнем в талию, с браунингом в блестящей кожаной кобуре, в сапожках на высоком каблуке и надетой несколько набок папахе, а преподавая танцы, оставалась в изящ-

ном френчике и довольно короткой юбке и тонких чулках, а сапоги и портянки (или толстые шерстяные чулки) снимала в учительской. Человек она, видимо, была храбрый — не боялась, что наши мальчишки, учась танцевать, отдавят ей ноги без туфель... недаром, значит, она служила секретарем в Учека — настоящая комиссарша.

И все-таки вид у нее был вульгарный. Когда через много лет я увидел Алису Коонен в «Оптимистической трагедии», впечатление от Комиссара невольно снижалось воспоминанием о Басковой. Любопытно, что в давнем двадцатом — двадцать первом году, еще ничего не читав о «кожаных куртках», не зная ни Пильняка, ни других советских писателей, я иногда думал: откуда такая могла взяться в Котельнице? Из бывших она или из народа? Поповна или сельская учительница? Кто ее научил так держаться или кому она подражает? Почему ее все-таки потянуло преподавать танцы? И как к этому относится ее начальство? И как относятся к ней наши целомудренные строгие учителя?

Маруська

Козу мы купили у железнодорожного сторожа или стрелочника, и в первые годы она то и дело бегала на станцию, в родные места. Если долго Маруськи нет, а дело к вечеру, пора доить, значит надо идти на станцию, искать ее на дальних путях, где движения меньше и между рельсами растет трава, которую она и щиплет (как будто мало травы растет в других, не железнодорожных местах). И я шел, шел с удовольствием, потому что любил все связанное с железной дорогой. Обычно я находил Маруську сравнительно легко, и она не упрямылась, послушно шла впереди меня домой. Но бывали случаи, когда ей хотелось еще погулять или просто проявить свой характер и заставить меня за ней погоняться. Я гонялся упорно, азартно, а она столь же упорно от меня убегала, шныряя между товарняками, стоявшими на многочисленных станционных путях.

И был случай, который мог кончиться для меня трагически. В азарте и спешке я подлез под вагон и слишком поздно заметил, что это маневрирующий состав: толстая ржавая ось вдруг начала на меня надвигаться, причем достаточно быстро, так что я не успел выскочить из-за колеса наружу. Конечно, проще всего

было лечь наземь, на шпалы — и товарняк прокатится надо мной, пусть даже из паровозной топки осыплет меня калеными угольками... Но я как-то этого не сообразил, а продолжал пятиться, пригнувшись и машинально отталкивая ладонями эту рябую, шершавую, грозную ось... Но вот она на секунду, на две застыла, а затем стала двигаться в противоположную сторону, от меня, а ко мне начала приближаться другая ось. Но я уже успел выскочить из-под вагона. Помню, я ничком повалился рядом с рельсами, но уже с наружной стороны, весь мокрый от пота и забыв про Маруську.

Другой случай чуть не кончился трагически для Маруськи. Я нашел ее довольно далеко от путей, ближе к железнодорожному пруду и водокачке. Она сама шла мне навстречу, но в каком она была виде! Рога нашей красивой, серо-седой Маруськи были туго скручены проволокой, сведены вместе, и в скрутку был вставлен клин. Маруська смотрела на меня с тоской и тихонько мекала, словно прося избавить ее от такой напасти. Ясно, что она была где-то заперта или привязана и лишь недавно освободилась сама или ее отвязали и отпустили в таком виде, иначе она бы давно прибежала домой. Мне было страшно притронуться к ее рогам и к железной скрутке, чтобы не причинить ей еще лишней боли... Но дома я совершил непростительную ошибку: вместо того чтобы осторожно раскрутить проволоку, не вынимая клина, я взял да и перекусил ее кусачками. Боже, какой я услышал мучительный рев! У меня замерло сердце... В самом деле, у нее могло быть сотрясение мозга! К счастью, все обошлось: уже через час Маруська поела, затем отдохнула от пережитой беды, а на другой день опять стала прежней грациозной и кокетливой не по возрасту.

Через много лет я прочел знаменитую фразу Семена Юшкевича: «Коза закричала нечеловеческим голосом». В моем случае он был не прав: наша коза закричала именно человеческим голосом.

Огород ночью

В 20-е годы мы с тетей Аней караулили наш огород от воров. К концу лета уже созревали тыква, а еще раньше — в большом количестве огурцы, на которые особенно зарились вору... Мы ночевали под навесом, образовавшимся от одного из деревянных амбаров,

когда папа выломал у него переднюю бревенчатую стенку. Под этим навесом стояли поленицы дров и лежали бревна,— на них мы и устроили наши постели. Впрочем, я так крепко спал на свежем воздухе, что вряд ли услышал бы и увидел воров... Правда, однажды тете Ане показалось, что в дальнем конце огорода, возле бани, через забор кто-то лезет, и она так закричала, что я проснулся, а вор (если он действительно был) мгновенно исчез, испугавшись.

Мне нравилось спать в огороде. Засыпая, я с наслаждением слушал музыку, доносившуюся из городского сада по вечерней заре, на фоне заката — то багрового (завтра ветер), то лимонно-желтого (к ясной погоде), то в облаках (к дождю). Издали звуки оркестра всегда навевали поэтичное настроение, а вот если я приходил в этот сад и видел оркестр — мне мешала и публика вокруг музыкальной раковины, сидевшая на скамьях, гулявшая по аллеям, и лица трубачей. Особенно мешало лицо флейтиста с красными, всегда словно вспухшими губами на бледном лице. Я его знал — он жил в том же доме, где жил мой друг Борис Кошечев,— и знал, что он чахоточный. «Он же портит себе здоровье, свои больные, слабые легкие, дует в трубу»,— думал я.

В один из вечеров я долго не шел спать в огород: отца навестил приехавший в Котельнич, знакомый ему еще по молодым годам, крупный партийный работник, зампредсовнаркома Башкирской республики и друг известного мне по газетам Цюрупы (наркома продовольствия, который работал бок о бок с Лениным). Можно легко представить себе, сколько интересного и для меня и для папы он мог рассказать! Я впервые видел и слышал партийца такого масштаба — и только часа в два ночи папе удалось отправить меня спать в огород... Было это году в 1922-м, не позже,— иначе зачем бы меня отправлять спать?

Летние ливни. В Котельниче, в детстве. Как я любил их, сидя на крыльце дома или в дверях амбара! И в Ленинграде, на Васильевском острове, где они промывали до блеска булыжные мостовые (они еще были булыжными в 20-е, 30-е годы). На Сиверской в 1935 году, на даче, где я начал работать над «Беспокойной старостью». Помню, Евгения Журбина, автор

известной книги о фельетоне, жившая в одном с нами доме, вскочила вдруг на садовый стол и начала плясать под этим бурным ливнем, как Кармен!.. Кстати, какие разные люди жили тогда рядом с нами на литфондовских дачах: профессор Н. Я. Берковский, руководивший когда-то литературными курсами Пролеткульта, где в 1928 году я читал вслух первую свою повесть «Полнеба», критик Зелик Штейман, женатый на «Девушке с далекой реки» — актрисе Розе Свердловой (это он прислал тогда жене телеграмму, которую жестоко переврали на почте: «Назначен ответ свиным сектором литературы и Ленинграда», что означало — «Назначен ответственным секретарем «Литературного Ленинграда»). Вскоре Роза Свердлова вышла замуж за режиссера Гаккеля, милого, доброго человека, который в 1946 году начал ставить в ТЮЗе моего «Даунского отшельника», но вскоре умер.

Мурка

Знакомая нам немолодая деревенская женщина Афанасья вышла замуж за вдовца Константина, жившего в деревне Вшивая Горка, ныне не существующей (в трех километрах от станции Котельнич). Когда Константин работал и потом обедал у нас, то, желая поблагодарить за обед, так громко рыгал, что все невольно пугались, — это входило в его светский этикет. Дочь его, падчерица Афанасьи, вышла замуж за железнодорожного сторожа; они жили за рекой Вяткой, в домике, помещавшемся вблизи озера Карьер. Она принесла нам хорошенького, рыжевато-серого котенка, ставшего пушистой красавицей Муркой, жившей потом в доме моих родителей 17 лет. По ночам она любила гулять, и папа, ворча, выпускал ее под утро в форточку, шлепая ногами по крашеному холодному полу. Ворчал он больше из принципа — он очень любил Мурку. Почти до смерти Мурка каждый год рожала котят, но красавицей она была гордой. Помню, как, вскочив на ломберный столик, она нечаянно пукнула и смущенно покраснела... Даю слово, что покраснела (как бы это ни противоречило законам кошачьей породы), я ясно видел это сквозь рыжевато-серую шерстку.

Полкан

Почему в главе «Соседи» я не написал о Полкане, чудном огромном псе, принадлежавшем нашим соседям Верещагиным? Именно с ним-то мы и дружили. Мы впускали его в дом даже тогда, когда у нас были гости; он лежал под обеденным столом тихо-тихо, только иногда портил воздух, и в таких случаях приходилось выводить его из-под гостевого стола... Обычно Полкан уже с раннего утра дежурил у нашего крыльца, ожидая гостинца. Однажды зимой я выскочил неодетый с плоской, полной костей, и, поскользнувшись на гололеде, уронил, точнее, высоко подбросил одну острую тяжелую кость; упав, она сильно поранила мне руку, шрам заметен и сейчас.

Есть люди со своеобразной способностью быстро и активно знакомиться, общаться, входить в контакт с любым собеседником, найтись в любом незнакомом обществе. Есть еще более завидная способность — понимать собеседника, коллектив, семью с первой минуты знакомства, входить в их интересы и чувства, даже объяснять им то, что они сами еще не вполне осознали. Я бы назвал эту способность сверхчуткостью, если бы был уверен, что она от души, от сердца, а не от чисто головной смекалистости и изощренности.

Видел во сне, что проснулся и обнаружил себя слепым. Остались какие-то самые малые признаки зрения. Пытался надевать очки, одни, другие — не вижу. Принялся ошупью бродить по квартире, или проснуться, ибо подозревал, что все еще сплю и слепота мне лишь снится. Ничего не получалось. Меня до крайности обижало, что домашние не замечали, что со мной происходит. Либо относились к этому совершенно спокойно, хотя разговаривали со мной любящими голосами. Это все длилось, как мне казалось, мучительно долго. Под конец я уселся на подоконник и стал напряженно смотреть на улицу. Впечатление было такое, словно сейчас глубокие сумерки, — на самом же деле был день. Все казалось смутным, едва брезжило.

Вдруг я увидел под собой карабкающегося на забор большого черного кота. Затем разглядел на дороге еще

одного кота, еще двух, еще трех и котенка. Я очень обрадовался, различив их цвета и полосы, — значит, хоть что-то вижу... И вдруг коты начали драться, скатываясь в клубки, сначала попарно, потом в общий клубок. Мелькали их тигровые полосы, цвета их сливались, но дрались они беззвучно. Я встревожился за котенка — как бы его не разорвали в жестокой схватке. Но нет — котенок (желто-серый в полосу) отбежал несколько в сторону и с любопытством наблюдал за дракой. И я поймал себя на постыдно-завистливой мысли: счастливый! родился-то он слепым, а теперь видит, видит отлично... тогда как я...

И тут я проснулся. Проснулся при ярком солнечном свете, сплошь заливавшем мою оранжево-розовую комнату в Репине, — цвет, который я находил безвкусным. Как я сейчас был ему рад!

Любопытно, что я не раз видел себя во сне ослепшим. Наверно, каждый человек больше всего боится слепоты, — отсюда и такие кошмарные сны.

В рабочих домах

Недавно я от души порадовался, прочтя слова Шумана: «Талант трудится, а гений творит». Всегда испытывал неловкость, говоря: «Я еду в Дом творчества» или: «Живу в Доме творчества». Чувствовал, что выпренне и нескромно звучит... Особенно неловко, когда читаешь это слово на вывеске или на еще более прозаической квитанции, выданной тебе в доказательство того, что ты заплатил за проживание в означенном Доме и можешь творить. Больше того, обязан творить...

И все же эти дома, как их ни называй, замечательные заведения. И хороши они не только тем, что в них удобно работать. Хорошо, что в этих «рабочих домах» (да, да, вот так их и назову!) литераторы, композиторы, вообще те, кто в силу особенностей своего труда больше других профессий отъединены от коллег, вольно или невольно встречаются и общаются. Сразу скажу: не в писательском клубе, не у себя дома, а именно здесь я чаще всего встречался, спорил, ссорился и мирился с самыми близкими моими друзьями. Кроме того, обретал новых друзей, заводил новые знакомства. Помню, когда-то по вечерам, перед сном, собирались в гостиной, телевизоров тогда еще не было, зато было вдоволь шуток, розыгрышей, шарад, происходили курьезные случаи,

своеобычно проявлялись разные человеческие характеры.

Вот о смешном в жизни «рабочих домов» я и пытаюсь вспомнить. Правда, юмору тоже свойственно стареть, и то, что веселило нас два, три десятка лет назад, сегодня может показаться несмешным и неинтересным, но тут уж ничего не попишешь.

Сберкасса

Сразу после войны, когда Комарово под Ленинградом еще называлось — Келломяки, писательская столовая была небольшой, деревянной, вместо отдельных столиков в ней стоял один длинный стол, и застолье мы называли — табль д з о т, этим несколько снижая табль д о т: фронтовики помнят, что дот — долговременная огневая точка с бетонным перекрытием, а дзот — с деревянно-земляным... Обед, а уж тем более ужин проходили за общей беседой. Хотя все мы были намного моложе, чем нынче, и значительно меньше болели, все равно среди нас находились любители потолковать о болезнях; других это, разумеется, раздражало. В конце концов на общем совете решили ввести денежный штраф: заговорил о болезни — плати рубль! Средство оказалось весьма действенным: в красивой хрустальной чаше быстро накапливалась сумма, вполне достаточная, чтобы купить на нее бутылку-другую сухого вина для общества. Особое оживление иногда вносил тот или иной обедающий, который чуть не бегом спешил к буфету, чтобы опустить в чашу трудовой рубль и приобрести право поведать о потрясающем медицинском факте.

Эрудиты

А состязания в эрудиции! Помню, мы с Александром Григорьевичем Дементьевым, известным литературоведом, азартно поспорили, откуда взялось выражение «затрапезное платье»? То есть мы оба не сомневались, что оно происходит от слова «трапеза», относится к монастырскому быту, но почему монахи трапезничали, вкушали пищу, будучи одеты хуже, беднее, з а т р а п е з н е е, чем в другое время? Может, приходили с полевых и других работ и сразу садились есть, не переодеваясь? Может, стол стоял во дворе и монахи

заодно с собой кормили бродяг и нищих? Всякие были домыслы и предположения. Но, вернувшись из столовой, я взял в библиотеке словарь Даля и прочел, что слово происходит от «купца Затрапезнова, изготовлявшего дешевую одежду, дешевую материю»...

Переводчица

Всех восхищал нрав и характер одной превосходной переводчицы. Во всех отношениях достойный, прямой человек, она не скрывала своего порой резкого остроумия и сама рассказывала, как к ней сватался в давние времена покойный муж. Она долго не давала согласия, пока в отчаянии он не опустился на колени. Тогда она назвала жениха по фамилии и повелительно сказала:

— Встаньте. Не пачкайте н а ш и брюки.

Не нужно думать, что она была снисходительна к себе. Как-то войдя в гостиную, служившую в то же время библиотекой, она огляделась и с удивлением сказала:

— Сколько литераторов уткнулись в книги! И самое странное, что я ни с одним из присутствующих не ссорилась!

Зато помню, как, круто поссорившись с другим, тоже пожилым и почтенным переводчиком, она отвернулась от него и медленно пошла по столовой, шатаясь, выдирая клочки волос и бросая их на пол... Так я впервые в жизни увидел, как уже не в фигуральном, а в прямом смысле слова рвут на себе волосы...

Предвидение

Жаль, не включил в свои воспоминания об Ольге Форш ее устный рассказ о посещении заболевшего Бориса Пильняка (давно, в 20-е годы). Она сидела у его постели, они беседовали, вдруг она с удивлением заметила, что из-под одеяла высунулась голая нога и начала большим пальцем водить по географической карте, висевшей на стене над кроватью. Затем нога убралась. Потом, в разгар оживленной беседы опять показалась и снова большой, с аккуратно остриженным ногтем палец стал путешествовать по Америке и Японии, словно предвосхищая будущие реальные поездки Бориса Андреевича.

С 13-го на 14-е декабря 1982 года видел во сне, что я познакомился с двумя сестрами, одной из которых было 19 лет, другой — лет 8 — 9. Непоколебимо преданная старшей сестре, младшая была как бы ее обезьяна. Если старшая была настоящей весталкой, гордой, надменной, презиравшей мужчин, то младшая исповедовала те же чувства, но выражала их в страстной, карикатурной форме, с непосредственностью, свойственной ее возрасту... Когда я уезжал, старшая вдруг сошла с олимпа и, подойдя ко мне, нежно обняла меня и поцеловала! Такое неожиданное прощание невероятно возмутило младшую девочку — она чуть с ума не сошла от негодования!

Меня же поразило то, как в продолжение каких-то недолгих сонных мгновений можно успеть увидеть столь сложный психологический этюд, понять такие противоречивые отношения между сестрами — от полной преданности до полного осуждения...

Не раз вынимал из «Записных книжек» листок с таким сюжетом:

Жена уходит от мужа к их другу. У мужа инфаркт; умирает.

Они хоронят его, им невесело: разумный эгоизм не помогает... Обоим уже немало лет. Почти такого же возраста, как покойный, немного моложе. Как-то дальше пойдет их жизнь? Банальный сюжет? Но житейский. И чего здесь больше — человечности или сантимента? А это уж — как на чей вкус.

Вариант:

Они хоронят ее бывшего мужа. Он хочет, чтобы она помогла ему понять их общую вину до конца. А она не может понять даже чувства собаки, которая день и ночь скулит по умершему хозяину. Для женщины новое чувство, новая связь начисто уничтожает, стирает все прежнее.

Написать такой рассказ? А для чего? Кому это нужно? Да и каждый раз убеждаешься, что в краткой записи это выглядит значительнее, чем в «беллетристическом оформлении»...

Для рассказа

По Каме (или Днепру?) едет на теплоходе семья: немолодой муж, молодая жена и их пятилетний сын. Познакомились с ними еще два пассажира — молодой врач и я. Вместе гуляем по палубе, разговариваем, любуемся видами. Погода чудесная. Но мальчик немного прихворнул, отец часто отлучается к нему в каюту, тревожится. А мать не очень... Правда, она пригласила в каюту врача — прослушать мальчика. Врач внимательно прослушал, сказал, что ничего опасного, легкая простудка, можно его даже вывести на солнышко. Отец тем не менее нервничает, видно, что он очень любит своего позднего ребенка. Да и постепенно он начинает ревновать жену, проводящую часы и часы в палубных прогулках с врачом — они совместно заказывают обед в ресторане, врач угощает ее вином, вообще их вкусы сходятся... Впрочем, дело не идет дальше легкого флирта, столь обычного для таких путешествий.

Но наступает момент, когда ребенок почувствовал себя хуже, и вот, прибежав из каюты наверх, отец прямо-таки заходится в мужской истерике. Он кричит, обвиняя жену черт знает в каком равнодушии к здоровью их сына, граничащем чуть ли не с преступлением, а когда жена посмела сослаться на мнение своего палубного спутника, ничуть не считающего заболевание ребенка серьезным, муж чуть ли не готов был выбросить их обоих за борт!

Я был сначала немым свидетелем этой безобразной сцены, но наконец принужден был вмешаться. Мне удалось развести мужчин-«соперников», а заплаканная жена убежала вниз, в каюту. Врач хотел было пойти вслед за ней, чтобы еще раз осмотреть ребенка, но я отвел его в сторону и убедил сейчас не ходить: разве не видит он, в каком бешеном состоянии отец? Врач был явно возмущен — главным образом тем, что этот сумасшедший пожилой пассажир не верит ему, специалисту! А мужу я посоветовал постоять минут пять — десять на носу теплохода, где веет такой славный ветерок, успокоиться, а затем спуститься в лоно семьи, в каюту. Я уверен, сказал я, что мальчику просто хочется погулять, он соскучился — потому и капризничает. — Действительно, хватит ему лежать, возвращайтесь втроем на палубу — здесь он сразу поправится...

Мудро так все рассудив, я уже в одиночестве под-

нялся еще ярусом выше, к рубке рулевого, куда испро-сил доступ у капитана, и стал наслаждаться суровой камской природой, обрывистыми каменистыми берега-ми, поросшими елью и можжевельником.

23 февраля 84 г. (навеяно сном под утро).

Моя ранняя проза — радости для себя. О ней можно сказать словами Стриндберга: «Эти слабые полумысли еще незрелого мозга под давлением кровеносных сосудов». И все же без нее не было бы ничего дальше...

Май 1984 г.

С 1958 года, то есть уже четверть века, я провожу март или май в Репине, в Доме творчества композиторов. К музыке я не имею отношения, если не считать того, что люблю ее. Люблю, но никогда для нее не тру-дился — не писал ни либретто для опер, ни текстов для песен. Больше того, как профессиональный прозаик и сценарист я мог бы законно жить в Доме творчества писателей или в Доме творчества кинематографистов (кстати, они находятся примерно в тех же прелестных зимой и летом местах — в Комарове и в Репине), но весной я предпочитаю Дом творчества композиторов — и верен этой традиции ровно треть своей жизни.

Начали мы с женой сюда ездить еще в те годы, когда Дом был совсем простенький, еще не построили для столовой большое красивое здание в скандинавском стиле, — столовая и кухня тогда помещались в старой деревянной даче. Помню, однажды, едва мы успели приехать, из открытого настежь кухонного окна слышался голос кухарки: «Рахманинов приехал! С женой!» Впрочем, скоро работники столовой и кухни узнали, что мы отнюдь не Рахманиновы, а всего Рахмановы — когда мы стали приезжать каждый год...

Что же нас сюда влечет? Может быть, как раз то, что мы здесь гости? Но у нас нет никаких гостевых пре-имуществ, скорее наоборот: в Доме кинематографистов, скажем, в нашем распоряжении комната с ванной, балконом, мы можем ежевечерне смотреть фильмы, если захочется, а здесь у нас просто комната и ничего боль-ше. Это ведь только композитору или музыковеду предоставляется отдельный коттедж из двух-трех ком-

нат с роялем, со всеми удобствами, что вполне естественно.

Комнату мы с женой получали сперва в каменном двухэтажном доме, с большим окном, выходящим на балкон, если это был верхний этаж, и на бетонную площадку вида террасы, но без перил, если нижний. Теперь в каменном доме живут служащие, а нас селят в той деревянной даче, где раньше помещалась столовая. Но, откровенно говоря, нам приятно здесь любое жилье. В какое окно ни глянешь — увидишь стройные сосны, — они стоят рядами, как свечи, а горят ясным пламенем даже в ненастье. А свежесть сочной травы, а разбушевавшаяся в мае черемуха — все это создает такую близость к природе, какой никогда не добиться искусственными ухищрениями вроде клумб с городскими цветочками... Мы любим залив, который совсем под боком, любим лесные тропинки: только перешагнешь канавку — и ты уже в хвойном, чуть что не в дремучем лесу, пряно пахнущем можжевельником; и без лыж и на лыжах мы немало колесили по лесу и перелескам, окружающим этот ставший нам родным музыкальный Дом.

Но немало здесь исписано и бумаги... Сразу же после завтрака, которым заботливо, как всегда, накормит нас милая Анечка (знакомство с ней длится также с 1958 года), я усаживаюсь за письменный стол и усердно тружусь до предобеденной прогулки. Именно здесь написаны многие главы книги воспоминаний «Люди — народ интересный», именно сюда в конце февраля мне привезли из издательства первый авторский ее экземпляр, подгадав к дню моего 70-летия. Сюда же через несколько часов приехали поздравить меня друзья с «Ленфильма», и гостеприимные хозяева отвели нам уютное зальце, где в свое время праздновали юбилей Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.

С самим Дмитрием Дмитриевичем, равно как и с его другом Евгением Александровичем Мравинским, мы лишь изредка встречались в столовой или на прогулке; гораздо чаще виделись с остроумным и тонким музыковедом Михаилом Семеновичем Друскиным и с замечательным ленинградским адвокатом Яковом Семеновичем Киселевым: как и мы, непричастный к музыке, Киселев любил этот дом.

Лет десять назад пережили мы здесь на редкость морозный март, когда кошки бегали по двору преимущественно от люка до люка центрального отопления,

присаживаясь на теплую крышку, чтобы согреть задик... Но вот в одну из ночей отопление перестало действовать: истопник слишком рьяно отпраздновал чью-то свадьбу и заснул на дежурстве, так что под утро пришлось его подменить самому директору.

Наблюдали мы еще и более любопытное явление природы: неожиданная прибыль воды в заливе взломала лед, сильный ветер нагромоздил льдины одна на другую, на несколько метров ввысь поднялись могучие айсберги, протянулись шеренгами до самого Зеленогорска, загородив гладь залива на протяжении почти восьми километров: приходилось по-альпинистски перебираться через эти ледяные хребты, чтобы побегать на лыжах по заливу.

В марте, перед самым ужином, я обычно опять выходил на берег попрощаться с застывшим морем, поглядеть на багровый закат, на дальний, еле видный на горизонте маяк, на возвращавшихся с залива рыбаков с пешнями, сверлами, с красными обветренными лицами и обильной добычей — каждый с 5-ю, 6-ю килограммами корюшки...

По пути в столовую я встречал композиторов, наконец-то покинувших свои коттеджи, укрывшиеся среди сугробов, под сенью заснеженных елей и сосен. Целый день из этих коттеджей раздавались звуки рояля: там неустанно сочиняли музыку, что настраивало и меня на рабочий лад. В самом деле, разве похоже это на Дом творчества писателей, где мы совершенно беззвучно водим по бумаге своими шариковыми ручками? Может, потому я и люблю бывать в Доме творчества композиторов: здесь не только хорошо отдыхается, но и хорошо работается.

Даже в благословенном мае, когда под окнами старой дачи расцветает черемуха, а в конце месяца распускается сирень, ни на час не забываешь, что эти цветы — не только дары, но и труды природы, — значит, не грех потрудиться и мне.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Полнеба. <i>Повесть</i>	6
Полуночники. <i>Повесть</i>	39
Карнавал. <i>Очерк</i>	207
Перелетный погост. <i>Очерк</i>	211
Право на Север. <i>Очерк</i>	216
Купчиха Утиль. <i>Рассказ</i>	225
Столбовая дорога. <i>Рассказ</i>	236
Покровительство птицам. <i>Рассказ</i>	244
Замужний редактор. <i>Рассказ</i>	256
Башмаки. <i>Святочный рассказ</i>	267
Пуговица. <i>Рассказ</i>	272
Веточка и Сенатор. <i>Рассказ</i>	276
Кока. <i>Рассказ</i>	303
Ва-банк! <i>Рассказ</i>	308

ПЬЕСЫ

У порога войны	314
Чёт-нечет	374

ВОСПОМИНАНИЯ

1

Соломенная сторожка	440
Второй и первый режиссер	475
1945 — 1966	481
Самые главные слова	494
Вечер памяти (14 апреля 1976 года)	498
Творчество. (К 75-летию Ефима Семеновича Добина)	501
Еще один памятный год	505
Русский денди	521
Путешествие с Диккенсом	525
Подарки, споры, вспышки характера	535
Геннадий Гор времен «Смены» и позже	550
Поздний отклик. (Из воспоминаний о Г. М. Козинцеве)	568

Душа города	584
Грозное оружие	592
Земной или неземной? (<i>О творчестве А. С. Грина</i>)	599
Недолгая, но счастливая жизнь Тани Тёткиной	601
Рецензия с предисловием	607
Детектив — что это?	613
Цена неудачи	618

ЛИСТКИ КАЛЕНДАРЯ

Из старых записей	628
-----------------------------	-----

Рахманов Л.

Р 27 Чёт-нечет: Повести, рассказы, пьесы, воспоминания. — Л.: Сов. писатель, 1988. — 704 с.

ISBN 5—265—00268—5

В новую книгу Леонида Рахманова, отмечающего в 1988 году свое 80-летие, включены произведения, охватывающие почти 60 лет творческой жизни автора. Наиболее известны его историческая повесть «Базиль» (1933) о строителях Исаакиевского собора в Петербурге, сценарий фильма об интеллигенции в революции «Депутат Балтики» и пьеса «Беспокойная старость» (1937). Они вошли в золотой фонд советской литературы.

Книга «Чёт-нечет» включает многие не публиковавшиеся в отдельных изданиях повести, рассказы, пьесы, дневники и мемуары разных лет.

Р $\frac{4702010200-394}{083(02)-88}$ 118—88

ББК 84.Р7

Леонид Николаевич Рахманов

ЧЕТ-НЕЧЕТ

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1988 г. 704 стр.
План выпуска 1988 г. № 118

Редактор Л. А. Николаева
Худож. редактор М. Е. Новиков
Техн. редактор Г. В. Мисюль

Корректоры Е. А. Омеляненко и Э. Н. Липпа

ИБ № 6270

Слано в набор 23.07.87. Подписано к печати 30.12.87. М15079. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага кн. журнальн. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 36,96. Уч.-изд. л. 38. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1081. Цена 2 р. 60 к. Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель». Ленинградское отделение. 191104, Ленинград, Литейный пр., 36.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.